

**СКАЗКА
СЕРЕБРЯНОГО
ВЕКА**

Сказка - особенный прозаический жанр. Она может быть волшебной, авантюрной, бытовой; главными героями оказываются животные, растения и даже неодушевленные предметы. Но все сказки обязательно так достоверно рассказывают о вымышленном, что мы безоговорочно верим их сюжетам и героям.

В эту книгу вошли сказки русских писателей, чье творчество пришлось на время Серебряного века - ни с чем не сравнимого периода русского искусства, возникшего на рубеже XIX и XX веков. Изящные и оригинальные композиции, новаторская стилистика, неповторимый литературный язык сказок А.М.Ремизова, А.В.Амфитеатрова, М.А.Кузмина, Ф.К.Сологуба, Л.Н.Андреева, З.Н.Гиппиус раскрывают новые грани их литературного таланта.

- [Сказка серебряного века](#)
 - [Бергулева-Дмитриева Т.Г](#)
 - [А.Н.Ремизов\[52\]](#)
 - [ПОСОЛОНЬ\[53\]](#)
 - [***](#)
 - [Весна-красна\[54\]](#)
 - [Монашек\[55\]](#)
 - [Красочки\[56\]](#)
 - [Кострома\[64\]](#)
 - [Кошки и мышки\[75\]](#)
 - [Гуси-лебеди\[82\]](#)
 - [Кукушка\[90\]](#)
 - [У лисы бал\[100\]](#)
 - [Лето красное\[101\]](#)
 - [Калечина-малечина\[102\]](#)
 - [Черный петух\[107\]](#)
 - [Богомолье](#)
 - [Купальские огни\[129\]](#)
 - [Воробьиная ночь\[149\]](#)
 - [Борода\[163\]](#)
 - [Кикимора](#)
 - [Чур\[176\]](#)

- [Осень темная\[177\]](#)
 - [Бабье лето\[178\]](#)
 - [Змей](#)
 - [Разрешение пут\[193\]](#)
 - [Плача\[195\]](#)
 - [Троецы пленница\[196\]](#)
 - [Ночь темная\[208\]](#)
 - [Снегурушка](#)
- [Зима лютая\[220\]](#)
 - [Корочун\[221\]](#)
 - [Медведюшка](#)
 - [Морщинка\[231\]](#)
 - [Пальцы\[232\]](#)
 - [Зайчик Иваныч\[233\]](#)
 - [Зайка\[234\]](#)
 - [Медвежья колыбельная песня\[248\]](#)
- [К МОРЮ-ОКЕАНУ\[249\]](#)
 - [Мышиными норами](#)
 - [Котофей Котофеич\[250\]](#)
 - [Волк-самоглот\[253\]](#)
 - [Весенний гром\[254\]](#)
 - [Ремез — первая пташка\[256\]](#)
 - [Белун\[258\]](#)
 - [Собачья доля\[259\]](#)
 - [Божья пчелка\[260\]](#)
 - [Проливной дождь\[262\]](#)
 - [Колокольный мертвец\[263\]](#)
 - [Задущницы\[265\]](#)
 - [Ангел-хранитель\[267\]](#)
 - [Спорыш\[268\]](#)
 - [Лютые звери\[274\]](#)
 - [Ведогонь\[276\]](#)
 - [Летавица\[277\]](#)
 - [Змеиными тропами](#)
 - [Копоул Копоулыч](#)
 - [Упырь\[285\]](#)
 - [Сон-трава\[287\]](#)
 - [Верба\[288\]](#)
 - [Радуница\[298\]](#)

- [Каменная баба\[303\]](#)
- [Лужанки\[305\]](#)
- [Крес\[306\]](#)
- [Нежит\[312\]](#)
- [Коловертыш\[324\]](#)
- [Ховала\[325\]](#)
- [Мара-Марена\[326\]](#)
- [Марун\[328\]](#)
- [Рожаница\[330\]](#)
- [Боли-бошка](#)
- [ИЗ КНИГ](#)
 - [ИЗ КНИГИ «ДОКУКА И БАЛАГУРЬЕ»\[342\]](#)
 - [Русские женщины](#)
 - [Суженая](#)
 - [Желанная](#)
 - [Потерянная](#)
 - [Робкая](#)
 - [Поперечная](#)
 - [Подружки](#)
 - [Красная сосенка](#)
 - [Кумушка](#)
 - [Сердечная](#)
 - [Царь Соломон и царь Гороскат](#)
 - [ЦАРЬ СОЛОМОН](#)
 - [ЦАРЬ ГОРОСКАТ](#)
 - [Воры](#)
 - [БАРМА](#)
 - [БОР МАМЫКА](#)
 - [Хозяева](#)
 - [Леший](#)
 - [Водяной](#)
 - [Лигостай страшный](#)
 - [Хлоптун](#)
 - [Мертвец](#)
 - [Мирские притчи](#)
 - [Муты](#)
 - [Господен звон](#)
 - [Глумы](#)
 - [Скоморох](#)

- [Пес-богатырь](#)
 - [Летчик](#)
 - [Мужик-медведь](#)
 - [Чудесные башмачки](#)
 - [Жадень-палыцы](#)
 - [Медведчик](#)
- [ИЗ КНИГИ](#)
 - [Шишок](#)
 - [Урвина](#)
 - [Кабачная кикимора](#)
 - [Магнит-камень](#)
 - [Яйцо ягиное](#)
 - [Спрыг-трава](#)
 - [Баннные анчутки](#)
- [ИЗ КНИГИ](#)
 - [Царь Додон](#)
 - [Чудесный урожай\[345\]](#)
 - [Султанский финик](#)
- [ПРИДВОРНЫЙ ЮВЕЛИР\[346\]](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
- [А. В. Амфитеатров\[347\]](#)
 - [ИЗ КНИГИ: КРАСИВЫЕ СКАЗКИ\[348\]](#)
 - [Мертвые боги\[349\]](#)
 - [Царевна Аделюц\[356\]](#)
 - [Свадьба контрабандиста\[357\]](#)
 - [Дубовичи\[358\]](#)
- [Н. К. Рерих\[360\]](#)
 - [ИЗ КНИГИ: СКАЗКИ\[361\]](#)
 - [Детская сказка](#)
 - [Гримр-викинг\[362\]](#)
 - [Марфа-посадница\[364\]](#)
 - [Старинный совет](#)
 - [Великий ключарь](#)
 - [Лют-великан\[365\]](#)
 - [Девассари Абунту\[368\]](#)
 - [Лаухми победительница\[371\]](#)
 - [Замки печали](#)
 - [Царица небесная\[372\]](#)

- [Миф Атлантиды](#)
 - [Страхи\[373\]](#)
 - [Клады\[374\]](#)
 - [Города пустынные\[375\]](#)
 - [Граница царства](#)
- [М.А. Кузмин\[376\]](#)
 - [СКАЗКИ\[377\]](#)
 - [Принц желание](#)
 - [Рыцарские правила](#)
 - [Шесть невест короля Жильберта](#)
 - [Дочь генуэзского купца](#)
 - [Золотое платье](#)
 - [Где все равны](#)
 - [О совестливом лапландце и патриотическом зеркале](#)
 - [Высокое окно](#)
 - [Послушный подпасок](#)
- [Ф.Сологуб\[378\]](#)
 - [СКАЗКИ\[379\]](#)
 - [Дикий бог\[380\]](#)
 - [Чудо отрока Лина\[381\]](#)
 - [Очарование печали\[383\]](#)
 - [Отравленный сад\[384\]](#)
 - [Царица поцелуев\[385\]](#)
 - [Красногубая гостья\[386\]](#)
 - [Турандина\[388\]](#)
 - [Мечта на камнях\[389\]](#)
 - [Венчанная\[393\]](#)
 - [Снегурочка\[394\]](#)
 - [Ёлкич\[395\]](#)
 - [ИЗ КНИГИ «ПОЛИТИЧЕСКИЕ СКАЗОЧКИ»\[398\]](#)
 - [Смертерадостный покойничек](#)
 - [Смертеньши](#)
 - [Хвасты и вести](#)
 - [Карачки и обормот](#)
 - [Телята и волк](#)
 - [Палочка-погонялочка и шапочка-многодумочка](#)
 - [ИЗ «КНИГИ СКАЗОК»\[399\]](#)
 - [Песенки](#)
 - [Благоуханное имя](#)

- [Сказки на грядках и сказки во дворце](#)
- [Крылья](#)
- [Склад див-дивных и хороший мальчик](#)
- [Сделался лучше](#)
- [Обидчики](#)
- [Золотой кол](#)
- [Мухомор в начальниках](#)
- [Стал маленьким](#)
- [Ворона](#)
- [Два стекла](#)
- [Равенство](#)
- [Самостоятельные листья](#)
- [Пожелтевший березовый лист, капля и нижнее небо](#)
- [Капля и пылинка](#)
- [Путешественник камень](#)
- [Лампа и спичка](#)
- [Ключ и отмычка](#)
- [Колодки и петли](#)
- [Плененная смерть](#)
- [Палочка](#)
- [Л.Н. Андреев\[400\]](#)
 - [Сказочки не совсем для детей\[401\]](#)
 - [Орешек](#)
 - [Негодяй](#)
 - [Фальшивый рубль и добрый дядя](#)
 - [Покой\[402\]](#)
- [З.Н.Гиппиус\[403\]](#)
 - [Иван Иванович и черт\[404\]](#)
 - [Время\[405\]](#)

Сказка серебряного века

*Со свитой птиц,
С огнем всезрящих глаз
Сквозь наши будни
Ткет нам праздник —
Сказка.*

К.Бальмонт

Бергулева-Дмитриева Т.Г **«ЧУВСТВО ТАИНСТВЕННОСТИ МИРА»**

Серебряный век русской культуры конца XIX — начала XX столетия был отмечен смешением разных литературных направлений, философских и религиозных течений. «Эпоха была синкретической, — вспоминал Н. А. Бердяев, — она напоминала искание мистерий и неоплатонизм эпохи эллинистической и немецкий романтизм начала XIX века... Было чувство таинственности мира»^[1].

Это чувство выражалось у писателей того времени и «в жажде сказочных чудес» (К.Д.Бальмонт):

Противен яркий свет очам больной души,
Люблю я темные таинственные сказки,

— писал Д. С. Мережковский.

Мне нужно то, чего нет на свете...
И это желание не знаю откуда...
Но сердце хочет и просит чуда,

— признавалась З. Н. Гиппиус.

На рубеже столетий «литературная общественная психология» носила печать неоромантизма, поскольку имела, по замечанию историка литературы С. А. Венгерова, «одно общее устремление куда-то ввысь, вдаль, вглубь, но только прочь от постылой плоскости серого прозябания»^[2].

В лес дремучий по камушкам Мальчика с пальчика,
Накрепко за руки взявшись и птичек пугая,
Уйдем мы отсюда, уйдем навсегда,

— приглашал в мир свой волшебной «Посолони» А. Ремизов.

Догорал закат старой культуры, а восход новой еще только

обозначался. Одни называли время рубежа веков упадком, декадансом, другие — возрождением, ренессансом, но в нем было и то и другое: «...и упадок, и возрождение, и конец старого, и начало нового, и спуск и подъем, и тлен и воскресение, и декадентство и символизм»^[3].

В искусстве декаданса отразилось разочарование в идеалах служения народному благу, просвещению, прогрессу. «Ницше обнажил всю тщету безумной веры в бесконечный, научный, посюсторонний прогресс»^[4], — писал Е. Н. Трубецкой. В свойственной декадентству проповеди индивидуализма выразился поиск «убежища от все усиливающегося мещанства, пошлости окружающей среды»^[5]. Все поколение конца XIX века, по мнению Д. С. Мережковского, носило в душе своей «возмущение против удушающего мертвого позитивизма»^[6]. Кризис рационализма, связанный с развитием науки, появлением новых философских концепций привел к разделению понятий непознанного и непознаваемого: мир оказался полным тайн, недоступных рациональному пониманию. Это мироощущение в образной форме выразил Д. С. Мережковский. Твердая почва науки, залитая ярким светом, окружена безграничным и темным океаном, лежащим за пределами нашего познания: «И вот современные люди стоят, беззащитные, — лицом к лицу с несказанным мраком, на пограничной черте света и тени, и уже более ничто не ограждает их сердца от страшного холода, веящего из бездн»^[7].

Ощущение стояния «на краю трагических бездн» (Ф. Сологуб) было связано не только с кризисом позитивизма, но и с чувством хрупкости мира, с апокалиптическими ожиданиями «светопреставленья», социальных катастроф, «Грядущего Хама», Антихриста.

Переживало кризис и религиозное сознание интеллигенции. «Религия перестала отвечать современной душе», — считал Ф. Сологуб. «Самое глубокое, — говорил о себе А. М. Ремизов, — это мое неверие. И оно неизбежно». «Если же и присуща современному человеку вера, — отмечал М. О. Гершензон, — она делит участь всех его душевных состояний: она заражена рефлексией, искажена и бессильна»^[8]. Об этом же писал и А. Н. Бенуа: «Трудна вообще в наше время вера. Мы переросли все исторически сложившиеся религиозные учения и, принимая их все, жаждем последнего вывода из них или только «следующего откровения». Мы находимся в несравненно более остром кризисе человеческого сознания, нежели афиняне времени апостола Павла, воздвигнувшие в своей неутешности храм «неизвестному Богу»^[9].

Проблематика религиозных исканий, вопросы духовной жизни

обсуждались на религиозно-философских собраниях в Москве, Киеве и Петербурге, на страницах журнала «Новый путь». Вяч. Иванов в своем «дионисийском христианстве» предлагал соединить религию «Святого Духа» (христианства) и «святой плоти» (язычества), «неохристианин» Д. С. Мережковский жаждал царства Третьего завета, в «мистическом пантеизме».

В. В. Розанова обожествлялась Вечно рождающая плоть: «Бог-животное — вот Бог Розанова, — писали о нем критики, — он поклоняется не Богочеловеку, а Человекобогу»^[10].

«Гордые идеи Человекобожества» (Н. А. Бердяев) прельщали умы старших символистов Ф. Сологуба, В. Я. Брюсова, К. Д. Бальмонта, Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус.

«Люблю себя, как Бога», — с вызовом писала З. Н. Гиппиус. «Человечество, устранив всякую мысль о Боге, незаметно обожествило самого себя»^[11], — утверждал о своем времени Д. В. Философов.

Душа современного человека пребывает в сумерках, считал А. Н. Бенуа: «Расшатаны религии, философские системы разбиваются друг о друга, и в этом чудовищном смятении у нас остается один абсолют, одно безусловно божественное откровение — это красота. Она должна вывести человечество к свету, она не даст ему погибнуть в отчаянии. Красота намекает на какие-то связи «всего со всем», и она обещает, что будет дана разгадка всем противоречиям до сих пор бывших откровений»^[12]. «Красота — вот наша религия»^[13], — восклицал М. А. Врубель.

Идея преображения личности и мира красотой и духовностью искусства, идущая от Ф. М. Достоевского и В. С. Соловьева, была свойственна господствовавшему тогда художественному стилю модерн. В этой идее выразился эстетический утопизм модерна.

Искусство не только несло в мир красоту. Согласно концепциям «философии жизни» и интуитивизма (Ф. Ницше, В. Дильтей, А. Бергсон, О. Шпенглер), искусству, в особенности поэзии и музыке, отводилась особая роль в иррациональном познании мира, прозрении подлинной сути бытия.

В статье «Ключи тайн» В. Я. Брюсов писал: «Искусство есть постижение мира иными, не рассудочными путями (...) Искусство только там, где порывание за пределы познаваемого, в жажде зачерпнуть хоть каплю «стихий чуждой, запредельной»^[14].

Роль «ключей тайн» отводилась художественным символам. Писателю-символисту «нужна способность видеть все преходящее в связи с безграничным духовным началом, на котором держится мир»^[15], —

считал А. Л. Волынский, связывая свое определение символа с платоновским двоемирием. В том же духе размышляла о символизме З. Н. Гиппиус: «Все явления стали для нас прозрачными, только символами, за которыми мы теперь видим еще что-то важное, таинственное, единственно существующее»^[16]. Теоретик символизма Вяч. Иванов пояснял: «Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении... Он многолик, многосмыслен и всегда темен в последней глубине»^[17]. «На смену «утилитарному пошлому реализму» в России приходит новое идеальное искусство», — считал Д. С. Мережковский. Он провозгласил три главных элемента нового искусства: «*мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности*»^[18].

Обращение к символу вело к мифу: «Мы идем тропой символа к мифу. Большое искусство — искусство мифотворческое. К символу же миф относится, как дуб к желудю»^[19], — говорил Вяч. Иванов. В символах и мифах стали видеть «переживания забытого и утерянного достояния народной души» (Вяч. Иванов). Миф был — тем универсальным ключом, шифром, с помощью которого хотели постичь глубинную сущность прошлого и настоящего, угадать будущее.

Миф становился не только способом постижения, но переосмысления и преображения жизни. «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду», — писал Ф. Сологуб в романе «Творимая легенда».

Превозносились и возвеличивались роль художника-демиурга, т. е. творца, постигающего символическую природу всего сущего, средствами искусства создающего новую реальность, новую мифологическую картину мира. «Я бог таинственного мира», — заявлял Ф. Сологуб.

Времена, когда мифы создавались самим народом, остались в далеком прошлом, и мифотворчество писателей серебряного века носило индивидуалистический, личностный характер. Новый мифологизм не обладал прежней органичной естественностью, хотя художники и писатели, обращаясь к мифу, опирались на мифологический опыт прошлого, культурную память человечества, с самым широким диапазоном исторических и географических границ: это и древняя Индия, и античность, и средневековье, и Возрождение, и XVII и XVIII века в России и Европе. Погружение в прошлое у писателей серебряного века, художников «Мира искусства» рождало глубокие историко-культурные параллели с современностью («Прошлое страстно глядится в будущее», —

писал А. А. Блок), являлось как бы разновидностью компенсации, так как для эпохи было характерно романтическое чувство «утраты века, иерархии, класса, «жизни» — чувство фатальной, неизбывной неполноты бытия»^[20].

Возрождение мифа способствовало возникновению особого интереса к сказке, «младшей сестре» мифа, ее сюжетам и образам.

Обращение писателей серебряного века к литературной сказке было обусловлено притягательностью эстетики чуда и тайны, свойственной этому жанру, возможностью создать свой миф, проявить изощренность мысли и фантазии. Поиски «новых форм» отразились и на жанре литературной сказки: в творчестве писателей-модернистов он утратил жанровую строгость, смыкался с мифопоэтической фантазией, символично-философской притчей, легендой, новеллой, часто с печатью романтического двоемирия и иронии.

Щедрую дань отдали сказке художники, композиторы и писатели серебряного века. В усадьбах Абрамцево (имении мецената С. И. Мамонтова) и Талашкино (имении княгини М. К. Тенишевой) собирались предметы русской старины, декоративноприкладного искусства. Интерпретируя сказочные сюжеты в духе национального модерна, создавали свои произведения М. А. Врубель, В. М. Васнецов, иллюстраторы сказок И. Я. Билибин, С. В. Малютин, Е. Д. Поленова, декораторы-оформители опер и балетов на темы русского фольклора А. Я. Головин, Н. К. Рерих, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст.

Вдохновляясь языческой образностью народного искусства, его мощным жизнеутверждающим духом, сочинял оперы Н. А. Римский-Корсаков («Снегурочка», «Садко», «Кашей Бессмертный», «Золотой петушок»), балеты — И. Ф. Стравинский («Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная»).

Работая над декорациями и костюмами к опере «Сказка о царе Салтане», М. Врубель в 1900 г. создает удивительную по красоте жемчужно-серебристую «Царевну-лебедь» — глубокий образ-символ женщины-птицы, с устремленным на зрителя загадочным и безмерно грустным взглядом, словно провидящим грядущие потрясения века.

Врубелю в наибольшей степени, по сравнению с другими художниками, удалось воплотить отголоски древних пантеистических воззрений, мифологическое обожествление сил природы; характерное для модерна представление о единстве всего живого — животных и растительных форм; словно из земли вырастает могучий Богатырь, из морской пены — Царевна-лебедь, из лесного пня — Пан.

Поэты и прозаики интересовались фольклором как источником национальной мифологии; в архаическом, в особенности обрядовом фольклоре их привлекала возможность прикосновения к «темным корням бытия»^[21].

Ради этого А. М. Ремизов и М. М. Пришвин собирали фольклор на Русском Севере, А. А. Блок написал исследование о заговорах и заклинаниях, стихотворный цикл «Пузыри земли», С. М. Городецкий занимался изучением образов сказочных чудовищ, сочинил «Ярь», навеянную славянской мифологией.

Среди писателей начала века своей необычайной любовью к народной сказке, творческим переосмыслением русского фольклора и народной мифологии выделялся А. М. Ремизов.

В автобиографической книге «Подстриженными глазами» он вспоминал, что сказка вошла в его жизнь с молоком кормилицы: «Каких-каких сказок я не наслушался в те первые мои годы!.. Я счастлив, что родился русским на просторной, полной до краев, глубокой без дна, как океан, Русской земле...»^[22].

Образы русской мифологии и фольклора, преобразованные щедрой фантазией А. Ремизова, переосмысленные им в русле модернизма, с сильным лирико-субъективным началом, легли в основу мифопоэтических сказок «Посолонь» и «К Морю-Океану». Они были настолько перенасыщены фольклорным, этнографическим материалом, что писатель снабдил их основательными пояснениями-примечаниями.

«Посолонь», по солнцу, в согласии с временами года, сменяют друг друга календарные обряды, разворачиваются магические действия, пробуждаются диковинные существа, оживает архаический языческий мир, куда причудливо вплетены детские игры, считалки, залички, колядки, заговоры. Ориентация писателя на детское сознание придает поэтике «Посолони» дополнительное сказочное звучание.

В своей «цветной» «Посолони» А. Ремизов, продолжатель традиций Гоголя и Лескова, завораживает читателя словотворчеством, упивается словесной игрой, магией слова.

На основе традиционной образности народного календаря А. Ремизов создает поэтические картины всех четырех времен года: «Давным-давно прилетел кулик из-за моря, принес золотые ключи, замкнул холодную зиму, отомкнул землю, выпустил из неволя воду, траву, теплое время». Столь же поэтичны метафоры в описаниях природы к сказке «К Морю-Океану»: «А ветер-голубь хлопает крыльями, а глаза его полны слез: скоро он останется

в поле один».

В сказках «Посолонь», «К Морю-Океану» бьет ключом из недр земли стихия жизни, все одушевляется и олицетворяется, приобретает качества самодвижения и саморазвития. Такой интерес к вечной игре жизненных сил, разного рода хороводам, вихрям, вакханалиям, фантастическим существам — полузверям, полурастениям, полуживотным — был свойствен не только творчеству Ремизова-сказочника, но и вообще эстетике того времени, нашедшей свое пластическое выражение в стиле модерн (художники особенно любили изображать тритонов и наяд, сфинксов и кентавров).

Поистине неумной фантазией отличался А. Ремизов в придумывании, помимо существовавших в народной мифологии, персонажей «низшей демонологии», различных природных духов земли, воды, леса, воздуха.

В сказке «К Морю-Океану» ее герои, выбравшись ночью из волчьего брюха на поемный берег реки, видят кишмя-кишащую весеннюю нечисть: «И кого только не было там — домовые, домихи, гуменные, банные, лесунки, лесовые, лешие, листотрясы, корневые, дупляные, моховые, полевые, водяные, хлевники, чужаки, наброжие и облом, костолом, кождедер, тяжкун, шатун, хитник, лядашник, голохвост, ярун, долгоносик, шпыня, куреха и шептун со своею шептухой». И про всех них А. Ремизов способен рассказать подробно, разъяснить, в каком родстве они друг с другом:

«Во всякой бане живет свой банник. Не поладишь — кричит по-павлиньи. У банника есть дети — банные анчутки: сами маленькие, черненькие, мохнатенькие, ноги ежиные, а голова гола, что у татарчонка, а женятся они на кикиморах, и такие же сами проказы, что твои кикиморы» (сказка «Банные анчутки»).

Очарованный сказочным миром, А. Ремизов выпустил несколько сборников со своим пересказом русских сказок, взятых им в основном из собрания Н. Е. Ончукова «Северные сказки». Вспоминая записанную им от московского печника, прозванного Глухим, сказку о Барме, А. Ремизов заканчивает свой сборник «Докука и балагурье» благодарственным словом: «Помяну Глухого печника-сказочника, передавшего мне свою сказку, и поблагодарю его, помяну и других неизвестных сказочников, со слов которых сказки я сказываю, и поблагодарю их, помяну и тех, кто записал сказки — сохранил нам этот дар русского народа, и поблагодарю их, и поклонюсь всему русскому народу за его

докуку умственную и балагурье веселое»^[23].

Но веселого балагурья в сборнике А. Ремизова почти нет: из всего сюжетного многообразия русских сказок А. Ремизов выбирает прежде всего сказки о мертвецах, встающих из гроба, оборотнях, вампирах, сказки-былички о леших, водяных. Власть мира мертвых над миром живых, их борьба и страхи. В этом пристрастии к всяческой «чертовщине» и «нечисти» А. Ремизов — дитя своего времени.

Характерные для времени темы отразились и в «Красивых сказках» А. Амфитеатрова: попытки соединить христианство и «диониссийство», интерес к культам античных богов (они встают и царствуют, когда мир спит, — говорится в сказке «Мертвые боги»), пантеистические мотивы модерна (брачный союз женщины с деревом — дубом в сказке «Дубовичи»).

Персонажи сказок А. Амфитеатрова нередко становятся жертвами нечистого в различных его личинах («Царевна Адельоц», «Свадьба контрабандиста»). Писатель основательно изучал фольклор, собирался написать диссертацию о «Русалиях», выпустил монографию «Дьявол», со сведениями, собранными у разных Народов. «Моя беспокойная жизнь проходила международно, бросая меня из страны в страну, от племени к племени, — вспоминал в предисловии к своей книге писатель-«восьмидесятник» А. Амфитеатров. — Я годами жил в нижних наддонных слоях цивилизации, где еще не замерли отголоски средневековых колоколов и не вовсе расточились темные демонические тени. Основные легенды, включенные в этот сборник, слышаны и записаны мною в разных моих скитаниях по белу свету; лишь немного обработано по книжному материалу. Интересовали меня, преимущественно, те народные верования и предания, в которых звучат пантеистические и гуманистические ноты»^[24].

Интерес к древней Индии, язычеству, «варяжству» первобытной Руси был свойствен Н. К. Рериху, «мудрейшему отгадчику древних запечатленных тайн», как называл его М. А. Кузмин.

На картинах и в сказках Н. Рериха воссоздаются мифологические представления древних: обожествление сил природы, вера в таинственные знаменья в небе — магические знаки, спасающие от злых чар. В иных его картинах нет образно воплощенных сказочных персонажей, но кажется, что волшебные силы незримо присутствуют в природе: в причудливых очертаниях облаков, гор, силуэтах деревьев, валунов.

В творчестве не только Рериха-писателя, но и Рериха-художника

легенды, предания и сказки взаимодополняли друг друга, как, например, легенда о превратившейся в камень «Девассари Абунту» (картина «Граница царства») или славословие Богородице «Царица небесная» (роспись храма Святого Духа в Талашкине). Увлеченный мифологией и культурой Индии, Н. Рерих православной Богородице придал черты индийского божества. Матерь мира у Рериха — родительница и символ всего живого, земного.

Язык легенд был для Н. Рериха кладезем премудрости. «О малом, незначительном человеке не слагает легенд... Сколько забытых истин сокрыто в древних символах. Они могут быть оживлены опять»^[25], — писал он.

Исследователь творчества Н. Рериха отмечает, что граница между некоторыми (например, «Страхи») сказками и белыми стихами у него зыбка и условна. Не случайно, составляя поэтический сборник «Цветы Мории», Рерих включил туда легенду «Лаухми Победительница».

В его сказках-легендах динамизм повествования держится не сюжетом, а внутренним переживанием, мыслью, которые неотступно владеют героями. Сказки приближены к нравственно-философской притче, но при этом назидательность смягчена лиризмом повествования, недосказанностью^[26].

Сентенциозность лежит в основе «Детской сказки» (самое ценное — это подарить человеку веру в себя), «Гримр-викинг» (труднее всего найти таких друзей, которые искренне порадовались бы твоему счастью).

Сказки-притчи М. А. Кузмина также содержат назидательное поучение, выраженное в ясной, изящной форме. Сборник его сказок открывается сказкой «Принц Желание» с характерной для времени модерна разработкой мотива желания: когда человеку уже нечего желать, он становится несчастен.

Первый биограф М. Кузмина замечал одну важную черту его мироощущения: «По прихоти своего воображения Кузмин переносит нас то на Восток, в древнюю Элладу, в Рим, в Александрию, XVIII век, странствует с героями из одной страны в другую и одинаково хорошо чувствует себя как в современном городе, так и в какой-нибудь деревушке вблизи Галикарнаса, в избе старообрядца или во дворце царя-язычника»^[27] Кузмин свободно чувствует себя везде «гражданином вселенной», — заключал Е. Зноско-Боровский.

М. Кузмин был таким блестящим мастером стилизации, внешний облик его к тому же был столь необычен, что современники приписывали ему загадочное, экзотическое происхождение, видимо, полагая, что голос

крови помогает писателю воссоздавать атмосферу давних эпох: «...Не есть ли он одна из египетских мумий, которой каким-то колдовством возвращена жизнь и память»^[28], — размышлял М. Волошин. «Он родился сыном эллина и египтянки, и только в XVIII веке влилась в его жилы французская кровь, а в 1875 году — русская. Все это забылось в цепи превращений, но осталась вещая память подсознательной жизни»^[29].

В своих сказках М. Кузмин с легкостью погружается в разные исторические эпохи и страны. Такие органически присущие художественному миру писателя особенности, как любовь к фабульности, отсутствие психологизма, талант стилизатора — делают его сказки заметным явлением в жанре русской литературной сказки серебряного века.

Творческий подход к этому жанру отличал Ф. Сологуба. Основная неоромантическая тема писателя — устремленность от постылой действительности в мир «творимой легенды» — была непосредственно связана с эстетикой сказки. «Всегда немножко волшебник и колдун, — писала о нем З. Н. Гиппиус. — Ведь в романах у него, и в рассказах, и в стихах — одна черта отличающая: тесное сплетение реального, обыденного с волшебным. Сказка входит в жизнь, сказка обедает с нами за столом и не перестает быть сказкой»^[30].

Не удовлетворенные пленом привычной жизни, герои Ф. Сологуба страстно жаждут чудесного: «Хоть бы сказка вошла когда-нибудь в жизнь, хоть бы на короткое время расстроила она размеренный ход predetermined событий!» («Турандина»). И сказка входит в их реальную жизнь, сосуществует с ней.

Такого двоемирия традиционная волшебная сказка не знает: бытовое и чудесное в ней неразделимы, и чудесам в ее особом мире никто не удивляется.

«Двоемирные» рассказы писателя «Турандина», «Мечта на камнях», «Венчанная» можно отнести к разновидности литературной сказки, поскольку они пронизаны пафосом устремленности к чудесному, в них действуют персонажи волшебных сказок. Так, в сказке «Венчанная» три царевны лесного царства внушают героине идею царственного достоинства ее личности, — свойственную неоренессансным умонастроениям начала XX века.

Дух времени отразился в сказках-новеллах Ф. Сологуба «Мечта на камнях», «Турандина», «Венчанная», «Красногубая гостья». В них развертываются характерные для рубежа веков мифологические мотивы

ухода, пути, скитальчества. Герои задаются вечными вопросами: «Кто мы? Откуда? Куда идем?» Ответить на них не позволяет плен жизни.

Он мешает взрослым понимать то чудесное, что открыто детям. Об этом — рассказы «Снегурочка», «Елкич».

Живы дети, только дети —
Мы мертвы, давно мертвы,

— писал Ф. Сологуб, видя в детях «вечные, неустанные сосуды Божьей радости». «Все дети хороши, с них мир начинается. По ним наш суд о рае... Дети, как напоминание об утраченном рае...» — словно вторил ему А. Ремизов. Мир детства, чистого гармоничного сознания, вновь, как и в эпоху романтизма, стал привлекать внимание писателей.

Свойственным модерну мотивом эстетизации печали проникнута сказка «Очарование печали» — на сюжет о злой мачехе и падчерице.

Мотив рокового поцелуя женщины-вамп (образа, также характерного для художников стиля модерн) становится главным в сказках-новеллах «Отравленный сад», «Царица поцелуев», «Красногубая гостья».

В роковой соотнесенности находятся в творчестве Ф. Сологуба любовь и смерть: любовная страсть утоляется даже ценою гибели. Но смерть у Ф. Сологуба — утешительница, она приносит «блаженный покой вечного самозабвения», несет освобождение от «вечной каторги» жизни, от ее лживых очарований. В сказке «Плененная смерть» жизнь названа «бабищей безобразной и нечестивой».

Такая художественная концепция сложилась у Ф. Сологуба под влиянием философии А. Шопенгауэра. А. Л. Волынский даже окрестил Ф. Сологуба «каким-то русским Шопенгауэром, вышедшим из удушливого подвала».

В своем трактате «Мир как воля и представление» немецкий философ, называя наш мир «наихудшим из возможных», утверждал, что всем правит слепая «воля к жизни» — это выражается в «войне всех против всех», человеку свойствен беспредельный эгоизм и вечная неудовлетворенность, порожденные бессмысленной волей к жизни. Счастье иллюзорно, «многообразное страдание» неотвратимо.

Не случайно в философской притче «Чудо отрока Лина», насыщенной модернистским миротворчеством, тема возмездия убийцам звучит параллельно теме «высшего» злого начала, воплощенного в образе Солнца-дракона, злобного змия, царящего во Вселенной — центрального мифа

поэзии и прозы Ф. Сологуба. Неомифологизм притчи опирается на традиционные элементы древнего мифа: убийство-растерзание, оживление-воскрешение.

Эти же мифологические элементы, в том числе жертвоприношение-заклание, лежат в основе притчи «Дикий Бог». Зло рабской психологии в обычаях общества и в каждом человеке — тема, занимавшая в то время умы интеллигенции.

Остро переживавший поражение революции 1905 года, Ф. Сологуб в 1906 году публикует цикл рассказов «Дни печали», куда, в частности, вошли рассказы «Елкич», «Чудо отрока Лина», «Дикий Бог». В этом же году вышли отдельным изданием «Политические сказочки» Ф. Сологуба. В них традиции сатиры М. Е. Салтыкова-Щедрина соединяются с особенностями символистской прозы. В жанре сказок-миниатюр, предназначенных и для детей и для взрослых, составлена «Книга сказок» Ф. Сологуба.

Используя традиционные сказочные образы, писатель наполняет их современным политическим звучанием: «Люди добрые, сломайте-ка палочку-погонялочку, надевайте шапочку-многодумочку!»

В этом же достаточно редком жанре сказки-миниатюры создает свои иронические «Сказочки не совсем для детей» Л. Н. Андреев, высмеивая утилитарное прагматичное мышление обывателя.

В основе сказки «Покой» — инфернальная ситуация разговора с чертом. Неожиданную и оригинальную интерпретацию «вечной» темы — о загробной судьбе души — предлагает писатель.

Юмористический колорит сказке придают аргументы черта и колебания героя при «последнем выборе» — между небытием и адскими муками.

Как и Л. Н. Андреев, З. Н. Гиппиус почти не обращалась к жанру сказки, и тем интереснее ее сказка «Иван Иванович и черт», сюжет которой также основан на диалоге с чертом.

Содержание беседы — что движет людьми, на чем зиждется общество — явно соотносится с главой «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» из романа Достоевского «Братья Карамазовы» и тоже содержит скрытую полемику с Чернышевским.

В сказке «Время» З. Гиппиус затрагивает всегда волновавшие ее поиски абсолюта — того, что неподвластно времени. Это — неразделенная любовь:

Неразделимая нетленна,

Неуловимая ясна,
Непобедимо-неизменна
Живет любовь, — всегда одна,

— эти строки З. Гиппиус из стихотворения «Любовь — одна» (1912) словно взяты из сказки «Время». В этой сказке воплотились образы и темы, свойственные не только З. Гиппиус, но и другим писателям-символистам: тема искушения с традиционными образами черта, дьявола; образ смерти-утешительницы, избавляющей от зла жизни; тема погруженности в мир красоты и тайны.

Во всем жанровом многообразии сказочной прозы серебряного века нашли отражение сложные философские, нравственные, духовные вопросы времени, борьба добра и зла, света и тьмы, поиски идеала. Желание уйти в мир мечты сочеталось у писателей с глубокой тревогой за будущее Родины — ее Долю: «Вещая, лебедь, плещущая крыльями у синего моря, мать земли — мать земля! Ты читаешь волховную книгу, попроси творца мира, сидящего на облаках Солнце-Всеведа, он мечет семена на землю и земля зачинает и мир весь рождается, — попроси за нас, за нашу Русскую землю, чтобы Русь не погибла!.. Измени наш жалкий удел в счастливый, нареки наново участь бесталанной Руси» («К Морю-Океану»).

В этих сказках выразилась эстетика времени — устремленная в будущее, но не нашедшая себя в настоящем, эстетика не обретения идеала, а стремления к нему. «Я вижу свет — а приблизиться не могу», — говорит героиня сказки «Время».

С 90-х годов XIX века в русской литературе возник интерес к жанру новеллы^[31]. «Новые писатели всех направлений, — писал В. А. Венгеров, — выдвинувшиеся в 1890–1910 гг., каждый по-своему отдавались влечению к чрезвычайности, одни в форме стремления к утонченному и изысканному, другие в форме влечения к яркому и колоритному, но все в форме отвлечения от ежедневного и обыденного»^[32].

Не случайно в 1905 году С. П. Дягилев на вернисаже произнес знаменательную фразу: «Господа! Быт в России умер!»^[33]

Художественным потребностям времени, эстетике «чрезвычайности» отвечал жанр новеллы — короткого рассказа о необычном происшествии в событийном, психологическом или мистическом плане, с неожиданным поворотом в развитии событий, который проливал на все новый свет и

сразу приводил действие к развязке.

Традиционный реалистический рассказ, «рассказ характеров», по определению В. Я. Брюсова^[34], с описанием повседневной жизни и поведения героев, влияния быта и среды на характеры был существенно потеснен новеллой — «рассказом положений». В новелле важен не социально-психологический детерминизм, а таинственная игра судьбы с человеком, стихийных сил, чуждых метафизике добра и зла.

Это ощущение вмешательства рока, воздействия высших сил на человеческую жизнь присутствует в творчестве М. А. Кузмина, одного из самых блестящих талантов серебряного века.

Все можем мы. Одно лишь не дано нам:
Сойти с путей, где водит тайный рок,
И самовольно пренебречь законом,
Коль не настал тому урочный срок,

— писал он в «Осеннем мае».

Поэтому и не любил М. Кузмин «самоуверенных и многомысленных людей, желающих только настоять на исполнении своей воли и не чувствующих воли высшей силы»^[35].

Вероятно, именно с этой особенностью его мировосприятия связан другой, «может быть, главный его принцип: в конце происходит не то и не так; или, наоборот, ничего не происходит, хотя что-то и ожидалось; или же происходит и «то», и «так», но не «потому». Отсюда — не только роль ошибки в рассказах, но и их ироничность, причем ирония может быть двойная, а то и тройная»^[36].

У М. Кузмина ирония «из опасного, разрушительного оружия превращается в способ «игры в мир»^[37].

Позиция М. Кузмина сближается в этом отношении с эстетизмом романтиков, потому что «именно эстетизм романтиков, истолковавших высшую реальность как игру, создал возможность принять любую реальность, ибо ни одну он не принимал всерьез»^[38].

Новеллистике М. Кузмина свойственны мотивы маскарада («Набег на Барсуковку», «Забытый параграф», «Аврорин бисер»), двойничества («Тень Филлиды», «Дама в желтом тюрбане», «Двое-трое», «Забытый параграф», «Завтра будет хорошая погода»), обманчивой видимости, не соответствующей сущности («Пример ближним», «Напрасные удачи»,

«Набег на Барсуковку»).

Исследователи говорят о «нерусской внутренней несерьезности» М. Кузмина (Вл. Марков), о том, что «у его Эроса нет трагического лица»^[39]. Эти особенности его творчества связаны с жизненной философией писателя, которая в конечном счете сводилась к «просветленному фатализму, к подчеркнуто наивным и тривиальным, даже детским постулатам, не лишенным, впрочем, — при всей их ироничности и «пасторальной» стилизованности — изначальной мудрости»^[40].

В статье «О прекрасной ясности. Заметки о прозе» М. Кузмин говорит о благородной целительной роли искусства: «Есть художники, несущие людям хаос, недоумевающий ужас и расщепленность своего духа, и есть другие — дающие миру свою стройность... Эстетический, нравственный и религиозный долг обязывает человека (и особенно художника) искать и найти в себе мир с собою и с миром...»^[41] М. Кузмин призывал современных писателей к ясности формы, строгости и стройности: «Будьте экономны в средствах и скупы в словах, точны и подлинны — и вы найдете секрет дивной вещи — прекрасной ясности — которую назвал бы я «кларизмом»^[42].

Стройность и ясность художественной формы отличает новеллистику С. А. Ауслендера, племянника М. Кузмина и последователя его стилизаторской манеры. Н. С. Гумилев назвал С. Ауслендера «писателем-архитектором, ценящим в сочетании слов не красочный эффект, не музыкальный ритм или лирическое волнение, а чистоту линий и гармоническое равновесие частей, подчиненных одной идее»^[43].

Эти свойства стиля С. Ауслендера Н. Гумилев связывал с тем, что С. Ауслендер — петербуржец, он учился у Растрелли, Гваренги и других создателей дивных дворцов и храмов столь любимого им Петербурга, рожденного из свай и стропил по воле Петра. Образ Петра I, царя-реформатора, который «Россию вздернул на дыбы», привлекал особое внимание творцов серебряного века. Подчеркивая величавость эпохи, к образу основателя Петербурга обращался Е. Е. Лансере, свое ощущение надвигающихся событий, предгрозовой атмосферы первой русской революции передал А. Бенуа в иллюстрациях к «Медному всаднику» Пушкина. С. Ауслендер в новелле «Ганс Вреден» изображает грозного Петра I, неукротимого в своих страстях, губительных для судьбы «маленького человека».

Герои новелл С. Ауслендера — мечтатели, одержимые своими идеями, они «не разбирают ни происходящего, ни прошедшего», им свойственно

«горделивое отрицание жестокой действительности», как сказано в новелле «Вечер у господина де Севираж», где описывается французская аристократия времен якобинского террора. Интерес С. Ауслендера и М. Кузмина к Франции XVIII века роднил их с художниками «Мира искусства» А. Н. Бенуа и К. А. Сомовым. Мир очаровательных маркиз и галантных кавалеров, легкомысленных забав и свиданий, любовных писем и «осмеянных поцелуев», изысканно-распущенный, слишком изящный и хрупкий, нежизнеспособный и обреченный погибнуть от рук «друзей народа». Интерес русских писателей и художников серебряного века именно к этому периоду прошлого не случаен: он обусловлен внутренней тождественностью историко-культурной ситуации.

Если С. Ауслендера называли мастером «художественных реставраций», начитавшимся старых книг с пожелтевшими страницами, то в еще большей степени такая характеристика может относиться к Б. А. Садовскому, создателю своеобразной «музейной» литературы, искусному подражателю старинных мемуаристов, слогу русской прозы первой трети XIX века. Его «любовные стилизации» из русской истории XIX века З. Н. Гиппиус сравнила с куском старинной драгоценной материи: «Он дает тихое отдохновение и невинную, праведную отраду»^[44].

Романтический оттенок стилизаций Б. Садовского выразился в любовании русской дворянской культурой XVIII–XIX веков как неким утраченным раем: поэзией помещичьих усадеб с патриархальными нравами, радушными хозяевами и нежными барышнями, наивными и цельными характерами, красочными реалиями безвозвратно ушедшего прошлого.

Вместе с тем легкая ирония подрывает серьезность стилизованного повествования.

К теме угасания дворянских гнезд, затронутой в новелле Б. Садовского «Яблочный царек», неоднократно обращался в своем творчестве Ю.Л. Слезкин. В фигурах двух сестер, покорно ожидающих осени своей жизни в старой усадьбе есть что-то напоминающее печальные женские образы полотен В. Э. Борисова-Мусатова. Минорную тональность новелл Ю. Слезкина отмечали критики: «В его произведениях мало радости... И все почти герои его кончают плохо. У них почему-то не ладится жизнь и слишком часто они вспоминают о смерти. Они умеют любить — самое большое место в их жизни занимает любовь; они умеют также умирать, не умеют только одного: жить... Не умеют, не могут, потому что — дети своего времени — они несут в душе своей какой-то надлом, отчужденность

от всего мира»^[45].

Тем не менее новеллы Ю. Слезкина остросюжетны и занимательны, и многие свои истории он характеризует словом «странные».

Это определение можно отнести и к загадочным, «странным» героям Г. И. Чулкова («Морская царевна», «Сестра», «Голос из могилы»). Его героини тоскуют, томятся в реальной жизни, мечтают о том, чего нет, ощущая земную жизнь изгнанием из «мира сущностей». «Можно было подумать, что она не верит в то, что вокруг нее, в этот видимый мир. И как странно она улыбалась... Так улыбаются, должно быть, падшие ангелы, вспоминая свой светлый рай» — так в новелле «Морская царевна» настойчиво проводится идея двоемирия, поэтически образно выраженная Вл. С. Соловьевым — предтечей символистов:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Мир реальный и мир потусторонний нередко не имеют четких границ в новеллах Г. Чулкова.

В «супермистической», по определению Д. Овсянико-Куликовского, новелле «Сестра» тени прошлого окружают героя и зовут на свои «таинственные круги». Идея метемпсихоза, бесконечных воплощений души, была характерна для творчества символистов, в особенности для Ф. Сологуба.

Новеллам Г. Чулкова свойственны мистические мотивы — персонажи общаются с призраками, занимаются спиритизмом, усилием воли возвращают к жизни. «Мистическое преодоление смерти — одна из любимых идей Чулкова»^[46].

Такой интерес ко всему таинственному и чудесному, жажда общения с потусторонним миром были характерной чертой времени. «В прежние времена обыватель верил в существование чертей, ведьм, привидений (что не мешало ему обращать их в предмет шутки и сатиры), — замечал Д. Н. Овсянико-Куликовский, — современный мистик — это тот, кто мнит, что «тайные силы» или «таинственные субстанции» способны вступить с ним в непосредственное общение, явиться к нему, в его комнату, — во сне или наяву, — кто думает, что божество или «тайные силы космоса» могут открыться ему в категориях его обыденной мысли и в обстановке

обывательской жизни»^[47].

Мистическое начало в творчестве Г. Чулкова обнаруживается и в том трепете, с каким он созерцает стихийное воздействие природы на человека, ее таинственную красоту, могучую силу и жестокое равнодушие к человеку, к его жизни и смерти («Северный Крест», «Морская царевна»).

В новеллах Г. Чулкова «Морская царевна», «Сестра», «Подсолнухи» нашли отражение характерные для стиля модерн образы и мотивы: мотив растворенности в природе, слиянности с ней, мотив поцелуя (вспомним «Поцелуи» К. Сомова, «Китайский павильон». «Ревнивец» А. Бенуа, «Поцелуй» Г. Климта, «Поцелуй» П. Беренса); излюбленный тип женщин модерна — загадочных, томных, с таинственными глазами и тонкими руками, нежных и бледных, как лилии. В новелле «Морская царевна» описание разбушевавшегося моря, пенистых волн, чьи гребни сравниваются с гривами животных, напоминает картину Уолтера Крэна «Кони Нептуна» (1893).

Эстеты, утонченные художники и поэты, «любители изысканных ощущений», живущие в мире своих фантазий и грез, в новеллах Г. Чулкова «Судьба» и С. Городецкого «Исцеление» сталкиваются с отрезвляюще жестокой действительностью: уличными баррикадами, лазаретами первой мировой войны.

С темой войны связана и новелла С. М. Городецкого «Тайная правда». Как и в новелле М. Кузмина «Совпадение», война — повод для описаний таинственно-необъяснимых совпадений, Явлений парапсихологии.

Духом романтического двоемирия проникнута новелла С. Городецкого «Мотя». Пресная и сытая жизнь с чередой незаметных дней становится невыносимой для Моти с приходом бродячего цирка. В ней просыпаются «голоса дикой воли и пьяного восторга». Ассоциации с поэтическим универсумом М. Шагала рождает пейзаж и образы новеллы: желтый месяц, спелые плоды, покосившиеся заборы провинциального городка, незадачливые музыканты — скрипач и контрабасист, цирк и влюбленные... Мотя даже не может понять, что же с ней происходит: «Сон ли это был, или еще что...»

То же ощущает и героиня Ф. Сологуба «Белая собака»: «И было все ни сон, ни явь», в ее ощущениях мучительной тоски по диким, пустынным степям — но мотивация этой тоски в новелле Ф. Сологуба — мистическая: в одном из предыдущих воплощений героиня была собакой.

Сталкиваясь с людской враждебностью, с «жуткой и жестокой» действительностью, герои Ф. Сологуба устремляются мечтой в мир счастливого детства («Ванда»), вольной природы («Белая собака»), земли

обетованной («Рождественский мальчик»): «Пойти бы всем вместе, дошли бы до такого места, где земля новая, и небо новое, и лев свирепый не кусает, и змейка-скоропейка не жалит».

Жертвами «буйного неистовства неправой жизни» в первую очередь становятся дети. Спасение от «злой, безобразной и грубой жизни» можно найти на путях милосердия, сострадания и любви — об этом новелла «Путь в Дамаск».

Красота самопожертвования и любви — как духовного начала, соединяющего человека с Богом, а не только «земного», плотского чувства — тема «Святой плоти» З. Н. Гиппиус.

Подлинная любовь для З. Гиппиус — это «бесконечная близость в странах неведомых, доверие и правдивость», чувственная же любовь — «рабская», лживая, оскорбительная.

Героям новелл «Яблони цветут» и «Слишком ранние» свойственно ощущение утраты воли к жизни, усталости, утомления. Они сами осознают в себе эти «яды», называют себя «декадентами», страдают от своей рефлексии, «предельной дисгармонии», что трагически сказывается на их любовных отношениях, поскольку в стремлении к «последней правде» они не останавливаются ни перед чем. Эти проблемы волновали писательницу и в жизни: постоянно рассуждала З. Гиппиус о своем желании оторваться от власти тела — «отказаться от старого нашего пола»^[48] призывает она в письме к Д. В. Filosoфoву, соавтору новеллы «Слишком ранние».

Художественный мир З. Гиппиус дихотомичен, строится на противопоставлении самых основных, концептуальных понятий человеческого бытия: материального и идеального, плоти и духа, эгоизма и альтруизма, «нельзя» и «надо», случайности и предопределения. Еще современники писательницы подчеркивали философичность ее прозы: «На всем творчестве З. Н. Гиппиус лежит печать глубокой мысли, отнюдь не рассудочности; в нем, если так можно выразиться, преобладает чистый ум»^[49], — замечал Б. А. Садовской.

Нередко ее новеллы и рассказы строятся на столкновении двух противоположных позиций, как, например, «Кабан», «На веревках». Для оптимистического позитивистского сознания все в мире может быть разъяснено, изучено, исследовано. «Черта не изучишь, он сквозь землю проваливается», — возражает учительнице мальчик. Его символический сон в рассказе «Кабан» говорит о том, что бездна отделяет ученую премудрость от тайн непознаваемого.

Трагическая случайность опровергает разглагольствования

самоуверенного студента о «гигиеническом идеале гармонической жизни» в новелле «На веревках».

Эти новеллы могут служить иллюстрацией к мысли А. Шопенгауэра о том, что, чем сильнее стремление к иллюзиям воли, тем безжалостнее поражение разума перед стихией и небытием. Однако и отказ от своей свободной воли (героиня новеллы «Вымысел» обращается к предсказателю, что навсегда предопределяет ее судьбу) приводит к необходимости исполнить «всю меру страдания за то, что преступила непереступный закон неведения».

В новеллистике серебряного века отражались темы, наиболее значимые для культурного сознания рубежа веков: роль таинственного и необъяснимого в жизни людей, случайности и предопределенности; дуализм явлений и сущностей; «двоемирие», относительность границ между реальным и ирреальным, действительным и неправдоподобным.

Жанр новеллы претерпел серьезные изменения в начале XX века под влиянием двух основных явлений художественной культуры — символизма и стиля модерн. Новеллистика приобрела философскую, психологическую, символично-мифологическую нагруженность, изящные стилизации прошлого окрашивались в тона легкой иронии, особая роль отводилась пейзажу, выражавшему романтические или мистические чувства и настроения героев; появился интерес к смутным переживаниям, подсознательным глубинам человеческой психики, что иногда придавало туманность и загадочность изображаемым образам.

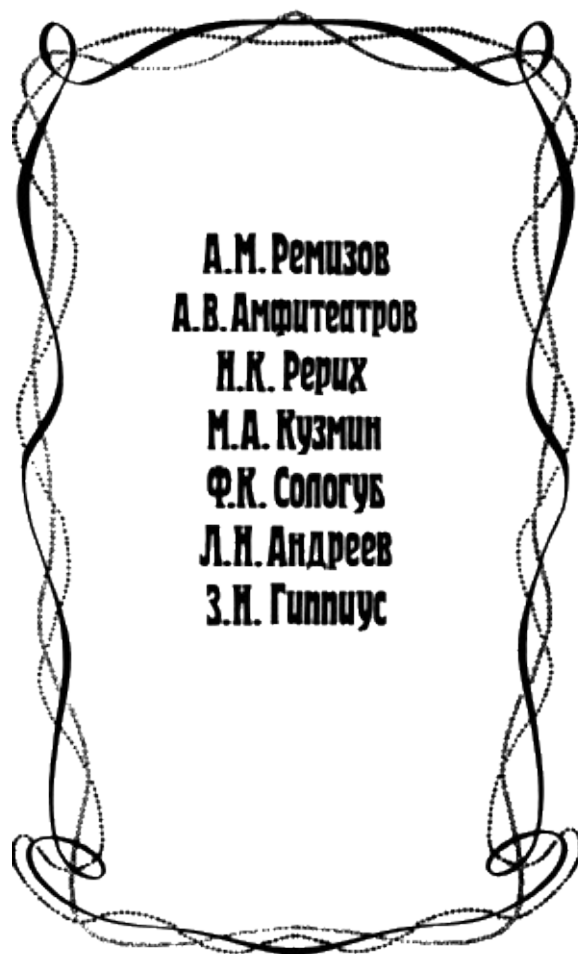
Писатели-«модернисты» стремились преодолеть свой индивидуализм и эстетизм на путях «соборности» и «общественности», искали «совершенные способы познания мироздания», развивали идеи мистического мифологического искусства, ориентированного на неохристианский идеал о религиозном характере русской революции.

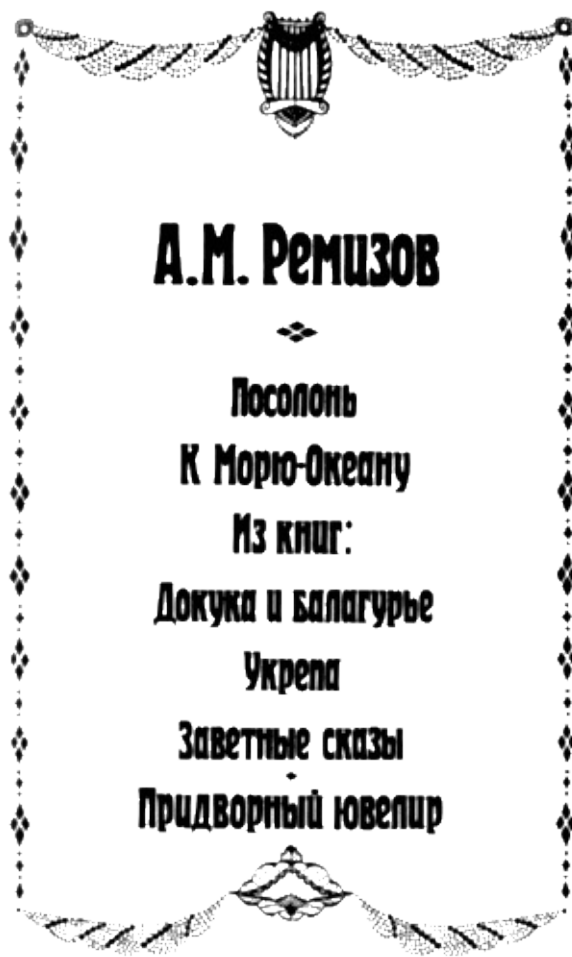
Устаревшими и элементарными казались творцам русского культурного ренессанса идеи нигилизма и материализма, утилитаризма и атеизма, которыми руководствовались деятели будущей революции. «Раскол, характерный для русской истории, раскол, нараставший весь XIX век, бездна, развернувшаяся между верхним утонченным культурным слоем и широкими кругами, народными и интеллигентскими, привели к тому, что русский культурный ренессанс провалился в эту раскрывшуюся бездну. Революция начала уничтожать этот культурный ренессанс и преследовать творцов культуры^[50], — писал Н. А. Бердяев. И будем надеяться, пророчески добавлял: «Но последствия творческого духовного подъема начала XX века не могут быть истреблены, многое осталось и

будет в будущем восстановлено» [\[51\]](#).

Ценность исторического, философского, художественного опыта серебряного века возрастает в наше сложное, кризисное время — рубежа XX–XXI века, испытывающее потребность в возрождении с опорой на вечные культурные ценности и незыблемые устои духовной жизни.

Т. Берегулева-Дмитриева





*Вячеславу Ивановичу Иванову
Наташе*





Засни, моя деточка милая!
В лес дремучий по камушкам Мальчика с пальчика,
Накрепко за руки взявшись и птичек пугая,
Уйдем мы отсюда, уйдем навсегда.
Приветливо нас повстречают красные маки.
Не станет царапать дикая роза в колючках,
Злую судьбу не прокаркнет птица-вещунья,
И мимо на ступе промчится косматая ведьма,
Мимо мышинные крылья просвищут
Змия с огненной пастью,
Мимо за медом-малиной Мишка пройдет косолапый...
Они не такие...
Не тронут.

Засни, моя деточка милая!
Убегут далеко-далеко твои быстрые глазки...
Не мороз — это солнышко едет по зорям шелковым,
Скрипят его золотые большие колеса.
Смотри-ка, сколько играет камней самоцветных!
Растворяет нам дверку избушка на лапках куриных,
На пятках собачьих.
Резное оконце в красном пожаре...
Раскрылись желанные губки.
Светлое личико ангела краше.
Веют и греют тихие сказки...
Полночь крадется.
Темная темь залегла по путям и дорогам.
Где-то в трубе и за печкой
Ветер ворчливо мурлычет.
Ветер... ты меня не покинешь?
Деточка... милая...

1902



Монашек^[55]

Мне сказали, там кто-то пришел, в сенях стоит.

Вышел я из комнаты, а там, гляжу, — монашек стоит.

— Здравствуй! — говорит и смотрит на меня пристально, словно проверяет что-то.

Маленький монашек, беленький.

— Здравствуй, что тебе надо?

— Так, по домикам хожу. — Подает мне веточку.

— Что это, монашек, никак листочки!

— Листочки. — И улыбается.

А я уж от радости не знаю, что и делать. Комната, рамы и вдруг эта ветка с зелеными, совсем-совсем крохотными масляными листочками.

— Хочешь, монашек, баранок турецких, у нас тут на углу пекут?

— Нет.

— Чего же тебе, молочка хочешь?

— Нет.

— Ну, яблочков?

— Медку бы съел немножко.

— Медку... Господи, монашек!.. Я тебя где-то видел. Монашек улыбается.

Крепко держу зеленую ветку. Листочки выглядывают.
Моя ветка, мои и листочки!
Монашек стоит, улыбается.

Красочки^[56]



— Динь-динь-динь...
— Кто там?
— Ангел.
— Зачем?
— За цветом.
— За каким?
— За незабудкой.

Вышла Незабудка, заискрились синие глазки. Принял Ангел синюю крошку, прижал к теплему белому крылышку и полетел.

— Стук-стук-стук...
— Кто там?
— Бес.
— Зачем?
— За цветом.
— За каким?
— За ромашкой!

Вышла Ромашка, протянула белые ручки. Пощекотал Бес вертушке^[57] желтенькое пузичко^[58], подхватил себе на мохнатые лапки и убежал.

— Динь-динь-динь...
— Кто там?
— Ангел.
— Зачем?
— За цветом.
— За каким?
— За фиалкой.

Вышла Фиалка, кивнула голубенькой головкой. — Приголубил Ангел черноглазку и полетел.

— Стук-стук-стук...

— Кто там?

— Бес.

— Зачем?

— За цветом.

— За каким?

— За гвоздикой.

Вышла Гвоздика, зарумянились белые щечки. Бес ее в охапку и убежал.

Опять звонил колокольчик, — прилетал Ангел, спрашивал цвет, брал цветочек. Опять колотила колотушка, — прибежал Бес, спрашивал цвет, забирал цветочек.

Так все цветы и разобрали.

Сели Ангел и Бес на пригорке в солнышко. Бес со своими цветами налево, Ангел со своими цветами направо.

Тихо у Ангела. Гладят тихонько цветочки белые крылышки, дуют тихонько на перышки.

Уговор не смеяться, кто засмеется, тот пойдет к Бесу.

Ангел смотрит серьезно.

— В чем ты грешна, Незабудка? — начинает исповедовать плутовку.

Незабудка потупила глазки, губки кусает — вот рассмеется.

Налево у Беса такое творится, будь ты кисель киселем, и то засмеешься. Поджигал Бес цветочки: сам мордочку строит, — цветочки мордочку строят, сам делает моську, — цветочки делают моську, сам рожицы корчит, — цветочки рожицы корчат, мяукают, кукуют, юлой юлят^[59] и так-то и этак-то — вот как!

Незабудка разинула рот и прыснула.

— Иди, иди к Бесу! — закричали цветочки.

Пошла Незабудка налево.

Тихо у Ангела. Гладят тихонько цветочки белые крылышки, дуют тихонько на перышки.

А налево гуготня^[60] — Бес тешится.

Ангел смотрит серьезно, исповедует:

— В чем ты грешна, Фиалка?

Насупила бровки Фиалка, крепилась-крепилась, не вытерпела и улыбнулась.

— Иди, иди к Бесу! — кричали цветочки.

Пошла Фиалка налево.

Так все цветочки, какие были у Ангела, не могли удержаться и расхохотались.

И стало у Беса многое множество и белых и синих — целый лужок.

Высоко стояло на небе солнышко, играло по лужку зайчиком.

Тут прибежало откуда-то семь бесенят, и еще семь бесенят, и еще семь, и такую возню подняли, такого рогача-стрекоха^[61] задавать пустились, кувыркались, скакали, пищали, бодались, плясали, да так, что и сказать невозможно.

Цветочки туда же, за ними — и! как весело — только платица развевается синенькие, беленькие.

Кружились-кружились. Оголтели совсем бесенята, полезли мять цветочки да тискать, а где под шумок и щипнут, ой-ой как!

Измятые цветочки уж едва качаются. Попить запросили.

Ангел поднялся с горки, поманил белым крылышком темную тучку. Приплыла темная тучка, улыбнулась. Пошел дождик.

Цветочки и попили досыта.

А бесенята тем временем в кусты попрятались. Бесенята дождика не любят, потому что они и не пьют.

Ангел увидел, что цветочкам довольно водицы, махнул белым крылышком, сказал тучке:

— Будет, тучка, пльви себе.

Поплыла тучка. Показалось солнышко.

Ангелята явились, устроили радугу.

А цветочки схватились за ручки да бегом горелками^[62] с горки —

Гори-гори ясно,

Чтобы не погасло...

Очухались бесенята, вылезли из-под кустика да сломя голову за цветочками, а уж не догнать — далеко. Покрутились-повертелись, показали ангелятам шишки, да и рассыпались по полю.

Тихо летели над полем птицы, возвращались из теплой сторонки.

Бесенята кувыркались в земле, курлыкали — птичек считали, а с ними и Бес-зажиг^[63] рогатый.



Чуть только лес оденется листочками и теплое небо завьется белесыми хохолками, сбросит Кострома свою колючку — ежовую шубку, протрет глазыньки да из овина на все четыре стороны, куда взглянется, и пойдет себе.

Идет она по талым болотцам, по вспаханным полям да где-нибудь на зеленой лужайке и заляжет, лежит-валяется, брюшко себе лапкой почесывает, брюшко у Костромы мяконькое, переливается.

Любит Кострома попраздновать, блингов поест да кисельку клюквенного со сливочками да с пеночками, а так она никого не ест, только представляется: поймает своим желтеньким усиком мушку какую, либо букашку, пососет язычком медовые крылышки, а потом и выпустит — пускай их!

Теплынь-то, теплынь, благодать одна!

Еще любит Кострома с малыми ребятками повозиться, поваландаться; по сердцу ей лепуны-щекотуны^[65] махонькие.

Знает она про то, что в колыбельках деется, и кто грудь сосет, и кто молочко хлебает, зовет каждое дите по имени и всех отличить может.

И все от мала до велика величают Кострому песенкой.

На то она и Кострома-Костромушка.

Лежит Кострома, валяется, разминает свои белые косточки, брюшком прямо к солнцу.

Заприметят где ребятишки ее рожицу да айда гурьбой взапуски. И скачут пичушки пестренькие, бегут бегом, тянутся ленточкой и чувыркают-чивикают^[66], как воробышки.

А нагрянут на лужайку, возьмут друг дружку за руки да кругом вокруг Костромушки и пойдут плясать.

Пляшут и пляшут, и поют песенку.

А она лежит, лежона-нежона, нежится, валяется.

— Дома Кострома?

— Дома.

— Что она делает?

— Спит.

И опять закружатся, завертятся, ножками топают-притопывают, а голосочки, как бубенчики, и звенят и заливаются, не угнаться и птице за такими свистульками.

— Дома Кострома?

— Дома.

— Что она делает?

— Встает.

Встает Кострома, подымается на лапочки, обводит глазыньками, поводит желтеньким усиком, прилаживается: кого бы ей наперед поймать.

— Дома Кострома?

— Дома.

— Что она делает?

— Чешется.

Так круг за кругом ходят по солнцу вокруг Костромушки, играют песенку, допытывают: что Кострома подельывает?

А Кострома-Костромушка и попила, и поела, и в баню пошла, и из бани вернулась, села чай пить, чаю попила, прикурнула на немножечко, встала, гулять собирается...

— Дома Кострома?

— Дома.

— Что она делает?

— Померла.

Померла Кострома, померла!..

И подымается такой крик и визг, что сами звери-зверюшки, какие вышли было из-за ельничков на Костромушку поглазеть, лататы на

попятный, — вот какой крик и визг!

И бросаются все взмахл[67] на мертвую, поднимают ее к себе на руки и несут хоронить к ключику.

Померла Кострома, померла!

Идут и идут, несут мертвую, несут Костромушку, поют песенку.

Вьется песенка, перепархивает, голубым жучком со цветка по травушке, повевавет ветерком, расплетает у девочек коски, машет ленточками и звенит-жужжит, откликается далеко за тем синим лесом.

Поле проходят, полянку, лесок за леском, проходят калиновый мост[68], вот и овражек, вот ключик — и бежит и недвижим — белая искорка-пчелка...

И вдруг раскрывает Кострома свои мертвые глазыньки, пошевеливает желтеньким усиком, — ам!

Ожила Кострома, ожила!

С криком и визгом роняют наземь Костромушку да кто куда — врассыпную.

Мигом вскочила Костромушка на ноги да бегом, бегом — догнала, переловила всех, — возятся. Стог из цветочков! Хохоту, хохоту сколько, — писк, визготня. Щекочет, целует, козочку делает, усиком водит, бодается, сама поддается, — попалась! Гляньте-ка! гляньте-ка, как забарахтались! — повалили Костромушку, салазки загнули, щиплют, щекочут — мала куча, да не совсем! И! — рассыпался стог из цветочков.

Ожила Кострома, ожила!

Вырвалась Костромушка да проворно к ключику, припала к ключику, насытилась и опять на лужайку пошла.

И легла на зеленую, на прохладную. Лежит, развалилась, валяется, лапкой брюшко почесывает, — брюшко у Костромы мяконькое, переливается.

Теплынь-то, теплынь, благодать одна!

Там распаханые поля зеленей[69] зеленятся, там в синем лесе из нор и берлог выходят, идут и текут по черным утолкам[70], по пробойным тропам[71] Божии звери, там на гиблом болоте[72] в красном ивняке Леснь-птица[73] гнездо вьет, там за болотом, за лесом Егорий кнутом ударяет[74]...

Песенка вьется, перепархивает со цветочка по травушке, пестрая песенка-ленточка...

А над полем и полем, лесом и лесом прямо над Костромушкой — небо — церковь хлебная, калачом заперта, блином затворена.

Кошки и мышки^[75]



Путались мышки в поле. Тащили кулек с костяными зубами^[76]. Немало их за зиму попало от ребят в норку. А теперь приходила пора за зуб костяной отдавать зуб железный, а много ли надо зубов, мышки не знали.

Путь им лежал полем в молоденький березняк. Там под Заячьими ушками^[77] — ландышами, у Громовой стрелки^[78] могли они хорошо примоститься и сладить нелегкое дело. Ни Громовая стрелка, ни белые Заячьи ушки не выдадут мышек.

Прошел вечер дождик с громом да с молнией, и жарынь, что твое лето. Подвигались мышки не споро.

Одна мышка во главе шла, казала дорогу хвостиком — свистуха^[79] отчаянная, дурила она всем мышкам голову.

— Никого я не боюсь, — егозила егоза, подшаркивала розовой лапочкой, — самому Коту на лапу наступлю, ищи-свищи, вывернусь!

Пыхтели мышки, диву давались да отговор сказывали: накличет еще беды какой, ног не соберешь.

А уж Кот-Котонай^[80] и идет с своей Котофеевной, пыжит седые усищи, поет песенку.

Мышка на него:

— Кто ты такой?

— Да я Кот-Котонай! — удивился Кот.

— А я тебя не боюсь.

— Чего меня бояться, — завел Котонай сладко зеленые глазки, — я ничего худого не сделаю.

— А тебе меня не поймать!

— Ну, это еще посмотрим.

— И не смотревши...

Но уж Кот наершился, прицелил глаз, хотел на мышку броситься.

А мышка встала на пяточки, поджала хвостик промеж лапок, пошевеливает хвостиком.

— Нет уж, — говорит, — так этого не полагается, ты сядь вот тут на камушек и сиди смирно, а нам давай твою Котофеевну, и пускай она меня ловит.

Потянулся Кот-Котонай, мигнул Котофеевне. Пошла Котофеевна к мышкам, сам уселся на камушек, задрал заднюю лапу вверх пальцем, запрятал мордочку в брюшко, стал искать.

Блоховат был Кот, строковат^[81] Котонай, пел песенку.

— Мы с тобой, кошка, станем в середку, а они пускай за лапки держатся и пускай вокруг нас вертятся, я куда хочу, туда могу выскочить, а тебе будет двое ворот, вот эти да эти, ну, раз, два, три — лови!

Пискнула мышка да с кона от кошки жиг! — закружилась.

Кошка за мышкой, мышка от кошки, кошка налево, мышка направо, кошка лапкой хватать мышку, а мышка:

— Брысь, кошка! — да за ворота: — Что, кошка, съела?

Крутится, вертится, мечется кошка.

Крутятся, кружатся, вертятся мышки, держатся крепко за лапки, да дальше по полю, да дальше по травке, да дальше по кочкам.

Заманивает мышка-плутовка кошку под Заячьи ушки.

— Где ты, Кот, где, Котонай! — Котофеевна кличет.

Потеряли совсем Кота-седоуса из виду.

Блоховат был Кот, строковат Котонай, пел песенку.

Кошка из кона в ворота:

— Берегись, мышка, поймаю!

Мышка бегом, сиганула — живо-два — да в кон.

Кошка за мышкой, мышка от кошки, крутятся, кружатся мышки, хитрая мышка, плутиха, вот поддается, уж прыгнула кошка...

Стой! — березняк, Заячьи ушки, Громовая стрелка...

Туда-сюда, глянь, а мышек и нет, — канули мышки.

Изогнула сердито Котофеевна хвостик, надула брезгливо красненький ротик, язычок наострила: «Тут они где-то, а где, не поймешь».

— Чтоб вас нелегкая! — И пошла Котофеевна.
Шла искать Котоная, курлыкала.

Вянули ветры, пыхало зноем.
А мышки оскалили зубки, взялись за зубы.
Полкулька растеряли по дороге, — эка досада! — спросит с них
Громовая стрелка, не даст им железные зубы.
Заячьи ушки — белая стенка загораживали мышек.
И тихо качались березки, осыпали на мышек золотые сережки, висли
прохладой.

Гуси-лебеди^[82]



Еще до рассвета, когда черти бились на кулачки^[83], и собиралась заря
в восход взойти, и вскидывал ветер шелковой плеткой, вышел из леса волк
в поле погулять.

Канули черти в овраг, занялась заря, выкатилось в зорьке солнце.

А под солнцем рай-дерево^[84] распустило свой сиреневый медовый
цвет.

Гуси проснулись. Попросились гуси у матери в поле полетать. Не
перечила мать, отпустила гусей в поле, сама осталась на озере, села яйцо
нести. Несла яйцо, не заметила, как уж день подошел к вечеру.

Забеспокоилась мать, зовет детей:

— Гуси-лебеди, домой!

Кричат гуси:

— Волк под горой.

— Что он делает?

— Утку щиплет.

— Какую?

— Серую да белую.

— Летите, не бойтесь...

Побежали гуси с поля. А волк тут как тут. Перенял все стадо, потащил гусей под горку. Ему, серому, только того и надо.

— Готовьтесь, — объявил волк гусям, — я сейчас вас есть буду.

Взмолились гуси:

— Не губи нас, серый волк, мы тебе по лапочке отдадим по гусиной.

— Ничего не могу поделаться, я — волк серый.

Пощипали гуси травки, сели в кучку, а уж солнышко заходит, домой хочется.

Волк в те поры точил себе зубы: иступил, лакомясь утками.

А мать, как почуяла, что неладное случилось с детьми, снялась с озера да в поле. Полетала по полю, покликкала, видит — перышки валяются, да следом прямо и пришла к горке.

Стала она думать, как ей своих найти, — у волка были там и другие гуси, — думала, думала и придумала: пошла ходить по гусям да тихонько за ушко дергать. Который гусь пикнет, стало быть, ее, матернин, а который закукарекает, не ее, — волков.

Так всех своих и нашла.

Уж и обрадовались гуси, содом подняли.

Бросил волк зубы точить, побежал посмотреть, в чем дело.

Тут-то они на него, на серого, и напали. Схватили волка за бока, поволокли на горку, разложили под рай-деревом да такую баню задали, не приведи Бог.

— Вы мне хвост-то не оторвите! — унимал гусей волк, отбрыкивался.

Пощипали-таки его изрядно, утомились да опять на озеро: пора и спать ложиться.

Поднялся волк несолоно хлебавши, пошел в лес.

Возныла темная туча, покрыла небо.

А во тьме белые томновали^[85] по лугу девки-пустоволоски^[86] да бабы-самокрутки^[87], поливали одолень-траву^[88].

Вылезли на берег водяники^[89], поснимали с себя тину, сели на колоды и поплыли.

Шел серый волк, спотыкался о межу, думал-гадал об Иване-царевиче.

На озере гуси во сне гоготали.



Давным-давно прилетел кулик из-за моря^[91], принес золотые ключи, замкнул холодную зиму, отомкнул землю, выпустил из неволя воду, траву, теплое время.

Размыла речка пески, подмыла берега, подплыла к орешенью и ушла назад в берега.

Расцвела яблонька в белый цвет, поблекли цветы, опадал цвет. Из зари в зарю перекатилось солнышко, повеяли нежные ветры, пробудили поле.

Сторожил кулик поле — ранняя птичка, подчищал носок.

По полю гурьбой шли девочки, рвали запашные васильки, закликали кукушку.

Кукушечье-горюшечье^[92] на виловатой сосне^[93] соскучилась, не сиделось в бору, поднялась в луга.

По дубраве дорожка лежит.

Девочки свернули на дорожку. Под широким лопухом несли кукушку, плели веночки.

За дубравой на красе^[94] стоит гора-круча^[95]. На той горе на круче супротив солнца стоит березка.

Обливалась росой кудрявая березка.

Посадили девочки кукушку на березку. Заломили белую, заплели веночком. Схватились рука об руку и пошли вокруг кукушки.

— Кукушечка боровая, чего в бору не сидела?

— Воли нету, воды нету.

— Где же воля?

— Пошла воля по лугам.

— Где вода?

— Пошла вода по болотам.

— Лети, кукушечка, лети боровая, в лугах птички поют, соловей свищет.

Сели девочки на примятую траву, поели лепешек, целовались, покумились друг с дружкой и в венках тронулись к речке.

Там разделись и с берега вошли в воду. По воде пустили венки.

Плыли венки, куковала кукушка.

— Кукушка, кукушка, сколько годов мне осталось жить?^[96]

Ушли, обнявшись, девочки от речки, закатилось солнышко.

Вышла из бора старая старуха Ворогуша^[97], пошла с костылем по полю.

Преклонялось поле, доцветал хлеб.

Перехожая звездочка перешла к горе-круче, заблестала синим васильком.

Плыли венки, куковала кукушка.

— Кукушка, кукушка, сколько годов мне осталось жить?

Красная жар-жаром заря не гасла.

В высокой траве в петушках^[98] ночь до первых петухов стрекотал кузнец-чирюкан^[99].

У лисы бал^[100]



У лисы бал.

— Я пес.

— Я бас.
— Я баран.
Это ноты.
Барабан.
Трам-там-там,
Трам-там-там.
По высоким горам,
по зеленым долам
чинно шествуем на бал.
Разбреда-емся,
собира-емся,
переходим ров и вал.
Осел, козел,
Олень да лев,
медведюшка —
звери страшные,
звери важные,
сам с усам,
сам с рогам.
Трам-там-там,
Трам-там-там.
У лисы бал.
— Я пес.
— Я бас.
— Я баран.
Это ноты.
Барабан.
Трам-там-там,
Трам-там-там.
Там, там.
Там.



Калечина-малечина^[102]

Сергею Городецкому

Курица со двора —
Калечина в ворота^[103].
Заберется Малечина в гибкий плетень,
тоненько комариком песню заведет,
ждет:
«Не покличет ли кто Калечину погадать о вечере?»
У Калечины одна деревянная нога,
у Малечины одна деревянная рука,
у Калечины-Малечины один глаз —
маленький, да удаленький.
Калечина-Малечина,
сколько часов до вечера?
Скок Калечина-Малечина с плетня,
подберется вся — прыг-прыг-прыг...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7!
Да юрк в плетень. Пригорюнится,
тоненько комариком песенку ведет,
ждет:
«Не покличет ли кто Калечину погадать о вечере?»
У Калечины семь братьов —
у Малечины семь ветров,
а восьмой неродной — вихорь витной^[104] —
маленький да постыленький.
Калечина-Малечина,

сколько часов до вечера?
Вечером врывается, крутит вихрь в лесу,
вечером Калечине весело в виру^[105].
Ночка по небу, лучинки зажжет,
темная темную нитку прядет^[106]...
Курица в ворота —
Калечина со двора.

Черный петух^[107]



От недели до недели^[108] подоспело лето.
Последняя отлетная птичка прилетела до витого гнездышка. Зацвели белые и алые маки. Голубые цветочки шелкового льна морем разлились по полю. Белая греча запорошила пряным снегом без конца все пути. Встали по тыну, как козыри, золотые подсолнухи. Сухим золотом-стрелками затеплилась липа, а серебряные овсы и алатырное^[109] жито раскинулись и вдаль и вширь: неоглядные, обошли они леса да овраги, заняли округ небесную синь и потонули в жужжанье и сыти дожатвенной жажды.

С цветка на цветок, с травки на травку день до вечера перелетает

пчелка, несет праздники^[110].

И не упасть первой росе, а уж щелкает, звонко хлопает в воздухе кнут, звякают коровьи колокольчики — гонят стада.

А за стадом высоко, как дым, подымается пыль вдоль по улице.

И они чахлые и заморенные — Коровья смерть^[111] да Веснянка-Подосенница^[112] с сорока сестрами пробегают по селу, старухой в белом саване, кличут на голос.

Много они натворили бед — съешь их волк! — то под тыном прикинется — Подтынница, то на дворе пристягнет — Навозница, то соскочит с веретена да заскочит в пряху — Веретенница, то выскочит с болотной кочки — Болотница^[113]: им бы портить скотину, вынимать румянец из белого лица, вкладывать стрелы в спину, крючить на руках пальцы, трясмя трести тело.

И не гулянье от них ребятишкам: не век же голопузым носить на себе змеиноного выползка^[114].

Но и нечисть знает черед.

Собирается нечисть зноем в полдень к ведьмаку Пахому, — Пахома изба на краю села: там ей попить, там ей поесть.

В курнике петух взлетает на насест, схватившись с места, как шальной, кричит по селу. Кричит петух целые ночи, несет змеиные спорыши^[115], напевает, проклятый, на голову от недели до четверга. Сам Пахом-ведьмак об эту пору в печурке возится, стряпает из ребячьего сала свечу^[116], — той свечой наведет колдун мертвый сон на человека и на всякую Божию тварь. Джурка, Пахомова дочка, не смыкая глаз, летает перепелкой, собирает золотой гриб^[117].

Так от недели до четверга.

В четверг в полночь на пятницу подымается на ноги все село.

С шумом врываются в Пахомов курник^[118], чадят зажженными метлами, ловят черного петуха.

Изловили черного петуха и с петухом идут на другой край села.

Алена верхом на рябиновой палке с мутовкой^[119] на плече, нагая, впереди с горящим угольком, за Аленой двенадцать девок с распущенными волосами в белых рубахах, с серпами и кочергами в руках и другие двенадцать с распущенными волосами, в черных юбках держат черного петуха.

А за ними ватагой и стар и мал.

Шумя и качаясь^[120], вышли девки за село, запалили угольком^[121] сложенный в кучу назем^[122], трижды обнесли петуха вокруг кучи. Тут выхватила Алена от девок петуха и, высоко держа над головой черноперого, пустилась с петухом по селу, забегая к каждой избе, мимо всех клеток с края на край.

С пронзительным криком, с гиканьем погнались за ней и белые и черные девки.

— А, ай, ату, сгинь, пропади, черная немочь!

Рвется черный петух, наливаются кровью глаза, колотится черное сердце.

Обежав все село, бросила Алена петуха в тлеющий назем.

Кинули за ним девки хвороста, сухих листьев, — и вспыхнул костер, с треском взвились листья и неслись, жужжа, как красные жучки, — неслись красные перья, завивались в косицы, и красная голова пела зимовые песни.

— Сгинь, сгинь, пропади, черная немочь! — скачут вокруг костра хороводом и черные и белые девки, притопывают, приговаривают, звенят в косы, бьют в чугуны, пока не ухнет красная голова, не зашипит уж больше ни одно красное перышко.

Сонной сохой по селу протянулась дорога, белая от высокого месяца. На месяце все по-прежнему подымал на вилы Каин Авеля^[123].

Шатаясь, шел по вымершему селу ведьмак Пахом, хватался за вереву, дышал гарным петушьим духом^[124].

У Аленина двора со двора в ночевку бежит кот; ударил его Пахом посередь живота, сел на него, подкатил, как месяц, к окну, глазом надел на Алену хомут^[125], шептал в ее след:

— Чтоб у нее, у миленькой, и спинушка и брюшенько красным опухом окинулись и с зудом.

Притрепался ведьмак, поманул зарю, иссяк, как дым: волю снимать, неволю накладывать.

Не дождалась Джурка отца, поужинала. Поужинав, обернулась в галочку, полетела за речку росицу пить.

Занялась заря.



Петька, мальчонка дотошный, шаландать ^[126] куда гораздый, увязался за бабушкой на богомолье.

То-то дорога была. Для Петьки вольготно ^[127]: где скоком, где взапуски, а бабушка старая, ноги больные, едва дух переводит.

И страху же натерпелась бабушка с Петькой и опаски, — пострел, того и гляди, шею свернет либо куда в нехорошее место ткнется, мало ли! Ну, и смеху было: в жизнь не смеялась так старая, тряхонула на старости лет старыми костями. Умора ^[128] давай разные разности выкидывать: то медведя, то козла начнет представлять, то кукует по-кукушечьи, то лягушкой заквакает. И озорничал немало: напугал бабушку до смерти.

— Нет, — говорит, — сухарей больше, я все съел, а червяков, хочешь, я тебе собрал, вот!

«Вот тебе и богомолье, — полпути еще не пройдено, Господи!»

А Петька поморочил, поморочил бабушку да вдруг и подносит ей полную горсть не червяков, а земляники, да такой земляники, все пальчики оближешь. И сухари все целы-целехоньки.

Скоро песня другая пошла. Уморились странники. Бабушка все молитву творила, а Петька «Господи помилуй» пел.

Так и добрались шажком да тишком да самого монастыря. И прямо к заутрене попали. Выстояли они заутреню, выстояли обедню, пошли к мощам да к иконам прикладываться.

Петьке все хотелось мощи посмотреть, что там внутри находится,

приставал к бабушке, а бабушка говорит:

— Нельзя, грех!

Закапризничал Петька. Бабушка уж и так и сяк, крестик ему на красненькой ленточке купила, ну помаленьку и успокоился. А как успокоился, опять за свое принялся. Потащил бабушку на колокольню колокол посмотреть. Уж лезли-лезли, и конца не видно, ноги подкашиваются. Насилу вскарабкались.

Петька, как колокольчик, заливается, гудит, — колокол представляет. Да что — ухватился за веревку, чтобы позвонить. Еще, слава Богу, монах оттащил, а то долго ли до греха.

Кое-как спустились с колокольни, уселись в холодке закусить. Тут старичок один, странник, житие пустился рассказывать. Петька ни одного слова мимо ушей не проронил, век бы ему слушать.

А как свалила жара, снова в путь тронулись.

Всю дорогу помалкивал Петька, крепкую думу думал: поступить бы ему в разбойники, как тот святой, о котором странник-старичок рассказывал, грех принять на душу, а потом к Богу обратиться — в монастырь уйти.

«В монастыре хорошо, — мечтал Петька, — ризы-то какие золотые, и всякий Божий день лазай на колокольню, никто тебе уши не надерет, и мощи смотрел бы. Монаху все можно, монах долгогривый».

Бабушка охала, творила молитву.

1905

Купальские огни^[129]



Закатное солнце, прячась в тучу, заскалило зубы^[130] — брызнул

дробный дождь. Притупил дождь косу, прибил пыль по дороге и закатился с солнцем на ночной покой.

Коровы, положив хвост на спину, не мыча, прошли. Не пыль — тучи мух провожали скот с поля домой.

На болоте болтали лягушки-квакушки.

И *дикая кошка* — желтая иволга — унесла в клюве вечер за шумучий бор, там разорила гнездо соловью, села ночевать под черной смородиной.

Теплыми звездами опрокинулась над землей чарая^[131] Купальская ночь.

Из тенистых могил и темных погребов встало Навье^[132].

Плавали по полю воздушные корабли. Кудеяр-разбойник стоял на корме, помахивал красным платочком. Катили с погостов погребальные сани. Сами ведра шли на речку по воду. В чаще расставлялись столы, убирались скатертями. И гремел в болотных огнях Навий пир мертвецов.

Криксы-вараксы^[133] скакали из-за крутых гор, лезли к попу в огород, оттапали хвост попову кобелю, затесались в малинник, там подпалили собачий хвост, играли с хвостом.

У развилистого вяза растворялась земля, выходили из-под земли на свет посмотреть зарытые клады. И зарочные три головы^[134] молодецких, и сто голов воробьиных, и кобылья сивая холка подмаргивали зеленым глазом, — плакались.

Бросил Черт свои кулички^[135], скучно: небо заколочено досками, не звонит колокольчик, — поманулось рогатому погулять по Купальской ночи. Без него и ночь не в ночь. Забрал Черт своих чертяток, глянул на четыре стороны, да как чокнется^[136] обземь, посыпались искры из глаз.

И потянулись на чертов зов с речного дна косматые русалки; приковылял дед Водяной, старый хрен кряхтел да осочьим корневищем помахивал, — чтоб ему пусто!

Выползла из-под дуба-сорокавца^[137], из-под ярого руна сама змея Скоропея^[138]. Переваливаясь, поползла на своих гусиных лапах, лютые все двенадцать голов — пухотные, рвотные, блевотные, тошнотные, волдырные и рябая и ясная катились месяцем. Скликнула-вызвала Скоропея своих змей-змеенышей. И они — домовые, полевые, луговые, лозовые, подтынные, подрубежные приползли из своих нор.

Зачесал Черт затылок от удовольствия.

Тут прискакала на ступе Яга. Стала Яга хороводницей. И водили хоровод не по-нашему.

— Гуш-гуш^[139], хай-хай, обломи тебя облом!^[140] — отмахивался да плевал заплутавшийся в лесу колдун Фаладей, неподтыканный^[141] старик с мухой в носу^[142]⁹⁰.

А им и горя нет. Защекотали до смерти под елкой Аришку, втопили в болото Рагулю — пошатаешься! ненароком задавили зайчонка.

Пошла зайюшка собирать дорожник: авось поможет!

С грехом пополам перевалило за полночь. Уцепились непутные, не пускают ночь.

Купальская ночь колыхала теплыми звездами, лелеяла.

Распустившийся в полночь купальский цветок горел и сиял, точно звездочка.

И бродили среди ночи нагие бабы — глаз белый, серый, желтый, зобатый, — худые думы, темные речи.

У Ивана-царевича в высоком терему сидел в гостях поп Иван. Судили-рядили, как русскому царству быть, говорили заклятские слова. Заткнув ладонь за семишелковый кушак, играл царевич насыпным перстеньком, у Ивана-попа из-под ворота торчал козьей бородой чертов хвост.

— Приходи вчера!^[143] — улыбался царевич.

А далеким-далеко гулким походом^[144] гнался серый Волк, нес от Кощея живую воду и мертвую.

Доможил-Домовой толкал под ледящий бок — гладил Бабу-Ягу. Притрушенная папоротником, задрала ноги Яга: привиделся Яге на купальской заре обрада^[145] — молодой сон.

Леший крал дороги в лесу да посвистывал, — тешил мохнатый свои совы глаза.

За горами, за долами по синему камню бежит вода, там в дремливой лебеде Сорока-щектуха^[146] загоралась жар-птицей.

По реке тихой поплывней^[147] плывут двенадцать грешных дев, белый камень алатырь, что цвет, томно светится в их тонких перстах.

И восхикала лебедью алая Вытарашка^[148], раскинула крылья зарей — не угнать ее в черную печь, — знобит неугасимая горячую кровь, ретивое сердце, истомленное купальским огнем.

Воробьиная ночь^[149]



Валили валом густые облака, не изникали, — им сметы нет. За облаками возили копы^[150], и туча шла за тучей, как за копой веселая копа, поскрипывали колеса.

Ветром повеяло б, грянул бы гром! Не веяли ветры, не крапнул дождик.

Ни звериного потопу, ни змеиного пошипю.

В тихих заводях^[151] лебеди пели.

И разомкнулось тридевять золотых замков, раскуталось тридевять дубовых дверей — туча за тучу зашла — затрещало, загикало, свистело, гаркало.

Воробушки — ночные полуночники, выпорхнув, кинулись по небу летать.

Ковал кузнец воробьиною свадебку, ковал крепко-на-крепко, вечно-навечно — не рассушить ее солнцем, не размочить дождем, не раскинет ветер, не расскажут люди.

Ковал кузнец Кузьма-Демьян^[152] вековой венки.

И стала перед невестою-воробушкой^[153] чужая сторона, не изюмом, горем усаженная, не травой, слезами покрытая.

Узлюлекнула^[154] воробушка:

— Понеситесь вы, ветры, с высоких гор! Подуйте, ветры, на звонки колоколы! Вы ударьте, звонки колоколы, по сырой земле, расшатайте пески, раздвойте сыру землю на могиле матери. Вы сшибите, звонки колоколы, гробову доску! Сдуйте тонко-белое полотенце! Разомкните руки матери, раскройте глаза ее, поставьте ее на ноги. Не придет ли она, не прилетит ли к моему дню, к часу великому.

Летали воробушки, прятались-тулились рахманные под небесные ракиты, под мосты калиновые, нагуливались воробушки до любви^[155].

Раскунежились, пошли они пляс плясать вприсядку, квасили, жарили

друг дружку по носам. Один воробей в трубу скаканул, другой воробей в колодец упал, третий воробей невесть что наделал.

И падали кто как попало, бесхвостые, бесклювые, с неба на землю, — навалили горы воробьевые. И ничего-то не родила гора, родила воробьева гора один бел-горюч камень.

Заныло сердце, как малое дитяtko:

— Родимая моя матушка! Что же ты ко мне не подшатнешься? Призагуньте, призамолкните! Расступитесь, пропустите! Подшатнись-ка ты, посмотри на меня...

Засвирило небо^[156], красно, что жар.

Раскачен жемчуг — васильковая слеза катится на грудь, с груди на траву.

Перекаати-поле^[157] унесла слезу.

Не разжалила^[158] невеста сердце матери: звать, отволила она волю, отнежила негу, открасовала свою девичью красу?

Сердце матери оборотливо, сердце матери обернется — даст великое благословение.

И раскрылась могила, — стала мертвая.

А там разбили сорок сороков, тридцать три бочки, — и хлынуло пиво-мед пьяное-распьяное.

Все поля и луга, леса, перелески, заборы и крыши до корня смочены.

Первые петухи пропели — полночь прошла. И вторые петухи пропели — перед зарей. И третьи петухи пропели — на самой заре.

А они, неугомонные, справляли великий запой, хмельные ворушили, с пьяных глаз вили воробушки не воробьиное — гнездо ремезовое^[159].

Догорела четверговая страстная свеча^[160], закурились избы, — волоком от трубы до трубы стлались книзу сизые дымы.

Поросятки-викуны^[161] рылись под грушей в сладких падалках^[162], а их была целая груда — непочатый край.

Борода^[163]



С горки на горку, от ветлы до ветлы примчался ильинский олень,
окунул рога в речке^[164], — стала вода холоднее.

Тын зарастает горькой полынью, не видать перелаза.

В садах наливается яблоко: охота ему поспеть к Спасову дню.

И шумя, висят, призаблекнувши, листья. Утомленные, клонятся
никлые ветви.

Щебетливая птичка научает дитят перелетному делу. Один у нее лад на
все прилучья^[165]:

— Скоро в путь опять!^[166]

Дождется ль рябина студеных дней, нарядная, опустила она свои
красные бусы к земле.

Шумный колос стелет по ниве сухое время.

На проходе страда. Подспели дожинки.

Дожинают и вяжут последний сноп.

Уж кличут на Бороду.

И потянулся народ — белый мак — по селу на жнивье.

А Борода стоит, развевается, золотая, разукладная, много янтаря в ней,
много усика долгого, тонкого, острого, как серп.

Завивать, завивать бородушку!

Разогнули солому, посыпают земли: пусть мать — сыра земля покроет
ее материнской пеленой на красное годье^[167], на новое лето, на веселый
дород.

— Нивка, отдай мою силу!^[168] — причитает-приговаривает жнея,
красивая молодка Василиса в длинной белой рубахе с серпом на плече.

И катается молодка по жнивью, просит и молит свою ниву.

Несут девки межевые васильки, подвивают васильками Бороду,
расцвечивают ее васильками — крестовой слезой. И кругом, как ковер,

васильки.

Собрала Борода людей вместе, — поднялось на всю ниву веселье.

Запалили солому, заварилась отжинная каша.

— Нивка, отдай мою силу!

И идут хороводом вокруг Бороды, ведут долгие песни, перевиваются долгие песни пригудкой^[169], и опять на широкий разливной лад хороводы.

Село за орешенье солнце, тучей оделась заря.

А Борода в васильках разгорается.

Берет коновода пляс.

Бросила молодка серебряный серп, подсучила рукава, сбила подпояску да из кона, пустилась в пляс.

Звенел ее голос, звенела песня.

Катил за облаками Илья, грохотал Громовник на своей колеснице, аж поджилки тряслись.

И сбегался хоровод, разбегался, отклонившись назад, запрокинув голову, — это ласточки быстро неслись по земле, черкая крыльями.

Седой ковыль, горкуя голубем^[170], набирался гульбы, устилал, шевелил, шел по полю дальше и дальше за покосы, за болото, за зарю.

И зарей ничего так не слышно, только слышно, только слышно, только слышно, только чутко:

— Нивка, отдай мою силу!

От четырех птиц^[171] — железных носов, из-за темных каточин^[172] вышла молодая медведица посмотреть на Бороду.

Купена-лупена^[173] стращала медведицу тремя пальцами, ровно дите рогатой козой.

Вындрик-зверь^[174] стремглав бежал за сине море.

И горел хоровод, пока солнце взошло.

Кикимора



На петушке ворот, крутя курносый носом, с ужимкою крещенской маски, затейливо Кикимора уселась и чистит бережно свое копытце.

— Га! — приснул тонкий голос, — ха! ищи! а шапка вон на жерди... Хи-хи!.. хи-хи! А тот как чебурахнулся, споткнувшись на гладком месте!.. Лебедкам-молодухам намяла я бока... Га! ха-ха-ха! Я Бабушке за ужином плюнула во щи, а Деду в бороду пчелу пустила. Аукнула-мяукнула под поцелуи, хи!.. — Вся затряслась Кикимора^[175], заколебалась, от хохота за тощие животики схватилась.

— Тьфу! ты, проклятая! — отплевывался прохожий.

— Га! ха-ха-ха! — И только пятки тонкие сверкнули за поле в лес сплестать обманы, причуды сеять и до умору хохотать.



От березы к трем дубкам долом через бор
к грановитой сосне —
на меже
чурка старая лежит,
в чурке знахарь Чур сокрыт.
Мордастенький,
кудластенький,
носок-сморчок,
а в волосе, что рог,
торчит чертополох.

Эй ты, чур-чурачок-чурбачок,
Чур меня чур!
Нужен Чуру глаз да глаз, как раз не проморгай:
что не час — то беда, не година — напасть
неминучая.
Вон вор —
вырвет чурку вор! — Чур защурился, да хватать...
— Чур меня чур!
А руки сведены и сохнут, как ковыль:
забудешь воровать.
На чурке Чур заводит зоркий глаз.
Сердечный друг, постой, не задремли...
Коса —

звенит коса, поет и машет, машет так —
лязг! лязг! по чурбану — Чур на дыбы да за косу...
— Чур меня чур!
И вострая изломана, коса моя коса,
не размахивайся скоса.
На чураке свернулся Чур, хоть чуточку всхрапнуть:
от зорь до зорь и за лазореву звезду
на стороже стоять,
да спуску не давать.
Без пальца рука,
без мизинца нога,
с башкой голова.
Эй ты чур-чурачок-чурбачок,
Чур меня чур!
Клад присумнится, не рой,
Чура зови, — знает зарок...
Вон ворон —
ворон-крук — крадется Корочун — кар, кар...
— Чур меня чур!
Чур: чрр! — и крук за круг: крр, крр...
Спасибо, Чур, — чтоб лопнул Корочун:
ни дна ему и ни покрышки.

Осень темная [\[177\]](#)



Бабье лето [\[178\]](#)

Унес жаворонок теплое время.
Устудились озера.
Цветы, зацветая пустыми цветами, опадают ранней зарей.
Сорвана бурей верхушка елки. Завитая с корня, опустила верба вялые листья. Высохла белая береза против солнца, сухая, небелая, пожелтела.
Дует ветер, надувает непогоду.
Дождь на дворе, в поле — туман.
Поломаны, протоптаны луга, уколочены зеленые, вбиты колесами, прихлыснуты плеткой.
Скоро минует гулянье.
Стукнул последний красный денек.

Богатая осень.
Встало из-за леса солнце — не нажать такого на свете — приобсушило лужи, сгладило скучную расторопицу^[179].
По полесью мимо избы бежит дорожка, — мхи, шурша сырым серебром^[180] среди золота, кажут дорожку.
Лес в пожаре горит и горит.
В белом на белом коне в венке из зеленой озими едет по полю Егорий^[181] и сыплет и сеет с рукава бел жемчуг.
Изунистана жемчугом озимь.
И дальше по лесу вмиг загорается красный — солнце во лбу, огненный конь, — раздает Егорий зверям наказы.
Лес в пожаре горит и горит.
И птицы не знают, не домекнуться певуньям, лететь им за море или вить новые гнезда, и водные — лебеди — падают грудью о воду, плывут:
— Вылынь^[182], выплывь, весна! — выют волну и плывут.

Богатая осень.
Летит паутина.
Катит пенье косолапый медведь, воротит колоды — строит мохнатый на зимовье берлогу: морозами всласть пососет он до самого горлышка медовую лапу.
Собирается зайчик линять и трясется, как листик: боится лисицы.
Померкло.
Занывает полное сердце:
«Пойти постоять за ворота».
Тихая речка тихо гонит воды.

По вечеру плавно вдоль поля тянется стая гусей, улетаёт в чужую сторонку.

— Счастлива дорожка!

Далеко на селе песня и гомон^[183]: свадьбу играют.

Хороша угода, хорош хмель зародился — золотой венец.

Богатая осень.

Шум, гам, — наступают грудью один на другого, топают, машут руками, вон сама по себе отчаянно вертится сорвиголова молодуха — разгарчиво лицо, кровь с молоком, вон дед под хмельком с печи сорвался...

Кипит разгонщица каша.

Валит дым столбом.

Шум, гам, песня.

А где-то за темною топью конь колотит копытом.

Скрипят ворота, грекают дверью — запирает Егорий вплоть до весны небесные ворота.

Там катаётся по сениям последнее времечко, последний часок, там не своё житье-бытьё исповедуют^[184], там плачут по русой косе, там воля, такой не дадут, там не можно думы раздумать...

«Ей, глаза, почему же вы ясные, тихие, ненаглядные не источаете огненных слез?»

Мать по-темному^[185] не поступит, вернет тёплое время...

Сотлело сердце чернее земли.

— Вернитесь!

И звезды вбиваются в небо, как гвозди, падают звезды.



Петьку хлебом не корми, дай только волю по двору побегать. Тепло, ровно лето. И уж закатится непоседа, день-деньской не видать, а к вечеру, глядишь, и тащится. Поел, помолился Богу, да и спать, — свернется сурком, только посапывает.

Помогал Петька бабушке капусту рубить.

— Я тебе, бабушка, капустную муку сделаю, будет нам зимой пироги печь, — твердит таратора^[186] да рубит, что твой заправский: так вот себе и бабушке по пальцу отрубит.

А кочерыжки, как ни любил лакома, хряпал не очень много, а все прибирал: сложит в кучку, выждет время и куда-то снесет. Бабушке и внедомек: знай похваливает, думает себе, — корове носит.

Какой там корове! Стоял у бабушки под кроватью старый-престарый сундучок, железом кованный, хранила в нем бабушка смертную рубашку^[187], туфли без пяток, саван, рукописание да венчик, — собственными руками старая из Киева от мощей принесла, батюшки-пещерника^[188] благословение. И в этот-то самый сундучок Петька и складывал кочерыжки.

«На том свете бабушке пригодятся, сковородку-то лизать не больно вкусно...»

Случилось на Воздвижение, понадобилось бабушке в сундучок за чем-то, открыла бабушка крышку да так тут же на месте от страха и села.

А как опомнилась, наложила на себя крестное знамение, кочерыжки все до одной из сундучка повыбрасывала, окропилась святой водой, да силен, верно, окаянный — змей треклятый.

Стали они нечистые, эти Петькины кочерыжки, представляться бабушке в сонном видении: встанет перед ней такая вот дубастая и торчит целую ночь, не отплюешься. Притом же и дух нехороший завелся в

комнатах, какой-то капустный, и ничем его не выведешь, ни *монашкой*^[189], ни скипидаром.

А Петька диву дается, куда из сундука кочерыжки деваются, и нет-нет да и подложит.

«Пускай себе ест, корове и сена по горло».

Думал пострел^[190], съедает их бабушка тайком на сон грядущий.

Бабушка на нечистого все валила.

И не проходило дня, чтобы Петька чего-нибудь не напроказил. Пристрастился гулена^[191] змеев пускать, понасажал их тьму-тьмущую по всему саду, и много хвостов застряло за дом.

Запускал Петька как-то раз змея с трещоткой, и пришла ему в голову одна хитрая хватка:

«Ворона летает, потому что у вороны крылья, ангелы летают, потому что у ангелов крылья, и всякая стрекоза и муха — все от крыла, а почему змей летает?»

И отбился от рук мальчонка, ходит, как тень, не ест, не пьет ничего.

Уж бабушка и то и другое, — ничего не помогает, двенадцать трав не помогают!

«А летает змей потому, что у него дранки и хвост!» — решает наконец Петька и, недолго думая, прямо за дело: давно у Петьки в голове вертелось полетать под облаками.

Варила бабушка к празднику калиновое тесто — удалась калина, что твой виноград, сок так и прыщет, и тесто вышло такое разваристое, халва да и только. Вот Петька этим самым тестом-халвой и вымазался, приклеил себе дранки, как к змею, приделал сзади хвост из мочалок, обмотался ниткой, да и к бабушке:

— Я, — говорит, — бабушка, змей, на тебе, бери клубок да пойдем подсади меня, а то он так без подсадки летать не любит.

А старая трясется вся, понять ничего не может, одно чувствует, наущение тут бесовское, да так, как стояла простоволосая, не выдержала и предалась в руки нечистому, — взяла она обеими руками клубок Петькин, пошла за Змием подсаживать его, окаянного.

Хочет бабушка молитву сотворить, а из-под дранок на нее ровно кочерыжка, хоть и малюсенькая, так крантиком, а все же она, нечистая, — и запекаются от страха губы, отшибает всю память.

Влез Петька на бузину.

— Разматывай! — кричит бабушке, а сам как сиганет и — полетел,

только хвост зачиклечился^[192].

Бабушка клубок разматывать разматывала, но что было дальше, ничего уж не помнит.

— Пала я тогда замертво, — рассказывала после бабушка, — и потоптал меня Змий лютый о семи голов ужасных и так всю царапал кочерыжкой острой с когтем и опачкал всю, ровно тестом, липким чем-то, а вкус — мед липовый.

На Покров бабушка приобщалась святых тайн и Петьку с собой в церковь водила: прихрамывал мальчонка, коленку, летавши, отшиб, — хорошо еще, что на бабушку пришлось, а то бы всю шею свернул.

«Конечно, все дело в хвосте, отращу хвост, хвачу на седьмое небо уж прямо к Богу либо птицей за море улечу, совью там гнездо, снесусь...» — Петька усердно кланялся в землю и, будто почесываясь, ощупывал у себя сзади под штанишками мочальный змеев хвостик.

Бабушка плакала, отгоняла искушения.

Разрешение пут^[193]



— Иди к нам, бабушка, иди, пожалуйста, глянь: наша Вольга уж твердо на ножки встает!

Старая вещая знает: с веревкой дите народилось, крепко-накрепко запутаны ноги веревкой, надо веревку распутать — и дите побежит.

Старая вещая знает, ножик вострит.

Девочка ручками машет, смеется, а ротик зубатый — зубастая щука, знай тараторит...

— Да стой же, стой! — Тянутся жесткие пальцы к рубашке,

зацепила старуха за ворот, разрывает тихонько.

Заискрились синие глазки, светится тельце.

Старая вещая знает, — видит веревку, шепчет заклятье, режет:

— Пунтилей, Пунтилей^[194], путы распутай, чтобы Вольте ходить по земле, прыгать и бегать, как прыгает в поле зверье полевое, а в лесе лесное. Сними человечесье проклятье с младенца...

И девочка ножками топ-топ топочет. Вот побежит... не поспеть и серому волку!

— Бабушка, ты за плечами распутай, бабушка... чтобы летать...

Старая вещая знает. Ножик горит под костлявой землистой рукой.

Девочка вся задрожала... Шепчет старуха:

— Будет летать.

Плача^[195]



Красное солнце, высоко ты плаваешь в синих сумрачных реках небес — там волнистые поля облаков неустанно бегут.

И ты, сын красного солнца, белый мой свет, ты озаряешь мать-землю.

И ты, ухо ночи — подруга-луна, ты тихо восходишь, идешь над землею, следишь за ростом трав, за шумом леса, за плеском рек, за моим сном.

И ты, семицветная радуга, бык-корова небесных полей, ты жадно пьешь речную студеную воду.

Пожелайте счастья мне от матери-земли, сколько на небе осенних звезд!

Пожелайте счастья мне от светлого востока, сколько белых цветов земляники!

Пожелайте счастья мне от синих сумерек запада, сколько алых

лепестков диких роз!

Пожелайте счастья мне от ледяного севера, сколько зеленых цветов смородины!

Пожелайте счастья мне от знойного юга, сколько на ниве золотого зерна!

Пожелайте счастья мне от широкой реки, сколько рыб на глубоком дне!

Пожелайте счастья мне от дремучего леса, сколько скрыто вольных птиц!

Пожелайте счастья мне от темного бора, сколько зреет ягод в бору!

Пожелайте счастья мне от топких болот, сколько сосен стоит кругом!

Пожелайте счастья мне, солнце! белый свет! луна, радуга!

Пожелайте великим своим пожеланием с поверх головы до подножия ног.

Троецы пленница^[196]



С дерева листья опало^[197], раздувается ветром.

По полям ходит ветер, все поднимает, несет холод и дождик.

Протяжная осень.

Запустели сады, улетают последние птицы. Приунывши, висят сорные гнезда.

Попрытались звери. Некому вести принести на хвосте: скрылся в нору хомяк, залег лежебока.

Намутили воду дожди, не состояться воде^[198], река — половодье.

И по тинистым ямам, где раки зимуют, сонные бродят водяники.

Протяжная осень.

Все пути и дороги исхожены — невылазная грязь.

Черти торят пути, не траву — трын-траву очертя голову^[199] косят да на межевом бугорке, на черепках, в свайку играют.

Волей-неволей, без прилуки^[200] летают стадами с места на место черные галки, падают накось, кричат. Воробьи, гоняя собак, почувывркивают.

Пошла непогода. Ненастье.

Бедовое время^[201] в теплой избе.

В свины-поздни^[202], лишь засмеркалось, трубой ввалились^[203] в избу непорочные благоверные вдовы.

Наглухо заперли двери.

Бросили вдовы свои перекоры, прямо с места уселись за стол.

На Хватавщину^[204] вдовы угощались блинами — поминали родителей, на Семик^[205] собирали сохлые старые цветы, а теперь черед и за курицей: не простая курица — *троецыпленница*. Троецыпленница — трижды сидела на яйцах, три семьи вывела: пятьдесят пять кур, шестьдесят петухов — добыча немалая!

Чинно распили вдовы бутылку церковного, поснимали с себя подпояхки, обмотали подпояской бутылку и пустую засунули Кузьме за пазуху.

Долговязый Кузьма, по-бабьи повязанный, петухом петушится, улещает словами, потчует вдов наповал.

И в полном молчании не режут — ломают курицу вдовы, едят по-звериному, чавкают.

Так по косточкам разберут они всю троецыпленницу да за яичницу.

А она, глазуня, и трещит и прыщет на жаркой сковородке, обливается кипящим душистым салом.

Досыта, долго едят, наедаются вдовы.

Оближут все пальчики да с заговором вымоют руки и до последней пушинки все: косточки, голову, хвост, перья и воду соберут все вместе в корчагу.

И зажигаются свечи.

Мокрыми курицами высыплют вдовы с корчагой на двор.

Вырыли ямку, покрыли корчагу онучей, закапывают курочку.

И все, как одна, не спеша с пережевкой, с перегнуской затянули вдовы над могилкой куриную песню.

Песней славят-молят троецыпленницу.

Тут Кузьма, не снимая платка, избоченился.

Не подкузьмит Кузьма, вьет из себя веревки, хочешь, пляши по нем,
только держись!

И разводят вдовы бобы^[206], кудахчут, как куры, алакают^[207].

Обдувает холодом ветер, помачивает дождик.
Вцепляется бес в ребро, подает Водяной человеческий голос.
Темь, ни зги. Скоро петух запоет.
Мольба умолкает. В избе тушат огни.

Протяжная осень.

На задворках щенята трепали онучу, потрошили священные перья
троецыпленницы.

Растянувшись бревном, гнал до дому Кузьма, кукурекал.

А дождь так и сеет и сеет.

Протяжная осень.

Ночь темная^[208]



Не в трубы трубят, — свистит ветер-свистень, шумит, усбушевался.
Так не шумела листьями липа, так не мели метлами ливни.

Хунды-трясучки^[209] шуршали под крышей.

Не гавкала^[210] старая Шавка, свернувшись, хоронилась Шавка в
сторожке у седого Шандыря — Шандырь-шептун^[211] пускал по ветру
нашепты, сторожил, отгонял от башни злых хундов.

В башне шел пир: взбунтовались ухваты, заплясала сама кочерга, Пери
да Мери, Шуды да Луды^[212] — все шуты и шутихи задавали пляс, скакали
по горнице, инда от топота прыгал пол, ходила ходуном половица.

Бледен, как месяц, сидел за столом Иван-царевич.

За шумом и непогодой не было слышно, сказал ли царевич хоть слово, вздохнул ли, посмотрел ли хоть раз на невесту царевну Копчушку.

В сердце царевны уложил ветер все ее мысли.

Прошлой ночью царевне нехороший пригласился сон, но теперь не до сна, только глазки сверкают.

Ждали царевича долго, не год и не два, темные слухи кутали башню. Каркал Кок-Кокоряшка^[213]: «Умер царевич!» А вот дождались: сам прилетел ясный сокол.

Всем заправляла Коза: известно, Коза — на все руки, не занимать ей ума — и угостить, и позабавить, и хохотать верховая.

А ветер шумел и бесился, свистел свистень, сек тучи, стрекал^[214] звезду о звезду, заволакивал темно, гнул угрюмо, уныло густой сад, как сухую былинку, и колотил прутья о прутья.

Ходила ведьма Коца вокруг башни, подслушивала.

Плотно в башне затворены ставни, — чуть видная щелка. Покажется месяц, упадет в башню и бледный играет на мертвом — на царевиче мертвом.

Давным-давно на серебряном озере у семи колов лежит друг его, серый Волк, и никто к серому не приступится. Отгрызли серому Волку хвост, — не донес серый Волк до царевича воду! — и рядом с Волком в кувшинчиках нетронутая стоит живая вода и мертвая: не придет ли кто, не выручит ли серого! А Иван-царевич за крепкими стенами, и никто к нему не приступится. Ивана-царевича — уж целая ночь прошла — за крепкими стенами повесили.

— Пронюхает Коза, догадается... скажет царевне, возьмет, впрыснет царевну: «С гуся вода, с лебедя вода...»^[215] — тут ведьма Коца поперхнулась, крикнула Соломину-воромину.

Соломина-воромина тут как тут.

Села Коца на корявую да к щелке. Отыскала сучок,хватила безымянным пальцем сучок — украла язык^[216] у Козы:

— Как сук ни ворочается, как безымянному пальцу имени нет, так и язык не ворочайся во рту у Козы.

И вмиг онемела Коза, испугалась Коза, бросила башню. Ушла Коза в горы.

Черви выточили горы. Червей поклевали птицы. Птицы улетели за теплое море.

Пропала Коза. И никто не знает, что с Козой и где она колобродит рогатая.

А ведьма Коща вильнула хвостом и — улизнула: ей, Коще, везде место!

И кончился пир.

Пери да Мери, Шуды да Луды — все шуты и шутихи нализились до чертиков, в лежку лежали.

Хунды-трясучки трясли и трепали седого шептуна-Шандыря. Мяукала кошкой Шавка от страха.

Сел царевич с Копчушкой-царевной, поехали.

Едут.

А ночь-то темная, лошадь черная.

Едет-едет царевич, едет да пощупает: тут ли она?

Выглянет месяц. Месяц на небе, — бледный на мертвом играет.

Мертвый царевич живую везет.

Проехали гремуч вир^[217] проклятый.

А ночь-то темная, лошадь черная.

— Милая, — говорит, — моя, не боишься ли ты меня?

— Нет, — говорит, — не боюсь.

Проехали чертов лог^[218].

А ночь-то темная, лошадь черная.

И опять:

— Милая, — говорит, — моя, не боишься ли ты меня?

— Нет, — говорит, — не боюсь, — а сама ни жива ни мертва.

У семи колов на серебряном озере, где лежит серый Волк, у семи колов как обернется царевич, зубы оскалил, мертвый — белый — бледный, как месяц.

— Милая, — говорит, — моя, не боишься ли ты меня?

— Нет...

А ночь темная, лошадь черная...

— Ам!!! — съел^[219].

Снегурушка



Не стучалась, не спрашивала, шибко растворила она мои двери, такая совсем-совсем еще крохотная, с белыми волосками.

— Вставай! — крикнула, а синие глазки так и играли, снежинки не глазки.

— Снегурушка!

— Снегурушка.

— Ты мне принесла?..

— Морозу! — И на пальчиках белый сверкнул у Снегурушки первый снежок, а глазки так и играли, снежинки — не глазки.

— Снегурушка, возьмешь ты меня? Мы поедем шибкошибко на санках с горки на горку...

— Вот как возьму! — Она протянула свои светлые ручки и, крепко обняв, прижимала носик и губки к моим губам.

— А кого еще мы возьмем?

— Серого волка.

— А еще?

— Ведмедюшку.

Я поднес Снегурушку к моему окну, в окно посмотреть.

Шел снег белый, первый снежок.

— Шатается, — показала пальчиком Снегурушка, вытянула губки, — ветер... ветрович шатается.

— А когда перешатается, мы и покатым на санках, шибко-шибко с горки на горку...

— По беленькой травке?

— При месяце.

— Месяц будет белый, в беленьком платочке... — И она твердо спрыгнула наземь.

— Так ты не забудешь?

— Не забуду.

— Прощай!

— Прощай, Алалей.

И так же шибко захлопнулись двери — Снегурушка скрылась.
Шел снег белый, первый снежок.

Зима лютая^[220]



Корочун^[221]

Дунуло много, — буйны ветры^[222].
Все цветы привозблекли, свернулись.
Вдарило много, — люты морозы^[223].

Среди поля весь в хлопьях драковитый^[224] дуб, как белый цветок.
Катят и сходятся пухом снеговые тучи, подползает метелица, порошит
пути, метет вовсю, бьет глаза, заслепляет: ни входу, ни выходу.

И ветер Ветреник^[225], вставая вихорем, играет по полю, врывается
клубами в теплую избу: не отворяй дверь на мороз!

Царствует дед Корочун.

В белой шубе, босой, потряхивая белыми лохмами, тряся сивой
большой бородой, Корочун ударяет дубиной в пень, — и звенят злющие
зюзи^[226], скребут коготками морозы, аж воздух трещит и ломается.

Царствует дед Корочун.

Коротит дни Корочун, дней не видать, только ветер и ночь.

Звонкие крепкие ночи.

Звездные ночи, яркие, все видно в поле.

Щелкают зубом голодные волки. Ходит по лесу злой Корочун и ревет
— не попадайся!

А из-за пустынных болот со всех четырех сторон, по-чуя голос, идут к
нему звери без попяту^[227], без завороту^[228].

Непокорного — палкой, так что секнет^[229] надвое кожа.

На изменника — семихвостая плетка, семь подхвостников: раз хлеснет — семь рубцов, другой хлеснет — четырнадцать.

И сыплет и сыплет снег.

Люты морозы — глубоки снега.

Не скоро Свету — солнцу родиться, далек солноворот. Хорошо медведю в теплой берлоге, и в голову косматому не приходит перевернуться на другой бок.

А дни все темней и короче.

На голодную кутью^[230] ты не забудь бросить Деду первую ложку, — Корочун кутью любит. А будешь на Святках рядиться, нарядись медведем, — Корочун медведя не съест.

И разворочался, топает, месяц катает по небу, стучит неугомонный — Корочун неугомонный.

Старый кот Котофей Котофеич, сладко мурлыкая, коротает Корочуново долгое время — рассказывает сказки.

Медведюшка



Среди ночи проснулась Аленушка.

В детской душно. Нянька Власьевна храпит и задыхается. Красная

лампадка нагорела: красное пламя то вспыхнет, то погаснет.

И никак не может заснуть Аленушка: страшно ей и жарко ей.

«Папа поздно пришел, — вспоминается Аленушке, — я собиралась спать, папа и говорит: «Смотри, Аленушка, на небо, звезды упадут!» И мы с мамой долго стояли, в окно глядели. Звезды такие маленькие, а золотой водицы в них много, как в брошке у мамы. Холодно у окна, долго нельзя стоять. Когда идешь с папой к ранней обедне, тоже холодно: колокол звонит, как к покойнику. Власьева вчера рассказывала, будто покойник Иван Степанович рукой во сне ее ловит... А звезд много на небе, звезды разговаривают, только не слышать. Дядя Федор Иванович говорит, будто летает он к звездам и ночью слушает, как звезды поют тонко-тонко. Днем их нет, днем они спят. Тоже и я полечу, только бы достать золотые крылья... А папа подошел и говорит: «Аленушка, звезда падает!» И золотая ленточка долго горела на небе и потом пропала. Холодно звездочке, где-нибудь лежит она, плачет, — моя звездочка!»

Аленушке так страшно и так жалко звездочки, заныла Аленушка.

— Попить, няня, по-пи-ть!

И когда Власьева-нянька подает Аленушке кружку, Аленушка жадно пьет, вытягивая губки.

Теперь Аленушка свернулась калачиком и заснула.

И кажется ей, летит она куда-то к звездам, как летает дядя Федор Иванович, попадаются ей навстречу звездочки, протягивают свои золотые лапки, сажают ее к себе на плечи и кружатся с ней, а месяц гладит ее по головке и тихо шепчет на самое ушко:

«Аленушка, а Аленушка, вставай, солнышко проснулось, вставай, Аленушка!»

Аленушка щурит глазыньки, а все еще кажется ей, будто летит она к звездам, как дядя Федор Иванович.

— Что тебя не добудишься, вставай скорее! — Это мама, мама наклонилась над кроваткой, щекочет Аленушку.

Аленушкина звездочка долго летала и упала наконец в лес, в самую чащу, где старые ели сплетаются мохнатыми ветвями и страшно гудят.

Проснулся густой, сизый дым, пополз по небу, и кончилась зимняя ночь.

Вышло и солнце из своего хрустального терема нарядное, в красной

шубке, в парчовой шапочке.

Прозрачная, с синими грустными глазками, лежит Аленушкина звездочка неподалеко от заячьей норки на мягких иглах: вдыхает мороз.

А солнышко походило-походило над лесом и ушло домой в свой хрустальный терем.

Поднялись снежные тучи, залегли по небу, стало смеркаться.

Дребезжащим голосом затянул ветер-ворчун свою старую зимнюю песню.

Глухая метель прискакала, глухая кричит.

Снег заплясал.

Дремлет у заячьей норки бедная звездочка, оттаявшая слезинка катится по ее звездной щеке и замерзает.

И кажется звездочке, что она снова летит в хороводе с золотыми подругами, им весело и хохочут они, как хохочет Аленушка. А ночь хмурая старой нянькой Власьевной глядит на них.

3

Выставляли рамы.

Целый день стоит Аленушка у раскрытого окна.

Чужие люди проходят мимо окна, ломовые трясутся, вон плетется воз с матрацами, столами и кроватями.

«Это на дачу!» — решает Аленушка.

А небо голубое, чистое, небо Аленушке ровно улыбается.

— Мама, а мама, а когда мы на дачу? — пристает Аленушка.

— Уберемся, деточка, сложим все и поедем далеко, дальше, чем прошлым летом! — сказала мама: мама шьет халатик Леве, и ей некогда.

«Поскорей бы уехать!» — томится Аленушка.

На игрушки и смотреть Аленушке не хочется, такие деревянные игрушки скучные. Игрушкам тоже зима надоела.

Долго накрывают на стол, стучат тарелками.

Долго обедают, Аленушке и кушать не хочется.

Приходит дядя Федор Иванович, говорит с мамой о каких-то стаканах, смеется и дразнит Аленушку.

А Аленушка слоняется из угла в угол, заглядывает в окна, капризничает, даже животик у ней разболелся.

Не дожидаясь папы, уложили ее в кроватку.

И сквозь сон слышит Аленушка, как за чаем папа и мама и дядя Федор

Иваныч в столовой толкуют об отъезде на дачу в лес дремучий, где деревья даже в доме растут, над крышей растут. Вот какие деревья!

Головка у Аленушки кружится.

Ей представляется большая зеленая елка, ярко освещенная разноцветными свечками, в бусах, в пряниках, елка идет на нее, а из темных углов крадутся медведи белые и черные в золотых ошейниках, с бубенцами, с барабанами, и падают, летают вокруг медведей золотые звездочки.

«А где та, моя, где моя звездочка? — вспоминает Аленушка. — Дядя сказал, вырастет из нее такая же девочка, как я, или зверушка. И что это за Такая зверушка?»

— Ну что, Аленушка, как твой животик? — Это папа, папа тихонько наклонился над Аленушкой, крестит ее.

— Не-т! — сквозь сон пищит Аленушка.

— Выздоровливай скорей, деточка, на дачу завтра едем, горы там высокие, а леса дремучие!

Аленушка перевернулась на другой бок, крепко-крепко обняла подушку и засопела.

4

Как-то сразу замолкли вихри, и разлившиеся реки задремали.

Зарделись почки, кое-где выглянули первые шелковые листики.

Седые, каменные ветки оленьего моха бледно зазеленелись, разнежились; поползли на цепких бархатисто-зеленых лапках разноцветные лишай; медвежья ягода покрылась восковыми цветочками.

Птицы прилетели, и в гнездах запищали маленькие детки-птички.

Проснулась у заячьей норки и Аленушкина звездочка. За зиму-то вся покрылась она шерстью, как медведюшка. На лапках у ней выросли острые медвежьи коготки, и стала звездочка не звездой, а толстеньким, кругленьким медвежонком.

Хорошо медвежонку прыгать по пням и кочкам, хорошо ему сучья ломать, наряжаться цветами.

Скоро научится он рычать по-медвежьи и пугать маленьких птичек.

— Сидите, детки, в гнездышках, — учит мать-птица, — медведюшка ходит, укусить не укусит, а страху от него наберетесь большого.

Целыми днями бродит медвежонок по лесу, а устанет — ляжет где-нибудь на солнышке и смотрит: и как муравьи с своим царством копошатся,

и как цветочки да травки живут, и как мотыльки резвятся — все ему мило и любопытно.

Полежит, поотдохнет медвежонок и пойдет. И куда-куда не заходит: раз чуть в болоте не завяз, насилиу от мошек отбился, и смеялись же над ним незабудки, мхи хохотали, поддразнивали. А то повстречал чудовище... птицы сказали, — *охотник*.

— Человек остерегайся, глупыш! — долбил дятел: — Человеки тебя в цепь закуют. Вон Скворца Скворцовича изловили, за решеткою теперь, воли не дают. Летал к нему: «Жив, пищит, корму вдосталь, да скучно». У них все вот так!

А медвежонку и горя мало, прыгает да гоняется за жуками, и только когда багровеет небо и серые туманы идут дозором и месяц выходит любоваться на сонный лес, засыпает он где попало и до утра дрыхнет.

Как-то медвежонок и заблудился.

А ночь шла темная, душная.

Птицы и звери ни гугу в своих гнездах и норках.

Ходил медвежонок, ходил, и так вдруг страшно стало, принялся выть — а голоса не подают. И собрался уж под хворост лечь, да вспомнился дятел.

«Еще сцапают да в цепь закуют, пойду-ка лучше!»

По лесу пронесся долгий, урчащий гул, и листья затряслись, ровно от ужаса. Голубые змейки прыгали на крестах елей, и что-то трескалось, билось у старых, рогатых корней.

Как угорелый, пустился медвежонок куда глаза глядят, бежал-бежал, исцарапался, дух перевести не может, хватать — голоса, огонек. Обрадовался.

«Птичье гнездо!» — подумал.

А огонек разгорался, голоса звенели.

Раздвинул медвежонок кусты и видит: огромный светлый зал, много чудовищ-охотников, едят охотники и что-то лопочут.

— Ты, Аленушка, — говорит мама, — одна в лес не ходи, там тебя медведи съедят. Дядя Федор Иванович намерен пошел на охоту, а ему медвежонок навстречу, крохотный с тебя!

— Папа, а папа, — обрадовалась Аленушка, — поймай ты мне этого медвежонка, я играть с ним буду!

А медвежонок, как услышал, зарычал и вышел.

— Смотрите, смотрите, — кричала мама, — вон медвежонок!

Тут все бросились из-за стола, папа суп пролил.

— Медведюшка, иди, иди к нам, ужинать с нами, медведюшка! —

прыгала Аленушка.

И медведюшка подошел, нюхнул, — очень уж понравилась ему беленькая девочка.

И Аленушке медведюшка очень понравился: усадила она его рядом с собою, гладила мордочку, тыкала в нос ему белый хлеб. А он ласково смотрел в ее светлые глазки, сопел: так устал и напугался.

— Ну, вот и медвежонок у тебя, играй с ним, а теперь отправляйся в кроватку, и так засиделась!

— И он со мною? — робко спросила Аленушка.

— Нет уж, иди одна, его к кусту папа привяжет!

Мама сердилась на папу за суп, и Аленушка, едва сдерживая слезы, одна пошла в детскую.

Долго не спалось ей, все она думала о медвежонке, как они вместе в лес будут ходить, как ягоды собирать, — бояться некого, никто с медвежонком не съест.

— Медведюшка, миленький мой медведюшка, бедненький! — шептала Аленушка и засыпала.

5

Как проснется Аленушка, прямо бежит к медведюшке, отвязет его от куста и чего-чего только не делает: и тискает его, и надевает папину старую шляпу, и садится верхом или долго водит за лапку и разговаривает.

Медведюшка все понимает, только говорить не может, рычит.

Так незаметно проходят дни.

С Аленушкой хорошо медведюшке, а привязанный он тоскует, вспоминает птиц и зверей разных.

Подошла осень, заволодели ночи. Уж изредка топили печи.

Медведюшка слышал, как папа и мама разговаривали об отъезде домой, да и Аленушка брала его за лапку, гладила, целовала в мордочку.

— Скоро один останешься, — говорила она медведюшке, — папа и мама не хотят тебя брать, ты кусаться будешь.

А сегодня мама сказала Аленушке, чтобы она не очень-то водилась с медведюшкой.

— Дядя вон погладил твоего медведюшку, а он его за нос и цап!

«Уж не удрать ли в лес, а то убьют еще!» — раздумывал медведюшка, и так ему было тоскливо, и больно, и жалко Аленушку.

Собирались уезжать.

Вечером приехали гости, и мама играла на рояли.

Когда же дядя запел, начал и медведюшка подвывать из куста. И вдруг рассвирепел, оборвал ошейник да прямо в зал.

Все страшно перепугались, словно пожара какого, бросились ловить медвежонка, а когда поймали его, тяпнул он маму за палец.

Тут все закричали.

— Мой медведюшка, не троньте его! — визжала Аленушка.

А медведюшку связали и потащили.

— Куда вы дели моего медведюшку? — всхлипывала Аленушка, вытягивала длинно-длинно свои оттопырки-губки.

— Ничего, деточка, — утешала Власьевна, — в лес его пустят ходить, там ему способнее будет. Спи, Аленушка, спи, утресь домой поедem, игрушки-то поди соскушнились по тебе!

— Не надо мне игрушков — медведюшка мо-ой, какие вы все-е!

Личико ее покраснелось, слезы так и бегут...

6

Частые-частые звезды осенние из серебра, золотые тихо перелетают, льются по небу.

Месяц куда-то ушел.

Трещат сучья. Улетают листья, гудят.

— Медведюшка идет, прячьтесь скорее! — перекликаются птицы и звери.

С шумом раздвигая ветви, выходит медведюшка: на шее у него оборванная веревка, и торчит клоками шерсть. Насупился.

Так подходит медведюшка к берлоге, разрывает хворост, спускается в яму, рычит.

— Спать залягу да поотдохну малость!

И раздается по всему лесу храп: это медведюшка лапу сосет, спит.

Стаями выпархивают птицы, собираются в стаи, улетают птицы в теплые страны, покидая холод, оставляя старые гнезда до новой весны.

Лампадка защурилась, пыхнула и погасла.

Серый утренний свет тихомолком подполз к двойным рамам окон, заглянул украдкой в детскую, и ночная тьма поседела и медленно побрела по потолку и стенам, а по углам встали тени — столбы мутные, какие-то сонные.

Котофей Котофеич, черный бархатный кот, приподнялся на своих

белых подушечках-лапках, изогнулся и, сладко зевнув, прыгнул к Аленушке на кровать.

Аленушка таращила заспанные глазыньки: уж не медведюшка ли бросился съесть ее?

А Власьевны нет...

На кухне глухо стучат и ходят.

Кот подвернул лапки, вытянул усатую мордочку и запел.

Теперь совсем не страшно.

«Господи, — мечтает Аленушка, — хоть бы Рождество поскорее, а там и Пасха, к заутрене пойду, на Пасху хорошо как!»

Опухшие за ночь губки серьезничают, а личико светится, и улыбается Аленушка, словно вот уж волхвы идут со звездой, большущую тащат елку, в пряниках.

1900

Морщинка [\[231\]](#)



В чистом поле жили-были две мышки: Алишка-кургузка и Морщинка-долгоуска. Старая Алишка ходила на промысел добывать себе на день пищу, а молоденькой наказывала, чтобы сидела себе дома, убирала постельки.

Постельки у мышек были из листьев, подушки из цветочков, одеяльца из душистой травы.

Хорошо было Морщинке в тесной норке, да не весело. Крошечное окошечко из мотыльковых крылышек пропускало чуть маленький желтый

светик. Темно было в норке.

Усядется мышка на сырой подоконник, грызет морковку и думает либо усиком по стеклышку выводит тонкими буквами *чистое поле*.

Никогда не видала Морщинка чистого поля.

В теплый полдень возвращалась с добычи Алишка, приносила еды, угощала Морщину.

Сидели мышки, в молчании кушали.

А потом в постельки ложились.

— Тетушка, тетущка, расскажи мне про чистое поле, — приставала Морщинка-долгоуска.

— Про чистое поле? — зевала Алишка, трудно было кургузке рассказывать после обеда, — чистое поле просторно, в поле тепло и раздолье, за полем топкое болото, там живут незабудки, за болотом дремучий лес, за лесом быстрая речка, за речкой гора-курган, на горе Забругальский замок.

— Ой, ой, как страшно, вот бы туда! — пищала Морщинка.

— А Носатая птица?

— Какая Носатая?!

— А такая, сидит на болоте. Словит тебя, да и скушает.

— А я не поддамся!

— Один такой не поддался! — отстраняла сердито сонная Алишка.

В щелку дверки проходил ветерок, приносил с поля пыльцу душистую. Мышек морило.

— Тетушка, а тетущка, расскажи мне про Носатую птицу!

Но уж тетущка задавала храп во всю ивановскую.

2

Раз замешкалась старая Алишка в поле. Морщинка одна осталась, убрала Морщинка постельки и скуки ради зубки точила. Точила-точила и выглянула из норки. И ей понравилось. Повела Морщинка долгим усиком — да в чистое поле.

Вот она, листик за листик, кусток за кусток, мимо Носатой птицы, мимо чудищ, по болоту, по лесу, по речке на горку-курган и очутилась у Забругальского замка.

Долго ли, коротко ли — пришла Алишка домой, принесла кулек разных съедобных, хватъ-похватъ, а Морщинки нет в норке.

Не пила старая с горя, не ела, достала из-под подушки карты, стала

гадать.

— На кого ты меня покинула! — плакала Алишка, утиралась платочком из листьев.

Выходило по картам такое, что страсть: и Клешня, и Носатая птица, и какие-то раки...

— На кого ты меня покинула! — плакала Алишка, да так и проплакала вплоть до глубокой ночи.

А Морщинка походила-походила вокруг страшного замка, шмыгнула в ворота и попала в чистую кладовую.

А в чистой кладовой чего-чего не было: и пирожки слоеные сладкие, и ветчина с горошком, и мыло розовое, и разноцветные свечи.

Всего Морщинка отведала. Досыта наелась, села в уголок, посидела, запела песенку да подумала.

И уходить неохота. Не жизнь, а масленица!

Взяла мышка свечку под мышку, да и за ворота.

С горки по речке, с речки по лесу, из леса в болото, с болота по полю мимо Носатой птицы, мимо чудищ — прибежала домой Морщинка, говорит Алишке:

— Тетушка, тетушка, что мы в этой своей противной норке холодаем да голодаем. Пойдем-ка в Забругальский замок.

— Да ты что, с ума, что ли, спятила? — всплеснула руками Алишка.

А Морщинка на тетушку: рассказала ей о замке, о зубчатых стенах, и какая остроносая башня, и какие ворота, рассказала про чистую кладовую и про все сладкие лакомства.

Не тут-то было. Старую не уломаешь.

Ела старая свечку, похваливала, на своем стояла.

— А Носатая птица меня и не скушала! — хвасталась Морщинка.

— А Клешня одноглазая?

— Какая одноглазая?!

— А такая, в речке живет. Сцапает тебя, защемит головку в колени да всю с косточками и проглотит.

— Ан не проглотит! — пищала Морщинка.

Утро вечера мудренее.

Тихо лежали мышки в постельках.

Тихий дождик в поле шел, кропил цветочки, да травки, да ягодки.

— Тетушка, а тетушка, расскажи мне про Клешню одноглазую!

А тетушка уж седьмой сон видела, горы городила.

Еще до свету подняла Алишка Морщинку с постельки. Ночью старой сон снился: приходила к ней Коза-золотые рога, хороводилась.

Видеть Козу во сне — хорошо, а Козла — неприятность.

Принарядилась старая, и Морщинка принарядилась. Долго мышки вертелись у зеркальца, зеркальце у мышек — росинка, охорашивались мышки.

Уж солнце взошло, когда вышли мышки из норки в свой опасный путь. Полею шли хорошо.

Чистое поле просторно, в поле тепло и раздолье, от ночного дождя глазки у травок горели и развевались кудряшки на синих цветочках.

— Тетушка, тетущка, чистое поле! — пищала Морщинка.

Старая застилась лапкой.

— Тетушка, сколько цветочков на поле!

Старая думала думу: голубело под носом топкое болото.

Мышки притихли, мышки согнулись.

— Чего вы тут шляетесь! — окрикнула Носатая птица.

Большие были передрыги в болоте. Ползком ползли мышки.

— Мы только в замок, — шептала Алишка: колотилось у мышки сердечко.

— А! Так вы в замок... — разинула клюв Носатая птица.

Едва улизнули от Птицы.

— Наказание с тобою, — ворчала Алишка, оступаясь о кочки.

В тревоге достигли мышки дремучего леса.

Откуда ни возьмись Коза-золотые рога.

— Куда, — говорит, — вы, мышки, путь держите?

Сели мышки в холодок под кустик, все Козе рассказали.

— Ну, идите, Бог с вами, только моих козляток не трогайте! — погрозила Коза пальчиком.

— Да уж не тронем, что ты, Коза! — в голос сказали мышки, попрощались с Козой и пошли себе дальше.

А дальше лелеялась быстрая речка.

Сели мышки в лодочку, поехали. Ехали, мочили в воде лапки, перемигивались с рыбками.

Хорошо на речке, вода студеная, любо поплавать под солнышком.

Захотелось мышкам выкупаться в речке.

И только что собрались они причалить к берегу, Клешня цап-царап! —

прямо на мышек и защемила им хвостики.

Восплакались мышки:

— Пусти, — говорят, — пусти нас, одноглазая!

— Не пуцу, — говорит, — откупитесь.

Мышки и серебра ей, и золота, и яхонтов.

— Не надо, — говорит, — мне ни серебра вашего, ни золота, ни яхонтов.

Насилу от Клешни отбоярились, пообещали ей полцарства отдать.

Целое полцарство мышинное!

Села Клешня на рака, нырнула в речку, а мышки на горку полезли.

— Пес ее знает! — оправлялась Алишка: закрутили раки ушки у старой. — С тобой, Морщинка, еще и последний хвост потеряешь.

А Морщинка торопит:

— Тетушка, тетушка, вон замок белеет, вон остроносая башня!

Карабкались мышки, карабкались, помаленьку и влезли.

Обошли мышки вокруг страшного замка, изловчились — шмыгнули в ворота и прямо в чистую кладовую попали.

А в чистой кладовой чего-чего не было.

— Вон, тетушка, пирожки слоеные сладкие, вон ветчина с горошком, вон мыло розовое, вон разноцветные свечи...

И только что успела Морщинка сказать о свечках, как защелкал замок в кладовую.

И где-то над самой головой с треском распахнулась ставня, а из дыры с потолка стало вываливаться маленькими колбасиками что-то ужасное: змея не змея, рак не рак, Бог знает что.

Вывалилось чудовище, скалило зубы.

— Опять эти противные мыши! Ищи их, Фингал, раздави, растопчи!

— Хорошо, раздавлю, растопчу! — отвечал пес Фингал.

Алишка в миску. Морщинка под миску, сели мышки ни живы ни мертвы, сидят.

Вывалилось чудовище — колбаска за колбаской, кусок за куском.

— Ну, пойдем, Фингал, мыши ушли.

С треском захлопнулась ставня.

Защелкнул замок.

Час, и другой, и десятый высидели смирно ошарашенные мышки, не пискнули.

Первая вылезла Морщинка из-под миски.

— Тетушка, тетушка, пойдем скорее. Хоть бы нам сахарную голову

сулили, больше никогда не пойдем в этот замок.

А старая завязла в варенье, трясется: хвостик у бедняжки отвалился от страха.

Кое-как выбрались мышки и давай Бог ноги.

Бежали, бежали, а как скатились с горки-кургана, в лужу и сели.

Едет Клешня на раке, раком погоняет. И защемила Клешня головки мышкам.

— Подавайте, — говорит, — мне полцарства, сию минуту, мышиное!

А на мышках лица нет, на все соглашаются.

Видит Клешня, и без нее им попало, пощипала Клешня, попиявила мышек и выпустила.

Покупаться бы теперь мышкам, да не до того уж.

Сели мышки в лодочку, поехали. Переплыли речку благополучно, в лес вступили.

Хотели они с Козой поговорить, а Коза козляток кормила, только глазами поздоровалась.

А уж Носатая птица кричит с болота:

— Давайте мне ваши головы на отсечение или сами полезайте немедленно в клюв.

Струхнули мышки пуще прежнего, съежились комариком, закрыли глазки да драли куда попало.

Бежали они, бежали, бежали-бежали, прибежали в норку общипанные, обглоданные, облупленные. Сели.

И уж там и сидят, в своем мышинном подполье, благодарят Бога.

1906



Жили-были пять пальцев — те самые, которых всякий на руке у себя знает: большой, указательный, средний, безымянный — все четверо большие, а пятый мизинец — маленький.

Проголодались как-то пальцы, и засосало.

Большой говорит:

— Давайте-ка, братцы, съедим что-нибудь, больно уж морит.

А другой говорит:

— Да что же мы есть будем?

— А взломаем у матери ящик, наедемся сладких пирожных, — кажет безымянный.

— Наестся-то мы наедемся, — заперечил четвертый, — да этот маленький все матери скажет.

— Если скажу, — поклялся мизинец, — так пусть же я не вырасту больше.

Вот взломали пальцы ящик, наелись досыта сладких пирожных, их и разморило.

Пришла домой мать, видит: слипшись, спят пальцы, один не спит мизинец.

Он ей все и сказал:

А за то остался навеки сам маленький — мизинец, а те четверо с тех пор ничего не едят да с голодухи голодные за все хватаются.

Зайчик Иваныч^[233]



Жил человек, у того человека было три дочери, — как одна, красавицы и шустрые, не знали они над собою страха.

Старшую звали Дарьей, среднюю Агафьей, а меньшую Марьей.

Изба их стояла у леса. А лес был такой огромный, такой частый, — ни пройти, ни проехать.

Без умолку день-деньской шумел лес, а придет ночь, загорятся звезды, и в звездах, как царь, гудит лес грозно, волнуется.

Много страхов водилось в лесу, а сестрам любо: забегут куда — аукают, передразнивают птичек, и в дом не загонишь до поздней ночи.

Такие веселые, такие проворные, такие бесстрашные — Дарья, Агафья и Марья.

Как-то старшая Дарья мела избу, свалился с полки клубок, покатился клубок по полу, да и за дверь. Схватила Дарья, взялась клубок догонять. А клубок катится, закатился в лес, пошел по кочкам скакать, по хворосту, привел в самую чащу и стал у берлоги.

А из берлоги Медведь тут как тут.

Как увидел Медведь Дарью, зубы оскалил, высунул красный язык, вытянул лапы с когтями и говорит:

— Хочешь моей женой быть, а не то я тебя съем.

Согласилась Дарья. Осталась у Медведя.

Вот живет она себе, поживает, ходит с Медведем по лесу, показывает ей Медведь разные диковины.

У Медведя терем. В терему три клетки.

Раскрыл Медведь первую клеть, а в ней серебро рекой льется. Раскрыл Медведь вторую клеть, а в ней живая вода ключом бьет.

Говорит Медведь Дарье:

— Третью клеть я не покажу тебе, и ходить в нее я не велю, а не то я тебя съем.

Целый день нет Медведя, уйдет куда на добычу, а Дарью одну оставит.

Ходит Дарья у запретной клетки, заглянуть смерть хочется.

А сторожил клеть Зайчик Иваныч.

Пробовала Дарья с Зайчиком Иванычем заговаривать, да отмалчивался бесхвостый, — хвостик Зайцу Медведь для приметы отъел, — отмалчивался Зайчик, поводил малиновым усом, уплетал малину.

И не раз вгорячах пхала Дарья Зайчика по чем ни попало, таскала за серебряные заячьи ушки. А отляжет сердце, примется целовать Зайца, а то и в пляс пустится. Зайчику — потеха, мяучит. И сам когда-то горазд был, да лапки уходились — не выходит.

Раз Зайчик Иваныч и прикурни на солнышке, заметила Дарья да в

клеть. Отворила Дарья дверцу и чуть не убилась — в глазах помутнело: в огромной клетке кипело настоящее золото. И захотелось Дарье потрогать золото, сунула она палец, и стал палец золотым.

Пришел Медведь, принес малины. Сели за стол. Пьют чай.

Медведь говорит Дарье.

— Что это, Дарья, у тебя палец-то золотой?

— Да так себе, — отвечает Дарья, — золотой сделался.

Тут Медведь из-за стола встал и съел Дарью, а косточки в угол бросил.

2

Тосковали сестры. Рыскали по лесу, по-птичьи кликали, звали сестрицу. Хоть бы голос подала, — не слышит.

И год прошел, и другой прошел. Ни духу ни слуху.

Как-то середняя Агафья подметала избу, сронила клубок. Покатился клубок. Пошла за клубком Агафья. Шла-шла и забралась в самую гущу. Остановился клубок. Глядь — Медведь.

Стал на дыбы Медведь, щелкнул зубами и говорит Агафье:

— Хочешь моей женой быть, а не то я тебя съем.

Агафья и так и сяк, да ничего не поделаешь, осталась жить у Медведя.

Водил ее Медведь по лесу, деревья выворачивал, медом пичкал и всякие медвежьи шуточки выкидывал.

У Медведя терем. В терему три клетки.

Растворил Медведь клетки. Глазела Агафья на серебро и живую воду.

— А третью клеть я не отворю тебе, — говорит Медведь, — и ходить в нее я не велю, а не то я тебя съем.

Загрустила Агафья, ума не приложит, как бы так клеть посмотреть, чтобы Медведь не узнал. А тут этот Зайчик трется, глаз не сводит. Подходит Агафья к Зайчику Иванычу, щекотала ему малиновый ус, а Зайчик и в ус не дует: мяучит себе по-заячиному, ни слова путного.

Выбежал однажды Зайчик Иваныч на закат полюбоваться, а Агафья стук в клеть. Взглянула — остолбенела да в столбняке-то и ткни палец в золото, и стал палец золотым.

Охала и ахала Агафья: как быть, увидит Медведь — съест живьем. Побежала к Зайчику. Сидел Зайчик Иваныч, напевал себе под нос, штаны чинил. Выхватила Агафья у Зайчика заплатку, перевязала себе золотой палец.

Вот пришел Медведь, приволок лесных лакомств полон короб. Сели за

стол.

— Что это у тебя, Агафья, с пальцем? — спрашивает Медведь.

— Ничего, — говорит Агафья, — набредила, вот и обвязала тряпочкой.

— Давай вылечу.

Поднялся Медведь, развязал тряпочку. А под тряпкою золотой палец.

И съел Медведь Агафью, а косточки в угол бросил.

3

Убивалась Марья.

— Сестры, сестрицы мои родимые! — куковала Марья по-кукушечьи.

Только лес шумит, царь-лес!

Так год прошел и другой прошел. Нет сестер.

Как-то подметала Марья пол, скатился клубок и в лес. Шла Марья за клубком, шла, как сестры, вплоть до самой берлоги.

Выскочил из берлоги Медведь, зарычал, оцетинился. Говорит Медведь Марье:

— Хочешь моей женой быть, а не то я тебя съем.

Не сразу далась Марья, заупрямилась. Диву дался Медведь и полюбил ее пуще всех сестер.

Ходит косматый по лесу, собирает цветы, венки плетет. А выйдет с Марьей гулять, про всякую травку ей рассказывает, всякие берложные хитрости кажет. А то ляжет на спину, перекачивается, песни медвежьи поет. Зайчику в знак своего удовольствия мордочку медом вымазал.

У Медведя терем. В терему три клетки.

Все показал Марье Медведь — и серебро и живую воду, а в третью клетку не повел.

— И ходить в эту клетку я тебе не велю, а не то я тебя съем.

— Съем! Съел один такой! — фыркнула Марья, а сама думает, как бы этак Медведя провести?

А Зайчик Иваныч ей глазом мигает. Зайчик Иваныч в Марье души не чаял.

Бывало, уйдет Медведь, а Марья к Зайчику:

— Зайчик, Заинька, научи меня, серенький, как мне быть, погибли сестры, погибну и я: заест меня Медведь.

А Зайчик Иваныч подопрется лапкою, лопочет что-то по-своему.

Так и проводили сны: сядут где на крылечке и сидят рядком, горе

горюют.

Раз Зайчик Иваныч лучину щипал: самовар пить собирались.

Известно, примется Зайчик что-нибудь делать, так уж на целый год наделает, такая повадка у Зайчика.

Зайчик весь двор лучинкой закидал.

Марья пособляла Зайчику. И такая тоска на нее нашла, свету она невзвидела, пошла бродить по терему. Постояла, поплакала над костями сестер да с отчаяния туркнулась в запретную клеть. И ослепило ее золото, закружило голову. Да не сплеховала Марья: опустила лучинку в золото. А лучинка, как жар, горит.

— Сестры, сестрицы мои, мои родимые! — всплакнула Марья.

Запрятала Марья золотую лучинку в красный сафьяновый башмачок, отдала башмачок Зайчику. Пошел Зайчик в погреб за молоком да дорогой и сунул башмачок в свою старую норку.

Пришел Медведь. Сели брагу пить, все честь честью по-хорошему. И пошла жизнь по-прежнему.

4

Пораскидывал умом Зайчик Иваныч, горе горюя с Марьей на крылечке.

Раз и говорит Зайчик:

— Не умею я по-человечьему сказывать, а то бы сказал.

Тем разговор и кончился.

Бродит Марья по терему, плачет над костями сестер, заглядывает то в одну, то в другую клеть.

И пришло ей на ум счастье попробовать. Набрала она полон рот живой воды, вспрыснула сестрины кости. И встала перед ней Агафья — жива-живехонька.

Что делать, куда деваться? Марья к Зайчику, так и так, говорит.

— Хорошо, — говорит Зайчик, — сию минуту.

Взял Зайчик Агафью за руку да в дупло и запрятал, а сам ей принес туда груш да яблоков и всякого печенья. И дело с концом.

Пришел Медведь. Стал к Марье ластиться. А Марья и говорит:

— Рычун, мой рычун, сделай ты мне, что я тебя попрошу.

— А ты наперед скажи, что тебе сделать, а то ты, может, третью клеть посмотреть хочешь, так я тебя съем.

— Батя мой завтра именинник, хочу пирогов ему испечь, а ты снесешь.

— Это можно, пеки.

Обрадовалась Марья да опрометью на кухню ставить тесто. Поставила она тесто и, когда все было готово, принялась пироги печь. Испекла пироги, взяла мешок, посадила в мешок Агафью, покрыла Агафью пирогами.

Говорит Агафье:

— Сядет Медведь посидеть, станет мешок развязывать, а ты и скажи: «Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу».

Чуть только солнышко взошло, взвалил Медведь мешок на плечи, да и в путь-дорогу.

Полднем вздумалось Медведю поотдохнуть маленько, свалил он мешок наземь, стал развязывать.

— Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу! — как закричит из мешка Агафья.

Вскочил Медведь, повел ухом.

«Ишь, — подумал, — и голос же у моей Марьи, все видит, и сесть тебе не полагается!...»

И пустился Медведь дальше. А как добежал до избы, шваркнул мешок у калитки да во все лопатки домой обратно.

Долго ли, коротко ли, ни много ни мало, а год, другой прошел.

Вспрыснула Марья сестрины кости. И встала перед ней Дарья жива-живехонька. Опять Марья к Зайчику. Запер Зайчик Дарью в чулан.

А вечером Марья говорит Медведю:

— Мамушка моя именинница, испеку я ей пирогов в день ангела, снеси ты их, косолапушка.

А сама Дарье шепнула:

— Как рассядется Медведь, ты ему крикни: «Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу».

Все так и случилось. Сел было Медведь подсидеть, стал мешок развязывать, а как услышал голос, оторопел да скорее в путь. А как добежал до калитки, брякнул мешок и опять домой восвояси.

Зайчик, Заинька, научи меня, серенький, что мне делать, не могу больше у Медведя жить, хочу к сестрам!

А Зайчик Иваныч и рад бы что посоветовать Марье, да сказать-то ничего Зайчик не может. А уж так привязался, так привязался он к Марье,

на шаг от себя не отпустит. Прямо влип.

Что наработал за долгую зиму, все Зайчик отдал Марье, какие бисерные кошельки понанизал, все отдал Марье. Летось к Медвежьему дяде за тридевять земель скакал, выпросил у старого хрустальную туфельку да жемчугов горстку, все Марье отдал.

Когда с весной зачирикали птицы и полезли из почек листочки, чтобы на свет посмотреть, сказала Зайчику Марья:

Ну, Зайчик Иваныч, придумала! Уйду я от Медведя.

Зайчик насупился.

А Медведь вечером спрашивает Марью:

— Что ты, красавушка, что ты такая веселая?

А как мне веселой не быть, батю с мамушкой во сне видела. Испеку я им пирогов, отправлю завтра гостинцу. Еще дрыхнуть ты будешь, я затворюсь в терему, подымусь на вышку, буду следить за тобой, а как тронешься в путь, буду песни петь. Слышишь, ты не зови меня, я одна останусь, буду следить за тобой, буду песни петь.

Послушал Медведь, лег спать спозаранку. А Марья испекла пирогов, позвала Зайчика, сказала Зайчику:

Прощай, Зайчик Иваныч, прощай, миленький!

Насупился Зайчик, не пускает Марью, уцепился лапками за передник, на глазах слезы.

И вдвоем коротали они последнюю ночь. Рассказывал Марье Зайчик свою заячью жизнь, как была когда-то у Зайчика норка и как Медведь его выгнал из родимой норки и пришиб Зайчиху, и как пришибленная помирала покойница Зайчиха Ивановна.

И плакал Зайчик Иваныч, и о каких-то лисятах поминал сквозь слезы... Он ли их съел, они ли детей его слопали, понять мудрено было.

На рассвете юркнула Марья в мешок, обложилась в мешке пирогами. Отнес Зайчик Иваныч мешок к берлоге, запер терем, а сам сел на крылечке караул держать.

И когда Медведь с своей ношей скрылся из глаз, запрятался Зайчик в свою старую норку, вынул из кованого ларчика красный сафьяновый башмачок, поставил к себе на столик и залился горькими слезами:

— Сестры, сестрицы мои родимые! На кого вы меня покинули одного среди леса в разоренной норке? Зачем вы оставили меня доживать мои последние заячьи дни одиноко среди леса в разоренной норке? Был я вам другом верным, помогал и охранял вас — и все ушли, забыли меня. Сестры, сестрицы мои родимые!

А Медведь шел, шел, задумал присесть, развязал мешок.

— Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу! — закричала из-под пирогов Марья.

— Слышу, слышу! — рывкнул Медведь и во всю прыть дальше помчался.

А как добежал до калитки, шлепнул мешок и одним духом обратно к своей берлоге.

6

То-то радость была.

Снова вместе все трое, три сестры, три красавицы, — Дарья, Агафья и Марья.

Пошли расспросы да рассказы.

До полночи сестры глаз не сомкнули.

А в полночь весь в звездах, как царь, загудел лес, грозный, заволновался. И поднялась в лесу небывалая буря. Трещала изба, ветром срывало ставни, дубасило в крышу, а вековые деревья, как былинку, пригибало к земле, выворачивало с корнем столетние дубы, бросало зеленых великанов к небу, за звезды.

Это — Медведь, Медведь крушил и ломал свою пустую берлогу, сворачивал бревна, разбрасывал в щепки высокий покинутый терем.

А чуть только свет задымился на небе, Медведь издох от тоски.

Зайка^[234]



1

В некотором царстве, в некотором государстве, в высокой белой

башенке на самом на верху жила-была Зайка.

В башенке горели огни, и было в ней светло, и тепло, и уютно.

Лишь только солнце подымалось до купола и в саду Петушок-золотой гребешок появлялся, приходил к Зайке старый кот Котофей Котофеич. Впрыгивал Котофей в кроватку и бережно бархатной лапкой будил спящую Зайку.

Просыпались у Зайки синие глазки, заплетала Зайка свою светлую коску. Котофей Котофеич пел песни.

Так день начинался.

Зайка скакала, беленькая плясала. С ней скакала Лягушка-квакушка с отбитой лапкой^[235], плясали две Белки-мохнатки. А гадкий Зародыш^[236] садился на корточки в угол, хлопал в ладошки да звонил в серебряный колокольчик.

То-то веселье, то-то потеха!

И обедать готово, а Зайку за стол не усадишь.

Завязывал Котофей Котофеич Зайке салфетку, и принималась Зайка кушать зайца жареного да козу паленую, а на загладку «пупки Кощея»^[237], такие сладкие, такие вкусные, малиновые и янтарные — весь ротик облипнет.

Тут Лягушка-квакушка себе мух ловила, а Белки-мохнатки орешки грызли.

Но вот заходило за домик Барабаньей Шкурки красное солнце, проходила мимо башенки старуха Буроба, проносила Буроба огромный мешок за плечами.

Не дай Бог повернет Буроба в башенку! Подымется Буроба наверх по лестнице, возьмет Зайку в мешок, унесет с собой, да и съест.

Которые дети спать не ложатся, Буроба в мешок собирает.

Котофей Котофеич уж охаживал кроватку, усатой мордочкой грел пуховую Зайкину думку, сон нагонял.

Зайка зевать начинала, просилась в кроватку.

Выползал из ямки Червячок. Рос Червячок, распухал, надувался, превращался в огромного страшного червя, потом опадал, становился маленьким и червячком уползал к себе в ямку.

В окне показывался Кучерище^[238]¹⁸⁵, подпирал Кучерище скулы кулаками, ел Зайкины игрушки.

А Зайка расплетала свою светлую коску, скидывала с себя платице и чулочки да в кроватку бай-бай ложилась.

И подымался из-за угла гадкий Зародыш, залезал Зародыш в фонарик, дул в огонек. И огонек становился огонечком с ноготок Зайкин.

Васютка, сынишка Кучерищев^[239], затягивал в трубе тонко песенку — сонную песенку.

Так вечер кончался, ночь начиналась.

Ночью нередко Зайка ловила рыбку.

И чихал же наутро старый кот Котофей Котофеич, не пел песен.

А бедная Зайка замирала от страха: по лестнице шлепала-топала старуха Буроба с огромным мешком за плечами, пробиралась Буроба наверх к Зайке.

Которые дети по ночам ловят рыбку, Буроба в мешок собирает.

2

По праздникам, когда Петушок-золотой гребешок пел голосистей, а Курочка-кудахточка несла золотое яичко и солнышко ярче и светлее светило в башенку, вылезал из отдушника кум Котофея Котофеича — Чучело-чумичело.

Чучело-чумичело до самого обеда ходил на голове перед Зайкой, — все животики надрывала себе Зайка от хохота, а после обеда Чучело усаживался на шесток вместе с Котофеем Котофеичем, и у них разговор начинался.

Прислушивалась Зайка, но понять ничего не могла.

Чучело-чумичело все рассказывал о крысах, да о мышах, да о мышатах маленьких. А Котофей Котофеич себе под нос мурлыкал.

Раз Котофей Котофеич говорит куму:

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, беда мне с Зайкой, да и только! Сам видишь, обносились вся, локотки продраны, чулочки все в дырках, а какие были кружевца на штанишках, давно от них и помину нет, все обшаркались.

— Эх, кум, кум, — отвечал укоризненно Чучело, — чего ж ты загодя не сказал: приходил вчера ко мне Волчий Хвост, предлагал Хвост кубышку с золотом, да на что мне золото, я и без золота Чучело.

— Может, опять придет?.. — замурлыкал Кот. — Ни зайца у нас

жареного, ни козы паленой, ничего нынче на обед не было, а одними «пупками Кощея» сыт не будешь, да и «пупков» всего ничего осталось.

Призадумался Чучело-чумичело, да и говорит Котофею:

— Так ты, кум, вот что, как пойдешь ужотко за мышами, загляни ко мне в отдушник, там я тебе пошепчу на ушко что-то.

Рано легла баиньки Зайка, а глазки все не спали — глядели, а ушки все не спали — слушали.

То Червячок из ямки покажется.

То Васютка в трубе запищит.

— Велите дать говядинки, говядинки! — пищал из трубы Васютка.

Так Зайку все и разгуливало.

Уж Котофей Котофеич все свои песни перепел, все сказки порассказал, а Зайка все ворочается, переключается то на один бочок, то на другой.

— Спи, деточка, а то люди ночь разберут, — уговаривал Кот.

Только когда Петушок-золотой гребешок прокукарекал полночь, а в домике Барабаньей Шкурки труба закурилась, Зайка засопела носиком и завела далеко-далеко свои синие глазки: прямо на пруд... ловить рыбку.

А Котофей Котофеич прыг с кровати да тихонько к отдушнику.

Покликал Кот Чучела-чумичела. Высунул Чучело мурло из отдушника. И шептались они долгое время.

3

Наутро Котофей Котофеич не чихал, не пел песен, снаряжал Котофей свою Зайку в путь-дорожку.

Говорил Кот Зайке:

— Зайка беленькая, отправляйся, моя курнопятка, в темный лес, иди все прямо-прямо, и будет тебе избушка Бабы-Яги. Заглянуть к Яге в окошечко можно, а входить не входи в избушку. Яга тебя без шапки-невидимки заметит и съесть захочет. Ты иди лучше мимо избушки наискосок по тропинке, пролезай через шиповник, не бойся, пальчиков не оцарапаешь. Так-то, Зайка, так-то, беленькая! Встретит тебя птица Гагана^[240], поздоровайся с птицей: Гагана тебе птичьего молочка даст. Покушаешь молочка и снова в путь трогайся. К полночи придешь к подземелью, не туркайся в дверь, а залезай прямо на дерево и жди, что будет. Пройдет мимо дерева слепышка Листин^[241], прошуршит листьями, не бойся: Листин не страшный. Листин только пугать любит. Пролетит

мимо дерева Сорока-белобока, проскачет Коза рогатая, ты не бойся: больно Коза не забодает, — жди, что дальше будет. Выйдут из подземелья двенадцать черных разбойников, ты слушай, что станут говорить разбойники, заруби их слова себе на носике, а когда пропадут разбойники, спускайся в подземелье и скажи то, что они говорили.

Простилась Зайка с Котофеем Котофеичем, простилась с Лягушкой-квакушкой, простилась с Белками-мохнатками, простилась с гадким Зародышем и с Червячком из ямки.

Все дружно проводили Зайку до самой последней ступеньки, назад в башенку вернулись, и занялся всякий своим делом.

Лягушка-квакушка мух ловила; Белки-мохнатки орешки грызли; Зародыш в ладошки хлопал да звонил в серебряный колокольчик; Червячок выползал из ямки, рос, надувался, превращался в огромного страшного червя, потом опадал, становился маленьким и червячком уползал в ямку.

А Котофей Котофеич по башенке с топориком прохаживал, приводил все в порядок, подшивал и подглаживал, а то заберется в Зайкину кровать и там лапкою гостей замывает.

Каждый вечер все в кружок садились, пили чай — дули на блюдечко, вспоминали свою беленькую Зайку.

Васютка, сынишка Кучерищев, в трубе скучал-насвистывал.

— Зайка-Зайка, вернись-перевернись! — насвистывал из трубы Васютка.

Кучерище в окне игрушки ел.

Как сказал старый кот Котофей Котофеич, так все и вышло.

Не успела Зайка оглянуться в лесу, попался ей Медведь с Мужиком: Медведь с Мужиком^[242] стояли на палочке, ковали железо, пели песни. Поздоровалась Зайка с Медведюшкой и дальше пошла. Шла Зайка, шла и видит, стоит избушка на курьих ножках, на собачьих пятках. Заглянула Зайка в окошко, а в избушке Баба-Яга спит, распустила длинные уши: одно ухо вместо подушки, а другим, будто одеялом, с головкою покрыта. Показала Зайка пальчиками нос Бабе-Яге да скорее наискосок по тропинке. Выпорхнула из шиповника птица Гагана, ударила оземь красным крылом. Поздоровалась Зайка с Гаганой, взяла у птицы кувшинчик с птичьим молочком, выпила молочко и дальше тронулась в путь.

Вот видит Зайка подземелье, подходит она к двери, а дверь из

человечьих костей и скрипит и светится. Забоялась Зайка да на дерево. Вскарабкалась, ждет — наострила ушко.

Прошел слепышка Листин, прошуршал листьями, пролетела Сорока-белобока, проскакала Коза рогатая, упала с неба сестричка-звездочка, и растворилась дверь из человеческих костей, — задрожали у Зайки поджилки, — и двенадцать черных разбойников вышли из подземелья, и сказали разбойники в один голос:

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток!

И тотчас дверь подземелья закрылась.

Постояли разбойники, позевали на месяц. Сказали разбойники в одно слово:

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток!

И тотчас дверь подземелья раскрылась.

А как пропали разбойники, прыгнула Зайка с дерева да все слова разбойничьи и повторила.

И дверь снова раскрылась, и Зайка вошла в подземелье.

Видит Зайка огромный хрустальный зал, по углам банки, в банках золотые рыбки плавают. Хотела Зайка хоть одну рыбку поймать, да одумалась. Подошла к семивинтовому столу. На семивинтовом столе — черная шкатулка, на черной шкатулке — шитое разноцветными шелками полотенце, а по полотенцу беленькая Мышка-хвостат-ка бегаёт. Поздоровалась Зайка с Мышкой-хвостаткой, подала ей Мышка золотой ключик. Приняла Зайка от Мышки золотой ключик, отперла шкатулку. А как открыла крышку, глазенки так и забегали: вся шкатулка до самого верху была полна бисерными кошельками. Взяла Зайка один кошелек с голубенькими цветочками — больно уж ей понравился, хотела Зайка его в сумочку положить, а из кошелька золото орешками и посыпалось. Схватила Зайка подбирать золото, а двенадцать черных разбойников встали с своего места да всю шкатулку Зайке и отдали.

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток! — сказала Зайка по-разбойничьи.

Дверь раскрылась.

И Зайка была такова.

Вся башенка поднялась на ноги, когда Петушок-золотой гребешок прокричал о беленькой Зайке:

— Беленькая Зайка домой бежит!

Все спустились по лестнице вниз и на пороге встретили Зайку.

Зацеловали беленькую, задушили курнопяточку: так были все радехоньки.

А Зайка едва дух переводит, покраснелась, запыхалась вся, все штанишки спустились, по земле волокуются, а волосики взбились хохликом.

Подала Зайка шкатулку Котофею Котофеичу, говорит Коту:

— Вот тебе, Кот, находка, разбирайся!

А сама села присесть да, как убитая, тут же на месте и заснула.

И спала Зайка целых три дня и три ночи без просыпу.

Вышел из отдушника Чучело-чумичело, стал ходить на голове перед Зайкой. Видит Чучело, не обращает Зайка на него внимания, пошушукался с Котофеем Котофеичем и опять в отдушник забрался.

Котофей Котофеич загреб золото, стал считать. И день считал, и другой считал, все со счета сбивается, — ничего не выходит.

Побежал Кот к Барабаньей Шкурке за мерой.

— Дай, — говорит, — мерку мне на минутку.

— А зачем вам мера? — спрашивает Барабанья Шкурка.

— «Кощеевы пупки» считать.

— Хорошо, — ухмыльнулась Барабанья Шкурка, — Дам я вам меру, только смотрите, не затеряйте.

А сама думает:

«Тут дело не чисто, кто же это «пупки Кощеевы» мерой считает — «пупки» в коробках на фунты продаются!»

А чтобы вернее дознаться, что будет Кот мерить, намазала Шкурка дно у своей меры липким медом.

Взял Котофей Котофеич Шкуркину меру и домой в башенку.

А уж мерил Кот, мерил, мерил-мерил — конца-краю не видно. А как вымерил до последнего золотого, отнес меру Барабаньей Шкурке, накопил платищев и игрушек, нарядил Зайку и сел себе тихомолком гостей замывать.

Тут пошел такой в башенке пляс, хоть образа выноси из дому.

Не пляс-али, а бесновались. Больше всех отличалась Лягушка-квакушка, до того дошла Квакушка, что под вечер еще одну лапку себе отбила и осталась всего о двух лапках задних.

Ну и Чучело-чумичело, нечего сказать, постарался — Чучело-чумичело лицом в грязь не ударил: ходивши на голове, мозоль натер себе

Чучело на самом носу.

То-то веселье, то-то потеха!

А Барабанья Шкурка не моргала. Как принес ей Котофей Котофеич меру, Шкурка всю меру во все глаза оглядела и на самом доньшке нашла золотой, — прилип золотой к меду.

И порешила Шкурка разведать, откуда такое богатство попало в руки Зайки.

Много годов живет на белом свете Барабанья Шкурка, сундуки Шкурки доверху золотом завалены, а такого золота она глазом отродясь не видала, ни слухом не слыхала: не простое золото, а серебряное!

И стала Барабанья Шкурка подсылать к беленькой Зайке двух своих жогов подручных: Артамошку — гнусного да Епифашку — скусного.

6

Нос крючком, голова сучком, брюшко ящичком, а все само жилиное и толкачиком, — такие эти были Артамошка с Епифашкой.

В первый раз пришли они чуть свет в башенку. В другой раз — в сумерки, в третий раз — поздно вечером и повадились. И днюют и ночуют пакостники, отбоя нет.

Придут они в башенку, рассядутся на кухне и клянча-ют. Немытые, нечесанные, — страсть взглянуть.

Разжалобили жоги Зайку.

Пробовала Зайка посылать им грибков да щавелику, — не помогает, все свое тянут, все еще клянчают. Еще больше разжалобили Зайку.

И стала Зайка их в комнаты пускать.

А как влезли они в комнаты, — тут уж ничем их не выживешь.

Зайка скачет, беленькая пляшет, а они мороками^[243] по башенке бродят, все трогают, все нюхают, а то в игры свои играть примутся: либо угощают друг дружку мордой об стол, либо в окно выбрасываются, — такие эти были Артамошка с Епифашкой.

Остерегал Зайку старый кот Котофей Котофеич:

— Ой, Зайка, ой, беленькая, не водись ты с этими полосатыми: шатия эта шатается, не будет прока, помяни ты мое котово верное слово... с Буробою они знают, тетенькою Буробу величают, сам слышал, тоже и башмачок твой намедни сожрали, да то ли еще натворят, ой, Зайка, ой, беленькая!

А Зайка хохочет.

— Старый ты, старый ворчун, все б тебе ворчать, иди-ка ты лучше да мышек топчи.

— Не могу я больше мышек топтать, — грустно вздыхал Котофей Котофеич и снова принимался журить Зайку.

Раз села Зайка в ванночку мыться. Котофей Котофеич головку ей мылил, банные песни пел. И случись такой грех: попало едкое мыло Коту в глаз.

Пошел Котофей Котофеич в кухню глаз промывать, а Артамошка с Епифашкой стук к Зайке в ванночку.

— Расскажи да Расскажи, Заинька, откуда бисерные такие кошельки у тебя разноцветные да откуда золото такое не простое, а серебряное?

Зайка все язычком и выболтала.

Вернулся из кухни Котофей Котофеич, а уж Артамошки с Епифашкой и след простыл.

И с той поры сгинули они из глаз, полосатые, словно никогда их и земля не носила.

Призналась Зайка Котофею Котофеичу.

Встревожился Котофей Котофеич.

— Пропали мы, пропали все пропадом! — одно твердил старый Кот.

Проснется Зайка ночью попить, позовет Котофея Котофеича, а Кота нет у кровати: Котофей Котофеич целыми ночами напролет перешептывался с Чучелом-чумичелом, куму свое горе поверял.

Всякий праздник, как всегда, вылезал из отдушника Чучело-чумичело, ходил до обеда на голове перед Зайкой, а после обеда, сидя на шестке с Котофеем Котофеичем, оба об одном рассуждали и на разные лады умом раскидывали, как из беды Зайку выпутать: неспроста приходили полосатые, наделают они дел, не оберешься.

— Пропали мы, пропали все пропадом! — твердил старый Кот.

Артамошка с Епифашкой потирали себе руки от удовольствия: так ловко провели они Зайку и носик ей натянули курносенький.

Получили жогги в награду от Барабаньей Шкурки старую собачью конурку на съедение. Засели в конурку, лакомились да облизывались.

А Барабанья Шкурка намотала себе на ус разговор полосатых и не долго думая снарядилась в поход за шкатулкой: добывать себе черную шкатулку с не простым, а с серебряным золотом.

И случилось с Барабаньей Шкуркой то же, что и с беленькой Зайкой.

Пришла Шкурка в полночь к подземелью, влезла на дерево. Вышли из подземелья двенадцать черных разбойников, постояли разбойники, позевали на месяц, сказали заклинание и пропали.

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток! — повторила Барабанья Шкурка разбойничьи слова.

Дверь раскрылась, и Шкурка вошла в подземелье.

Обошла Шкурка весь хрустальный зал, все переглядела, забрала с семивинтового стола черную шкатулку да к двери.

А дверь не раскрывается.

А барабанила Шкурка, колотила в дверь из всей мочи.

А дверь не раскрывается.

Забыла Шкурка впопыхах разбойничье заклинание.

А разбойники встали с своего места, окружили Шкурку да всю ее и измяли.

И превратилась Барабанья Шкурка в кожу, а из кожи сапогов да башмаков понаделали, и пошла Шкурка по мостовым шмыгать да ноги натирать, — пропала Шкурка пропадом.

8

Именины Зайки совпали с известием, — мухи рассказывали, что Барабанья Шкурка в кожу превратилась.

Бегал Котофей Котофеич в домик к Шкурке, но ни единой души не нашел в домике: Артамошка с Епифашкой в лес улизнули и там свили гнездо себе, живут-поживают, творят пакости да народ смущают.

Три дня праздновали в башенке именины, и пир горой шел.

На третий день, когда Кучерище объелся игрушками, а Чучело-чумичело голову потерял, прокралась незаметно в башенку старуха Буроба да за суматохой все добро и по-клала себе в мешок.

И лишилась Зайка серебряного золота, и черной шкатулки, и бисерных кошельков.

Только наутро хватились, — туда-сюда, да, видно, уж чему быть, того не миновать.

Ну хоть бы тебе что, словно в воду кануло!

Мрачный ходил Котофей Котофеич, завязывал ножку у стола^[244] и снова принимался пропажу искать.

— Не завалилось ли куда! — мурлыкал Кот.

И с отчаяния Кот обмирал на минуту и опять ходил мрачный.

Ночью покликнул Котофей Котофеич Чучела-чумичела. Чучело долго не отзывалось.

— Трудно тебе, кум, без головы-то? — соболезнавал Кот.

— Страсть трудно, не приведи Бог.

— А я тебе, кум, мышиною мази принес, ты себе помажь шею, оно и пройдет.

— Мажусь, не помогает.

— А у нас, кум, несчастье.

— Слышал.

— Подумай, кум, выручи.

— Ладно.

Отошел Кот от теплого отдушника, обошел вдоль и поперек всю башенку, потрогал засовы — крепко ли держатся, — успокоился и замурлыкал.

В окне сидел Кучерище, давился — больше не ел игрушек.

Покатывался со смеху гадкий Зародыш, катался в фонарике.

И шалил огонек: то вспыхнет, то не видать.

А по лестнице шлепала-топала старуха Буроба с огромным мешком за плечами, шарила в потемках Буроба, метила в башенку, подымалась на пальчики, подступала тихонько к двери, отмыкала волшебным ключом тяжелый засов, приотворяла дверь...

— Кис-кис! — плакала Зайка от страха.

Которые дети любят поплакать, Буроба в мешок собирает.

Много ломал голову Котофей Котофеич с Чучелом-чумичелом: жалко им было беленькую Зайку, не было у Зайки ни кошельков бисерных, ни зайца жареного, ни козы паленой, ни «пупков Кощея», и личико у Зайки стало такое грустненькое, глазки заплаканы.

И порешили Котофей с Чучелом: опять идти Зайке к подземелью и проделать все, что в первый раз делала, и тогда все пойдет как по маслу, — будет и черная шкатулка, будут бисерные кошельки, будет и золото не простое, а серебряное.

— Только смотри, Зайка, будь осмотрительна! — напутствовал Кот свою Зайку.

Не тут-то было.

Шагу не сделала Зайка, попала в беду.

Ну, заглянула Зайка в окошко к Яге, ну и хорошо, идти бы ей себе дальше, нет, не утерпела. Захотелось ей поближе посмотреть. Отворила Зайка дверку да шасть в избушку. И это бы ничего, с полбеда, а то возьми да и ущипни Ягу за ушко. Яга проснулась, Яга осерчала, села Яга в ступу да за беленькой Зайкой мигом в погоню.

Боже ты мой, чего только не натерпелась бедняжка! И с дороги-то Зайка сбилась, и сумочку Зайка потеряла, и наголодалась и продрогла вся. Спасибо, Коза рогатая на пути попалась, а то хоть ложись да помирай, вот как! Шла Коза бодать, заметила под кустиком Зайку, накормила Зайку молочком, взяла к себе на закорки да на дорогу и вынесла.

Вот она какая Коза рогатая!

Шла Зайка, шла, пришла к подземелью, влезла на дерево. Вышли двенадцать черных разбойников сердитые-пресердитые, сказали заклинание и скрылись.

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток! — сказала Зайка по-разбойничьи.

И когда растворилась дверь и Зайка попала в подземелье, захлопала Зайка в ладошки от радости: все как стояло на своем месте, так и осталось стоять, — и семивинтовый стол, и черная шкатулка, и банки с золотыми рыбками.

Узнала Зайку Мышка-хвостатка, бросилась к Зайке с золотым ключиком. Взяла Зайка у Мышки ключик, и захотелось ей наперед рыбку поймать, только одну, самую маленькую. А как поймала Зайка рыбку, — Буроба тут как тут.

— А, — говорит, — попалась!

Тут Зайка сложила ручки крестиком да бултых в банку прямо в рыбкам.

И рыбкой, не Зайкой, поплыла.

Двенадцать родилось молодых месяцев, и один за другим двенадцать ясных они рождались слева. С левой стороны показались месяцы рогатые старому коту Котофею Котофеичу. И Кот вздыхал тяжело.

Недоброе предвещали месяцы: не было Зайки, не возвращалась Зайка беленькая к себе в башенку.

И бросили Белки коленные орешки грызть, помчались в лес

разыскивать Зайку, но и Белок не было, не возвращались Мохнатки в башенку.

И сидела в Зайкиной кровати Лягушка-квакушка под Зайкиной думкой, квакала.

— Кис-Кис! — кто-то кликал, как Зайка, в долгие ночи.

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, выручи! — мяукал жалобно Котофей Котофеич, не отставал от Чучела.

Но Чучело, измазанный мышиной мазью, без головы ничего не мог выдумать.

— У меня, кум, что-то вроде мышиной головы пробивается, и я боюсь, ты меня поймаешь и съешь.

— Да не съем, — клялся Кот, — провалиться мне на месте, не съем тебя, только выручи!

— Ладно.

Неладно было в башенке, пусто: ни стрекотни, ни говора, ни смеха.

Только Васютка, сынишка Кучерищев, свистел в трубе, пересвистывал визгливо.

И ночью приходила, приникала к окну темными лохмами, застила свет, а Котофей Котофеич все сидел у окна пригорюнившись, не спускал глаз, глядел на дорогу.

В окне сидел Кучерище.

Привязался Кот к Кучерищу, а Кучерище к Коту.

Оба в оба глядели.

— Надоумь меня, Демьяныч! — мяукал Кот.

Кучерище ощеривался:

— Дай сроку, Котофеич, все устроится.

И молча выползал Червячок из ямки. Рос Червячок, распухал, надувался, превращался в огромного страшного червя, потом опадал, становился маленьким и червячком уползал к себе в ямку.

— Кис-кис! — кто-то кликал, как Зайка, из ночи и грустно и жалостно.

Огонечек в фонарике таял.

Ранним утром, еще Петушок-золотой гребешок не примаслил головки, вышел Котофей Котофеич из башенки выручать свою Зайку.

Всю дорогу по наущению Кучерища Демьяныча и Чучела-чумичела шел Кот степенно, заводил умные речи. Никого не обошел он, со всяким

хлеб-соль кушал. Встретились Коту по дороге два Козла-барана^[245], ударились Козлы-бараны друг о друга стычными лбами. Кот и Козлов не забыл, помяукал бодатым. Переночевал он у Бабы-Яги, с Ягой крысы хвостики ели. Посидел часок-другой у Артамошки с Епифашкой, осмотрел их гнездо, похитрил чуточку.

— Зайка теперь рыбкой плавает, доловилась! — ехидничали полосатые.

— А я ее съем! — подзадорил Кот.

— Ан не съешь!

— Ан съем, и очень просто съем!

— Да как же ты ее съешь? Разбойники ее караулят!

— Ну и пускай себе караулят.

— Разве что Коза... — почесался Артамошка.

— Конечно, Коза! — подхватил уверенно Кот, будто зная в чем дело.

— А даст ли Коза холодненькую водицу? — усумнился Епифашка.

— За водицей дело не станет, Гагана обещала! — сказал Артамошка.

Слово за слово, всю подноготную Кот и выведал.

Насулили Коту Артамошка с Епифашкой золотые горы, пошли Кота проводить, да на другую дорогу и вывели: ни к подземелью, а нарочно опять к Зайкиной башенке.

Вот они какие, полосатые!

Уж и плутал Кот, плутал, только на осьмую ночь пришел Кот к подземелью.

Все, как водится, вышли двенадцать черных разбойников, сказали разбойники заклинание и скрылись.

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток! — сказал Кот по-разбойничьи и вошел в подземелье.

Вошел Кот в подземелье да хвост поджал.

Неласково встретили Кота двенадцать черных разбойников.

— Иди, Котофей, — сказали разбойники, — отправляйся, Котофеич, подбру-поздорову домой, пока цел, нет у нас тут для тебя никакой корысти.

— А Зайка? — замаяукал Кот.

— Зайка! — заартачились^[246] разбойники: — Не отдадим мы тебе Зайку никогда! Зайка у нас рыбкой плавает, и мы на ней женимся: такая она беленькая, беляночка.

— Ну, вы меня хоть чаем угостите, а я вам сказку скажу, — будто сдался Кот.

Согласились разбойники, велели самовар подать, а сами расселись вокруг Кота, рты разинули.

Кот пил вприкуску, передыхал, сказывал.

Рассказывал Кот длинную-длинную сказку о каких-то китайских яблочках и о купце китайском, запутанную сказку без конца, без начала.

Разбойники слушали, слушали Кота и заснули. А как заснули разбойники, опрокинул Кот чашку на блюдечко, Да и пошел по банкам ходить, искать Зайку.

— Кис-кис! — тихонько покликала Зайка.

Котофей Котофеич и догадался, выловил Зайку лапкой, обернул в платочек да себе в карман и сунул.

А разбойники дрыхнут, ничего не видят, ничего не слышат.

Тут загреб Котофей Котофеич в охапку черную шкатулку, сказал заклинание да поминай как звали.

— Э-эх! — укорял дорогой Котофей свою Зайку-рыбку.

— Да я, — Котофей Котофеич, только одну хотела рыбку поймать, самую маленькую.

— Ну и стала рыбкой, прости Господи! — чихал Кот, не унимался.

Зайка едва дух переводила, так прытко стремился Кот в башенку.

И только когда сестричка-звездочка с елки на Кота глянула, сел Кот посидеть немножечко.

Вынул Котофей Котофеич платочек из кармашка, развернул платочек, покликал Козу рогатую.

Прибежала Коза рогатая, дала Зайке-рыбке холодненькой водицы. И превратилась Зайка-рыбка в настоящую беленькую Зайку.

— Опасность, друзья мои, миновала: разбойники ошалели от гнева, пустили погоню... да не в ту сторону.

— Ну, спасибо тебе, Коза рогатая, — благодарил Кот, — заходи когда к нам Зайку пободать.

— Хорошо, зайду когда-нибудь, — отвечала Коза, — да лучше вот что, я вас сейчас до дому провожу...

Так втроем и отправились: кот Котофей, Зайка да Коза рогатая.

Много было страху и опаски: и с дороги сбивались, и погоня чуялась, и топали шаги Буробы.

Артамошка с Елифашкой попали впросак и в отместку Коту свои козни строили.

Радость необычайная, радость невыразимая! Достигли путники башенки!

Пошел в башенке дым коромыслом.

Снова пляс, снова смех, снова песни.

Прибежали Белки-мохнатки, притащили кулек каленых орехов, вылез из отдушника Чучело-чумичело, прискакала Лягушка-квакушка о двух задних лапках, выполз Червячок из ямки, явился и сам Волчий Хвост, улыбался Хвост поджаро, болтался.

А гадкий Зародыш сел на корточки в угол, ударил в ладошки, — и начались хороводы.

Водили хоровод за хороводом, из сил выбились.

А Коза всех перебодала, да и опять в лес за кленовым листочком, только Козу и видели. А Чучела-чумичела чуть было Котофей Котофеич не съел: такая у Чучела соблазнительная мышинная мордочка выросла!

— Э-эх, кум, — пенял Коту Чучело, — не говорил ли я тебе, что ты меня съесть захочешь?!

Кот извинялся.

Кучерище сидел в окне, ел игрушки, головой поматывал.

То-то веселье, то-то потеха!

Насилу Зайку спать в кроватку уложили, — так разрезвилась, из рук вон.

И три дня пировали в Зайкиной башне.

На четвертый день утром приступил старый кот Котофей Котофеич к Зайке, тронул Зайку лапкой, сказал Зайке:

— Отпусти меня, Зайка, отпусти, беленькая, из башенки по свету погулять, выхолил я тебя, Зайку, вынянчил, пора и на волю мне.

Утерла Зайка слезки себе пальчиком, погладила по шерстке Котофея Котофеича и говорит:

— Как же я без тебя жить буду, Котофей Котофеич, меня Буроба съест.

— Не съест, Зайка, не съест, беленькая, где ей, ну а придет старая, ты только покличь, я и вернусь в башенку.

Поцеловала Зайка Кота в мордочку, вытащила из новой сумочки любимый свой бисерный кошелечек с павлином, подарила его на память Котофею Котофеичу.

— Голубушка беленькая, Зайка моя! — прослезился растроганный Кот.

Так и покинул Котофей Котофеич Зайкину башенку, пошел с палочкой по свету гулять.

И осталась Зайка одна в башенке, надела себе Зайка золото на пальчики, взяла у Зародыша *афту*^[247] — такую краску, размазала афту на

дощечку и стала свой собственный портрет писать.

Придет старый Кот, вернется Котофей в башенку, Зайка ему портрет и отдаст.

— Афта-афта! — гавкал в трубе собачонкой Васютка, сынишка Кучерищев, стерег башенку.

Петушок-золотой гребешок на заре распевал петушиныные голосистые песни.

И играло солнце над башенкой так весело, весеннее.

1905

Медвежья колыбельная песня ^[248]



Баю бай-бай, медведевы детки, — баю бай-бай.
Косолапы да мохнаты, бай-бай.

Батя мед ушел искати, — баю бай-бай,
Мама ягоды сбирати, бай-бай.

Батя тащит соты-меды, — баю бай-бай,
Мама ягодок лукошко, бай-бай.

Кто оленюшке, кто медведюшке, — баю бай-бай.
В лесе колыбель повесил, бай-бай.

Вышли воины удалые, — баю бай-бай,
Небаюканы, нелюлюканы, бай-бай.

К МОРЮ-ОКЕАНУ^[249]



Мышиными норами

Котофей Котофеич^[250]

Котофей Котофеич все хмурился. Сентябрем смотрели подслеповатые его добрые глаза. Ходил кот по башне угрюмый. Уж Алалей и Лейла^[251] и так и сяк к Коту — ничего не действует: все не так, все не по нем. По ночам, случалось, ни на минуту глаз не заведет, без сна просидит Кот до утра с тигром да с птицею. Верные звери: *тигр* — железные ноги, веревочный хвост, да рябая, глазатая *птица* — железный клюв, без головы, — котофеевы верные звери как-то таинственно перемигивались с своим взлохмаченным другом.

Наступали теплые дни. Таял снег. Байбак проснулся. Вышел из норки Байбак, начал свистать. На ранней заре Алалей и Лейла ходили к озеру с круглым хлебом встречать весну. Но и весна не развлекала любимца их, старого Кота.

«Да не случилась ли какая беда с беленькой Зайкой?» — подумалось им, когда, разбирая голубые подснежники, вспомнили они прошлый веселый год — свое путешествие *посолонь*.

— Вы догадались, — сказал Котофей Котофеич, — с Зайкой случилась большая беда.

— Опять старуха Буроба! — напустились они на Кота: им захотелось узнать всю правду о беленькой Зайке, которую очень любили.

— Не Буроба. Похуже.
— Кто же? Горынь-змей!
— Пострашнее.
— Одноглазое — Лихо?
— Да. Оно самое, одноглазое, — пригорюнился Кот, — надо идти выручать Зайку.

— И мы с тобой, Котофей Котофеич!
— Нет, нет, — замахал Кот сердито, — вас еще **недоставало!** Вот уму-разуму понаберетесь, тогда и вам дело найдется, а пока что оставайтесь в башне, я сам один пойду. Коза-лубяные глаза [\[252\]](#) за вами посмотрит.

— Что ж Коза?.. Коза и одна посидит... Кленовых листочков у Козы много.

Котофей Котофеич ничего не ответил — мимо ушей пропустил. Кот все сам с собой мурлыкал: Зайкина беда была, должно быть, очень большая. Скоро в башне у печки появилась вербовая палочка и сапоги — это означало, что уж близок тот день, когда Кот покинет башню.

На Алексея — человека Божьего с гор потекла вода, и старая Щука, пробив по обычаю хвостом лед, вышла из озера и явилась в башню Кота проводить.

За последние же дни у Кота появилась такая похватка: сколько ты его ни проси, к гостям Кот никогда не выходил или уж выходил, когда гости за шапки брались. На этот раз произошло то же самое.

Алалею и Лейле пришлось занимать Щуку. Коза — лубяные глаза хлопотала по хозяйству — старалась Коза, как получше угостить редкую гостью. Разговор не клеился. К счастью, сама Щука, промолчавшая целую зиму, распустила свои голубые крылья и очень легко разговорилась: она рассказала об Осетре и У трап-рыбе — которая воевода рыбам, и как эта Утрип-рыба не может Ерша с хвоста съесть, потом рассказала об озере, о море — в каких она морях плавала и сколько чудес перевидала на море... на Море-Океане.

Только рты разевали от удивления: ничего подобного ни о каком море они никогда не слыхали.

И когда Щука, накушавшись плотвичками и окунями, очутилась по своему щучьему веленью опять у себя на озере, Алалей и Лейла прямо к Котофею Котофеичу.

— Котофей Котофеич, голубчик, — сказали они в один голос, — отпусти нас к Морю-Океану: хочется нам поглядеть на свет Божий! Отпусти, пожалуйста, что тебе стоит!

— И думать нечего, — отрезал Кот, — к Морю-Океану! Да знаете ли

вы, что к Морю-Океану еще никто путно не добирался, а если и добирался, то плохо приходилось. Что вздумали!

— Да ведь ты же *посолонь* нас водил!

— А вам все мало?

— Отпусти, Котофей Котофеич, мы только взглянем ка море и сейчас же вернемся.

— Вернемся, вернемся! — передразнил Кот. — Вернувшихся смельчаков раз-два да и обчелся, да и откуда вы взяли, будто есть где-то на свете Море-Океан?

— А нам Щука сказала.

— Щука? — Кот страшно заворочал глазами и тотчас же бросился тщательно осматривать Алалей и Лейлу: пересчитал у них пальцы на руках и ногах, пересчитал у них уши и глаза — это такой народ. Щука! — курлыкал Кот, видя все на своем месте целым и невредимым. — Живо, что ни попадет, отхрюпает, старая пожируха! А Моря-Океана никакого нет!

— Нет, есть, есть... за Кошечевым царством, — уцепились за Кота Алалей и Лейла и не отставали.

— Ну, хорошо, есть, — сдался Кот, — только что из того? Хотите, чтобы вас разрубили на мелкие части, хотите, чтобы у вас вынули сердце и печень, хотите, чтобы вырезали из вашей спины ремней, хотите, чтобы отрезали вам пальцы, хотите, чтобы выкололи вам глаза, хотите, чтобы привязали вас к лошадиному хвосту, хотите, чтобы размыкали вас по полю, хотите, чтобы вас отдали на съедение зверям, хотите, чтобы вас закопали в землю живьем или превратили в камень, вы этого хотите?

— Нет, не хотим.

— А Баба-Яга?.. Небось не откажется Баба-Яга покататься да повалиться на ваших косточках! А попадетесь Залесной безрукой бабе, да уж та вас, не мигнув, сцапает!

А который царь Горох воевал с грибами, мы его, Котофей Котофеич, увидим?

Тут Кот понял, что все его увещания были напрасны, и очень рассердился.

— А тебе стыдно, Алалей! — царапнул Кот Алалей по руке и скрылся.

Целых два дня Котофей Котофеич ни с кем не разговаривал. Алалей и Лейла бродили по башне сами не свои: Море-Океан не выходило у них из головы, а из всех Котофеевых страхов смущала их лишь одна Залесная безрукая баба, но скоро и эта хитрая баба перестала пугать.

Коза между тем приняла в них самое горячее участие и так старалась расположить Кота, чтобы Кот заговорил.

На третий день под конец обеда Кот заговорил. А они, понятно, воспользовались наступившей переменной, пристали к Коту и так приставали к нему до самого вечера, что Кот дал согласие.

Хорошо, я согласен, вы пойдете к Морю-Океану, — сказал Кот, — только подождите немного, я подумаю.

Наступила ночь. А Кот все думал. И Козе долго пришлось возиться, чтобы уложить спать Алалея и Лейлу. Но и лежа в постелях, они не могли успокоиться. И вот уже ночью такое нетерпение поднялось, что решили они немедленно идти к Котофею Котофеичу и умолять Кота отпустить их, и непременно завтра.

У Котофея Котофеича горел огонек.

Не одеваясь, направились они к его двери и, тихонько раскрыв дверь, уже готовы были тут же на пороге стать на колени и выкрикнуть Коту последнюю свою просьбу, как вдруг зрелище, представшее их глазам, так их поразило, что они, не пикнув, пристыли к месту.

Покои Котофея Котофеича превратились в вершину высокой горы, на горе рос огромный дуб, под дубом сидел сам Котофей Котофеич, а с ним Черный Орел и Белая Сова.

Кот, Орел и Сова о чем-то совещались.

— Хорошо, — говорил Кот, — я так и сделаю, я Одноглазому Лиху выколю его единственный глаз, и уж тогда Лихо потеряет всю свою силу, и Зайка будет вне опасности.

Орел разинул свой красный клюв, одобряя Кота.

Кот обратился к Орлу:

— А что ты скажешь, заоблачный Орел, о затее идти к Морю-Океану?

Услышав о себе, Алалей и Лейла перестали дышать и так вытянулись, что готовы были всякую минуту сорваться куда-то в пропасть.

— Надо обладать медвежьей силой, волчьими зубами, соколиными крыльями, рыбьей быстротой, рысьими когтями, чтобы добраться до Моря-Океана, — отчеканил Орел.

— Откуда же взять такое? — развел Кот беспомощно лапками.

— Затея пустая! — сказал Орел.

— Очень уж пристают они... Горе мне с ними да и только. Орел от нетерпения приподнял свои черные крылья.

— Я уж и сам не знаю, — продолжал Котофей Котофеич, — как им без меня одним идти? Легко сказать, к Морю-Океану!

— Пускай себе идут, — вступилась Сова, — доберутся.

— Не думаю, — покачал головой Орел и опять раскрыл свой красный клюв.

— Опасность большая, но раз они просят, надо исполнить, ты отпусти, Котофей, — настаивала Сова.

В глазах у Алалея и Лейлы позеленело, а сердце так запрыгало от радости, что, уж не помня себя, они чудом каким-то снова очутились в кроватях.

Уж солнце высоко сияло из-за леса, когда Алалея и Лейлу разбудила Коза.

— Вставайте скорее, пора собираться в дорогу: завтра вы идете к Морю-Океану.

Услышав от Козы такую радостную весть, Алалей и Лейла чуть не задушили Козу, и так ее тискали без милосердия, и так катались с ней кубарем по полу, что Коза раза два и позаправду боднула их, только не больно.

В этот памятный день за обедом они ели змеиную кашу, чтобы знать и понимать язык зверей, птиц и цветов, и прихлебывали душистый навар из чудесных трав, — Козы изготовление: Коза в этих делах большой мастер.

Потом они пробовали примерять себе всякие звериные платья, повынесенные Козой из кладовых, где немало всякого добра хранилось в кованых устюжских сундуках. Но звериные платья были пересыпаны от моли каким-то таким едким табаком, от которого тотчас закружилась голова, и всю рухлядь унесли обратно.

Последний вечер прошел в разговорах.

Коза долго толковала Алалею и Лейле, как идти им и что делать и чего не делать, а они, хоть и внимательно слушали Козу, да как-то все из головы у них само собою вылетало. Впрочем, когда Коза кончила свои наставления, они поклялись ей, что исполнят козиный завет и ничего не будут делать, чего не надо делать, а всегда будут делать то, что следует делать, — и в подкрепление своих слов съели по комочку земли. И Коза тоже съела немножко.

— Все дороги ведут к Морю-Океану, — сказал Котофей Котофеич, одобрив Козы науку, — но есть три главных пути: первый путь лежит волшебными странами, второй путь лежит широкими реками, третий путь лежит темными лесами, болотами, полями и речками.

— Мы пойдем волшебными странами!

— Ну вот, так я и знал, — Кот с досады заходил по башне и закурлыкал жалобно, — нет, невозможно, так вы пропадете. Первые два пути для вас закрыты: чтобы идти волшебными странами, надо уметь ходить широкими реками, а до широких рек надо пройти еще долгий путь,

и без меня вам одним не справиться. Остается третий путь, по которому вы и отправляетесь.

— А когда мы пойдем волшебными странами?

— А там увидим, когда! Да вот еще что: зайдите-ка к дедушке, к Белуну, дед вас давно поджидает. У него отдохнете, старика порадуете, а случится зазимовать, остановитесь у моего старого свата Копоула Копоуловича. Копоул — кот ученый, большой баутчик! большой баутчик! — и, пропев себе что-то приятное под нос, Котофей Котофеич ушел в свои покои: Кот тоже собирался в дорогу.

Когда заря вошла в окошко башни, Алалей и Лейла стали прощаться с Козой. Козе очень не хотелось так надолго с ними расставаться.

— Смотрите же, будьте поосторожнее, ты, Алалей, береги Лейлу, ты, Лейла, слушайся Алалея, да поскорее возвращайтесь! — кричала Коза вдогонку, когда спускались они по ступенчатой лестнице из башни на волю.

Правда, прошло немало времени, прежде чем Алалей и Лейла вышли на дорогу: Котофей Котофеич все возвращался в башню, забывая то одно, то другое, то будто *птице* чего-то не сказал, то у *тигра* чего-то не допросился.

На распутье дорог Котофей Котофеич еще раз повторил свое наставление, поцеловал их, и они разошлись: Кот пошел к Лиху-Одноглазому выручать Зайку, Алалей и Лейла — за тридевять земель к Морю-Океану.

1907



Каково было чувство наших путников, когда неожиданно-негаданно, еще не закончив и первый день своего неведомого пути к таинственному *Морю-Океану*, очутились они в самом невозможном и печальном положении: Алалей и Лейла попали в брюхо к Волку-Самоглоту.

И случилось все это очень просто. Встретив на поляне спящего волка, Алалей и Лейла не могли удержаться и, забыв Козы науку, не могли не потрогать страшного волка. Они погладили Самоглота по его серой лоснящейся шерстке, правда, совсем тихонько погладили волка, да волк-то спросонья — волк очень чувствительный! — не разобрав хорошенько, в чем дело, хап! — и проглотил их.

Было б им слушаться Козу, строго исполнять даже и такое, чего сама Коза, отправляя путников в дорогу, захлопотавшись, сказать забыла, и не поступать с первого же шага так опрометчиво... Шутка ли, ведь Волк-Самоглот не простой волк — дураку волк гусли-самогуды из-за тридевять земель достал! И попасть к такому волку в брюхо — не шутка.

Сидя у Самоглота в брюхе, Алалей винил Лейлу, Лейла винила Алалея. — Это ты все, Лейла, — говорил Алалей, — ты! Ну зачем понадобилось тебе гладить этого волчищу! Ну, посмотрели мы на него, ну, постояли немножко, подули тихонько на шерстку, и идти бы себе тихо и смирно, и зачем надо было еще руками трогать?

— Нет, Алалей, — возражала Лейла, — это не я, это ты. Ты мне и волка показал, ты меня и к волку подвел, и тебя же первого... нет уж, ты припомни, Алалей, тебя первого и проглотил волк, а меня заодно.

— И вовсе не заодно! Я хватился тебя, хотел закричать, и как раз в эту самую минуту и схватил меня волк. Кого же первого проглотил волк: меня

или тебя?

— Тебя, Алалей!

— Конечно, меня! Я всегда виноват. И что скажет Коза, когда дойдет до Козы! Что скажет сам Котофей Котофеич! Эх, Лейла, пропало наше путешествие, прощай теперь Море-Океан.

— Давай, Алалей, подыдем крик, будем топать, шуметь, пищать, нас услышат и освободят.

— Кто нас услышит? И где тут потопаешь! Освободят? Кому это нужно? Вот ты бы не трогала волка, вот это нужно.

— Ты меня, Алалей, совсем не любишь!

— Да если бы я был один, — обиделся Алалей, — попади я один к волку в брюхо, ей-Богу, ни о чем бы я и не думал. Ведь я о тебе беспокоюсь...

— Мне, Алалей, есть хочется.

Алалей ничего не мог ответить. Алалей только беспомощно развел руками: в самом деле, что достать Лейле, такой капризной и нежной, и баловнице, тут, в брюхе Самоглота волка!

Все углы Самоглотова брюха были завалены всякой живностью, но все было в самом неподходящем и несъедобном виде: живьем свалены лежали козы, овцы, бараны, телята и тут же всякие рога, копыта, клювы, хвосты, холки, бороды, гривы и тут же вещи совсем случайные — рукавицы, валенки, немало стен холста и красный пузатый самовар.

В брюхе пошел дождик.

Шел дождик по-осеннему мелкий и теплый, как летом.

Самоглот бежал, так все и бежал волк по своему волчьему делу, бежал лесом и полем, и опять лесом, и опять полем, через логи, через болота, через овраги и овражки.

Уж затихли шаги солнца, уж вышел месяц и соловей — весенняя залетная птица, высвистывая, запел свою песню, когда пришла ночь и на волка: набегавшись всласть, грохнулся волк на землю и захрапел по-волчьи.

Успевшие и промокнуть и обсушиться, Алалей и Лейла понемногу освоились и, оправившись после толчка, отброшенные на другой конец волчьего брюха, пошли бродить в брюхе, отыскивая хоть какой-нибудь светик на волю.

После долгих поисков в левом боку — Самоглот спит на правом — отыскиали они вроде слухового окошка.

Первая выглянула на волю Лейла и тотчас от страха спряталась за Алалея. Выглянул Алалей и зажмурился.

Что случилось? Что было на воле? Что так испугало Лейлу, отчего зажмурился Алалей?

— Не бойся, Лейла, — сказал Алалей, — это *они*... к ним надо привыкнуть... это совсем не люди, только не бойся, Лейла.

И оба, крепко притиснувшись друг к другу, высунулись из волчьего окошка на волю.

Месяц низко спустил рога, и было видно, как днем.

Самоглот дрых на кургане — на какой-то *шведской* могиле, а от могилы весь поемный берег до самой реки раззыбался — кишел всякой весенней нечистью.

И кого только не было там: домовые, домихи, гуменные, банные, лесунки, лесовые, лешие, листотрясы, кореневые, дупляные, моховые, полевые, водяные, хлевники, чужаки, наброжие и облом, костолом, кождедер, тяжкун, шатун, хитник, лядащник, голохвост, ярун, долгоносик, шпыня, куреха и шептун со своею шептухой.

Одни пыжились, словно куры при сноске, и топорщились и торощились, другие все вприпрыжку — и тряслись и качались — чернокровные, черномазые, захлыщевые, забубенные, игрунки, скакунки, хороводники, третьи тихие, тихоногие — трава под ними не топчется, цветы не ломаются, и полозом ползли по-змеиному вислогубые, вислоухие, крючконосые, тонконогие, и подземные из подземных нор — из сырой и холодной страны.

Всех весна выгнала, всех весна выманила из зимних темных закут, закружила весна — и не спится, все манится.

Коротала нечисть весеннюю ночь, друг с дружкой разговор вела.

С чего началось, неизвестно. Да разговор у нечисти ни с чего и начинается прямо.

Лесовой хвалил лес.

— Хорошо в лесу, — шумел Лесовой, как еловые шишки шумят, — хорошо и легко и весело! Ауку, чай, знаете? Аука в избушке живет и изба у него с золотым мхом, а вода у него круглый год от весеннего льда, помело у него — медведевая лапа, бойко выходит дым из трубы, и в морозы тепло у Ауки. Старички и старушки — *Лесавки* в прошлогодних листьях сидят, а как осень подходит, завидят Лесавки осенние звезды, схватятся за руки, скачут по лесу, свистят на весь лес, без головы, без хвоста, скачут, вот как свистят! *Листин*-слепышка и *Листина*-баба только и знают, бродят в листьях по лесу, шуршат. *Лешак*-хворостяник в хворосте спит. *Залесная*-баба — безрукая баба, а так и норовит тебя сцапать, худа, как былинка. А за озером в черничном бору живет Боли-бошка. А за ленивым болотом живет

Болотяник. А за дикою степью, за березовым лесом — ведьма *Рогана*. Ночью ходит Рогана по лесу в венке из лесных цветов, кукует ведьма тихо и грустно. А о лютом звере *Корокодиле* я ничего не знаю. Кто-нибудь слышал?

Помалкивала нечисть.

Потрескивал перелетный огонек, то вспыхивал ярко, то чуть светился голубенькой змейкой.

Один забубенный — *Коровья-нога*, облизнувшись, сказал:

— Я Коровья-нога! Есть зверь *кот-и-лев* — есть он зверь страшный, усатый, а *Корокодил*, я ничего не слыхал о Корокодиле.

— А у нас совсем по-другому, — пропищал *Долгоносик*, — нас у Адама было детей много. Раз на Пасху приказал Бог Адаму вывести всех нас, детей, себе напоказ. Адам постеснялся: совестно тащить такую ораву. Потащил Адам только старших, а мы дома остались. Мы и есть эти самые скрытые домашние дети Адама.

— А мы падшие духи, — прошипел тихоногий, — падшие духи, были мы очень надоедливы, дела не делали, ходили по пятам Бога, ну Бог нас и турнул с неба.

— А мы неверные, мы бывшие ангелы, погнал нас архангел. Сорок дней мы летели, сорок ночей, и кто куда попал, тот там и остался, — ввернул от себя бывший ангел, ни на что не похожий: нос — зарубка коромысла, ноги — завиток бересты, а легок, как шишка хмеля.

— Зверь *кот-и-лев* есть страшный, усатый... — облизывался забубенный Коровья-нога; дался Коровьей-ноге этот зверь Котылев.

А с весеннею полночью прямо на нечисть шла по весеннему лугу дочка-веснянка *Зовутка*.

Стала Зовутка. Звездой рассыпалась ее завивная коса. Моргнула Зовутка зарницей.

И словно громом ударило нечисть.

Из прошлогодней соломы закурлыкал лядащий без *соломин*, притрушенный теплой соломой. И откликнулся луг, загудел, и весь берег защелкал и заахал и зааукал, застрекотал лес стрекозою.

Пошел хоровод, заиграл, закружился — ой, хоровод!

Либо копыто, либо рога, либо крыло, либо Бог знает что, а может быть, зверь кот-и-лев, может быть, сам зверь корокодил, что-то, кто-то отдавил волку лапу.

Как вскочит Самоглот, потянул воздух, фыркнул да и был таков.

Алалей и Лейла едва-едва успели от окна отскочить.

Мчался волк, летел Самоглот сломя голову, бежал лесом и полем, и

опять лесом и опять полем, через логи, через болота, через овраги и овражки.

Укачивало в волковом брюхе.

Лейла дремала.

— Мне, Алалей, жалко Зовутку.

— Им, Лейла, весело.

— Съест ее зверь крокодил. И как это они нас не заметили?

— Им не до нас.

— А кому же до нас, Алалей?

— Утро придет. Дождемся утра, заснет Самоглот, и мы прямо в окошко на волю.

— Хоть бы утро скорее... Я тебя люблю, Алалей, я тебя очень, очень люблю, Алалей.

И когда пришло утро, вышли Алалей и Лейла из волкова брюха на волю. И долго бродили они по лесу, по полю и по болоту, много встретилось им всяких напастей, и, много узнав всяких диковин, вышли они на тропинку.

Доведет их тропинка до Моря-Океана.

— Лейла, я тебя очень, очень люблю!

1910



Ангелы по мосту едут.

— Белые Божие, куда вы поехали?

Стучат, топают кони. Плавно катят белые сосновые повозки. На повозках воз полевых цветов, целый воз кудрявых молоденьких березок.

Плавно катят колеса, не скрипят: смазаны дегтем.

И прямо по пути на грозный перекрест, где расходятся дороги Солнца, Земли и Месяца, твердо ступая на глухих железных ногах, их ведет поводырь — орлокрылая птица *Главина*^[255]: женские длинные волосы спущены ей на глаза, а из глаз, ровно льются, летят стрелы.

Оттого так и гремит кругом.

Ангелы по мосту едут.

— Белые Божие, куда вы поехали?

— А поехали мы, ангелы, со цветами-колокольчиками и с кудрявыми березками на седьмое небо к Богу справлять Троицу.

1908

Ремез — первая пташка^[256]



Сбились с пути, а дороги не знают. Лес незнакомый. И ночь. Лучше бы им переждать у седого Ауки в избушке. Тепло у седого Ауки. Аука затаенный: знает много мудреных докук, балагурья, обезьянку состроит, колесом перевернется и охоч попугать, инда страшно. Да на то он Аука, чтобы пугать.

Ливня лил дождик, и лишь к вечеру по закату поднявшимся ветром разволокло сердитые тучи, и светло за угор село солнце.

Сбились с пути, а дороги не знают. Лес незнакомый. И ночь. Сосны и ели шумят, как в погоду. А звезды — а звезды — большие!

Выручил куст. Пустил ночевать.

Хорошо еще летом: всякий куст тебя пустит, а зимой — пропадешь, когда инеем-стужей всю землю покроет.

— Тише, Лейла! Тут, кроме нас, как и мы, без дороги одноухий маленький Заяц ^[257] с усом! Как продрог! И всего Уж боится, бедняга.

Заяц их не узнал. Заяц их принял за что-то да за такое, не на шутку струхнул и сейчас улепетывать, — куда там!

Ну, потом все разъяснилось.

И осталось под кустиком трое: Алалей, Лейла да Заяц с усом ночь коротать.

Рассказал им серый о лисице — которая лиса песни поет, и о лютом звере — который зверь сердитый, и о птичьей ноге — которая нога сама везде ходит. Отогрелся и задремал.

Они и сами не прочь. В сон голову клонит, да язычок у кого-то... все бы ему разговаривать, и ушки такие... все бы им слушать, и глаза такие.... все бы им видеть. Вот и не спят.

— Зайчик заснул?

— А то как же — второй сон, поди, видит!

— Звезды большие!

— Большие.
— А самые большие?
— В пустыне, там, где верблюды.
— А если на дерево влезть, можно ухватиться за звезды?
— А вот как заснем да влезем на елку, ты и ухватишься.
— А ты мне про птицу-то рассказать обещался?
— Про какую про птицу?
— Да про ту... ты же мне говорил... первая птица такая...
— А! про Ремеза — первую пташку!
— Ну и что ж она, Алалей, маленькая?
— Так себе: не великая, маленькая, сама коричневатая, горлышко — белое. Нос у ней — другого такого не найти у птиц и лапки особенные. Суетливая, все ремезит. А гнездо она вьет — лучше всех гнезд — гнездо у ней кошелем... за то и слывет первой у Бога. Вот и все.
— Нет, ты хотел рассказать много...
— Ну, любит Ремез, где реки, где озера, иву любит, за море летает. Кто хранит гнездо Ремеза в доме, в тот дом гром не бьет. А погибает Ремез в бурю — береговая пташка. И большая певунья: голос не великий, маленький, только что для детей...
— Вроде кукушки?
И глаза засыпают у Лейлы.
Жутко в лесу. Ночь все теснее, ночь все ближе. Весь лес обняла. А звезды — а звезды — большие.
1907



Заковали студеному Ветру колючие губы, не велели холодом дуть, и Мороз-Трескун, засыпанный снегом, сел отдыхать в холодном царстве на полночи.

Пришло теплое лето.

Забыто ненастье.

Все живет, все у земли копошится, кустом разрастается.

Медведь-пыхтун зашатался по лесу, а кузнечик — воля: стрекочи хоть всю ночь.

Пошли люди с косами с острыми. Пospel сенокос.

И куда ни заглянешь, все-то словно невиданно: к каждому цветку наклоняешься, тронул бы всякую травку...

Хороша погода, украслива.

Гей! — подле ржи проходит Белун.

Какой белый, сам в белой рубахе, и от солнца не застится: оно ему любо. Из леса идет: без него, говорят, темно в лесе. Заблудишься, только спроси. Белун и дорогу покажет.

— Дедушка, на сенокос?

Не слышит. Где тут услышишь!

Вот ступил на межу...

— Дедушка!

— Что тебе, родный? — дед улыбнулся: и ему хорошо...

Идет Белун по меже, идет летней дорогой, ударяет клюкою: вспоминает ли старый стародавнее бусово время или далось на раздуму другое... наша русская доля?



За Могильною горою стоит белая избушка Белуна.

Белун — старик добрый. Алалей и Лейла остались у дедушки погостить.

С рассветом рано отправлялся Белун в поле. Высокий, весь белый, ходил он все утро по росистой меже, охранял каждый колос. В полдень шел Белун на пчельник, а когда спадала жара, опять возвращался на поле. Только вечером поздно приходил Белун в свою избушку.

Не отставали они от деда, так и ходили за ним и на поле, и на пчельник. А какой он добрый, какой ласковый белый Белун!

Белуна все любят. Медведь не трогал.

— Странного человека медведь никогда не тронет, он знает! — говорил старик. — Встретишься с медведем, скажи ему: «Иди, иди, Миша! Я — странник, ничего тебе не сделаю». И медведь уйдет.

Рассказывал по вечерам Белун сказки, когда не спалось, или в погоду, когда было страшно, или очень приставать начинали.

А собака у Белуна — Белка. Станет старик к ужину хлеб резать, Белке горбушку даст — первый кусок. И всегда он так делал: Белке первый кусок.

— Мы едим Белкину долю, — сказал как-то дедушка, — у человека доля собачья.

— Как так — собачья?

И уж они не могли успокоиться, пока Белун не рассказал им всего.

Раньше все не так было, не такое. И земля была не такая. Ржаной колос с земли начинался от самого корня и был метлистый, как у овса. Ни

косить, ни жать нельзя было, подрезали колосья каменным шилом, чтобы не растерять зерна. И хлеба было всем вволю.

И случилось однажды, вышел Христос странником на поле, вышел Христос посмотреть, как живут на земле его люди. А как людям жить? Известно, и хлеба по горло — сыты, так другим чем возьмутся друг друга корить — осатанели!

Лязг косы звонче.

Стрекочет кузнечик.

Так до белого месяца лязг косы звонок. Ходит по ниве Белун, наделяет добром.

Идет странник по полю, радуется: зерна так много, колос полный от земли до верхушки. И весь день ходил странник до вечера, а вечером на ночлег собрался.

Туда постучит, сюда попросится — никто его не пускает. Гонят странника.

«Еще стащит чего!» — вот у каждого что на уме: страшно за добро, хоть и девать-то его некуда, добра-то всякого.

Вошел странник к богатым в богатый дом. Не просился он на ночлег, просит хлеба кусок — милостыню. А пекла хозяйка блины, увидала странника, разругалась на чем свет стоит, турнула за дверь. Да в горячах схватила блин, вытерла блином грязную лавку — кошкин след дурной, кинула блин вдогонку.

Поднял странник блин, положил в котомку и пошел в поле.

«Нет уж, ничем, видно, сытого не проймешь! Ему горя нет. Осатанел человек в вольготе!»

Разгневался странник и, став среди поля, позвал страшную тучу.

И поднялась на его зов страшная туча. Загремела гроза.

Палило огнем, било градом, смывало дождем.

Уж не кричат, не вопят — остолбенели: ведь все хозяйство пропало, весь хлеб погиб, все колосья ощипаны. И один лишь остался маленький колос на длинной соломе.

Черно, пусто, голо на вольготной богатой земле.

— Тут-то вот Белка и вышла из конурки, — рассказывал добрый белый Белун, — видит собака, дело плохо, с голода подохнешь, и выбежала в поле да как завоет. «Ты чего, Белка, воешь?» — «Есть хочу!» И тронули Бога собачьи слезы, снял Бог грозную тучу. Засветило солнце, пригрело. И остался на земле маленький колос — собачий, что Белке за слезы ее пришлось от Бога, маленький колос собачий, на длинной соломе. С той поры и едят люди долю собачью. Наша доля собачья!



На зеленый двор залетели пчелы — это к счастью. И остались жить.
В цвету липа. Липовым цветом золотится весь душистый сад.
Частый сильный рой от неба до сырой земли.
То-то хорошо, ну весело!

Вот теплый день уплыл, восходит звезда Вечерница^[261], а они серые,
ярые, жужжат — собирают мед.

Много будет меда белого.

И по гречишным полям и в поемных зеленых лугах, вдоль желтой
дремы, в пестрой кашке и в алой зоре с цветка на цветок вьются пчелы.
Частый, сильный рой от неба до сырой земли.

То-то хорошо, ну весело!

Вот на смену дню распахнется долгая вечерняя заря, а они серые,
ярые, жужжат — трудятся.

Много будет меда красного.

Густые меды, желтый воск.

Хватит всем сотов на Спасов день: Богу — свечка, ломоть — деду, и в
улей довольно на зиму.

— А скажи нам, пчелка, откуда вы такие зародились?

Выбирала одна пчелка из Богородничной травы сладкого меду.

— А не велено нам сказывать, — ответила пчелка. — Водяной дед не
любит, кто не умеет хранить тайну, а Водяной над нами главный.

— Мы только дедушке скажем.

— А дедушка Белун сам пчелу водит, мудрый, он и без вас знает.

— Ну, мы большим никому не скажем.

— Ну что ж, — прожужжала пчелка, — вам-то я и так бы рассказала,
только некогда мне долго рассказывать...

И мохнатая серая пчелка запела:

— А поссорился Водяной с Домовым, все б им старым ссориться, заездил седой *фроловского* коня. И валялся конь с год в сыром затрясье. В кочкорье-болото небось никто не заходит! Вот от этого фроловского коняги мы к весне и отродились. Раз закинули рыбаки невод и вытащили нас из болота, пчелиную силу, и разлетелись мы, пчелы, на все цветы по всему белому свету. Смотрит за нами соловецкий угодник Зосима и другой угодник Савватий, нас и охраняют. Мать наша Свирея и Свиона, бабушка Анна Судомировна.

И полетела Божья пчелка, понесла с поля меду много на сон грядущий.
Горело небо багряным вечером.

Там по разволю небесному будто рой золотых пчел посылал на землю медвяную росу, обещая зарю, солнце да ведро.

1907

Проливной дождь [\[262\]](#)



Баба-Яга собирается хлебы печь.

Задумала старая жениться — взять в мужа рогатого черта — *Верхового*. Он, известно, галчонок: всем верховодит.

Взгомозилась на радостях банная нежить: банная нежить в сырости заводится из человеческих обмылков, а потому страсть любопытна. Вот

заберется она за Гиенские горы пировать в избушку, насмеется, наестся, все перемутит, всех перепугает — такая уж нежить.

А! Как ей весело: старик Домовой на бобах остался — показала Яга ему нос. Тоже жениться на Яге задумал!

Да и дед Домовой в долгу не остался: подшутил над Ягой.

— Бить тебя надо, беспутный, да и обивки-то все в тебя вколотить! — плачет Яга, ходит у печи.

— Бабушка, чего же ты плачешь?

— А как мне Бабе-Яге не плакать, не могу посадить хлебы: Домовой украл лопату.

И плачет. Не унять Яге слезы: скиснутся хлебы — прибьет Верховой.

— Бабушка, не плачь так горько, мы тебе отыщем лопату.

А слезы так и льются — полная капель натекает.

— Эй, помогите! Найдем мы лопату да бросим на крышу: Яга улыбнется — и дождь перестанет.

1908

Колокольный мертвец [\[263\]](#)



Проводил Белун гостей до Сухого Каратыга. Шли путники по Самохватке вдоль улицы в конец.

Был поздний вечер.

Золотое солнцезов яблоко, покотившись по лесу, закатилось в овраг. И красный вечерний край неба погас.

Все пестрехи, чернохи, бурехи уже вернулись с поля домой, а Бурку-коня и Лысьяна повели в ночное на травы. И Жучок, и Бельчик, и Рябчик — все поросятки заснули в хлеву, и сама свинья, мать сивобрысая, Хавронья, глядя на ночь, по-свиному задумалась. И закрыли и заперли все закуты, загоны, и муха-щумиха и комар-пискун угомонились. А Чубар и Лысько, и Сокол и Зорька, и Пустолайка и Найда, ночь почуя, по-ночному завозились в конурке.

Хоронясь по чужим огородам и задним воротам, проползла на четвереньках, словно топтыга медведь, Мамашина бабушка. Надулись кровью старушечьи губы, и заострился жалом ее оговорчивый пересмешливый язык: будет подоконнице что подслушивать, будет что и рассказывать — голос у ней гладенький, слова масленные.

А в мешке у Мамаишны одномедные пряники!

И пролетела над Самохваткою Лушь-птица хищная, — засветил вдоль улицы месяц.

У моста под вербой остановились путники — под вербою ночь ночевать.

— Звезды сестрицы!

— Серебряные.

— Я буду звезды считать, Алалей!

— Ты видишь, тянутся гуси?

— Небесные гуси, как много!

— А твоя звезда, Лейла?

— А вон — та вон звездочка самая серебряная...

Проскакал по мосту Заяц-голова лисичья.

— Что задумано, то исполнится! — проговорил по-зайчиному Заяц-голова лисичья, и закидался Заяц по ельнику, заметался по березнику, по горькому осиннику.

На луну нашло облако, ветер пахнул холодком.

Глухо и грустно зашумело в лесу.

И семь лебедек-сестер Водяниц замесили болото-zybун.

Заблудущая Коза Козовна стукнула копытом о бревно.

— Вам бы пучок лык да дров костер, будет свежо.

— Мы звезды считаем, Коза.

— Ну, считайте. Будет свежо.

Вылез из-под дырявого моста сухоногий выльглаз Окаяшка-птичий нос. Щелкал, косматый, бобы, подвигался на луг. На лугу, на лужайке сходились в хороводе Ведьмины детки — куцые курочки в острых хохолках. И, сцепившись ногами-руками, покатились клубком, как гаденыши, за Окаяшкой косматым одноглазые Песьи-головы.

Прошла трепущая рыба Сбухта-Барахта: хвост у ней как у лебедя, голова козлиная — лукаво поглядывала рыба, как волк на козу, шла трепущая по-тиху, по-долгу на зеленый луг. На лугу, на лужайке Ведьмины детки — куцые курочки в острых хохолках, кружась в хороводе, запевали по-печальному жалкие песни, подвывали несчастные на свою хохлатую голову. А на липе блестел стоведерный пузан-самовар, будет чертям полунощный чай и угощение.

— Ох, ну тебя! — отбивался воробьеныш-воробей от земляного зудыжука: полорот из гнезда выпал, прозяб.

— А правда, Алалей, по звездам все можно знать?

— Как кому.

— А что такое *все*, Алалей?

Шибко рысью промчался по широкому лугу конь Вихрогонь, стучал сив-чубарый копытом, и далеко звенели подковы, звякала сбруя, сияло седло.

Сильнее подул полуночник.

Глухо и грустно шумело в лесу. Тяжко вздыхал Лесной Ох.

Семь лебедок-сестер Водяниц месили болото-зыбун.

И молчком разносили коркуны-вороны белые кости, косточки, костки с дороги в лес-редколесье, не грая, не каркая.

— Одномедные пряники! — Лейла бросила звезды считать. — У Мамаишны сколько их, пряников?

— Да с сотню, поди.

— Нам бы, Алалей, этих пряников одномедных сотню?

— Хоть бы один, и то хорошо.

— А почему бы, Алалей, у Мамаишны сотня пряников одномедных, а у нас и одного нет, никакого?

— Так уж Бог дал.

— А почему так уж Бог дал?

— А ему виднее: кому дать, а кому и ничего не дать. Будут зубки портиться с пряников, что хорошего?

— А я бы всем дала пряников много одномедных, всем... А бобы Окаяшкины сладкие?

Из каменных оврагов вышли Еретицы. Еретицы — они заживо продали душу черту. И гуськом потянулись ягие^[264] на кладбище к провалившимся могилам спать свою ночь в гробах.

— Кто нас увидит, тому на свете не жить! — ворчали старухи Еретицы ягие.

— А мы вас не видели! — крикнула Лейла, зажмурилась, торопышка такая.

Кто-то всплеснул ладонями и застонал, — водяной Кот-Мурлышка на луну мяукал.

И все Древяницы и Травяницы вылетели из своих трав и деревьев на водопой к чистому озеру.

Глухо и грустно шумело в лесу.

Колотилом подпираясь, шел по дороге на колокольню Колокольный мертвец; ушатый в белом колпаке, тряс мертвец бородою: сидеть ему, старому, ночь до петухов на колокольне.

— За что тебя, дедушка? — окликнула Лейла, несмолчивая.

— И сам не знаю, — приостановился мертвец на мосту, — и набожный был я, хоть бы раз на посту оскоромился, не потерял и совесть Божью и стыд людской, а вот поди ж ты, заставили старого всякую ночь до петухов сидеть на колокольне! Видно, скажешь лишнее слово и угодишь...

— У тебя язык, дедушка, длинный?

— Нет, не речливый! Нет, не зазорно я жил, не на худо, не про так говорил, и колокольному звону я веровал...

— А зачем ты, дедушка, веровал?.. Ты бы лучше в колокольню не веровал, дедушка!

— Нет уж, видно, за слово: скажешь лишнее слово и угодишь.

— А как ты узнаешь, дедушка, которое лишнее, а которое не лишнее?

— То-то и дело, как ты узнаешь!

— А если который немой, не говорит ничего?

— А не говорит ничего, попадет за другое.

— А кому же не попадет, дедушка?.. Дедушка, скучно?

— Да что за веселье! Из любых любую выбрал бы муку! Девять ден я в аду пробыл и ничего: по привычке и в аду хорошо, свыкнешься и кипишь. А тут посиди-ка: холодно, ветер гуляет. Пришла мне навек колокольня, да видно, и по веки, там мое место и упокой.

— Дедушка, всем попадет?

А мертвец уж тащился на свою колокольню, колотилом подпирался, тряс бородою, и блестел по дороге его мертвецкий белый колпак.

Брякнули звонко ключи, щелкнул колокольный замок: там его место и

упокой.

И сеяла ведьма-чаровница любовные плевелы, зельем чаровала красавая землю-мать.

Глухо и грустно шумело в лесу.

Тихие подошли тучи. Покропил дождь.

Длинноногий журавль стал на крутом берегу, закрыл глаза. За колючим кустом забулькало по-ежиному.

— А я журавлей не боюсь! — шепнула Алалею Лейла, зажмурилась, торопышка такая.

И, прижавшись друг к другу, под вербою они коротали ночь.

Тихо разбрелись тихие тучи: туча за тучей, облако за облаком. Утренник-ветер, перелетая, обтрясал дождейки. И белый свет рассветился.

И восходило солнце, сеяло, ясное, чистым серебром. И золотые солнцевы метлы смели всю черную сажу ночи.

1910

Задушницы [\[265\]](#)



Предрассветные скрытые сумерки стянулись лисьей темнотой. Ветер веянием обнял весь свет и унесся на белых конях за тонко-бренные облака к матери ветров, оставив земле тишину.

Унылый предрассветный час.

Белая кошка — она день в окно впускает — лежит брюшком вверх, спит, не шевельнется.

Синие огни, тая в тумане, горят на могилах. По молодому повитью дубов лезут Русалки, грызут кору. И, пыль поднимая по полю, плетется на истомленном коне из ночной поездки Домовой.

Унылый час.

Ангелы растворили муки в преисподних земли, солнца и месяца. И сошлись все усопшие — все родители с солнца и месяца, и другие прибрежи из-за лесов, из-за гор, из-за облаков, из-за синего моря с островов незнакомых, с берегов небывалых на предрассветное свидание в весеннюю цветную долину.

В их тяжком молчании — речь их загадка — лишь внятен: плач без надежды, грусть без отрады, печаль без утехи.

А глаза их прощаются с светом, с милой землею, где когда-то, в этот день *Зеленой недели*, справив поминки, и они веселились, где когда-то, в этот день *Зеленой недели*, и они, надеясь, вспоминали. Но старая мать, Смертушка-Смерть, тайно подкравшись незнаемой птицей, пересекла нить жизни и, уложив в домовище^[266], опустила в могилу.

Вот и тоскуют. А прошлое — прошлые дни — безвозвратно.

Надзвездный мир — жилище усопших.

Туда не провеивают ветры и зверье не прорыскивает, туда не перелетывает птица, не приходят, не приезжают — сторона безызыстная, путь бесповоротный.

Унылый предрассветный час.

1907

Ангел-хранитель^[267]



Звездной ночью неслышно по полетному облаку прилетел тихий ангел. — А куда дорога лежит? — взмолились путники ангелу. — Третий день мы в лесу, истосковались. Леший отвел нам глаза, кругом обошел: то заведет нас в трущобу, то оставит плутать.

— Вы его землянику поели, вот он и шутит.

— Ангел! Хранитель! Ты сохрани нас!

Ангел послушал, повел на дорогу.

А там, на прогалине, где трава утолчена, у кряковистого дуба, сам Леший дед сивобородый, выглянув, шарахнулся в сторону, а за ним стреконул зверь прыскающий.

Сошла беда с рук.

— Ты сохранил нас!

Лес истязный — ровный, без сучьев.

Много в ночи по небу Божьих огней.

Корни ног не трудят. Ходовая тропа.

Путь способный.

— Помнишь ты или не помнишь, — сказал ангел безугрозыце Лейле, — а когда родилась ты, Бог прорубил вон то оконце на небе: через это оконце всякий час я слежу за тобой. А когда ты умрешь, звезда упадет.

— А когда конец света?

— Когда перестанет петь Петух-будимир.

— Золотой гребешок?

— С золотым гребешком.

— А правда, будто ворон в великий четверг купается в речке и все его воронята?

— Третьего года купались — у Волосяного моста.

— А земля... земля тоже ходит?

— На железных гвоздях.

— А я хотела бы, очень хотела бы сделаться... мученицей... — задумалась Лейла.

Реже лес становился. Открывалась поляна. Ночь уходила и звезды. Падала роса на цветы.

И разомкнулась заря.

— Мне пора, — сказал ангел, — нас триста ангелов солнце вертят, а уж заря.

И так же неслышно по бысролетному облаку отлетел тихий ангел.

Рассыпались просом лучи по траве.

— Ангел Божий, ангел наш хранитель, сохрани нас, помилуй с вечера до полуночи, с полуночи до белого света, с белого света до конца века!

1908



С первым цветом, опавшим с яблонь, опало с песен унывное лелю^[269], и с ленивыми тучами знойное уплыло купальское ладо^[270]. Порастерял соловей громкий голос по вишням, по зеленым садам. Прошумело пролетье^[271]. Отцвели хлеба. Шелковая, расстилая жемчужную росу, свивалась день ото дня с травой трава. Покосили на сено траву. Стоит теплое сено, стожено в стоги — в ширь широкие, в высь высокие — у веселой околицы.

Прошла страда сенокосная.

Коса затупилась. Звоном — стрекотом — эй, звонкая! разбудила за лесом красное лето.

В красном золоте солнце красно, люто-огненно пышет. Облака, набегая, полднем омлели: не одолеть им полдневного жара. И те белые ввечеру — алы, и те темные ввечеру словно розы. Лишь в лесной одинокой тени листьями шумит кудрявая береза, белая веет, нагибая ветви.

Буйно-ядрено колосистое жито. Усат ячмень. Любо глянуть, хорошо посмотреть. Урожай вышел полон.

Стоя, поля задремали.

Пришла пора жатвы.

Тихо день коротается к теплому вечеру. К западу двинулось солнце, и померкает.

Уж вечер на склоне. Затихают багряны шаги.

Путники поле проходят, другое проходят. А над дремлющим полем во все пути по небесным дорогам рассыпает ночь золотой звездный горох.

— Здравствуйте, звезды!

Видная ночь. Мать-земля растворяется.

— Ты самое Ночку темную видел? Где ее домик?

— За лесами, Лейла, за тиновой речкою Стугной — там, где бор шумит...

— Она — что же?
— Она в черном: перевивка на ней золотая, пересыпана жемчугом.
Она легче пера лебединого.
— А где буря живет?
— Буря в пещерах. Ее, когда надо, вызывают криком хищные птицы.
— А хищные птицы какие?
— Черноперые птицы — красные когти, они прилетают из подземного царства.
— А радуга?
— Радуга собирает воду.
— А откуда тучи идут?
— Тучи откуда...
— Вот и не знаешь! А дырка-то на небе! Разве ты не заметил?
Так птичкой болтая, говорунья Лейла делит с Алалеем дружную ночь.
Зорко смотрит она, разбирает дорогу: запали пути — заросла вся дорога.
Путники поле проходят, другое проходят. Не сном коротается ночь.
Так и есть, это — Спорыш. Там — в колосьях-двойчатках! Как он вырос: как колос! А в майских полях его незаметно — от земли не видать, когда скачет по целой версте.
— Что он делает там в огоньке? — ухватила ручонками Лейла: а сердце так и стучит.
— А ты не пугайся: он венок вьет.
— Из колосьев?
— Колосьяный венок, золотой — *жатвенный*. А кладут венок в засек [\[272\]](#), чтобы было все споро, хватило зерна надолго.
— Сам он его понесет?
— Нет, он отдаст его самой, самой пригожей, и она, как царевна, понесет венок людям.
— Мне бы... хоть один колосок!
— А ты попроси.
Потухают звезды — звезда за звездой — робко бродят, разливают лучи. Потянул зорька-ветер. Тонкий вихорь обивает росу с темного леса.
И разомкнулась заря — Божий свет рассветает.
Ой, как звонко смеется!
Лейла смеется так звонко.

Крепко держит она свое счастье. Лейле Спорыш отдал венок. Веселы будут дни.

И царевна — вольница Лейла в колосьяном венке, а из колосьев, как два

голубых василька, и видят и светят глаза.

— Ну, а ты, Алалей?

— А я старым козлом за тобою, пусть завивают мне бороду!^[273]

— А песни ты не забыл?

— С этой дудкою, как позабыть!

— Да ты погульливее!

— Без песни свет обезлюдит.

Ой, как звонко смеется!

Лейла смеется так звонко.

Как весной из-за моря слетаются птицы, так потянулся с серпами народ в раздолье — на поле. Чуть надносится голос жатвенной песни, а за песней хоронится пляска.

И восхожее солнце высоко восходит, далеко светит через лес, через поле.

— Здравствуйте, солнце!

1908



Лютые звери^[274]

Юрию Верховскому

Летние дни короче — холоднее солнце.

Не чирикают птицы, не щиплет коростель колосья, пчелы состроили соты, и не блестит лист на березе.

Рябина зеленая, в ожерелье поникшая, — красная ягода.

Минуло лето, приходит милая осень.

— Лейла, дочь горностая, куда ты все смотришь?

— Ах, Алалей, куда ночью водил меня сон!

— Отчего ж ты меня не покликкала?

— Да мне не страшно, — ластится Лейла.

— Нет, ты боялась.

— Только немножко.

— А что тебе снилось?

— Мне снилось... Я попала на поле, на поливанское поле! Не сухой тростник — стоит войско, не серые пчелы — летают пули, валяются тела, что лесные стволы, падают головы, что лесные листья, и течет кровь — стремнистая речка. А из-за крутых гор страшные грозною тучей идут на нас... И вдруг будто ночь, я скачу на коне — сивый конь, красное седло. Лучатся шпоры, светятся подковки. Я степью скачу — ветер шумит, наступлю на камыш — огонек сверкает. Через рощу скачу — в роще падает роса. Вышла на поле — солнце взошло. Солнце взошло!

— А мне снилось, Лейла, будто ты в колыбели маленькая такая. Взял я тебя на руки, вот так, и понес.

— Не урони, Алалей!

Алалей запел песню. Подхватила Лейла любимую песню.

Пели вместе, не заметили: на зайца наткнулись.

На меже сидел заяц, наостря ухо, чесал себе спинку.

— В роще рубили деревья, — разговаривал сам с собою усатый, — возле рощи тесали, увезли на большую дорогу, будут строить новую лодку. По углам у лодки будет по кукушке.

— А мы будем кататься! — обрадовалась Лейла, соскочила на землю к зайцу.

А зайца не видать ушей — ускакал усатый.

Тихо. Тихая погода. Безветрие.

Земляной зеленый лягушонок свистит свою песню комарикам тонко.

Минуло лето, приходит милая осень.

— Лейла, дочь горностая, куда ты все смотришь?

— Ах, Алалей, к нам идет тигр!

— Постой, ты где его видишь?

— Да вон, рыжий, лапы медвежьи... он нас не тронет?

— Да это росомаха — северный тигр: он легок, как заяц, умен, как

дрозд.

Росомаха немало была удивлена, слыша разговор Алалея и Лейлы. Росомаха догадалась, что им понятен язык зверей и птиц, — ели, должно быть, змеиную кашу! — и, не собираясь их трогать, близко подошла к ним и сказала:

— Путники, куда вы идете?

— К Морю-Океану, — ответила Лейла.

— К Морю-Океану? — переспросила росомаха.

— Да, тигр, — подтвердил Алалей, — нас отпустил сам кот Котофей Котофейч.

— Ведь это не очень далеко, за медвежьей берлогой?

— У! Куда ваша берлога, дальше!

Росомаха немного смутилась.

— А вы Слона видели? — нашла росомаха.

— Какого Слона?

— А тут неподалеку, вы никому не рассказывайте, живет один Слон Слонович. Мы, звери, скрываем Слона.

— Покажите нам вашего Слона!

— Уж и не знаю, — сказала росомаха, пожалевши, что зря сболтнула.

— Мы его трогать не станем.

— Ну, ладно, — сдалась росомаха и повела их Слона показывать.

Долго шли они лесом, пробирались сквозь чащу, проходили по грядам, по гривам и золотистым мхам, перепрыгивали через пни и колоды, через защербившийся пенёк ели, через побледневший пенёк березы, через позеленевший пенёк осины, через покрасневший пенёк ольхи и вышли в орешник.

— Я сейчас, я вас догоню, — сказала росомаха и грешным делом завернула за кустик.

И уж одни они шли без тигра, щипали орехи.

А за орешником открылась поляна.

Тут на поляне стоял старый-престарый Слон с клыками, весь с головы обросший длинною редкою шерстью.

— Здравствуйте! — сказал вдруг Слон и, помахав хвостом, стал медленно поднимать хобот.

И не то чтобы испугавшись слонова пальца, а скорее от неожиданности, воскликнула Лейла.

— Нас привел к вам тигр, вон и сам он!

Росомаха подошла, как ни в чем не бывало.

— Не надоедайте долго Слону, — шепнула росомаха, — Слон

смирный, как рябчик, а осердится, живо в клыки.

— Расскажите нам что-нибудь, Слон Слонович! — стали просить Слона Алалей и Лейла.

— Да, расскажите что-нибудь, Слон Слонович! — поддакнула росомаха и опять шепнула: — Не дергайте Слона за хвост, Слон не любит.

— Про мышь и сороку, хотите? — Слон улыбнулся и, взвив высоко хобот, пожевал нижнюю длинную губою.

Алалей и Лейла, усевшись под самый слоний хобот на разбросанные кругом по поляне старые слоновые зубы, приготовились слушать. С ними на зубы уселась и росомаха.

— Жили-были мышь да сорока, — рассказывал Слон Слонович, — сорока сор метет, мышь огонь добывает. Так и жили. Раз ушла мышь за сеном, наказала сороке щипать мешать. Сорока стала щипать мешать и упала в горшок.

Вернулась мышь, стучит: «Сестрица сорока, отвори, отвори!» А уж где отворить, если ни лапок — ничего: все во щах сварилось. Мышь отыскала щелку, пробралась во двор, отворила сарай, втащила воз сена, сено опростала и вошла в избу. Вошла мышь в избу, вынула из печки щипать, принялась за еду. Попалась ей сорока. Обглодала она сороку дочиста, сделала из хребта лодку...

— По углам у лодки по кукушке! — перебила Лейла.

— Не мешайте Слону рассказывать, Слон спутается, — заметила росомаха.

А Слон уж спутался и начал Слон совсем про другое: то про какой-то хвост закорючкой, то про какую-то свинью полосатую да мерина, как приятели чуть-чуть было не съели друг дружку.

Росомаха долго наводила Слона на ум.

Наконец-то Слон опомнился.

— Тут ничего нет смешного и смеяться нечего, смеются одни индейские петухи, — сказал Слон Слонович и продолжал сказку: — Ну, сделала мышь лодку, спустилась к речке, уселась в лодку и поехала: у песчаного берега шестом отпихивается, у крутого берега веслом правит. А шест у ней из хвоста выдры, а весло у ней из хвоста бобра. Идет заяц: «Сестрица мышка, пусти меня!» — «Не пущу: лодка мала!» — «Я на задних лапках постою». — «Что с тобой делать, иди!» А потом и лиса, а потом и волк, все просят в мышкину лодку. Мышка всех и пустила. Идет медведь: «Сестрица мышка, пусти меня в твою лодку!» — «Нас самих много: ты, косолапый, не поместишься!» — «Я на одной ножке постою». — «Иди, что с тобой делать!» Медведь уселся, лодка опрокинулась, и все

потонули.

Слон опустил хобот, пощекотал пальцем слушателей и, махнув хвостом, сказал:

— Уж солнце садится, завтра будет ветрено.

— Поблагодарите Слона и идемте, Слон спать хочет, я вас на дорогу выведу, — шепнула росомаха.

Алалей и Лейла встали, поблагодарили Слона, погладили хобот — хобот у Слона Слоновича мягкий! — и тихонько пошли за росомахой.

Солнце уже скрылось, и только на холмах все еще лежал красноватый закат — *солнце мертвых*, словно разбрызгалась светлая кровь, как земляника.

— Болотом будет идти вам страшно, повернемте-ка лучше к речке, там я и распрощусь с вами, — сказала росомаха.

— Почему будет страшно?

— А Лобаста!

— Какая Лобаста?

— Да разве вы никогда ее не встречали?

— Нет, не встречали.

— А корову с шишкою на лбу видели?

— Нет.

— А коня с ногами без шерсти?

— Вы, тигр, нам про Лобасту скажите! Какая Лобаста?

— А-а, испугались! Вот она какая Лобаста! Попадете к ней в болото, не спустит. Ростом Лобаста, как эта осина, тело белое, что заячий пух, а ручищи словно крылья с красным когтем, словит да этим когтем, хоть и нежен он, что костяника, а защекочет до смерти.

— А мы тише тени пройдем, она нас и не словит.

— А жеребенок с соломенными ногами?

— Вы, тигр, все нарочно! Мы жеребенка вашего не боимся!

— Вон и речка, — остановилась росомаха, — ишь берег-то, словно хвоя, когда висит на ней соболь.

— Вы, тигр, так знаете много, научите нас! — уцепились путники за росомаху.

— Чему же я вас научу! Мы, тигры — зверь лютый. Ну, учитесь играть, как играет плотва, плескаться, как плещется сиг, метаться, как мечется щука, широко гулять, как гуляет лещ, и будьте бодры, как язь! — и, сверкнув белым зубом, побежала росомаха в лес.

А они пошли берегом.

Подул ветер. Гудело в роще.

Серые улитки подымали рога — смеркалось.

У ивы гусь стоял, вытягивал по-змеиному шею.

— Прощай, гусь лапчатый, ты улетаешь? — прощалась Лейла.

— Улетаю, — прокричал ей гусь.

— В теплый край!

— За синее море.

— Кланяйся, лапчатый, — не забудешь?

— Буду кланяться, буду.

Гусь полетел: пора собирать гусиную стаю да в путь отправляться — путь длинный за синее море.

Вышли звезды, полетели по небу. Голубое небо усеяно белым серебром — гулянию конца нет. Падают звезды.

Минуло лето, приходит милая осень.

— Лейла, дочь горностая, куда ты все смотришь?

— Ах, Алалей, *наша лодка* плывет!

— Ты где ее видишь?

— Да там...

— Это не наша, это *мышкина лодка*, вон сама мышка, вон заяц, лиса, волк и медведь.

— А наша там — там... По углам по кукушке.

Они поднялись на холм. Развели огонек.

Под кленом в огоньке коротают ночь.

«Мышкиной лодки больше не видно, она потонула. И нашей лодки больше не видно, она уплыла в море».

— Тихо дуй, ветер, не качай клена, не буди Лейлу!

«Наша лодка плывет теперь по морю. Выпадет ли счастье на нашу долю или придется нам плыть по середке, не видя конца, не видя берега, идти от волны до волны, не видя конца, не видя берега?»

— Тихо дуй, ветер, не качай клена, не буди Лейлу!

Тихо спит Лейла, руку прижала к сердцу. Рассыпались русые косы. Ей снится, она в белом, как невеста, она сидит за белым столом, как невеста, цветет алою розой.

— Тихо дуй, ветер, не качай клена, не буди Лейлу!

— А ветер-голубь ^[275] хлопает крыльями, а глаза его полны слез: скоро он останется в поле один.

Минуло лето, приходит милая осень.

1908



Заболотела река. Покрыты дерном в поле распашистые полосы.

Скошен луг, убран хлеб, кончен сев, отошла брусника. И срывал ветер листья с деревьев, нес их, колебля, по воздуху; просушив, откатывал, шурша, посторонь осиротелого дерева.

Загружалось листьями озеро.

Золотой кудрявый лес редел с каждым утренником, редел с каждым солнышком. Летала паутина вдоль по лесу, подымалась цепкая до маковки и, скатясь по ветвям, обскочила круг пустынного дерева.

По утрам на заре, промерзая, становилась паутина прозрачней и легче и, свившись червем, качалась в дырявых покинутых гнездах.

Доступила на пегой кобыле дождливая осень. И ушли прощальные ясные дни.

Дождливая сонная осень.

По берлогам звери заснули — им тепло, мохнатым, им все будто лето.

Ветер, гуляя по полю и лесу, шумит на просторе.

И поднялись у берлог Ведогонии, стоят, караулят спящих зверей. У каждого зверя свой Ведогонь-охранитель.

Стоять караулить под дождем у берлоги — скучно. И скучно и зябко. От нечего делать Ведогони дерутся друг с другом, — даже до смерти.

Беда: не осилить и покориться! Кончит свой век Ведогонь, и зверь Ведогоня кончит во сне звериные дни.

Так немало зверей погибает в осеннюю пору неслышно.

Ветер все глуше. Ночи длиннее. Зазимье.

Счастливый — тот, кто родился в сорочке, у того тоже есть свой Ведогонь-охранитель, как у зверя.

Вот, ты, счастливый, заснул, а твой Ведогонь вышел мышью, бродит по свету. И куда-куда не заходит, на какие на горы, на какие на звезды! Погуляет, всего наглядится, вернется к тебе. И ты встанешь утром счастливый после тонкого сна: сказочник сказку сложит, песенник песню споет. Это все Ведогонь тебе наказы и напел — и сказку и песню.

Счастливый, ты родился в сорочке, берегись, коли дрема крепко уводит, — твои дни сочтены. Ведогони драчливы — встретятся, заденут друг друга, и пойдет потасовка, а после, смотришь, и нет одного, какой-нибудь кончил свой век. А ты не проснешься, ты счастливый, ты, сказочник, песенник, кончишь во сне свои дни.

Так немало счастливых гибнет в осеннюю пору неслышно.

1907

Летавица^[277]



Плывучие — ой, нелюдимые — пасмурно замкнуты тучи. Сея, как ситом, тихо падает севень — осенний обложной дождь.

Багряный яхонт — цвет прощальных дней — погаснул. Окончились румяные унывные закаты. Обносит вихорь хвои с сосен. Дрожат

обломанные ветви. Обиты, приопали листья.

Печальные поздние отлеты птиц.

Вчера последняя простилась стая. И там, где озеро заволокло травой, в затоне пропела лебедь.

Отошло веселье.

Попрятались за тучи звезды.

Беззвездна, хмура осенняя ночь.

Глядя на ночь в такую погоду, недалеко уйдешь. Ветер — все, сколько есть всего ветров, поднялись и звенят. Нет от ветра затулы^[278]. И сама терпеливая Найда, хвост поджавши, забила в конурку, забыла, как таявкать.

Постучались в избушку.

— Я — Алалей. Моя спутница — Лейла.

— Что вам тут надо? — высунул морду двуголовый конь с золотыми ушами, конь Унеси-голова.

— А чья тут избушка?

— Как чья избушка?! — замотал головой двуголовый. — Это терем старого Вия.

— Вия! — голоса у путников стали, как струнки: пропадут, тут им живу не быть, — того самого Вия: *Подымите мне веки, ничего не вижу!*

Того самого о *железном пальце*. Нынче Вий на покое, — зевнул одной головой конь двуголовый, а другой головой облизнулся, — Вий отдыхает: он немало народу-людей погубил своим глазом, а от стран-городов только пепел лежит. Накопит Вий силы, примется снова за дело. А Пузырь^[279] с клещами да с жалами помер.

— Пусти, конь, обогреться!

— Пустишь вас... уж сидит один странник. А вы кто такие?

— А мы перехожие люди, бродим по свету от дерева до дерева, от камня до камня, а идем мы в дальне-далече к Морю-Океану.

— Да вы не с Бурь-болота от Кукураковны?^[280] Прошлым летом такие шатались.

— Нет, мы не такие... Прошлым летом мы *посолонь* шли с Котофеем.

— А с Латьмиркой-ведьмой знаете?

— Про седого Ауку мы знаем.

— Ну, идите! Да осторожней! Глядите под ноги. Тут лежат ви́лы. Не наткнитесь! Это — ви́лы самого Вия: вилами Ви́ю подымали веки! — и конь, колесом завивая гриву, расстилал долгий хвост по земле, светил золотыми ушами дорогу.

И очутились путники в избушке у Вия.

Конь Унеси-голова, пока стол накрывали, взялся показывать хозяйство. Большое хозяйство у Вия.

Первая горница — золото. Там живут муравьи: день-деньской только и дела им — тащут со всех концов муравьи к Вию в избушку червонное золото. Вторая горница — коневая. Коню принадлежит: убранство богатое. Третья горница — за столом сидит семеро, и все они сини, синее котла, и все, как один, без голов.

А в другие скрытные горницы конь не повел — небывалому страшно! И только позволил разок через щелку взглянуть.

Там жар, там огни горят, мигуны там помигивают, свистуны там посвистывают, стук, брякотня, безурядица, там громы Ильинские, морозы Крещенские, петухи с вырванным красным хвостом, козьи ноги, пауки, злые собаки — все хвостатое, хоботастое, там говор, гул, шип и покрик — нежеланные.

Не оторваться от щелки. Любопытство так и берет.

Но Конь уж уводит к столу: ужин готов.

Сели за ужин.

Служила собачка: подавала миски, меняла тарелки. У собачки личико острое, ровно у мальчика, только ушами собачка все пошевеливала.

Позвали к столу и странника. Странник послушался, слез с полатей, повертел ложкой, покатал из хлеба катушек, а есть не ел, отказался.

А кормили, чем Бог послал, и все как следует. И только за кашей подползли к гостям три муравья, покусали немного и тихонько опять отползли.

На заглядку конь рассказал: какой он был конь. Конь когда-то стоял, не простой, за двенадцатью замками, за двенадцатью дверями, на двенадцати цепях, а держал он поскоки горностаевы, повороты зайца, полеты соколиные. И уж стал было конь представлять свои прежние поскоки, да в ногу ступило.

И пошел себе конь в свою горницу, и собачка за ним.

Конь-то конем и собачка собачкой, только Бог с ними! — все как-то жутко.

Вий спит за перегородкой, только носом подсапывает. Да мыши под полом бегают, малые серые мыши скребутся в углах. У мышек хвостики длинные.

— Эй, странник Божий, ты тоже не спишь?

— Во всю ночь не засну.

— Страшно?

- Нет, я не боюсь.
- Что же ты?
- Воли мне нет.
- Как так?
- Да так.
- А ты расскажи!
- А вы заботитесь?
- Не заботимся, рассказывай!

Странник подвинулся ближе, посупился.

— Я не помню, — рассказывал странник, — как пришла она, взяла мою волю, мои печальные дни: пристала ко мне Летавица. Слышали вы о Летавице? Красота ее краше всех, лицо ее девичье, вольные волосы золотые до самой земли. Всякую ночь приходит она: или ложится в ноги, или станет и смотрит всю ночь и, лишь ветер подует под утро, исчезнет. Слышали вы о Летавице? Я оставил мой дом, бросил все и пошел. И, как лист в непогоду скитаюсь по белому свету — только б ее из сердца прочь! Шатается тень моя, спотыкаются ноги, а дума о ней не проходит. Побывал я в Москве и у Троице-Сергия, в Соловках у Белого моря и в вятских лесах у Николы Хлыновского^[281]. Не помогло богомолье. Вот и хожу. Как трава, сохну и вяну. Не по силам мне мука. Она всюду за мной по пятам: станет и смотрит всю ночь...

- Постой-ка, мы ее видели!
- Где, где она? — задрожал странник, как лист.
- А в горохе мы ее видели.
- В горохе?..

— На Бориса и Глеба. Шли мы горохом — порх! — и наткнулись: лежит такая кра-са-вая! Золотые волосы всю с головой опутали, глаза, словно колодцы, а сапоги на ней красные...

— Она! Она самая! — стукнул по столу странник, а за перегородкой у Вия заворочалось, — да вам бы сапоги ее красные снять с нее и унести, да она бы для вас без сапог все тогда делала: ей сапоги — что птице легкое крылье! И меня бы избавили... Экие вы! — счастье проглупали.

— А ты о Басаврюке^[282] что-нибудь знаешь? — хотела поразить странника Лейла.

Но странник и Басаврюком не подзадорился, странник ничего не ответил. Да вдруг как выпучит глаза — не стерпели огромные, налились глаза черною кровью, стиснул он зубы, почернел, что земля, а руки замлели. Знать, пришел его час: стала Летавица.

Он навеки ее нерушим, с нею свой век навекует.
Ночь сменилась серым утром.
Из сырой земли, как из теплого гнезда, заклубился пар.
Красный след Летавицы мелькнул в дверях.
Старый ворон, перелетывая с ветки на ветку, словно все усмехался,
вещий ворон, граючи^[283], каркал.
Странник тихо лежал: охолонул, бесприкладный.
Вышел из-под лавки Лизун^[284] толстомясый — пятки прямые, живот
наоборот. Походил Лизун по горнице, ничего не сказал и спрятался.
А они все молчком обматывались: собирали сумки — снаряжались в
путь.
Пришла на задних лапках собачка: на собачке зеленый колпак в
кружочках. Напоила собачка их чаем, воровато сунула сухариков в сумки:
— Берите!
Топ копытом — конь появился, сам конь Унеси-голова.
Пожурил конь робачку, что коровы прожорливы стали: солому поели,
сено подобрали. Потом и к гостям обратился: подарил им сушеный
медвежий глаз на веревочке.
— Станет страшно, — сказал конь, — надень, и страха как не бывало.
Дал поддержать им в руках меч-самосек.
Поддержали они в руках меч-самосек, поблагодарили коня за *медвежий
глаз*, ну и в дорогу.
Собачка махала им лапкой.
— А Пузырь с клещами да с жалами помер! — мотал головами конь
двуголовый, провожая гостей в сени.
И пошли себе путники дальше.
Колесиста дорога. Сиверко. Дождь моросит. Греют путники в пазухе
руки. По колено в грязи.
Не поддавайся упорному ветру!
А уж скоро ударят морозы — синие крупные звезды сверкнут. В
звездах ночь засветит ясной луною. Весело снег захрустит.
1908

Змеиными тропами



Копоул Копоулыч

Занесло все дороги, все летние тропинки, замерзли болота, застыли ручьи, сравнялись реки, засумерился день, легла зима — легли снега, путь стал.

Скрип ворота, — мороз на дворе!

У Копоула тепло. Хорошо и тепло Алалею и Лейле зимовать у Копоула в теплой избе.

И светла и просторна изба Копоула, что Кощеев дворец. Много собрано в ней всяких волшебных диковин, как у Кощея: меч-самосек, топор-саморуб, палка-самобойка, гусли-самогуды, ковер-самолет, санки-самокатки, сапоги-скороходы, шапка-невидимка, скатерть-самобранка.

Копоул — сам хозяин — кум Котофея, ворчливый шамчун: не может ни скоро сказать, ни скоро пройти, то щами подавится, то лапшой захлебнется. Но зря никогда Копоул не похвалится небылыми речами и по правде слово рассудит. Носит Копоул от сглазу лапу слепого крота и, хоть не надо ему колдовской неодолимой защиты, пьет всякий день настой жабьей косточки.

Одиноко в лесу живет Копоул среди лютых морозов в Кощеевом царстве. Баран, и гусь, и петух давным-давно ушли от Кота, и лисица ушла от Кота.

— Что за шерсть, что за хвост! — вспоминает Копоул свою неверную лису, свое прошлое семейное житье-бытье.

А неукротимые звери — соседи Копоула — куцый волк, который волк хвостом в проруби рыбку ловил, да с отрубленной лапой медведь, который медведь к старику и старухе по ночам приходил, пел свою страшную медвежью песню, — волк и медведь сами на старости лет и недолуки и неудаковы. Волк еще хорошо языком ищет соринки в глазах, но о хвосте

успел позабыть, а медведь, хоть и не прочь спеть свою страшную песню, да не страшно нисколько, и не забьет косолапый вола, как бывало, не закусит зайцем, как бывало.

Сойдутся свирепые неукротимые звери из своих заброшенных лубяных и ледяных избушек к Коту для совета и знай одно себе: дружно Копоулу подхрапывают.

Который ворон летает за море и приносит живую и мертвую воду, вещий за все зимовье — от ноября до февраля — даже ни разу не каркнул и только на Наума — в именинный кошачий праздник показался в Кощеевом царстве: сам пришел в гости к коту Копоулу.

А который кузнец Требуха сковал Бабе-Яге тонкий голос, еще третьего года пирогами объелся и приказал долго жить после Николычины.

Не надо Копоулу колдовской неодолимой защиты.

Глаза Алалея и Лейлы — не злые, не сглазят.

— А кто вас знает! — говорит Копоул, принимая слова их в досаду, и сам крепко держался за лапу слепого крота.

Расседает земля от мороза.

Тяжки и плящи морозы.

В чистом поле белеют снега. И лишь ель и сосна зелены белую зиму.

А в метельные ночи старый черт закрывает месяц косматою шапкой, и метель, набрав снега, размахнется комом и пустит в окошко.

От ноября до февраля — волчье темное время.

Стучат зубами голодные волки.

— Копоул Копоулыч, не косоурьтесь, расскажите-ка сказку! — просит Лейла.

И знает Копоул, знает и перезнает много всяких доук и балагурья, да чуфырится: как можно, ведь тысячу и одну ночь терся кот в коленях у Шехерезады, когда рассказывала Шахриару сказки Шехерезада!

— Это ни к чему не поведет, это, похоже, не выйдет! — вот и весь сказ Копоула: и на речи не ставится и на сговор не сдается.

Скуки ради ходят Алалей и Лейла из горницы в горницу, смотрят в окно, И сколько раз, провожая студёные дни, нетерпеливые, они пересчитывали лысых, чтобы на двенадцатого лысого мороз пересел. Не слушал мороз Алалея и Лейлы: нагуляется по двору, засядет и сидит трескун на Кощеевом озере, выставит ветру свой красный нос.

Расседает земля от мороза.

Тяжки и плящи морозы.

Кует зима звездный небесный свод.

Днем, как и ночью, норовил Кот поспать, похрапеть, поваляться, позевать, потянуться, и уж ты от Кота ничего не добьешься — ни за холодную воду. Но напал добрый стих: вдруг раздобрится Кот, поведет долгим усом — и начинается сказка, ладно удуманная, хорошо улаженная, зимняя Копоулова сказка.

1910

Упырь [\[285\]](#)



Не ведьма Дундучиха застилает на ночь стол скатертью, не ступой закостила наброжая — кроет землю белый снег, летят-падают хлопья надранными лохмотьями, воет, вьется вьюга, выбухает вихорь, метет метель-поземелица, закуделила.

Третий день и грустна и печальна коротает дни в серебряном тереме царица Чуелка.

Третий день, как печален и грустен уехал царевич Коструб за Лукорье.

За морем Лукорье, там реки текут сытовые, берега там кисельные, источники сахарные, а *вырии-птицы* [\[286\]](#) не умолкают круглый год.

Полпути не проехал царевич, занемог в дороге и помер. И в чужом

краю его схоронили.

Вот среди ночи слышит царевна, под окном кто-то кличет:

— Чучелка, Чучелка, отвори!

Вся зарделась царевна: узнала Коструба.

Думает царевна: «Это он, это жених, царевич вернулся с дороги!»

Встала. Отворила.

— Бери свои белые платья, жемчуг. Я в чужом краю завоевал себе землю, мой подземный дворец краше Лукорья.

Надела Чучелка белые платья, жемчуг. Спешит на крыльцо.

А он ее за руку и на коня.

Взвился конь, и помчались.

Мчатся. Мчится царевич с царевной. Страх змеей заползает на сердце: видит царевна, под нею не конь, таких не бывает, а ветер.

Ветер-вихорь несет их сквозь темные леса, сквозь мхи и болота — ржавцы болота в шары-бары — пустое место.

Поравнялись с церковью, повернули на кладбище.

Тут конь исчез.

И вдвоем остались они над могилой: царевич Коструб и царевна. А в могиле чернеет из-под снега дыра.

— Вот мои земли, там мой дворец, там мы отпразднуем свадьбу: дни будут вечны и пир наш веселый без печали, без слез... — полезай!

— Нет, — отвечает царевна, — я дороги не знаю, ты — наперед, я — за тобою.

Послушал царевич царевну, пропал в могиле.

И одна осталась царевна над черной дырой. Сняла с себя платья — да в могилу.

— На же, тяни за собою. Вот белые платья, вот жемчуга! — и, сбросив в могилу все до сафьянных сапожков, заткнула дыру, да бежать без дороги по снегу, сама не знала куда.

Летела царевна, летела — вдалеке огонек мелькает — прытче бежит. Добежала, смотрит: изба — одна одинока изба стоит среди поля. Бросилась к двери, вломила в сени, да в горницу...

Мертвец на лавке лежит, больше нет никого, и светит свеча.

Царевна со страха на печку, забилась в угол, сидит тихонько.

А там на кладбище, а там на могиле обманутый вышел из гроба царевич. Созвал Коструб мертвецов и полетел с мертвецами вслед по царевну.

Прилетел до избы, кричит через окно:

— Мертвец, отвори мертвецу! Будем с живыми пир пировать.

Зашевелился мертвец: то ногой, то рукой поведет. А потом с лавки как встал и пошел, дверь отворил.

И нашло мертвецов полным-полна изба. Окружили печь, кличут царевну:

— Вылезай, вылезай — будем пир пировать!

— У меня нет рубашки и сафьянных сапожков, принесите мне: там они на могиле! — говорит мертвецам царевна.

Посылает царевич мертвеца на могилу.

И вернулся мертвец, принес и рубашку и сапожки.

И опять кличут царевну.

А она им: то, говорит, рукавичек нет, то платка у нее нет, то пояса...

Но мертвецы ей все из могилы достали: все платья, весь жемчуг до последней крупинки.

Кличут царевну:

— Вылезай, вылезай — будем пир пировать!

И надела царевна белые платья, жемчуг, вышла. Вышла царевна. И в кругу мертвецов замерла.

А! Как обрадован мертвый живому!

— Я тебе верен за гробом, — целовал царевну мертвый царевич, и с поцелуем живая кровь убывала — теплая кровка текла в его холодные синие жилы.

Третьи петухи пропели — мертвецы разлетелись по темным могилам, там, в могилах, облизывали красные губы.

Не вернулась царевна в свой серебряный терем. Нашли Чучелку утром — белая, как белый снег, без единой кровинки, далеко в чистом поле в мертвецкой избе.

Вьется вьюга и воет, валит и, опрокидывая; руша, сбивает с ног. Разворотила, нелегкая, дубья-колодья, замела дверь, засыпала окна — хоронит серебряный Чучелкин терем.

Холодна зима — белый снег.

1909



Дождались весенней поры. Уходила зима. А была она долгая и суровая — снег по пазуху. Наступили первые теплые дни.

Ясных дней еще нет. Ясный Яр не отомкнул еще неба. Огненный, разбудил Яр черную землю.

И пусть свистит в поле ветер, пусть свистом зовет зима снег на помощь! Снег тает в поле, и раз от раза темнеет река.

Вздуется лед, тронется река — грозно Яр разомкнет горячее небо — поплывет река, и, широкая, зашумит она, как грозовое небо.

— Руки наши крепки, глаза видят ясно, и мы поплывем! — повторяет за Аалеем верная Лейла.

Они на воле. Так они рады весеннему первому дню.

Они на воле, они встретили первый цветок.

Как печален и грустен первый весенний цветок!

Сон-трава — синеглазый подснежник — глядела печально, и на тяжелых темных ресницах горела слезинка.

Что огорчает ей сердце? Ждет ли кого? Или нет никого, кто бы утешил печальное сердце?

У цветов есть мать, у Сон-травы — махеча. Разбудит Яр землю. Проснется земля. Но еще спят под землею и травы и цветы.

«Просыпайся, иди на землю, там светло, там все твои братья и сестры, там играют птицы!» — скажет мачеха нелюбимой синеглазой сиротке.

И, послушная, она выйдет на землю одна, без братьев и сестер, одна из-под снега. Еще спят под землей и трава и цветы. Ее в колыбели никто не баюкал, ее на руках никто не нянчил, ее ласковым словом никто не забавил...

Печально и грустно стоит Сон-трава — синеглазый подснежник.

В тихом вечере тихим полетом плывут по теплому небу перелетные птицы.

Птицы все прилетят в свои гнезда. И выйдет из леса медведь. И закукует горькая кукушка.

— Руки наши крепки, глаза видят ясно, и мы полетим! — повторяет за Аалеем верная Лейла.

Они на воле. Так они рады весеннему дню.

И синеглазая Сон-трава печально глядит на них.

— Ты, сестрица, дожدهшься солнца! — сказала ей Лейла, и далеко разносился ее голос по воле: — Солнце, солнышко, выгляни, высвети! Солнце, солнышко!

1910

Верба [\[288\]](#)



Уж заря, золотясь, осыпается розами в реку.

Отошли дни-потемы [\[289\]](#), потухли всполохи [\[290\]](#).

Уж по заре златорукое солнце возносит руки над миром, зарное [\[291\]](#), нет ему белого облака, чтобы закрыться, захватить все небо.

Небо обняло землю, горячо обнимает.

И земля принялась за свой род.

Первая — верба. Вербa, еще из-под снега распушив свои алые гибкие лозы, тихо подымает веки, и седые пушистые вии озолотились слезами.

И куда ни пойдешь, и куда б ни взглянул, встретишь вестницу мая — печальную Вербу.

«Я, последний и самый любимый, рожденный в Купальскую ночь, расскажу тебе, Лейла, о моей матери Вербe.

Моя речь невнятная, — я очень долго молчал, мои слова странны, — я

очень стар.

Я не помню, как это было, — мои руки сухи, мои пальцы вялы, а у моей матери руки были влажны и пальцы крепки.

У меня было много братьев, сестер, сестер-братьев, все они были старше и разбрелись по земле, кочуя до самого края. Их было так много, их было больше, чем звезд на небе.

Я помню — мои ноги быстры и легки, как крылья, а во лбу *свети-цвет*^[292] купалы. «Ты засвети свой цвет, Купало!»^[293] — сказала мне мать.

Я помню — мы шли искать новую землю: на старой нам стало тесно. Мы шли долго в ночи, раскапывали пальцами землю — гадали о будущих днях. Черная, сбросив белые снега, земля лежала под нами и, тая, дымилась, а в ее черном сердце зависть свивала гнездо.

Моя мать сильна и всех прекрасней. И пускай после мая знойные дни^[294] и жгучие вихри, и пускай по болотам в полночь, заманивая путников в гибель, сверкают огни-одноглазы, и полднем Полудницы^[295] летят в пыли вихрей, и пускай, чуя мертвых, вопит Карина^[296], и пускай несет темная Желя^[297] погребальный пепел в своем пылающем роге, — моя мать сильна и всех прекрасней.

И на земле цветов было меньше, чем моих братьев, и на земле лесу было меньше, чем моих сестер, и на земле рек-озер было меньше, чем моих сестер-братьев.

Я не помню, как это было — а как всходить заре на гору, перед рассветом, мы вступили в болото, и вот черные руки вдруг поднялись из земли и крепко охватили мать под грудь сзади и, обняв, повлекли ее в топь за собою...

Я не помню, как это было, — я стою на краю трясины и кличу и зову мою мать. «Где найду я новую землю!» — И кличу братьев: «Где найду я мать!»

А под землю глубоко, я вижу, горят, как свечи, глаза. А мать стоит — не мать, печальная верба.

1907



К нам! — торопитесь, весенние ветры!

Грачи прилетели, пробила лед щука^[299], вскрылись реки, идут, говорливые, и распушилась верба.

Эй, ты — весна!

Ой, лелю^[300], лелю, весна!

Уж прошумели грозолетные тучи, неразгонные дождем пролились студеницы^[301].

И ударило молотом в камень, в зеленый дуб прямо под корень.

Эй, ты — весна!

Ой, лелю, лелю, весна!

По теплomu небу алым развоем наливается роза-заря.

Алый вечер угас, темная Стрига тьму собирает для ночи.

Ночь кипит, весенняя — распущены темные косы. А куда ни взглянешь — звезды.

Но моя душа полней печалью.

Эй, ты — весна!

Ой, лелю, лелю, весна!

К нам! — торопитесь, весенние ветры!
Уж восходит из недр ночи красное Солнце, разрываются тяжкие цепи, — низвергается Стрига.

И несутся весенние ветры из вечного лета, несут, колыхая, на крыльях семена лесу и полю, а сердцу любовь, и навевают горячую в сердце.

Эй, ты — весна!
Ой, лелю, лелю, весна!

По теплomu небу алым развоем^[302]⁵³ наливается роза-заря.
1908

Каменная баба^[303]



Ушла зима с морозами, с трескучими...
Взошло солнце, согнало снега.
Пошла вода вольная, полноводная. Подмыла сучки, ветки, отросточки.
Весна приехала.
Весна-красна в аржаном колосе на сохе, на овсяном снопу веселая, привезла ясные дни, частый дождь, зеленую траву.
Приударил дождь.
И раскинулись кусты, вошли ручьи в русла, зазеленели луга.
Пойте, птицы, и вечером и утром — всем нам веселье!

Алалей и Лейла качались на качелях, мылись громовой водой, прыгали через костер. Ветер, вода и огонь их сохраняют.

И уж им не сиделось на месте у Копоула в Кощеевом царстве: манили лес, поле, дорога.

— Будь здоров, Копоул Копоулыч, спасибо тебе за зимний приют: будем помнить твою ледяную горку, блины и вечера, когда рассказывал ты сказки.

— Моряне, не забудьте, кланяйтесь, как попадете на Море-Океан, ее в волнах видно! — прокурлыкал Копоул на прощанье: седой кот на огороде копался, капусту да лук сажил.

И снова пошли они в путь.

От кургана к кургану их вела ковылевая степь, шелковая, колыхалась волною. Ночью месяц светил, освещая дорогу.

По небесному краю раскрывалось синее море и, разлившись широким-широко, улетало, как лебедь. Попадались верблюды; угрюмо и молча шел верблюд за верблюдом... И пробегали стада белых овец, порошили, как снег, зеленую степь.

— Эту ночь не пойдем, Алалей, заночуем тут у кургана возле той вон Каменной Бабы!

Вышли звезды, пустились По весеннему небу искать золотые ключи от восхожей зари. В тихом сне приумолкла земля.

Баба смотрит в ночь. Они смотрят на Бабу.

— Что ты, Баба? Что ты смотришь? Что ты знаешь?

— Я баба не простая, а Каменная Баба, — провещалась Баба, — много веков стою я в вольной степи. А прежде у Бога не было солнца на небе, одна была тьма, и все мы в потемках жили. От камня свет добывали, жгли лучинку. Бог и выпустил из-за пазухи солнце. Дались тут все диву, смотрят, ума не приложат. А пуще мы, бабы! Повыносили мы решета, давай набирать свет в решета, чтобы внести в ямы. Ямы-то наши земляные без окон стояли. Подыдем решето к солнцу, наберем полным-полно света, через край льется, а только что в яму — и нет ничего. А Божье солнце все выше и выше, уж припекать стало. Притомились мы, бабы, сильно, хоть света и не добыли. А солнце так и жжет, хоть полезай в воду. Тут и вышло такое — начали мы плевать на солнце. И превратились вдруг в камни.

Высокая шапка на Бабе закачалась, а руки, сложенные на животе, поднялись к высохшей каменной груди.

Да вот тоже, непоседы вы, все-то бродите, знаю вас, не впервой вас вижу: с Волхом^[304] рыскали, помню... В Духов день земля именинница, не скачите вы в зеленый день, не кувыркайтесь, не стучите, а встаньте рано да поцелуйте мать нашу землю, поздравьте! Да еще животных, скотов не обижайте, коней, оленей кормите, поите, приглядывайте...

— Баба, баба! Скажи нам, ты нас видела, ты нас знаешь, скажи нам, где лежит Море... дойдем мы до Моря-Океана?

Но Баба ничего не сказала. Баба смотрела в ночь.

А по небу звезды серебром висли — искали ключи.

1908

Лужанки [\[305\]](#)



Три белоснежные ветровы сестры — Буря, Вьюга и Метель простились с любимым братом Вихрем и ушли за море и скалы до зимних студеных дней.

Гром прогремел, ударил гром в источник до дна. Трубили небесные трубы, блистали мечи, летели стрелы. И пролился теплый дождь.

Досыта полил дождь хлебородницу землю, доверху наполнил воды — реки, луга и озера, и грозою и громом крепко натянул литые серебряные струны от берегов до берегов.

Реки шумели, как гусли, со звоном половодья звонко по литым серебряным струнам била волна, бежала говорливая, несла счастье.

И зазорились ясные зори, разлился лес, зацвели все лужайки и рощи, запорошились белой душистой черемухой погосты и кладбища, полетела из улья по цвету Ефрея-пчела за медом, воском, и затеснились пчелки-подружки у огорода вокруг Фелины-пчелы и Аросиды, пчел старших, перекликнулся выпью Водяной с Лешим, и на красных холмах от зари до зари застонали свирелью песни-веснянки, песни-заклички, оклики мертвых.

Реки шумели, как гусли, со звоном половодья звонко по литым серебряным струнам била волна, бежала говорливая, несла счастье.

Ключом закипала жизнь в обогретом, ожившем сердце — и уж плещет она, горячая, льется, кипит ключом и там в небе, и там в земле, и там в воде, и там в огне. И как просторна, как необъятна — и далеко покажется широко поглянется! — как необъятна, необозрима весенняя молодая земля с солнцем и месяцем, с зорями и звездами!

Всем своя воля — до-вольная, разволица, разволье и раздолье.

Чуть заря занялась и по заре запела сизая птичка, а Алалей и Лейла уж на воле — в пути.

— Лейла, а куда улетели, как два голубых голубка, твои глаза-голубки, Лейла?

— Ты их не видишь?

— Где они, Лейла?

— Лужанки! Лужанки проснулись! Как они рады... Алалей, какие золотые кудряшки!

На лугу в полной воде купались Лужанки. И подымали брызги — летели, рассыпались брызги дробнее маку. Так весело, так рады были заре Лужанки. И кудрились их золотые кудряшки.

— А мне, Алалей, можно... я им скажу: вы мои братцы — Лужанки, я ваша сестрица Аленушка. Они меня пустят. Я сестрица Аленушка! И ты тоже скажешь...

— Лейла, солнце встает.

И загорелось, встало солнце, и под солнцем загорелась земля, и в первых лучах скрылись Лужанки.

— Где мои Лужанки?

— Улетели в лучах...

— А на лугу?..

— На лугу их ночь — на лугу они спят. На лугу их утро — на лугу они умываются, чтобы к солнцу лететь.

— Какие золотые кудряшки! Алалей... я — не Лужанка?

— Ты... ты сестрица моя Аленушка — Лейла!

Лейла под солнцем вся золотая. Как два голубых голубка, ее глаза-голубки улетели с лучами, за первыми лучами — за золотыми Лужанками, к солнцу.

Реки шумели, как гусли, со звоном половодья звонко по литым серебряным струнам била волна, бежала говорливая, несла счастье.

1910



Эна какая — разливная весна! Повытаял снег с полей, повынесло лед с реки, разошлась вода со льдом, разлились реки с гор, протекли мелкие речки — бьют ключи, и, круглые, полные с берегом, катят озера.

А по россыпи волн на воле Водыльник^[307]. И лишь одна его голова — куча сенная, торчит над водою: ничем не заманишь чумазого в темень на остудное^[308] дно, довольно зимой наклевался ершей и плывет, охмелел.

Суховерхое дерево греется. Веселеет еловая роща.

Оживают дыбучие мхи.

Вот облако к облаку — пушистые облачки сходятся.

Пугливо за облако теряется солнце.

И уж движется туча хмуро и грузно: заждалась свистучая, шагает подоблачье.

Горностаи тягу дал под малиновый прутик.

Черкнула ласточка.

Да как заторандит, да как загрохочет — с грохотом — громом катит гремющий Громовник: с уклада складено сердце, с железа скованы груди. Тороком^[309]-вихрем режет Громовник небесные снега.

Подымает тугой лук. Нацелил. Спускает стрелу — крес!

И всполохнулся от искры небесный свод, весело, весело горит. И земля под топот толкучего грома, просверленная меткой стрелой, горит.

Пробудились, встают клевучие змеи, встает все зверье и все птицы и приветливые и догадливые, хищные, жалобные, горе-горькое, скоролетные, златокрылые, говорящие, косатые — сокол, орел, соловей, и гусь заблудущий, и сорока поскокунья, и ворона полетучая, и загнанный заяц.

И до самого вечера, пока туча держалась и вовсю громыхал бесстрашный Громовник, звон-унылая песня зверья разливалась с края по край — с берегов небывалых до берегов, где бездорожье живет.

И до капельки вылилась туча, высеяв землю.

Любуясь, по синим дорогам, уплыло солнце, а за солнцем теплая ночь поднялась над теплой землей.

На прибойном сыром берегу вещая Мокуша^[310], охраняя молнийный огонь, щелкала всю ночь веретеном, пряла горящую нить из священных огней. Кузнецы стояли в кузницах, разжигали булат-железо, ковали железные обручи на любое сердце. И водные Бродницы^[311], плавая тихо, волновали синие воды и, чаруя глубокие недра, призывали навов из темных могил.

— Проснитесь и пойте! Проснитесь! Наступило всему воскресенье! Начинайте весеннюю пляску!

В земле копошилось, раскатывались камни, рассыпались пески, расступалась земля.

А там — ненаглядные звезды. И до зари, как всходить ей на небо, звезды, играя, свивали тоску, ненаглядные.

1907

Нежит^[312]



Вот пришел ярец^[313]-май с ясными днями, поднял и слил яроводье^[314].
Лили дожди и пролились. Канули сиверы — ветры.

С теплым ветром из-за теплого моря комары прилетели.

И текут безумно гульливые реки.

Гуляй, поколь воля!

Выгнана вербою в поле скотина. Засеяна черная пашня. В поле и в лесе ночью и днем заливаются-свищут певчие птицы: перелетные, не

обошли они, не забыли наши края.

Русь — сторона родимая. Жить — она веселая.
Падают белой зарею большие Егорьевы росы.
Рано солнце играет.
Соловьиные дни.

Гуляй, поколь воля!

Все оживает, все пробудилось. Прогремел первый гром, и земля очнулась.

Выглянули горные *мавки*^[315] с красных гор и высоких *буянов*^[316] — стало невмочь им в их зимних вершинных могилах.

Тихо веют горные ветры. Парит на солнце.

Встала чужа-змея, вывивается: чует снесь.

Вылез из-под коневой головы и сам неприкаянный Нежит, ей встречу идет.

Гуляй, поколь воля!

Торна, бойка дорога.

Вот обогнул Нежит старую ель и бредет — колыбаются сивые космы. Подвигается тихо, толчет грязи по мху и болоту, хлебнул болотной водицы, поле идет, другое идет, неприкаянный Нежит, без души, без обличья.

То он переступит медведем, то утишится тише тихой скотины, то перекинется в куст, то огнем прожигает, то как старик сухоногий — берегись, исказнит! — то разудалым мальцом и уж опять, как доска, вон он — пугало пугалом.

Доли не чаять и не терять — Нежитова доля.

Далеет день. Вечереет.

В теплых гнездах ладят укладываться на ночь.

Ночь обымает.

Ночь загорелась.

Затянули на буйвищах^[317] устяжные песни.

Веет с жальников^[318] медом и сыченой брагой.

Легкая лодка скользнула в раkitник. Раздвинула куст Волосатка^[319], пустилась Домовиха по полю ко двору к Домовому.

Гуляй, поколь воля!

В ночнине кони в поле кочуют, зоблюют.
Сел Нежит в мягкую траву, закатил болотные пялки, загукал^[320] Весну.
А на позов из бора отукает Див.

Гуляй, поколь воля!

Подливает вода — колыхливая речка, подплывает к самым воротам.
Разъяренилась песня.
А там за рекою старики стали в круг, изогнулись, трогают землю,
гадают: пусть провещает Судана!
И волшанские жеребья^[321] кинуты.
Слышит ярое сердце, чует судьбу, похолодело...
Резвый жеребий^[322] выпал — злая доля выпала ярому сердцу.
Яром туманы идут. Поникает поток. Петуха не добудишься.
Дуб развертывает свежие листья.
И мать-земля родит буйную зель^[323].

Гуляй, поколь воля!
1907

Коловертыш^[324]



Широкая, уныло день и ночь течет Булат-река, тиноватая, в крутых

обсыпчатых берегах с пугливой рыбой.

Умылись наши путники в речке, переехали речку Соловьиным перевозом и вошли в густой лес. И всю ночь до зари пробирались они лесом по темным, тайным дорогам. Всю ночь вела их дорога то сквозь трющобы, то пропастями.

И трижды далеко петухи пропели — трижды клевуны проели.

Взошла заря.

А на заре, в подсвете, в восходе солнца девять кудрявых дубов остановили их путь.

У девяти дубов, между двенадцатью корнями стоит избушка на *курьей* ножке.

Тихо обошли они дубы вокруг избушки, робко заглянули в три окна. Но тихо: не повернулась к ним избушка, ее не повернула куриная нога. И в окнах ни души, не слышно крика, ни шума, ни суетни, — знать, покинула ведьма избушку!

На крыше сидела серая сова — чертова птица, а у курьей ноги, у дверей, пригорюнясь, сидел Коловертыш: трусик не трусик, кургузый и пестрый, с обвислым, пустым, вялым зобом.

— Лейла, какой печальный Коловертыш!

— Слепой, как птица сова?

— Сова не сова, а глазастый и зоркий: днем и ночью разбирает дорогу.

— А что у него за мешок?

— Это зоб, туда он все собирает, что ведьма достанет: масло, сливки и молоко, всю добычу. Наберет полон зоб и тащит за ведьмой, а дома все вынет из зоба, как из мешка, ведьма и ест масло, сливки и молоко.

— Вот чудеса: Коловертыш!

— Да, Коловертыш.

Они поднялись по ступенчатой лестнице к двери, чуть приотворили дверь — на мышиный глазок, но Коловертыш остановил их.

— Нет ведьмы, — сказал Коловертыш, — нет хозяйки: парившись в печке, задохнулась Марина уж тридцать три года.

— Эко несчастье!

— Бедняжка! Неужто задохнулась в печке?

— Тридцать три года! — взгрустнул Коловертыш.

— А ты сам Коловертыш?

— Я сам Коловертыш, а бывало-то...

— Что, что бывало?

— А бывало-то, месяц стареет и ведьма стареет, месяц молодеет и ведьма молодеет, вчера она старая кваша и не посмотришь, а завтра

посмотрит и сделает пьяным. А горька, как сажа, сладка, как мед, надменна, как вепрь, язвительна, как слепень, ядовита, как змея. Разрывала Марина оковы, что твою нитку, захочет — змея уймет, его ярое жало, а захочет — суше ветра иссушит, суше вихря, суше подкошенной травы. Вот была она какая!

— Марина-ведьма! — подхватила Лейла.

— Марина-ведьма, уж тридцать три года...

И, вспомнив Марину-ведьму, свою хозяйку, о себе рассказал Коловертыш, как ему скучно, — закрылись все радости, встретились напасти! — и не знает он, что ему делать, — ничего не видит от несносной печали! — и куда ему деться, оголодал он! — без Марины-ведьмы, без своей хозяйки.

— А как тебя сделала ведьма? — допытывалась Лейла.

Из собаки сделала, мудрено меня сделала ведьма: оценилась наша собака Шумка — Шумку волки съели! — взяла ведьма место — там, где щенята у Шумки лежали, пошептала, перетасила в избу в задний угол под печку, а через семь дней я на белый свет и вышел. — Я Коловертыш, вроде собачьего сына... Съешьте меня, Бога ради, мне скучно!

Что ты... мы вовсе не серые волки! Да полно, чего горевать, ну, чего? Ты и другую найдешь, ну, не Марину, ты другую найдешь... Шумку! — растрогалась Лейла, хотела утешить беднягу, который вроде собачьего сына.

Коловертыш был неутешен: трусик не трусик, кургузый и пестрый, с обвислым, пустым, вялым зобом, — бултыхал Коловертыш пустым, вялым зобом.

Кого нет, того негде взять... Съешьте меня, Бога ради, мне скучно! — не унимался бедняга, капали крупные слезы из собачьего, верного глаза.

Лейла туркнулась в дверь. И они попали в избушку.

У самых дверей — ступа, из ступы, как заячье ухо, торчал залежанный войлок: видно, в ступе свил себе прочно ночное гнездо Коловертыш, и рядом со ступой помело длинное, под потолок, и кочерга, а по углам пустая посуда, — в пустую посуду Коловертыш выкладывал когда-то из своего зоба добычу: масло, сливки и молоко, — а на стене, в красном углу, болтался замызганный, лысый воловий хвост и ожерельем висели вокруг сушеные змеи, кузнечики, песьи кости, ящерицы, акулье перо и рога олени, а на треногом столе — корки, крошки и черепки, а у печки — громовый камень, угли, кремь, кресало, горшок золы: — знать, у печки распоряжалась сова. И везде паутина — по щелям, по потолку, по углам.

Вот где жила ведьма Марина: старела, как месяц стареет, и молодела,

как молодец старый месяц, а горька, как сажа, сладка, как мед, надменна, как вепрь, язвительна, как слепень, ядовита, как змея, захочет — змея уймет, его ярое жало, а захочет — суше ветра иссушит, суше вихря, суше подкошенной травы.

— Съешьте меня, Бога ради, мне скучно! — тянул свое Коловертыш, кряхтел за дверью, у курьей ноги.

Вот где живет Коловертыш, ничем неутешен и никогда — ни днем под солнцем, ни ночью под месяцем, ни ранними росами, ни вечерней зарею, без Марины-ведьмы, без своей хозяйки, верный ведьмин помощник — Коловертыш, который вроде собачьего сына.

Постояли они в избушке, поглядели, подумали — и за порог. И у девяти кудрявых дубов опять постояли, поглядели, подумали да, напившись ключевой воды у обожженного молнией среднего мокрецкого дуба, дальше — в недалний, неближний трудный путь по тернистой, унылой тропинке за широкою Булат-реку искать море. Море-Океан.

— Прощайте! Прощай, Коловертыш!

Коловертыш не тронулся с места, и лишь сова вспорхнула на оклик...

— А ведьмины кости, косточки, костки черный ворон в поле унес, Ворон Воронович, уж тридцать три года, а собаку Шумку... Шумку волки съели, уж тридцать три года! — кричала вдогонку сова — чертова птица, серая, кричала с подавленным хохотом.

Ховала [\[325\]](#)



Наволокло, — небо нахмурилось.

Подымалась гроза, становилась из краю в край, закипала облаком.

Поднялись ветреницы, полетели с гор, нагнали ветер и вихрь.

Ветры воют.

И гремучая туча угрюмо стороною прошла.

Не припустило дождем.

И осталась земля-хлебородница не умытая, не напоена.
Не переможешь жары, некуда спрятаться.
И ходило солнце по залесью, сушило в саду шумливую яблонь, а в поле цветы, и жаркое село.
Угревный день сменился душной ночью.
По топучим болотам зажглись светляки, а на небе звезда красная — одна — вечерняя звезда.
Поднялся Ховала из теплой риги, поднял тяжелые веки и, ныряя в тяжелых склоненных колосьях, засветил свои двенадцать каменных глаз и полыхал.
И полыхал Ховала, раскаляя душевное небо.
Казалось, там — пожар, там разломится небо на части и покончится белый свет.
Пустить бы голос через темный лес! — Не слышат, да и нет такого голоса.
И куда-то скрылся Индрик-зверь. Индрик-зверь — мать зверям — землю забыл. А когда-то любил свою землю: когда в засуху мерли от жажды, копал Индрик рогом коляную землю и выкопал ключи, достал воды, пустил воду по рекам, по озерам.

Или пришло время последнее: хочет *зверь* повернуться?
И куда-то улетела Страфиль-птица. Страфиль-птица — мать птицам — свет забыла. А когда-то любила свой свет: когда нашла грозная сила и мир содрогнулся, Страфиль-птица победила силу, схоронила свет свой под правое крыло.

Или пришло время последнее: хочет *птица* встрепнуться?
И куда-то нырнул Кит-рыба. Кит-рыба — мать рыбам — покинул землю. А когда-то любил свою землю: когда строили землю, лег Кит в ее основу и с тех пор держит все на своих плечах.

Или пришло время последнее: хочет *рыба* сворохнуться?

Грозят страшные очи, ныряет Ховала. С пути его не воротишь...
И омлела на небе звезда вечерняя.
1907



Охватила заря край земли — вечереется день — вечерняя тихо заря поблекает.

Смородина-речка дремлет. Голубые, огретые солнцем, отлились ее вешние воды.

Прошли к берегу по воду девки: зноятся лиц, поизмята шитая рубаха, примучились плечи.

Не за горами горячей поре. Уж довольно морозу пугать с перезимья! — полегли все морозы, заснули в стрекучей крапиве.

Пойдут хороводы. Заиграют песни.

Полетят за густым белым облаком сквозь зарю, с вечерней зари до белого дня, купальские песни.

По край болота жили лягушки — квакчут.

И тихо рассыпались звезды, ну — свечи, повитые золотом нелитым, нетянутым.

Идет по луговьям, по ниве Мара-Марена, кукует тихо и грустно, кукует, изнемает тоскою дорогу.

Шумят на шатучей осине листья без ветра.

Клокочет кипуч-ключ горячий.

Идет Мара-Марена, не топчет травы, не ломает цветов. С половины пути она оглянулась, — загляделись печальные очи, — далеко звездой просветила.

Зеленеют луговья, наливается колосом нива.
Боровая ягода зреет.
Бряк под окошком!
Там кто-то клянёт и клянётся. Зачем так клянутся Землею и Солнцем!
Положи ни во что эту знойную клятву. Не будет от клятвы корысти.
Взглянет Мара-Марена, просветит — скрасит весь свет и погубит.
Все пойдет по ее.
Все погибнет.
Мара-Марена — в одной руке серп, в другой зеленый венок. Она
сердце иссушит, подкосит вековое, разорвет неразрывное, вздует ветры,
засыплет сыпучим снегом теплое солнце, размахает крепкие дубы.
И затмится на радости день.
И не уведает милый о милой, забудут: я ли тебя, ты ли меня...

Идет Мара-Марена, замутила Смородину-речку, открывает кувшинки
и дальше идет, восходит на горы — горы толкутся — и дальше долиной, по
большому полю.
И взмывала вослед ей непогожая туча с большим дождем непроносная.
Камнем шибается к звездам птица Могуль^[327], и счастье — перекипя
смолою, падает счастливому.
Стой! Не приунять, не укротить бесповинного сердца, бьет через край.
Там волк, зачуяв смерть свою, завыл.
И смыкается небо с землею.
1907



Заморилась *ильинская* муха, заросла путь-дорога. Озимое поле вспахали, счастливо засеяли.

Не оттянуться осенней поре. Падает желтый осенний лист.

Вихорь, прогнав полевые ветры, стал на полете.

И мглистое утро окуталось тихим дождем.

Мглисто и тихо. Боже, как тихо!

Или уж с моря вышли белоснежные ветровы сестры — Буря, Вьюга, Метель, и идут к нам сестры быстрой рекою, через озера, через гремучий ключ, по белому камню, по черным корням, по мхам и болотам, несут стужу с ненастьем и по пути поднимают погоду и раздувают желтые листья.

— А где, Алалей, живут сестры?

— На море, где-то там, у Студеного моря. А давай у оленя спросим!

Олень — вихорь-Олень стоял у сосны: увядала сосна, разломанная молнией в щепы.

— Оленюшка, — попросила Лейла, — расскажи нам о ветровых сестрах, о Буре, Вьюге, Метели!

Знал Олень про сестер, и рассказал по-оленьи о сестрином море, и как зовут остров, и о царе Маруне.

Далеко на море — не на Студеном, на Варяжском — есть острова

Оланда — скалистый остров Бурь-Бурун. Четыре рыбы держат остров: две одноглазые Флюндры и две крылатые Симпы. Царь Бурь-Буруна, властитель Оланда — Марун. Трон его крепкий из алого мха, царский венец из лунного ягеля, меч и щит из гранита. Сидит царь Марун на острой скале высоко над морем, слушает волны. А вокруг него — змеи, над ним альбатросы, и по морю мимо проплывают печальные белые бриги и шхуны. А он неподвижно на своем алом троне, лунный, как мох-ягель, пасть раскрыта — он слушает волны. Никто не взойдет на скалы, никто не ступит на берег, никто не обойдет весь остров, и только бесстрашный, вызывающий смерть, викинг Стаяло^[329], закованный в сталь, бросает бесстрашно якорь. А царь Бурь-Буруна, властитель Оланда — Марун не видит ни печального белого брига, ни альбатросов, ни змей, ни викинга Сталло, слепой, он слушает волны. Далеко на море — не на Студеном, на Варяжском — есть острова Оланда — скалистый остров Бурь-Бурун. Там и проводят летние дни белоснежные ветровы сестры Буря, Вьюга, Метель.

— Сестры уж вышли, плывут, веют ненастьем, — провещал вихорь-Олень.

— Я непременно хочу увидеть Маруна!

— Увидим, увидим, Лейла.

— И альбатроса, и бесстрашного викинга Сталло!

— Увидим, увидим, Лейла.

Куталось мглистое утро тихим дождем. Падали желтые листья.

Мглисто и тихо. Боже, как тихо!

1910

Рожаница^[330]



Укатилось солнце за горы. Зажглись на облаках звезды — ясные и тусклые по числу людей, рожденных от века.

А от Косарей^[331] по Становищу^[332] души усопших — из звезд светлее светлых, охраняя пути солнца, повели Денницу к восходу.

И сама Обида-Недоля, не смыкая слезящихся глаз, усталая, день исходив от дома к дому, грохнулась на землю и под терновым кустом спит.

Родимая звезда, блеснув, украсила ночное небо.

«Мать пресвятая, позволь положить тебе требу, вот хлебы и сыры и мед, — не за себя, мы просим за нашу Русскую землю.

Мать пресвятая, принеси в колыбель ребятам хорошие сны, — они с колыбели хиреют, кожа да кости, галчата, и кому они нужны, уродцы? А ты постели им дорогу золотыми камнями, сделай так, чтобы век была с ними да не с кудластой рваной Обидой, а с красавицей Долей, измени наш жалкий удел в счастливый, нареки наново участь бесталанной Руси.

Посмотри, вон растерзанный лежень лежит, — это наша бездольная, наша убогая Русь, ее повзыскала Судина, добралась до голов: там, отчаявшись, на разбой идут, там много граблено, там хочешь жить, как тебе любо, а сам лезешь в петлю.

Или благословение твое нас миновало, или родились мы в бедную ночь и век останемся бедняками, так ли нам на роду написано: быть несуразными, дурнями — у моря быть и воды не найти?

Огонь охватил нашу жатву, пылают нивы, на море бурей разбило корабль, разорены до последней нитки.

Смилуйся, мать, посмотри, вон твой сын с куском хлеба, и палкой бросил дом и идет по катучим камням — куда глаза глядят, а злыдни^[333] — спутники горя, обвиваясь вокруг шеи, шепчут на уши: «Мы от тебя не отстанем!»

Вещая, лебедь, плещущая крыльями у синего моря, мать земли — мать земля! Ты читаешь волховную книгу, попроси творца мира, сидящего на облаках Солнце-Всеведа, он мечет семена на землю, и земля зачинает, и мир весь родится, — попроси за нас, за нашу Русскую землю, чтобы Русь не погибла!

Нет нам места и не знаем, куда деваться от Кручины и Лиха!

И если б нашелся из нас хоть один, кто бы ударил ее топором, или спустил в яму и закрыл камнем, или бросил в реку, или, защебив в дерево, забил в дупло, или запрятал бы ее под мельничный жернов, худую, жалкую черную долю — нашу злую судьбу!

Мы отупели — и горды, мы не разрешили загадок — и покойны, все письмена для нас темны — и мы возносим свою слепоту... мать, повели

им, всем праздным, всем забывшим тебя, забывшим родину, твою землю и долг перед нею, и пусть они потом и кровью удобряют худородную, истощенную, заброшенную ниву...

И неужели Русской земле ты судила Недолю, — и, всегда растрепанная, несуразная, с диким хохотом, самодовольная, униженная и нищая, будет она пресмыкаться, не скажет путного слова?

Мудрая, вещая, знающая судьбы, равно распределяющая свои уделы, подай нам счастье! Не страшна нам смерть — мы клянемся тебе до последних минут жизни отдать все наши силы и умереть, как ты захочешь, — нам страшно твое проклятие.

И посмотри, вон там молодая, прекрасная Лада, Счастливая Доля, в свете зари словно говорящая солнцу: «Не выходи, солнце, я уже вышла!» — и она нам бросает свою золотую нить.

Мать пресвятая, возьми эти хлебы и сыры и мед с наших полей и свяжи нашу нить с нитью Доли, скуй ее с нашей, свари ее с нашей нераздельно с одной брачной доле навек!»

1907

Боли-бошка



Тихо идут по последней тропинке...

Затор^[334] за неожиданным затором встает в заповедном лесу.

В темную ночь им зорит^[335] зарница. А далеко за осеком^[336] зреют хлеба.

Держатся крепко — рука с рукою. Кто-то немножко боится.

Страшно, глухо, заказано место, зарочна тропинка.

Трудно, пройдя через степь, через поле, через реку и речку, через болото, трудно выйти из темного леса.

Ватажится лешая свора: не хочет пускать — так не отпустит!
А ягод, грибов — обору нет. Полон кузов несут.
Лесовик их не тронет. Лесовик приятель Водяному и Полевому.
Водяной с Полевым им, как свои, — Лесовик их пропустит.
— Лесовик, Лесовик, на тебе ягод: ты — с леса, мы — в лес!
А завтра, когда забрезжит и, алея, дикая роза — друг-поводырь — пойдет, осыпаясь, прощаться, ранним-рано расколыхнется заветное Море — Море-Океан!
Тихо идут по последней тропинке...
Валежник и листья хрустят.
Тише! Вот и сам Боли-бошка! — Почуял, подходит: набедит, рожон!
Весь измоделый^[337], карла, квельй, как палый лист, птичья губа — Боли-бошка, — востренький носик, сам рукастый, а глаза будто печальные, хитрые-хитрые.
Была не была, — чур, не поддаваться! Заведет этот Лешка в зыбель-болото^[338], где сам черт ощупью ходит. И позабыть им про Море.
— Не видали ли, где я сумку потерял? — кличет Боли-бошка.
— Нет, не видали.
— Поищите! — просится Лешка, а сам дожидает.
— Что ты! — шепчет Алалей встрепенувшейся Лейле, — не знаешь его? Не нагибай так головку: у этого Лешки отродясь никакой и не было сумки. Это нарочно. Вот ты нагнешься, искавши, а он тут как тут, да на шею к тебе, да петлей и стянет. И позабыть нам про Море.
Тесна, узка тропинка. Путает папоротник. Вспыхивает свети-цвет^[339] — волшебный купальский цветок.
— Хочешь, Боли-бошка, ватрушку? — зовет желанная Лейла.
— Поищите, милые! — тянет свое Боли-бошка: то пропадает, то станет, ничем его не прогнать, ничем не расшухать.

Тихо идут по последней тропинке...
Затор за неожиданным затором встает в заповедном лесу.
В темную ночь им зорит зарница. А далеко за осеком зреют хлеба.
Держатся крепко — рука с рукою. Кто-то немножко боится.
— А Море, — бьется сердце у Лейлы, — а Океан не замерзает?..
— Нет, моя Лейла, оно никогда не замерзает, не про-волнует волна: море и лето и зиму шумит. Непокорное — песком его не засыплешь, не перегородишь. Необъятное — глубину не изведает и слезой не наполнишь. Море бездонно, бескрайно — обкинуло землю. А разыграется

Дикое — топит. А какие на Море водятся рыбы! Какие по морю летают белогрудые птицы! И берегов не видать. А корабли один за другим уплывают неизвестно куда...

— И мы поплывем?

— И мы поплывем. Морского царя увидим, злоглатого Змея увидим...

— А ежик, про которого дедушка сказывал, он нас не съест? — и глаза-ненагляды, синеют, что море.

Скоро-скоро забрезжит. И пойдет, осыпаясь, прощаться роза — друг-поводырь.

Легкий ветер уж веет. Там Моряна^[340] волны колышет.

И, ровно колокол бьет, Море — непокорное, необъятное Море-Океан.

^[341]

1908



ИЗ КНИГ

ИЗ КНИГИ «ДОКУКА И БАЛАГУРЬЕ»[\[342\]](#)



Русские женщины

Суженая

Три года играл молодец с девицей, три осени. Много было поговорено тайных слов. Вот как Марья любила Ивана!

Кто у нас теперь так любит!

Пришло время венцы надевать. И выдали Марью за другого, за Ивана не дали.

Живо старики справили дело. Попался зять советный, богатый, им и ладно. А ей не мед житье, почернела Марья, чернее осенней ночи, и лишь глаза горят, как свечи, насадилась — холодом заморозилось сердце, не весела, не радостна пела она вечерами заунывные песни, тяжело было до смерти. Да стерпела и покорилась.

Три года прожила Марья с немилым, три осени. Стала у ней глотка болеть. И недолго она провалялась, померла на Кузьму-Демьяна. И похоронили Марью.

Эй, зима — морозы пришли, белым снегом покрыли могилу. И лежала Марья под белым снегом, не горели больше глаза, плотно были закрыты веки.

Вот ночью встала Марья из могилы, пошла к своему мужу.
Заградился Федор крестом, муж ее немилый.
— Да будь она проклятая баба! — и не пустил жену в дом.
Пошла Марья к отцу, к матери пошла.
— На кого ты рот разинула? — сказал отец.
— Куда ты, бес, бегаешь? — сказала мать.
Испугался отец, испугалась мать, не пустили дочь в избу.
Пошла Марья к крестной матери.
— Ступай, грешная душа, куда знаешь, здесь тебе места нету! —
выпроводила крестная крестницу.
И осталась Марья одна — чужая на вольном свете, лишь небом
покрытая.
«Пойду-ка я к моему старопрежнему, — опомнилась Марья, — он
меня примет!»
И пришла она под окно к Ивану. Сидит Иван у окна, образ пишет —
Богородицу. Постучала она в окно. Разбудил Иван работника — ночное
время — вышли во двор с топорами.
Работник, как увидал Марью, испугался, думал, съест его — да без
оглядки бежать.
А она к Ивану:
— Возьми меня, я тебя не трону.
Обрадовался Иван, подошел к ней, ее обнял.
— Постой, — она говорит, — ты не прижимай меня крепко, мои
косточки належались!
И сама глядит — не наглядится, любитесь — не налюбуется. Вот как
Марья любила Ивана!
Кто у нас теперь так любит!
Иван взял Марью в дом, никому ее не показывал, наряжал, кормил и
поил. И жили так до Рождества вместе.
На Рождество пошли они в церковь. В церкви все смотрят на Марью,
отец и мать и муж Федор и крестная.
— Это будто моя дочка! — говорит мать.
— Да-таки наша! — говорит отец.
Переговаривались между собою отец и мать и муж и крестная.
А как обедня кончилась, подошла Марья к матери:
— Я ваша и есть, — сказала Марья, — помните, ночью к вам
приходила, вы меня не пустили, и пошла я к старопрежнему моему, он меня
и взял.
И признали все Марью и присудили ей: за старого мужа, за Федора не

дали назад, а дали ее Ивану.

Эй, весна, — снега растаяли, пошли зеленые всходы, и на Красную горку повенчали Ивана да Марью.

Тут моя сказка, тут моя повесть.

1910

Желанная



Не хотела бабка, чтобы внук женился: жалко старухе расставаться с любимым внуком. А он себе, знай, стоит на своем. И вот как вести к венцу, стала карга на венчальном пороге и прокляла внука.

— Чтоб тебя, — говорит, — черт взял, триста чертей, тридцать и три, проклятое!

И когда шли от венца молодые, черт внука и схапал, только и видели.

Осталась молодуха одна без молодого, плачет. Тошно ей одной, тошно на свете жить: постыл ей белый свет без милого.

«Либо петлю на шею, либо мужа верни!» — одно у ней на уме, и посылает она свекра мужа искать.

Жалко старику сына. Говорит старик своей хозяйке:

— Спеки мне лепешек на дорогу, пойду за сыном.

Испекла хозяйка лепешек, снарядила своего старика в дорогу, пошел старик в лес. И в лесу там шел, шел, набрел на избушку — в лесу там, вошел в избушку, положил лепешки на стол, сам за печку.

И слышит старик: идет... в скрипку выскрипывает, в балалайку выигрывает, идет... приходит в избушку, садится на лавку...

Жаль, — говорит, — мне-ка батюшки, жаль мне-ка матушки, — а сам все в скрипку выскрипывает, в балалайку выигрывает, — жаль мне молодой

жены...

Хоть бы не жил я, расстался,
Хоть бы жил да потерялся!

Отец обрадовался, узнал сына, выходит из-за печки.

— Ой, — говорит, — сын ты мой любезный, пойдем домой со мною.

— Нет, отец, нельзя никак! — сын пошел из избы.

Отец вслед:

— Я от тебя не отстану, куда ты, туда и я.

И приходят они к яме, там, в лесу. Сын с отцом прощается. Поклонился сын отцу до земли да бух в яму. Постоял старик, постоял, не смеет лезть за сыном в яму и пошел, слезно заплакал, домой пошел.

У околицы встречает старика молодуха, горит вся:

— Ну что, видел?

— Видеть-то видел, — говорит старик, — да взять его никак невозможно, — и рассказал все, как было.

Как полотно, побелела молодуха.

— Я, — говорит, — завтра... я сама пойду. Куда он, туда и я. Я от него не отстану.

— Нет, невестка, отстанешь.

А она:

— Нет, не отстану.

А старуха бабка, слушавши, скалит свой зуб черный — смеется, ведьма: мол, отстанешь!

Напекла молодуха лепешек, дождалась, как светать станет, и чуть поднялось солнце, пошла в лес и вышла на дорогу, как наказал старик, и там набрела на ту избушку, — там в лесу. Вошла в избушку, положила лепешки на стол, а сама за печку.

И слышит молодуха: идет... в скрипку выскрипливает, в балалайку выигрывает, идет... приходит в избушку, садится на лавку...

— Жаль, — говорит, — мне-ка батюшки, жаль мне-ка матушки, — а сам в скрипку выскрипливает, в балалайку выигрывает, — жаль мне молодой жены...

Хоть бы не жил я, расстался,
Хоть бы жил да потерялся!

Тут и вышла она из-за печки, кинулась к мужу.
— Ну, — говорит, — муж мой возлюбленный, куда ты, туда и я. Я от тебя не отстану.

— Отстанешь, — говорит он ей, — бедная ты!

А она:

— Нет, не отстану.

И вышли они вместе из избы в лес и приходят к той самой яме, и стал он слезно прощаться:

— Прощай, — говорит, Любава моя, тебе меня не видеть больше.

А она:

— Куда ты, туда и я.

— Нет уж, ты за мной не ходи, сделай милость.

— Нет, я пойду, ни за что не отстану.

Он бух в яму и скрылся. А она постояла, постояла, да за ним вслед, туда же — в яму.

— Все равно, — говорит, — где он, там и я: одна жизнь!

И как упала она вслед за ним в яму, смотрит: дорога там, дом, и он уж подходит к дому.

Догнала она его, ухватилась:

— Я с тобой!

— Ой, — говорит он, — погибли мы теперь оба; ты и я: свадьбу ведь играют, дочку за меня выдают.

И они вместе вошли в дом. А там сидит старик, страсть и глядеть такой страшный старик, а с ним все триста и тридцать и три — черти, свадьбу играют.

— Это кого ж ты привел? — сказал старик, главный.

— Это жена моя, Любава.

Она старику в ноги. Старик ее бить: и ломал, и лягал, и щипал, и всяк ее ломал, да как наступит ножищей, — закричала она по-худому, на глотку стал.

— Несите ее, — старик задохнулся от злости, — его да ее, стащите обоих из дому вон, откуда их взяли, чтобы и духу не пахло!

Ну и потащили. И притащили их ночью к дому, хряснули о крыльцо, инда хоромы затрещали.

Так вернула Любава себе мужа, Петра, желанная, милого.

И стали они жить и быть и добра наживать, от лиха избывать.

1909



У одного купца росла дочь Домна. Строго ее держал отец: ни на улицу выйти, ни на гулянье куда, за порог без себя не пустит. В верхах сидела Домна. И кушанье ей туда подавали, готовое все. Так в верхах и сидела Домна, только что из окна и глядит на свет Божий.

Богатый купец был, отец Домны: свой кабак, сорок целовальников при кабаке держал. У купцова дома всегда народ. А в праздник соберутся парни, игру затеют, веселятся.

Как-то играли парни, кто в рюхи, кто мячиком.

Мячик в окно в верхи и заскочи к Домне. Домна окно закрыла. И как ни просили ее, не отдает мячика.

Ну, а тут какой-то и выскочил — рукавицы с когтями, сапоги с когтями, да по стене к ней к окну в верхи и забрался. Домна окошко отворила и отдала ему мячик.

И с той поры стал смельчак гостить к купцовой дочке.

Сидит раз дружок у Домны в верхах, а отец и идет. Что ей делать? Куда схоронить дружка? Взяла она да в постель его к подушкам и завернула.

Пришел старик, сел на кровать: то да се, дочку расспрашивает.

Строгий был старик, строго держал дочь, а без Домны дела не начнет, все только с ней и совету. Любил старик дочь: одна она у него была.

За разговорами старик и задремал, протянулся поудобнее, да и заснул на кровати. А тот, дружок-то, лежал-лежал под стариком и кончился: без воздуху трудно, задохнулся.

Что ей делать? Отцу-то не смеет сказать: не спустит старик — строгий был, строго держал дочь. Домна к дворнику:

— Выручи, — говорит, — Максим, убери. Убьет батюшка.

— А дворник, — был такой дворник у купца шантряп из городу, в городе бурлачил, а вернулся в деревню, в дворники к купцу поступил, — ему это плевое дело, он этого парня во двор спустил и убрал куда-то.

И стал шантряп с поры на пору к купцовой дочке похаживать, как дружок покойный.

3

Осень пришла, ночи темные.

Собрались купцовы целовальники, все сорок целовальников в кабак при празднике, и с ними дворник: без него дело не обходится. Выпили приятели, затавокали: кто про что, известно, хвастают, вино-то куда хвастливо!

Дворник и говорит:

— Вы, — говорит, — что! Я вот, я, — говорит, — к купцовой дочке хожу!

— Что ты врешь, — галдят, — быть не может! — крикают.

— И очень просто, хожу! — ломается шантряп.

— А если ходишь, так приведи.

— Что ж, и приведу! — пуще ломается шантряп, да из кабака к купцу в дом в верхи.

Поздний был час, спать улеглись по домам.

Разбудил дворник Домну. А ей, хоть плачь, идти надо.

И привел шантряп купцову дочку в кабак, вывел на середку к целовальникам, сам куражится.

— Угощай, — говорит, — гостей, кланяйся!

Взяла Домна поднос, две рюмки на поднос, бутылку вина, пошла

обходить гостей, потчевать.

Пьют гости, подмигивают: рожи красные, пьяные. Раз что Домна за шатряпа пошла, им ли не взять ее! — всяк о себе свое одно думает, глазом примеривает. Пьют гости, подмигивают.

А она глаз не подымет, ходит с подносом, кланяется.

И напились целовальники, свалились с лавки под стол, и дворник захрапел под столом. Все заснули, все сорок целовальников.

Одна Домна, одна в кабаке с подносом стоит.

«До утра дожждаться, все узнают, донесут батюшке!» — думает себе Домна, а сердце так и ходит, так и рвется.

И взяла Домна отворила бочку с вином, пропустила вино да и зажгла все вино, а сама домой, в верхи, в свою комнату.

Поутру встает старик, а к нему посланный:

— Кабак сгорел, сорок целовальников сгорело в кабаке и дворник твой сгорел.

Старик к Домне: в горе ли, в радости — все к ней, с ней одной совет. Строгий был старик, строго держал дочь, а любил ее: одна она у него была.

— Что, — говорит, — дитяtko, спишь, беда у нас.

А на ней лица нет.

— Так мне, батюшка, тяжело мне было, так... не спала я, спать не могла...

— Кабак сгорел, сорок целовальников сгорело в кабаке... — говорил отец, сам смотрит на дочь, и вдруг понял старик, — все, все сгорели и дворник твой!

1911

Робкая



Жила-была одна девица, умер у ней отец, умерла и мать. Осталась одна Федосья, да без отца, без матери и спозналась с работником отцовским.

Хороший был работник-бурлак, крепко полюбил Федосью, и Федосья к нему привязалась, и жить бы им да жить, да люди-то говорить стали — нехорошо.

Федосья и оробела.

Пошла Федосья к дяде, просить дядю и тетку:

— Возьмите, — говорит, — меня, примите к себе.

А дядя и тетка говорят:

— Покинь свою дружбу, так мы тебя возьмем.

На все готова Федосья: оробела девка.

— Покину, — говорит, — покину, возьмите только.

И приняли старики племянницу, и стала Федосья жить в дядином доме: как дочь стала жить, а дружбы своей не покинула.

Пойдет на вечеринку, там украдкой и свидится с ним, где-нибудь в сторонке, украдкой, поговорит с ним, — поговорят, потужат.

И опять в люди вышло: узнал дядя, узнала и тетка, стали старики поругивать Федосью.

А тут этот работник-бурлак вдруг и помер.

— Слава Богу, — успокоился дядя, успокоилась тетка, — больше с ним знаться не будешь!

И стали старики подумывать, как бы племянницу замуж выдать, стали старики присматривать ей человека.

А Федосья прежде-то, как жив он был, работник-то, все таилась, робкая, скрывала от людей, а уж тут, — куда робь! — ничего не таит, никого не боится, и все по нем тоскует, все в уме его держит.

Пойдет на вечеринку, ни петь не поет, ни в игры не играет, а как сядет, одна сидит молча, и уж сама себе на могилу идти ладит, — к нему на могилу. А вернется с кладбища, спать ляжет, а в уме все одно, — о нем тоскует.

И стал он приходить к ней ночью.

Никто его не видит, ни дядя, ни тетка, одна она видит.

— Я умер, — сказал он ей, — да не взыбось, иди за меня замуж.

И с той поры повеселела Федосья, веселая, не узнаешь ее, подвенечное платье себе шить принялась.

И на вечеринках не узнать ее.

Тоже и на вечеринки стал он приходить к ней.

Люди его не видят, одна она его видит.

— Я за него замуж пойду! — говорит Федосья подругам, смеется.

— Что ты, — говорят, — его ведь в живых нету.

— Нету, как же! Он ожил! — смеется Федосья.

Сшила себе Федосья подвенечное платье, в подвенечном платье невестой пришла на вечеринку. И он к ней пришел на вечеринку.

Никто его не видит, одна она его видит.

И они сговорились: она с вечеринки пойдет к нему в избу, где у отца он жил, а из избы вместе пойдут в церковь венчаться.

— Я нынче замуж пойду! — сказала подругам Федосья, смеется, и простилась, ушла домой.

Не слышал ни дядя, ни тетка, как вернулась племянница в дом, крепко старики спали. А поутру хватились, племянницы-то и нет. Где, где? — не знают.

Не знают, где и взять, и платья ее подвенечного нет.

А девки говорят:

— Сказывала, замуж пойдет.

Старики на кладбище, к могиле.

«Сказывала, замуж пойдет!»

А она на могиле, мертвая на его могиле лежит, и платье ее подвенечное на кресте развешено.

Так за покойным дружкой и ушла, не сробела.

1911

Поперечная



Был один холостой парень и задумал жениться. А сватали на селе девицу, он на ней и женился. И тиха и смирна, глаз на мужа не подымет,

будто ее и в доме нет, вот какая попалась жена Сергею.

Пришло время обедать, зовет Сергей к столу Настасью, а Настасья и голосу не подаст.

«Ишь, — подумал, — стыдливая какая!» — и сам уж вывел ее, усадил за стол.

На обед была каша. Ест Сергей, да похваливает, а Настасья и ложки в руки не возьмет, сидит, как села.

«Ишь, — подумал Сергей, — молода-то как!» — сам ей и ложку в руку дал, потчует.

Ложку взять Настасья взяла, и опять на стол положила, отвязала от креста ухвертку, да ухверткой и ну хлебать кашу по крупинке.

То же самое случилось и на другой день, не ест по-людски Настасья да и только.

«И чем это она наедается, — думал себе Сергей, — без пищи человеку невозможно; ведь, так и с голоду помереть может!» — и еще больше принялся жену уговаривать бросить ухвертку и есть сытно.

А Настасья ровно и не слышит, знай свое, ухверткой своей управляется.

«Верно, ночью тайком наедается, когда люди спят, эка, еще неразумная!» — и положил Сергей караулить жену ночью: быть того не может, чтобы человек не ел ничего!

Лег Сергей спать, легла и Настасья. Притворился Сергей, будто спит, захрапел, а сам все примечает.

В самую полночь поднялась Настасья, слезла тихонько с кровати да из комнаты к двери. Выждал Сергей, пока за дверь выйдет, да за ней следом. А Настасья уж во двор, да за ворота, да на улицу. Сергей за ней следом.

Шла Настасья, шла, повернула на кладбище и там прямо к свежей могиле.

Сергей за крест, схоронился, ждет, что-то будет. И видит, еще идет так мужик бородатый, прошмыгнул среди крестов и тоже к могиле.

И уж вдвоем с Настасьей принялись они за могилу.

Разрыли они могилу, гроб вытащили, вынули из гроба покойника, раздели и ну его есть. И всего-то дочиста, до косточек объели, и, когда и самой малой жилки не осталось, гроб, саван и кости снова зарыли в могилу и разошлись: Настасья в одну сторону, бородатый в другую.

Тут Сергей из-за креста вышел да скорее домой. Задами обогнал жену, да в дом, да на кровать, и опять притворился, будто спит, захрапел. Вернулась и Настасья, легла тихонько и сладко и крепко заснула.

А Сергей — какой уж сон! — Сергей едва утра дождался.

Пришло время обедать, зовет Сергей к столу Настасью. Сели за стол. На обед была каша. Настасья опять за свою ухвертку, отвязала от креста ухвертку и ну хлебать по крупинке.

Сергей ей ложку. Взяла она ложку, повертела, повертела, положила на стол и ухвертку свою спрятала, так и сидит. Сергей и не выдержал:

— Что ж ты, — говорит, — не ешь? Или мертвец тебе слаще?

А уж Настасья зверь зверем, — и! куда все девалось! — схватила Настасья со стола чашку да в лицо ему как плеснет.

— Ну, — говорит, — коли узнал мою тайность, так будь же псом!

Тявкнул Сергей по-песьи и стал псом-дворнягой.

Настасья за палку, да его палкой за дверь, и прогнала из дому вон.

2

Выскочил Сергей псом-дворнягой и побежал. Бежит куда глаза глядят, полает, полает и опять бежать. К вечеру прибежал он в город, в мясную лавку и вскочил: проголодался больно.

Попался мясник добрый, накормил пса, а пес и не уходит, визжит, остаться просится. Сжалился мясник, оставил.

Переночевал пес ночь и за ночь ничего в лавке не сделал.

«Экий пес-то умница!» — подумал мясник и решил не гнать пса, при лавке держать, лавку караулить.

Приходит на утро в мясную булочник за говядиной, выбирает себе чего поприманней, а пес так и ластится. Приласкал его булочник, бросил хлеба кусок, подхватил пес хлеб, съел да от мясника за булочником и утек в пекарню.

И стал пес у булочника жить, лавку стеречь.

Приходит раз в пекарню за хлебом старуха. Накупила старуха всяких булок, отдает деньги. Стал булочник считать, и попался один какой-то гривенник негодящий, фальшивый, булочник и не берет. Старуха в спор: деньги правильные.

И видит булочник, не переспорить ему старуху, и говорит:

— Да у меня, — говорит, — пес и тот узнает, что твой гривенник негодящий! — И сейчас же пса покликнул, разложил деньги на стол кучкой, показывает псу, выбирай, мол, негодящую.

Посмотрел пес на деньги, понюхал, да и выпихнул лапкой этот самый гривенник.

«Ну и пес, — подумала старуха, — ой, что-то тут неладно!»

— Коли пес, так и оставайся тут, — шепнула старуха, — а коли человек, за мной поди! — диковинным показалось старухе, что пес, а узнает деньги.

И убежал пес за старухой из пекарни.

Пришла старуха домой, да к своей дочке:

— Привела, — говорит, — я пса, да уж и не знаю, верно ли, нет, что пес: узнает деньги!

Посмотрела старухина дочка, посмотрела на пса, взяла воды наговорной, псу в глаза и плеснула.

— Коли, — говорит, — ты пес, так и оставайся псом, а коли человек, обернись человеком!

Тявкнул пес, и стал опять Сергей Сергеем.

Рассказал Сергей о жене, о Настасье, и как ночью на кладбище Настасья покойника ела и с ней бородатый, и как псом его обернула.

— Знаю Настасью, — сказала старухина дочка, — она у тебя колдунья, вместе мы с ней колдовству учились у одной старухи. Поперечная была Настасья, все наперекор, все по-своему, все напротив, не слушалась старуху, ей старуха и положила наказанье: ходить ей ночами на кладбище питаться мертвечиной. А хочешь жену поучить, дам я тебе наговорный состав, вернешься домой, плесни ей в лицо, увидишь, что будет.

Поблагодарил Сергей старухину дочку, забрал наговорную воду-состав и пошел себе домой человек человеком.

3

Шел Сергей по дороге, — тут по дороге когда-то бежал он псом, лаял, — долго шел Сергей по дороге, а пришел домой, нет дома Настасьи. Сел Сергей на крыльцо, стал поджидать. И когда Настасья вернулась, он ей, ни мало не медля, наговорным составом в лицо и плеснул.

Заржала Настасья и обернулась в кобылу.

Тут Сергей запряг кобылу в сани да в лес, да в лесу целый воз дров навалил, да и обратно, домой ехать, и всю-то дорогу, до самого дому стегом стегал кобылу. И не раз, с неделю так ездил Сергей в лес за дровами, и все стегал, всю исстегал кобылу.

А она — что со скотины возьмешь! — она только смотрит, сказать ничего не может, — скотина не скажет, только плачет.

И жалко стало Сергею, бросил он бить кобылу, пошел в город к той самой старухе просить у старухиной дочки наговорного состава обернуть

кобылу в человека. Старухина дочка дала наговорной воды, и вернулся Сергей домой не с пустыми руками.

А она — известно, скотина! — она только смотрит, сказать ничего не может, — скотина не скажет, только плачет.

И облил Сергей кобылу наговорным составом, и стала опять Настасья Настасьей. И уж с той поры забыла всякую мертвечину, кроткая, все ела, как люди.

И стали они жить по-хорошему, хорошо и согласно.

1912

Подружки



Жили-были две подружки, одна другой подстать, Анюшка и Варушка. Анюшка у матери жила, Варушка одна через три версты от Анюшки: родители у Варушки померли.

Дня друг без друга прожить не могли подружки: один день Варушка у Анюшки сидит, угощаются, на другой день Анюшка к Варушке пойдет, подружку почествовать. Так и гостились.

— Без тебя мне, Анюшка, свет не мил.

— От тебя, Варушка, никуда не пойду.

Станут подруги прощаться, стоят-стоят, насилиу разойдутся. А назавтра опять сошлись: либо Анюшка к Варушке, либо Варушка к Анюшке. Так и жили.

— Без тебя, Анюшка, я жизни решусь.

— От тебя, Варушка, никуда не пойду.

Стали сватать Анюшку. Уперлась — в жизнь ни за кого не выйдет Анюшка, да мать настояла, старуха. И выдали замуж Анюшку за Андрея. Похорохорилась, пофыркала девка, а потом и свыклась: попался ей муж хороший, ладный.

2

Уехал Андрей в город. Осталась одна Анюшка. И задумала Анюшка подругу проведать: со свадьбы не видалась с Варушкой, соскучилась без подруги.

Вышла Анюшка из дому, идет по дороге, а встречу ей девка с пирогом-именинами.

— Куда пошла, Анюшка?

— В гости к Варушке.

— Не ходи ты к Варушке, не будет ладу.

— Ну, вот еще, не впервой гостимся.

И пошла Анюшка дальше, а встречу ей баба с полосканьем: на речке белье полоскала, домой несет.

— Куда ты, Анюшка?

— В гости к Варушке.

— А не ходить бы тебе к Варушке, будет худо.

— Что ты! Мне ли от нее худо!

И пошла Анюшка дальше. Едет мужик с сеном.

— Куда ты, Анюшка?

— В гости к Варушке.

— Не ходи ты к Варушке, Варушка людей ест.

— Еще чего скажешь!

И пошла Анюшка дальше, дошла до Варушки. И видит Анюшка, у крыльца отъеденная ножка лежит ребячья — глазам не верит Анюшка. Вошла на крыльцо, а тут рука лежит, — не хочет верить Анюшка. В сени зашла, а в сенях тулова да головы человечьи. Хочешь, не хочешь — поверишь.

— Иди, иди в избу! — отворила дверь, кричит ей Варушка, — не ходи,

не ходи! — машет руками.

И зовет и не зовет подругу.

Не в толку, не в уме вошла Анюшка в избу.

Сидит Варушка под окном, — когда-то тут сиживали вместе подруги.

— Садись и ты, Анюшка! — а сама так смотрит... неладно.

И, как прежде, сидели под окном подруги. Сколько вечеров тут прошло под окошком, ягоды ели, попевали песни! Теперь молча сидели.

— Я, Варушка, домой пойду, — спохватилась Анюшка, — не по-старому ты, не по-прежнему что-то.

— Не ходи, Анюшка! — оставляет Варушка, а сама так смотрит... неладно.

И опять сидели подруги, как прежде. Сколько вечеров тут прошло под окошком, ягоды ели, попевали песни! Теперь молча сидели.

Поднялась Анюшка, хочет домой. Не хочет Варушка отпустить без ужина подругу.

— Поужинаешь, тогда и пойдешь! — собрала на стол Варушка, принесла рыбник, — рыбник из перстов состряпан человеческих, угощает пирогом подругу.

Анюшка рыбник не съела, за пазуху запихала.

И не заметила Варушка.

— Что, съела рыбник?

— А там, у сердца, — показала Анюшка, будто все съела, и домой хочет, — прощай, Варушка.

А Варушка молчит, так смотрит...

— Отпусти меня, Варушка! — просит Анюшка: чует, не ладно.

Молчит Варушка, так смотрит... неладно, а потом за руку как схватит Анюшку, за локоть и выше под мышку.

— Нет уж, пришла, так и будем вместе! — и начала ее есть, да всю, всю-то Анюшку и съела.

Ночью из города вернулся Андрей, хватился — нет жены. Послал к матери, нет ее и у матери.

— К Варушке ушла, — говорят Андрею, — видели!

Всю ночь прождал Андрей, — не вернулась домой Анюшка. И чуть свет вышел Андрей и прямо к Варушке. Глядь, у крыльца отъеденная ножка лежит ребячья, на крыльце рука, в сени вошел, а там тулова да головы

человечьи. Андрей назад домой, созвал старшин, объявил:

Народу сошлось все село, всем селом пошли к Варушке, кто с чем.

Окружил народ избу, приколотили железные рамы к окнам, забили дверь. А Варушка по горнице скачет, ой, как скачет! Поскакала там, поскакала, и затихла. Посмотрели в окно, лежит, затихла. Тут натащили хворосту, принесли огня, подпалили хворост, — занялся огонь, да и сожгли избу.

1911

Красная сосенка



Жил-был богатый мужик, и было у мужика три дочери: умные две, а третья дурочка. Собрался отец в город на ярмарку, старшие и говорят:

— Купи, — говорят, — тятя, нам по калошам.

— А мне купи сосенку! — дурочка просит.

Поехал отец в город, побывал на ярмарке и вернулся домой с покупками, привез, что велели: старшим умным — калоши, младшей дурочке — сосенку. Сам смеется:

— Куда ты, — говорит, — ее денешь, печку топить?

А дурочка взяла сосенку, снесла сосенку на огород, там и посадила. Днюет и ночует дурочка около своего деревца. Сосенка растет, дурочка

растет.

Износили умные сестры свои новые калоши, повесили осьметки на огороде воробьев да сорок пугать, а у дурочки сосенка выросла высокая, стройная, не простая: постучишься — дверка раскроется, в домик войдешь — сундуки стоят, в сундуках наряды — да такие, как у царицы самой. Только про это никто не знает, одна дурочка знает.

А жил неподалеку от деревни князь. Отец у него помер, и задумал князь жениться. Сколько стран, сколько государств он объехал, а нигде не мог найти себе по сердцу. И стал князь собирать народ со всех сел и со всех деревень: «Авось, — думает, — найдется, придет ко мне моя суженая!»

Выпросились у отца умные сестры, разрядились идти на пир к князю.

— И меня возьмите! — дурочка просится.

— Куда тебе, народ пугать! — не взяли ее сестры, одни ушли.

Пошла дурочка на огород к своей сосенке, постучалась в сосенку — раскрылась дверка и очутилась дурочка в домике. Убралась там, оделась — узнать нельзя, царевна настоящая. А как вышла из домика и затворилась дверка, откуда ни возмись тройка — заливаются, звенят колокольчики. Села дурочка и поехала на пир к князю.

Много красавиц собралось у князя на пиру, на вечере, и одна была всех краше — дурочка. Князь не отходил от нее, угощал ее, а вывести не мог, кто такая она. И никто не узнал дурочку, сестры не признали сестру, а сама о себе она никому не открыла.

Вот и придумал князь: как идти дурочке домой, велел он порог вишневым клеем вымазать, а сам пошел до сеней провожать. Ступила дурочка на порог, туфельку и оставила.

А на другой день пустились княжие слуги по деревням разузнавать, кто потерял туфельку у князя на вечере. Заехали и на дурочкин двор. Спросили умных сестер, дошла очередь спросить и дурочку — сидела дурочка на печке рваная, сажей испачканная.

— Твоя туфелька? — смеются ей княжие слуги, и сестры смеются, и отец.

— Моя, — говорит дурочка, а сама с печки да на огород.

Обрядилась дурочка у своей сосенки, убралась, как царевна, вернулась в дом. И все диву дались: уж такая красавица — сосенка красная!

Тут приехал сам князь, свадьбу сыграли, и стала дурочка княгиней, и стали они жить-поживать да добра наживать, князь молодой с княгиней.



Жила-была старушка Кондратьевна, смолоду была Кондратьевна приметлива да говорлива, а под старость, хоть глазом и ослабела, а еще зорче видела, и хоть один зуб торчит, а и сам говорун речистый не переговорит ее шамканья. И была у Кондратьевны кумушка, — с одной ложки ели и пили, подружка. Старые старухи на печи лежат, старые старухи охают, а подружки сойдутся вечерок посидеть, до петухов сидят, да и век бы сидеть, разговаривать.

Подружка кумушка и померла.

И осталась на свете жить одна Кондратьевна.

Богомольная была Кондратьевна, к службам очень любила ходить. Все приметит Кондратьевна, все высмотрит: и кто как стоит, и кто зевнет, и кто кашляет, и на ком что наряд какой, — ничего не упустит старуха. А порассказать-то уж и некому, нет больше кумушки, да и самой послушать нечего, не заговорит больше кумушка.

Без кумушки скучно Кондратьевне, ляжет старуха на печку, время спать — не спится, и лежит так, тараканьи шкурки считает.

Лежит так Кондратьевна, шкурки тараканьи считает, не спится старухе, вспоминается кумушка. И слышит раз Кондратьевна среди ночи звон в церкви гудит. Встала с печки да в церковь. А церковь — полна покойников: в саванах стоят покойники, и все одинаковые, не видно лица, не разберешь, кто Иван и кто Марья, кто нынче помер, кто летом. И как ни всматривается Кондратьевна, — все одинаковые, стоят в своих саванах.

А кумушка знакомая, подружка Кондратьевны, сняла с себя саван и говорит:

— Нынче мы молимся, упокойники, а не вы, уходи, да чтобы не слышал никто, не сказывай!

Ушла домой Кондратьевна: не будет она мешать покойникам, еще чего доброго и съедят ее, всю-то схряпают вместе с косточками. И целый день крепко держала старуха свой полунощный зарок. Но когда среди ночи опять услышала звон, охота посмотреть покойников отогнала всякие страхи. Встала старуха с печки да скорее в церковь: кто Иван и кто Марья, кто нынче помер, кто летом, — все она высмотрит, до всего дойдет. И опять ее кумушка, подружка знакомая, уходит ей велела.

Три ночи кряду ходила Кондратьевна в церковь, три ночи прогоняла ее домой кумушка. На четвертую ночь Кондратьевна не услышала звону, на четвертую ночь у дверей стал покойник. Молча в саване стоял у дверей покойник, пугал Кондратьевну. И на следующую ночь опять у дверей стоял покойник, пугал Кондратьевну.

«Кто — Иван или Марья? Когда умерший — нынче или летось? Зачем пришел? Что ему надо?» — хочется старухе все разузнать, а как разузнаешь, — не говорит, помалкивает покойник, только пугает.

И домекнулась Кондратьевна. Еще засветло покрыла она стол скатертью, под стол петушка пустила, чтобы в полночь спел петушок, — мало ли что! — сама влезла на печку, легла ночи ждать.

Лежит Кондратьевна на печке, шкурки тараканьи считает, ждет ночи, ждет покойника.

И пришла ночь, стал ночью у дверей покойник. Увидела его Кондратьевна да скорее с печки, манит к столу.

Уселся покойник за стол и говорит:

— Съем я тебя! И зачем ты повадилась ходить к нам в непоказанный час, терпенья нет моего! — да саван с себя долой.

Тут Кондратьевна так и ахнула: кумушка, подружка ее знакомая, кумушка сидела за столом.

А скатерть и говорит:

— Трут меня и моют и полощут, все терплю, а ты малости такой перетерпеть не могла! — говорит скатерть кумушке.

И запел петушок, и покойница отступилась.

1911



Много от слова бывает: словом можно что хочешь накликать, словом и беду прогоняют. Мудрым людям известно, когда сказать надо, когда промолчать лучше.

Помер муж у Лизаветы, осталась одна она да шестеро ребят, с шестерыми-то одной куда нелегко, много горя натерпишься!

Ладно жила с мужем Лизавета и затоскнула крепко. День в заботах, на месте не посидит, а ночь придет, не спится, места от тоски не найдет.

И стал он к ней ночью ходить, колотиться в дверь.

И раз пришел и в другой пришел.

Пришел он в третий раз и давай в дверь колотиться.

— Отворяй, — вопит, — я иду ребят смотреть! — любил он детей: ему жалко ребят.

Слышит Лизавета, испугалась, — волосы на голове стали, — поднялась, отворила дверь в сени.

— Когда бросил, — говорит, — да покинул, тогда не жалел, а нынче нечего с тобой делать, не отворю!

А он стоит у дома под дверями, колотится, вопит.

До петухов держал мертвец у дверей Лизавету в сенях: от страха не могла она сойти с места, стояла в холодных сенях.

Наутро рассказала Лизавета людям, что ходит, беспокоит ее покойник, и кто б ни зашел ее проведать, — жалели Лизавету, сердечная, до нищих добра была, — прохожий ли, странник-калика, всякому рассказывала Лизавета, не таилась.

И всякий пожалел Лизавету. Всякий пожалел Лизавету, кому бы ни рассказала она.

И больше не стал мертвец ходить к Лизавете.

1912



ЦАРЬ СОЛОМОН

1

У Давида царя был брат, слепец Семиклей. Семиклей был женат. И жили они, две царские семьи, Давид царь со своею царицей да Семиклей со своею женой, вместе в одном дворце. Перед дворцом стояло дерево высоченное с золотыми плодами, и на этом дереве жена Семиклея устроила себе ложе и там принимала своего друга.

Подозревал Семиклей жену и, как взлезть ей на дерево, охватит, бывало, Семиклей охапкой дерево и не отходит, но жена свое дело знала и всегда пустит наперед друга, а уж за ним и сама.

Сидел раз Давид царь с царицею у окошка, любовались на чудесное дерево с золотыми плодами, а жена Семиклея не видит царя с царицей и свое это дело затеяла: подсадила друга своего на дерево и сама за ним полезла.

Топчется Семиклей под деревом, охватил охапкой дерево, а поймать все равно никого не поймает — слепец.

Жалко стало Давиду царю брата слепца.

— Я Господу Богу помолюсь, — сказал Давид царь, — прозреет брат, ссечет голову у неверной жены.

— Не ссечет, — говорит царица, — спустится она на землю, три ответа даст, на слово три слова найдет ему, вывернется.

А царь Соломон во чреве царицы и говорит:

— Плеха по плехе и клубук кроет!

Перепугалась царица.

Давид царь молился, просил за слепца у Господа Бога, чтобы вернул Господь зрение брату.

И прозрел слепец, открылись глаза у царского брата: увидел Семиклей жену свою и друга ее на дереве, кричит:

— Спускайся! — машет кулаками: убьет он жену, не отделаться так и другу.

Слезла с дерева жена.

— Стой, — говорит, — подожди, что я тебе скажу, — да в сторонку его и отвела, — глупый ты, неразумный, — тридцать лет ты сидел без глаз, и сидеть бы безглазому тебе до самой твоей смерти, а я согрешила над твоей головой, тебе Бог и дал глаза.

Ну, у Семиклея тут руки и опустились, а друг тем временем слез с дерева и улепетнул жив, цел и невредим.

2

Отлучился Давид царь по царским делам, поехал Давид царь судить да рядить свои дальние земли. Царица дома осталась и без царя принесла сына — царя Соломона.

Думает себе царица:

«Какой это мне сын будет? Если и во чреве моем говорил такое, а вырастет, и не так скажет: убьет он меня!»

И напал страх на царицу. Взяла она сына своего, царя Соломона, кузнецу царскому и снесла, а себе у кузнеца взяла Кузнецова сына.

Вернулся Давид царь домой, ничего не знает, а царица помалкивает, да так Кузнецова сына за своего и принял — за царя Соломона.

Дети растут: у царского кузнеца — царь Соломон, у Давида царя — царского кузнеца сын.

Пойдет Давид царь с сыном на прогулку, полюбится мальчонке какая местность, и все одно у него:

— Эко, батюшка, — скажет, — место красивое, нам бы тут кузницу ставить.

Известно, кузнечонок!

Пойдет куда царский кузнец с царем Соломоном, приглянется царю Соломону место красивое, и все-то у него по-своему, по-царскому:

— Батюшка, — скажет, — нам бы здесь город ставить да людей селить.

Стали слухи носиться, стали говорить Давиду царю о царском кузнеце и о царе Соломоне, стал Давид царь догадываться, что дело нечисто. И спрашивал царь царицу — ничего не добился; спрашивал царь Семиклея брата — не видел, Семиклей не знает; спрашивал царь жену Семиклея и ее друга, — ничего не знают. Помолился Давид царь Господу Богу да с помощью Божией решил сам все дело проверить: испытать царя Соломона.

Посылает Давид царь за царским кузнецом. Пришел царский кузнец.

Давид царь говорит кузнецу:

— Приди ко мне, кузнец, завтра не наг, не в платье и стань не вон, не в избу.

Поклонился царский кузнец Давиду царю, пошел к себе в кузницу.

Уж и так думал кузнец, и этак, а ничего не может придумать. Позвал царя Соломона и рассказал ему, какую загнул задачу Давид царь.

Царь Соломон и говорит:

— Глуп ты, кузнец, вот что! А ты надень на себя невод, на ноги — лыжи и иди пятками к сеничному порогу, а носками к избному.

Кузнец так и сделал.

— Ах, кузнец, кузнец, — сказал Давид царь, — не твои это замыслы. Это замыслы царские.

Через некоторое время опять посылает Давид царь за царским кузнецом. Пришел царский кузнец.

Давид царь говорит кузнецу:

— Возьми, кузнец, у меня быка, да чтобы через тридцать дней бык у тебя отелился.

Поклонился царский кузнец Давиду царю, взял быка, повел быка к себе в кузницу.

Закручинился кузнец, уж и так думал, и этак, а ничего не может придумать, — позвал царя Соломона и рассказал ему, какую загнул задачу Давид царь.

— Глуп ты, кузнец, вот что! Быка мы съедим, а придет пора, отелится бык.

Убил кузнец быка, сварил быка, и съели. Прошло тридцать дней, настала пора телиться быку.

Царь Соломон и говорит:

— Истопи нынче баню, кузнец, ложись на полук и реви, да что есть мочи реви, будто ты телишься.

Кузнец так и сделал.
Кузнец истопил баню, лег на полок и заорал.
А Давид царь знает: тридцать дней прошло, надо от кузнеца отчет взять, — и послал царь своих царских слуг к кузнецу о быке наведаться.
Идут мимо бани царские слуги, а кузнец ревет:
— Тошно мне стало, тошно! — да так выводит, ну как по-настоящему.
Царские слуги в баню: лежит кузнец на полке, орет, что есть мочи.
— Чего ты, кузнец, разорался?
— А приношусь, стало быть, — стонет кузнец.
— Что ты, дикий, когда это мужик приносился?
А кузнец и говорит:
— Мужик не приносится, так и бык не телится.
Вернулись царские слуги к Давиду царю, рассказали о кузнеце.
— Не кузнеца это затеи, — говорит Давид царь, — это затеи царские.
И делает Давид царь обед для ребят, созывает ребят со всего своего царства, чтобы из всех самому отличить царя Соломона.
А царь Соломон научил ребят:
— Скажет Давид царь: «Который царь Соломон, пускай наперед садится!» — так вы бросайтесь все разом и, хоть разорвитесь, кричите: «Все цари, все Соломоны!»
Так ребята и сделали.
Вышел к ним Давид царь.
— Который, — говорит, — царь Соломон, пускай наперед садится!
— Все цари, все Соломоны! — как загалдят ребята, да разом за стол и сели.
Так Давид царь и не узнал, который царь Соломон, одно узнал Давид царь, что сын — не его сын и надо искать своего сына — царя Соломона.

Дети растут: у царского кузнеца — царь Соломон, у Давида царя — царского кузнеца сын.

Собирал царь Соломон ребят себе по возрасту, затевал всякие игры, судил да рядил ребят. И шла слава о царе Соломоне, о его премудрых судах, и уж большие, старики приходили в царскую кузницу совет и суд просить у царя Соломона.

Шла раз старуха из рынка, меру муки купила, несла муку. Несет старуха муку, молитву шепчет, и вдруг потянул ветер, выхватил у старухи

муку, и унесло муку ветром.

Пошла старуха к Давиду царю на ветер суд просить: последнюю копейку истратила старуха на рынке, больше негде ей взять, кто ей даст муку?

Выслушал Давид царь старуху и говорит:

— Как я, бабушка, Божью милость могу обсудить?

А старуха не уходит: на последнюю ведь копейку купила муки, — ни муки, ни копеек к ней нет больше. Не уходит старуха мышинная такая старушонка, шепчет.

Тут царские слуги и говорят Давиду царю:

— Пошли, — говорят, — Давид царь, за царским кузнецом, его мальчонка это дело обсудит.

Велел Давид царь привести царского кузнеца, да чтобы кузнец и мальчонку захватил. И пришел царский кузнец, пришел и царь Соломон.

Рассказал Давид царь царю Соломону о старухе, как унесло с ней ветром муку: просит старуха суда.

— Как же ты, Давид царь, — говорит царь Соломон, — не можешь рассудить это? Дай мне твою клюку, твой скипетр, царскую порфиру, и я сяду на твой престол, буду судить!

Посадил Давид царь на свой царский престол царя Соломона судить старуху и ветер. И собрал царь Соломон весь народ, сколько ни было в городе, всех от мала до велика, и всю царскую семью, царицу, царского брата Семиклея, жену его и друга ее.

— Кто из вас нынче в утренний час ветру молил? — спросил царь Соломон.

Какой-то там и выскочил корабельщик.

— Я, — говорит, — молил попутной пособны.

И велел царь Соломон корабельщику отсыпать старухе меру муки. Отсыпал корабельщик муки старухе. Пошла старуха, понесла муку, Бога благодарила да царя Соломона за суд премудрый.

И дивился народ царю Соломону.

Тут царица призналась Давиду царю, что ее это сын царь Соломон, а сын — не их сын, а царского кузнеца.

Давид царь простил царицу, царскому кузнецу кузню царскую в вековый дар отдал, а на царя Соломона венец надел: пусть царь Соломон судит и рядит все царство, все народы, всю русскую землю.



Хитрый, мудрый был царь Гороскат Первый — городам бывалец, землям проходец. Собрал царь к себе министров на думу.

— Хочу, — говорит, — не посеяно поле пожать.

Ну, министры ответить ничего не могут: не умеют разгадать загадку.

— Не отгадаете, — говорит царь, — голова с плеч!

Стали министры просить царя обожждать: может статься, и смекнут, надумают чего — жалко им голов своих, все-таки как-никак, а человечьи.

— Дай, — говорят, — нам сроку на трое суток.

Согласился царь, отпустил министров.

Вышли министры от царя из дворца царского, идут по улице, не знай куда, — загадка на уме, а разгадки нет никакой. Кружили, кружили, с улицы на улицу, пройдут поперечную, вернуться, идут по продольной и опять в поперечную и все думают, а придумать ничего не могут.

Прошел обеденный час, проголодались министры.

«Эх, — думают, — закусить бы теперь самое время!»

А уж такую даль зашли: ни трактира, ни двора постоялого. И видят они, дом стоит большой, широкий, двери худые, рассыпались, не заложены. Вошли они в этот дом: слава Богу, есть человечья душа!

В доме девица пол мыла, да скорее от министров на печку.

«Не дай, Господи, тупой глаз и безухо окно!» — оправилась девица, пригладилась, вышла из-за печки, домыла пол, вынесла на улицу грязную

воду, вымыла руки.

— Мы что-то поесть хотим, — говорят министры.

— А чего вы хотите: плеваного или лизаного?

«Эка хитрая девка, — подумали министры, — чего загнула!»

И что лизаное и что плеваное, как тут разобрать? Да и куда уж им разбирать: подводит, есть очень хочется.

— Ну, ставь нам лизаного!

Поставила девица ухи чистой и белой рыбы. Поели министры всласть, помолились Богу, поблагодарили хозяйку, вышли из-за стола. И уж любопытно им знать: что лизаное, что плеваное.

— Понапрасно вы только хлеб у царя едите, — сказала хозяйка, — спросили бы вы у меня плеваного, я поставила бы вам ухи ершовой, вы бы ели да кости выплевывали, а вы просили у меня лизаного, я и поставила вам ухи чистой, вы рыбу съели и тарелку облизали.

«Эка ведь девка-то мудрая!» — подумали министры.

Слово за слово, разговорились да свою беду ей и рассказали о загадке царской.

— Что такое, — говорят, — хочет царь не посеяно поле пожать?

— А вы и этого не знаете? Ну, ступайте, скажите царю: «Вы будете начинать, а мы вам будем помогать!»

Весело пошли министры к царю в царский дворец: сдобровали их головы, не казнит их царь, загадка разгадана.

— Ваше царское величество, — говорят министры царю, — вы будете начинать, а мы вам будем помогать.

— А кто вам это сказал? — спрашивает царь.

Сказать неправду царю, не такой царь, чтобы неправду спустил, ну, во всем и признались, рассказали министры, как зашли они к девице одной в ее большой старый дом, как угостила она их лизаным, не забыли и про плеваное.

— Уж больно хороша девица, хитра и умна.

— Нате, несите этой девице золотник шелку, пусть она мне соткет ширинку! — хотел царь испытать хитрость и мудрость хитрой девицы.

Взяли министры царские шелк, пошли назад из дворца, и уж едва дом разыскали: на радостях-то, что голова цела, из головы всю память повышибло.

Встретила министров девица, а они ей золотник шелку, — принимай с рук в руки.

— Велит царь соткать ширинку!

Положила девица шелк на стол, подает им красного дерева кусок, не

велик, не мал кусок, — со швейную иголку.

— Идите, — говорит, — к царю, отдайте ему дерево и скажите: будет ему ширинка, только пусть наперед сделает мне царь из этого дерева шпильку да бёрдо.

Понесли министры дерево к царю, принесли ответ. Принял царь дерево, повертел на ладони, подул, покачал головой.

— Нет — говорит, — этого дела я доспеть не могу, ступайте, сватайте мне эту девицу.

Знай царь, что в царстве у него мастера самоварные — мастера и блоху подковать, не быть бы девице женою царя, достал бы царь самоварных мастеров, перенял бы их хитрости, из ничего сделал бы шпильку и бёрдо, — такой уж был царь, из царей царь первый.

А на нет и суда нет, пошли министры к девице сватами. Приехал и сам царь, да в Божью церковь. Скоро сыграли свадьбу, весело отпировали пир. И стал царь жить-поживать с молодою царицей.

2

Живет царь, поживает с молодою царицей. Не пожалуется царь на царицу — и хитра и мудра, одно горе: наперед царя забегает, нечего и думать царю своим умом что сделать, жена все сама доспееет. А разве так царю можно? И задумал царь извести царицу, такую задачу задать ей, чтобы впредь не хотела быть хитрее царя.

Созвал царь своих министров, призвал царицу.

— Хочу, — говорит, — на три года в иностранные земли удалиться, все их хитрости заморские произойти. Я возьму с собой жеребца-иноходца, а у царицы оставляю в доме кобылу — может ли царица так сделать, чтобы кобыла родила жеребца, как подо мною? И еще оставляю я царице порожний чемодан под двенадцатью замками, ключи с собой беру, — может ли царица накласть золота-серебра, и чтобы ни один замок не повредить? И третье последнее дело: вот царица остается не беременна, — может ли она родить такого сына, каков я есть, царь?

Молчат министры, не знают, какой ответ дать царю, молчит и царица.

— Даю сроку три года, не исполнит царица, смертью казню! — сказал царь, сел на корабль и уехал в иностранные земли.

Засели министры во дворце царском, судят-рядят без царя царство.

Осталась царица одна, да долго не думая, соорудила корабль себе, взяла с собою кобылу царскую, порожний чемодан, мешки с серебром и

золотом, села на корабль и отплыла вслед за царем в иностранные земли. И там, в земле иностранной, пристала она к тому самому городу, где царь остановился перенимать хитрости иностранные. А чтобы неприметно было, подстригла она себе по-мужски волосы, обрядилась в мужское платье, назвалась принцем и пошла по городу, у всех выспрашивать:

— Где заезжий царь на квартире стоит?

— Да вот супротив принцева дворца, — говорят прохожие.

А царице только того и надо: теперь она свое дело сделает, исполнит задачу царскую, — и сейчас же к принцу иностранному, просит принца пустить ее на постой к себе во дворец. Уважил принц ее просьбу, отвел ей комнату у себя во дворце, — живи, сколько хочешь. Перевезла царица с корабля порожний чемодан, мешки с серебром и золотом, и кобылу. Кобылу поставила в принцеву конюшню, чемодан и мешки под кровать спрятала и стала за царем следить: куда царь, туда и она.

А у царя и в мыслях нет, чтобы такое делалось, да и узнать ему царицу невозможно: в мужском платье принцем царица ходит. Да и некогда царю ни о чем таком думать: день деньской за работой, как простой человек, и самую черную работу исполняет, все узнать хочет, до всего дойти хочет и выучиться, — такой уж был царь, из царей царь первый.

После трудов дневных пошел царь в трактир посидеть, и царица за ним. В трактире в карты играли. Выпил царь, закусил, смотрит за игроками и захотелось ему самому поиграть: больно уж карты хороши.

А царица тут как тут, подсела к царю.

— Что, — говорит, — даром карты мять, давай в дураки.

— Давай.

— А наперед залог надо положить, — говорит царица, — если я проиграюсь, с меня сто рублей за дурака, ты проиграешь, с тебя двенадцать твоих ключей за дурака, дашь мне ключи на одну ночь.

— Ладно, — согласился царь, и началась игра.

И проигрался царь — остался в дураках. Делать нечего: подавай ключи! Сбегал царь к себе на квартиру, принес ключи, отдал царице. Ну, посидели еще, чаю попили, распростились и по домам.

Царь завалился спать: чуть свет ему на работу — там, в иностранных землях, лынды лындать не полагается, живо по шапке и разговаривать не станут. А царица скорее комнату свою на ключ да к чемодану, разомкнула порожний чемодан, опростала мешки с серебром и золотом, и дополна наполненный чемодан опять заперла на все ключи. И утром, как идти царю корабли строить, несет ему ключи назад.

— Ночь прошла, — говорит царица, — твои ключи.

Ходит царь по городу, а царица принцем не упускает его из глаз: куда царь, туда и она.

И опять вечером зашел царь в трактир посидеть, и царица в трактир. В трактире шла игра. Захотелось и царю поиграть: больно уж карты хороши.

А царица тут как тут, подсела к царю.

— Что, — говорит, — даром карты мять, давай в дураки.

— Давай.

— А наперед залог поставим, — говорит царица, — я проиграюсь, с меня двести рублей за дурака, ты проиграешь, с тебя конь за дурака, дашь мне своего жеребца-иноходца на одну ночь.

— Ладно, — согласился царь, и началась игра.

И опять проигрался царь — остался в дураках.

Пошел царь на свою квартиру, привел жеребца-иноходца, передал коня царице, распростились и по домам.

Вернулась царица в свой принцев дворец и сейчас же велела пустить царского жеребца в конюшню к своей кобыле. И до утра не выпускала жеребца из конюшни, а чуть свет отвели обратно к царю.

— Ночь прошла, — сказала царица, — твой конь.

Чемодан и не отпертый, а туго набит золотом, кобыла и без жеребца, а ходит не проста. Два дела сделаны, две царские задачи исполнены, остается третье дело, последнее. Ну, да с этим сладить проще всего.

Караулила царица царя. Принцем ходит царица за царем, шагу ему не ступить, все она видит.

И опять зашел царь в трактир посидеть, и царица в трактир. В трактире играли в карты. Засмотрелся царь на игроков и самому захотелось поиграть: больно уж карты хороши.

А царица тут как тут, так и вертится.

— Что, — говорит, — даром карты мять, давай в дураки.

— Давай.

— А наперед положим залог, — говорит царица, — если ты проиграешься, с тебя триста рублей, а я проиграюсь, с меня ночь, всю ночь буду тебя угощать.

— Ладно, — согласился царь, и стали играть.

И проигралась царица — осталась в дураках.

— Ну, твое счастье, — сказала царица, — приходи ко мне в полночь, будет тебе угощение.

Посидели приятели в трактире, попили чаю, послушали машину и по домам.

Дома царица скорее сняла с себя мужское платье, нарядилась в

женское, прихорошилась, убрала стол винами, сластями всякими, пряниками, поджидает гостя.

Полночь пробил, стучится царь. Отперла царица,пустила царя. Смотрит царь, диву дается.

— А где же принц?

— А сейчас, — говорит царица, — за вином в трактир побежал, — а сама ну угощать гостя: и вином его поит, и водочки подливает.

А принца все нет и нет. И забыл царь о принце: крепко вино, сладка водочка, слаще всего хозяйка принцева.

Чуть свет разбудила царица царя: уж народ на работу идет и ему время.

— Ночь прошла, — говорит царица, — твоя ночь.

Простился царь и ушел. А царица собралась, да на свой корабль, и с чемоданом, и с кобылою поплыла на корабле домой в свою землю.

3

Три года прошло. Объездил царь все иностранные земли, всего насмотрелся, всякому ремеслу выучился, все хитрости заморские произошел: будет ему с чем показаться в своей земле, есть чему своих научить. Обтешет он своих мужиков, повыбьет лень из сенаторов, дурь да лень за горы угонит, заведет порядки, и будет его земля не хуже иностранных земель. Сам не пожалеет он сил своих, сам первый, как простой человек, за топор возьмется, только было б земле хорошо, — такой уж был царь, из царей царь первый.

Снарядил царь корабль и в путь в свою землю. На корабельной пристани встретили царя министры. Поздоровался царь с министрами, да скорее к себе во дворец, да прямо в свою комнату.

Схватил царь чемодан, разомкнул, а в чемодане дополна золота-серебра наложено, и замки все целы. Взглянул царь в окно, а там, в саду царская кобыла, под кобылою жеребенок, ну такой самый, как его царский жеребец-иноходец.

Тут вошла к царю царица и не одна, с сыном на руках. Взял царь к себе на руки сына да к зеркалу. А сын, как две капли воды, весь в царя.

— Как же это ты могла так сделать? — говорит царь и кличет министров, чтобы все знали: — хочу ее за это казнить!

А министры говорят:

— Нельзя безвинно человека казнить.

— Да как же так? Всех велю казнить!.. — стучит царь. И заговорила царица:

— Ваше царское величество, ты в иностранной земле в трактиры ходил?

— Ходил.

— Играл с принцем в карты?

— Играл.

— Проиграл двенадцать ключей в одну ночь?

— Проиграл.

— Ты мне ключи проиграл, ты мне и коня проиграл. А играл ты в третий раз?

— Играл.

— Выиграл у принца ночь?

— Выиграл.

— Ты ведь с меня выиграл ту ночь.

— Ну, царствуй со мной, — сказал царь, — с тобой весь мир покоришь.

И задал царь пир на весь честной мир.

1911

Воры



БАРМА

Жил-был старик со старухой. Старик сапоги точал, старуха белье мыла. Жили они хорошо, в душу, а детей у них не было.

Затужили старики — как быть? — помирать пора. Думали, думали, да и надумали.

Взяли старики к себе в дом мальчишку-подкидыша. Подростал мальчонка шустрый да проворный, хоть куда. Всеми миру на диво. И затейник гораздый: рожицу скорчит, словцо скажет — с хохоту животы надорвут.

Мальчонку Бармой звали.

Одна беда — на руку не чист: из-под носа стянет — не успеешь и облизнуться.

У старухи стало белье пропадать, у старика ножички, пилочки — постоянная недохватка.

Измаялись старики.

Били они мальчонку, наставляли и чего-чего только ни делали: ничем не проймешь.

Как-то сидели старики вечером, пошабашили: старуха рубаху чинила, старик бороду поглаживал, а Барма свернулся на печке, только посвистывает.

И входит к ним молодец ражий такой, здоровенный. На ночлег просится.

Усадили старики гостя, стали гостя расспрашивать:

— Куда, молодец, путь держишь и по какой надобности?

— К царю воровать, — отвечал гость.

— Как так к царю воровать?!

— Да так, воровать.

Выронила старуха иглу с перепугу, призадумался старик.

А гость только ус покручивает.

— Слушай, милый человек, — заговорил старик, — живет у нас мальчонка, Бармой прозывается, мочи нам не стало, измаялись мы со старухой: как пир собирать, некуда Барму девать. Тащит все из-под носу. Возьми ты его, ослобони нас, вечно будем Бога молить!

— Отчего не взять, можно.

Разбудили Барму. Снарядили Барму. Забрал Барма пилочки и ножички, да в путь, — прощайте!

Идут они лесом. Молодец, что ни шаг — семь верст отмахивает. Да и Барма не дает маху, — тощенький, юркенький, только носом покручивает.

Рассказывал молодец про свою науку и про всякие ловкости воровские.

Так и шли.

Вот видят они, дерево стоит огромное, верхушкою прямо в звезду.

— Хочешь, Барма, — говорит молодец, — я тебе свое искусство покажу, а после ты мне свое покажешь?

— Хочу, дяденька!
— Видишь дерево?
— Вижу, дяденька!
— А гнездо видишь?
— Вижу, дяденька!
— А птичку видишь?
— Вижу, дяденька!
— Так вот я сейчас влезу на это самое дерево и выну из-под этой птицы яички, и птица не заметит.

Полез молодец на дерево, а Барма пустился подсаживать.

И не прошло минуты, жулик на земле был.

— Видишь? — спрашивает Барму.

— Вижу, дяденька.

— Да что видишь-то?

— Яички, дяденька.

Жулик подбоченился: ловко, мол, состряпал!

— А вы, дяденька, сапоги видите?

— Сапоги?! — вижу...

— А подошвы на сапогах видите?

Тут жулик задрал ногу. Повел глазом... сапог сапогом, только подошвы срезаны.

— Это я вам, дяденька, как на дерево вы лезли, я вам подошву и срезал.

— Ну, из тебя человек выйдет, — сказал жулик.

И снова тронулись в путь.

— А как, дяденька, к царю пройти? — допытывался Барма.

— Плевое дело к царю пройти, — толковал жулик, — пойдешь все прямо, завернешь влево, потом опять влево, потом в закоулок и напрямиком в царский сад упрешься.

И опять стал рассказывать про свою науку и про всякие хитрости воровские.

Так прошли они лес, в другой вступили.

Жулик сбросил поддевку, сказал Барме:

— Ты покарауль меня, а я малость сосну, — и растянулся под деревом.

— Слушаю, дяденька! — стал на караул Барма.

Но только что жулик завел глаза, Барма ошарил его, взял себе, что поспособнее да драла.

Прошел Барма и другой лес, прошел Барма и третий лес, прошел острог, прошел кабак и прямо в садовую решетку стукнулся.

А решетка высокая да тесная, пальца не просунешь.
Скинул Барма одежонку да юрк меж прутьев, и прямо в сад царский.
А царь тут как тут, идет царь по дорожке, яблоко кушает.
Мундир у царя горит, как жар, золотые штаны с бриллиантовыми пуговицами так и светятся.
— Чей ты? — крикнул царь.
— Вашего царского величества верноподданный Барма.
— Зачем сюда попал, а?
— К вашему величеству воровать.
— Ах, ты... такой-сякой! — царь хотел схватить Барму, да шагу не сделал — штаны золотые трах — наземь.
А Барма с пуговицами бежать — его и след простыл: оттяпал-таки, мошенник, бриллиантовые.
Вот он, Барма, какой!
1905

ВОР МАМЫКА



У старика и старухи никого не было, один был внук Мамыка. Мамыка — парнишка шустрый, проворный. Старики внука очень любили.
Узнал Мамыка, что у деда есть деньги, — на черный день берег старик для Мамыки, — пристал Мамыка к деду:
— Дай, дедушка, мне денег!
— А для чего они тебе, родный!

— Дай, дедушка, мне денег на торговлю!

Дед и так и сяк — какая уж там торговля, как бы худо не вышло! И денег старику жалко, и отказать не может.

Вступилась старуха:

— Чего, — говорит, — жалеешь, дай ему, авось Бог поможет, родное ведь наше, а нам помирать в пору.

Подумал дед, подумал и дал внуку денег.

Забрал Мамыка дедовы деньги и прощай, ушел в город. Да ничего по уму прибрать не мог из товара, и купил два сапога козловых. С сапогами и пошел домой опять к деду.

Шел Мамыка домой, подшвыривал камушки по дороге, песни пел, а устал, присел отдохнуть в канаву.

Сидит Мамыка в канаве, на дорогу глазеет, а по дороге царские слуги идут, быка ведут.

«Вот бы такого бычка деду, нет у деда никакой скотины!» — смекнул себе Мамыка.

Скрылись царские слуги и бык с ними. Вылез Мамыка из канавы, обежал сторонкой, бросил сапог на дорогу, сам схоронился и стал поджидать.

Увидали царские слуги Мамыкин сапог на дороге.

— Эх, товарищ, — говорит один, — сапог козловый на дороге!

— Никуда нам с одним сапогом! — говорит другой.

И пошли себе дальше, повели быка в город.

Тут Мамыка подобрал свой сапог да мимо царских слуг, обогнал их сторонкой, бросил опять сапог на дорогу, сам схоронился, поджидает.

Увидали царские слуги Мамыкин сапог на дороге.

— Вот и другой сапог, — говорит один, — взять бы нам и тот, пара б сапогов была.

— Пойдем назад, — говорит другой, — захватим, авось, не убежит.

Оставили царские слуги быка царского, пошли назад прежний Мамыкин сапог искать.

Тут Мамыка, долго не думая, за быка, да другой дорогой с быком домой к деду.

А царские слуги дошли до того самого места, где сапог Мамыкин лежал, а сапога-то уж нет. Поискали они, поискали, да с пустыми руками назад к быку, а там и быка нет, всего один сапог лежит Мамыкин.

Куда им с одним сапогом?

— Как мы теперь к царю на глаза покажемся: и быка кончили и сапог один!

Подобрали царские слуги Мамыкин сапог, и без царского быка с сапогом пошли к царю.

— Вот, — говорят, — вам сапог, а быка потеряли. Увел быка неизвестно кто.

Примерил царь сапог, — хорош сапог и сидит хорошо и в пальцах не жмет, да об одном сапоге далеко не уйдешь, да и быка нет.

Ну, по сапогу стали искать и дознались, что сапог Мамыкин и увел быка Мамыка. И посылает царь к деду, требует к себе старика.

Пришел старик, кланяется.

— Здравствуйте, государь батюшка.

— А много ль у тебя семьи, дедушка? — спрашивает царь.

— Один внук, государь батюшка, один единственный, Мамыкой звать.

— А не украл ли твой Мамыка у царя быка?

— Не знаю, батюшка, украсть не украл, а такого намерен пригнал, едва во дворик прошел.

— Ну, хорошо, — говорит царь, — пускай же твой Мамыка украдет у царя коня, а не украдет, казнь ему!

Простился дед с царем, поклонился царю, пошел домой.

Скручинился, спечалился старик: легкое ли дело у царя коня украсть!

А Мамыка уж встречает деда, на одной ножке прискакивает.

— Глупый ты, — охает дед, — наделал ты дел!

— Чего, дедушка, ну, чего, дедушка? — унимает парнишка, шустрый такой, Мамыка.

— Да вот чего: велел царь своего коня украсть, не то тебе казнь.

— Богу молись, дедушка, да спать ложись, все дело поправится, — смеется парнишка, проворный такой, Мамыка.

2

Лег дед спать, а Мамыка дождался ночи, и в ночи потащился в город, и прямо ко дворцу.

Царя во дворце не было, в Сенате сидел царь, законы сочинял.

А Мамыке это на руку, проник Мамыка в царские покои, обрядился в царское платье, да в царском-то платье на крыльцо.

— Эй, — кричит, — коня, коня давайте, в сады поезжаю гулять!

Засуетились слуги, забегали и сейчас коня ему подали, — спросонья за царя признали, обознались! Сел Мамыка на царского коня и домой к деду.

Приехал Мамыка к деду, кричит старику:

— Отворяй, дедушка, ворота! — смеется.
Поднялся дед, узнал внука, обрадовался, отворил ворота, выпустил коня.
— Слава Богу, спас Господь от беды! — плачет старик: рад очень, что с конем-то внук, царского коня украл.
Вернулся царь из Сената, велит коня подать — в сады гулять ехать, а коня его царского нет как нет, укатил на его коне неизвестно кто.
«Это, верно, Мамыка, некому больше, вор Мамыка!» — раздумался царь.
И посылает наутро царь к деду, требует к себе старика.
Пришел старик, кланяется.
Поздоровался царь с дедом и говорит:
— А не украл ли, дедушка, твой Мамыка у царя коня?
— Не знаю, батюшка, украсть не украл, а такого пригнал, едва в домишко прошел.
— Ну, хорошо, — говорит царь, — пускай же твой Мамыка из-под царя перину украдет, тогда я прощу, а не то ему казнь!
Простился дед с царем, поклонился царю, пошел домой.
Скручинился, спечалился старик: легкое ли дело из-под царя царскую перину украсть!
А Мамыка уж встречает деда, на одной ножке прискакивает.
— Глупый ты, глупый, — охает дед, — наделал ты дел, жизнь свою решишь!
— Да чего, дедушка, чего ты? — унимает парнишка, проворный такой, Мамыка.
— Да вот чего: велел царь царскую перину из-под себя украсть, не украдешь, — дело плохо.
— Богу молись, дедушка, да спать ложись, все дело поправится! — смеется парнишка, хитрый такой, Мамыка.

Лег дед спать, а Мамыка дождался ночи и в ночи потащился в город и прямо на кладбище. И там, на кладбище, отыскал он свежую могилу, разрыл могилу, достал покойника из гроба, посадил покойника на кол и понес на плече ко дворцу, к тем самым покоям, где царь ночует.

Стал Мамыка перед царскими окнами и ну вертеть покойником.

Царь не спал и не ложился, поджидал царь Мамыку: придет вор царскую перину из-под него красть, тут он его и словит. И как увидел царь,

что ровно человек в окно лезет, скорее за ружье да из ружья в окно и выстрелил.

— Ну, — говорит царь царице, — подстрелил я Мамыку, не встать больше вору, можно будет спокойно выспаться.

А Мамыка простреленного покойника бросил да по задним ходам залез в царские покои, отыскал там квашонку с белым раствором, прокрался к самому царю, да тихонько раствор этот белый между царем и царицей в середку и полил, а сам в темный угол, присел на корточки, ждет.

Спал царь крепко, а проснулся да со сна прямо рукой в это тесто.

«Эка, грех-то какой, все себе пальцы измазал!»

Крикнул царь слуг, всех слуг разбудил.

— Снимай перину, стели новую!

А царские слуги подскочили, тычутся, нежными голосами так и ластятся:

— Пожалуйста, сейчас! сейчас!

И сейчас же свежая перина готова, ту замаранную сняли, постелили новую.

И заснул царь.

А как заснул царь, вышел Мамыка из темного угла, подхватил старую запачканную перину да в окошко, спихнул перину на улицу да и сам за ней туда же, взвалил ее на плечи, понес домой к деду.

— Отворяй, дедушка, ворота! — громыкает Мамыка в ворота.

Поднялся дед, узнал внука, обрадовался, отворил ворота, впустил Мамыку с царской периной.

— Слава Тебе, Господи, миновала беда! — плачет старик: рад очень, что с периной-то внук, царскую перину украл.

Наутро, как проснулся царь, и первым делом о перине:

— Где замаранная перина?

А где замаранная перина? — туда-сюда, никто не знает, нет нигде перины и искать негде.

Заглянул царь в окно, а там, на улице под окошком, покойник на колу, лежит покойник, простреленный и нет никакого Мамыки.

Шлет царь за стариком дедом.

Пришел старик, кланяется.

Поздоровался царь с дедом и говорит:

— А не украл ли, дедушка, твой Мамыка у царя перину?

— Не знаю, батюшка, украсть не украл, а такую приволок, едва в угол запихал.

— Хитер у тебя внук, — сказал царь, — пускай же Мамыка у царя

царицу украдет, а не то голову на плаху, жизни решу.

Простился дед с царем, поклонился царю, пошел домой.

Еще больше скручинился старик, еще больше спечалился, пути перед собой не видит: легкое ли дело у царя царицу украсть!

А Мамыка уж встречает деда, на одной ножке прискакивает.

— Глупый ты, глупый, — охает дед, — наделал ты дел, пропали мы с тобой!

— Чего, дедушка, ну, чего, дедушка? — унимает парнишка, хитрый такой, Мамыка.

— Да вот чего: велел царь царицу украсть, не украдешь, голову на плаху.

— Богу молись, дедушка, да спать ложись, все дело поправится! — смеется парнишка, смекалистый такой, Мамыка.

4

Лег дед спать, а Мамыка дождался ночи и в ночи заложил царского коня в санки и помчался прямо во дворец.

Царя во дворце не было, в Синоде сидел царь, приказы давал.

А Мамыке только того и надо. Кличет Мамыка царских слуг, будто царь за царицей прислал.

— Требует царь царицу в сады гулять, немедленно!

Доложили царские слуги царице. Оделась царица, вышла на крыльцо, видит: конь царский, да и села в санки к Мамыке. И помчал царицу вор Мамыка, да не в Синод к Царю, а к себе, к своему деду.

— Отворяй, дедушка, ворота! — кричит вор Мамыка.

Поднялся дед, узнал внука, обрадовался, отворил ворота, впустил Мамыку, впустил с Мамыкой и царицу.

— Слава Богу, услышал Господь, спас! — плачет старик: рад очень, что с царицей-то внук, царицу украл.

И царица плачет: страшно ей вора Мамыку, жалко ей деда.

Вернулся царь из Синода, спрашивает царицу.

— Нет царицы, — отвечают царские слуги, — поехала царица в сады гулять, сам ты и послал за ней.

— Когда посылал? — ничего царь понять не может.

— Да из Синода, — говорят царю слуги.

— Как так?

— Да так.

Никто ничего толком не знает, друг на дружку валят.

«Это все вор Мамыка!» — раздумался царь.

И велит царь привести старика деда. Бросились за дедом, привели старика. Усадил царь старика и говорит:

— А не украл ли твой Мамыка у царя царицу?

— Не знаю, батюшка, украсть не украл, а такую красавую в дом привел, такую барыню.

— Хорош твой внук, дедушка, — сказал царь, — шустер парень, проворен, смекалист! Пускай же он все наворованное царю представит: быка, коня, перину и нашу царицу. Все дела ему прощаем, всю вину снимем, получит награду.

Побежал старый дед домой, а уж Мамыка ему навстречу, а с Мамыкой царский бык, царский конь, царская перина и сама царица.

И остался Мамыка у царя служить царю верой, верный слуга Мамыка. Подчистил Мамыка царских слуг ротозеев, всех воров переловил, а деду, старику своему, у царя звезду выхлопотал, и звезду, и коня, и коровушку, чтобы жили старики покойно.

1911

Хозяева



Леший

Леший живет в лесу, леший живет в большой избе. Изба у него кожами укрыта, теплая. Леший не старик старый, какой старик! — леший молодой, и ни усов еловых, ни бороды осочьей у него нету. Желтый зипун на нем, красная теплая шапка, а жена его — лешачка, а дети — лешата, полное

хозяйство.

Был такой Афоныга, неладный, все бродил по лесу, лешней жил. Вот идет Афоныга лесом, дошел до болота — топучее болото — и видит, увяз леший в болоте, да и олень, да и медведь с ним.

Не больно речист леший, а как заговорил!

— Иди, — говорит, — Афоныга к моей хозяйке, да скажи ей, на большом, мол, болоте со зверем сохатым, да с медведем Мишей утоп! — и дорогу кажет Афоныге, куда идти ему к лешачке.

Пошел Афоныга, пошел, как указал леший, и прямо к большой избе. Входит Афоныга в избу — сидит лешачка на лавке.

— Зачем пришел, Афоныга? — говорит лешачка, баба молодая, белая, глаз с поволокой.

Афоныга ей о лешем, о сохатом, о медведе Мише.

— На большом болоте утопли!

— Ну, ладно! — бросила лешачка Афоныгу, да из избы, да скорее к большому болоту.

Ждать недолго ждал Афоныга, а страху натерпелся немало: одолели Афоныгу лешата — цепляются, курлычут, хватают, ну, ничем не отобьешься, ни шлепком, ни подшлепником.

И вернулась лешачка, несет медведя Мишу — баба молодая, белая, глаз с поволокой, а за лешачкой сам леший с оленем.

На славу угостили гостя. Леший указал дорогу и на прощанье отодрал рукав от своего кафтана и дал его Афоныге.

А Афоныга, домой вернувшись, сшил себе из рукава кафтан — кафтан до пят, да рукавицы.

Водяной



Водяной живет в озере, там у него и дом под камнем. Водяной не очень великий, даже маленький, черноватый, на черта похож, а ус у него рыжий. Жена его из русалок — водяниха, Палагеей звать. Поля, а

ребятишки — водяники, вроде чертенят, только что на пальцах перепонка. Держит водяной коров много бурых, — большое хозяйство.

За большим болотом на круглом озере остров, и не раз видали, как из воды на остров выходили коровы и траву щипали, видали и самого водяного: сядет себе на камень и сидит, медным гребнем расчесывает свои крепкие лохма.

Ходил по лесу Афоныга — Афоныге что и делать, как в лесу бродить! и зашел Афоныга к круглому озеру за большое болото, утомился, прилег на траву отдохнуть да и заснул. А как проснулся, и видит: четыре бурых коровы на острове пасутся.

Положил Афоныга на себя крест да прямо на коров этих... И только что ухватить корову наметил, из воды как свистнет — озеро заволновалось, и коровы в воду. Ну, Афоныга не больно испугался, не сплошал, и как-никак, а двух коров перенять ухитрился, и пригнал домой к себе в лес.

И долго жили у Афоныги эти коровы, по два ведра в день молока давали, вот какие коровы! Разбогател Афоныга, разбурел, опился молоком сладким, пьет — не лезет, и уж бродить по лесу не может, совесть и заговорила.

Стало беспокойно Афоныге, все не так, все не так как-то, не по-настоящему, не по правде. И вздумал Афоныга этих коров зарезать. И зарезал. Вечеру зарезал, а наутро хват, ни мяса, ни шкур, и мясо, и шкуры украл кто-то, нет ничего.

Досадно стало Афоныге — ни молока ему, ни коров, ни мяса ему, ни шкур коровьих — ничего. Как не досадно! Думал Афоныга, думал и подал в суд: на соседа думал — вороватый такой сосед жил Мамыка.

И пока Афоныгино дело в суде тянулось, подошла осень, а у Афоныги не выходят из головы коровы, не может забыть коров: нет-нет да и вспомнятся они ему, бурые, сытые — два ведра в день молока давали.

Сидит раз Афоныга вечером, раздумывает, и все о коровах, а на воле так и шумит и шумит — осень. И слышит, стучит кто-то. Афоныга к воротам, отворил калитку и видит: так, не очень великий, даже маленький, черноватый такой, ус рыжий, в коротком камзоле, а шляпа соломенная, стоит у ворот, на Афоныгу смотрит.

— Напрасно, — говорит, — ты, Афоныга, из-за коровьих кож с соседом тягаться вздумал — кожи я взял! — сказал и пошел, ходко пошел к озеру.

Афоныга его сейчас же признал — водяной, конечно! — и помирился с соседом, прекратил тяжбу с Мамы-кой, и по-старому, по-прежнему в лесу бродит, лешней живет.

Лигостай страшный

Жил-был добрый человек, и Бога чтил, и людей не забывал: Богу — свечка, бедным людям — хлеб. И жил так добрый человек с женою и сыном, не роптал. И вот померла жена, заскучал старик без хозяйки, стал прихварывать и почувствовал, что и его конец приходит.

Говорит старик сыну:

— Нечего мне тебе оставить, нет у меня ничего: что зарабатывал — все проживали. А вот как помирать твоей матери, пекла она калач, калач подгорел, но я его сберег — оставляю тебе горелый калач. Съешь ты его с тем моим другом, который никакой скупы не берет.

Помер добрый человек, похоронил сын отца. Какие оставались деньги, все на похороны пошло. И уж ничего в Доме нет, хоть шаром покати, а есть хочется. Вспомнил тут Сергей об отцовском наследстве — о калаче, отыскал горелый калач, хочет его закусить, да слова отца стали в памяти: съесть калач с тем другом его, который прибыли себе не берет, — положил калач за пазуху и пошел отцова друга искать.

Идет Сергей по дороге, и встречается ему старичок белый, седатый.

— Куда, — говорит, — молодец, Бог несет?

— Иду искать отцова друга, который никакой скупы не берет, — и рассказал Сергей старику об отцовском горелом калаче.

— Я отцов друг.

Посмотрел Сергей на отцова друга: старичок бел седатый, с церковкою в руке.

— Нет, ты — святитель Христов, Никола Угодник! — поклонился угоднику можайскому и дальше пошел.

Идет Сергей по дороге, и едет навстречу ему всадник на белом о белых крыльях коне, золото так и играет. Испугался Сергей, хочет в сторону свернуть.

А всадник кричит:

— Куда, молодец, Бог несет?

— Иду искать отцова друга, который никакой скупы не берет, — и рассказал Сергей всаднику об отцовском горелом калаче.

— Я отцов друг.

Посмотрел Сергей на отцова друга: по локоть руки — красно золото, по колено ноги — чисто серебро, во лбу звезда, на голове зеленый венок.

— Нет, ты — храбрый святой Георгий! — поклонился пастырю святому и дальше пошел.

Идет Сергей по дороге, устал, и ночь его настигает, и есть ему хочется. И попадает ему на дороге страшный, высокий, грудь и бедра толстые, в поясе тонкий, длинные пальцы, зубатый, ребратый, голенастый, лигостай — страшный.

— Ты куда идешь? — скорчил рожу лигостай страшный.

— Иду Отцова друга искать, который никакой скупы не берет.

— Я самый и есть!

Посмотрел Сергей на отцова друга: лигостай страшный.

— Почему, говоришь, отцов ты друг?

— А потому, я у отца душу вынул.

«И вправду, — подумал Сергей, — точно, что друг, только больно уж страшный!»

Вынул Сергей из-за пазухи горелый калач, уселись они на пенё, съели калач.

Лязгнул зубами лигостай страшный.

— Поди, — говорит, — в город, тамошний царь худ, ищет человека, про свою смерть знать хочет. Поди ты к царю и скажи, что знаешь про его царскую смерть. Меня никто не видит, а ты увидишь. Я без корысти, я отцов друг! Если сижу я в головах у царя, царь помрет; если стою я в ногах, царь будет жить.

Простился Сергей с лигостаем страшным, пошел в город, ну трубить:

— Я, — говорит, — про царскую смерть знаю!

Дошла весть до царя, послал царь разыскать Сергея.

Нашли Сергея и привели к царю.

Помолился Сергей, посмотрел на царя: лежит царь на кровати, едва уж дышит, а лигостай стоит в ногах у него страшный, рожу корчит.

Поклонился Сергей царю:

— Трудно хворали, ваше царское величество, тяжело, да Господь даст здоровья, будете живы.

И стало царю полегче, потом совсем легко, а потом и вовсе поправился и позабыл про всякую хворь. На радостях царь наградил Сергея крестом и велел насыпать ему из государственной казны полный мешок золота.

Нацепил Сергей крест себе на шею, забрал под мышку золото, поблагодарил царя и пошел из города домой: хватит ему на его век да еще останется!

Идет Сергей дорогой, застигла ночь, присел Сергей на пенек отдохнуть, а лигостай тут — страшный стал у пня.

— А, — говорит, — здорово, Сергей Иваныч!

— Здравствуй, страшный!

— Много ль собрал?

— Эво сколько, доверху полный! — Сергей показал страшному золотой свой мешок.

— Ну, не очень-то... — лигостай потрянул мешком, — фальшивые! Иди ты в другую землю, там тоже царь худ, скажи, что про царскую смерть знаешь. Буду я в головах сидеть, и ты скажи царю: не будет ему житья, смерть будет. А ему трудно, он только этого и хочет, смерти хочет. И он наградит тебя: царем вместо себя поставит. И ты будешь царствовать тридцать лет. Знай: в который час корону примешь, в тот же самый час через тридцать лет и помрешь. Помни! Приготовься! Я приду.

Простился Сергей с лигостаем страшным, пошел в ту землю, где царь хворал.

— Я про царскую смерть знаю! — трубит Сергей.

Узнали, кому следует, Сергея схватили да к царю.

Привели Сергея к царю, и уж на пороге видит Сергей: страшный расселся лигостай у царского изголовья, рожи корчит.

— Ваше царское величество, помрете!

А царь корону с себя снял да на Сергея.

— Царствуй, добрый человек, спасибо тебе! — и помер.

Помер царь, сел царем Сергей.

Хорошо царствовал Сергей и все дела государские исправлял верно. Тихо, мирно, было в его царстве. Богатели купцы торговлей, мужики много сеяли хлеба, — земли было вволю, собирали и того больше, и было где скоту кормиться, лугов было вдоволь, разбойники сидели за крепким караулом, никто не жаловался.

Все в делах, все в заботах, и не заметил царь, как прошли годы, и наступил тридцатый, последний его год.

«Ах, — схватился царь, — лигостай придет!»

И такая напала тоска на него, такая долит печаль, невесело, неважно все, не занимают дела.

«Лигостай придет, страшный придет!» — печалился царь.

И от печали разнемогся, и ничего уж не помогает, одно на уме: «Лигостай придет!»

Наступили последние сутки, пришел последний час. И кончились последние минуты, осталась всего одна последняя минута.

«Пойду в сады мои, прощусь...» — царь встал и к двери.

А на пороге лигостай.

— Чего ты, — говорит, — куда собрался, Сергей Иванович? — сам рожу корчит.

— В сады мои проститься, хочу проститься...

— А ты чего же раньше-то? Я же тебя предупреждал, — лигостай взял под руку царя, — ну, пойдем!

И они ходили вместе по саду, как два друга, мертвый царь да лигостай страшный. Царь все прощался. И не было куста, не было деревца, с кем бы Царь ни простился. Со всем белым светом простился царь и говорит:

— А что, страшный, как я помру, будут по мне плакать?

А лигостай как скорчит рожу.

— Ревут, — говорит, — третий день ревут, уж третий день, как ты помер: в ту самую минуту, у порога, как встретились мы, ты и помер! Спасибо за любительский калачик!

Лигостай лязгнул зубами, страшный, отвел свою бескорыстную страшную руку, и остался царь один, не царь — душа человечья.

1911



1

Жил-был мужик с женою. Жили они хорошо, и век бы им вместе жить, да случился трудный год, не родилось хлеба, и пришлось расстаться. Поехал Федор в Питер на заработки, осталась одна Марья со стариком да старухой.

Трудно было одной Марье. Кое-как год она перебилась, к осени полегче стало. Ждет мужа — нет вестей от Федора. Ждать-пождать, — не едет Федор. Да жив ли?

А тут говорят, помер. Бабы от солдата слышали, что Федор помер. Ну, Марья в слезы, убивается, плачет.

— Хоть бы мертвый приехал, посмотреть бы еще разок! — так Марья плачет, так ей скучно.

Прожила она в слезах осень, все тужит: без мужа скучно.

А Федор вдруг на святках и приезжает.

И уж так рада Марья, от радости плачет: вот не чаяла, вот не гадала!

— А мне говорили, что ты помер!

— Ну, вот еще помер! И чего не наскажут бабы!

И стали они жить да поживать, Федор да Марья.

2

Все шло по-старому, будто никогда и не расставались они друг с другом — не уезжал Федор в Питер, не оставалась одна Марья без мужа — век вместе жили. Все попрежнему шло, как было. Все... да не все: стало

Марье думаться, и чем дальше, тем больше думалось:

«А что, как он мертвый?»

Случится на деревне покойник, Марье всегда охота посмотреть, ну, она и Федора зовет с собою, а он, чтобы идти к покойнику смотреть, нет, никогда не пойдет.

Раз она уж так его упрашивала, приставала к нему, приставала — покойник-то очень уж богатый был — насилу уговорила. И пошли, вместе пошли.

Приходят они туда в дом, где покойник: покойник в гробу лежал, лицо покрышкой покрыто. Собрались родственники, сняли покрышку, лицо открыли, чтобы посмотреть на покойника. Тут и все потянулись: всякому охота на покойника посмотреть. С народом протиснулась и Марья. Оглянулась Марья Федора поманить, смотрит, а он стоит у порога большой такой, выше всех на голову, усмехается.

«И чего же это он усмехается?» — подумалось Марье, и чего-то страшно стало.

Начал народ расходиться. И они вышли, пошли домой.

Дорогой она его и спрашивает:

— Чего ты, Федор, смеялся?

— Так, ничего, я... — не хочет отвечать.

А она пристаёт: скажи, да скажи. Федор молчит, все отнекивается, потом и говорит:

— Вот как покрышку сняли с него, а черти к нему так в рот и лезут.

— Что ж это такое?

— А хлоптун из него выйдет.

— Какой хлоптун?

— А такой! Пять годов живет хлоптун хорошо, чисто, и не признаешь, а потом и начнет: сперва ест скотину, а за скотиной и за людей принимается.

И как сказал это Федор, стало Марье опять как-то страшно, еще страшнее.

— А как же его извести, хлоптуна-то? — спрашивает Марья.

— А извести его очень просто, — говорит Федор, — от жеребца взять узду-оборот и уздой этой бить хлоптуна по рукам сзади, он и помрет.

Вернулись они домой, легли спать.

Заснул Федор. А Марья не спит, боится.

«А что если он хлоптун и есть?» — боится, не спит Марья, не заснуть ей больше, не прогнать страх и думу.

Куда все девалось, все прежнее? Жили в душу Федор да Марья, теперь

нет ничего. Виду не подает Марья, — затаила в себе страх, — не сварлива она, угождает мужу, но уж смотрит совсем не так, не по-старому, невесело, вся извелась, громко не скажет, не засмеется.

Четыре года прожила Марья в страхе, четыре года прошло, как вернулся Федор из Питера, пятый пошел.

«Пять годов живет хлоптун хорошо, чисто и не признаешь, а лотом и начнет: сперва ест скотину, а за скотиной за людей принимается!» — и как вспомнит Марья, так и упадет сердце.

И уж она не может больше терпеть, не спит, не ест, душит страх.

— Не сын ваш Федор... хлоптун! — крикнула Марья старику и старухе.

— Как так?

— Так, что хлоптун! — и рассказала старикам Марья, что от самого от Федора о хлоптуне слышала — последний год живет, кончится год, съест он нас.

Испугались старики:

— Съест он нас!

Всем страшно, все настороже. И стали за Федором присматривать. Глядь, а он уж на дороге коров ест.

Обезумела Марья, трясутся старики.

Достали они от жеребца узду-оборот, подкараулили Федора, подкрались сзади, да по рукам его уздой как дернут...

Упал Федор.

— Сгубила, — говорит, — ты меня! — да тут и кончился.

Тут и все.

1911



Лежал мертвец в могиле, никто его не трогал, лежал себе спокойно, тихо и смирно. Натрудился, видно, бедняга, и легко ему было в могиле. Темь, сырь, мертвечину еще не чуял, отлеживался, отсыпался после дней суетливых.

Случилось на селе о праздниках игрище, большой разгул и веселье. На людях, известно, всякому хочется отличиться, показать себя, отколоть коленце на удивленье, ну, кто во что, все пустились на выдумки.

А было три товарища — три приятеля, и сговорились приятели попугать сборище покойником: откопать мертвеца, довести мертвеца до дому, а потом втолкнуть его в комнату, то-то будет удивленье: сговорились товарищи и отправились на кладбище.

На кладбище тихо, — кому туда на ночь дорога! — высмотрели приятели свежую могилу и закипела работа: живо снесли холмик, стали копать и уж скоро разрыли могилу, вытащили мертвеца из ямы.

Ничего, мертвец дался легко, двое взяли его под руки, третий сзади стал, чтобы ноги ему передвигать, и повели, так и пошли — мертвый и трое живых.

Идут они по дороге, — ничего, вошли в село, скоро и дом, вот удивят!

Те двое передних, что мертвеца под руки держат, ничего не замечают, а третий, который ноги переставлял, вдруг почувствовал, что ноги-то будто

живые: мертвец уж сам понемножку пятится, все крепче, по-живому ступает ногами, а, значит, и весь оживет, оживет мертвец, будет беда — да незаметно и утек.

Идут товарищи, ведут мертвеца — скоро, уж скоро дом, вот удивят! Ничего не замечают, а мертвец стал отходить, оживляться, сам уж свободно идет, ничего не замечают, на товарища думают, которого и след простыл, будто его рук дело, ловко им помогает.

Дальше да больше, чем ближе, тем больше, и ожил мертвец — у, какой недовольный!

Подвели его товарищи к дому, в сени вошли.

А там играют, там веселье — самый разгар, вот удивят!

— А Гришка-то сбежал, оробел, — хватились товарища, и самим стало страшно, думают, поскорее втолкнуть мертвеца да и уходить, — Гришка сбежал!

Открыли дверь — вот удивятся! — хотят втолкнуть мертвеца, а выпростать рук и не могут, тянет мертвец за собой.

А правда, в доме перепуг такой сделался — признали мертвеца — кто пал на землю, кто выскочил, кто в столбняке, как был, так и стал.

Тянет мертвец за собой, и как ни старались — рвутся, из сил выбиваются, держит мертвец, все тесней прижимает.

— Куда ж, — говорит, — вы, голубчики, от меня рветесь? Лежал я спокойно, насилу-то от Бога покой получил, обеспокоили меня, а теперь побывайте со мной!

Совсем как все, говорит, только смотрит совсем не по-нашему! Нет, не уйти от такого, не выпустит, — совсем не по-нашему!

Собралось все село смотреть, а эти несчастные уж и не рвутся, не отбиваются, упрашивают мертвеца, чтобы освободил их, выпростал руки.

А он только смотрит, крепко держит, ничего не рассказывает.

Стал народ полегоньку отрывать их от покойника, не тут-то, кричат не в голову, что больно им. Ну, и отступился народ. Отступился народ, говорят, что надо всех трех хоронить.

И видят несчастные, дело приходит к гибели, заплакали, сильнее умолять мертвеца стали, чтобы освободил их.

А он только смотрит, еще крепче держит, ничего не рассказывает.

И два дня и две ночи не выпускал их мертвец, а на третий день ослабели мертвецкие руки, подкосились мертвецкие ноги, да их тело-то, руки их с мертвым, с телом мертвецким срослись — хоть руби, не оторваться!

Господь не прощает.

И начали они просить у соседей прощения и у родных. Простились с соседями, простились с родными. И повели их на кладбище с мертвецом закапывать.

И так и закопали равно вместе — того мертвеца неживого, а этих живых.

Здравствуй хозяин с хозяйшкой,
На долгие веки, на многие лета!

Мирские притчи



Муты

Ходила старуха за морошкой в лес. Набрала старуха полный бурок и заблудилась: ходит по лесу, выйти не может. А Леший-шишко — ему только того и надо — рад, что старуха домой попасть не может. Леший тут как тут.

И не в старухе дело, в старухе-то ему корысть невеликая, а спасалось в лесу два старца, две избушки в лесу стояло, стращали старцы прогнать Лешего из леса, вот на них и был у Лешего зуб.

И говорит Леший-шишко старухе:

— Что, бабка, не можешь ли ты сделать со старцем, смутить, значит, грех произвести?

Страсть напугалась старуха, инда дрожь на сердце, на все готова старуха, и рада старуха на старости лет до конца своего хоть заячьей, хоть беличьей говядиной питаться, лешиним кушаньем любимым, только бы

домой ей дойти.

— Ты, бабка, покличь старца, да щелкни его в лысину, скажи: «На другому оставь!» Только и всего. Я тебя, Федоровна, домой сведу! — и пошел, будто кур, пошел, не откликнется.

Делать нечего, пошла старуха за Лешим, да к избушкам и вышла, где старцы спасались.

— Отче, отворите окошко! — стучит старуха к старцу.

Отворил старец окно, наклонился к старухе, а она его шлеп по лысине:

— На, другому оставь! — и пошла прочь.

А старец не успел окна затворить, другой уж идет к нему: слышал другой старец, что старуха-то сказала.

— Что, — говорит, — чего тебе дали?

— А не дали ничего.

— Да как же ничего, сам слышал: оставь другому.

Поспорили. Дальше — больше, и такой грех вышел, переругались старцы, и уж в чем только не обвинили друг друга — и спасенье их ни во что пошло, хоть опять в дупло полезай, да сызнова все грехи замаливай.

А старуху Леший из лесу вывел, домой свел.

Господен звон



Жил один старик в лесу. А ушел старик в лес, чтобы Богу угодить, Богу молиться. И много лет жил так старик в лесу, все молился. И чем больше он молился, тем ясней ему было, что жизнь его угодней становится Богу, — все он у Бога узнает и в святые попадет. Так и жил старик.

Ну, и приходит к старику, уж Господь его знает какой, странник — калика проходящий.

— Бог помощь, — говорит, — лесовой лежебочина!

А старику обидно:

— А как так я лежебочина, я Богу молюсь и тружусь, труды полагаю, потею!

— Потеть-то потеешь, — сам улыбается странник, — а когда у Господа благовест, к обедне звонят и пора обеда, чай, не знаешь! А вот на поле крестьянин благочестивый, тот знает — и пошел.

Ушел, уж Господь его знает какой, странник — калика проходящий, ушел, и остался старик один и взял себе в разум: «Как же так, жил он столько лет в лесу, в лес ушел, чтобы Богу угодить, молился, думал, что уж все у Бога знает, в святые попал, а и того не знает, когда к Господней обедне благовестят?»

И решил старик: идти ему на поле, искать того человека, который звон Господен слышит.

И вышел из леса, идет старик по полю и видит: мужик поле пашет.

— Бог помощь! — подошел старик к пахарю.

— Иди себе с Богом, добрый человек! — поздоровался пахарь, а сам, знай себе, пашет.

И хотел уж старик дальше идти: что с такого возьмешь, так, мужичонка корявый, да присел на межу отдохнуть и раздумался.

Сидит старик на меже, молитву творит, а пахарь все пашет. И долго сидел так старик и, хоть корешками питался, о корешках мысли пошли, а пахарь все пашет.

Терпел старик, терпел, встал.

— А обедал ли ты, добрый человек? — не вытерпел, встал старик.

— Какой там обед, еще у Господа благовест не идет! — ответил пахарь, а сам, знай, все пашет.

И опять присел старик на межу: и уж и голод забыл, и молитву не творит; сидит, ждет, слушает, когда у Господа заблаговестят.

А пахарь допахал полосу, поставил лошадь, снял шапку, перекрестился.

— Ты чего, добрый человек, перекрестился?

— А вот благовест к обедне начался, звон Господен, обедать пора, — сказал пахарь, вынул краюшку, присел закусить.

Слушает старик, — ничего не слышит, слушает, — никакого звону не слышит.

И долго стоял так старик и ничего не услышал. И ясно ему, этот пахарь, мужичонка корявый, больше его у Бога знает.

И пошел старик назад в лес и опять стал молиться, и домолился старик, в святые попал.

Глумы



Скоморох

Царствовал царь на царстве, на ровном месте, как сыр на скатерти. Охотник был царь сказок послушать. И дал царь по царству указ, чтобы сказку сказали, которой никто не слыхивал:

«За то, кто скажет, полцарства отдам и царевну!»

Полцарства и царевну! Да этакой сказки сказать никто не находится.

А был у царя ухарёц — большой скоморох, — плохи были дела, стали гнать скоморохов, — и сидел скоморох с голытьбой в кабаке. Сидел скоморох в кабаке, крест пропивал.

— Что ж, Алексей, — говорят скомороху, — или не хочешь на царской дочке жениться? — поднимают на смех, гогочут.

Подзадорили скомороха царской наградой: была не была, хоть в шубе на рыбьем меху, да уж впору ему царю сказку сказывать.

Приходит из кабака скоморох к царю во дворец, говорит царю:

— Ваше царское величество! Изволь меня напоить, накормить, я вам буду сказки сказывать.

Всполошились царские слуги, собрались все малюты скурлатые,

вышла и царская дочь — Лисава, царица прекрасная.

Накормили скомороха, напоили, посадили на стул.

— Сказывай, слушаю, — сказал царь.

И стал скоморох сказки сказывать.

— А как был у меня батюшка — богатого живота человек. И он соорудил себе дом, там голуби по кровле-шелому ходили, с неба звезды клевали. У дома был двор — от ворот до ворот летом, долгим межанным днем голубь не мог перелетывать!.. Слыхали ли такую сказку?

— Нет, не слыхал, — сказал царь.

— Не слыхали! — гаркнули скурлатые.

Потупилась царица Лисава прекрасная.

— Ну, так это не сказка, а присказка: сказка будет завтра, по вечеру, — встал скоморох и ушел.

День не видали скомороха на улице, не сидел скоморох в кабаке, вечером явился к царю.

— Ваше царское величество! Изволь меня напоить, накормить, я вам буду сказки сказывать.

И опять собрались все скурлатые, вышла и царица, Лисава прекрасная.

Накормили скомороха, напоили, посадили на стул.

— Сказывай, слушаю, — сказал царь.

И стал скоморох сказки сказывать.

— А как был у меня батюшка — богатого живота человек. И он соорудил себе дом, там голуби по крыше-шелому ходили, с неба звезды клевали. У дома был двор, — от ворот до ворот летом, долгим межанным днем, голубь не мог перелетывать. И на этом дворе был выращен бык: на одном рогу сидел пастух, на другом — другой, в трубы трубят и в роги играют, а друг другу лица не видно и голоса не слышно!.. Слыхали вы такую сказку?

— Нет, не слыхал, — сказал царь.

— Не слыхали! — гаркнули скурлатые.

Вспыхнула царица Лисава прекрасная.

— Ну, и это не самая сказка, завтра будет настоящая! — шапку взял да и за дверь.

Видит царь, человек непутный, не полцарства жаль, жаль царицу Лисаву, и говорит своим слугам:

— Что мои, верные слуги, малюты, а скажем, что сказку слыхали, и подпишемте.

— Слыхали, подпишем! — зашипели скурлаты.

Тут царский писчик столбец настрочил, скрепил, и все подписались, что слыхана сказка, все ее слышали. Тем дело и кончилось.

С утра сидел скоморох в кабаке, пить не пил, пьян без вина.

— Что ж, Лексей, — подзадаривала голь, — полцарства и царскую дочь?

— Не допустят! — каркала кабацкая голь.

В третий раз третьим вечером приходит скоморох к царю.

— Ваше царское величество! Изволь меня напоить, накормить, я вам буду сказки сказывать.

А уж скурлаты на своих местах, задрали нос, брюхо выпятили: так и дадут они скомороху полцарства и царскую дочь, — хитер скоморох, скурлат вдвое хитрей. Вышла и царская дочь Лисава, царевна прекрасная.

Накормили скомороха, напоили, посадили на стул.

— Сказывай, слушаю, — сказал царь.

И стал скоморох сказки сказывать.

— А как был у меня батюшка — богатого живота человек. И он соорстил себе дом, там голуби по кровле-шелому ходили, с неба звезды клевали. У дома был двор, — от ворот до ворот, долгим меженным днем, голубь не мог перелетывать. И на этом дворе был выращен бык: на одном рогу сидел пастух, на другом — другой, в трубы трубят и в роги играют, а друг другу лица не видно и голоса не слышно. И была еще на дворе кобылица: по трои жеребят в сутки носила, все третьяков-трехгодовалых. И жил он в ту пору весьма богато. И ты, наш великий царь, занял у него сорок тысяч денег. Слыхали ли этакую сказку?

— Слыхал, — сказал царь.

— Слыхали! — гаркнули скурлатые.

— Слыхали? — сказал скоморох, — а ведь царь до сих пор денег мне не отдает!

И видит царь, дело нехорошее: либо полцарства и царевну давай, либо сорок тысяч денег выкладывай. И велит скурлатам денег сундук притащить.

Притащили скурлаты сундук.

— На, бери, — сказал царь, — твое золото. Поклонился скоморох царю, поклонился царевне, поклонился народу.

— Не надо мне золота, не надо и царства, дарю без отдарка! — и пошел в кабак с песнями.

А царевна Лисава прекрасная стоит бела, что березка бела.

Потихоньку, скоморохи, играйте.

Потихоньку, веселые, играйте,
У меня головушка болит,
У меня сердце щемит!

Вот и сказка вся.
1912

Пес-богатырь



Был один охотник — лесной человек.

Шайками на охоту не любил ходить охотник — был у него верный пес, простое ружье. Благословил его ружьем лесник-колдун, как помирать пришел час старику, а пса разжился у знакомого от злой сучки. И немало забот ему было со псом: год растил щенка в погребе, караул держал — пронюхали звери, что будет пес-богатырь, и сколько подкапывались зубом к погребу, утащить хотели песика, зверь это все понимает! — уберег от зверей, и вышел пес ему верный, а злой — в мать. Верный пес, простое ружье — куда хочешь, и ночью надежно.

Случилось охотнику под Егорьев день заночевать в лесу. Под Егорьев день жутко в лесу! Расклат он огонек, давай на огне сало печь, и слышит, голос в лесу — так пастух днем скотину пасет, кнутом хлопает, кнутом кто-то хлопает, инда по лесу отголосок идет. Прислушался — кому б это быть? — а уж треск пошел и близко, все ближе к огню.

И стали один за другим выходить к огню волки — подойдет волк и ляжет к огню. Так и идут, и идут гужом, как скот дружный, с полдесятины кругом огня место заняли — все волки. А за серыми пошли белые — начальство волчиное. И с белыми на белом коне сам Егорий.

— Добрый ночлег тебе, охотник! — сказал Егорий.

Догадался охотник, верно, сам Егорий на белом коне среди белых волков, по его повелению и волки пришли, поклонился охотник Егорию.

— Вот вы, Храбрый Егорий, сказали: добрый ночлег мне, — а думаю так, ненаровчатый этот попал мне ночлег, сроду мне случая не было такого — по такому табуну волков видеть.

— А не нужно было под Егорья ночевать на охоте! Мне завтра праздник! — глядит Егорий строго.

Ну, охотник и замолчал, сам понимает, не нужно было ему в лес ходить на охоту под такой праздник, против ничего не скажешь: провинился.

А пес охотников, Знайко, бурчит и бурчит.

— Да что твоему псу нету покоя, бурчит и бурчит? — строго глядит Егорий.

— Какой тут покой, ведь это все песьи губители, вот он и сердится! — потрепал охотник своего верного пса.

— А были когда случаи, чтобы пес твой с волками боролся? — строго глядит Егорий.

— Как не бывать, случалось, штуки три и четыре нападали на пса, да он им не поддавался, Знайко-то! — и стало не по себе охотнику, чует — лесной человек! — будет беда!

— А ну-ка, вели ему с двумя моими волками побороться! — сказал Егорий.

И жалко охотнику пса и ничего не поделаешь, согласился, — перечить нельзя, — согласишься!

— Что ж, — говорит, — пускай поборются.

Ну, Знайко долго с волками не врызгался — у Знайки клыки вершка по три торчали, кроянул пес клыками одного волка и другого. Чуть живые побежали волки прочь от стану.

— Ишь, какой злой, знать, и пятерым не поддается! — и повелел Егорий пяти волкам со псом драться.

Пять волков напустились на Знайку, а Знайко еще ярей стал и сердитей, трех так и кончил, а двух перервал.

Семь уж зверей перерезано, семь волков, а псу ничего — ничего не вредилося.

— Десять волков напущу!

И по слову Егория кинулись волки на Знайку, десять волков.

Да не тут-то: как пятерых, так и этих, кончил пес, а сам невредимым остался.

— Нет, охотник, — сказал Егорий, — уж теперь и мне своих зверей жалко, а свяжи-ка ты пса!

И связал охотник Знайку, послушаться не посмел, связал охотник своего верного пса: передние ноги и задние.

И тогда бросились волки на Знайку, стали грызть связанного пса и загрызли пса до смерти.

А сколько порезал пес, сколько ранил волков, и вот покончили пса!

Загоревал охотник.

— Вы, — говорит, — святой угодник, а поступили беззаконно, зачем приказали мне связать моего пса!

— Правда, незаконно я поступил, — ответил Егорий, — я за то тебя наказываю, что не должен ты был под мой праздник ночевать на охоте. Я над зверями пастырь — по моему повеленью режут звери скотину. И вот я со своим стадом и настиг тебя наказать.

Поднялись волки и пошли от огонька, один за другим, пошли волки гужом, как скот дружный, а за серыми белые — начальство волчиное, и среди белых на белом коне отъехал Егорий.

Остался в лесу охотник. И прошла ночь, погас огонек, светать стало. И пошел охотник домой, один, без своего верного пса.

Тоскливо было ему без своего верного пса.

И приснился охотнику ночью его Знайко, будто говорит ему Знайко:

— Эх, хозяин, Михайло Михайлыч, было б тебе не вязать мне всех ног, не поддались бы мы и всему стаду Егорьеву, мы прошли бы леса все, все пущи, никаких зверей не боялись. Эх, хозяин!

Проснулся охотник, еще тоскливее стало: было б ему не вязать всех ног Знайке!

— Эх, пес мой верный!

Да так затосковал, так затосковал охотник, что от тоски и помер.

1912



Был один охотник Архип. Сам сивый, лоб бараний, усы котовы, а глаз круглый-птичий. На зверя и птицу слово знал.

И как выйдет, бывало, Архип с ружьем в поле либо в лес, помолится, поклонится, покурлычит, а их уж видимо-невидимо зверей всяких, и текут, и брызжут, и мечутся, и скачут с отцами, матерями, со всем родом-племенем, со всем заячьим причетом безоглядно, безразлично, безотменно, бесповоротно, шибко и прытко белые, красные, черные, бурнастые, разношерстные, разнокопытные, рыси, росوماхи — весь подубравный зверь.

Глядь, ловушки и ставушки, тенета и опутины верх полны: там который прилепился головкою, там задел ножками либо хвостиком, а там всем крылом влез.

Ельник, речка, водотопина были Архипу в честь и радость, и помогали ему, как свой брат, подземные жилы, тайные ключи, поточины.

Вот и стал раздумывать Архип, как бы ему на небо попасть, поглазеть на Божью небесную тварь — на солнце, луну, на мелки часты звезды и на планеты.

Поднялся Архип со светом, помолился на восход красна солнца, на закат света месяца, на тихую зарю утреннюю и вечернюю и пошел в лес. Вырубил он лысину, стал строгать стружки. Строгал, строгал, настрогал большой костер, закрыл его мокрою рогожею, зажег стружки. Загорелись стружки, Архип на рогожу стал: жаром его вверх подымать будет, он и полетит, — так держал в уме Архип.

Его и стало подымать вверх на воздух, на вышние небеса дальше и дальше. И летит уж он без шапки об одном сапоге — перетерял дорогою, летит он, как стрела из тугого лука, как молния из облачной гряды.

Летел, летел Архип, а как остановился да осмотрелся: земля-то вроде Божьей коровки — такая она маленькая, не видать земли, вот на какую угодил Архип высоту!

Ну и ходит Архип по небесам. Туда ткнется, сюда сунется, народу никакого нет, и одни-то звезды над тихой водой, тихо чистые теплятся, поют божественное.

Прожил неделю Архип, скучно стало — земли не видать: без земли-то человеку скучно!

И ходил он, ходил по небесам, нашел веревку и видит: много наложено ее на облаках и без всякого присмотру.

Думает себе:

«Свяжу веревку, спускать буду, до земли хватит!»

Спустил он всю веревку, привязал за дерево — большое стояло, без корня, без листьев, а дерево — и стал спускаться.

Спускался он, спускался, и такой вышел грех: кончилась веревка, — на полверсты не хватает, не больше.

А ветер свистит, качает, носит его над долиною, носит его над горами. Понесет над долиною, — все города, все деревни видны. И кричит Архип, да кому услышать, а и услышат, чай, за ворону примут!

Вот несет его ветер над гладким местом.

«Развяжу-ка я узел!» — думает Архип: летавши-то измызгаешься, и не такое в голову ползет.

И развязал: только уши запели.

И угодил Архип прямо в дряп по грудь и с руками, — вылезть не может.

Прокатилось время весеннее, налетели разные птицы, прилетел и лебедь. Видит лебедь на болоте сено, а у лебедя известно: где бы ни нашел он кусочек, тут и гнездо делать. Принес лебедь с берега землицы, огладил лапками кочку — Архиповы-то волосья лебедь за кочку принял! — яйцо положил, другое, третье и начал парить.

А волк-волчище уж чует лебяжье гнездо, только попасть не может. Подкараулил волк, когда лебедя не было, яйца лебяжьи съел, гнездо разворотил и расселся отдохнуть, серый.

Архип как зубом цап его за хвост, а волк как прыгнет — из дряпа Архипа и выдернул.

Так Архип и вышел.

— Нет, ребята, — рассказывает, — не нужно на небо летать!

И с тех пор, словно на смех, как прикатится весеннее время, глядь, а уж который-нибудь охотник рубит лесину, строгают стружки, раздувает костер, тят да ляп — полетел!

Конечно, без земли человеку скучно, да охота пуще неволи: хочется поглазеть человеку на Божью небесную тварь — на солнце, луну, на мелкие часты звезды и на планеты.



Жил в лесу лесник, стояла у лесника в лесу избушка. Днем лесник в лесу ходил, вечером на ночлег в избушке хоронился. Место было глухое: ни дороги, ни пути, да и не заходил никто в такие дебри и чащи. И вот однажды приходит к леснику медведь, и прямо, не спросясь, идет за печку, и там рассаживается, как свой.

Лесник не робкого десятка, а струхнул не на шутку: стрелять не смеет. А медведь все сидит, не уходит. Сготовил лесник ужин, есть захотелось. Поел сам, дал и медведю, накормил медведя. Легли спать. И спали ночь мирно.

Поутру собирается лесник в лес, а медведь из избушки на волю. И опять лесник сам заправился и медведя попотчевал. Вышел медведь из избушки, ничего не сказал, только поклонился леснику до земли низко. Один пошел в одну сторону, другой в другую.

В крещенскую ярмарку приехал лесник в город. И вот один богатый приказчик зазвал его в трактир с собою и ну угощать. И так его угощал, что лесник от удовольствия даже имя свое крещеное запомнил.

И спрашивает лесника приказчик:

— Можешь ли ты знать, за что я тебя угощаю?

— Не могу знать, — отвечал лесник.

Приказчик ему и говорит:

— А помнишь, как я у тебя ночь ночевал?

— Когда ты ночевал?

— А был ты в своей избушке в лесу, и пришел к тебе медведь. Я самый и есть медведь.

— Как так медведь?

— Да так. Если бы ты взялся тогда за ружье, я бы тебя съел. Три года,

три весны ходил я в шкуре медведем, люди испортили, обернули меня медведем.

Тут лесник чуть было ума не решился, а потом ничего — отошел.

Вернулся лесник в лес в свою лесную избушку и стал себе жить да поживать здорово, хорошо, и уж никого не боялся: заяц ли усатый забежит в избушку, росомаха ли — все за гостей, все как свои, милости просим!

Чудесные башмачки

Жил-был царь и царица, и была у них дочь царевна Курушка. Как-то стали у царевны в голове искать, вошку и нашли. Положили вошку на овцу, — сделалась она с овцу. С овцы положили на барана, — сделалась она с барана. Тут царь приказал убить ее и выделать шкуру. А из шкуры сшили Курушке башмачки.

И дал царь по всем государствам знать:

— Кто отгадает, из какой кожи башмачки у царевны, за того и замуж отдам.

Поприезжали царевичи, королевичи. Кто скажет Козловы, кто сафьянные, — никто не может отгадать.

Узнал колдун Мертвяк, пришел и объявил:

— У Курушки-царевны башмачки вошиные!

Надо царю слово сдержать. Назначили свадьбу.

Горевал царь: страшен колдун Мертвяк, как сокрыть царю от колдуна любимую дочь?

И придумал царь: посадить царевну на козла, увезти ее прочь, будто с сеном козел.

Вот поставили столы, за стол посадили клюку, нарядили клюку царевной, ну, ровно царевна!

Вот едет на свадьбу колдун, а козленок навстречу.

— Козлик, козлик, дома ли Курушка-царевна? — спрашивают поезжане.

— Дома, дома, вас, гостей, давно к себе ждет.

И другая лошадь ехала — спрашивали, и третья, и сам Мертвяк спрашивал:

— Козлик, козлик, дома ли Курушка-царевна?

— Дома, дома, вас, гостей, давно к себе ждет.

Так и проехали, а козлик с царевной дальше помчался.

Мертвяк приехал к царскому двору, выговаривает:

— Что же ты, Курушка, что же ты, царевна, не встречаешь меня, не кланяешься? — да в горницу.

А в горнице стоит за столом Курушка, не кланяется.

Ближе подошел Мертвяк, все ответа нет, да как бросится на нее — клюка и упала.

Обманут Мертвяк. Надули колдуна. Стал Мертвяк разыскивать царевну, весь дворец обошел, — нигде ее не может найти. Догадался колдун, поехал в погоню за козлом вслед.

Говорит царевна:

— Козлик, козлик, припади к матери-сырой земле, не едет ли Мертвяк за нами?

— Едет, едет, едет и близко есть.

Царевна бросила гребень.

— Стань лес непроходим, чтобы не было птице пролету, зверю проходу, Мертвяку проезду, впереди меня будь торна дорога широкая.

Мертвяк приехал — Мертвяку застава.

Скликнул Мертвяк мертвяцкую силу, навезли топоров, пил. Секли, рубили, просекали дорогу. Расчистили дорогу и опять Мертвяк погнался за Курушкой. Нагоняет царевну.

— Козлик, козлик, припади к матери-сырой земле, не едет ли Мертвяк за нами?

— Едет, едет, едет и близко есть.

Царевна бросила кремень.

— Стань гора непроходима до неба, чтобы не было птице пролету, зверю проходу, Мертвяку проезду.

Гора и стала.

Скликнул Мертвяк мертвяцкую силу, стали сечь да рубить, просекли дорогу, и снова погнался Мертвяк.

— Козлик, козлик, припади к матери-сырой земле, не едет ли Мертвяк за нами?

— Едет, едет, едет и близко есть.

Царевна бросила огниво.

— Стань огненна река, чтобы не было Мертвяку проезду.

Приехал Мертвяк — нет проезду. Кричит Мертвяк царевне:

— Брось мне, царевна, твои башмачки, я — Мертвяк, я не возьму тебя замуж.

Царевна бросила башмачки. Сел Мертвяк и поплыл, и доплыл до середины реки и утонул.

А Курушка царевна поехала в другое царство и там вышла замуж за

морского разбойника.

1908

Жадень-пальцы



Были три сына. Жили они с матерью со старухой. Жили они хорошо, и добра у них было много. Старуха-мать души не чаяла в детях. Только и думы у старой, что о детях, чтобы было им жить поспокойнее, побогаче, повеселее. И задумала старуха, — помирать ведь скоро! — захотелось матери еще при жизни благословить добром сыновей, добро разделить — каждому дать его часть.

И разделила мать добро свое поровну всем, все сыновьям отдала, а себе ничего не оставила. Что ей добро, богатство, зачем оно ей на старости лет — помирать ведь скоро! — как-нибудь век доживет, не оставят, небось, любимые детки, дадут ей угол дожить свой век.

Сыновья получили добро, не разошлись, все вместе дружно остались жить, как наперед вместе жили. Только матери-старухи уж никому теперь не надо. Гнать её не гонят, да лучше бы выгнали: трудно, когда ты не нужен!

Сели сыновья обедать, а никто за стол не посадит матери.

Лежит мать на печке голодная.

— Господи, хоть бы Ты мне смерть послал!

А проходил о ту пору по селу старичок-странник, зашел старичок в избу к братьям — хлебушка попросить.

— Господи, хоть бы Ты мне смерть послал! — молится мать.

Старичок и спрашивает:

— Что же это так, сами кушаете, а матери не даете?

— А нам ее никому не надо! — отвечают сыновья, знай себе ложкой постукивают.

— А продайте, — говорит старичок, — коли не надобна.

Сыновья к страннику, живо все из-за стола выскочили.

— Купи ее, дедушка, купи, сделай милость! Лишняя она, обуза нам с ней.

— Господи, хоть бы Ты мне смерть послал! — молится мать.

— А выведите ее, ребятки, за забор, там и денежки получите! — сказал странник, пошел из избы, вон из избы пошел.

Дети к матери, стащили старуху с печки, поволокли: двое под руки, третий сзади. Вывели из избы старуху да к забору и уж там, за забором, хотели они от нее отступиться, а рук и не могут отдернуть...

Старуха приросла к ним.

А с тех пор и живут так, не могут освободиться: сами едят и мать кормят.

1912

Медведчик



Шел медведчик большой дорогой, вел медведей. С медведями ходить трудно — медведь так в лес и смотрит, тоже поваляться охота в теплой берлоге — берлога просладена медом! — вот и изволь на скрипке играть, отводи душу медвежью.

За Филиппов пост наголодался медведчик, наголодался. Плохо нынче скомороху. И то сказать: без скомороха праздник не в праздник, а всяк

норовит лягнуть тебя побольнее, либо напьются, нажрут, и скомороха не надо.

Застигнул медведчика вечер: куда ему с медведями, такое позднее время! А стоял на дороге постоялый двор богатый. Просит медведчик у дворника пустить на ночлег. А дворник и слышать не хочет, отказывает.

Прошел слух, будто ездят по большим дорогам начальники, проверяют перед праздником чистоту у дворников. И была дворнику грамотка подброшена, что ночью нагрянет к нему начальник для проверки. Вот дворник, кто б ни попросился, всем и отказывал.

— Я не пускаю не то что тебя с твоими супостатами, я и извозчиков не пускаю, обещался нынешнее число сам губернатор у меня быть.

А работник дворников говорит дворнику:

— Хозяин, — говорит, — отведу я их в баню; в предмыльник поставить медведёв, а сами в бане упокоются.

Уперся дворник: и то и другое, и неудобно, и что губернаторские кони услышат запах медвежий, на дворе будут пугаться.

Плохо дело. А уж ночь охватывает, ночь — звезды, крепкий мороз. Просит медведчик, медведей ему жалко — как льдинки, звезды горят, крепкий мороз.

Ну, дворник и согласился.

— Отведи их в баню с медведями, — сказал дворник работнику, — да затвори покрепче, а ключи у себя держи, кто знает!

Отвел работник медведчика в баню, запер ворота и стал с хозяином звонка слушать, гостей поджидать.

2

Остался медведчик с медведями в бане. И тепло ему и медведям тепло, да все беспокойно что-то, сам не спит и медведи не спят: Миша лапу сосет, а медведица Кулина ноздрями посвистывает. Не мёртво, никак не уснуть, то Кулину погладит, то Мишу потреплет.

О чем медведица думала, невдомек медведчику, только что-то недоброе думала, губой пошлепывала, или чуяла недоброе, да сказать не могла? Миша тот свое думал: пройтись бы ему на пчельню пчелок поломать! Охотник был до меда медведь, лапу сосал.

Стал медведчик, потрогал лапы, потрогал уши медвежьи.

«Постой, — подумал, — прочитаю заговор, чтобы медведей ножи не брали, кто знает!»

— Мать-сыра земля! — поклонился медведчик Мише, поклонился Кулине, — мать-сыра земля, ты железу мать, а ты, железо, поди во свою мать-землю, а ты, древо, поди во свою мать-древо, а вы, перья, подите во свою мать-птицу, а ты, птица, полети в небо, а ты, клей, побеги в рыбу, а ты, рыба, поплыви в море, а медведю Мише, медведице Кулине было бы просторно по всей земле. Железо, уклад, сталь, медь на медведя Мишу, на медведицу Кулину не ходите, воротитесь ушьями и боками. Как метелица не может лететь прямо и приставать близко ко всякому древу, так бы всем вам не мочно ни прямо, ни тяжело падать на медведя Мишу, на медведицу Кулину и приставать к медведю Мише и к медведице Кулине. Как у мельницы жернова вертятся, так бы железо, уклад, сталь и медь вертелись бы круг медведя Миши и медведицы Кулины, а в них не попадали. А тело бы медвежье было не окровавлено, душа не осквернена. А будет мой приговор крепок и долог.

И только что медведчик заговор кончил, слышит, колокольчик у ворот брякнул, да все резче и громче.

3

Слышит работник, звонят у ворот, поднялся, и хозяин поднялся, тоже услышал.

— Беги, — говорит, — скорей, отворяй!

Работник к воротам, отворил калитку посмотреть, а у ворот люди — не такие, он назад, калитку запер да к хозяину. А уж разбойники давай сами бить и ломать, сорвали ворота да в дом, и сейчас же — овса, сена коням, а себе вина и закуски.

Хозяин видит, дело-то плохо приходит, старается угодить гостям, и вина и хлеб-соли полон стол наставил. А им все мало, до денег добираются, вот куда метят!

— Довольно, — говорят, — тебе, хозяин, копить, уж накопил достаточно, — да за сундук дворников и взялись.

Тут хозяин улучил минуту, пока молодцы из сундуков выбирали, да и пришепни работнику, чтобы в баню сходил к медведчику, помощи попросить медведями.

Работник в баню к медведчику, рассказал медведчику, какая беда у хозяина. Мигнул медведчик Мише, мигнул Кулине, вывел медведей из бани к дому, приказал им службу.

Кулина сердитей и сильнее Миши, велел ей медведчик в дом идти и

управляться, насколько есть мочи, да чтобы маху не давала, а Мише приказал в сениях ждать.

— Случаем тронутся утекать молодцы, — сказал медведчик, — маклашку давать им немилосердную!

Поклонились медведи медведчику, рады, дескать, приказание исполнить, стал Миша в сениях, поднялась на задние лапы медведица и пошла в дом.

А разбойники деньги все обобрали, и опять стали гулять, уж в дорогу пили и закусывали, да как посмотрели на это чудовище — космато, велико, голова, что квашня, — от страха так и ужаснулись.

Ну, Кулина не робкая, не заробела, давай их ломать во все свои силы — кому руки прочь, кому Ногу прочь, кому черепанку взлупила.

Разбойники за ножи, а нож не берет — погнулись в кольцо ножи, невредима медведица, видят, не сладить, и давай уходить, а Миша в дверях. И кто в сени выскочил, так тут и пал.

Так перебили медведи всех до единого, а было всех двенадцать молодцов, двенадцать разбойников.

— Собакам собачья честь! — сказал дворник, забрал себе двенадцать коней разбойничьих и до утра чистил и прибирал с работником дом и двор.

А медведчик, чуть свет, в путь пошел, повел медведей. До звезды ему надо добраться до города, пристать к колядовщикам.

Без скомороха, без медведчика и праздник не в праздник, и пир не в пир, коляда не настоящая.

ИЗ КНИГИ

«УКРЕПА» [\[343\]](#)

Слово к русской земле о земле родной, тайностях земных и судьбе

Шишок



Если другой раз и человека нипочем не берет пуля, то против нечистой силы что плевков, что пуля.

Стояли солдаты в земле не нашей, очереди дожидались и заскучали, стоявши. Вот он и задумал подшутить над ними.

— Стреляйте, — говорит, — в меня, сколько влезет, мне ничего не будет! — и стал сам мишенью.

Ну, и выискались охотники, нацелятся — выстрелят, а он сейчас же пулю из себя, и несет тому, что стрелял.

Диву давались солдаты.

А был один старичок в обозе, — угодники-то нынче, слышно, все туда, на войну ушли! — и говорит старичок солдатам:

— И чего вы, други, мудрить над собой даетесь, да и добро попусту изводить грешно!

— А как бы нам, дедушка, его осилить?

— А очень просто, — старичок-то все знал, — только зря не годится: отместит, окаянный.

Стали приставать к старику, скажи да скажи. А уж шишок, видно, сметил и что-то не слышно стало. Старичок и открыл тайность.

— Очень просто: пуговицу накрест разрежь, заряди ружье и стреляй, — завертится!

Ну, схватились было искать, туда-сюда...

А тут такое пошло, не до того, уж: вдруг повалил настоящий, гляди, не зевай, — силища страсть, и откуда только берется, так и прет.

Да Бог дал, из беды вышли.

Отстал от товарищей Курин, из третьей роты, не завалящий солдат, во! — папироску закуришь. Туда пойдет, нет дороги, повернет в сторону, — и того хуже. Так и пробирался на волю Божью, а уж едва ноги волочит, ой, пришлось туго!

Бредет Курин мимо пруда и видит: сидит на плотине... узнал, он самый, ногами в воде бултыхает, а рожу на Курина, язык высунул, дразнит:

— Что, мол, ничего, солдат, не сделаешь!

И так это Курину досадно стало, вспомнил он старичка, про что старичок-то сказывал, подошел поближе к плотине, живо отхватил пуговицу, зарядил ружье, прицелился да как трахнет.

Так того в прах.

— Ага! — словно обрадовался кто-то.

Только и услышал Курин, ноги соскользнули.

И сказывали, без вести солдат сгинул.

1915

Урвина



Девки устроили с парнями вечеринку. И началось не-ладом: одни девки своих парней больше пригласили, чтобы любы им были, а тех не пригласили, которые другим были любы, ну, и разожглись друг на друга. И хоть с виду и помирились, и пошло, как ни в чем, веселье — пляс и смешки, и хихиньки, да в сердце-то затаили.

Одни девки своим парням песни поют, другие — своим, парни пьют да девок пот' уют. А как подпили, уж все перемешалось, только стон стоит. И чего-чего не вытворяли, на какие выдумки не пускались, а все будто мало.

Тут сердце-то и заговорило: одна обиженная девка и пришепни счастливой, а той — море по колено. Подговорила та свою подругу, оделись, да тихонько из избы и вышли. И — ведь что придумать! — на кладбище пошли девки, вынули там двух мертвецов из общей могилы, завернули мертвецов в рогожи, да на своих косах и приволокли в избу, да за печку Их и поставили.

А сидела на печке девчонка Машутка и все видела, — испугалась девчонка мертвецов-то, молчит, прижалась в уголок, сердешная.

Девки вошли в горницу, посмеиваются, а никому и не вдогад, что там

за печкой, какие такие гости пожаловали.

Уж стали мертвецы пошевеливаться.

— Что, брат, разогреваешься?

— Разогреваюсь, брат.

— И я, брат, разогреваюсь.

Машутка-то на печке не пикнет, а вся изба, ей горя нет, пляшет, ой, весело!

В самую полночь девка обиженная, что на такое дело надоумила, и говорит подругам счастливым:

— Спойте вашим молодцам песенку, да повеселей, плясовую! — сама подмигивает: понимай, каким молодцам запечным!

Девки и запели песню веселую. И проняла до сердца мертвецов песня: мертвецы вдруг стали огненные, как головни горящие, языки высунули, изо рта пламя пошло, жупел, а сзади вытянулись, помахивают собачьи хвосты.

Как их в песне-то стали величать, как они из-за печки-то выскочат, да в горницу, и давай плясать по-своему и кривляться, и ломаться, и кувыркаться, да девок и парней лягать, пламенем, жупелом палить, да за бороду, да за косы рвать.

Куда тебе и хмель вон, ноги подкосились: кто где стоял, так тут ничком и грохнулся.

А мертвецы, знай, пляшут, не могут стать — дали им волю, и рады бы, не могут, пляшут — половицы вон из полу летят, посуда прыгает, все вдребезги, все в черепки.

До петухов мертвецы плясали и, как запел петух, так сквозь землю и провалились, инда земля застонала.

Поутру пришел народ, смотрят — кто без головы, кто без руки, кто без ноги, кто без бороды, кто без косы, и все мертвы, а посреди избы — урвина, сама бездонная, дна не достать.

А Машутку сняли с печки, едва откачали девчонку: и! напугалась-то как, сердешная! Машутка про все и рассказала.

Кабачная кикимора



Кабак стоял на юру у оврага, овраг осыпался, и кабак чуть лепился на овраге. Дважды в неделю в селе были большие базары, и в кабаке шла большая торговля. Да целовальник не долго сидел в кабаке, живо проторговывался: находили недочет, а, главное, большую усышку вина и рассиропку. В откупной конторе много было толку о кабаке, и странно было, что все целовальники рассказывали одно и то же, как ровно в полночь кто-то в кабаке вино цедит, когда же зажигали свечку, видели вроде хомяка — хомяк бег от бочки и прямо под пол, в нору. Кабак перестали снимать, и даже даром, без залогу, никто не снимал, кабак стоял заброшен.

Один пьянчужка, не раз штрафованный и пойманный в приеме краденного, промотался и попал в большую крайность, а был он человек семейный, не глупый и отчаянная голова. Ему-то откуп и предложил кабак. Пьянчужка согласился: все лучше, чем ходить из кабака в кабак.

В первую же ночь целовальник заготовил свечку, спичек, положил топор на стойку, выпил полуштоф и завалился спать.

— Теперь хоть сам черт приходи, никого не боюсь! — и заснул.

И слышит целовальник, кто-то цедит из разливной бочки, зажег свечку, топор в руку, осмотрелся и — к бочке. Видит, печати целы и только кран полуотворен. Постукал топором в бочку — звук не тот, вина, стало быть, меньше; сорвал печать, накинул мерник, — так и есть: трех ведер как не бывало.

— Черт что ли отлил! Коли черт, покажись! Я чертей не боюсь, до чертиков не раз допивался, не привыкать стать видеть вашего брата! — и уж протакаял так, как душе хотелось.

Под полом, раздался треск — стала половица поворачиваться, и стало из-под пола дерево вырастать. Все растет и растет — сучья, ветви, листья, и все выше и шире, уж закрывают кабак и склонились над головою.

Целовальник взмахнул топором и ну рубить.

— Так, брат, вот как по-нашему! Я тебе удружу.

Вдруг топор словно во что воткнулся — нет возможности сдвинуть: чья-то рука удерживала топор.

— Пусти меня! — целовальник не струсил, — знаю, черт, пусти! Я рубить буду!

И слышит, над самой головой кто-то тихо так и кротко:

— Послушай, любезный, не руби! Это — я.

— Да ты кто?

— Мы с тобой будем друзьями, и ты будешь счастлив.

— Да кто ты? Говори толком! И топор пусти, выпить хочу.

— Ну, брат, поднеси и мне.

— Да как же я тебе поднесу, коли тебя не вижу!

— Ты меня никогда не увидишь... Впрочем, когда прощаться буду, может, покажусь.

— Правду говоришь?

— Давай выпьем, потом и поговорим.

— Ну пусти ж топор.

Топор высвободился.

Целовальник зашел за стойку, взял штоф и хотел наливать.

— Послушай, любезный, — остановил его голос, — ты много не пей. Для нас довольно и полуштофа. Возьми вон тот, у него доньшко проверчено, в нем, брат, вино хорошее, не испорчено еще.

— А ты откуда знаешь? Я сам принимал посуду: все полуштофы были целы.

— А ты ходил отпускать вино-то мужику?

— Ходил.

— Тебе нарочно дистаночный и подменил полуштоф, чтобы наперед узнать, будешь ли здесь мошенничать.

Целовальник взял полуштоф, посмотрел перед свечкой — и вправду, на дне дырка проверчена, воском залеплена.

— Ну, чертова образина, теперь уж я верю, что ты черт.

— А ты не ругайся, друзьями будем. Угости лучше!

Целовальник налил два стакана, свой выпил, сам скосился, что будет — другой стакан поднялся и так в воздухе и опрокинулся, будто его кто пил, и так сухо, что и капли не осталось, только кто-то крякнул:

— Ну, брат, спасибо за угощение.

— Спасибо-то, спасибо, а ты мне Расскажи, кто ты.

— Расскажу потом., А теперь слушай: всякий день в полдень и в

полночь ставь в чело на заслонку стакан вина, да на меду лепешку. Этим я и буду кормиться, а ты себе торгуй. И не бойся ни поверенных, ни дистаночных, ни подсылных, я буду предупреждать: за версты узнаешь, кто едет и кто подослан. Ложись и спи. Да образов, пожалуйста, не ставь, да и молебны не служи. А как я отсюда через год уйду — от кабака до кабака скитаюсь, вот я какой! — так и ты выходи, а то худо будет. Слышал?

— Слышал.

— Так и поступай.

Целовальник выпил еще стакан и лег.

А дерево стало все меньше и меньше, ниже и ниже, и скрылось под полом, и половица опять легла на свое место, как ни в чем не бывало.

И свечка погасла.

2

На другой день был базар.

Целовальник поутру встал рано. Торговля открылась хорошая, и он, полупьяный, торговал целый день и ни в чем не обсчитался. К вечеру проверил выручку и смекнул, что лучше торговать и не придумает, а что ночью тот ему говорил, он все исполнил: не забыл угостить и в полдень и в полночь и вином и лепешкой.

С этого для целовальник торговал всем на зависть. Никогда он не попадал под штраф, а продавал вино рассиропленное, он всегда знал, кто из дистаночных или поверенных приедет к нему за проверкой, и был наготове.

Диву давались ловкости его, а больше тому, что хоть пил, а пьян не напивался.

Прошел год.

И вот в годовую полночь, когда целовальник, по обыкновению, спал себе мирно на стойке, вдруг по кабаку голос:

— Прощай, брат. Ухожу. Завтра и ты выходи!

— Ну, что ж! — целовальник поднялся, — ты мне все-таки покажись!

— Возьми ведро воды и смотри.

Целовальник взял ведро, зажег свечку и стал смотреть на воду. И увидел, прежде всего, себя, ну, лицо известное, и долго только это одно и видел, инда в глазах зарябило, и как-то вдруг с левого плеча увидел другое — черноглазый, чернобровый и как мел белый, а в щеках словно розовые листочки врезаны.

— Видишь?

— Вижу.
Кто-то вздохнул, и все пропало.
И всю ночь в трубе был вопль и плачь.

Целовальник наутро не ушел, а, как всегда, отворил кабак — хотел еще зашибить копейку. Но попался: нагрязнул дистаночный и жестоко оштрафовал.

Тут только он схватился и сейчас же сдал должность. И уж больше не целовальник, купил он на награбленные деньги постоянный двор, перестал пить и сделался набожным человеком.

1914

Магнит-камень



Шел улицей старец по духовному делу и повстречал молодых: парня с молодой хозяйкой. Загляделся старец на молодуху сколько жил он на белом свете, сколько видывал всяких, а такой не видел.

Где, добрый молодец, ты такую красавицу взял?

— Господь дал, дедушка.

Может ли это быть... Дай-ка я помолюсь, даст ли?

— Даст и тебе, дедушка.

С тем и попрощались. Молодые пошли по своим делам, а старец повернул в свое скитное место.

И круглый год молился старец Богу, просил Бога дать ему такую красавицу, как тому встречному счастливому парню. А был старец великой веры, и молитва его была горяча и чиста и неустанна.

Случилось о ту пору, задумал царь царевну замуж выдавать, и кликнул

царь клич по всему царству, чтобы охотники ко дворцу явились смотреть царевну. А была царевна такая красавица, краше ее и не было.

Дошел клич и до старца. В последний раз помолился старец и вышел из своего скитного места и прямо к царскому дворцу. Подходит к воротам и просится в палаты с царем поговорить. Доложили часовые, и велел царь пустить к себе старца.

Пал старец перед царем на колени.

— Что ты, дедушка? — спрашивает царь.

А старец подняться сам уж не может, стар очень.

Поднял его царь, усадил с собой. Отдышался старик.

— Ну, что же ты, дедушка?

— Да вот наслышался про вашу дочку-царевну, свататься пришел. Отдадите или нет?

Слушает царь, ушам не верит. Что за притча? Сперва-то даже страшно стало: не указание ли какое? Стал расспрашивать старика, откуда он и какой жизни. И рассказал ему о себе старец, как от юности своей ушел он от мира и в чистоте прожил в трудах скитских.

Видит царь, старик жизни хорошей, и говорит ему:

— Послушай, Федосей, человек ты толковый, до таких лет дожил, дай Бог каждому, сам ты понимаешь, ну куда тебе жениться?

А старик одно свое заладил, и ничем его не собьешь и никаким словом не остановишь: пришел царевну сватать, да и только.

— Я с дочери воли не снимаю, — говорит царь, — ступай к ней: как она скажет, так и будет.

Простился старец с царем, и провели старика к царевне в палату.

— Что тебе, дедушка, надо? — спросила царевна.

— Да вот сватать вас пришел. Пойдете или нет?

Переглянулась царевна с сестрами и говорит:

— Подумаю, — говорит, — выйдите на немного в прихожую.

Вышел старец. Стоит у двери, дожидается, а сам думает:

«Господи, неужели по молитве моей не дастся мне!» — и вспоминает, как тот парень сказал: «Дастся и тебе!»

А уж от царевны требуют.

— Ну, что, царевна?

— Я пойду за тебя, — говорит царевна, — дай только отсрочки с добром справиться!

А сестры ее тут же стоят и смеются.

— А сколько, царевна?

— На три года.

— На три года! Да я до той поры умру, царевна. Нет, либо нынче, либо завтра свадьба.

— Ну, хоть на два года, — просит царевна.

Старик не сдается.

— Ну, хоть на год!

— На три недели, царевна.

— Ладно, — согласилась царевна, — только так просто я за тебя не пойду, а достань ты мне магнит-камень, тогда и пойду.

А сестры ее тут же стоят и смеются.

Попрощался старец с царевной и пошел себе из дворца.

Не то, что достать, а он сроду родов не видывал, какой это магнит-камень.

Вышел старец в чистое поле, стоит и повертывается на четыре стороны.

— Господи, даешь мне царевну, а где я магнит-камень найду?

И видит, в стороне леса чуть огонек мигает. И пошел он на огонек. Шел, шел — а там келейка стоит. Постучал — не отзываются, отворил дверь — нет никого. И вошел в келейку, присел на лавку, сидит и думает:

«Где же я магнит-камень найду?»

И отвечает ему ровно бы человеческим голосом:

— Эх, Федосей, выпусти меня, я тебе магнит-камень достану.

— Кто ты?

— Все равно не поймешь, зачем тебе.

— Где же ты сидишь?

— В рукомойнике; выпусти, пожалуйста.

Старик думает, чего же не выпустить, коли магнит-камень достанет! Да насилиу отыскал рукомойник: от старости-то очень глазами слаб стал.

И выпустил, — словно что-то выскользнуло, — не томышь, не то гад.

Бес разлетелся с гуся и улетел.

«Ну, — хватился старик, — чего это я наделал!»

А уж тот назад летит, и камень в лапах.

— Вот тебе, получай!

Осмотрел старец камень, потрогал — вот он какой магнит-камень! А сам себе думает: «Как же так, освободил он нечистую силу, и за то в ответе будет!» И говорит бесу:

— Вот ты такой огромный, гусь, а залез в такую малую щелку?

А бес говорит:

— Да я, дедушка, каким хочешь могу сделаться!

— Ну, сделайся мушкой.
И вот бес из гуся стал вдруг мухой, самой маленькой мушкой.
Старец инда присел: не упустить бы.
— Пожужжи!
Бес пожужжал.
— Ну, полезай теперь на старое место, а я посмотрю, как это ты туда пролезешь...
Тот сдуру-то и влез... Влез, а старец его и зааминил.
Не с пустыми руками, с камнем — с магнитом-камнем пришел старец к царевне.
— Вот тебе царевна, — и показывает камень.
Посмотрела царевна: магнит-камень!
— Ну, стало быть, судьба моя, собирайся венчаться.
А старец и говорит:
— Нет, царевна. Куда мне? Я год молился. Я только Господа исповедал. И теперь вижу, и больше мне ничего не надо. Прощай, царевна.
И пошел в свое скитное место, доживать в трудах последние дни.
1914

Яйцо ягиное



Баба-Яга снесла яйцо.
Куда ей? — не курица, сидеть нет охоты. Завернула она яйцо в тряпицу, вынесла на заячью тропку, да под куст. Думала, слава Богу, сбыла,

а яйцо о кочку кокнулось — и вышел из него детеныш и заорал. Делать нечего, забрала его Яга в лапища и назад в избушку.

И рос у нее в избушке этот самый сын ее ягиный.

Ну, тут трошка-на-одной ножке и всякие соломины-воромины и гады, и птицы, и звери, и сама старая лягушка хромая принялись за него вовсю — и учили, и ладили, и тесали, и обламывали, и вышел из него не простой человек — Балдахал-чернокнижник.

А стоял за лесом монастырь и спасались в нем святые старцы, и много от них Яге вреда бывало, а Яга-баба на старцев зуб точила.

И вот посылает она свое отродье.

— Пойди, — говорит, — в Залесную пустынь, намыль голову шахлатым, чтобы не забывались!

А ему это ничего не стоит, такое придумает — не поздоровится.

И вот, под видом странника, отправился этот самый Балдахал в Залесную пустынь.

2

Монастырь окружен был стеною, четверо ворот с четырех сторон вели в ограду, и у каждых ворот, неотлучно, день и ночь пребывали старцы, разумевшие слово Божье: у южных — Василиан, у северных — Феофил, у восточных — Алипий и у западных, главных — Мелетий.

Балдахал, как подступил к воротам, и затеял спор, и посрамил трех старцев.

— Кто переспорит, того и вера правей! — напал нечестивый на последнего, четвертого старца у ворот главных.

И день спорят, и другой, и к концу третьего дня за-слабел старец Мелетий.

Замешалась братия. И положила молебен отслужить о прибавлении ума и разума. Да с перепугу-то, кто во что: кто Мурина от блуда, кто Вонифатию от пьянства, кто Антипе от зуба. Ну, и пошла завороха.

А уж Балдахал прижал Мелетия к стене и вот-вот в ограду войдет и тогда замутился весь монастырь.

3

Был в монастыре древний старец Филофей, прозорливец, святой

жизни. И как на грех удалился старец в пустынное место на гору и там пребывал в бдении, и только что келейник его Митрофан с ним.

Видит братия, дело плохо, без Филофея ума не собрать ниоткуда, и пустилась на хитрость, чтобы как-нибудь дать знать старцу, сманить с горы. А случилось, что на трапезу в тот день готовил повар ушки с грибами. И велено ему было такой ушок сделать покрупнее да с грибом вместе письмо запечь, да, погодя, поставить в духовку, чтобы закалился.

И когда все было готово, подбросили этот каленый ушок к главным воротам на стену перемета.

И вот, откуда ни возьмись, орел — и унес ушок.

4

Старец Филофей сидел в своей нагорной келье, углубившись в Святое Писанье. А келейник прибирал келью, понес сор из кельи, глядь — орел кружит. И все ниже и ниже и прямо на Митрофана, положил к ногам ношу и улетел.

— Что за чудеса! — со страхом поднял Митрофан ушок каленый да скорее в келью к старцу.

И как раскрыли, а оттуда письмо, и все там прописано о старцах и о Балдахале.

«Хочет проклятый обратить нас в треокаянную веру! Соблазнил трех старцев, за Мелетия взялся, и ему не сдобровать».

— Что ж, идти мне придется, что ли? — сказал старец.

— Благословите, батюшка, я пойду! — вызвался келейник.

— Под силу ли тебе, Митрофан? — усумнился старец. — А ну-ка, давай испытаю: я представлюсь нечестивцем Балдахалом и буду тебя совращать — толковать Писание неправильно, а ты мне говори правильно.

Митрофан крикнул, подтянул ременный пояс и ну вопрошать старца. И, ревнуя о вере, в такой пришел раж, всего-то исплевал старца и, подняв персты, ничего уже не слыша, вопил:

— Победихом!

Не малого стоило старцу унять его.

Опомнившись, с рыданием приступил Митрофан к старцу, прося прощение.

Старец сказал:

— Бог простит. Это знамение — победишь проклятого!

И, благословив на прю, дал ему кота, зеркальце да зерен горстку.

— Гряди во славу!

С котом под мышку вышел Митрофан на великую прю.

А Балдахал давным-давно прикончил с Мелетием, вошел в ограду, да в монастырских прудах и купается.

— Пускай-де с меня сойдет вся скверна: упрел больно с дураками!

Услышал это Митрофан и тут же, на бережку, расположился, достал кувшин, напихал в него всякой дряни, да и полощет: обмыть старается. А ничего не выходит, все дрянь сочится.

Балдахал кричит:

— Дурак, в кувшине сперва вымой!

Заело Митрофана:

— А ты чего лаешь, сам себе нутро очисти!

— Экий умник, — рассмехнулся Балдахал, — тебя только недоставало. И началась у них пря.

И с первых же слов стал нечистый сбивать с толку Митрофана. Растерялся было Митрофан и видит — мышка указывает усиком Балдахалу по книге. Митроха за кота: выпустил Варсофония. Варсофоний за мышкой — и пошел уж не тот разговор. Да не надолго. Опять нечистый взял силу. И видит Митрофан — голубь ходит по книге, лапкой указывает Балдахалу. Митрофан за зерно, посыпал зернышка — и пошел голубь от книги, ну клевать, наклевался, отяжелел и ни с места. И Балдахал запнулся. Да вывернулся проклятый. И не знает Митрофан, что ему и делать: ни слов нет, ни разуму! И вспомнил тут о зеркальце, вытащил его, да как заглянет — и сам себя не узнал: откуда что взялось! Балдахал только глаза таращит, и вдруг поднялся над землею и понесся. Осенил себя Митрофан крестным знаменем и за ним вдогонку, только полы раздуваются да сапог о сапог стучит. И занеслись они так высоко к звездам, там, где звезды светятся и не дай Бог коснутся: завьют, закрутят и падешь, как камень.

— Эй, — кричит Митроха, — гляди, не напорись!

— А что там? Что такое?

— А вот подбрось-ка туда космы.

Балдахал сграбастал пятернею свои космы да и подбросил — и хоть бы волосок на голове остался, гола, что коленка. «Ну, слава Богу, хоть голова-то уцелела!»

И раздумался. Видит, что враг — добрый человек: предостерег! И

удивился.

Тут его Митрофан и зацапал, и повел в заточение.

6

Кельи в монастыре стояли без запора — так и по уставу полагалось, да не к чему было: разбойники братию не обижали. И только одна казна книжная под замком держалась, чтобы зря книги не трогали да не по уму не брали. В эту казну книжную и заточил Митрофан Балда-хала.

И там трое суток держал его, нечистого, без выпуска.

В первый-то день, как завалился Балдахал на книги, так до полудня второго дня и дрыхнул без просыпа, а потом, надо как-нибудь время убить, взялся перебирать книги. И вот в одной рукописной — подголовком ему служила — бросилось в глаза пророчественное слово.

А написано было, что в некое новое лето явится в Залесную пустынь нечестивец, именем Балдахал, и обратит в свою треокаянную веру четырех привратных старцев — Мелетия, Алипия, Феофила, Василиана, а с ними замутится братия, и один лишь келейник святого старца Филофея, Митрофан, смирит его.

Вгляделся Балдахал в буквы, потрогал пергамен, понюхал — времена древние, и устыдился.

«И чего я такое делаю, окаянный!» — и давай жалобно кликать.

И тогда на клич его жалкий на утро третьего дня пришел Митрофан и с ним старцы и братия, посрамленная от нечестивого, пал Балдахал перед ним на колена, раскаялся и обратился к правой вере. И перед лицом всего собора дал крепкую клятву переписать все книги, загаженные им в заточении, и новую написать в осуждение бывшего своего нечестия.

1915

Спрыг-трава



Затеял один дошлый на Ивана-Купалу спрыг-траву искать — цвет купальский. Известно, сами морголютки неладные и те тогда ладно жить с тобой будут!

Вымылся он в бане, надел чистую рубаху, достал белый платок, да с платком, как стемнело, и пошел в лес. И в лесу там на поляне очертил три круга, разостлал под папоротником платок, присел, ждет, что будет.

Вот слышит, шум по лесу, треск, какие-то звери дерутся, а там стук, чего-то делают, и словно земля вся начинает кончаться, и вдруг набежал вихорь страшный — приблизилась полночь.

И ровно в полночь тихо папоротник расцвел, как звездочка.

И стали цветки на платок падать, и насыпало много, как звездочки.

Тут зря зевать не годится, завязал он цветы в узелок, но только что ступил, откуда ни возьмись медведи, начальство, саблями так и машут.

— Брось, — кричат, — а то голову долой!

И за руки хотят схватить.

И вдруг война началась, такая пошла резня — беда! Из пушек палят, раненые валятся.

— Из-за тебя проливаем кровь! Брось!

И появилась высокая каменная стена, и воткнуты в стене копыя прямо перед глазами, того и гляди, выколют глаз. И стала земля проваливаться, и остался он на одной кочке. Все водой заливают — буря страшная, волны так и хлещут. Снег пошел.

Тонет народ, кричит, просят бросить цветок.

— А то, — кричат, — измаялись наши душеньки!

И вдруг, видит, запылала деревня, и дом свой видит — горит, и какие-то черные с крючками топчут вокруг.

— Не пускай! Не пускай его! Пускай горит!

А ветер так и воет, подкидывает бревна, несет головни, вся земля горит.

Не жив, не мертв, дрожкой дрожит, а держит узелок, не выпускает из рук — будь, что будет! А они, черные, уж так и этак стараются достать его: крючки закидывают, да не могут, — за кругом стоят.

И рассвело. Солнце взошло. Слава Богу, миновалось. Он и пошел из лесу, а лес зеленый, птицы поют — заслушаешься.

Шел, шел — узелок в руке держит.

Вдруг слышит, позади кто-то едет. Оглянулся — катит в красной рубахе и на него, налетел на него, да как жиганет со всего маху, узелок из рук и выпал.

Смотрит — ночь, как была ночь. И нет ничего, один белый платок под папоротником лежит, а сам он как есть мокрый: купальская росная была ночь.

1914

Банные анчутки



Во всякой бане живет свой банник. Не поладишь — кричит попавлиньи. У банника есть дети — банные анчутки: сами маленькие, черненькие, мохнатенькие, ноги ежиные, а голова гола, что у татарчонка, а женятся они на кикиморах, и такие же сами проказы, что твои кикиморы.

Душа, девка бесстрашная, пошла ночью в баню.

— Я, — говорит, — в бане за ночь рубашку сошью и назад ворочусь.

В бане поставила она углей корчагу, а то шить ей не видно. Наскоро сметывает рубашку, от огоньков ей видно.

К полночи близко анчутки и вышли.

Смотрит, а они мохнатенькие, черненькие у корчаги уголья, у! — раздувают.

И бегают, и бегают.

А Душа шьет себе, ничего не боится.

Побоишься! Бегали, бегали, кругом обступили, да гвоздики ей в подол и ну вколачивать.

Гвоздик вколотит:

— Так. Не уйдешь!

Другой вколотит:

— Так. Не уйдешь!

— Наша, — шепчут ей, — Душа, наша, не уйдешь!

И видит Душа, что и вправду не уйти, не встать ей теперь, весь подол к полу прибит, да догадлива девка, начала с себя помаленьку рубаху спускать с сарафаном. А как спустила всю, да вон из бани с шитой рубахой и уж тут у порога так в снег и грохнулась.

Что говорить, любят анчутки проказить, а уж над девкой подыграть им всегда любо.

Выдавали Душу замуж. Истопили на девишник баню, и пошли девки с невестой мыться, а анчутки — им своя забота — они тут как тут, и ну бесить девок.

Девки-то из бани-то нагишом в сад и высыпали на дорогу и давай беситься: которая пляшет, да поет что есть голосу невесть что, которые друг на дружке верхом ездят, и визжат и хоркают по-меренячи.

Едва смирили. Пришлось отпаивать парным молоком с медом. Думали, что девки белены объелись, смотрели — нигде не нашли. А это они, это анчутки ягатые, нащекотали усы девкам!

Дурная молва пошла, перестали баню топить.

Приехал на ярмарку кум Бублов, печник, сорвиголова, куда сама Душа! Вздумал с дороги попариться, его страшат, а ему чего — Бублов! — и пошел в баню.

Поддал, помотал веник в пару, хватъ — с веника дождик льет, взглянул, а он в сосульках. Как бросит веник, да с полка хмыль из бани, прибежал в

горницу.

— Ну, — говорит, — теперь верю, что у вас за баня.

— Это тебе, кум, попритчилось, видно! — смеются.

Ну, при честном народе рассиживаться нагишом не очень годится, сходили в баню за Бубловой рубахой и штанами, принесли узелок. Развернули, а они все-то в лепестки изорваны. Так все и ахнули.

Вот, они какие, анчутки банные.

А малым ребятам они ничего не делают, и днем при них не скрываются, по своим делам ходят, как при своих, черненькие такие, мохнатенькие, ноги ежиные, а голова гола, что у татарчонка.

1914

ИЗ КНИГИ

«ЗАВЕТНЫЕ СКАЗЫ» [\[344\]](#)



Царь Додон

В некотором царстве, в некотором государстве царствовал сильный и могучий царь Додон. И было это царство богатое и сильное — с краями полно, не насмотришься: всякий тут лес, всякая ягода, всякие птицы водились, и не только что хлеба было всем вволю, но и всякого добра и всего невпроед было, да и скотины развелось очень довольно.

Задавал царь пир за пиром пьяные-распьяные, и было в его царстве веселье, как еще ни в одной державной стране, разливанное, и гости, отплясав ночь в три ноги, возвращались под утро домой без задних ног.

Разными диковинками славился Додонов двор, и шла его слава далеко — дошел слух до Кощея-бессмертного. И уж собрался сам Кощей в гости к

Додону побывать, уж сел Кощей на ковер-самолет, да только сажень десять не долетел, потому что ему нельзя как-то в Русь, и воротился домой.

А диковинки и вправду были знатные.

Жил у царя на чердаке ворон; — ворон, если бывала надобность, пускался из слухового окошка за тридевять земель, приносил царю от Лягушки-царевны золотое яблоко, а с золотым яблоком живую воду и мертвую. Царь тем яблочком лакомился, а живую воду в квас подбавлял и всегда после бани с квасом кушал в свое удовольствие, а кстати, и чтобы век свой продлить — подбадривал старую кость, приходящую в ветхость, мертвой же водой для развлечения мух да тараканов морил.

Хранился у царя в хрустальной шкатулке перстень — перстень, если метнешь его с руки на руку или на палец наденешь, так сию же минуту и перенесет тебя куда хочешь.

Царь шкатулку держал у себя под головами, а перстень надевал только раз в году на свои именины, и то на обедню.

В стойле стоял златогривый конь златохвостый и никуда на коне никто не ездил, и никуда коня не выпускали, а была проверчена в конюшней щелка, через ту щелку все на коня глазели да диву давались.

У красного крыльца лежала свинка-золотая щетинка, испускался от свинки свет такой сильный, и никакого другого не надобилось света, и других огней на царском дворе не зажигали: хоть в самую темень иди, не споткнешься, и нечего бояться — не разобьешь носа; трогать же свинку пальцами и гладить руками никому не позволялось — обнесена она была крепкой решеткой, и лишь издали кланялись свинке, поминали чушку добрым словом.

По саду разгуливал олень-золотые рога, днем златорогий любовался на себя в тихом озере, на ночь в пещеру спать уходил и спал до зари как простой человек.

И жила еще у царя птица-колпалица — на птице куда хочешь летай, только было б птице что есть, а птица есть хоть и ела, и не так чтобы много, да норовила за раз в один присест все запасы прибрать и волей-неволей отрезай пожирнее кусок от себя да человечиною корми птицу, а то не летит.

Царь на птице никуда не летал, а держал птицу в клетке над своим троном, и тут же у трона гусли висели самогуды и так сладко звяцали, уши развесишь.

На дворе на привязи в собачьей конурке, как собака, сидела Ведьма: день под окнами ползала немытая, ночью тьякала по-собачьи.

Как-то в сердцах предсказала Ведьма царю смерть от червя. И приказал царь Ведьму казнить, — разложили на дворе костер и Ведьму

сожгли, а червей всех, сколько их ни было и какие только могли появиться; велено было доставлять ко двору и давить, а которые юрки, тех на месте приканчивать.

Высоко сидел царь Додон на перловом вырезном троне в красных веселых палатах. Окружены были царские палаты трехстенною крепостью, на стенах наведены были струны с колокольчиками.

Сидел царь высоко во всей своей царской государственной славе, давил червей да лакомился золотым яблочком, а вокруг него все гости, да все пьяные, плетут рассказ, поют, пляшут, удивляются царским диковинкам.

А диковинки и вправду царские!

Но из всех диковин диковинка, чудо из чудес, диво из див, росла дочь у царя царевна Олена — краса неоцененная, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Прошло там сколько, не год, не два, и стали вести носиться, что поспела царевна невестой под венец. И стали из иных земель цари, короли да принцы к Додону съезжаться, и стал Додон собирать царскую свадьбу.

А пока приданое готовили, удальцы женихи свою удаль перед царевной развертывали. И перевернулось все царство Додоново: очень уж царевна была всем завидлива, и зарился всякий в жены себе царевну взять. И бранились, дрались соперники, убивали друг друга до смерти, резали прямо ножами, а не то так иным делом изводили.

Вот заструнили струны, зазвенели колокольчики — наступили смотрины царские. И пошли сваты со свахами невесту охаживать, приданое-добро посмотреть, всякую мелочь вдоль и поперек отрагивать, во все запускать свой глаз, такие дотошные — да так и обычай велит. И ни мало ни много, целый день трудились, — одного серебра сундуки ломаются! — и лишь под вечер согласно решение вынесли: порухи нет никакой, невеста красавица, и все как надо быть, во всей красе царской, и лучшей невесты поискать не отыщешь. А ловкостей разных — няньки да мамки научают этому делу невест — порассказала царевна на загладку сватам так много, и пальцев для счета не хватит, и такие хитрости выказала, что и сами сваты, народ дошлый, да и те не выдержали, совсем очумели да впопыхах вон сломя голову, в сени дух перевести.

И только с сыпильным мешочком, подвязав его себе крепко, вернулись сваты к царевне.

Уже готовились ударить во все колокола, готовилась царевна выбрать себе мужа, а царь зятя, как вдруг чей-то лихой глаз открыл в царевне такое... и когда про такое сват перешепнул на ухо свату, и с уха на ухо всем стало известно, всех такой оторопь взял, и вмиг весь Додонов двор ровно

языком слизнуло. Повскакали женихи со сватами живо на коней, а свах кто за что — кто за седло, кто на хвост, и все до одного поминай как звали!

И с той поры никого, хоть бы кто, хоть бы самый завалящий принц, никто не являлся женихом к царю.

Посылал Додон сватов от себя, сулил царь полцарства отдать, и рад-то был царь с диковинками расстаться, лишь бы выдать дочь — да один у всех сказ:

— Не можем да не годимся. Не годимся да не можем!

Одна-одинешенька не весела томилась царевна. Утром выйдет в сад, бродит как тень и только посеред дня заходила на птичий двор кормить любимых цыцарок.

А царя совсем старость осилила, и от живой воды пользы не стало. И хоть червяков всякий день давил Додон с сотню, а то и побольше, да смерть не обманешь: червем подползет она, ой, червь, ой, зубатая!

И задумался царь, думая себе, гадая крепкую думу, как быть, да чтоб и все было. Думал царь, думал и вздумал думу: велел царь созвать со всего царства всех сколько ни есть, бояр, всех-на-всех в красные свои палаты.

И сошлись к царю бояре все, расселись по местам, порасправили бороды и начали думать, как быть, да чтобы и все было. Думали-думали, уж думали-думали, гадали-гадали, и то думали и се думали, и так и этак прикладывали, и ничего не выдумали. Так и разошлись.

А жил у царя во дворцовой клетушке один человек, а звали его Лука-водильник, а был он, водильник, не велик, не мал, но такой, что всякому приметен: сухонький, востренький и всего-навсего об одном-единственном глазе, да и тот не в показанном месте — во лбу над носом, а уж догадлив — ни на какую стать.

Появился Лука в Додоновой земле, еще когда Додон молод был и большие войны вел, уходя, бывало, на долгие сроки со своею сильною ратью в дальние земли, а появился Лука просто чудом из темного подземного царства, где люди в кадках с водою живут и все впотьмах делают.

Невезло Луке на первых порах, все прошибался, все не по-людски выходило, ну, да потом попривык и уже так во всем наловчился, что и самые первые комнаты — покои царские у царя прибирал и птице-колпалище клетку чистил.

И случилось однажды, отправился Додон войной на Дракона, а Луку, как верного человека, поставил при Вороне находиться и, если что Ворону понадобится, все исполнять беспрекословно.

И случилось с Лукой о ту пору одно невеселое дело.

Пристрастился Лука у Ворона жить, воду пить и, не зная меры, — до воды Лука большой был охотник, — в один прекрасный день так опился, что пришлось попа звать, Луку соборовать. Суток трое бились с больным, воду из него трубами выкачивали и только на четвертые сутки, как царю с войны воротиться, с Божьей помощью кое-как отходили беднягу. И с той самой поры почувствовал Лука к воде отвращение и никогда, даже богоявленской, никакой ни капельки ее в рот не брал, а питался круглый год ягодой, кореньями да калеными орехами.

Еще больше приблизил царь Луку и со временем назначил его главным вельможей, а любил его как родного, и за сметливость особенно — как бывало у них меж собой что сказано, так было и сделано.

А Лука умел угождать царю: из ничего, просто так, сделает тебе кошелек бумажный или так на языке играть примется, что всякий со смеху помрет и всякому поплясать охота, если даже и не вмоготу тебе. А тут у Луки обнаружилось вдруг такое пречудесное качество, что царь, не знай уж чем еще наградить Луку, приказал вписать Луку о здравии в поминанье на вечное поминовение: поминать Луку во всех церквах и здешних и нездешних вечно.

Бог знает, каким образом и неизвестно откуда, сыпался из Луки вроде пепла песок какой-то желтый, и как, бывало, сядет Лука с царем судить да рядить, так после обязательно целый мешок этого песку соберут, а то и с лишком. А известно, на Додоновой земле песку самородного и в помине не было, и всякий этим песком, слегка подсушив, и пользовался. И наклали из Лукина песку посреди столицы Додоновой гору высоченную, чтоб на Красную горку солнце встречать, на Маслену с горки кататься.

Вот какой был этот Лука хитрец — важный человек.

И надо же такому случиться, незадолго до смотрин царских отправился Лука на богомолье и пропал на долгое время.

В какие страны заходил одноглазый, по каким монастырям и угодникам молился, ничего не известно, а может, просто-напросто лазил к себе в темное подземное царство и там коротал дни в кадке со своими одноглазыми приятелями, кто ж его знает!

И когда вернулся Лука, Додонова царства узнать нельзя было.

На царском дворе все приуныло: цветы в саду стали вянуть, деревья сохнуть, трава поблекла, а царь мышей уж не топчет.

Тридцать три года стукнуло царевне — тридцать и три, и красна, и краше нет ее в свете, а толку никакого.

Разведал Лука дело — Лука до всего доберется! — забрал золотую

мерку да с меркой тихонько и прошмыгнул в терем к царевне, вымерил всю ее меркой, да с меркой прямо к царю и, не говоря худого слова, перед царем мерку и стал раскладывать. А как разложил всю до последнего кончика, в глазах у царя так и помутнело.

Уж на что сам Лука не в пример другим — другой раз затруднительно бывало Луке с места на место передвинуться, ровно б привязал ему кто полено к поясу, да и то куда!

Тут-то вот царь все и понял.

— Нельзя ли его каким образом достать, чтобы было впору?

А Лука подумал, подумал да и говорит:

— Слышал я, что за девять девятин в десятом царстве у Таракана такие водились, да кто ж их знает, может, и перевелись.

— А ты что ни дать, дай, а уж достань, Бог с ним, что тараканский.

Так и порешили.

И дал царь одноглазому службу: ехать Луке к Таракану искать царевне подходящее.

Не малое время околачивался Лука со сборами — и мылся, и чистился, и всякие платья примерял, чтобы на люди честь-честью показаться. И когда все справил по-хорошему, сел на коня, сверкнул глазом и в путь пустился.

Едет Лука долго ли коротко ли, близко ли далеко ли, только доехал до стояросового дуба, а под дубом человек лежит, невесть чем желуди с дуба сшибает.

Поздоровался Лука с Желудиным.

А Желудиный и говорит:

— Далеко ль, молодец, путь держишь?

— А вот, — говорит Лука, — у царя Додона есть дочь Олена, тридцать и три года... Красна, краше нет, так послал меня царь искать ей жениха.

Желудиный только крикнул.

Тут Лука вынул Оленину мерку и ну раскладывать: раскладывал, раскладывал, дошел до кончика...

— Э, нет, не моя, поезжай дальше! — отмахнулся Желудиный.

Лука было выпрашивать и то и другое, и нет ли у кого так, чтобы впору, а Желудиный и в ус не дует, знай себе желуди с дуба сшибает.

Делать нечего, попенял Лука Желудиному, пришпорил коня и дальше в путь.

Ехал Лука, ехал, подъезжает к речке, а на берегу стоит себе человек, так, не очень казистый, а между тем протянул невесть что канатом — перевоз держит. Люди всякие за него царапаются и паром тащут.

Заприметил Луку Канатный, поздоровался.

— Сколь далече, молодец, путь держишь?

— Да вот, — говорит Лука, — у царя Додона есть дочь Олена, тридцать и три года... красна, краше нет, так послал меня царь искать ей жениха.

Канатный только крикнул.

Лука за мерку и ну раскладывать, а как дошел до кончика, задержался Канатный, инда волны пошли.

— Э, нет, не моя, поезжай дальше!

Невесело едет Лука.

Пропало, видно, дело, хоть назад возвращайся, не будет мужа царевне, некому будет передать и царство, пропадет Додоново царство.

И только что это подумал, как захрапит под ним конь и ни шагу.

Осмотрелся Лука: что за причина? И глазу не верит: перед ним табун лошадей, а невесть что обогнулось вокруг табуна да концом в кобылу, а пастух окаянный лежит да придерживает.

Увидел и Луку Табунный, поздоровался.

— Далек ль, молодец, путь держишь?

— Да вот, — говорит Лука, — у царя Додона есть дочь Олена, тридцать и три года... красна, краше нет, так послал меня царь искать ей жениха.

Табунный только крикнул.

Вынул Лука мерку и ну раскладывать: раскладывал, раскладывал, разложил всю до самого кончика да и еще вершков семь от себя на запас пустил.

— Ага, — закричал Табунный, — самая моя!

Обробел Лука, не знает, что и делать — и так уж и сяк к Табунному прилаживается.

— Вот то и то тебе, братец, дам.

И золота ему сулит и всякую всячину представляет, только бы согласился к Додону ехать — больно уж подходящее.

А Табунный и говорит:

— Да я и так с удовольствием, только надо сюда двенадцать троек пригнать, да обмотать его клубками покрепче, да на телеги класть, а тогда поедем.

Сверкнул Лука глазом. Не прошло и минуты, ровно из-под земли стали двенадцать троек, а ниток — целые версты — и туда и сюда, знай — только обматывай.

И сейчас же, не медля, принялись мотать.

Мотали, мотали, прикрутили его да на телеги и в путь.

И одно поле проехали — ничего, и другое — благополучно, а третье попало, да как на грех кочковатое, возьми да и растрясси его, а оно во всю свою длину длинную и вытянулось.

— Эй, — кричит Табунный, — отстегните пристяжных да заезжайте вперед, больно мошкара всю головку заела.

Что тут делать, отстегнули, заехали, глядь, а головку — какая мошкара! — двенадцать волков как теребят.

Бросились на волков, отогнали, да слава Богу, уж столица рукой подать.

Народу высыпало видимо-невидимо, завидели молодца, все диву дались.

А Табунный невесть чем как размахнется, да прямо в пепельную гору — в Лукин песок весь с головкой и въехал.

Тут кто с чем: кто с топором, кто со скребком — тянули, тянули, насилу из горы его вытащили.

Заструнили струны, зазвенели колокольчики, ударили во все колокола да скорее за свадьбу.

Царь Додон на радостях приказал у свинки-золотой щетинки решетку разломать, чтобы свинку трогали, а Луке одноглазому, осыпав его с ног до головы золотом, два глаза вроде человеческих вставить велел; птице-колпалице крылья подрезали, чтобы не было птице соблазна на человечину зариться; оленя златогривого к высокому столбу привязали, чтобы на виду был олень, а червей, если остался еще хоть один червяк, всех повелел помиловать.

И задал Додон пир на весь мир.

И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало.



Богатый крестьянин Архип Семенов жил в одном селе с бедняком Осипом Ивановым. Полосы у них были рядом. И когда они сеяли рожь и сошлись на конце полосы, подошел старичок странник, похожий на помершего прошлой весной попа Савелия, и, обратясь к Осипу, спросил:

— Что сеешь, крещеный?

— Рожь, добрый человек, — ответил Осип.

И странник, благословив поле широким крестом, сказал:

— Уроди Бог рожь.

И обратясь к Архипу, когда тот поворачивал, спросил:

— Что сеешь, крещеный?

— Что сею, то и сею, — недовольно ответил Архип, — колки сею.

— Уроди Бог колки, — сказал старичок, благословляя широким крестом Архипово поле.

Зазеленела зеленыя у Осипа, поднялась высока рожь — не налюбуется. А у Архипа поле гладкое да голое, что попова ладонь, а на голи Бог знает что: такой выскочит толстый стебелек, разовьется да под шляпку, ну, и стоит, как гриб боровик.

Тяжко стало Архипу и не то, что пропала рожь, а срам велик: дома дочери-невесты плачут, выйти на улицу боятся, а соседи подтрунивают:

— Что, мол, Семеныч, что за пшеница на поле у тебя такая выросла?

А другой и без обиняков ляпнет, не слушал бы.

Приехал на село цыган Гамга, коновал, Архип к нему. Осмотрел цыган поле, инда крикнул, а помочь ничему не может.

— А иди ты, — говорит, — в монастырь и спроси у отцов, как тебе горе избыть.

С тем и уехал.

Собрался Архип на богомолье.

И где по дороге какая церковка попадалась или часовня, везде

молебны служил и свечки ставил: уж больно срам-то его одолел. А как вошел в монастырь и видит, на стене старичок написан, поджилки и затряслись: узнал странника, да уж поздно.

Отстоял Архип обедню, а после обедни с богомольцами к затворнику. Стал у окошечка, дожидается, когда затворник выглянет и все пойдут подходить, кто за благословением, кто с бедою.

Выглянул затворник, дошел черед до Архипа; Архип все ему про свое поле, и как сеял и что потом вышло.

— Батюшка, помоги, от сраму деваться некуда.

А старец даже ногами затопал.

— Поди ты, — говорит, — прочь, окаянный, и с колком своим. Не в святой обители тебе место, ступай к жиду поганому.

Поклонился Архип и пошел.

И думает себе:

«К какому это жиду велит старец идти?»

А жил на селе беднеющий портной Соломон.

«Должно, что к Соломону!» — решил Архип да, не заходя домой, прямо к Соломону.

И Соломону про свое поле — да чего и рассказывать: у всех на глазах поле-то, разве что слепой не увидит!

— Эка беда, — сказал Соломон, — твое горе не горе, а клад: возьми серп, полей росной водой, подковырни какой поспелее да и неси домой, а потом в сахарную бумагу его, да перевяжи, и вези продавать. Да продавай-то не сразу: сто рублей за колок, да сто рублей за секрет. А секрет вот какой: скажешь «ну!» — пойдет работать, скажешь «тпру!» — отпадет.

Поблагодарил Архип Соломона, посулил с каждой сотни рубль и довольный вернулся домой.

Не узнать Архипа: или в уме помутился? Ему колком тычут, а он, знай, в бороду посмеивается. Или чего задумал?

Рано поутру вышел Архип, благословясь, и пошел с серпом в свое голое поле. Росной водой помочил он серп, подковырнул позрелее — целую полосу нажал и домой. А на другой день нагрузил телегу и с товаром в город.

— Стержень! Кому надо стержень? — скрипит телега, покрикивает Архип.

А сидела у окна молодая вдова, уперлась локтем в подоконник: тесно ей в комнатах, сна забыть не может. И слышит: телега, купец с товаром. Очнулась, крикнула Пашу:

— Поди узнай, что такое?

В скуке, известно, чему не рад — на каждый клик востепенешься.

Вернулась Паша, а сказать не может, только фырчит в передник.

— Да ты с ума сошла! Позови сюда мужика, сама посмотрю.

— Стержень! Кому надо стержень? — тянет за окном Архип.

Побежала Паша и уж не одна вернулась.

— Да что это такое? Давай сюда!

— Стержень, барыня, стержень! — заладил свое Архип.

А как развернула Палагея Петровна сверток, так и заалелась и скорее его в сторону.

— Сколько стоит?

— Сто рублей.

— На, бери.

И сейчас же денежки на стол.

И не успел Архип из дверей выйти, а рука уж сама к свертку, развернула Палагея Петровна, вынула, а он ровно пробка, — нечего с ним.

— Паша, — кричит, — Паша, беги, догоняй мужика, скажи, чтоб вернулся!

А Архип знает, шажком едет.

И вернула его Паша.

— Секрет сказать? — подмигнул Архип, — можно: сто рублей.

Да скажи он двести, все и двести дала бы.

Положила Палагея Петровна покупку в комод и до ночи сколько раз не утерпит, вынет, развернет, посмотрит, а как ночь пришла, не надо и сна.

А наутро и весела, и не кричит на Пашу, и окно забыла. Да и что ей: сны не снятся.

И пошли дни — разлюли, не вдовьи.

Собралась как-то Палагея Петровна в город к родственнице генеральше.

Все ей были очень рады, а больше всех сам хозяин: взглянет на Палагею Петровну и точно весь взмокнет.

А Палагея Петровна, как обед кончился, домой.

Ну, ее удерживают, чтобы переночевала — и погодой прельщают и деревенским воздухом! — она и слышать не хочет. А наконец и призналась, что забыла дома одну вещь и без нее заснуть не может.

— Эка, о чем горевать! — обрадовался хозяин, — да я сейчас отряжу Тишку: Тишка живой рукой слетает, накажите только, что доставить.

Палагея Петровна согласилась.

И не прошло и минуты, поскакал Тишка из усадьбы в город за вещью. И благополучно доехал, получил сверток от Паши, сунул его в задний карман и немедленно назад.

Выехал на большую дорогу — ехать свободно.

— Ну! — крикнул Тишка.

И пропал: как выскочит из кармана-то да как вдвинет и пошел, и пошел...

Тишка понять ничего не может, холодный пот прошиб, нахлестывает, скачет, а это зудит и зудит, и чем больше поднукивает Тишка, тем пуще.

Шляпа так над головой и поднялась — на волосах дыбе.

И уж не помнит, как и доскакал.

— Тпру! — крикнул несчастный и, вдруг освобожденный, хлопнулся наземь весь в холодном поту и уж раскорякой едва вошел на крыльцо.

До поздней ночи сидели на балконе.

Вечер был прекрасный, гостя необыкновенно оживленна — она была так рада, что ее неразлучный сверток с нею! — и оживление ее сводило с ума хозяина.

Он почему-то все принимал к себе и так уверился, что когда в доме все затихло, он тихонько прокрался в комнату к Палагее Петровне.

Лунная ночь была, лунный свет кружил голову и застил глаза, — генерал, пробираясь по комнате, задел за стул.

— Ну! — пробормотал он с досадой.

И пропал, как Тишка.

Сверток упал на пол, развернулся, и что-то впилося в генерала.

Бедняга, ничего не понимая, со страха стал на колени, а оно не отпускает. Лег на ковер — не легче. Или это ему снится? Потрогал сзади: нет, живое. И нет избавления.

Теряя всякое терпение, шмыгнул на балкон, с балкона в сад.

— Ну! Ну! — кряхтел он, ничего не соображая.

И, обессилев, растянулся ничком на дорожке.

А наутро нашли в саду генерала: скончался! — а это — глазам не верят, — это, как перо, торчит сзади.

Диву дались, пробовали тащить, да оно, как загнутый гвоздь, ни клещами, ничем не возьмешь. Да так и похоронили. И много было слез, но больше всех убивалась Палагея Петровна.



В одном шумном сирийском городке жил бедный купец Али-Гассан. Торговлю получил он по наследству от отца, но душа его вовсе не лежала к прилавку, и его можно было провести как угодно и выманить все, что хочешь. И все его дело шло так, что не только не приносило прибыли, а часто просто в убыток.

Али-Гассан сидел в своей лавке, занятый одной своей мечтою.

Странная это была мечта! Ему непременно хотелось жениться, но так, чтобы жен у него было столько, сколько дней в году, и даже больше, а он только этим бы и занимался.

Торговал он финиками.

Финики всевозможных сортов разложены были в цветных коробках, да и так лежали на лотке, и другой бы на его месте, ну, как его отец, нашел бы чем заняться, распоряжаясь таким живым янтарем, а ему что финики, что ломаное железо, торговля его соседа.

Озорники, подсмеиваясь над ним, говаривали, что его собственный турецкий финик для него дороже всех фиников земных и небесных.

И были правы: все ведь мысли его были собраны на одном этом.

И если в лавке, где его отвлекали покупатели, он ухитрялся, занятый собой, просто не отзываться на отклик, вы представляете его у себя в комнатенке вечерами, где он оставался сам-друг до утра.

Он усаживался в уголок, курил и весь отдавался своей мечте, и, случись пожар, он не заметил бы, да так и сгорел бы: в его мечте было самое острейшее желание, полыхавшее пуце всякого пожара.

И однажды, заперев свою лавку, сидел он так со своей мечтою, весь окутанный дымом, и вдруг, точно от удара, он сразу очнулся и увидел, как из дыма выступило крылатое лицо Гения и крылья, выюнее дыма,

выюнились от стены к стене.

— Али-Гассан, — сказал Гений, — проси что хочешь: первые твои три желания будут исполнены.

Али-Гассан не заставил себя ждать.

— Хочу быть, — сказал он и по своей застенчивости показал знаком, — ...турецкого султана.

— Хорошо, — ответил Гений, — еще что?

— И чтобы никогда не опускаться.

— Ладно.

— А больше мне пока ничего не надо.

И не успел Али-Гассан затянуться, как желание его осуществилось.

Султан Фируз, славившийся в молодости своей любовной неутомимостью, с возрастом, когда обыкновенному человеку еще только наступала самая пора, должен был лишиться прекраснейшего из удовольствий. Желания у него еще бывали по воспоминаниям, но на большее он ни на что не годился.

Все, что можно было сделать, все было сделано искуснейшими врачами, и султан, потеряв всякую надежду, понемногу свикался с мыслью о своей негодности.

В тот вечер было назначено заседание Совета.

Султан по обыкновению бесстрастно решал дела и вдруг почувствовал такую полноту и крепость, от которой занимался дух, горели глаза, и на побледневшем лице, как роза, расцвела улыбка.

Не веря себе, султан прервал заседание и поспешно вышел.

К великому удивлению приближенных, он направился прямо в гарем, изнывавший и отчаявшийся увидеть бодрым своего государя. Скрывая улыбку, всякий глазами показывал и сожаление, и насмешку, а один из евнухов бросился скорее за ложкой, чтобы в нужную минуту прийти на помощь: без ложки не обходилось, когда султан по воспоминаниям искал невозвратимых наслаждений.

Выбор пал на прекраснейшую из жен, юную смуглянку Нуруннигару. И со всей былою страстью султан ее обнял и уж не мог сдержать сердца, которое рвалось в груди, как в первую любовь.

И почувствовал Али-Гассан, как ударился он точно бы в мешок мягкий и что-то горячее обдало его и всего стеснило, дышать нечем, и до того неудобно сжимает, вот оболдеет — и вспомнил он о последнем третьем желании своем, которое не мог сказать Гению, и, собрав последние силы, уже захлебываясь, прошептал, как утопающий хватаясь за соломинку.

— О, великий и всемогущий Гений, хочу быть Али-Гассаном!

И сию же минуту очутился в своей комнатенке.

И что такое случилось, не узнать Али-Гассана: какая у него лавка, какие сладкие свежие финики, какой богатый выбор, и сам какой приманщик — не хочешь, купишь.

Торговля с каждым днем шла в гору, и в короткий срок сделался Али-Гассан купцом богатым, но и богатый не обзавелся домом, а жил одиноко, как и раньше, без жены — без жен, о которых мечтал когда-то с такой огненной волшебной страстью.

1909

ПРИДВОРНЫЙ ЮВЕЛИР [\[346\]](#)



Глава I

— Они сами не знают, чего хотят! — говорил одинокий старик ювелир, проживший сотню лет и в сердце похоронивший века.

Сгорбленный, совсем карлик, шутя и балагурия, казалось, он охаживал вокруг человеческих сердец, отыскивая своими тонкими пальцами глубоко запрятанные живые и теплые тайники, и раскрывал их легко и проворно, как свои шкатулки, наполненные жемчугом и редкими камнями, и упорно засматривал в самую душу и слов, и помыслов, кишевших в тайниках сердца.

День и ночь, не расставаясь, он возился со своими камнями, перемывал их, перекладывал: то рассыплет по бархату и шелку, то прикинет к себе, к своему рубищу. И глаза его наливались, маленькие, становились, как тарелки.

По вспыхивающим мельчайшим граням своих драгоценных камней он читал вековые тайны. И одно за другим выступали перед ним преступления, становились они рядами, как солдаты, и он играл в них, как в солдатики.

И не было уж преступлений, было одно какое-то преступление, и оно гнездились во все времена и на всех концах человеческой жизни.

Из всех времен и со всех концов собирались к старику драгоценности в его убогую, изъеденную молью и плесенью конуру-мастерскую, ютившуюся в подвале на главной и самой людной улице.

Давно старику мечталось перебраться куда-нибудь в горы и там построить себе такую неприступную башню, чтобы с высоты ее безопасно и незаметно наблюдать землю.

Но этой мечте не дано было осуществиться.

А время было любопытное, и было что посмотреть с нагорной высоты в башенное окошко.

Не город, не деревня — вся страна от моря и до моря охвачена была одним безумным желанием.

Все желания из самого тягостного и каторжного обихода скручивались и вырастали в какой-то грозный бич, и ураганом подымался бич, тяжелый и слепой, летел от моря и до моря, крича на крик свой единый крик:

— Воля!

— А вы знаете, что такое воля? — подмигивал одинокий старик ювелир, проживший сотню лет и в сердце похоронивший века.

Жизнь человеческая ценилась пустым плевком, и плюнуть и растереть ничего не стоило.

Казнили людей, как блох. Подстерегали, ловили человека, и тут же прихлопывали, как блоху на ногте.

Как милость, вводили в тюрьмы с эшафотов и, как милость, давали жизнь, заточая навечно.

Никогда еще подозрительность человека к человеку не вырастала до таких страшных размеров, и друзья, встречаясь и пожимая друг другу руки, на случай хоронили в кармане нож.

По темным углам, по закоулкам творилась лютая измена.

И копались подкопы под последние твердыни и устои жизни.

Разрывные снаряды изготавливались на широкий сбыт, как самый легкий и ходовой товар, и изо дня в день сбывались и оптом, и в розницу, как спички.

По темным углам, по закоулкам, душили и вздергивали на веревочке приятели приятелей.

На улицах повсюду перемачивались забрызганные кровью мостовые: камни, накаливаясь от зноя, пропитывали воздух хмельным заразительным запахом крови.

Мирные улицы, хмелея, впадали в исступление и в исступлении уродовали и истязали детей и женщин.

И лошади бесились, нося на подковах кровь.

А в деревнях на поле колосились черновые колосья и созревал хлеб, чтобы закровенившимся зерном отравить людей.

Тут и там на улицу выходили мертвецы. Останавливали мертвецы

своих знакомых, вмещивались, как живые, в их будни.

А живые, как мертвецы, бросали дом и уходили на кладбища и там, вступая в царство мертвых, устраивались в гробах, как у себя дома.

Пророки проповедывали новое царство и бесстыдно продавали свое пророчество.

А верующие сходили с ума и убивали себя, с горечью бросая земле свое последнее слово:

— Нет на земле правды!

А беспощадный безумный бич взвивался, тяжелый и слепой, и ураганом летел от моря до моря, гремя громом свой грозный крик:

— Воля!

— А вы знаете, что такое воля? — подмигивал одинокий старик ювелир, проживший сотню лет и в сердце похоронивший века.

Глава II

Накануне великого дня, который обещал открыть новый свободный день и перевернуть всю землю до ее основания, рано утром разбудили старика ювелира, посадили в черную гербовую карету, в какой возили только важных сановников, и под конвоем повезли во дворец.

Через опущенные занавески окон старик чувствовал сотни вонзающихся в него острых, заостренных ненавистью глаз. И казалось ему, от этих колющих глаз накаливались стекла кареты, и дребезжало что-то под колесами, готовое вдребезги разнести карету.

Так как за последние дни совершилось много насилий всемогущими временщиками, в руки которых попадали города и жизнь и смерть народа, то подобные сановные кортежи провожались недобрым взглядом и не всегда кончались добром.

Но ювелир — простой человек: старику никто не давал права ни карать, ни миловать, ему только приказано было вычистить начисто золотую корону, в которой, по обычаю страны, появлялись короли в редкие дни объявлений государственных актов исключительной важности.

Кому же, как не ему, старому и испытанному, умевшему так мудро держать за зубами свой острый язык, доверить страшную, ослепляющую своим блеском королевскую корону?

Шутя и балагурия, поднялся ювелир по золотым дворцовым лестницам и там, в отведенной ему зале, запертый под замком, взялся за работу.

Это был редкий случай увидеть вещи, о которых старик только мог

догадываться.

Немало чудес совершилось у него на глазах, и не раз обезумевший народ сгонял с престола своих законных властителей, как последних карманников, и всегда в таких случаях выплывала на свет Божий корона для нового короля, и старик призывался подновлять и заделывать прорехи, но никогда еще из заваленных дворцовых кладовых не появлялось столь великолепного, столь сумасшедшего произведения нечеловеческих рук.

Подлинно, в завтрашнем великом дне таилось неслыханное.

С великой бережливостью, трясаясь, как над святыней, которую, ревнуя, может всякую минуту попортить нелегкая, повинымавал он камни из золотой, облепленной кусками грязи и глины, короны, и, чуть заметный в огромной зале, кутая сухие зябкие плечи в теплый драный женский платок, забегал тонкими пальцами по сокровищам.

И играл он сокровищем — сказочными яхонтами, си-не-синими, и алыми, и черными камнями, и изумрудами, пышащими весною, перевортывал их, перебрасывал, вдыхал, как живое, брал, как живое, на ловкий змеиный язык, катал на чуткой ладони, строил рядами, сгребал в кучу и замирал, весь зеленый и алый, и сине-синий, и черный в смешанном первородном свете.

Тьма тем человеческих голов мелькнула перед ним, тьма тем рук протянулись к нему, и вереницы всяких людей одна за другой прошли и заполнили весь зал, унижали сверху донизу все стены, и там, под звездным куполом зала, повисли и закачались безрукие, безногие, и глянули отовсюду глаза...

Задышался старик, рассыпал камни. Цеплялись камни, прилипали к его рухляди, катились, перекатывались по коврам, по парче, по мрамору и, казалось, гудели, как колокол.

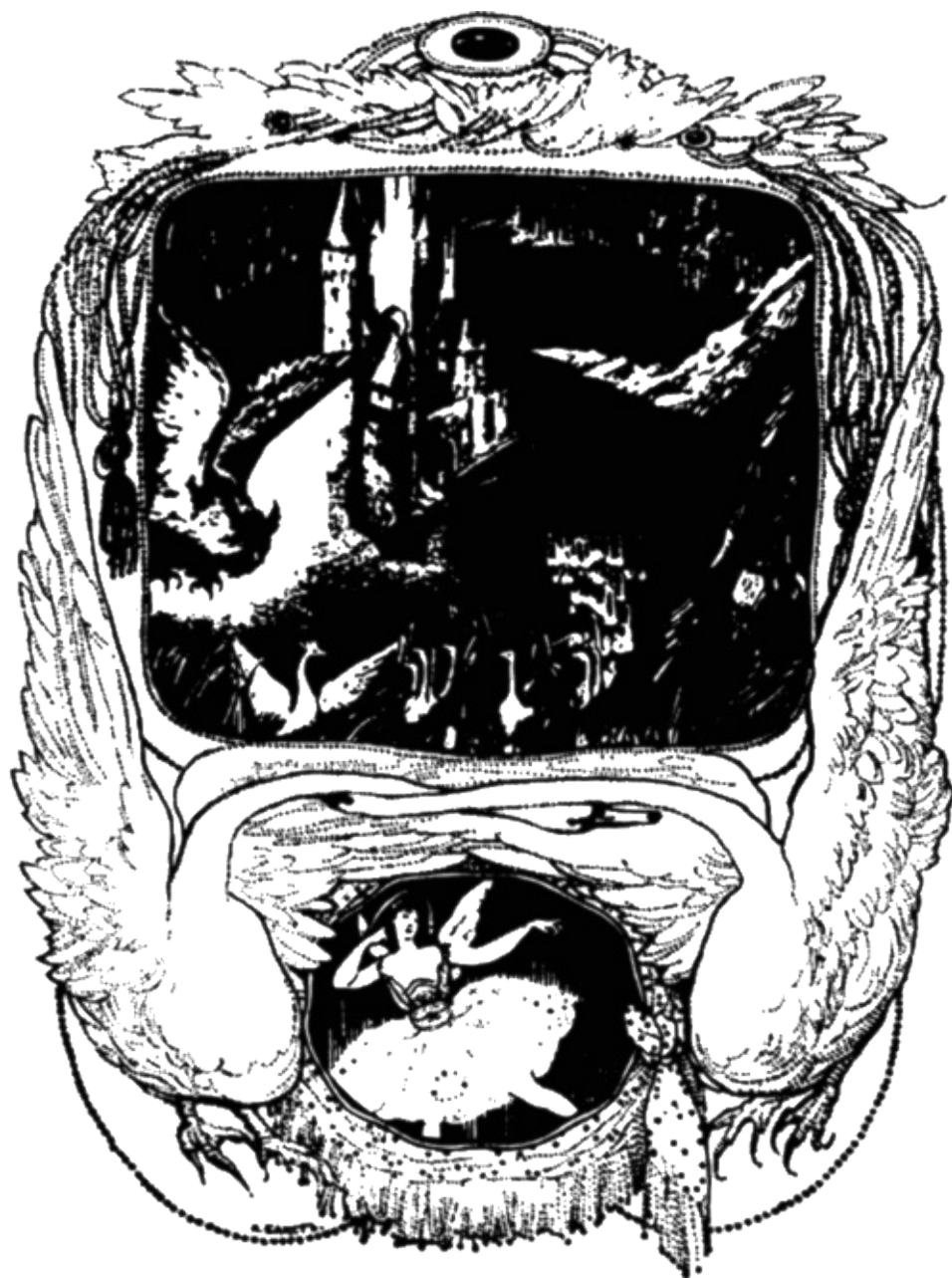
А. В. Амфитеатров[\[347\]](#)



ИЗ КНИГИ: КРАСИВЫЕ СКАЗКИ [\[348\]](#)



Мертвые боги [\[349\]](#)





Тосканская легенда а небе стояла хвостатая звезда. Кровавый блеск ее огромного ядра спорил со светом луны, и набожные люди, с трепетом встречая ее еженочное появление, ждали от нее больших бед христианскому миру. Когда комета в урочный час медленно поднималась над горизонтом, влача за собой длинным хвостом круглый столб красного тумана, в ее мощном движении было нечто сверхъестественно грозное. Казалось, будто в синий простор Божьего мира ползет из первобытного мрака свирепый царь его, огненный дракон Апокалипсиса, готовый пожрать месяц и звезды и раздавить землю обломками небесного свода. Комета смущала воображение не только людей, но и животных. Сторожевые псы выли по целым ночам, с тоскливым испугом вглядываясь в нависший над землею пламенный меч и словно пытая: правду ли говорят их хозяева о чудном явлении? точно ли оно — предвестник близкой кончины мира? Светопреставления ждала вся Европа. Булла папы и эдикты королей приглашали верующих к молитве, посту и покаянию, ибо наступающий год, последний в первом тысячелетии по Рождестве Христовом, должен был, по предположению астрологов, быть и последним годом земли и тверди: годом, когда явится предсказанный апостолом ангел и, став одною стопою на суше, другою на море, поклянется Живущим во веки, что времени уже не будет.

Без числа ходили слухи о чудесах и знамениях. В Кремоне видели, на закате, в облаках двух огненных воинов, по виду сарацинов, в бою между собою. В Нанте овца растерзала волка. Жители Авиньона в течение трех часов слышали великий воздушный шум — ярые голоса невидимых ратей и звон оружия. В самом Риме прекрасная принцесса Джеронима Альдобранди, скончавшаяся от изнурительной лихорадки, очнулась, к

радости родных, на третий день от смертного сна, встала из гроба и пошла, славя Бога, слушать мессу, заказанную за ее упокой. К страхам вымышленным присоединялись страхи действительные. Землетрясение неумолимою волною перекатывалось по трем полуостровам Средиземного моря, чума бродила по Ломбардии и Провансу, норманы неистовствовали на Западе, мусульмане напирали на Европу с востока и юга. На северо-востоке нарождались славянские государства, еще неведомые, но слышно, что могучие, страшные, грозные. От Атлантического океана до Волги все бродило, как в мехе с молодым вином. Что-то зрело в воздухе, и народам, удрученным переживанием этого брожения, думалось, что зреет недоброе. Для людей, суеверных и утомленных тяжелыми временами, весть о светопреставлении была сигналом потерять голову и превратиться в пораженное паникой стадо.

Одни готовили себя к переходу в лучший мир молитвами, вступали в монастыри, бежали в пустыни, горные пещеры и, в аскетических трудах, под власяницами, ждали судной трубы архангела. Другие, хотя уверенные в непременном разрушении вселенной, все-таки находили нужным за чем-то составить духовные завещания. Третьи, наконец, впадали в свирепое отчаяние и убивали остаток жизни на пьянство, разврат, преступления. Никогда еще Европа не молилась и не грешила с большим усердием. Боязнь ожидаемого переворота была так велика, что многие предпочитали кончить жизнь самоубийством, лишь бы не быть свидетелями наступающих ужасов Божьего гнева. Равнодушных было очень мало, неверующих презирали и ненавидели. За сомнение в состоявшемся уже пришествии антихриста побивали камнями. Фанатики клятвенно уверяли, будто антихрист не только родился, но и воцарился и сидит на римском престоле под видом папы — безбожника, ученого чернокнижника Герберта-Сильвестра ^[350].

В такое-то время случилось на диком горном пустыре, недалеко от города Пизы, странное происшествие, записанное в монастырских мемориалах под названием «Дивные и причудные приключения Николая Флореаса, уроженца славного города Камайоре, оружейных дел мастера и некогда доброго христианина».

Николай Флореас был молод и красив собою. Оружейное ремесло закалило его силы, развило ловкость; частое общение с людьми благородного происхождения усвоило Флореасу привычки, вид и обращение его знатных заказчиков и покупателей. Женщины говорили, что нет в Камайоре мужчины, более достойного любви, чем Николай Флореас, даже и между рыцарями герцогского двора. Если бы Флореас жил во

Флоренции, Пизе или Сьенне, он, по талантам своим, наверное, сделался бы одним из народных вождей, каких так много создавали гражданские междоусобия средневековой Италии^[351]. Они выходили из низших общественных слоев, как Сфорца и Медичи^[352], чтобы потом лет на пятьсот протянуть свою родословную, полную блистательных имен и громких подвигов. Но Николай Флореас был обывателем Камайоре, глухого горного городка, где горожане жили мирно, не делясь на политические партии. Сверх того, он был человек скромный, хотя решительный и способный. Как большинство оружейников, он знал грамоту. Он сочинял сонеты и играл на лютне.

В один летний день Николай Флореас окончил кольчатую броню, заказанную ему начальником наемников пизанской цитадели, длинноусым норманом Гвальтье. Взвалив свою ношу на осла, мастер, в сопровождении двух вооруженных подмастерьев, направился из Камайоре горами в Пизу. Летняя ночь застала Флореаса в дороге. Она упала сразу, черная и глухая; на аспидном небе зажглись громадные звезды и огненный столп кометы. Напрасно было бы в то дикое, разбойничье время трубить ночью у ворот какого-либо города или замка. Ответом пришельцу свистнула бы туча стрел. Средневековое гостеприимство кончалось с закатом солнца. Пришелец был другом, когда приходил при солнечном сиянии, и врагом после того, как замыкались рогатки, и поднимались мосты со рвов, наполненных водою. Флореас и его спутники заночевали на перепутьи, у костра, разложенного у ног каменной Мадонны. Боясь ночного нападения, путники решили спать по очереди. Двое, по жребию, спали с оружием в руках, а один бодрствовал на страже. Первый жребий не спать выпал самому Флореасу. Прислонясь к обломку скалы, он беспечно наблюдал медленный ток светил по небесным кругам. Пламя костра играло красными лучами. Развьюченный осел бродил, не отходя далеко от стана, на подножном корму. Флореас слушал звуки горной ночи. Им овладело трогательное настроение, в какое повергает всех впечатлительных людей торжественная тишь спящей пустыни.

Но, вот, внезапно среди величественного безмолвия раздался странный звук. Словно кто-нибудь коротко взял аккорд на церковном органе, — взял и бросил. Звук рванулся в воздух и сейчас же заглох. Точно кто-то зарыдал было, но, устыдившись своей слабости, задавил рыдание. Николай Флореас осмотрелся. Он не понимал, ни что это за звук, ни откуда он прилетел. Так как звук не повторялся, Флореас решил, что, вероятно, он задремал, и, в дреме, обманутые чувства создали этот загадочный аккорд из обычных

звуков ночи. Но, когда он, совсем успокоенный, опять прилег к костру, звук снова задрожал в воздухе и — уже яснее и более продолжительно, чем в первый раз: как-будто сразу запело несколько арф под перстами искусных менестрелей. Флореас вскочил в волнении. Он знал, что поблизости нет ни одного значительного селения, откуда мог бы примчаться таинственный звук. Трудно было предположить, чтобы по соседству ночевал путевой караван какого-либо синьора со свитой и челядью, среди которой могли случиться игроки на арфе. Ночлег Флореаса был расположен на высоте холма: окрестности были видны на далекое пространство, но хоть бы где-нибудь костру оружейника ответил другой костер. Флореас с легкой дрожью подумал единственное, что ему оставалось подумать: что он слышал звуки нездешнего мира. Как человек набожный и мужественный, он не потерялся, а разбудил своих спутников и рассказал, что с ним было. Они не поверили.

— Просто ты спал, мастер, и тебе показалось это во сне, — сказали они.

Но звук снова налетел из безвестной дали, как волна, и так же быстро, как волна о песок, разбился и растаял в воздухе.

— Это скалы ноют, — в испуге сказал один подмастерье.

— Или дьявол справляет свою свадьбу, — крестясь, прибавил второй.

— Друзья мои, — сказал Флореас, — все это может быть; но я не буду спокоен до тех пор, пока не узнаю, откуда эти звуки и зачем они. Поэтому пойдем в ту сторону, откуда они звенят.

Но подмастерья наотрез отказались.

— Если нам судьба попасть в когти дьявола, — говорили они, — то успеем еще попасть после смерти а зачем будем лезть к нему живьем?

— Тогда я пойду один, — сказал Флореас, — потому что мое желание узнать тайну сильнее меня, и я не могу быть спокоен, пока ее не разрешу. Ждите же на этом месте моего возвращения, а я пойду, куда зовет меня музыка.

Подмастерья пришли в ужас и умоляли Флореаса не подвергать себя опасностям ночного пути неведь куда и зачем, но он остался непреклонным. Тогда они пытались удержать его силой. Но Николай Флореас обнажил кинжал и грозил поразить первого, кто осмелится до него коснуться. Подмастерья в страхе отступили; он же воспользовался их замешательством, чтобы исчезнуть в темноте ночи.

Флореас долго блуждал во мраке по пустым равнинам и неглубоким оврагам. На небо взбежали тучи. И комета, и звезды изменили Флореасу. Он шел, сам не зная куда идет: на север, на запад или на юг, так что, если

бы он и хотел вернуться к своим подмастерьям, то уже не мог бы. Притом всякий раз, как только мысль о возвращении приходила в голову Флореаса, таинственный аккорд, непостижимо увлекший его во тьму пустыни, снова звучал — и с такою силою страсти и страдания, как будто все хрустальное небо разрушалось, со звоном рассыпая осколки на грудь матери земли. Наконец, Флореас заметил вдали мерцание красной точки — далекого костра или окна в хижине.

— Я пойду на этот свет, — подумал Флореас, — я достаточно сделал, чтобы удовлетворить своему желанию; но тайна упорно не дается мне в руки, и я не в силах бороться с невозможным — должен возвратиться. Если это мои спутники, тем лучше; если нет, то, авось, эти люди не откажут мне в ночлеге и укажут дорогу в Пизу...

Он шел на огонь до тех пор, пока нога его не оступилась с ровной почвы в провал. Путник едва успел откинуться назад, чтобы не сорваться в глубь пропасти. Он уселся на краю обрыва, едва не втянувшего его в свои недра, и стал ждать рассвета. Глядя перед собой, Флореас заметил, что огонек, на который он шел, как-будто растет силою пламени... дробится на многие светящиеся точки... Флореас не мог дать себе отчета, что это за огни. Не может быть, чтобы Пиза! Но, — если нет, — куда же он попал? Видно было, что под ним в глубокой котловине лежит большой город... Выступили из мрака очертания горных вершин; восток побелел; огромная голубая звезда проплыла на горизонте и растаяла в потоке румяного света. Три широких белых луча, разбегаясь, как спицы колеса, высоко брызнули из-за гор в простор неба... Птицы пустыни тысячами голосов приветствовали утро; пестрые ящерицы проворно скользили по серым камням, в радостной жажде солнечного тепла.

Внизу, в долине, еще клубился туман. Но так как теперь Флореас знал, что под его белым покровом спит ка-кое-то жилье, то решился спуститься. Он увидел тропинку-лестницу, вырубленную в скале... Давно никто не ходил по ней: растреснутые, иззубренные временем, ступеньки поросли репейником и маренью; длинные ужи, шипя, уползали из-под ног Флореаса; он раздавил своим кованным сапогом не одну семью скорпионов.

Солнце встало над горами; туман растаял. Флореас одиноко стоял среди желтой песчаной лощины, сдавленной зелеными горами, и удивлялся: не только города, ни одной хижины не было по близости... Ветер уныло качал высокие сорные травы... Песок блестел под солнцем... Серело ложе широкой, но совершенно высохшей от летнего зноя, реки... Вот и все.

В досаде разочарования бродил Флореас по лощине. Он чувствовал себя страшно усталым: о возвращении нечего было и думать. Из шнурка, стягивавшего сборки его кафтана, он сделал пращу и, набрав гладких гольшей, убил ими с дюжину мелких пташек пустыни. Обед его был обеспечен. Надо было найти воды. Она журчала неподалеку. Флореас пошел на звук... Ручей тек обильною волною из-под низко нависших ореховых кустов. Флореасу показалось странным слишком правильное ложе потока. Нагнувшись к воде, он увидал, что когда-то ручей был заключен в мраморные плиты: желтоватый гладкий камень еще проглядывал кое-где сквозь густой мох, темным бархатом облепивший дно и стенки источника. Раздвигая цепкие ветви орешника, Флореас пошел вверх по течению и скоро добрался до обширной лесной поляны. На ней в беспорядке громоздились серые громадные камни. Флореас узнавал ступени, обломки карнизов; толстая колонна с отбитою капителью лежала поперек дороги... Посреди поляны возвышалась груда камней в полроста человеческого, похожая и на очаг, и на надгробный памятник. Осколки мраморного щебня валялись кругом. Ручей тек прямо из-под этой груды, которая, как и его русло, была когда-то обделана в мрамор. Еще виднелись кое-где следы обшивки, испещренной бурыми буквами давно разрушенной и утратившей смысл надписи. Флореас прочитал.

Оружейник оглядел местность и подумал, что расположиться для обеда здесь, на поляне, между зелеными стенами узкого ущелья, приятнее, чем в песчаной пустыне, только что им оставленной. Он устроил костер на древнем памятнике-очаге и, нанизав убитых птиц на гибкий прут, изжарил их над огнем. Синий дым весело поднялся к небу зыбким столбом. Голодный Флореас наскоро съел свой скудный обед, запил водой из ручья... Его сморило сном.

Флореас проснулся впотьмах, поздним вечером. Ему очень не хотелось вставать с земли, но он сделал над собою усилие... И, вместе с тем, как он поднимал свою, еще отягченную сном, голову, он видел, как поднимается из праха поверженная колонна. Он бросился к ней, — на ней не оставалось ни мхов, ни ракушек, ни плесени: блестящий и гладкий столб красного порфира, гордо увенчанный беломраморным узором капители. Флореас осязал воскресшую колонну, чувствовал ее холод... Десятки таких же колон с глухим рокотом выходили из-под земли, слагаясь в длинные портики. Дымный и грязный очаг превратился в великолепный жертвенник. Костер Флореаса разгорелся на нем с такою силой, что розовое пламя, казалось, лизало своими острыми языками темное небо, и зарево играло на далеких скалах. Цветочные гирлянды змеями взвивались неведомо откуда,

прицеплялись к колоннам и, чуть качаемые ветром, тепло и мягко обведали Флореаса благоуханиями.

Молодой человек понял, что стоит у разгадки тайны, в которую вовлекли его прошлой ночью неведомые звуки. А они, как нарочно, снова задрожали в воздухе, но уже не рыдающие, как вчера, а веселоторжествующие. Ущелье сверкало тысячами огней, гудело праздничным гулом тысячеголовой толпы. И голоса, и огни близились к храму. Пред изумленным Флореасом медленно проходили важные седобородые мужи в длинных белых одеждах, украшенные дубовыми венками, и становились рядом налево от пылающего жертвенника, а направо собирались резвою толпою прекрасные полуобнаженные девы. Их тела были, как молоко. Флореасу казалось, что они светятся и прозрачны, как туман, летающий в лунную ночь над водами Арно. Каждая потрясала дроотиком или луком; у иных за плечами висели колчаны, полные стрел; многие — сверх коротких, едва закрывавших колена, туник — были покрыты пестрыми шкурами зверей, неизвестных Флореасу. Нем и неподвижен стоял оружейник в широком промежутке между рядами таинственных мужей и дев... Он начинал думать, что попал на шабаш бесов, но никогда не предположил бы он, чтобы бесы могли быть так величавы и прекрасны.

Новые огни, новые голоса наполняли храм. Девять жен чудной красоты поднимались по мраморной лестнице, сплетаясь хороводом вокруг мощного юноши, который сиял, как солнце, и блеск, исходивший от его лица, затмевал блеск лампад храма. В руках юноши сверкала золотая лира, и со струн ее летели те самые звуки, что приманили Флореаса. И мужи в белых одеждах, и вооруженные девы упали в прах пред лицом юноши. Остался на ногах только Флореас, но его как будто никто не замечал в странном сборище, хотя стоял он ближе всех к жертвенному огню. Юноша гордо стал пред жертвенником, и, радостно простирая руки к огню, воскликнул голосом, подобным удару грома:

— Проснись, сестра! Твое царство возвратилось.

Радостно зазвенели золотые струны его лиры, и он запел гимн, от которого потряслись скалы, зашатались деревья в ущелье и, как испуганные очи, замигали звезды на небе. Он пел, а вокруг него с криком неслись в пляске его прекрасные спутницы. Мужи в белых одеждах и вооруженные девы подхватили гимн. Схватившись за руки, они оплели жертвенник целым рядом хороводов. У Флореаса кружилась голова от мелькания пляски, звенело в ушах от пения, вопля и грома лиры. Он позабыл все молитвы, какие знал, рука его не хотела подняться для крестного знамения.

— Проснись, сестра! — звал юноша.

— Встань, царица! проснись, богиня! — вторила толпа.

Вооруженные девы выхватывали из колчанов стрелы и проводили ими глубокие борозды на своих белоснежных челах. Кровь струями текла по их ланитам, они собирали ее в горсть и бросали капли в жертвенный огонь.

Пламя раздвоилось, как широко распахнувшийся полук, над жертвенником встало облако белого пара. Когда же оно поредело и тусклым свитком уплыло из храма к дальним горам, на жертвеннике, между двух стен огня, осталась женщина, мертвенно бледная, с закрытыми глазами. Она была одета в такую же короткую тунику, как и все девы храма, так же имела лук в руках и колчан за плечами, но была прекраснее всех. Строгим холодом веяло от ее неподвижного лица. Мольбы, крики, песни и пляски росли, как буря на море. Пламя сверкало, напрягая свою мощь, чтобы согреть и разбудить мертвую красавицу. Синие жилки, точно по мрамору, побежали под ее тонкой кожей; грудь дрогнула, губы покраснели и зашевелились... и, — с глубоким вздохом, будто сбросив с плеч тяжесть надгробного памятника, — она пробудилась от сна. Оглушительный вопль приветствовал ее... Все упали ниц; даже юноша с золотою лирою склонил свою прекрасную голову. Огонь на жертвеннике угас сам собою, а над челом красавицы вспыхнул яркий полумесяц^[353]. Он рос и заострял свои рога, и в свете его купалось тело богини, точно в расплавленном серебре. Она водила по толпе огромными черными глазами, мрачными, как сама ночь, под бархатным пухом длинных ресниц. Взгляд ее встретился с взглядом Флореаса, и оружейник почувствовал, что она смотрит ему прямо в душу, и что не преклониться пред нею и не обожать ее может разве лишь тот, у кого вовсе не гнутся колена, у кого в сердце не осталось ни искры тепла, а в жилах — ни капли крови. Кто-то дал ему в руки стрелу, и он, в восторженном упоении, сделал то же, что раньше делали все вокруг: глубоко изранил ее острием свой лоб и, когда заструилась кровь, собрал капли в горсть и бросил к ногам богини с громким воплем:

— Радуйся, царица!

И, в ответ его воплю, среди внезапной тишины, раздался мощный голос, глухо и торжественно вещавший медлительную речь:

— Здравствуй, мой светлый бог и брат, царь лиры и солнца! Здравствуйте, мои верные спутницы и слуги! Здравствуй и ты, чужой юноша, будь желанным гостем между нами. Семь веков прошло^[354], как закатилось солнце богов, и я, владычица ночей, умерла, покинутая людьми, нашедшими себе новых богов в новой вере. Здесь был мой храм — здесь

моя могила. Вымерли мои слуги, прахом рассыпались мои алтари, сорными травами заросли мои храмы, мои кумиры стали забавою людей чужой веры. Жертвенный огонь не возгорался на моей могиле, я не обоняла сладкого дыма всеожжений. Не могут боги жить без жертв; безжертвенный бог засыпает сном смерти. Я спала в земле, как спят человеческие трупы, как спите все вы, мои спутницы и слуги; я — мертвая богиня побежденной веры, царица призраков и мертвецов! Юноша разбудил меня. Он пришел на таинственный зов, он оживил мой храм и согрел огнем мой жертвенник. Клянусь отцом моим, спящим на вершине Олимпа, — велик его подвиг и велика будет его награда. Николай Флореас! хочешь ли ты забыть мир живых и здесь в пустыне стать полубогом среди забытых богов? Хочешь ли ты свободно коротать с нами веселые и торжественные ночи и в вихрях носиться над землею, от льдин великого моря блаженных Гипербореев^[355] к слонам и черным пигмеям лесистой Африки? Хочешь ли ты назвать своим братом бога звуков и света? Скажи: хочу! — отрекись от своего мира, и я отдам тебе свою любовь, которой не знал еще никто из богов и смертных.

И небо, и земля молчали, и ветер не дышал, когда Флореас тихо ответил:

— Хочу. Я твой раб, и жизнь моя принадлежит тебе.

Пламенем вспыхнули очи богини, радостно дрогнули ее ноздри, громкий крик, похожий на охотничий призыв, вырвался из ее груди. Она сошла с жертвенника и, прямая и трепещущая, как стрела, только что сорвавшаяся с тетивы, приблизилась к Флореасу. Теплые уста с дыханием, пропитанным ароматом животворящей амброзии, коснулись его губ; теплая рука обвила его шею и закрыла ему глаза. Флореас слышал, как богиня отделила его от земли... как они медленно и плавно поднялись в воздух, сырой и прохладный... С шумом, песнями и смехом, взвилась за ними вся толпа, наполнявшая храм; ее движение рождало в воздухе волны, как в море... Богиня сняла руку с глаз Флореаса; он увидел себя на страшной высоте; огни храма меркли глубоко внизу. Закрыв глаза, он почти без чувств склонился на плечо богини, пропитанное светом осенявшего ее полумесяца... Как сквозь сон, слышал он охотничьи крики и свист вихря, помчавшего воздушный поезд в неизвестную даль. Волосы богини, подхваченные ветром, хлестали его по лицу.

— Не бойся! — слышал ее голос Флореас, — не бойся, супруг мой. Тот, кого я держу в своих объятиях, не должен ничего бояться. Он сильнее природы, она его слуга...

Они мчались над широкими реками в плоских берегах, над темными

городами с стрелкообразными колокольнями, над тихо шепчущими маисовыми полями, изрезанными сетью мутных каналов, над болотами, окутанными в густую пелену опасных туманов, — направляясь на далекий север, к неприступной стене суровых Альпов. Снежная метель захватила воздушный поезд, потащила его по узким ущельям к сверкающим льдинам глетчера и долго крутила охоту богини по снежным полям. Стадо серн пронеслось так далеко, что Флореасу оно показалось стадом каких-то рогатых мышей. Но богиня бросила стрелу, и стадо рухнуло в внезапно открывшуюся пред ними бездну.

— Галло-э! добыча! добыча! — закричала богиня. И хохотом, и воплями отвечала ее дикая охота. Гремели рога, выли псы, звенела арфа прекрасного светлого бога.

Они спускались к тихим озерам, чтобы поражать проворных выдр, когда они выныривали из-под воды, держа в зубах карпа или щуку. Богиня опрокидывала постройки умных бобров и, когда зверьки темными пятнами ускользали в разные стороны, сыпала в них убийственные стрелы. Потянулись лесистые равнины Германии. Лиственное море шумело и волновалось от веяния волшебного полета. Ноги Флореаса скользили по вершинам столетних дубов. Мохнатые зубры, ветворогие лоси, лани с кроткими глазами, привлеченные блеском полумесяца на челе великой охотницы, выбегали на лесные прогалины и метались, оглашая ночную тишь мычанием и блеянием. Им отвечали в кустарниках голодные волки, испуганные медведи жалобно рыкали в глубоких берлогах. Но стрелы богини падали, как дождь, и, когда поезд дикой охоты улетал, рев и вой животных сменялся зловещею тишиною кладбища. Запах крови поднимался от леса. Богиня жадно впивала его, раздувая ноздри, привычные к жертвенным ароматам. Глаза ее сверкали, как у тигрицы, впускающей когти в оленя. Она казалась двуногим зверем, но зверем сверхъестественным, в котором соединялись и самое возвышенное, и самое ужасное существа животного мира: зверь — самый хищный и самый красивый, самый кровожадный и самый величественный, самый жестокий и самый обаятельный. Пред нею надо было трепетать, но нельзя было не восторгаться ею и не поработиться ей всей душой. Под обаянием ее взгляда, Флореас кричал так же, как она, вместе с нею рассыпал смертоносные стрелы, с тем же наслаждением впивал одуряющий запах потоков крови, обозначавших страшный путь дикой охоты по северным лесам.

Они мчались над Рейном, великою рекою чудес. Флореас видел, как в его волнах сверкали золотые клады, хранимые лебедиными девами,

слышал, как грохотали водопады, как в медных замках храпели их глупые властелины, свирепые великаны. Из щелей в береговых скалах выползали рудокопы-гномы и дивились дикой охоте, задирая головы до тех пор, пока красные шапочки сваливались с макушек. Ушей Флореаса коснулся грозный шум морского прибоя. Морские валы рвались в устье, побеждая силу течения реки-великана. На сотни миль кругом кипело седыми валами северное море — угрюмое, холодное, с бурю водою под белесоватым небом, море-враг, море-чудовище. Восток бледнел, звезды меркли и уходили за водную равнину.

— Домой! домой! — звала богиня. Голос ее звучал резко и печально, как голос ночной птицы, зачужавшей близость утра. У Флореаса заняло дыхание от усиленной быстроты полета. В промежутках головокружения он едва успел заметить, как длинную вереницею вились за поездом тени убитых зверей. Но чем больше белел восток, тем бледнее становились эти тени; то один, то другой призрак из свиты богини исчезал, сливаясь с утренними облаками. Тише раздавались охотничьи крики и хохот, замолк звон золотой лиры, потускнел венчавший богиню полумесяц. И только она сама оставалась неизменно прекрасною и сильною. Так же мощно, но еще нежнее и доверчивее прежнего, обнимала ее рука плечи Флореаса; то огнем восторженного возбуждения, то туманом неги покрывались ее, обращенные к нему глаза... Они опустились в таинственный храм, откуда несколько часов тому назад унес их поезд дикой охоты. Флореас остался один с богинею — пред ее опустелым жертвенником-могилой. Беспокойным взором обвела она окрестные вершины: в сизых облаках уже дрожали золото и румянец близкой зари... И Флореас в последний раз услышал голос богини:

— Мой день кончен... теперь — любовь и сон. Когда весь мир спит, встаем и царствуем мы, старые, побежденные боги, и умираем, когда живете вы... Мой день кончен... теперь — любовь и сон. Приди же ко мне и будь моим господином!..

Солнце роняло на землю отвесные лучи полдня. Флореас в задумчивом оцепенении сидел среди безобразных груд разрушенного храма. Он не разбирал, что было с ним ночью: сон ли ясный, как действительность, или действительность, похожая на сон. Да и не хотел разбирать. Он понимал одно: что судьба его решена, что никогда уже не оторваться ему от этого пустынного места, одарившего его такими страшными и очаровательными тайнами... Если даже это были только грезы, то стоило забыть для них весь мир и жить в них одних. Только бы снова мчаться сквозь сумрак ночи в вихре дикой охоты, припав головою к

плечу богини, и на рассвете снова замирать в ее объятиях сном, полным видений любви и смерти.

Так, полный сладких воспоминаний, в близком предчувствии бурных наслаждений новой ночи, сидел он и не замечал медленно текущего жаркого дня, уставив неподвижный взор на остатки жертвенника, где явилась вчера богиня.

И загадочные буквы, растерянные по обломкам разрушенной надписи, теперь открывали ему свой ясный смысл, — радостный смысл верного обетования:

Hie jacet Diana Dea
Inter mortuos viva
Inter vivos mortua.

«Здесь покойся богиня Диана, живая между мертвыми, мертвая между живыми».

Подмастерья Флореаса, добравшись до Пизы, рассказали, как таинственно пропал их хозяин. Не только Ка-майоре, но и все соседние городки приняли участие в поисках за без вести исчезнувшим оружейником, но их труд был напрасен. Тогда судьи доброго города Камайоре решили, что Флореас и не думал пропадать, а просто его убили подмастерья и зарыли где-нибудь в пустыне. Бедняков бросили в подземную темницу с тем, чтобы, если Флореас не явится в годовой срок со дня своего исчезновения, повесить подозреваемых убийц на каменной виселице у городских ворот. К счастью для невинных, незадолго до конца этого срока, синьор Авеллано да Виареджио, гоняясь за диким вепрем, попал, вместе со всею свитой, в ту же тещубу, что поглотила молодую жизнь Николая Флореаса. Пробираясь сквозь бурелом, кустарники и скалы, охотники наткнулись на одичалого человека в рубище, обросшего волосами, с когтями дикого зверя. Он бросился от людей, как от чумы; однако его догнали и схватили. Напрасно рычал он, боролся и кусался, напрасно хватался за каждый камень, за каждое дерево, когда понял, что его хотят увлечь из пустыни. Дикаря привезли в Виареджио, насильно остригли и вымыли, и знакомые с ужасом узнали в нем Николая Флореаса.

Приор нагорной обители босоногих капуцинов в Камайоре дал приют несчастному оружейнику в тюремной келье, приставив к нему двух дюжих служек. Но, в первую же ночь стражи, караульщики убежали от кельи, перепуганные бурным вихрем и странными голосами. Неведомо откуда налетели они в монастырскую тишь и, то рыдая, то смеясь, звали к себе

Флореаса. А он между тем безумно бился в своей келье, как птица в клетке, и отвечал на призывы незримых друзей такими воплями, как будто с него с живого сдирали кожу. В следующую ночь сам приор был свидетелем этого чуда, против которого оказались бессильными заклинательные молитвы и святая вода. Тогда стало ясно, что Флореас чародей, и решено было, пока не наделал он беды и соблазна христианскому миру, сжечь его, во славу Божию, по законам страны и церковному уставу, огнем на торговой площади доброго города Камайоре, в праздник Святой Троицы, после обедни. До самого праздника Святой Троицы жил Флореас в монастыре, ночью буйствуя и пугая братию дьявольским наваждением, а днем тихий, кроткий и молчаливый. Он снова выучился понимать человеческую речь и изредка обменивался словами со своими стражами. Когда ему объявили его участь, он равнодушно выслушал приговор и даже улыбнулся: такова была его вера в могущество помогавшего ему беса. Разум его не всегда был затемнен, и монастырскому врачу, кроткому брату Эджицио из Фиэзоле, удалось выпытать у грешника, как вступил он в союз с обольстившим его бесом. Каковой рассказ Фра Эджицио и записал смиренномудро в монастырский мемориал на страх и поучение всем добрым христианам о коварных кознях и обольщениях неустанного отца всякого греха и лжи, вечно злодеющего, сатаны. Совершив откровенное признание, колдун Флореас стал хиреть и чахнуть и умер в канун дня Святой Троицы, назначенного ему милосердием властей, дабы он мог очистить огненной смертью тяжкий грех союза с адом, взятый им на свою погибшую душу. Но дьявол, коварный враг всякого доброго начинания, не допустил своей жертвы до спасительного костра и задушил Флореана в ночи. Так что поутру стражи, пришедшие за колдуном, нашли в келье только холодный труп его, который, по благому рассуждению приора и городских судей, был возложен на костер пред очами вполне благочестивых граждан города Камайоре. Когда же тело колдуна обратилось в пепел, внезапно, при тихой погоде и солнечном дне, налетел жестокий вихрь и, разметав костер, умчался в горы, к ужасу всех присутствующих господ, дам и всякого звания народа, которые не усомнились, что в оном вихре незримо прилетал за душою покойного Флореаса погубивший его своими обольщениями дьявол.



На берег моря царица идет, гордая Аделюц, белокурых фриз
царица. Собирать пестрые раковины она идет, янтарь, водяных коней и
морские звезды. Потому что силен был утренний прибой, и все отмели
чуждыми с глубокого дна покрылись.

Странная птица у моря сидит — смотрит на Аделюц дикими глазами.
Как темная ночь, черные крылья ее, и дыбом торчат, все врозь, на ней
перья. Пламя сверкает в мрачном взоре ее, и рост ее — рост богатыря-
человека. Зеленый труп держит птица в когтях, и клюв ее окровавлен.

— Здравствуй, Аделюц! Здравствуй, царица-краса. Потому что
красивее тебя нет девицы на свете. Головою ты выше своих подружек; золотые
косы твои падают ниже колена. Как первый снег на горах, ты бела, и
розами цветут твои щеки. Перси твои — как две пенных волны, а глаза
синее, чем море, где ловлю я бледные трупы.

Певцы о тебе по свету славу поют, за синим морем звучат о красе
твоей песни. Только песню услышав, по песне одной, — храбрый викинг
Айдар в тебя влюбился.

Только песню услышав, по песне одной, — корабли он черные
построил. Только песню услышав, по песне одной, — на кораблях он к тебе
через море пустился.

Но не викингу было тобою владеть. Клянусь, достойна ты лучшего

ложа. И вихорь, и бурю ему я навстречу поднял, и ко дну пошли корабли, и гребцы, и бойцы с кораблями. Захлебнулся студеною волною Айдар, и вот я, веселый, — сию, клюю его белое тело.

К матери Аделюц в страхе идет, к Утэ-царице несет печальные вести.

— Страшная птица мне прокаркала их, страшная птица в черном оперенье. Был то, должно быть, сам дьявол из бездны морской или проклятый колдун, слуга адского мрака.

Утэ-царица, бедная, дрожит.

— Храни тебя, Аделюц, Бог, потому что тебе грозит великое несчастье. Не дьявол то был из бездны морской, но уж лучше бы он был сам дьявол.

Ворон морской явился тебе, страшная птица неведомой пучины. Несчастьем мореходов он живет, трупы утопленников — его пища. Холодом веет от крыльев его, ржавая роса каплет с его черных перьев. Смрадною кровью обогрен его клюв, и вокруг него — воздух могилы.

Горе мужчине, который увидит его. Горькою смертью умрет он до скончания года. Горе женщине, которая увидит его. Горькою смертью умрет она до скончания года. Горе девушке, которая увидит его, потому что она потеряет невинность.

И тебя, моя Аделюц, спасти я должна. Высокую построю тебе башню. И будет в башне светлица одна, и в светлицу тебя заточу я. Одно лишь окно в светлице прорублю, чтобы могла ты корзину опускать, — посылали бы мы тебе с земли пищу. Так будешь жить ты, Аделюц, целый год, покуда молитвы мои не снимут с тебя чар дурного глаза.

В светлице Аделюц на ложе лежит. Давно уже темная ночь землю кроет. Снежная буря вокруг башни гудит. Кто в оконце стучит, когтями царапает, кричит и стонет?

— Отвори, прекрасная Аделюц, отвори, потому что я тебя люблю и хочу, чтобы ты меня любила. Сильно озяб я в снежной ночи, и крылья мои коченеют. Пусти меня, Аделюц, к тебе на кровать, обогрей на своей груди, в любовных объятьях.

— Не пущу я тебя на кровать, не стану греть на груди, в своих объятьях. Что мне до того, что ты любишь меня? Не бывать тебе мною любимым.

Потому что я знаю: ты черный ворон морской, страшная птица неведомой пучины. Несчастьем мореходов ты живешь, трупы утопленников — твоя пища. Холодом смерти веет от крыльев твоих, ржавая роса каплет с твоих перьев. Смрадною кровью твой клюв обогрен, и вокруг тебя — воздух могилы.

— Пусть кровью мой клюв обогрен, пусть вокруг меня воздух могилы.

Но зато я в пучине океана живу и все богатства его мне известны. Если ты мне отворишь окно, если ты мне объятья откроешь, лучший перл я тебе подарю — лучший перл, какой родила глубина океана.

Пусть холодом веет от крыльев моих, пусть ржавая роса увлажняет мои перья. Но зато я в подземных пещерах живу, и все их богатства мне известны. Если ты мне отворишь окно, если ты меня на грудь свою примешь, — лучший в мире рубин я тебе подарю, величиною в куриное яйцо, и красный, как адское пламя.

Пусть я несчастьем мореходов кормлюсь, пусть трупы утопленников — моя пища. Зато я в подводных чертогах царю, и все их богатства мне подвластны. Если ты мне отворишь окно, если ты меня любовью согреешь, — золотой пояс я тебе подарю, снятый с мертвой языческой царицы.

Тысячу лет, как утонула она, но ржа ее пояса не съела. Красиво блестит он, как в первый день, и многих редких зверей изображают его звенья. Когда тем поясом обовьешь ты свой стан, солнце затмится пред тобою, а луна от стыда за себя не посмеет выйти на небе.

И встала с кровати Аделюц, и очень сильно было ее искушение. И красного рубина хотела она, и хотела драгоценного перла. Больше же всего ее пояс манил, пояс с редкими зверями, снятый с мертвой языческой царицы.

И отворила окно бедная, глупая Аделюц, и влетел к ней черный морской ворон. В тяжкие крылья он обнял ее и кровавым клювом уст ее коснулся. И согревала она его на груди. — Господи, прости ей ее согрешенье.

Отец и мать пришли к царевне Аделюц, царь Марк-вард с царицею Утэ. И сильно были они изумлены, и долго в молчанье на дочь они глядели.

— Отвечай нам, Аделюц, гордая Аделюц! Где взяла ты драгоценный перл, что сияет в твоей головной повязке?

— Грустно мне, девушке, в светлице, одной — горькими слезами в одиночестве я плачу. Из слез моих родился этот перл, — так диво ли, что он так велик и прекрасен?

— Отвечай нам, Аделюц, гордая Аделюц! Где взяла ты кровавый рубин, что горит, как огонь, в ожерелье, на твоей белой шее?

— Солнечный луч я поймала решетом, заклятьями в камень превратила. Из солнечного света сделан мой рубин, — так диво ли, что он так велик и прекрасен?

— Отвечай нам, Аделюц, гордая Аделюц! Где взяла ты пояс золотой, что змеєю вьется вокруг твоего стана?

Ничего тут не сказала Аделюц, и приступил к ней царь Марквард с грозным допросом.

— Отвечай мне, Аделюц. гордая Аделюц! Отчего так полон твой стан, и в глаза нам взглянуть ты не смеешь? Святым Богом клянусь, что преступна ты! Открой же нам твои вины и преступления.

— Прав ты, отец Марквард, и ты, царица Утэ, моя мать. Преступна я, и нет мне прощенья. Страшный плод я в теле ношу, и боюсь, чтобы не родился от меня дьявол.

Потому что с морским вороном я спала, с страшною птицею неведомой пучины. Он бедою мореходов живет, трупы утопленников — его пища. Холодом веет от крыльев его, ржавая роса каплет с его перьев. Алою кровью обагрен его клюв. И вокруг него — воздух могилы.

От него этот перл и рубин, и золотой пояс, снятый с мертвой языческой царицы. В снежную бурю ко мне он влетел, и я на груди его грела. И тело, и душу мою он погубил, — Господи, прости мне мое согрешенье.

Прошу тебя, добрый отец мой, царь Марквард: вели сложить костер во дворе твоего островерхого замка. И дегтем его вели осмолить, и соломы, и стружек насыпать. На костре должна я сгореть, и проклятый плод мой будет сожжен вместе со мною. На костре должна я, как колдунья, сгореть, потому что я зналась с нечистым бесом.

И горько плакал царь Марквард, и горько плакала мать, царица Утэ. И утирали они слезы полами одежд, хотя у них были очень дорогие одежды.

И на костер прекрасную Аделюц взвели, и сожгли, так что и костей не осталось. И бросили в море пепел и золу, и проклинали нечистую силу.

Спаси нас от нее, святой апостол Матвей и Елена, мать царя Константина.

Свадьба контрабандиста [\[357\]](#)
(Баллада 1636 г.)



Что ты мне поешь — «кюрэ» да «кюрэ»? Коли священник не хочет венчать меня сегодня — под пятницу — будь ему пусто: я обойдусь и без венца, а свадьба все-таки будет! Черт бы драл твоего попа! Не забуду я ему зла: при первой встрече обкарнаю ножом ему уши.

— Понимаешь, пономарь? Пред тобою — контрабандист, развеселый малый, что проводит жизнь в лесах и не знает ввечеру, будет ли он жив завтра утром. Стоит таможенному взять прицел повернее — паф! и готово! Слушать, как мимо ушей свищут пули таможенных, — вот мое ремесло, мое веселье. Поди — спроси своего попа: видал ли он, как летает красный петух? Как хлопают его огненные крылья? Слыхал ли он его буйную песню? Прах его поberi твоего неслуха-попа: коли не видал и не слыхал, так увидит и услышит!

Побледнел пономарь как полотно, и уже кажется ему, что весь священников дом охвачен пожаром. Идет он к кюрэ и плачет: так-то и так-то грозит нам Николай Дубовая-Голова. Испугался священник, но церковный запрет еще страшнее гнева контрабандиста.

— Буди воля Господня! — говорит он, — а не могу я венчать под пятницу!

Сжал кулаки Дубовая-Голова. Инда пена у рта показалась от злобы.

— Хорошо, коли так! Эй, нареченный тесть! Подавай мне сюда мою невесту!

— Потерпи, Николай! Два дня скоро пройдут: в понедельник обвенчают вас в церкви.

— Нет! Нет! Либо сейчас, либо никогда! Иди за мною, красавица, или — гром тебя расшиби! Оставайся в девках!

Плачет невеста и целует колена отца:

— Не отдавай меня ему, он ужасен!

— К черту же эту плаксу со всем ее ханжеством! Ты думаешь, не найду я невесты красивей? Сиди в своей лачуге, судомойка! Я иду искать

себе другую жену. Первая встречная будет лучше тебя, дура! Не для тебя мой пояс, начиненный червонцами, не для тебя сорок собак, что держу я назло таможенным стражам: мне смех, а им горе! Сорок собак, что не дают полицейским крючкам и понюхать наших товаров.

И встретил красотку Николай, встретил близко виселицы, на перекрестке. Не видано личика милей и стана стройнее. И схватил ее контрабандист, обнял дюжею рукою:

— Кто ты, голубка, и откуда?

— Зовусь Робертиной; кто были мать и отец — не знаю; ни родины, ни дома нет у меня. Что было со мною вчера — я не помню. Что будет завтра — о том не забочусь. Невесть откуда иду, невесть куда и приду. Утром бываю богата, к вечеру снова гола как сокол. Только в одном постоянная: всегда весела и готова ласкать...

— Истинным Богом... да что же ты вздрогнула, красotka? Или не любишь божбы? Ну, так дьяволом клянусь — лихим рыжим весельчаком, самым господином Сатаною! Ты как раз такая жена, как надо мне, лихому контрабандисту! Хочешь выйти за меня? Выйти без кюрэ и венчанья? Пировать свадьбу под пятницу, есть мясо, пить вино и хохотать над сухоядением святошей?..

— Ладно, хочу! По рукам! — молвит красotka.

— Вот слово, так слово!.. Золота стоит оно! Эй, ты, трактирщик! Живо подай нам наш свадебный обед, да не жалея вина: лей, лей его и еще лей в бутылки! Сегодня вечер радости: я женюсь, и дураку-кюрэ нет места на моей свадьбе.

— Нет, кум Дубовая-Голова: тому не бывать. Я боюсь Бога и не позволю справлять у себя подобную свадьбу. Ищите другой трактир для ваших богохульных речей и кощунства.

— Провались же твой скверный кабаk, негодный лицемер! Эй, молодцы, возьмите у него бочку вина! Что? Ты не хочешь продать? Берегись моего ножа, приятель!.. Возьмите у него бочку вина и ударимся в лес, — туда, где среди вековых дубов, под кустами и мхом, спят развалины старого замка... Там отпируем мы свадебный пир! Эй, лысый Матвей! Вот тебе ряса! Будь у нас за кюрэ, товарищ!

И пили, и гуляли они, — когда же ударила полночь, остался Николай вдвоем с молодою женою. Радостью и любовью горят ее глаза, и очарован суровый контрабандист, и смягчилось его железное сердце.

— Я сам хочу ходить за тобою — у тебя не будет другой служанки, кроме меня, Робертина. Мои руки снимут с тебя серебряный пояс, мои руки расстегнут золотой запон, мои руки спустят шелковый чулок, что скрывает

твою стройную ножку...

Но, когда чулок упал наземь, вскрикнул Николай Дубовая-Голова, и лес ему ответил: на ножке-то было раздвоенное копыто!

— Робертина, Робертина! Зачем у тебя козлиная нога?

— Затем, что в аду очень скользко.

— Робертина, Робертина! Зачем у тебя два рога на лбу? Они сверкают, как две пылающие свечи!

— Затем, что в аду очень темно.

— Робертина, Робертина! Зачем у тебя на руках железные когти?

— Затем, чтобы унести в ад тебя — моего дорогого супруга.

— Робертина, Робертина! Боюсь, что ты сам сатана, — и, никак, я, несчастный, женился на черте!

И засмеялся дьявол и сказал:

— А кто же велел тебе жениться под пятницу?

Дубовичи [\[358\]](#)

(Карпатская сказка)



Жил-был в Карпатах граф. Жил он в круглой серой башне, на крутом обрыве каменной скалы. Под обрывом спало озеро, тихое и прозрачное, точно голубой глазок.

Рыбаки с озера, когда привозили рыбу к графскому столу, легко различали из своих челнов, какого цвета пояса и шаровары у часовых, стоящих на сторожевой вышке башни. Но без подъемной лестницы, которую спускали графские люди, рыбакам, чтобы попасть в башню, пришлось бы взять на три дня окольного пути по дремучим лесам узкою, сбивчивою тропою в одноконь: так уединенно поселился граф, отрезав себя лесами и озером от враждебных соседей.

В графских лесах росли многие тысячи матерых и кудрявых дубов, но всех краше был старый дуб, возвышавшийся на кустистой поляне пред воротами башни; лесная тропа к башне бежала под тенью дуба, и он был

первым деревом дремучей чащи для всадников, ехавших от графа, и последним — для всадников, ехавших к графу. Разлапистый, толстый и дуплистый, он стоял под зеленым шатром своим, словно вождь всего леса. Аист свил гнездо на макушке дуба. Гуцулы, крепостные графа, думали, что в старом дереве живет тайная благодетельная сила. В Радуницу и Семик они вешали на ветви дуба венки и полотенца — в жертву родителям. Потому что в те времена еще верили, будто души предков летают по лесам, отдыхают на сучьях тенистых деревьев и любят, когда внуки приносят им дары и поклон от живых.

Граф был суровый дикарь охотник, бражник-насильник, но христианин. Он жестоко гнал последних язычников, еще гнездившихся в карпатских тущобах, и беспощадно истреблял остатки и памятники старинных суеверий: разметывал жертвенники, отнимал амулеты, рубил и жег священные деревья, казнил волхвов и знахарок. Но на свой старый дуб он только косился, а тронуть его не смел. Дуб значился в гербовом щите графа, и ему было совестно посягать на ветхое дерево, словно на родного.

Никто из жителей башни не любил тень старого дуба больше, чем графская дочь — восемнадцатилетняя красавица, белая, как молоко, румяная, как заря; ее черные косы падали до пят, а васильки, когда графиня рвала их себе на венок, улыбались ее глазам, как родным братьям.

Графская дочь была весела и кротка. Она никого не любила и покорно ждала, когда отец прикажет ей идти замуж за жениха, с которым ее помолвили заочно, по седьмому году, и которого она никогда не видала, хотя и носила на мизинце золотое обручальное кольцо: оно было сделано про запас, на большой палец, но, пока девочка росла, пропутешествовало через указательный средний, четвертый, до мизинца, а теперь было уже тесно и мизинцу. Поэтому девушка часто снимала неудобное кольцо с руки — и, в конце концов, его потеряла.

Графские латники исползали на животах всю поляну вокруг старого дуба, — потому что, сидя под дубом, графиня потеряла кольцо, — но кольца не нашли. Они перерыли мох, облежавший дубовые корни, лазили с фонарем в дупло, но кольца не нашли. А когда латники с неудачей вернулись в замок, граф раздел их всех донага и обшарил собственноручно их тела и одежду, так как был уверен, что кольцо найдено, но утаено кем-либо из его верных слуг, которых он всех почитал — и небезосновательно — за разбойников и мошенников. Однако и он ничего не нашел. Обругавшись, как прилично доброму католику, граф дал дочери несколько пощечин и ускакал на охоту.

Потеря кольца была тем неприятнее, что вскоре пришли известия о

женихе графини. Он уже пять лет пропадал в Святой Земле, рубясь с сарацинами, и теперь ехал из Палестины в Карпаты, чтобы жениться на скорую руку и, на другое утро после свадьбы, опять уехать в Палестину, ибо он был очень храбрый и знаменитый рыцарь. Его собственный меч принес ему много добычи и славы, но сарацинский — отрубил ему левое ухо и выколол правый глаз, что, впрочем, по тому времени, считалось очень к лицу мужчине.

Рыцаря ждали к осени. Граф все время травил зверье; дочка вышивала шелками попону для коня своего жениха, а в свободное время, — его у нее не было двадцать четыре часа в сутки, — раздумывала, какова-то будет ее замужняя жизнь за человеком, у которого очень много славы и денег, но только один глаз и одно ухо, и которого, вдобавок, она знает не больше, чем индейского попа Ивана^[359]. Смущало графиню также малоутешительное намерение жениха оставить ее соломенной вдовою на другой день после свадьбы. Однажды — около полдня — в таких грустных мыслях она оглядела родную башню, лес, озеро, любимый старый дуб, и ей стало так жаль своей девичьей свободы, так досадно на будущее, что слезы росой выступили на ее васильковых глазах.

— Будь моя воля, — сказал она, — никогда бы, ни для какого рыцаря, я не рассталась с тобою, мой милый старый дуб!

Ветер ходил в старой листве старого дуба; она, величаво шатаясь, прошумела:

— И оставайся с нами, графская дочка!

Белые цветы, на тоненьких ножках, топорщившие свои головки-звездочки из мохнатого дерна, поцеловали красные башмачки графини и зазвенели:

— Оставайся с нами!

Через поляну, к лесу проскакал заяц и, став столбиком на пенек, подмигивал:

— Оставайся-ка, друг-графиня, с нами!

— Ох, кажется, я задремала, — подумала графская дочь, качаясь, потому что ветер, пропитанный запахом болиголова и дикой мяты, баюкал ее, как в колыбели... И вот ей стало сладко, сладко... И в дремотной истоме ей чудилось, будто старый дуб наклоняет к ней свою шумную голову, тянется к ней узловатыми ветвями, и на одном, самом крошечном сучке, блестит ее потерянное кольцо. Графская дочь хотела его схватить, но ветви обняли ее крепко... только это уже не ветви, а руки — бурые, в зеленых рукавах, и кольцо блестит на мизинце... Величавый старик, в венке из дубовых листьев и желудей, с серебряной бородой по колена, склонился с

поцелуем к алым устам графской дочери... и вокруг стало темнеть, и ей показалось, будто она медленно-медленно погружается в недра земли.

— Кто ты?

И она услышала ответ, подобный шелесту листьев.

— Я тот, с кем решилась ты никогда не расставаться... Я гений, оживляющий твой любимый дуб, а ты моя жена. Четыреста лет прожил я одиноким, но когда ты стала приходить ко мне со своими девичьими мечтами, я так же полюбил тебя, как ты меня любила, я обручился с тобою и взял тебя женой...

— Где мы?

— Под моими корнями...

Граф, вернувшись с охоты, искал дочь так же долго и напрасно, как раньше пропавшее кольцо. Сперва он предположил, что она убежала с любовником, приказал латникам расстрелять из луков старую няньку графини и перепорол в конюшне всех горничных. Потом, надумав, что дочь украдена кем-либо из недругов-соседей, стал ходить на них по очереди войною и вешать их на воротах их собственных замков, пока не нашелся удалец, который сам пошел войною на графа и, взяв башню, самого графа повесил на ее воротах. Удалец этот был никто другой, как вернувшийся из Святой Земли жених пропавшей графини. Он страшно обиделся, что понапрасну приехал из такого далека, не поверил, что его невесту украли, ни что ее съели волки, а почел свою честь восстановленной, только увидев нареченного тестя в петле. Башня ему понравилась, и он стал в ней жить, наняв себе латников покойного графа.

А графская дочка — довольная и спокойная — покоилась на ложе из мха и прошлогодних листьев, оцепенелая в долгом сне любви, потому что в это время над землею трещали морозы, а зимою деревья, вместе с гениями, дающими им жизнь, спят, как сурки и медведи...

Пришла весна, и — с первым криком грачей — стал оживать старый дуб; медленно-медленно просыпался он; отшумели снежные ручьи, сошли подснежники, соловей защелкал в листьях березы, уже с зеленый грош величиною, — тогда прокатился первый гром. Заквакали над озером первые лягушки, и старый дуб развернул первый новый лист... И в тот же миг оцепенелый дух приподнялся на своей подземной постели — и радостными помолодевшими глазами переглянулся с проснувшейся женою.

В синие майские ночи графская дочь поднималась на поверхность земли и, как русалка, качалась на ветвях своего дуба, играя туманом и лунным лучом. Она чуяла, как листья наливаются соками, как корни, подобно насосам, тянут влагу из земли, как медленно всасывается она в

старые жестокие поры ствола и сучьев. Черемуха, рябина и дикая яблоня дышали навстречу ее радостному, свободному дыханию. Соловей на березе свистал, урчал и злился, что, как ни старается, не может перепеть соседа в ближайшем ореховом кусте. Бывало иной раз так тихо, что графская дочь слышала плеск весел внизу на озере и с дальнего берега тягучие песни рыбаков, чьи костры дрожали двойными красными звездочками — в ночи и в озере. Гудели хрущи, гремел лягушечий хор; рогач летел высоко и стоймя, как маленький дьявол. Все шумело и пело о новой жизни, и новой жизни улыбались сверху помолодевшие звезды... Белая женщина в ветвях дуба слушала, смотрела, обоняла, и ей было хорошо и полно, — и она чувствовала себя одною душою с весеннею природой, потому что и внутри себя она чувствовала трепет новой, нарождающейся жизни...

Два всадника мчались лесною тропею. Один был новый владелец башни. Другой — его капеллан, угрюмый, босой монах в коричневой рясе. Он презрительно смотрел на расцветшую природу; ее радость казалась ему грехом и соблазном. Он не понимал хвалы Богу в цветении трав, в пении птиц, в солнечном луче, в глубокой синеве неба, — он умел славить Его только сталью, красною от крови еретиков, и смрадом костров, на которых жарились живые язычники. Взгляд капеллана скользнул по кудрявой шапке старого дуба и омрачился. Монах сказал:

— Вот еще один из кумиров невежества. Господин! давно пора положить конец суеверному почтению, какое оказывают этому языческому дереву твои подданные, оскорбляя тем церковь и добрые нравы. Подари мне этот дуб! — я его уничтожу.

— Возьми, — сказал рыцарь, — мой предшественник, граф, повешенный мною на воротах башни, дорожил этим дубом, потому что дуб значился у него на гербовом щите. Но у меня нет дуба в гербе, и мне столько же дела до этого дерева, как до прошлогоднего снега.

И, привстав на стременах, он хватил боевою секирою по суку, растопырившему над дорогою лапы-листья.

В этот вечер муж явился графской дочери без кисти на обрубленной левой руке. Он сказал:

— Судьба велит нам расстаться. Мы — духи лесов — живем, пока живут наши деревья. Деревья живут, пока мы живем. Сегодня меня тяжело ранил твой бывший жених. Завтра меня вовсе срубят, распилят и сожгут. Я умру. Но ты не должна погибнуть. Вместе с утреннею зарею оставь меня и иди в лес навстречу солнцу. Ничего не бойся. Я буду смотреть на тебя через деревья, потому что я выше всего леса. Но когда ты оглянешься и не увидишь меня, значит, меня уже не будет на свете. На опушке леса ты

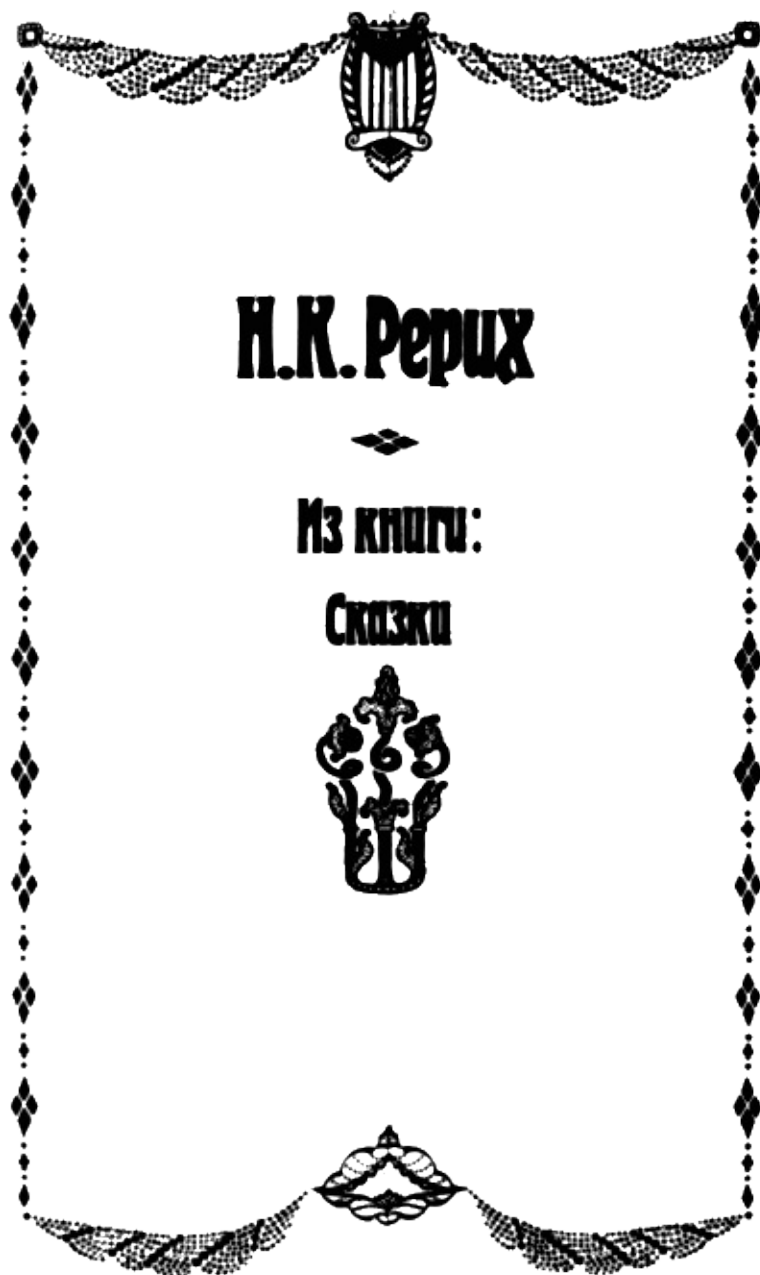
найдешь хату угольщика; его семья чтит меня и приносит мне дары. Скажи этим людям, что уходят из мира древние боги, умер старый дуб и завещает им хранить свою жену и своего ребенка...

Напрасно графская дочь плакала, умоляла мужа, чтобы он позволил ей остаться и разделить его судьбу. С утреннею зарею он указал ей звериную тропку, по которой ей надо было пробираться. Она шла и все оборачивалась, и все видела над лесом могучий лиственный купол старого дуба. Видела его в розовых заревых красках, в золотом блеске полдня... он стоял круглый, неподвижный... Потом он вдруг как будто скривился набок... Графиня прошла еще несколько сажен — сердце ее крепко билось — оглянулась: нет, это только так странно видно, — дуб живет!.. Оглянулась еще раз: лиственного купола уже не было над лесом, — а дубрава глухо ахнула в ответ падению векового богатыря...

Угольщик подобрал в лесу бесчувственную женщину и с удивлением узнал в ней без вести пропавшую графскую дочь. В его хижине она разрешилась от бремени мальчиком и умерла. На груди ребенка было странное родимое пятно — в виде дубовой ветки с гроздом желудей. По этому знаку и по предсмертным признаниям его матери, мальчика прозвали Дубовичем. Это и был Само Дубович, первый из рода Дубовичей, до сих пор могучих, богатых и славных — одни в Галиции, другие на далеком Далматском побережье.



ИЗ КНИГИ: СКАЗКИ [\[361\]](#)



Детская сказка



В очень известном и большом городе жил старый царь, вдовец. У царя была дочь, невеста. Царевна

далеко славилась и лицом и умом, и потому многие весьма хорошие люди желали сосватать ее. Среди этих женихов были и князья, воеводы, и гости торговые, и ловкие проходимцы, которые всегда толкаются в знатных домах и выискивают, чем бы услужить; были разные люди. Царевна назначила день, когда могут прийти к ней женихи и сказать громко при ней и при всех, что каждый надеется предоставить своей жене; царевна была мудрая. Женихи очень ожидали этого дня, и каждый считал себя лучше всех других. Один перед другим хвалились женихи, кто именитым родом за тридевять поколений, кто богатством, но один из них ничем не хвалился, и никто не знал, откуда пришел он. Он хорошо умел складывать песни; песни его напоминали всем их молодые, лучшие годы, при этом он говорил красиво и его любили слушать, даже забывая спросить, кто этот певец. И хотя он не был князем, но все женихи обращались с ним, как с равным.

В назначенный день все женихи оделись получше и собрались в палату, к царю. Согласно обычаю, женихи поклонились царю и царевне. Никого не пустил вперед князь древнего рода, за ним несли тяжелую, красную книгу. Князь говорил:

— Царевна, мой род очень знатен. В этой книге вписано более ста поколений... И князь очень долго читал в своей книге, а под конец сказал: «И в эту книгу впишу жену мою! Будет она ходить по палатам моим, а кругом будут образы предков весьма знаменитых.

— Царевна, — говорит именитый воевода, — окрест громко и страшно имя мое. Спокойна будет жизнь жене моей и поклонятся ей люди — им грозно имя мое.

— Царевна, — говорил залитый сокровищами, заморский торговый гость, — жемчугом засыплю жену мою; пойдет она по изумрудному полю и в сладком покое уснет на золотом ложе.

Так говорили женихи, но певец молчал, и все посмотрели на него.

— Что же ты принесешь жене своей? — спросил певца царь.

— Веру в себя, — ответил певец.

Улыбнувшись, переглянулись женихи, изумленно вскинул глазами старый царь, а царевна спросила:

— Скажи, как понять твою веру в себя?

Певец отвечал:

— Царевна! Ты красива и много я слышал об уме твоём, но где же дела твои? Нет их, ибо нет в тебе веры в себя. Выходи, царевна, замуж за князя древнего рода и каждый день читай в его алой книге имя свое и верь в алую книгу! Выходи же, царевна, замуж за именитого гостя торгового, засыпь палаты свои сверкающим золотом и верь в это золото! В покое спи на

золотом ложе и верь в этот покой! Покоем, золотом, алыми книгами закрывайся, царевна, от самой себя! Моего имени нет в алой книге, не мог я засыпать эту палату золотом и куда иду я — там не читают алой книги и золото там не ценно. И не знаю, куда иду я, и не знаю, где путь мой и не знаю, куда приду я и нет мне границ, ибо я верю в себя!..

— Обожди, прервал певца царь, — но имеешь ли ты право верить в себя?

Певец же ничего не ответил и запел веселую песню; улыбнулся ей царь, радостно слушала ее царевна, и лица всех стали ясными. Тогда певец запел грустную песнь; и примолкла палата, и на глазах царевны были слезы. Замолчал певец и сказал сказку; не о властном искусстве говорил он, а о том, как шли в жизнь разные люди и пришлось им возвращаться назад и кому было легко, а кому тяжело. И молчали все, и царь голову опустил.

— Я верю в себя, — сказал певец — и никто не смеялся над ним.

— Я верю в себя, — продолжал он, — и эта вера ведет меня вперед; и ничто не лежит на пути моем. Будет ли у меня золото, впишут ли имя мое в алых книгах, но поверю я не золоту и не книге, а лишь самому себе и с этой верой умру я и смерть мне будет легка.

— Но ты оторвешься от мира. Люди не простят тебе. Веря лишь в себя, одиноко пойдешь ты и холодно будет идти тебе, ибо кто не за нас — тот против нас, — сурово сказал царь.

Но певец не ответил и снова запел песню. Пел он о ярком восходе; пел, как природа верит в себя и как он любит природу и живет ею. И разгладились брови царя, и улыбнулась царевна, и сказал певец:

— Вижу я — не сочтут за врага меня люди и не оторвусь я от мира, ибо пою я, а песня живет в мире и мир живет песней; без песни не будет мира. Меня сочли бы врагом, если бы я уничтожил что-либо, но на земле ничто не подлежит уничтожению и я создаю и не трогаю оплотов людских. Царь, человек, уместивший любовь ко всей природе, не найдет разве в себе любви — к человеку? Возлюбивший природу не отломит без нужды ветки куста, и человека ли сметет он с пути?

И кивнула головой царевна, а царь сказал:

— Не в себя веришь ты, а в песню свою.

Певец же ответил:

— Песня лишь часть меня; если поверю я в песню мою больше чем в самого себя, тем разрушу я силу мою и не буду спокойно петь мои песни и не будут, как теперь, слушать их люди, ибо тогда я буду петь для них, а не для себя. Все я делаю лишь для себя, а живу для людей. Я пою для себя, и пока буду петь для себя, дотоле будут слушать меня. Я верю в себя в песне

моей; в песне моей — все для меня, песню же я пою для всех! В песне люблю лишь себя одного, песней же я всех люблю! Весь Для всех, все для меня — все в одной песне. И я верю в себя и хочу смотреть на любовь. И как пою я лишь для себя, а песнью моей живлю всех — так пусть будет вовеки. Поведу жену в далекий путь. Пусть она верит в себя и верою этой дает счастье многим! — Хочу веры в себя; хочу идти далеко; хочу с высокой горы смотреть на восход! — сказала царица.

И дивились все.

И шумел за окном ветер, и гнул деревья, и гнал на сухую землю дожденосные тучи — он верил в себя.

1893

Гримр-викинг [\[362\]](#)



Гримр, викинг, сделался очень стар. В прежние годы он был лучшим вождем и о нем знали даже в дальних странах. Но теперь викинг не выходит уже в море на своем быстроходном драконе. Уже десять лет не вынимал он своего меча. На стене висит длинный щит, кожей обитый, и орлиные крылья на шлеме покрыты паутиной и серою пылью.

Гримр был знатный человек. Днем на высоком крыльце сидит викинг, творит правду и суд и мудрым оком смотрит на людские ссоры. А к ночи справляет викинг дружеский праздник. На дубовых столах стоит хорошее убранство. Дымятся яства из гусей, оленей, лебедей и другой разной снеди.

Гримр долгое темное время проводит с друзьями. Пришли к нему разные друзья. Пришел из Медвежьей Долины Олав Хаки с двумя

сыновьями. Пришел Гаральд из рода Мингов от Мыса Камней. Пришел Эйрик, которого за рыжие волосы называют Красным. Пришли многие храбрые люди и пировали в доме викинга.

Гримр налил в ковш меду и подал его, чтобы все пили и каждый сказал бы свою лучшую волю. Все говорили разное. Богатые желали почета. Бедным хотелось быть богатыми. Те, которые были поглупее, просили жизни сначала, а мудрые заглядывали за рубеж смерти. Молодые хотели отличиться в бою, им было страшно, что жизнь пройдет в тишине без победы.

Гримр взял ковш самый последний, как и подобает хозяину, и хотел говорить, но задумался и долго смотрел вниз, а волосы белой шапкой легли на его лоб. Потом викинг сказал:

— Мне хочется иметь друга, хоть одного верного друга!

Тогда задвигались вокруг Гримра его гости, так что заскрипели столы, все стали наперерыв говорить:

— Гримр, — так говорил Олав, который пришел из Медвежьей Долины, — разве я не был тебе другом? Когда ты спешил спасти жизнь твою в изгнании, кто первый тебе протянул руку и просил короля вернуть тебя? Вспомни о друге!

С другой стороны старался заглянуть в глаза Гримра викинг Гаральд и говорил, а рукою грозил:

— Эй, слушай, Гримр! Когда враги сожгли усадьбу твою и унесли казну твою, у кого в то время жил ты? Кто с тобою строил новый дом для тебя? Вспомни о друге!

Рядом, как ворон, каркал очень старый Эйрик, прозвищем Красный:

— Гримр! В битве у Полуночной Горы кто держал щит над тобою? Кто вместо тебя принял удар? Вспомни о друге!

— Гримр! Кто спас от врагов жену твою? Вспомни о друге!

— Слушай, Гримр! Кто после несчастного боя при Тюленьем заливе первый пришел к тебе? Вспомни о друге!

— Гримр! Кто не поверил, когда враги на тебя клеветали? Вспомни! Вспомни!

— Гримр, ты сказал неразумное слово! Ты, уже седой и старый, много видал в жизни! Горько слышать, как забыл ты о друзьях, верных тебе даже во времена твоего горя и несчастий.

Гримр тогда встал и так начал:

— Хочу я сказать вам. Помню я все, что вы сделали мне; в этом свидетелями называю богов. Я люблю вас, но теперь вспомнилась мне одна моя очень старинная дума, и я сказал невозможное слово. Вы, товарищи

мои, вы друзья в несчастьях моих и за это я благодарю вас. Но скажу правду: в счастье не было у меня друзей. Не было их и вообще, их на земле не бывает. Я был очень редко счастливым; даже не трудно вспомнить, при каких делах.

Был я счастлив после битвы с датчанами, когда у Лебединого мыса мы потопили сто датских ладей. Громко трубили рога; все мои дружинники запели священную песню и понесли меня на щите. Я был счастлив. И мне говорили все приятные слова, но сердца друзей молчали.

У меня не было друзей в счастье.

Был я счастлив, когда король позвал меня на охоту. Я убил двенадцать медведей и спас короля, когда лось хотел бодать его. Тогда король поцеловал меня и назвал меня лучшим мужем. Все мне говорили приятное, но не было приятно на сердце друзей.

Я не знаю в счастье друзей.

Ингерду, дочь Минга, все называли самой лучшею девою. Из-за нее бывали поединки и от них умерло немало людей. А я женою привел ее в дом мой. Меня величали и мне было хорошо, но слова друзей шли не от сердца.

Не верю, есть ли в счастье друзья.

В Гуле на вече Один послал мне полезное слово^[363]. Я сказал это слово народу и меня считали спасителем, но и тут молчали сердца моих друзей.

При счастье никогда не бывает друзей.

Я не помню матери, а жена моя была в живых недолго. Не знаю, были ли они такими друзьями. Один раз мне пришлось увидеть такое. Женщина кормила бледного и бедного ребенка, а рядом сидел другой — здоровый и ему тоже хотелось поест. Я спросил женщину, почему она не обращает внимания на здорового ребенка, который был к тому же и пригож. Женщина мне ответила:

— Я люблю обоих, но этот больной и несчастный.

Когда несчастье бывает, я, убогий, держусь за друзей. Но при счастье я стою один, как будто на высокой горе. Человек во время счастья бывает очень высоко, а наши сердца открыты только вниз. В моем несчастье вы, товарищи, жили для себя.

Еще скажу я, что мои слова были невозможными, и в счастье нет друга, иначе он не будет человеком.

Все нашли слова викинга Гримра странными, и многие ему не поверили.

1899



По Мете, красивой, стоят городища. На Тверской стороне во Млеве был монастырь. Слышно, в нем скрывалась посадница Марфа. В нем жила четырнадцать лет. В нем и кончилась.

Есть могила Марфы во Млеве. Тайно ее там схоронили. Уложили в цветной кафельный склеп. Прятали от врагов. Так считают. Уже сто лет думают так, и склеп не открыт до сих пор.

Чудеса творятся у могилы Марфы. С разных концов новгородской земли туда идет народ. Со всеми болезнями, со всеми печальями. И помогает Марфа.

Является посадница в черной одежде с белым платком на голове. Во сне является недугующим и посылает на могилу свою. Идут. Молятся. И выздоравливают.

Марфа-заступница! Марфа-помощница всем новгородцам! Лукавым, не исполняющим обещания, Марфа мстит. Насыляет печаль еще горшую.

В старую книгу при млевской церкви иереи вписали длинный ряд чудес Марфы. Простодушно вписали вместе с известиями об урожаях, падежах, непогодах.

С Тверской стороны не являются на могилу Марфы. Обаяние ее туда не проходит. К посаднице идут только от новгородских пятин. Идут, почему не знают. Слушать молебны. Таинственный атавизм ведет новгородцев ко млевской могиле.

Когда речь идет о национализме искусства, вспоминаю этот путь новгородцев. Мы мало различаем чванный пестрый национализм от мистики атавизма. Пустую оболочку — от внутренних нитей. Мешаются часто последовательности, племенная и родовая.

Уже не смеемся, а только не доверяем перевоплощению. С недоумением подбираем «странные» случаи. Иногда страшимся Их. Уже не

бросаем их в кучу, огулом. То, что четверть века назад было только смешно, теперь наполняется особым значением.

Новые границы проводятся в искусстве. Пестрый маскарад зипуна и мурмолки далеко отделяется от красот старины в верном их смысле. Привязные бороды остаются на крюках балагана.

Перед истинным знанием отпадут грубые предрассудки. Новые глубины откроются для искусства и знания. Именно атавизм подскажет, как нужно любить то, что прекрасно для всех и всегда. Чарами атавизма открывается нам лучшее из прошлого.

Заплаты бедности, нашивки шутовские нужно суметь снять. Надо суметь открыть в полном виде трогательный облик человеческих душ. Эти образы смутно являются во сне — вехи этих путей наяву трудно открыть.

Время строить сущность земли. Под землю не спрятать того, что нужно народу. Незнаемый никем склеп Новгород помнит. Славит хозяйку. Тайком служит молебен.

Марфа, сильная духом, нам помоги.

1906

Старинный совет



В одной старинной итальянской рукописи, кажется, пятнадцатого столетия, — начальные страницы и все украшения книги были вырваны благородною рукою любителя библиотек — простодушно рассказывается о том, как пришел ученик к учителю-живописцу Сано ди Пиетро за советом о своей картине.

Учитель трудился над спешной работой и не мог прийти на зов ученика, начавшего самостоятельно картину «Поклонение волхвов» для небольшой сельской церкви Сиеннского округа.

Учитель сказал:

— Мой милый, я дал слово настоятелю Монтефалько не покидать своего дома, пока не закончу заказанное им «Коронование Пресвятой Девы». Но скажи, в чем сомнения твои. Я боюсь, не слишком ли долго проработал ты у меня, — что теряешься теперь перед своей работой.

— Почтенный учитель, — сказал ученик, — картина моя сложна, и трудно мне сочетать отдельные части ее. Как лучше писать темную оливковую рощу на красноватом утесе, — вдали. Видны ли там стволы деревьев и насколько отчетлив рисунок листвы?

— Мой милый, пиши так, как нужно тебе.

— Плащ Богородицы полон золотого рисунка. Лучше ли перебить его мелкими складками или навести рисунок в больших плоскостях?

— Сделай его так, как нужно тебе.

— Почтенный учитель, ты слишком занят превосходною работой своей, я лучше помолчу до времени ближайшего отдыха.

— Мой милый, я не думаю отдыхать скоро, а тебе нельзя терять время, если в картине твоей так много неоконченного. Я все слышу и отвечаю тебе, хотя и с некоторым удивлением.

— Головы воинов, сопровождающих царей, многочисленны; найти ли для них общую линию или дать каждую голову и из частей получить абрис толпы?

— Просто так, как тебе нужно.

— Я сделал кусты на дальних полях и полосами струи реки, но захотелось дать их отчетливо, как только иногда видит свежий глаз. Захотелось в воде увидеть волны и челнок на них и даже весло в руках гребца. Но ведь это вдали?

— Нет ничего проще: сделай так, как нужно.

— Учитель, мне делается страшно. Может быть, все-таки скажешь мне, стоит ли короны царей сделать выпуклыми или только для венцов оставить накладное золото?

— Положи золото там, где нужно.

— Мне приходит в мысль, не сделать ли на ягнятах волокна шерсти. Положим, они почти не видны, но вспомни, какие шелковистые, мягкие пряди лежат на ягнятах, так и хочется сделать их тонкою кистью, но в общей картине они почти не видны.

— Делай их так, как нужно.

— Учитель, я не вижу в ответах твоих совета моему делу. Я знаю, что все должно быть так, как нужно, но как нужно — затемнилось у меня сейчас.

— Скажи, ставил ли тебе какие-нибудь условия работы отец Джиованни?

— Кроме срока, никаких условий. Он сказал: Бенвенуто, напиши хорошее изображение «Поклонение трех волхвов Пресвятому Младенцу», и я заплачу тебе десять дукатов из монастырских сумм. Потом назначил срок работы и размеры доски. Но во время работы являлись мне разные мысли от желания сделать лучшее изображение.

И к тебе, учитель, по-прежнему обратился я с добрым советом. Скажи, что же значит «как нужно»?

— Как нужно — значит, все должно быть так, как хорошо.

— Но как же так, как хорошо?

— Несчастный, непонятливый Бенвенуто, о чем мы всегда с тобой говорили? Какое слово часто повторял я тебе? Так, как хорошо, может значить лишь одно — так, как красиво.

— А красиво?

— Бенвенуто, выйди за двери и иди к сапожнику Габакуку и скажи: возьми меня мять кожи, я не знаю, что такое «красиво», а ко мне не ходи и лучше не трогай работы своей.

После этой истории в рукописи идет сообщение о рецептах варки оливкового масла и об употреблении косточек оливы. Затем еще рассказ о пизанском гражданине Чирилли Кода, погребенном заживо. Но два последних рассказа для нас интереса не представляют.

1906



Вот почему ночью летают светлые мушки.

Грешные души от земли хотели подняться. Хотели найти ворота райские и воззвали души к великому ключарю, апостолу:

— Отец ключарь! Хотим идти к воротам твоим! Темно нам, пути не найти!

Ответил сверху апостол:

— Вижу вас, жалкие! Вижу вас, темные! Вот стою я. Светлы ворота мои, это вы, темные, идете во мраке.

Плакались души внизу:

— Отец ключарь! Петр апостол! Света нет у нас. Темны пути наши. Дай нам светочи, с ними увидим тебя. Пустынно в полях и холодные камни.

— Неразумные! Чего к земле приникаете? Оставьте пути темные. Идите путями верхними.

Души просили:

— Света, света дай нам. Хоть одну искру дай нам. Темно, и не знаем мы, где идти нам наверх.

И сказал последнее апостол:

— Малые, малейшие, не знаете, что затемнило путь ваш. Дам вам светочи; светите себе, но нет темной дороги в светлые страны. Просите светоча, но светоч не есть свет.

Так дал великий ключарь светочи грешным душам, и ночью видят их даже люди.

И летают быстро, ищут ворота Рая грешные души. И летают вечно, и есть у них светочи.

1906



На роге крикуне^[366] под красным бором,
На озере Жил Лют-Великан,
Очень сильный, очень большой, только добрый.
Лютый зверье гонял,
Борода у Люта —
На семь концов.
Шапка на Люте —
Во сто песцов.
Кафтан на Люте —
Серых волков.
Топор у Люта —
Красный кремень.
Копье у Люта —
Белый кремень.
Стрелки у Люта черные,
Приворотливые.
Лютовы братаны за озером жили.
На горе-городке избу срубили.
С Крикуна рога братанам кричал,
Перешептывал.
Брату за озеро топор подавал.
Перекидывал.
С братом за озером охотой
Ходил;
С братом на озере невод
Тащил;
С братом за озером пиво
Варил;
Смолы курил, огонь добывал,

Костры раздувал, с сестрою гулял,
Ходил в гости за озеро.
Шагнул, да не ладно —
Стал тонуть;
Завяз великан Лют
По пояс.
Плохо пришлось.
Собака скакнула за ним —
Потонула.
Некому братанов повестить.
Не видать никого и на день ходьбы.
Озеро плескает.
Ветер шумит.
Осокою сама смерть идет.
Заглянул великан под облако.
Летит нырь [\[367\]](#).
Крикнул великан:
— Видишь до воды?
— Вижу-у, — ответ дает.
Скажи братанам:
— Тону-у, тону-у!
Летит нырь далеко.
Кличет нырь звонко.
— Тону-у, тону-у!
Не знает нырь,
Что кричит про беду.
Не беда нырю на озере.
Озеро доброе.
Худо нырю от лесов,
От полей.
Братаны гогочут,
Ныря не слышат.
Лося в трясине загнали.
Пришли братаны,
А Лют утонул.
Сложили могилу длинную,
А для собаки круглую.
Извелась с тоски Лютова сестра
За озером.

Покидали великаны горшки
В озеро.
Схоронили топоры под кореньями.
Бросили жить великаны в нашем
Краю.
Живет нырь на озере
Издавна.
Птица глупая.
Птица Вещая.
Перепутал нырь клики
Великановы.
На ведро кричит:
— Тону-у, тону-у!
Будто тонет хлопает
Крыльями.
Под ненастье гогочет:
— Го-го, Го-го.
Над водою летит, кричит.
— Вижу-у!
Знает народ Люто озеро,
Знает могилы длинные,
Длинные могилы великановы.
А длина могилам — тридцать сажений.
Помнят великанов плесы озерные.
Знают великанов пенья дубовые.
Великаны снесли камни на могилы.
Как ушли великаны, помнит народ.
Повелось исстари так.
Говорю: было так.
1908



Так поют про Девассари Абунту.

Знала Абунту, что сказал Будда про женщин Ананде^[369], и уходила она от мужей, а тем самым и от жен, ибо где мужи, там и жены. И ходила Абунту по долинам Рамны и Сокки^[370] и в темноте только приходила в храм. И даже жрецы мало видели и знали ее. Так не искушала Абунту слов Будды.

И вот сделалось землетрясение. Все люди побежали, а жрецы наговорили, что боги разгневались. И запрятались все в погребах и пещерах, и стало землетрясение еще сильнее, и все были задавлены. И, правда, удары в земле были ужасны. Горы тряслись. Стены построек сыпались и даже самые крепкие развалились. Деревья поломались и, чего больше, реки побежали по новым местам.

Одна только Девассари Абунту осталась в доме и не боялась того, что должно быть. Она знала, что вечному богу гнев недоступен, и все должно быть так, как оно есть. И осталась Девассари Абунту на пустом месте, без людей.

Люди не пришли больше в те места. Звери не все вернулись. Одни птицы прилетели к старым гнездам. Научилась понимать птиц Девассари Абунту. И ушла она в тех же нарядах, как вышла в долину, без времени, не зная места, где живет она. Утром к старому храму собирались к ней птицы и говорили ей разное: про умерших людей, части которых носились в воздухе. И знала Абунту многое интересное, завершенное смертью, неизвестное людьми.

Если солнце светило очень жарко, летали над Девассари белые павы, и хвосты их сверкали и бросали тень и трепетаньем нагоняли прохладу. Страшные другим, гриф-ты и целебесы ночью сидели вокруг спящей и хранили ее. Золотые фазаны несли лесные плоды и вкусные корни. Только не знаем, а служили Абунту и другие птицы — все птицы.

И Девассари Абунту не нуждалась в людях. Все было ей вместо людей: и птицы, и камни, и травы, и все части жизни. Одна она не была. И вот, слушайте изумительное, Абунту не изменилась телом, и нрав ее оставался все тот же. В ней гнева не было: она жила и не разрушалась.

Только утром рано прилетели к Девассари лучшие птицы и сказали ей, что уже довольно жила она и время теперь умереть. И пошла Абунту искать камень смерти. И вот приходит в пустыню, и лежат на ней многие камни темные. И ходила между ними Абунту и просила их принять ее тело. И поклонилась до земли. И так осталась в поклоне и сделалась камнем.

Стоит в пустыне черный камень, полный синего огня. И никто не знает про Девассари Абунту.

1904

Лаухми победительница [\[371\]](#)



На восток от горы Зент-Лхамо, в светлом саду живет благая Лаухми, богиня счастья. В вечной работе она украшает свои семь покрывал успокоения — это знают все люди. Все они чтут богиню Лаухми.

Боятся все люди сестру ее Сиву Тандаву, богиню разрушения. Она злая

и страшная и гибельная.

Но вот идет из-за гор Сива Тандава. Злая пожаловала прямо к жилищу Лаухми. Тихо подошла злая богиня и, усмирив голос свой, позвала Лаухми.

Отложила благая Лаухми свои драгоценные покрывала и пошла на зов. А за нею идут светлые девушки с полными грудями и круглыми бедрами.

Идет Лаухми, открыв тело свое. Глаза у нее очень большие. Волосы очень темные. Запястья на Лаухми золотые. Ожерелье — из жемчуга. Ногти янтарного цвета. Вокруг груди и плечей, а также на чреве и вниз до ступней, разлиты ароматы из особенных трав.

Лаухми и ее девушки были так чисто умыты, как после грозы изваяния храма Абенты.

Все доброе ужаснулось при виде злой Сивы Тандавы. Так ужасна была она даже в смиренном виде своем. Из песьей пасти торчали клыки. Тело было так красно и так бесстыдно обросло волосами, что непристойно было смотреть.

Даже запястья из горячих рубинов не могли украсить Сиву Тандаву; ох, даже думают, что она была и мужчиною.

Злая сказала:

— Слава тебе, Лаухми, добрая, родня моя! Много ты натворила счастья и благоденствия. Даже слишком много прилежно ты наработала. Ты настроила города и башни. Ты украсила золотом храмы. Ты расцветила землю садами. Ты — любящая красоту!

— Ты сделала богатых и дающих. Ты сделала бедных, но получающих и тому радующихся. Ты устроила мирную торговлю. Ты устроила между людьми все добрые связи. Ты придумала радостные людям отличия. Ты наполнила души людей приятным сознанием и гордостью. Ты — щедрая.

— Девушки твои мягки и сладки. Юноши — крепки и стремительны. Радостно люди творят себе подобных. Забывают люди о разрушении. Слава тебе!

— Спокойно глядишь ты на людские шествия и мало что осталось делать тебе. Боюсь, без труда и заботы утучнеет тело твое и на нем умрут драгоценные жемчуга. Покроется жиром лицо твое, а прекрасные глаза твои станут коровьими.

— Забудут тогда люди принести приятные тебе жертвы. И не найдешь больше для себя отличных работниц. И смешаются все священные узоры твои.

— Вот я о тебе озаботилась, Лаухми, родня моя! Я придумала тебе дело. Мы ведь с тобой близки и тягостно мне долгое разрушение временем. А ну-ка, давай разрушим все людское строение. Давай разобьем все

людские радости. Изгоним все накопленные людьми устройства.

— Разорви твои семь покрывал успокоения, и возрадуюсь я, и сразу сотворю все дела мои. И ты возгоришься потом, полная заботы и дела, и вновь спрядешь еще лучшие свои покрывала.

— Опять с благодарностью примут люди все дары твои. Ты придумаешь для людей столько новых забот и маленьких умыслов, что даже самый глупый почувствует себя умным и значительным. Уже вижу радостные слезы людей, тебе принесенные...

— Подумай, Лаухми, родня моя! Мысли мои очень полезны тебе и мне, сестре твоей, они радостны!

Очень хитрая Сива Тандава! Только подумайте, что за выдумки пришли в ее голову.

Но Лаухми рукою отвергла злобную выдумку Сивы Тандавы. Тогда опять приступила злая богиня, уже потрясая руками и клыками лязгая.

Все предложения Сивы Тандавы отвергла Лаухми и сказала:

— Не разорву для твоей радости и для горя людей мои покрывала. Тонкою пряжею успокою людской род. Соберу от всех знатных очагов отличных работниц. Вышью на покрывалах новые знаки, самые красивые, самые богатые, самые заклые. И в этих знаках, в образах лучших животных и птиц пошлю к очагам людей добрые мои заклые.

Так решила Лаухми. Из светлого сада ушла Сива Тандава ни с чем. Радуйтесь, люди!

Безумствуя, ждет теперь Сива Тандава долгого разрушения временем. В безмерном гневе иногда потрясает она землю и тогда погибают толпы народов. Но успевает всегда Лаухми набросить свои покрывала покоя, и на телах погибших опять собираются люди. Сходятся в маленьких торжественных шествиях.

Добрая Лаухми украшает свои покрывала новыми священными знаками.

1908



Идете по замку.
Высокая зала. Длинные отсветы окон. Темные скамьи. Кресла.
Здесь судили и осуждали.
Еще зала, большая. Камин в величину быка. Колонны резные из дуба.
Здесь собирались. Решались судить.
Длинные переходы. Низкие дверки в железных заплатах. Высокий порог.
Здесь вели заподозренных.
Комната в одно окно. По середине столб. На столбе железные кольца и темные знаки.
Здесь пытали огнем.
Высокая башня. Узкие окна. Узкая дверка. Своды.
Здесь смотрели врага.
Помещение для караула. Две старые пушки. Горка ядер. Пять алебард. Ободок барабана.
Сюда драбанты кого-то тащили убить.
Ступеньки вниз. На колоннах своды. У пола железные кольца.
Здесь были осужденные.
Подвал. Перекладина в своде. Дверка на озеро. Большой плоский камень.
Последняя постель обреченных.
Двор у ворот. Камни в стенах. Камни на мостовой. В середине столб с кольцом.
Кольцо для шеи презренного.
Молельня. Темный, резной хор. Покорные звери на ручках кресел.
Здесь молились перед допросом.
Тесная ниша. Длинное окошко в зале совета. Невидимое око, тайное ухо.

Здесь узнавали врагов.
Исповедальня. Черный дуб. Красная с золотом тафтяная завеса.
Через нее о грехе говорили.
Малая комната. Две ступени к окну. Окно на озеро. Темный дорожный
ларец. Ларец графини.
Около него не слышно слова печали.
Не в нем ли остались искры радости или усмешка веселья?
Или и в нем везли горе?
Все, что не говорит о печали, слезы выели из серого замка.
Проходила ли радость по замку?
Были в нем веселые трубы. Было твердое слово чести. Было познание
брака.
Все это унесло время.
Долго стоят по вершинам пустые, серые замки.
И время хранит их смысл.
Что оставит время от наших дней? Проникнуть не можем. Не знаем.
Если бы знали, может быть, убоялись.
1906

Царица небесная^[372]
(Стенопись Храма Св. Духа в Талашкине)



Высоко проходит небесный путь. Протекает река жизни опасная.
Берегами каменистыми гибнут путники неумелые: незнающие различить,

где добро, где зло.

Милосердная Владычица Небесная о путниках темных возмыслила. Всеблагая на трудных путях на помощь идет. Ясным покровом хочет покрыть людское все горе, греховное.

Из светлого града. Из красной всех ангельских сил обители Преплагая воздымается. К берегу реки жизни Всесвятая приближается. Собирает святых кормчих Владычица, за людской род возносит моления.

Трудам Царицы ангелы изумляются. Из твердыни потрясенные сонмы подымаются. Красные, прекрасные силы в подвиге великом утверждают. Трубным гласом Владычице славу поют.

Из-за твердых стен поднялись Архангелы. Херувимы, серафимы окружают Богородицу. Власти, Престолы, Господствия толпами устремляются. Приблизилась начала, тайну образующие.

Духу Святому, Господу Великому передаст Владычица моления. О малых путников вразумлении, о Божьих путей посещении, о спасении, заступлении, всепрощении. Подай господи, Великий Дух.

Подымается к Тебе мольба великая. Богородицы моление пречистое. Вознесем Заступнице благодарение. Возвеличим и мы Матерь Господа: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь».

1910

Миф Атлантиды



Атлантида — зеркало солнца. Не знали прекрасней страны. Вавилон и Египет дивились богатству атлантов. В городах Атлантиды, крепких

зеленым нефритом и черным базальтом, светились, как жар, палаты и храмы. Владыки, жрецы и мужи, в золототканых одеждах, сверкали в драгоценных камнях. Светлые ткани, браслеты и кольца, и серьги, и ожерелья жен украшали, но лучше камней были лица открытые.

Чужестранцы плыли к атлантам. Мудрость их охотно все славили. Преклонялись перед владыкой страны.

Но случилось предсказание оракула. Священный корабль атлантам привез великое вещее слово:

— Встанут волны горою. Море покроет страну Атлантиду. За отвергнутую любовь море отомстит.

С того дня не отвергали любовь к Атлантиде. С любовью и лаской встречали плывущих. Радостно улыбались друг другу атланты. И улыбка владыки отражалась в драгоценных блестящих стенах дворцовых палат. И рука тянулась навстречу с приветом, и слезы в народе сменялись тихой улыбкой. И забывал народ власть ненавидеть. И власть забывала кованый меч и доспех.

Но мальчик, сын владыки, особенно всех удивлял. Само солнце, сами боги моря, казалось, послали его на спасенье великой страны.

Вот он был добр! И приветлив! И заботлив о всех! Были братья ему великий и малый. Для каждого жило в нем доброе слово. Про каждого помнил он его лучший поступок. Ни одной ошибки он точно не помнил. Гнев и грубость увидеть он точно не мог. И перед ним укрывалось все злое, и недавним злодеям хотелось стать навсегда добрыми, так же, как он.

За ним шел толпою народ. Взгляд его всюду встречал лишь лица, полные радости, ждущие улыбку его и доброе, мудрое слово. Вот уж был мальчик! И когда почил в этой жизни владыка-отец, и отрок, туманный тихой грустью, вышел к народу, все, как безумцы, забыли про смерть и гимн хвалебный запели владыке желанному. И ярче цвела Атлантида. А египтяне называли ее страной любви.

Долгие тихие годы правил светлый владыка. И лучи его счастья светили народу. Вместо храма народ стремился к владыке. Пел:

— Он нас любит. Без него мы — ничто. Он — наш луч, наше солнце, наше тепло, наши глаза, наша улыбка. Слава тебе, наш любимый!

В трепете восторга народа дошел владыка до последнего дня. И начался день последний, и бессильный лежал владыка, и закрылись глаза его.

Как один человек встали атланты, и морем сплошным залили толпы ступени палат. Отнесли врачей и постельничих. К смертному ложу приникли и, плача, вопили:

— Владыко, взгляни! Подари нам хоть взгляд твой. Мы пришли тебя отстоять. Пусть наше, атлантов, желанье тебя укрепит. Посмотри — вся Атлантида собралась к двору твоему. Тесной стеной мы встали от дворца и до моря, от дворца до утесов. Мы, желанный, пришли тебя удержать. Мы не дадим тебя увести, всех нас покинуть. Мы все, вся страна, все мужи и жены и дети. Владыко, взгляни!

Рукой поманил владыко жреца и хотел сказать последнюю волю, и всех просил выйти хоть на короткое время.

Но атланты остались. Сплотились, в ступени постели вросли. Застыли и немые и глухи. Не ушли.

Тогда приподнялся на ложе владыка и, обратя к народу свой взгляд, просил оставить его одного и позволить ему сказать жрецу последнюю волю. Владыка просил. И еще раз напрасно владыка просил. И еще раз они были глухи. Они не ушли. И вот случилось тогда. Поднялся владыка на ложе и рукою хотел всех отодвинуть. Но молчала толпа и ловила взгляд любимый владыки.

Тогда владыка сказал:

— Вы не ушли? Вы не хотите уйти? Вы еще здесь? Сейчас я узнал. Ну, я скажу. Скажу одно слово мое. Я вас ненавижу. Отвергаю вашу любовь. Вы отняли все от меня. Вы взяли смех детства. Вы ликовали, когда ради вас остался я одиноким. Тишину зрелых лет вы наполнили шумом и криком. Вы презрели смертное ложе...

Ваше счастье и вашу боль только я знал. Лишь ваши речи ветер мне доносил. Вы отняли солнце мое! Солнца я не видел; только тени ваши я видел. Дали, синие дали! К ним вы меня не пустили... Мне не вернуться к священной зелени леса... По травам душистым уже не ходить... На горный хребет мне уже не подняться... Излучины рек и зеленых лугов уже мне не видеть... По волнам уже не носиться... Глазом уже не лететь за кречетом быстрым... В звезды уже не глядеться... Вы победили... Голоса ночные слышать я больше не мог... Веления Бога стали мне уже недоступны... А я ведь мог их узнать... Я мог почуять свет, солнце и волю... Вы победили... Вы все от меня заслоняли... Вы отняли все от меня... Я вас ненавижу... Вашу любовь я отверг...

Упал владыка на ложе. И встало море высокой стеной и скрыло страну Атлантиду.

1912



Стояли дубы. Краснели рудовые сосны. Под ними в заросших буграх тлели старые кости. Желтели, блестели цветы. В овраге зеленела трава. Закатилось солнце.

На поляну вышел журавль и прогорланил:

— Берегись, берегись!

И ушел за опушку.

Наверху зашумел ворон:

— Конец, конец.

Дрозд на осине орал:

— Страшно, страшно.

А иволга просвистела:

— Бедный, бедный.

Высунулся с вершинки скворец, пожалел:

— Пропал хороший, пропал хороший.

И дятел подтвердил:

— Пусть, пусть.

Сорока трещала:

— А пойти рассказать, пойти рассказать.

Даже снегирь пропищал:

— Плохо, плохо.

И все это было. С земли, с деревьев и с неба свистели, трещали, шипели.

А у Дивьяго Камня за Медвежьим оврагом неведомый старик поселился. Сидел старик и ловил птиц ловушками хитрыми. И учил птиц большими трудами каждую одному слову.

Посылал неведомый старик птиц по лесу, каждую со своим словом. И бледнели путники и робели, услыхав страшные птичьи слова.

А старик улыбался. И шел старик лесом, ходил к реке, ходил на травяные полянки. Слушал старик птиц и не боялся их слов.

Только он один знал, что они ничего другого не знают и сказать не умеют.

1911

Клады [\[374\]](#)



— От Красной Пожни пойдешь на зимний восход, будет тебе могилка-бугор. От бугра на левую руку иди до Ржавого ручья, а по ручью до серого камня. На камне конский след стесан. Как камень минуешь, так и иди до малой мшаги, а туда пять стволов золота Литвою опущено.

В Лосином бору, на просеке, сосна рогатая не рублена. Оставлена неспроста. На сосне зарубки. От зарубок ступай прямиком через моховое болото. За болотом будет каменистое место, а два камня будут больше других. Стань промеж них в середину и отсчитай на весенний закат сорок шагов. Там золота бочонок схоронен еще при Грозном царе.

Или еще лучше. На Пересне от Княжего Броду иди на весенний закат. А пройдя три сотни шагов, оберни в полгруды, да иди тридцать шагов вправо. А будет тут ров старый, а за рвом пневое дерево, и тут клад положен большой. Золотые крестовики и всякий золотой снаряд, и положен клад в татарское разорение.

Тоже хороший клад. На Городище церковь, за нею старое кладбище. Среди могил курганчик. Под ним, говорят, старый ход под землю, и ведет

ход в пещерку, а в ней богатства большие. И на этот клад запись в Софийском соборе положена, и владыка новгородский раз в год дает читать ее пришлым людям.

Самое трудное скажу. Этот клад хоронен со смертным зарокom. Коли сумеешь обойти, коли противу страхов пойдешь, — твое счастье.

За Великою Гривой в Червонный ключ опущено разбойными людьми много золота; плитою закрыто, и вода спущена. Коли сумеешь воду от земли отвести, да успеешь плиту откопать, — твое счастье большое.

Много кладов везде захоронено. Говорю — не болтаю. Дедами еще положены верные записи.

Намедни чинился у меня важный человек. Он говорил, а я услышал:

— В подземной Руси, — сказал, — много добра схоронено. Русь берегите.

Сановитый был человек.

Про всякого человека клад захоронен. Только надо уметь клады брать. Неверному человеку клад не дастся. Пьяному клад не взять. Со скромными мыслями к кладу не приступай. Клад себе цену знает. Не подумай испортить клад. Клады жалеть надо. Хоронили клады не с глупым словом, а с молитвою либо с заклитием.

— А пойдешь клад брать, иди смирно. Зря не болтай. На людях не гуляй. Свою думу думай. Будут тебе страхи, а ты страхов не бойся. Покажется что, а ты не заглядывайся. Криков не слушай. Иди себе бережно, не оступайся, потому брать клад — великое дело.

Над кладом работай быстро. Не оглядывайся, а пуще всего не отдыхай. Коли захочешь голос показать, пой тропарь богородичный. Никаких товарищей для кладов никогда себе не бери.

А, на счастье, возьмешь клад, — никому про него не болтай. Никак не докажи клад людям сразу. Глаз людской тяжелый, клад от людей отвык, — иначе опять в землю уйдет. И самому тебе не достанется, и другому его уж труднее взять. Много кладов сами люди испортили, по своему безобразию.

— А где же твой клад, кузнец? Отчего ты свой клад не взял?

— И про меня клад схоронен. Сам знаю, когда за кладом пойду.

Больше о кладax ничего не сказал черный кузнец.

1912



Мир пишется, как ветхий муж.
Повинны человеки устремлением.
Устремлением возрастают помыслы.
Помысел породил желание.
Желание подвигло веление.
Здание человеческое устремлениями сотрясается.
Не бойся, древний муж!
Радость и печаль — как река.
Волны преходят омывающие.

Возвеселился царь:
— Моя земля велика. Мои леса крепки. Мои реки полны. Мои горы ценны. Мой народ весел. Красива жена моя.
Возвеселилась царица:
— Много у нас лесов и полей. Много у нас певчих птиц. Много у нас цветочных трав.
Вошел в палату ветхий муж. Пришлый человек. Царю и царице поклон дал. Сел в утомлении.
Царь спросил:
— Чего устал, ветхий? Видно, долго шел в странствии?
Воспечалился ветхий муж:
— Земля твоя велика. Крепки леса твои. Полны реки твои. Горы твои непроходны. В странствии едва не погиб. И не мог дойти до града, где нашел бы покой. Мало, царь, у тебя городов. Нам, ветхим, любо градское строение. Любы стены надежные. Любы башни зрящие и врата, велению послушные. Мало, царь, у тебя городов. Крепче окружились стенами

владыки соседних стран.

Воспечалился царь:

— Мало у меня городов. Мало у меня надежды стенной. Мало башен имею. Мало врат, чтобы вместить весь народ.

Восплакал царь:

— Муж ветхий! Летами мудрый! Научи заростить городами всю мою землю великую. Как вместить в стены весь народ?

Возвеселился ветхий муж:

— Будут, царь, у тебя города. Вместишь в стены весь народ. За две земли от тебя живет великанский царь. Дай ему плату великую. Принесут тебе великаны от царя индийского городов видимо-невидимо. Принесут со стенами, с вратами и с башнями. Не жалея наградить царя великанского. Дай ему плату великую. Хотя бы просил царицу, жену твою.

Встал и ушел ветхий. Точно его, прохожего, и не было.

Послал царь в землю великанскую просьбу, доuku великую. Засмеялся смехом великанский мохнатый царь. Послал народ свой к царю индийскому своровать города со стенами, вратами и башнями. Взял плату великанский мохнатый царь немалую. Взял гору ценную. Взял реку полную. Взял целый крепкий лес. Взял в придачу царицу, жену царя. Все ему было обещано. Все ему было отписано.

Воспечалилась царица:

— Ой, возьмет меня мохнатый царь! Ой, в угоду странному мужу, ветхому! Ой, закроют весь народ вратами крепкими. Ой, потопчут городами все мои травы цветочные. А закроют башнями весь надзвездный мир, помогите, мои травы цветочные, — ведомы вам тайны подземные. Ой, несут великаны города индийские, со стенами, вратами и башнями.

Жалобу травы услышали. Закивали цветными макушками. Подняли думу подземную. Пошла под землею дума великая. Думою море вспенилось. Думою леса закачались. Думою горы нарушились, мелким камнем осыпались. Думою земля наморщилась. Пошло небо морщинкою.

Добежала дума до пустынных песков. Возмутила дума пески свободные. Встали пески валами, перевалами. Встали пески против народа великанского.

Своровали великаны города индийские, со стенами, вратами и башнями. Повытряхивали из закуток индийский народ. Поклали города на плечи. Шибко назад пошли. Пошли заслужить плату великую своему мохнатому царю.

Подошли великаны к пустынным пескам. Сгрудились пустынные пески. Поднялись пески темными вихрями. Закрыли пески солнце красное.

Залегли пески по поднебесью. Как напали пески на великанский народ.

Налезли пески в пасти широкие. Засыпали пески уши мохнатые. Залили пески глаза великановы. Одолели пески великанский народ. Покидали великаны города в пустынные пески. Еле сами ушли без глаз, без ушей.

Схоронили пески пустынные города индийские. Схоронили со стенами, вратами и башнями. Видят люди города и до наших дней. А кто принес города в пустынные пески, то простому люду неведомо.

Распустились травы цветочные пуще прежнего.

Поняла царица от цветочных трав, что пропали города индийские. И запела царица песню такую веселую. Честным людям на услышание, Спасу на прославление.

Услыхал песню царь, возрадовался ликованием. И смеялся царь несчастьем великанскому. И смеялся царь городам индийским, скрытым теперь в пустынных песках. Перестал царь жалеть о чужих городах.

Осталась у царя река полная. Осталась гора ценная. Остался у царя весь крепкий лес. Остались у Царя травы цветочные да птицы певчие. Остался у царя весь народ. Осталась царица красивая. Осталась песня веселая.

Возвеселился царь.

Ветхий муж к ним не скоро дойдет.

1910

Граница царства



В Индии было.

Родился у царя сын. Все сильные волшебницы, как знаете, принесли царевичу свои лучшие дары.

Самая добрая волшебница сказала заклятие:

— Не увидит царевич границ своего царства.

Все думали, что предсказано царство, границами безмерное.

Но вырос царевич славным и мудрым, а царство его не увеличилось.

Стал царствовать царевич, но не водил войско отодвинуть соседей.

Когда же хотел он осмотреть границу владений, всякий раз туман покрывал граничные горы.

В волнах облачных устилались новые дали. Клубились облака высокими градами.

Всякий раз тогда возвращался царь силою полный, в земных делах мудрый решением.

Вот три ненавистника старые зашептали:

— Мы уstraшаем. Наш царь полон странною силою. У царя нечеловеческий разум. Может быть, течению земных сил этот разум противен. Не должен быть человек выше человеческого.

Мы, премудростью отличенные, мы знаем пределы. Мы знаем очарования.

Прекратим волшебные чары. Пусть увидит царь границу свою. Пусть поникнет разум его. И ограничится мудрость его в хороших пределах. Пусть будет он с нами.

Три ненавистника, три старые повели царя на высокую гору. Только перед вечером достигли вершины, и там все трое сказали заклятие. Заклятие о том, как прекратить силу:

— Бог пределов человеческих!

Ты измеряешь ум. Ты наполняешь реку разума земным течением.

На черепахе, драконе, змее поплыву. Свое узнаю.

На единороге, барсе, слоне поплыву. Свое узнаю.

На листе дерева, на листе травы, на цветке лотоса поплыву. Свое узнаю.

Ты откроешь мой берег! Ты укажешь ограничение!

Каждый знает, и ты знаешь! Никто больше. Ты больше. Чары сними.

Как сказали заклятие ненавистники, так сразу алою цепью загорелись вершины граничных гор.

Отвратили лицо ненавистники. Поклонились.

— Вот, царь, граница твоя.

Но летела уже от богини доброго земного странствия лучшая из волшебниц.

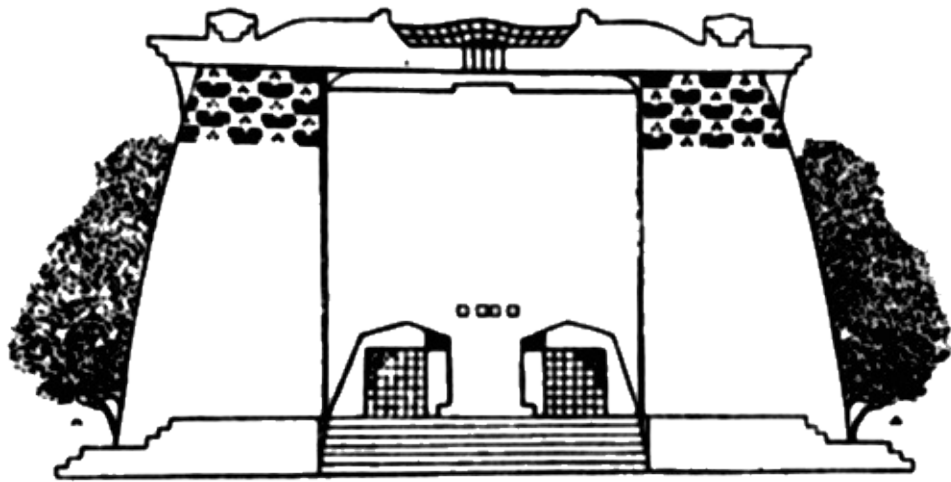
Не успел царь взглянуть, как над вершинами воздвигся нежданный пурпуровый град, за ним устлалась туманом еще не виданная земля.

Полетело над градом огневое воинство. Заиграли знаки самые премудрые.

— Не вижу границы моей, — сказал царь.

Возвратился царь духом возвеличенный. Он наполнил землю свою решениями самыми мудрыми.

1910



М.А. Кузмин [\[376\]](#)



Посвящается Юр. Юркуну



Принц желание



Давно, давно, — так давно, что этого не помню не только я, но и моя бабушка, и бабушка моей бабушки, в те времена, о которых мы можем знать только из старых книг, подъеденных мышами и переплетенных в свиную кожу, — была страна Китай. Она,

конечно, существует и теперь и даже мало чем отличается от того, какою была тысячи две лет тому назад, но та история, которую я собираюсь рассказать, была очень давно. Нет надобности называть города, в котором она произошла, а также упоминать название большой реки, там протекавшей. Эти названия очень трудные и вы все равно, их позабудете, как забываете урок географии. Достаточно помнить, что река эта впадала в море, а у самого устья был расположен богатый и многолюдный город, в котором жил бедный рыбак по имени Непьючай. Он говорил свободно по-китайски, как мы с вами по-русски, обладал лодкой, сетями, имел раскосые глаза и синюю нанковую рубашку. Родители его давно уже умерли, жены и детей не было, не было даже ни брата, ни сестры, только сети да лодка, в которой он лето и спал, чтобы не тратиться на квартиру. Он был очень беден и притом беспечен, так что все, что выручал за дневной улов, в тот же день проживал; таким образом, нисколько не удивительно, что он был беден, как мышь. Да и то, у мышей есть запасы сыра, стеариновых огарков и т. п., а у Непьючая не было решительно ничего.

Однажды сети у него прорвались и вся рыба ушла обратно в море. Значит — прощай, денежки и вечерняя порция риса с бобами! Непьючай очень огорчился и проворчал: «У других людей есть дом, отец с матерью или хоть друзья, куда они могут пойти в случае несчастья, а я куда денусь? У других есть крестные отцы с матерью, а у меня что? Только дырявая лодка, да драные сети!» Он толкнул лодку ногой, плюнул на песок и задумался. Но не успел он это сделать, как из моря поднялся туман, все выше и выше, и поплыл на берег прямо к тому месту, где находился несчастный Непьючай. Дойдя до него, туман рассеялся, и перед нашим рыбаком очутилась странная фигура вроде громадной лягушки, но с человеческой головой и шестью парами человеческих рук... Непьючай не очень испугался, потому что китайцы любят ставить изображения всяких чудовищ, и рыбак к ним привык, но он очень удивился, когда морской урод, раскрыв свою широкую пасть, заговорил по-китайски:

— Чего тебе надо? О чем ты ворчишь?

— Моя воркотня нисколько тебя не касается. Я жаловался на свою судьбу — что у меня нет никаких родных, кто бы мне помог.

— Ты стонал, что у тебя нет крестного, очевидно, не подозревая, что я — твой крестный.

— Ах, вот как? Очень приятно познакомиться. Но отчего вы не появлялись до сих пор и что вы можете делать?

Чудовище улыбнулось и почесало рукою за ухом, которое было величиною с добрый лопух.

— Я не появлялся потому, что до сих пор Непьючай не выражал желания со мной знакомиться. А могу я все.

— Решительно все?

— Решительно все.

— Вы можете сделать, чтобы сети мои стали опять крепкими?

— Могу.

— Может быть, вы можете доставить мне и новую лодку?

— Могу.

— Может быть, вы можете так устроить, чтобы мне вовсе не приходилось закидывать сети и трудиться, а можно было бы иметь свой дом, жену, торговать шелком, сидеть спокойно в прохладной лавке и целый день пить чай, а по вечерам играть в шашки на балконе с моими друзьями?

Непьючай задавал такие вопросы, никак не думая, что толстая лягушка сможет и это исполнить, но чудовище неизменно отвечало:

— Это сделать очень не трудно, но не имеешь ли ты еще желаний? Когда тебе меня будет нужно, ты приходи на это место и позови: крестный, а крестный!

— Хорошо. До свиданья, спокойной ночи!

Снова поднялся туман и заволок крестного, потом стал двигаться по направлению к морю и исчез в лунном свете. Непьючай думал, что он видел сон, проспав от голода до глубокой ночи, но если он и не спал, то совершенно не верил, что крестный исполнит свое обещание, потому что ничего не изменилось: так же качалась дырявая лодка, валялись прорванные сети, и сам рыбак так же сидел на камне в своей синей нанковой рубашке.

Вдруг он увидел несколько человек, ходивших по берегу, будто они чего-то искали; заметив рыбака, они подошли к нему, почтительно поклонились и сказали:

— Господин, вернись домой; неужели тебе не жалко огорчать свою супругу, родственников и нас, верных твоих слуг, своими непонятными капризами?

Непьючай подумал, что они обознались при неверном свете луны, и ответил им:

— Вы, вероятно, принимаете меня за кого-нибудь другого, потому что у меня нет ни дома, ни жены, ни родственников и тем более слуг. Я — простой бедный рыбак.

— Тебе все еще угодно упорствовать, почтенный Сам-чин?

— Меня зовут не Сам-чин, и я отродясь не был почтенным. Повторяю,

я не более как нищий рыбак и зовут меня Непьючай.

— Мы не будем с тобою спорить, но не откажись последовать за нами и, может быть, память вернется в твой рассудок.

Рыбак подумал, не исполняется ли уже обещание крестного, и спросил:

— Ну хорошо, если я — Сам-чин, а не Непьючай, то скажите мне, где мой дом и чем я занимаюсь?

— Ты сам это хорошо знаешь: ты богатый торговец шелком, у тебя две прохладных лавки на базаре и дом на берегу моря, где по вечерам ты сидишь на балконе и играешь в шашки со своими друзьями, у тебя красивая молодая жена, у которой одна из самых маленьких ножек всего города; твои почтенные родственники и верные слуги всегда крайне огорчаются и беспокоятся, когда на тебя находит болезнь и ты теряешь память и не узнаешь их.

— А со мной это уже не раз бывало?

— С некоторых пор каждое полнолуние; конечно, это действие луны, больше ничего.

Теперь Непьючай не только убедился, что все это — дело рук крестного, но даже стал подумывать: и вправду, не Сам-чин ли он. Он охотно пошел за людьми, которые привели его в благоустроенный дом с садом и балконами, где его встретили остальные слуги, почтенные господа, оказавшиеся его родственниками и, наконец, вышла молодая женщина в богатом платье. Она была маленького роста, по китайскому обычаю сильно набелена и нарумянена, глаза ее косили; забинтованные ножки на деревянных подставках еле передвигались, а крошечные ручки с трудом шевелили раскрашенным веером. Таковы китайские красавицы — и потому неудивительно, что нашему рыбаку она показалась чудесным видением. Она бросилась ему на шею и пролепетала тоненьким голоском, как у десятилетней девочки:

— Медовый мой Сам-чин, звезда моего сердца, наконец-то ты вернулся ко мне, твоей маленькой Миау-миау. Теперь ты останешься навсегда с нами, а когда на тебя будут находить печальные мысли, я буду играть тебе на флейте песенки золотых комаров.

Непьючай не заставил себя просить и поселился в приморском домике с садом, ведя образ жизни именно такой, какой хотел. Днем он сидел в прохладной лавке и пил чай, слушая базарные новости, по вечерам или играл в шашки на балконе с приятелями, или гулял по миндальному саду, или слушал, как Миау-миау играла тихонько на флейте песни золотых комаров, а рыбки в бассейне, высовывая свои головы на лунный свет,

слушали ее музыку и будто танцевали.

Так прожил он некоторое время в покое, но потом опять стал томиться желаниями. Конечно, теперь ему легче было их исполнять, нежели когда он был нищим рыбаком, но все-таки он не раз прибегал к помощи крестного, который никогда ему не отказывал. Сначала он хотел все богатеть, завел восемь лавок, купил еще четыре дома, в которых жил по очереди, разбил диковинные сады, в которых цвели цветы в те именно месяцы, когда цвести им не полагается, зимою зрели дыни и ананасы, а в феврале, когда снег еще не сошел с полей, цвели вишни, миндали и персики. Ему надоело слушать, как его же на играет на флейте, и он завел целый хор флейтисток, которые играли по вечерам и во время обедов. У них у всех были нелепые имена: Мур-мур, Шур-шур, Брысь-на-пол и др. Они умели играть песни и веселые, так что не только рыбки в бассейне, а даже бронзовые изображения лягушек начинали танцевать, и печальные, так что все деревья и кусты опускали листья книзу и с них капали серебряные слезы, а розы и тюльпаны задумчиво качали головами, и много других песен знали эти флейтистки, так что, если бы слушать по песне в день, их хватило бы на три года. Крыши и балконы своих домов он увесил колокольчиками, которые утром звенели весело, а вечером печально. В птичнике у него были заморские фазаны и пестрые павлины, от которых нельзя было отвести взора. У него были карлики, масса драгоценных камней и золотые носилки с зелеными занавесками, на которых его носили из дому в дом, из лавки в лавку, потому что пешком он ходил только по своему саду.

Наконец, все это ему надоело, и он захотел видеть, как живут люди в чужих краях. Он путешествовал семь раз и объездил весь свет. Он побывал и в Японии, и в Индии, и в Персии, где цветут чудесные розы, а в диких горах охотники скачут за тиграми; он побывал и в Египте, где крокодилы спят в тростнике, похожие на мокрые бревна; он доезжал даже до Англии, где полгода ничего не видно от тумана, а канарейки делаются серыми от сажи, которая вечно летит из труб. Но объехав весь мир, Непьючай нашел, что везде люди одинаковы и что все-таки лучше там, где родился. Тогда он стал искать власти. С помощью крестного он сделался чиновником, которые имеют больше всего власти в Китае. Мы не будем описывать, как он возвышался со ступеньки на ступеньку и получал все больше и больше шишек. В Китае по шишечкам отличают большую или меньшую заслуженность и почтенность служилых людей. Он сделался правой рукой Богдыхана, и имя его было увековечено многими поэтами, которые воспевали его мудрость, рассудительность и богатство.

Однажды, после веселого праздника, Непьючай вернулся к себе во

дворец, и так как ему не спалось, то он вышел на балкон и стал слушать, как в кустах пел соловей, и он подумал:

— Конечно, я теперь и богаче, и знаменитей, и сильнее любого человека в мире. Но отчего я от этого не чувствую никакой радости? Если вспомнить, как в первый раз меня привели в дом торговца шелком и приняли за хозяина, то, конечно, это была одна из самых счастливых минут моей жизни, а вместе с тем, с этой-то минуты и началось то, что с каждым днем я радуюсь все меньше и меньше. Я думаю, это оттого, что мне нечего желать. Я знаю, что лишь чего только я пожелаю, все сейчас же исполнится; потому мне даже не хочется и желать. Даже тогда, когда у меня была всего одна дырявая лодка и рваные сети, я и тогда был веселее: я тогда беззаботно пел, а теперь я не помню даже, когда последний раз улыбнулся. Это, конечно, очень печально, но поправить этого нельзя.

Вдруг из глубины сада до Непьючая донесся голос:

— Все можно поправить.

Непьючай подумал, что он ослышался, и еще раз повторил:

— Едва ли это можно поправить.

А голос ему снова ответил:

— Все можно поправить.

Непьючай подумал, что это один из попугаев, которые были у него развешаны в клетках по саду, бессмысленно повторяет слова кого-нибудь из слуг. Но голос был не крикливый, как у попугая, а нежный и густой, будто ветер задевал большой бронзовый колокольчик или музыкант проводил смычком по высоким струнам виолончели. Он казался средним между голосом мужчины и голосом ребенка. Тогда Непьючай подобрал свой халат и спустился с балкона в сад, чтобы посмотреть, кто с ним разговаривает. Так как сад был редок, по китайскому обычаю, и притом ярко освещен луной, то скрыться там было негде, кроме одного места — фарфоровой беседки, помещавшейся в правом углу сада. К ней-то и направился Непьючай, чтобы разъяснить свои сомнения. Остановясь перед резною медною дверью, он повторил:

— Едва ли это можно поправить, а из-за двери ему отвечали:

— Все можно поправить.

Тогда Непьючай вошел в беседку и увидел там мальчика лет 16, совсем голого, который сидел на ковре и горько плакал.

Непьючай так этому удивился, что позабыл даже, о чем он хотел спрашивать. Он подошел к плачущему и сказал:

— Зачем ты здесь, и кто тебя обидел? На тебя, конечно, напали воры и украли твое платье, а ты через забор скрылся от них в мой сад?

Мальчик ничего не отвечал и только плакал. Тогда Непьючай еще раз спросил:

— Ты, может быть, немой или глухой? Я тебя спрашиваю, кто тебя обидел?

— Ты меня обидел.

— Чем же я мог тебя обидеть? Я тебя вижу в первый раз.

— Ты меня обидел тем, что от себя удалил.

— Разве ты у меня служил? Я тебя не помню.

— Смотри на меня хорошенько, неужели ты меня не узнаешь?

Он повернул к Непьючаю свое круглое лицо с большими черными глазами, но, как Непьючай ни всматривался в него, он не мог вспомнить, чтобы где-нибудь его видел. Тогда мальчик произнес:

— Конечно, ты мог меня забыть: мы уже лет двадцать, как не виделись.

— Сколько же тебе лет? Тебя и на свете-то не было двадцать лет тому назад.

Мальчик улыбнулся и сказал:

— Мне всегда столько же лет, потому что я принц Желание. И я — твоё желание. Я всегда был с тобою, только ты меня не видел, а когда твой крестный стал исполнять все твои прихоти, мне ничего не оставалось делать, как уйти от тебя. Оттого я плачу, что ты меня позабыл. У всякого человека есть такой принц, у всякого свой. Мы радуемся и бережем вас, пока вы нас любите и пока в вас не иссякают желания. Когда же вы, успокоившись, отвернетесь от нас, мы плачем и покидаем вас. Посмотри на меня: неужели тебе не стыдно променять меня на несчастную лягушку — твоего крестного?

Непьючай не знал, что подумать; он забыл о своем дворце, о своем чине, а сделался будто по-прежнему рыбаком, которому захотелось утешить этого принца. Он спросил у мальчика:

— А что нужно сделать, чтобы опять быть с тобою?

— Ты уже это сделал, потому что ты захотел меня утешить, но знай, что этим самым ты лишаешься покровительства крестного и делаешься прежним Непьючаем. Подумай, как это будет весело: я всегда буду с тобою, только ты меня не будешь видеть, а в знак мира дай я тебя поцелую.

Он вскочил на ноги, как коза, и поднявшись на цыпочки, поцеловал Непьючая в губы, а когда тот опомнился, то ни принца, ни беседки, ни сада, ни дворца — ничего не было, а сам Непьючай в нанковой рубашке сидел на камне у моря, перед ним качалась дырявая лодка и лежали разорванные сети.

Непьючай закрыл глаза, думая, что он видит сон, но когда он их открыл, все оставалось по-прежнему. И сколько он ни закрывал глаз, ни открывал их, ничто не изменялось. Так он просидел до рассвета, все еще не веря перемене своего положения. Когда уже он убедился, что все потеряно, он попробовал позвать крестного. Но крестный не появлялся. Непьючай почувствовал голод и стал прилаживать свои сети, чтобы их чинить. Он их чинил и ворчал:

— Дорого бы я дал, чтобы встретить опять этого мальчишку — он бы узнал, что значит плетка и не так бы еще заревел.

Таково было после двадцати лет первое желание неблагодарного рыбака.

1912

Рыцарские правила



В густом лесу стоял замок Гогенрегель, окруженный рвами и бойницами. Там жил старый граф, старая графиня и их молодой сын Ульрих. Жили они просто, как жилали отцы и деда. В молодости старый граф не раз ходил на войну со своим королем и дома умирал взбунтовавшихся бродяг и разбойников. Теперь он занимался только охотой, а графиня Матильда блюла хозяйство или вышивала ризы и пелены для соседней церкви. Ульрих был их последним сыном. Молодому графу было всего шестнадцать лет. Сестер у него не было, а старшие два брата почил в боях. Ульриха воспитывали в добрых старинных правилах, и он рос юношей храбрым, благочестивым и послушным. Всего больше он любил, возвратясь с охоты, сесть на маленькую скамейку у ног матери и слушать, как та поет под арфу старые песни о рыцарях, королевских дочерях, феях и Деве Марии. У Ульриха были длинные золотистые кудри, голубые глаза и маленький розовый рот, но если лицом он и был похож на

девушку, то дух у него был мужественный и воинственный.

Когда ему минуло семнадцать лет, он сказал отцу, что ему неприлично сидеть все время за печкой и что он хочет, как отцы и деды, пойти по белому свету искать счастья, показать свою удаль и прославить рыцарское звание. Отцу было жалко оставаться вдвоем с графиней Матильдой в старом замке, но он, как добрый рыцарь, понимал Ульриха и стал снаряжать его в путь. Когда уже оседланные кони ржали на дворе, а люди, которые должны были ехать с Ульрихом, сидели уже в седлах, старый граф подозвал сына и сказал ему:

— Сын мой, ты отлично знаешь все рыцарские правила, но в пути бывают такие случаи, когда нет времени вспоминать все предписания. Помни только главное: освобождай угнетенных, не воруй, не лги и не допускай несправедного суда. Остальное все придет само собою. Теперь прощай. Бог весть, увидимся ли мы в этом мире. Мое благословение тебе сопутствует. Я уверен, что ты не уронишь высокого звания рыцаря и славного имени Гогенрегель.

Ульрих поцеловал руку матери и отца, вложил ногу в стремя и выехал из родительского двора. Выехав на пригорок, откуда видно было крыльцо замка и белый платок, которым махала графиня Матильда, он долго смотрел туда и рукою слал поцелуи, меж тем как золотистые волосы его раздувались от ветра. Так Ульрих уехал из родительского дома.

Долгое время они ехали без всяких приключений, так что молодой граф мог подумать, что они отправляются на охоту. Шумели деревья, по болотам цвели незабудки, пели птицы, изредка пробегали серны — больше ничего. Под вечер шестого дня они услышали громкие стоны и, подъехав к месту, откуда они раздавались, увидели человека, привязанного к дереву. Он был совсем голый, со смуглым телом и всклокоченной черной бородою. Прежде всего граф Ульрих рассек мечом веревки, связывавшие незнакомца, затем стал расспрашивать, каким образом тот очутился в таком странном положении. Увидя, что с ним говорят приезжие, мужчина с бородой рассказал, что его привязали к дереву его же братья из боязни, что он донесет отцу, как они сговаривались отравить последнего, чтобы получить наследство. Поделившись с незнакомцем одеждой и накормив его, Ульрих и его спутники отправились дальше, благодаря Небо за начало рыцарских подвигов.

Не доезжая до ближайшего города, они заметили много людей, в одиночку, по двое и целыми партиями шедших в одном с ними направлении. Чем ближе они подъезжали к городу, тем толпа все увеличивалась, а когда они въехали в улицы, то едва могли двигаться

вперед от массы народа, спешившего на городскую площадь. Все лавки и частные квартиры были заперты, и в окнах виднелись только няньки с грудными детьми, да больные, которые, будучи оставлены дома, смотрели на улицу. Хотя обедня еще не отошла, но церкви были пусты, даже нищих не было, а певчие поминутно вертели головами, чтобы хотя одним глазом увидеть в открытую дверь, что делается на площади. На площади происходил суд. Перед судьей стояли седой старик в богатых одеждах и молодая женщина в черном. У старика выражение лица было спокойное и недоброе, а молодая женщина была очень бледна, красива и все время плакала и крестилась. Они судились о каких-то землях, которые старик за долги хотел оттягать от дамы, а у той они были последние. Но, вероятно, за этим делом крылась другая какая-нибудь более важная вражда, потому что иначе нельзя было себе объяснить общего волнения по поводу столь обычного дела. Старик предъявил расписки и документы, а дама, подняв глаза к небу и заливаясь слезами, уверяла, что она ничего не подписывала и что это не иначе, как колдовство. Судья был, по-видимому, человек черствый, потому что он верил больше словам, написанным на бумаге, нежели слезам и клятвам бедной женщины. Он так и решил дело в пользу старика. Тогда Ульрих со своими людьми подъехал к судейскому месту и сказал, положив руку на рукоять своего меча:

— Это дело темное, господин судья, а потому я предлагаю прибегнуть к Божьему суду. Пусть со стороны истца явится противник, и я хоть сейчас же готов сразиться с ним в защиту обижаемой дамы...

Все с удивлением смотрели на Ульриха, потому что он никому не был известен, а дама в черном сказала ему:

— Спаси тебя Бог, добрый юноша. Ты, конечно, ангел, которого Господь послал в мою защиту. Я уверена, что ты сумеешь постоять за правду, и награжу тебя, как могу и как ты хочешь.

Ульрих поцеловал у нее руку и ответил:

— Я тоже уверен, что Господь, который читает в сердцах людей, покажет на чьей стороне правда, а мне достаточной наградой будет сознание, что я сделал доброе дело и предотвратил зло.

На следующее утро был поединок. Со стороны старика вышел его внук, совсем еще мальчик, которого Ульрих без труда победил, и молодая дама, которую звали Эдитой, не только получила обратно свои земли, но ей была дана даже часть земли старика, в виде вознаграждения за неправильный иск. Ульриха несколько удивило, что его победа не была встречена восторженными криками собравшегося народа, а, наоборот, все в глубоком молчании расступились, чтобы дать ему проехать обратно. И

когда они ехали из города, то люди, которых они обгоняли, говорили, показывая на него:

— Вот тот неизвестный рыцарь, который сражался за Эдит.

Один из крестьян, узнав, что их путь лежит мимо его деревни, довольно дальней, просил завести туда мешок, указав притом, в какой избе его оставить. Ульрих согласился, а крестьянин взял с него обещание, что он не будет смотреть, что находится в этом мешке. Граф согласился и поехал дальше. Они ехали сильною рысью, потому что уже темнело, а к тому же в городе они забыли запастись провизией, так что у них не было ни корки хлеба, ни глотка вина. Было уже совсем темно, как вдруг лошадь Ульриха остановилась и, захрапев, не хотела идти дальше. Ульрих спешился и, наклонившись, оцупал человека, который лежал поперек дороги и тихонько стонал. Ульрих насилу добился ответа, из которого узнал, что на этого человека по пути в город напали разбойники, изранив, ограбили и бросили здесь на дороге. Он уже второй день лежит не евши и ждет, когда смерть придет взять его или какой-нибудь добрый прохожий ему поможет.

— Глоток вина и небольшой кусок хлеба восстановили бы сразу мои силы, — так говорил больной. Но так как у Ульриха не было ни того ни другого, то он послал одного из своих верховых, чтобы тот достал в ближайшей деревне еду и вино, а кстати бы завез и крестьянский мешок, который им был поручен. Верховой поехал в глухую ночь, а умирающий все стонал и метался. Наконец, под утро он умер, когда верховой вернулся с хлебом и вином. Умершего привязали к седлу, а вернувшийся человек сказал:

— А знаете ли вы, граф, что в том мешке, который я отвозил, был как раз бочонок с вином и пять свежих хлебов? Если бы мы посмотрели раньше, человек мог бы не умереть.

— Но этого мы не знали, а если бы и знали, то не могли бы взять, потому что это было не наше и, взяв его, мы бы совершили кражу у человека, доверившего нам свое добро.

Приехавши в деревню, они отдали покойника его родственникам, которых скоро нашли, и узнали, что все окрестности в страхе от ужасного разбойника, который грабит и убивает всех встречающих, угоняет скот и поджигает хутора.

— Мы его раз изловили и привязали к дереву, не захотели кровь проливать. А жалко, что не убили, потому что какой-то негодяй его освободил, и он теперь еще более свирепствует.

— А каков он был с виду? — спросил молодой граф.

— Высокий мужик, борода черная, тело темное.

Ульрих промолчал, а крестьяне ему дальше рассказывают:

— Теперь у нас еще другая забота. Не знаем, как и быть. У нас был очень хороший господин: добрый и справедливый, а теперь, мы слышали, был в городе суд и присудили нас даме Эдите, а эта Эдита — не дама, а просто, простите, чертовка. Она пятерых мужей отравила, ростовщица и мошенница, да к тому же и колдовством занимается. Мы думали, что ее судья совсем засудит и радовались этому, но явился какой-то рыцарь, за Эдиту заступился и вышло все наоборот. Да и то сказать: рыцарь был приезжий, а госпожа Эдита известная комедиантка, напустила на себя кротости, расплакалась — он и поверил, а нам теперь за его доверчивость придется своими боками расплачиваться. Прямо хоть живым в гроб ложись.

Тягостно было Ульриху это слышать. Он был юноша добрый и совестливый и знал, что правила, по которым он поступал, были правила хорошие и честные, — отчего все выходило, будто на смех? Да на смех было бы еще ничего, а то от его поступков происходило настоящее зло, и он не только не поправлял, а портил все, куда ни вмешивался. Все эти мысли очень расстроили графа, и он пошел на берег реки, чтоб его обдуло ветерком. Река была очень узенькая и быстрая, вроде водопада, так что постоянно урчала между камней. Высокие берега были покрыты лесом, вдали кричала кукушка. Граф все думал о рыцарских правилах, слушая ропот волн, и незаметно для себя заснул. Он почувствовал, что кто-то трогает его за руку, открыл глаза и заметил, что все лицо его мокро от слез, а перед собою увидел крестьянского парня. Парень ему говорит:

— Не надо, господин, вечером спать над рекою, а то тебя русалки за ноги в воду утащат. Да о чем ты плачешь? Или тебе во сне что приснилось? Или о мамаше вспомнил?

Граф ему отвечает:

— Пусть бы уж меня лучше русалки утащили: все равно никакого прока нет.

И все парню рассказал, как было дело. Парень выслушал и говорит:

— Действительно, дело плохо, но ты тут не виноват. Я пастух, человек простой, у меня какие правила? Если куртка продралась, нужно отдать зашить. Если обед готов — нужно бабу похвалить, а не готов — ту же бабу побить надо; которая корова бодливая — надо рога спилить. У меня никаких правил нет. Иногда как будто совсем одно и то же дело, а поступаешь по-разному, потому что смотришь на человека, а не на себя; скажу к примеру: два человека просят у тебя денег, одному дашь, другому нет, потому что знаешь, на что им нужно — ты о них думаешь, а если бы

ты о себе думал, тебе не нужно было бы и знать, зачем им деньги — сделал доброе дело и слава Богу! Правила твои — хорошие правила, да они, как готовый сапог, не на всякую ногу влезут. Правила, мол, у меня хорошие, я их исполняю свято, а что из этого выйдет, это уже не мое дело. Так могут бессердечные лентяи говорить, а ты, по виду, человек совестливый и беспокойный. Ведь правила созданы для человека, а не человек для правил. У меня правил нет, а сидит в сердце, уж не знаю кто, ангел ли, дух ли какой, который мне говорит, как в данную минуту, в данном деле, с данным человеком я поступать должен. Ты внимательно слушай твоего ангела, и если ангел с правилами заспорит, то как бы они ни были хороши, все правила выброси. А то, что ты до сих пор сделал, об этом не печалься; если можешь, поправь и вперед не делай, а жалеть о том, чего не вернуть, это — только время терять, а его у нас очень мало.

Когда Ульрих очнулся, никакого пастуха не было, а только шумела река, да вдали кричала кукушка. И он не знал, пастух ли с ним говорил, ангел ли беседовал, был ли это — рокот реки или просто во сне все приснилось.

1912

Шесть невест короля Жильберта



Король Жильберт любил поступать справедливо и откровенно. Кроме того, он не любил много говорить и не раз высказывал мнение, что о людях нужно судить не по их словам, а по их поступкам.

— Мне совсем не важно, что ты говоришь, потому что турусы на колесах всякий пускать умеет, а важно то, что ты делаешь, — так нередко говаривал король Жильберт за стаканом доброго вина, на охоте, в зале совета, вообще, где придется.

Он очень любил свое королевство, которое было невелико, никогда не вел войн и воздерживался не только от столкновений, но и от всяких сношений с соседями. Он был высок, румян и тучен, а приятное лицо его выражало доброту и прямодушие. Когда королю Жильберту пришло время жениться, он не захотел выписывать заморских принцесс, а решил выбрать себе в невесты какую-нибудь из девиц своего же королевства.

«Войн я не веду, иностранных языков не знаю, внешней торговли у нас нет — так зачем же мне заморская принцесса? Я с ней и разговаривать-то не сумею, а она на все начнет фикать и заводить порядки своей страны. Мне нужна только любящая жена, которая бы меня уважала, много не разговаривала и хорошо воспитывала детей. Мне бы хотелось толстенюкую блондинку, да, впрочем, это все равно: это не так важно, была бы только доброй девушкой».

На этот предмет король составил такое объявление, в котором приглашались записываться все девушки, без различия звания, от 16 до 25 лет, которые пожелали бы сделаться женою короля. Он показал это объявление своему канцлеру и спросил:

— Недурно составлено, а?

— Объявление составлено прекрасно, Ваше Величество. Меня смущает только одно: как Вы узнаете, которая из этих девиц будет доброй женой и станет Вас уважать?

— Это у меня все предусмотрено. Тех, которые запишутся, я ко двору не приглашу, а которые не запишутся, тех я вызову и из них выберу. По крайней мере я буду уверен, что это девушки скромные и не польстились быть королевою. Недурно придумано, а?

Канцлер помолчал и сказал:

— А все-таки в этой бумаге одного не хватает.

— Чего же тут не хватает?

— Вдов.

— Каких вдов?

— Да самых обыкновенных. Отчего бы Вашему Величеству не пригласить и вдов в невесты, если, которые, по возрасту подходят?

— Ты думаешь, вдов? Может быть, это будет неприлично, если я женюсь на вдове? А впрочем, бывают и вдовушки, которые за себя постоят не хуже любой девицы, особенно которые потолще. Давай сюда перо и чернила: вставляю и вдов. Ну, теперь, кажется, совсем хорошо?

Канцлер перечел бумагу и сказал:

— А что же Вы сделали с теми, которые записались и которых Вы не вызовете?

— Я им пошлю по рублю денег и по ленте в косу: блондинкам голубые, а брюнеткам красные, а вдовам я пошлю по металлической брошке со своим портретом. Я думаю, так будет прилично, а?

— Так будет вполне прилично, Ваше Величество.

Гонцы разнесли это объявление по всем городам, селам и деревням королевства.

То-то поднялось волнение и хлопоты. Даже девицы и вдовы, которым давно уже стукнуло сорок лет, подправив свои метрики, уверяли, что им всего двадцать, нашивали себе платья, и уже спозаранок натирали себе лица гусиным салом, чтобы ко дню смотрин казаться свежими и привлекательными. Толстухи старались похудеть, худые — потолстеть, беззубые — вставляли зубы, а горбатые — шили такие платья, которые делали бы незаметным их недостаток. И каждая, в глубине души, была уверена, что она и будет избранницей короля. Каково же было их разочарование, когда недели через две им прислали по рублю денег на каждую, алые ленты брюнеткам, голубые блондинкам, а вдовам металлические брошки с изображением королевской персоны, а кроме того, приглашение не беспокоиться и не являться на смотрины. Незаписавшихся оказалось всего только шесть: одна вдова и пять девиц. Вдову звали Женестьева, а девиц: Арманда, Катерина, Жанна, Сусанна и Николь. Они не были ни горбаты, ни косы, ни хромали, ни ковыляли, а были отменны по всем статьям, так что было удивительно, почему они не записались в королевские невесты. Вдове было года двадцать три, девицам же лет по восемнадцать. Женестьева была высокая и рыжеволосая, у нее был очень красный рот и бледное лицо, а глаза свои она всегда держала опущенными в землю, Арманда и Катерина были брюнетки: одна высокая и стройная, другая маленькая, веселая толстушка. Жанне хотя и было восемнадцать лет, но на вид казалось четырнадцать, это был испуганный ребенок, с льняными волосами и большими серыми глазами, в которых мысли медленно проплывали, как лебеди по северному озеру или как облака по осеннему небу. Сусанна была тоже рыжая, но совсем в другом роде, чем Женестьева; она была похожа на дикого зверька, глядела всегда исподлобья, а всклокоченные рыжие кудри, падавшие ей на лоб, придавали ей еще более дикий и странный характер. Ее привезли связанной, потому что она царапалась и кусалась, когда ее хотели брать. Николь была совсем обыкновенная девушка: ни толста, ни худа, ни высока, ни мала; волосы у нее были русые, лицо чистое, особых примет никаких. Была у нее родинка на правом плече, да какая же это примета? При этом под платьем этой родинки видно не было. Походка у нее была неспешная, голос тихий,

разговор приятный и рассудительный. Таковы были невесты короля Жильберта.

Он их посмотрел, и все они ему понравились, но его интересовал вопрос, почему каждая из них отказалась записаться в число королевских невест. И он решил вместе с канцлером расспросить каждую из этих шести женщин в отдельности. Первую позвали Женевьеву. Она низко поклонилась и стала молча, ожидая, что ей скажет король. Король тоже помолчал, потом спрашивает:

— Скажите нам, госпожа Женевьева, отчего Вы не пожелали записаться в число наших невест? Или, может быть, Вы хотели сохранить верность покойному супругу, потому что ведь Вы, кажется, вдова, насколько мне известно? Откиньте страх и говорите совершенно откровенно.

Женевьева подняла на короля свои усталые глаза и ответила:

— Я вам отвечу совершенно откровенно. Несмотря на то, что мне только двадцать три года, за эти шесть лет у меня было шесть мужей, Ваше Величество; двое из них умерло, а четверо со мной развелись. Кроме того, было без счета молодых людей, которых я любила и которые меня любили. Как они ни были различны между собою, история была всегда одна и та же: после краткого, очень краткого наслаждения, наступала привычка, скука и отвращение. Я не могу без ужаса подумать о замужестве. Ваше Величество хоть и король, но такой же человек, как и все, и мне бы не хотелось, чтобы Вы получили такую скучную жену, а у меня вместо уважения к Вам, как к моему королю, явилась бы досада на новое супружество. Я очень устала и ничего не могу чувствовать, потому позвольте мне удалиться в монастырь. Все, что я сказала, сказала совершенно откровенно и без всякой утайки.

Король ее отпустил и велел привести к себе Арманду, у которой спросил то же самое.

Арманда, стиснув зубы и подняв голову, надменно проговорила:

— Чтобы я вышла замуж за человека, которого от души ненавижу! За кого ты меня считаешь? Разве ты позабыл, что мой отец должен бы был быть королем, а вовсе не ты? Ты воровским манером завладел престолом и хочешь меня осчастливить своей рукой? Действительно, завидная честь быть женою такого толстого дурака. Да я бы в первую же ночь тебя убила, отравила бы, повесила, задушила. Да и теперь еще ты от меня не уйдешь.

С этими словами она вытащила из-за лифа длинный кинжал и бросилась на короля Жильберта, но канцлер, подоспев вовремя, обезоружил ее, меж тем, как король из-за спинки трона кричал:

— Отослать ее домой немедленно! Ишь ты какая ловкая да проворная!

Тоже, невеста называется, дрянь!

Стража увела Арманду и привели к королю Катерину. Она была такая маленькая, кругленькая, все время улыбалась и краснела. Король взял ее за подбородок и спросил:

— А ты, душенька, убивать меня не собираешься?

— Ах, что Вы, — ответила Катерина и, потупившись, зарделась еще пуще.

Король полюбовался на нее и продолжал:

— Отчего же ты, милая, не захотела записаться в наши невесты?

— Какая же я Вам жена? Да притом есть еще одно обстоятельство.

— Что же это за обстоятельство?

Катерина глянула на короля и спросила тихонько:

— Можно все говорить?

— Конечно, дитя мое, не только можно, но должно все говорить. Я король, а канцлер старик — кого тебе стесняться?

— Ну, так вот: еще я люблю сына нашего лавочника, Петра, и так как я не могу быть в одно и то же время невестой двоих, то я и не записывалась в Ваши невесты, чтоб не огорчать Петруши. Ах, Ваше Величество, если бы Вы знали, какой хорошенький у меня Петруша и как он славно играет на волынке! И он любит меня от души. Он целый вечер проплакал под липками, так боялся, что я запишусь. У них пять коров и три лошади, и очень порядочная лавка — не хуже, чем в городе, а старик хоть и строгий, но меня любит. Конечно, хвастаться не след, но я гуляю только с Петром. Я очень веселая, но ведь это же не беда, и дурного тут ничего нет?

Король обнял ее и сказал:

— У твоего Петруши кроме лавки, лошадей и пяти коров есть еще отличная невеста. Вы меня позовите на свадьбу, а еще лучше справимте обе свадьбы вместе.

— Вы очень добры, Ваше Величество; поверьте, что если бы я не любила Петруши, я бы непременно вышла за Вас.

— Ну, что же делать, мы в своем сердце не вольны.

После Катерины к королю привели Жанну. С виду это был совсем ребенок. От испугу она долго не понимала, о чем ее спрашивают. Канцлер уж и словами, и жестами ей, почему она не хочет замуж за короля. Наконец Жанна будто поняла и начала говорить, заикаясь:

— Ни, ни... ангел не велит... с пикой... на болоте... Ангел строгий, строгий... рубашка у него красная... Овец пасла... говорит: носи, носи... замуж не ходи... Ангел строгий... пикой в грудь мне ударил... Мужики... у... у... у них ноги волосатые... Ангел сказал: замуж не ходи... А короля

боюсь... он меня в болото загонит... На болоте-то клюква... Ангел строгий, строгий, а рубашка у него красная... а мужики... бы... у них ноги волосатые. Я тебя боюсь: ты меня съешь...

Король слушал, слушал, да и говорит:

— Это что ж такое? Чему это соответствует? Каких ко мне дур наслали? Посадить ее в богадельню, пускай старухам предсказывает. Какая же к черту невеста? Это блаженная, а не невеста.

Но если с Жанной мало можно было разговориться, то с Сусанной уж и совсем нельзя было слова сказать, потому что она ничего не говорила, а только царапалась да кусалась. Ее отправили обратно, а король сказал:

— Ведь это все равно, что на кошке Машке жениться. Ну, кто там остался, приводите последнюю. Тоже, наверно, какая-нибудь бесноватая?

Но вошла Николь: ни высока, ни мала, ни худа, ни толста, лицо чистое, волосы русые, глаза серые, голос тихий, разговор приятный, идет не спеша — уточкой.

Король и к ней с теми же расспросами, а та ему докладывает:

— От семейной жизни я не прочь, но по сердцу себе никого еще не нашла. Против Вас никакого зла не имею, а не записывалась потому, что не знала, а наобум идти не хотела. Если бы мы были с Вами знакомы раньше, тогда, конечно, было бы другое дело, а за глаза решать очень трудно. Я ведь так понимаю, что раз выходишь замуж, то это на всю жизнь. И тут нужно семь раз примерить и один раз отрезать.

Королю такая речь понравилась, и он говорит:

— Так вот давайте и познакомимтесь. Погостите у меня некоторое время, а там видно будет.

Николь согласилась и стала жить у короля Жильберта. Занималась хозяйством, играла с ним в шашки и в свои козыри, штопала носки и варила варенье. Так они узнали друг друга, а узнавши, подружились, а подружившись, полюбились, а полюбившись, поженились. И они очень подходили один к другому. Оба были люди рассудительные, сердечные и спокойные. Свадьбу они справили вместе с Катериной, которая вышла за своего Петрушу. Торжество продолжалось целую неделю. Во время одного из пиров король Жильберт подозвал к себе канцлера и сказал ему:

— Вот я всю жизнь судил людей по поступкам, а оказывается, и этого нельзя делать, потому что одинаковые поступки совершаются по совершенно различным причинам. Возьми моих шесть невест: все они отказались от записи, но сколь различны были поводы этого поступка! Сами поступки ничего не значат, а важны причины, их породившие, а, главное, люди.

Дочь генуэзского купца



Считалось, что Павел Мартини ведет торговлю коврами, но, на самом деле, главным источником его доходов было ростовщичество. Потому вполне понятно, что знакомые его были самого разнообразного положения, состояния и занятий.

Еще понятнее было, что, когда приходила нужда в деньгах, все в Павле заискивали, а когда нужно было отдавать долг или платить проценты, те же самые люди Павла поносили и упрекали. Тем не менее, он пользовался почетом, будучи человеком богатым и много жертвуя на монастыри, украшение города и вооружение кораблей. Ростовщичество же ему не ставилось в большую вину, так как в Генуе почти все купцы занимались этим делом. Его дом даже среди мрачных генуэзских домов производил особенно мрачное впечатление.

А может быть, это только казалось его должникам, которые всегда, проходя мимо Павлова дома, вспоминали о процентах или конечном сроке расплаты, и будто забывали те минуты, когда, проигравшись в карты, потеряв корабли в море или обманувшись в ожидании наследства, они выходили через эту мрачную дверь на улицу, неся кошельки туго набитыми Павловыми же червонцами.

Несколько смягчали мрачность этого жилища пять дочерей Павла, которые у него остались от давно умершей жены. Старшей шел уже двадцать четвертый год, меньшая же едва достигла пятнадцати лет, еще не научившись как следует причесывать свои рыжие, курчавые волосы.

Все они были девушки красивые и веселые, как будто они жили не в доме ростовщика. Целыми днями они пели, смеялись, болтали или ссорились между собою, так что прохожие могли думать, что они идут мимо клетки со скворцами. Звали их: Катарина, Вероника, Петронелла,

Марта и Филомена.

Как это ни странно, но все они вышли замуж почти в один год. Все их мужья были купеческими сыновьями или служащими в банках; только муж Петронеллы был художником, учившимся в Милане у Боргоньоне. Хотя он был молод, но был уже достаточно известен и получал много заказов на роспись церквей, городских ратуш и частных домов; и везде он изображал свою жену Петронеллу, то в виде Пречистой Девы, то в виде богини Венеры, то нимфой, убегающей от преследований Юпитера, то фортунной с завязанными глазами на колесе, то в виде просто гуляющей дамы, не имеющей, казалось бы, никакого отношения к избиению младенцев или мучению св. Себастьяна, на которых она была изображена. Так как художник зарабатывал много денег, то Павел Мартини примирился с тем, что один из его зятьев не купец и не банковский клерк. Все сестры разъехались по разным домам, но часто ходили одна к другой, по-прежнему смеясь, болтая, ссорясь. Теперь чаще всего предметами их споров были их мужья, потому что каждая выхваляла и прославляла своего в ущерб другим. Так как они очень часто об этом говорили, то, в конце концов, выяснили, за что каждая любит своего супруга. Старшая сказала:

— Больше всего я ценю в своем муже его добродетель и неподкупную честность. Это, действительно, человек так человек! Никогда не стыдно сказать, что ты его жена.

— Что ж, ты думаешь, мне стыдно сознаться, что я жена известного художника? Его, слава Богу, знают не только у нас, а и в Милане, и в Пизе. Говорят, на будущий год его пригласят в Рим расписывать спальню святейшему папе, — так сказала вторая.

— Я тоже довольна своею участью, — начала Вероника.

— У меня муж так богат, что мне может позавидовать любая из герцогинь, и притом, муж меня очень любит, ни в чем не отказывает, чего ж мне больше желать?

— А я, — прибавила Марта, — когда вижу своего мужа, его густые брови, большие глаза и ямочку на подбородке, мне не приходит в голову думать: богат ли он, знаменит ли и каковы его добродетели. Я люблю его за его красоту.

— Ах, — произнесла Филомена, — у меня даже нет и этого утешения, потому что я знаю, что на чужой взгляд мой муж может показаться некрасивым, но для меня-то милее, лучше, дороже нет никого на свете. Я просто его люблю, потому что люблю. Если б я завтра узнала, что он Антихрист, то и то я не покинула бы его, потому что он мне всего дороже.

Сестры все засмеялись над Филоменой и на этом расстались. Вскоре

произошел случай, который подверг испытанию привязанность дочерей Павла Мартини. Их мужья так же часто собирались вместе, но совсем не для того, чтобы спорить о достоинствах своих жен. Вместе со своим тестем Павлом, у которого было немало врагов, а больше всех других, как бельмо на глазу, крупный негодник Александр Гастольди, — они затеяли дело рискованное, темное и, на наш взгляд, не особенно чистое. Не успев сначала в попытке уничтожить своего врага тем, что они скупили все его векселя и, воспользовавшись его временно стесненными обстоятельствами, подали ко взысканию и прижали Гастольди до того, что его чуть не посадили в тюрьму, — они решили просто-напросто убить ненавистного Гастольди и присвоить его богатство.

Так как их не одушевляла никакая семейная личная вражда, то дело было похоже на самое обыкновенное убийство и грабеж. Но при таких делах редко из числа шести человек не найдется Иуды.

Муж старшей дочери, наиболее добродетельный и наименее храбрый, выдал за большие деньги весь заговор Александру, так что, когда старый Мартини, со своими зятями, темною ночью подошел к дому Гастольди, чтобы исполнить свой злодейский замысел, он был встречен отрядом вооруженных слуг; между ними завязалась ожесточенная схватка, к которой подоспела городская полиция, и всех отвела в тюрьму. Было убито четверо слуг Гастольди, а с другой стороны пострадал художник, потерявший оба глаза, и красавец Грифонетто, которому мечем рассекли наискосок бровь, нос и нижнюю губу.

После того как всех зятьев Мартини продержали известное время в тюрьме, их присудили к изгнанию, конфисковав имущество. Все они разъехались в разные стороны, и на этом, казалось бы, дело и кончилось. Но по правде сказать, нас больше интересуют жены несчастных молодых людей, нежели судьба этих последних.

Как это ни странно, ни одна из них не последовала за своим мужем, исключая последней. Если хорошенько размыслить, в этом странного, конечно, ничего не было, потому что всегда можно ожидать когдалюбишь за что-нибудь, что любовь улетучится, раз причина ее исчезнет.

И богатство, и слава художника, и красота Грифонетто, обезображенного шрамом, и, тем более добродетель и неподкупная честность того молодого человека, который выдал своих сообщников, были уничтожены, и потому вполне естественно, что жены их, любившие их за эти качества, стали искать эти же качества в других.

Любительница добродетели постриглась в монастырь, ищущая богатства и славы отправились в Рим, бывший в то время, благодаря

расцвету папского двора, рассадником куртизанок, а ставившая выше всего красоту осталась жить у себя в Генуе соломенной вдовой, окружив себя толпою красивых молодых людей и подростков. Были ли они счастливы и нашли ли то, чего искали, мы не знаем. Мы только знаем то, что последняя, Филомена, по-видимому, ничего не искавшая и не пожелавшая покинуть в несчастьи своего мужа, была, на общий взгляд, весьма несчастна. Они отправились в Париж, и сначала он поступил мелким клерком в один из местных банков.

Жена его хозяйничала, и все шло хорошо, пока однажды наш генуэзец не встретил на улице случайно своего земляка. Он накормил его ужином, выставив бутылку бургундского, а тот наутро пошел в банк, где служил клерк, и сообщил там, что у них служит вор и убийца. Клерка лишили места, которое занял как раз его земляк. Понемногу слухи о его прошлом распространились, так что он не мог найти себе занятий, а мелким ремеслам не был обучен; кроме того, мы не будем скрывать, что он был человек отнюдь не добродетельный. Он любил выпить, повеселиться, не делал большого различья между чужим карманом и своим, был беспечен и скоро поддавался унынию.

В такие минуты не раз говорила ему жена:

— Ну, полно, Беппо, я не могу видеть твоего лица печальным и не могу допустить, чтоб ты голодал. Хочешь, я пойду погуляю по улице. Может быть, что-нибудь и нагуляю. А ты понимаешь, что я люблю только тебя, и измены тут никакой не будет.

Она так говорила не потому, что была распутной, а потому, что, действительно, не могла видеть своего мужа печальным и готова была бы отрубить себе обе руки, чтоб зажарить их на ужин Беппо.

Но муж ее не пустил ходить по улице, а открыл небольшой игорный притон, куда многих привлекала красота Филомены и ее веселые песни. Так они жили среди шума, ссор и драк, между шулерами и продажными женщинами. Но и такому существованию настал конец, потому что скоро после одной из больших драк, в которой был убит сын нидерландского посла, их притон закрыли, а самих Беппо и Филомену вместе посадили на этот раз уже в парижскую тюрьму. Выйдя из нее, они не знали куда идти. Но Беппо стащил у какого-то зазевавшегося савояра его обезьяну, и они отправились сами как савояры, причем вместо волынки Филомена пела свои песни. Иногда она гадала по рукам, потому что по смуглости кожи могла сходить за цыганку. Она, конечно, плела всякий вздор наивным крестьянкам, но всегда делала им предсказания радостные, так что они отходили от нее более счастливыми.

Конечно, грешно обманывать, но нужно же есть, а главное, чтоб не голодал ее милый Беппо. Она не роптала, наоборот, даже всегда старалась ободрить мужа, говоря, что все изменится, что они достигнут места, где их никто не знает, и что там можно будет устроиться. Едва ли она сама верила тому, что говорила, но так нужно было говорить, чтобы иметь силы доплестись до следующей деревни.

Тем не менее, когда они находились недалеко от Льежа, они не могли пройти засветло до ночлега и заночевали в поле: разделив пополам кусок черного хлеба, Филомена заговорила:

— А смешон вчера был сын старосты! Знаешь, когда ты отошел, он все приставал ко мне и говорил всякие нежности. Уж, кажется, на кого я теперь стала похожа? Кожа да кости, а все-таки вот мужчинам всегда новенькое нравится. Хотел за нами ехать следом, ловко вышло, что мы в поле остановились: он проедет в следующую деревню, будет нас искать, а нас-то и нет.

Беппо ничего не говорил, но Филомена продолжала:

— Вот в Льеж придем, там все поправится. Там места всем найдутся, ведь ты же умница у меня, пишешь грамотно, почерк отличный, знаешь итальянский счет.

— Куда я пойду таким оборванцем? Кто меня возьмет?

— Да, я об этом не подумала, где у меня голова? Жалко, что вчера молодчика-то отшили; можно было бы купить у старьевщика платье.

— Зачем это, Филомена, милая? Не надо. Умрем и так!

— Какой ты глупый! Разве я тебе изменю? Разве я сердилась, когда в Париже дамы тебе давали деньги? Я ведь молчу только, а я ведь все знаю и не сержусь. Что ж с нас спрашивать? Если б мы были богатыми, то мы были бы добродетельны, а у меня добродетель одна — любовь к тебе, а потому идем скорее, мы до утра дойдем в ту деревню, а там в Льеже купим у старьевщика платье, и все устроится отлично, ты увидишь.

Филомена вскочила и тотчас опять опустилась со словами:

— Что-то я устала сегодня. Тоже нашла время разыгрывать барыню. Но, право, я не могу. Ты меня снеси, Беппо, нужно торопиться.

Разбуженная обезьянка начала чесаться и щелкать пойманных насекомых. Беппо наклонился к лежавшей жене говоря:

— Не надо, Филомена, не надо. Все обойдется как-нибудь. Милая Филомена, ты меня слышишь?

— Сплю, — отвечала чуть слышно жена.

— Ну, спи, Господь с тобой! — ответил было Беппо.

Но через минуту снова наклонился к жене, ощупал ее и вдруг закричал

очень громко:

— Филомена, Филомена, да что с тобой? Ты меня слышишь? Тебе нехорошо? Ответь же, Филомена! Всемогуший Боже! Неужели она умерла?

И он молча повалился на тело жены, а разбуженная обезьянка снова принялась щелкать насекомых.

1913

Золотое платье



В одном из городов Сирии жили две девушки. Конечно, в этом городе жило гораздо больше девушек, но так как для нашего рассказа нужны только эти две, то мы и говорим, что жили две девушки. Обе они были христианки, а в то время, к которому относится наша история, в Сирии жили и язычники, и евреи, и разные такие христианские секты, которые на христиан даже и похожи-то не были. Император тогда был тоже христианин, и все чиновники были христиане; у них были настроены красивые церкви, и их никто не гнал и не преследовал, как бывало, а, наоборот, при случае они сами теснили и язычников, и евреев, и своих же братьев сектантов.

Одна из этих девушек называлась Мара, а другая Дада. Мара была немою от рождения, слепа, горбата и хромала на правую ногу. Она была очень добра и считалась богатой, потому что дядей ей приходился самый

богатый в городе торговец коврами, человек бездетный и уже преклонного возраста. Дада же была писаная красавица. Она отлично пела, танцевала и одевалась в пышные платья, на которые тратила все свои деньги, потому что она вовсе была не так богата, как Мара и у нее не было бездетного дяди.

В ту пору город и его окрестности постигла засуха. Напрасно епископ, все духовенство и весь народ ежедневно молили о дожде — ни одного облачка не показывалось на посеревшем от зноя небе, и каждый день солнце всходило так же безжалостно, как и накануне. Однажды епископу не спалось, и он до утра ворочался на своей мягкой постели. Вдруг он услышал легкие шаги, и к нему в комнату вошел высокий мальчик. Епископ думал, что это кто-нибудь из его слуг, и рассердился, зачем тот входит без спроса, но лицо пришлеца было ему незнакомо.

Епископ спрашивает:

— Чего тебе? Как ты сюда попал?

А тот ему в ответ:

— Я пришел пособить твоему горю. Вы напрасно молитесь о дожде: Господу нужна жертва. Если у вас в городе найдется девушка, которая добровольно откажется от суетных удовольствий: от пения, танцев, пышных одежд и богатства, тогда Господь смиростивится и пошлет вам дождь. А пока вы и не трудитесь напрасно, все равно ничего не будет. Ты уж мне поверь, потому что я — Божий ангел.

Ангел исчез, а епископ записал на бумажке все, что он слышал, чтобы не позабыть, повернулся на другой бок и спокойно заснул. А на другое утро по всем площадям, церквям и базарам читали объявление от епископа, где городские девушки приглашались на добровольную жертву. А потом это объявление развесили по видным местам, и народ с утра до вечера читал его и рассуждал между собою. Дошло все это и до Мары, и она написала письмо к епископу, где она ему предложила, что готова отказаться и от пения, и от танцев, и от богатых одежд, и от своего наследства в пользу городского бедствия. Епископ сделал второе объявление, в котором всех оповестил, что вот нашлась такая добродетельная и святая девушка, которая готова помочь своим согражданам. В назначенный день все собрались в соборную церковь, и так как было большое скопление народа, то не только соборная площадь, но и прилегавшие к ней улицы и переулки были наполнены толпою. Из дальних деревень пришли полуголые пастухи, у которых весь скот пал от пеклого жара, чтобы посмотреть на добродетельную Мару. Один монах написал длинные стихи вроде акафиста, где все время повторялось: «Радуйся, дождеводительница!»

Мару привезли на белых мулах, и весь народ по ее дороге становился на колени и благословлял ее, а горбатая девушка, ничего не видя слепыми глазами, улыбалась и плакала. Епископ и городские начальники долго не могли придумать, какую церемонию устроить, чтобы закрепить Марино отречение. Если бы она постриглась в монахини, было бы, конечно, очень просто, но девушка в монахини идти не собиралась, а хотела сделать только то, что велел ангел, ни больше ни меньше. Тогда решили, что после торжественного молебна прочтут вслух такую бумагу, где все сказано по пунктам, а Мара ее подпишет и поцелует крест на том, что слово ее крепко.

После церемонии народ долго не расходился, думая, что сейчас же хлынет дождь, а некоторые упорные ждали и до следующего утра, расположившись, как цыгане, под открытым небом и устроивши шалаш в предохранение от ожидаемого дождя. Так как думали, что первые капли его будут целебны, то вытащили на улицу же больных и калек, которые стонали и охали. Ловкие продавцы тут же раскинули свои палатки с хлебом, луком, вяленой рыбой и печеными яйцами. Но дождя так и не было, и на другой день не было, и на третий тоже. Все понемногу разошлись по домам, больных и калек уволокли тоже с собою, Мара плакала от огорчения, но всего неприятнее было епископу, потому что стали говорить, что никакого ангела ему не являлось, а все это он выдумал из головы. Чиновники же говорили, что, наверное, что-нибудь не так сделали, оттого ничего и не вышло. Одни уверяли, что девушка должна была сначала поцеловать крест, а потом подписать бумагу, другие — наоборот. Так все перессорились между собою, а дождик все не шел. Епископ совсем сон потерял. И вот однажды ночью, когда он, во время бессонницы, читал Ефрема Сирина, опять к нему пришел тот же мальчик. Епископ отложил книгу и говорит ему:

— Что же ты со мной делаешь? Ведь это называется прямо подводить. Ты войди в мое положение. Я же, человек почтенный, епископ, с твоих слов пообещал людям дождь, и девушку такую нашли, а засуха все продолжается. Ведь про меня будут говорить, что я, как старая баба, пустым снам верю, а потом народ баламучу. Ведь это что же такое? Теперь, чтоб ты мне ни сказал, я тебе не поверю.

Ангел рассмеялся и говорит:

— Нерассудительный ты человек, хоть и епископ. Что я тебе говорил? Я говорил, чтобы девушка отреклась от суетных забав, а разве можно отречься от того, чего не знаешь? Я ничего про Мару не говорю, она девушка добрая и хорошая, да ведь она слепая, немая и хромая. Платьев своих она не видит, ей все равно, хоть в рогожу ее одень, петь она не может,

танцевать тоже, а что до дядино наследство, так это тоже дело темное: старик может еще десять лет прожить и двадцать раз завещание изменить. Ведь это выходит отречься от того, что тебе не нужно, и отказываться от того, что тебе не принадлежит. Это все равно, как если бы ты сказал: «Отказываюсь от римского престола и отрекаюсь от своих старых сапог». Римский престол тебе никто предлагать не собирается, а старые сапоги тебе не нужны. Отречься можно от того, что любишь, а Мара всего этого и полюбить не могла, потому что не знала. Есть у вас в городе девушка Да-да — вот если бы та отреклась, было бы другое дело.

Епископ подумал и говорит:

— Все это прекрасно, но боюсь, не вышло бы какой фальши. Опять я в дураках останусь.

А ангел ему отвечает:

— Будь спокоен, — и сам исчез.

На другое утро епископ призвал к себе Даду и, заперевшись в отдельном покое, все ей рассказал и просил помочь горю. Дада сначала отказывалась исполнить его просьбу, но как она была девушка рассудительная и сердечная, то в конце концов согласилась, добавив только, что это ей будет очень трудно. Епископ обрадовался и говорит:

— Это-то и хорошо, дитя мое, что трудно. Этого-то нам и нужно; а что касается увеселения, так ведь это все суэта: немножко на земле потерпеть, а тогда на небесах получишь райское блаженство, ангельское одеяние и сладкое пение.

Дада улыбнулась и сказала:

— На это я не рассчитываю, отец; во-первых, ко дню моей смерти я буду, может быть, уже старухой, а во-вторых, если мне и дадут ангельское одеяние, так некому будет на меня смотреть. Я девушка простая и грешная. Мне нравится, чтобы на меня любовались, и мне радостно, когда другим весело, глядя на меня. Я твою просьбу исполню, но я рассуждаю так: если уж пришел такой случай, что мне нужно отказаться от вещей, которые я люблю, так я буду любоваться ими на других и радоваться этому, потому что все это я очень люблю. Никакой моей заслуги тут нет, а просто Бог дал мне глупое сердце, и мне жалко, что люди томятся и болеют от жары, и ты, отец, беспокоишься. Если я могу чем-нибудь помочь, я очень рада, потому что мне и самой жара надоела. Райского блаженства я не ищу. Я не святая; святые, те в пустыне живут и питаются кузнечиками, как Иоанн Предтеча, а я девушка мирская, неученая и веселая. Ты меня прости, отец, если я что не так сказала.

Епископ ей отвечает:

— Конечно, ты рассуждаешь не совсем правильно, но поступаешь по доброте и справедливости. Это тебе зачтется. Иди с миром.

Он благословил Даду, и девушка ушла к себе в дом. Было решено не делать никакой церемонии, а чтоб Дада келейно, только в присутствии епископа и духовенства, отреклась от любимых ею увеселений. Решили так, потому что боялись, чтоб не вышло опять неудачи, как прежде с Марой. День был особенно жаркий; с утра все небо посерело от пыли и пеклого зноя; само солнце было в каком-то дыму, потому что поблизости горели леса. Наконец, солнце совсем скрылось в густой мгле и стало темно, будто во время затмения. Собаки выли, а голуби, как слепые, тыкались во все окна. Дада надела простое платье, нарядные же отдала своей подруге, а когда отдавала, то целовала их и плакала, приговаривая:

— Прощайте, мои друзья, теперь вы будете украшать другую, а Дада будет только смотреть на вас; не будет Дада петь песенок, не будет плясать и резвиться, зато пройдет эта противная жара, от которой никому не хочется ни петь, ни танцевать, а все бродят как сонные мухи.

Даде прочли ту же бумагу, что и Маре; она подписала ее и устно подтвердила свое обещание, поцеловав на этом крест. Не успела она сойти с амвона и хор кончить своего пения, как все услышали шум на площади, а сторож на всю церковь закричал:

— Братия, чудо, дождь пошел!

Все бросились к выходу: и народ, и певчие, и сам епископ поспешил, переодевшись, так что о Даде даже позабыли.

И, действительно, из черно-желтой тучи с шумом лил проливной дождь, но, несмотря на ливень и удары грома, вся площадь и все улицы были полны народа, вышедшего посмотреть на чудо. Никому не было известно, что Дада исполнила то, что велел ангел, а епископ от радости все перезабыл.

Когда дождь прекратился и перекинулась через уходящую тучу огромная радуга, то с радуги опустилась золотая лестница и по ней сошел ангел и сказал:

— Что вы смотрите и дивуетесь? Я обещал вашему епископу открыть небесные воды, если Дада отречется от мирских забав. Отречься можно от того лишь, что любишь, а не зная, не любя, отречься нечего. Не всякому дано отречение, но не горюйте, бойтесь скорей того, как бы не уподобиться людям, которые имеют глаза и не видят, имеют уши и не слышат, имеют ноздри и не обоняют. Любите Божий мир, потому что он — Божий, и не бойтесь любить его, потому что трусов Господу не надобно! Будьте щедры и не рассчитывайте все на вершки, потому что ни аршинников, ни скряг, ни

скопцов Господу не надобно! А когда придет время, у сильных Бог спросит отречения. Бог благ и милостив. Он справедлив и не наложит ига неудобноносимого, а пока ждите и любите Божий мир, славя Господа, а то впадете в гордость или в скупость сердечную.

Ангел говорит очень громко, и слова его разносились, как звук трубы, так что Дада услышала их из церкви, в которой ее забыли, и вышла на порог посмотреть, что случилось. Ангел поднимался уже по лестнице, обратно на радугу. Увидев Даду, он обернулся и сказал:

— Ты, Дада, не гордая и щедрая сердцем, ты много любишь, и потому Господь тебя выбрал, а вот тебе одеяние, которое никогда не износится.

Тут он наклонился и, зачерпнув пригоршней остатки дождя, которые дрожали на радуге, плеснул в Даду. И тотчас ее платье из холщового сделалось золотым, на нем были затканы цветы, бабочки и олени, а там, куда попали мелкие брызги, засияли самоцветные камни, которые горели и переливались ярче радуги.

1913

Где все равны



Хотя у меня сестер не было, а был только брат Дмитрий, к нам часто приходили в гости две девочки, Маша и Клаша. Отец думал, что если с детства мы приучимся играть с девочками, мы будем не так шалить и вести себя тише. Они приходили каждое воскресенье, мы их колотили и дразнили девчонками, они ревели, ябедничали, называли нас мальчишками и исподтишка норовили сделать какую-нибудь гадость. Задирали первые обыкновенно они, а потом бежали жаловаться; нас ставили в угол, а они ходили и дразнились. Нельзя сказать, чтобы это было особенно весело; но их родители были того же мнения, как и мой отец, и посылали их к нам каждое воскресенье. И, действительно, мы привыкли обращаться с Машей

и Клашей: еще с субботы мы придумывали, как их изводить в воскресенье.

— Давай, как только они придут завтра, дернем их за косы.

— Или, лучше, намажем стул горчицей и посадим их в чистых платьях на этот стул.

Так мы сговаривались, с нетерпением ожидая прихода наших жертв.

Когда мы несколько подросли, мы, конечно, не сажали уж наших подруг на горчицу и не дергали их за косу, но от этого дело не улучшилось, потому что все время мы проводили в спорах о том, кто лучше: мужчина или женщина.

— А женщины не могут хорошо ездить верхом.

— Это все вздор, отлично умеют, а вы не умеете стряпать.

— Фу, какая ты глупая, а повара-то? Ведь когда кухарка хочет похвастаться, всегда говорит: «Кухарка за повара».

— Ну, так вы не умеете вышивать.

— А вы не можете быть гусарами.

— А вы не можете быть кормилицей.

— А Пушкин был мужчиной, что, взяла?

— А у нас есть Чарская.

— Одним словом, дрянь.

— Сам-то ты дрянь.

И каждый раз начинали с тех же самых глупостей. Когда же мы обращались к отцу за разрешением наших споров, он говорил, что, конечно, все люди равны, и что если теперь это не всеми еще признается, то наступит такое время, когда женщины будут и адвокатами, и боевыми генералами, и кондукторами, а мужчины (ну, конечно, кормилицами они не будут) останутся тем же, что и теперь. Эти ответы нас очень сердили, потому что Маша и Клаша торжествовали и показывали нам языки, мы их потихоньку поколачивали по старой памяти и отправлялись к няньке Прасковье, которая рассуждала всегда гораздо более утешительно, нежели умный папа. Мы ей поверяли наше горе, а она, почесав вязальной спицей голову, говорила:

— Чего только не выдумают. Не нами это заведено, не нами и кончится. Хоть меня возьми: хоть бы меня смолodu учили, да разве я могла бы как акробат по канату ходить? Ведь это как кому Бог дал и кто к чему приставлен. Ведь ты посмотри вокруг себя: тогда бы не было ни лисицы, ни зайцев, ни берез, ни сосен, ни лета, ни зимы, и все было бы на один манер. Конечно, папаша человек умный, только он сидит в своем кабинете и ничего не видит. Он, поди, сердечный, овса от пшеницы отличить не может, ни осины от березы. Опять птица: сколько их разных пород, и все

для чего-нибудь нужны; да и в одной породе, хотя бы куры, одна от другой отличается: и перышки разные, и характер. Петух тебе нести яиц не станет. Как же тут их всех уравнивать? А уж про людей и говорить нечего: один человек скромный, другой хулиган отчаянный, один тебе умный, а другой дурак-дураком. Ну, как тут быть? Это уж как кто к чему приставлен.

Тогда нас эти рассуждения очень утешали, и мы верили им больше, чем скучным словам отца, который говорил, что нужно дать возможность и право развивать свои способности на любом поприще, без различия пола, состояния и исповедания. На отца мы сердились и хотели побить его его же собственным оружием: когда он нам давал читать книгу, мы ее не читали, а выбирали какую-нибудь самую неподходящую, уверяя, что все книги равны; за обедом ели одно сладкое, говоря, что это все равно, что есть суп. Конечно, мы были глупые мальчишки, отец приходил в отчаяние и ворчал:

— Это черт знает, что такое! Какие-то хулиганы растут.

Наша мама улыбалась и говорила отцу:

— Ты, отчасти, сам виноват: дети не могут всего понимать, а чувство равенства, очевидно, не врождено людям, а благоприобретаемо, иначе оно не встречало бы такого отпора.

И нам казалось, что мать была на нашей стороне, потому что иначе, зачем бы она нам рассказывала о героях и зачем бы у нее на стенке висел портрет лорда Байрона, а на этажерке стояла чугунная кукла Наполеона? Мы были ей благодарны, молча подсаживались к ней и ласкались, а она гладила нас по волосам, мечтая, вероятно, как хорошо было бы, если бы один из нас был Байроном, а другой Наполеоном, а она, наша мамочка, была бы не кондуктором и адвокатом, а «матерью великих людей», как мы читали в одной книжке. Когда мы подымали на нее свои глаза, наши взгляды встречались, и мы отлично понимали друг друга. А умный папа все продолжал рассуждать.

Один день в году мы не ссорились с нашими подругами, а наоборот, уступали им, вели себя тихо и скромно, потому что мы наглядно убеждались, что есть место, где все, решительно все равны. Это бывало в тот день поста, когда нас всех водили причащаться. Тут мы не толкались и не щипались, не возмущались, если вперед нас забирались дети нашего швейцара и незнакомые нам девочки. Из одной и той же чаши, одной и той же ложечкой, один и тот же священник, у которого рука тряслась от старости, давал одинаковые кусочки просфоры, впитавшей в себя красное вино, одинаково всем: и большим и маленьким, мужчинам и женщинам, богатым и бедным, и молодым офицерам и старым нищим, и умному папе и младшему дворнику, и швейцаровым ребятишкам и нам, и милой

мамочке, такой молодой в белом платье, и толстой уличной торговке. Дома мы играли чинно, боясь запачкать нарядное платье и не споря с отцом, потому что видели, что и он иногда прав. Но на следующий день все шло по-старому. Опять мы дразнили Машу и Клашу, ели мороженое вместо супа и читали Ната Пинкертон вместо умных книжек.

Однажды мать подозвала нас и сказала:

— Вы меня огорчаете, мальчики. Если вы будете так вести себя, то ничего хорошего из вас не выйдет. Вы будете самыми обыкновенными шалопаями или тупицами, а я бы хотела, чтобы вы вышли замечательными людьми, чтобы вы отличались от многих и многих. Для этого вы мне должны помочь и сами стараться быть хорошими. Мне сегодня нездоровится. Я хотела вас просить съездить вместе с няней на кладбище, потому что сегодня — день смерти моей матери, а вашей бабушки.

На кладбище было ехать очень далеко, но мы ехали тихо и чинно, думая, что мы делаем то, что делают обыкновенно большие. Мы даже сами выбирали цветы в магазине, чтобы положить их на могилу. Нянька быстро отыскала памятник нашей бабушки и, войдя за решетку, стала креститься и низко кланяться, мы стали делать то же, думая, что на кладбище старая нянька знает лучше всех, что нужно делать, может быть, даже лучше мамочки, а уж куда лучше папы. Потом, сев на скамейку, она вынула из кармана булку и стала бросать кусочки птицам. Мы приняли участие в этом занятии, потому что нас забавляло, как воробьи, поворачивая головой, подскакивали все ближе и ближе и, проворно схватив кусок булки, улетали с ним на еще голые ветки ближайших деревьев. Скормив всю булку, мы отправились гулять по кладбищу и читать надписи на крестах и памятниках. Кого только тут не было похоронено! И генералы, чуть не двенадцатого года, и актрисы, и младенцы, и именитое купечество. И над всеми росла та же зеленая трава, расстилали свои ветви еще не покрытые зеленью деревья, и над ними было темно-синее небо, по которому белыми клочьями буйно мчались весенние облака. А нянька нам говорила:

— Вот уж тут все равны. Как бы ты на земле ни тормозился, каких бы чинов ни достиг, а от савана да тесового дома не уйдешь. И все та же трава вырастет, будь ты грешный или праведный, богач или нищий, — смерть всех приравняет. А до последнего часа никто, братцы, не равен.

— А вот, няня, еще в церкви, когда мы причащались, тоже были все равны.

— Это все-таки не то, что здесь. Там милость Божия равна для всех, а человеку, пока он жив, равным с другим сделаться трудно. Так уж нас Господь создал. Тут ничего не поделаешь, как ни мудри.

О совестливом лапландце и патриотическом зеркале

Лапландец Кей был, как все лапландцы: мал ростом, скуласт и косоглаз. Он жил в юрте, держал оленей и бил китов. У него было зеркало, данное ему шаманом, которое, по уверению последнего, отражало лицо каждого народа, каким оно должно было быть. Так как Кей других наций не видел, то он думал, что на свете только и существуют лапландцы, и нисколько не удивлялся, видя в зеркале всегда одну и ту же косоглазую рожу. Но вот однажды Кей попал в Амстердам. Это довольно странно, но ведь мы пишем сказку и можем делать со своими героями, что хотим. В Амстердаме он встретился с людьми самых разных национальностей. Там были и голландцы, и немцы, и французы, и итальянцы, и испанцы, и всякий другой народ. Когда они напивались в кабачке, то каждый начинал восхвалять свою страну и свой народ. Кею было это обидно, потому что он ничем похвастаться не мог, а когда он говорил про необозримые снежные равнины, северное сияние или беззакатный летний день, или пел заунывные лапландские песни, то это никому не было интересно. Кей подумал: «Это оттого, что у меня нет национального лица, недаром мое зеркало показывает мне всегда мою собственную, одну и ту же рожу». И он стал рассуждать так: что есть лицо? И особенно национальное лицо? Чтобы иметь свое лицо, нужно быть непохожим на других. Чтобы быть непохожим на других, нужно изучить качество каждого народа и развивать в себе противоположное, тогда и получится то национальное лицо, которое

ни на какое другое не похоже. Для этой цели он купил старый календарь, где между сведениями о восшествии на престол, о количестве рожденных младенцев, о землетрясениях, между толкованиями простейших снов и рецептами для соленья огурцов — была и такая рубрика: «Свойства европейских наций и их приметы». Там он вычитал: «Англичане молчаливы и питаются непрожаренным мясом. Французы преимущественно любезны и с женским полом обходительны, но в денежных делах скареды и собственных своих жен держат в строгости. Гишпанцы горды и надменны и к католической вере весьма привержены. Итальянцы от природы ленивы, потому охотнее всего пением занимаются. Греки прирожденные сутяги и торгаши, о чем еще у комедийного сочинителя Аристофана упомянуто. Немцы изрядные пьяницы, однако, для приплода весьма полезны; сказывают, что у немецких девиц от одного взгляда может дитя родиться».

Все это наш лапландец вычитал, и теперь все его старания сводились к тому, чтобы поступать как раз наоборот тому, что он вычитал. Он только не знал, как соединить противоположность болтливости французов и английской неразговорчивости. Но тут помогло то обстоятельство, что он говорил по-лапландски, так что его никто не понимал. С одной стороны, посмотришь, будто болтливый господин, а с другой, — это болтовня ни к чему не обязывала, так как ее никто не понимал. Мясо он ел всегда пережаренное, с дамским полом обращался зверски, и, в пику французскому обыкновению, нарочно женился, чтоб держать свою жену очень вольно. Был расточителен, отнюдь не надменен, на тычки и подзатыльники не обижался, и не только католическую — свою собственную веру ругал на всех перекрестках. Никакими сутяжными делами не занимался, в коммерческих делах всегда попадал впросак и все чего-то попусту хлопотал, чтоб не быть похожим на ленивых итальянцев. Устроился так, что никаких детей не только от его взгляда, но и от чего другого не народилось; только от одного не мог избавиться — от пьянства. Но утешал себя тою мыслью, что это в его национальном лице будет легкою немецкою примесью.

А главное, как можно чаще повторял:

— Мы, лапландцы, — удивительный народ, у нас все не по-вашему, и мы этим гордимся.

Может быть, лапландцам было чем гордиться, но уж Кею-то гордиться было решительно нечем. Так, однажды, попусту пробежав целый день и проболтав на лапландском языке, которого никто не понимал, разный вздор, Кей вечером зашел в кабачок и напился. Подтащив к себе за волосы

двух девиц, Кей начал хвастаться:

— Мы, лапландцы, — удивительный народ, у нас все самобытно, ни на что не похоже, мы не скареды, как французы, с дамами вот как обращаемся, а жена моя... Бог с ней, наверно, за эту неделю у ней человек десять перебивало. Я на это не смотрю, а если кто меня побьет, я очень рад, я сам на себя наплевать готов: мы не испанцы. Чего гордиться?.. а только мы — удивительный народ. А что там попы говорят, это все вздор, — умрем — лопух вырастет, и всякую там римскую курию давно нужно бы раскассировать. И детей у меня целой кучи не будет, мы не немцы, я одну такую штуку знаю... какое ты мне мясо подаешь? Я англичанин, что ли, сырое мясо жрать? А вот, что я не скуп — так это правда, — и он выбросил весь свой кошелек на прилавок.

Кей шел домой, пошатываясь, и все сам себе хвастался, что, вот, теперь, у него прекрасное национальное лицо, и полез за пазуху вытащить зеркальце. Но в зеркале, вместо пьяной рожи расхваставшегося Кея, отразилось совсем другое лицо. Оно было скуласто и косолазое, было, очевидно, лапландским, но смотрело задумчиво, упорно и серьезно. И представлялось, что за ним расстилается необозримая снежная равнина, где при переливном свете северного сияния бегут запряженные собаки на далекое ржание оленей. «А шаман-то меня, верно, надул. Какое же это волшебное зеркало!» — и Кей, бросив его на землю, пошел, пошатываясь, домой, где у его жены сидел одиннадцатый любовник.

1913

Высокое окно



Квартира моих родителей была в шестом этаже. Теперь, конечно, этим никого не удивишь, но в дни моего детства еще не было восьми или

девятиэтажных домов, и шестой этаж казался почти предельной высотой. Отец и мать немного ворчали, что трудно подыматься по лестнице, но мне эти подъемы доставляли даже некоторое развлечение, неся с собой еще ту выгоду, что благодаря этому неудобству старшие реже выходили из дому, и я был бы даже рад, если б мы жили не в шестом, а в двадцатом этаже, чтобы только моя бонна, веселая немка, Мария Яковлевна, реже бегала со двора. Притом, как раз у меня в детской, было окно, которое считалось гордостью нашей квартиры. Из него открывался широкий отдаленный вид, не было видно нашей улицы, даже противоположного тротуара, а прямо темнел большой городской сад, с круглым прудом посредине, улица уже за садом, купола, шпили и кресты церквей, а вправо кусок Невы, такой синей весною, по которому медленно плыли баржи и быстро бегали пароходики с трубами, казавшиеся игрушечными. Окно выходило на запад и почти всегда, когда нас посещали редкие гости, их приводили к моему окну и они стояли несколько минут в молчании и потом тихо говорили матери, что они теперь понимают, откуда в стихах моего отца возвышенность мыслей и торжественная прелесть выражений. Я не совсем понимал их слова, но гордился, что мое окно хвалят, потому что ведь это было мое окно, раз оно находилось в моей комнате.

У нас совсем не было знакомых детей, а гости, которые ходили к отцу, не пели, не танцевали, не играли в карты, только спорили да читали стихи, а потом мать их поила чаем. Мария Яковлевна мне рассказывала, что на Васильевском острове у нее живет тетка, куда она ездила почти каждый праздник. Рассказывала также, какое там бывает веселье. Там бывает много барышень и молодых людей, служащих в конторах, магазинах, юнкеров, и даже один офицер. Там танцуют, играют, поют, пьют наливку и занимаются стуколкой: а на масленице катаются на вейках и бывает чудно как весело. Один раз немка выиграла восемь гривен, а другой раз, катаясь с гор, потеряла муфту, и офицер. ее поцеловал. Ах, как жалко, что у нас ничего подобного не бывает! Но Мария Яковлевна меня утешила, сказав, что мой папа слишком умный человек, что его все ценят и уважают, муфты у него нет, и что ему совсем не интересно, чтоб его целовали офицеры. Мне хотелось, чтоб все было менее умно и повеселее, но что ж делать, нужно жить так, как приходится.

И я подумал, что раз мой отец сделался таким умным от моего окна, то и со мною может случиться то же, и стал смотреть на круглый пруд и игрушечные пароходики не только с гордостью, но и с некоторой надеждой. Часто, когда мне надоест расставлять солдатиков, слушать немецкие сказки или рисовать рожки и усы дамам в старом модном журнале, я влезал с

ногами на подоконник и подолгу смотрел на блестящие кресты дальних церквей. Мне не становилось веселее, но я затихал и долго не спускал глаз все с того же, так хорошо знакомого пейзажа. А к отцу все так же приходили гости, пили чай, а иногда их подводили к моему окну, они молчали или говорили вполголоса. Отец отвечал им, вероятно, что-то умное, потому что они шептались:

— Боже, какой возвышенный полет мыслей! Какая торжественная прелесть слов.

Мать улыбалась, гордясь не то своим мужем, не то моим окном, и тихонько звала пить чай.

Однажды я увидел в мое окно нечто совершенно невиданное до сей поры, удивительное и восхитившее меня: из далекой улицы под нежную торжественную музыку стройно выезжала масса людей на одинаковых лошадях, разливая вокруг себя необычайное сияние.

У них не было ни рук, ни ног, а один золотой блеск, стройность и нежная музыка. Так золотой змеею они выехали медленно, там вдали, прошли и скрылись.

— Фрейлен, фрейлен, что это такое? — закричал я со своего окна.

Мельком взглянув на видение, немка ответила:

— Это кавалергарды, дитя; какой веселый марш: тра-та-та! — тра-та-та!

— Они люди?

— Что это?

— Кавалергарды, — говорю, — люди?

— Фу, какой ты глупый! Конечно, — и она снова принялась за шитье.

Мне было несколько досадно на фрейлен, зачем она не разделяет моего восторга, а говорит о кавалергардах, будто о своих приказчиках. Конечно, будь она русская, она хоть бы перекрестилась на такое чудо, а с немки чего же спрашивать?

С тех пор моими мыслями всецело владели эти люди, все как один, без рук, без ног, появляющиеся не иначе как в золотом блеске и под нежную музыку, которая совсем не похожа на глупое «тра-та-та! тра-та-та!», спетое Марией Яковлевной. Я просиживал целыми днями на своем окне, ожидая, что повторится видение, но оно не повторялось, а только сновали опостылевшие игрушечные пароходики по надоевшей самой себе Неве. Так как все считали моего отца очень умным человеком, то я решил обратиться к нему и расспросить его хорошенько о своих кавалергардах.

Конечно, я делал маленькую измену, выдавая свой секрет, но что же мне было делать? Время шло, а они больше не появлялись.

Отец мог мне объяснить только то, что кавалергарды это такой полк и, кроме того, рассердился, зачем я пристал к нему со вздором и кто мне набивает голову всякими глупостями. Мать взяла меня под защиту, говоря, что у мальчиков моего возраста часто бывают военные увлечения, что это вполне естественно и потом пройдет. Но отец продолжал ворчать и оплакивать мою будущность, предсказывая, что из меня выйдет дурацкий солдафон.

Не будучи в состоянии носить свою тайну неразделенною, я снова обратился к Марье Яковлевне, которая хотя и была немкою, но в данном случае представляла более подходящего собеседника, нежели мой отец.

Но будучи проучен первым разом, я начал вторичные расспросы уже издалика.

Сидя на своем окне и смотря на далекие дома я спросил у бонны:

— Эти дома, фрейлен, маленькие?

— Почему маленькие?

— Ну, как комодный ящик?

— Там всякие есть дома. Это оттого, что далеко, тебе кажется, что маленькие.

Я, конечно, знал, что дома не с комодный ящик, но это была хитрость, чтоб спросить о кавалергардах.

— И люди там большие ходят?

— Почему ты сегодня такой глупый? Люди там ходят обыкновенные.

— Как вы, как папа?

— Как я, как папа.

— А кавалергарды тоже как вы, как папа?

— Офицеры там бывают всякие, а в солдаты берут высоких.

— А папа может светиться?

— Как светиться?

— Ну, как самовар?

Фрейлен даже заинтересовалась и поощупав мою голову, предложила лечь спать.

— Ложись-ка лучше спать... Во сне, может, и папа будет, как самовар.

— А все-таки, когда папа ходит, никакого «тра-та-та» не слышно.

Не знаю, что подумала Марья Яковлевна, но она весело рассмеялась и закрыла меня одеялом.

Разве с немкой можно разговаривать о кавалергардах? Вот меня Бог и наказал!

Один раз мы пошли с фрейлен гулять. Начался дождь, и мы скрылись в лавке знакомого сапожника, у которого, кстати, нужно было взять мои

башмаки, к которым он делал подметки.

Лавка сапожника была в подвале, так что из окна были видны только ноги прохожих, которые шлепали по лужам.

Сапожник был немец и Марья Яковлевна начала с ним тараторить по-немецки, а меня занимал рыжий мазаный мальчишка. Сначала он таскал кота за хвост, а тот кричал, потом стал мазать стул сапожным кремом. Но видя, что меня это не очень развлекает, он стал без всякой связи произносить какие-то слова, которых я не понимал, но от которых почему-то краснел. Объяснить их он мне не сумел, но сказал, что эти слова «похабные» и что мальчишки должны их говорить. Когда и это увеселение истощилось, он стал ковырять в носу и вытирать палец о мой костюмчик, что мне уже совсем не понравилось.

Вдруг он радостно воскликнул:

— Вот калегард идет!

Я бросился к окну, перед которым стояли два грязных сапога в шпорах и висел угол серой шинели.

— Какой же это кавалергард? У тех и ног-то нету?

— А вот такой, как вытащит нагайку да стегнет тебя, так и узнаешь какой.

— Зачем же он будет меня бить? Я ему ничего не сделал.

Мальчишка начал было кривляться, показывая мне язык, но тут вышла фрейлен и повела домой! Конечно, я никому не сказал о своем разговоре с подвальной мальчишкой, но все печальнее и дольше смотрел из моего окна. Неужели оно меня обмануло и прав тот рыжий мальчишка? Конечно, нет!.. Он просто злой мальчишка!

Но почему тогда ты, мое милое окно, мне не поможешь? Не покажешь еще раз того видения, чтоб я был уверен, что злой мальчишка говорил из зависти. Ни папа, ни немка объяснить мне ничего не могут.

Однажды мать мне сказала:

— Вот ты все спрашивал о кавалергардах, я тебя могу порадовать. Сегодня мы пойдем в гости к тете Оле и ты там увидишь настоящего кавалергарда.

Я ничего не сказал, но не мог дождаться конца обеда, после которого мы должны были ехать к родным. Я невнимательно играл с девочкой Машей и все с ней ссорился, потому что она хотела, чтоб венские стулья были лодками, а я — чтоб они были лошадьми. Наконец в комнату вошла мама в сопровождении высокого молодого офицера. Он был с руками и ногами, без всякого блеска и музыки, но сапоги у него были не грязные, никакой нагайки не было и он не только не стал меня бить, а, наоборот,

взял, высоко подбросил и спросил:

— Это ты, малыш, интересовался кавалергардами?.. Ну, смотри, какие мы.

— А что у тебя блестит? Я видел.

— Это кираса, мы надеваем ее только в парад.

— А музыка?

— Это наши трубачи.

— И у тебя есть лошадь?

— Конечно. Вот приезжай с мамой в манеж, я тебе покажу.

И действительно, он не только показал свою лошадь, но и покатал меня на ней. А мама смотрела, улыбаясь. И я в первый раз заметил, что мама у меня молодая и красивая. Я рассказал все моему новому другу и про окно, и про мальчишку, как они оба меня обманули.

Он погладил меня и сказал:

— Это и всегда так будет, если о вещах судить с чердака или из подвала. Нужно подходить к вещи прямо и близко, тогда ее узнаешь. Но, может быть, тебе жалко, что у меня есть руки и ноги? И не всегда я в блеске?

— Нет, так гораздо лучше. Бог с ним, с блеском... Зато ты настоящий, и я могу тебя трогать. И ты хороший. А мальчишка из подвала просто злой мальчишка!

Но почему же тогда наши гости говорили, что мой папа сделался умным именно от моего окна?

Или для больших и маленьких разные мерки? Я не знаю, но с благодарностью поцеловал своего нового друга, за то, что можно прижаться к его мундиру, за то, что он такой добрый и красивый. А главное — настоящий.

Я думаю, что и мама охотно бы его поцеловала: так нежно она на нас смотрит. И я кричу ей: «Мама, поцелуй и ты его! Это ничего, что он без кирасы и нет музыки!»

Послушный подпасок



Деревня, в которой родился маленький Николай, была самая обыкновенная деревня. Нельзя сказать, чтобы она лежала в лесу, в степи, а тем менее в горах или у моря, потому что моря там никакого не было, леса и луга чередовались в приятной последовательности, а холмы были такие милые и веселые, что вы бы их никак не назвали горами. Ведь горы, вы сами знаете, это когда скала лезет на скалу, камень на камень, будто все черти переворочали, никаких роц на них не растет, а сидят только тучи, да орлы. И люди на горах живут сердитые, неразговорчивые и непослушные.

А в нашей деревне жили самые обыкновенные люди. Были, конечно, там и непослушные, и обманщики, и плуты, но в общем народ был веселый и любезный. Но если и были там непослушные люди, то, во всяком случае, не маленький Николай. Он даже не плакал, когда родился, а уж это полагается всем детям, особенно в рассказах. Конечно, покуда тебя пеленают, очень трудно быть непослушным: куда положат, там и лежи, никуда не уйдешь; что бы в рот ни сунули, то и соси; но и потом, когда уж он стал ходить и даже когда на него надели штаны, из задней прорешки которых всегда торчала рубашка, его послушание не уменьшалось; а слушаться ему было кого, потому что родители его очень скоро умерли, а командовать ребенком, — это такая из родительских обязанностей, принять которую на себя найдется всегда много охотников. Чтобы вымыть, накормить ребенка — так это нет, а воспитывать дитя, то есть кричать на него, давать ему подзатыльников — всякому лестно.

Так и помыкали маленьким Николаем все, кому было не лень.

И всех он слушался, был мальчиком тихим и послушным. Это, конечно, не значит, что у него не было собственных желаний и мнений, но ведь это его дело, никого не касалось. Что ему приказывали, он исполнял, чего же больше? Одного только он никак не мог исполнить, это — успевать в ученьи.

Он не был ленивым, но был какой-то беспонятливый на ученье. Побились с ним, побились и отдали пастуху в подпаски. Так и щелкал кнутом Николай целый день на коров, а в полдень, съевши хлеб и лесной земляники, или спал вверх животом, или смотрел, как бабочки перелетали с

цветка на цветок. Шел ему тогда пятнадцатый год, и все думали, что, когда старый пастух умрет, его заменит Николай. Он был мальчик крепкий и приземистый, лоб у него был низкий и темные неподвижные глаза. Посмотреть на него — сказал бы, что он тупой упрямец, а между тем он оставался все таким же послушным малым. Скажут ему: Николай, принеси ведро воды, — несет; или: — наруби мне дров — рубит; сделай то, сделай другое — все делает. Еще у него была одна привычка, от которой его никак не могли отучить, это — всегда говорить правду. Из-за этой своей привычки немало пришлось ему вынести побоем. Спросит у него какой-нибудь парень: — Не видел ли ты, Николай, где Берта? — В овраге с Петром сидит. — Ну, конечно, Петр сейчас Николая бить.

А если его подучат говорить неправду, еще хуже выйдет. Спросят его: не видел ли ты, Николай, Берты?

— В лесу грибы берет.

— Одна?

— Одна.

— А ты правду говоришь?

— Нет, неправду.

— А где же она?

— Не могу сказать.

— Почему?

— Не велели.

— Кто не велел?

— Петр не велел.

Значит, опять Николаю потасовку — и от Петра, и от Павла. Дураком его нельзя было счесть, но и в умные не запишешь.

В ту пору король, которому принадлежала Николаева деревня, вел войну с соседями. Вначале жители даже не знали, что война, потому что это их нисколько не касалось; так же они сеяли, жали, косили, коров доили, рожали, женились и помирали, а что там, где-то кровь проливали, от этого не очень расстраивались. За это их винить нельзя: ведь доведись и нам с вами утром в газетах прочитать, что в Бразилии город провалился, где из горы огонь выхлестнуло, где корабли ко дну идут, сербы с болгарами друг друга съели без остатка, или в нашем городе столько давятся, топятся, травятся, режутся, — все это вас расстроит, конечно, меньше, чем муха, попавшая в ваш кофей. Может быть, это очень скверно, но уж так люди устроены. Так что нечего удивляться на жителей той деревни, где Николай пас стада. Но когда они слышали, что ближайший город взят и сожжен, что враги идут к той крепости, где заперся король, что путь их лежит как

раз через нашу деревню, что деревни, отстоящие верст на шестьдесят сожжены врагами, что не сегодня — завтра гости пожалуют к ним, мужчин переколотят, обидят женщин, вытопчут поля, дома сожгут и угонят скот, тогда они забеспокоились, стали точить вилы, серпы и косы, а часть убежала в лес.

Хотя моря около нашей деревни и не было, но версты за три протекала большая широкая река, около которой часто паслись стада. Однажды на рассвете Николай увидел двух всадников, которые, переезжая мост, говорили между собой:

— Перебежчики нас обманули, скрыв существование этого моста, где мы гораздо удобнее можем переправиться, чем через тот далекий брод.

Потом они скрылись в лесу, не заметив притаившегося Николая. Николай никому не сказал ни слова о том, что он видел, а стащил на деревне большую пилу и ночью подпилит столбы, на которых держался мост, так что, когда враги всею тяжестью лошадей, солдат, пушек и повозок вступили на подпиленный мост, последний рухнул и все очутились в воде. С криком и ругательствами враги отступили к тому броду, который им был указан лазутчиками и гибель нашей деревни отсрочилась дня на три. Но несмотря ни на какие отсрочки, то, что должно совершиться, совершается; так и родное селение пастуха не избегло своей участи.

Притом участь ее была как две капли воды похожа на участь других деревень, потому что, хотя ее жителям она и казалась центром мира, но на всякий посторонний взгляд она была самая обыкновенная деревня, о существовании которых узнается только, если около нее случайно произойдет какое-либо кровопролитное сражение или, если в ней родится великий человек, что бывает, может быть, раз в пятьсот лет. Конечно, может прославиться такое местечко и капризом поэта, поместившего туда своих героев, но жители этого местечка даже не будут знать, что название их прихода читается элегантными дамами Парижа. Итак, нашу деревню, самую обыкновенную, постигла обычная участь таких деревень в военное время. Мы даже сознательно не говорили названия этой деревни, хотя его и знаем, потому что все равно, после этих строк оно нам не нужно. А важно нам только то, что наш Николай не был убит, как мужчина, ни вытоптан, как поля, ни сожжен, как дома, ни обесчещен, как женщина, а был угнан, как скот, который он пас. Дело в том, что еще не доходя до деревни, вражеские конники захватили Николая и повели с собой, думая, что он будет им указывать лесные тропинки.

До своего селения ему не пришлось этого делать, а потом, видя его послушание и старательность, к нему привыкли, а тут пришел конец войне

и Николая вместе с обозом увезли в чужую страну; все было бы неплохо, если б ни его привычка говорить всегда правду. Пользуясь свободой, он бродил по всему лагерю, а когда его спрашивали, он говорил без утайки, что видел и слышал.

Покуда это касалось низших чинов, Николая только колотили, но когда он стал рассказывать правду про полковников и генералов, то его обвинили в клеветнических доносах и посадили в тюрьму, а посадивши в тюрьму, о нем забыли, потому что он больше не беспокоил своими рассказами.

Итак:

Было все очень просто
Было все очень мило,

как говорит один современный поэт. Николай спокойно сидел в тюрьме, вероятно, находя, что его жизнь мало чем изменилась. Но и дальше случилось нечто похожее на то, что описывает тот же поэт. Там королева в башне у моря играла Шопена и полюбила пажа. У нас же моря не было, Шопена никто не играл, вместо башни была тюрьма, вместо пажа — подпасок и вместо королевы — дочь тюремщика. Позвольте! Какое же тут сходство? А сходство в том, что дочь тюремщика полюбила Николая. Мы не спорим, что башня, море, Шопен, королева и паж — все это гораздо поэтичнее, но ведь мы же и пишем не стихи, а простую деревенскую историю и потом уверяю, что дочь тюремщика была нисколько не хуже королевы. Даже не только не хуже, а гораздо лучше. Она была такая тоненькая, что всякий бы подумал, что она выскочила из английской книжки иллюстрированного перевода Андерсеновых сказок.

Это, конечно, дело вкуса, но мне дочь тюремщика очень нравится. Да, ведь вы же ее совсем не знаете? Значит, она была беленькая и тоненькая, с заплетенными косичками и зелеными глазками. Ей было пятнадцать лет и одета она была в костюм того времени, к которому угодно будет читателю приурочить историю. Для Элизы же это решительно все равно, потому что она как душенька «во всех нарядах хороша», хоть бы в водолазном костюме.

Конечно, чистоте их любви много способствовало то обстоятельство, что Николай все время сидел за решеткой, а Элиза гуляла по двору.

Они даже не могли поцеловаться, потому что окно Николая находилось на четвертом этаже.

Так как для того, чтобы звуки нежного Элизиного голоса долетали до

Николая, дочери тюремщика нужно было говорить очень громко, почти кричать, то их объяснения скоро сделались известными другим людям и любовь их открылась. Тут Элизу посадили в ее горнице, а об Николае вспомнили. Его, оказывается, так основательно позабыли, что даже позабыли причины, по каким он был заключен в тюрьму. А так как он был в нее заключен вскоре после военного времени, когда королевские дела не вполне были приведены в порядок, без особенного суда и следствия, то никаких письменных документов, доказывающих его вину, не сохранилось.

Когда королю доложили об этом, он долго тер лоб, — вспоминая, наконец, воскликнул:

— самого Николая я помню: это — тот пастух, которого мы забрали при походе на соседей. А что он сделал, я решительно не помню. Наверное, какой-нибудь вздор. Свою курицу вместо чужой украл, или что-нибудь в таком роде.

После таких слов даже те вельможи, которые смутно помнили, за что был посажен Николай, не осмелились этого высказать, потому что король гордился отменной памятью, великодушными делами и острыми словами. К последним он причислял и вышеупомянутую свою речь, так что было неудобно соваться в его решения. А король, довольный началом, продолжал:

— Я скоро собираюсь вести войну с тою же страной и Николай может быть нам полезен. Что же касается до того, что он полюбил Элизу, это его частное дело и никакого государственного преступления тут нет. Если отец девушки согласен, то, я думаю, ничто не мешает их браку.

Но отец девушки не только не согласен, а, наоборот, отказал наотрез. Тогда король сказал: предоставь это дело мне, я поговорю с Николаем и даю тебе слово, что через три дня он и думать позабудет о твоей дочери.

Король так говорил потому, что кроме того он гордился убедительною силою своих разговоров. Он считал, что стоит ему, как Сократу, поговорить полчаса о гороховом супе или вареных бобах — и он убедит кого угодно изменить родине, переменить веру или разлюбить любимого до сих пор.

Потому главный тюремщик не противоречил, поклонился и вышел, а к королю привели Николая. Тогда между ними произошел следующий разговор:

— Ты Николай?

— Николай.

— Почему же ты Николай?

— Потому что меня так называли.

А если б тебя называли Петром?

— Тогда бы я назывался Петром.

— У тебя изменился бы нос или уши от этого?

— Не думаю.

— Что же ты полагаешь, если б тебя звали Павлом, тебя бы солнце больше пекло?

— И этого не полагаю.

— Ведь, если б ты умел печь булки, ты бы назывался булочник?

— Справедливо.

— Почему же ты тогда упорствуешь в любви к Элизе?

— Я не упорствую.

— Что ж ты делаешь?

— Я просто люблю ее.

— Королю нужно повиноваться!

— Следует.

— Ну, так как же?

— Я не знаю.

— Отец Элизы за тебя не выдаст.

— Это его дело.

— И ты Элизы больше никогда не увидишь.

— Ну, что ж делать?

— Разве тебе это будет приятно?

— Я не говорю этого.

— Да ты знаешь ли, что ты сейчас делаешь?

— Разговариваю с королем.

— А кто так еще разговаривал?

— Я не знаю. Вероятно, немало несчастных людей так разговаривает.

— Это называется сократический диалог.

— Все может быть.

— А Сократ был величайшим мудрецом.

— Тем лучше для него.

— Так вот ты и чувствуй.

— Теперь, когда ты мне сказал, буду чувствовать.

— Так как же тебе не стыдно?

— Я не знаю, чего мне стыдиться, я ничего не сделал.

— Ведь ты делаешь зло отцу девушки, мне и самой Элизе.

— Я вообще ничего не делаю. Как же я могу делать зло?

— Мы все расстраиваемся от твоей любви.

— Если б я не говорил о своей любви, о ней никто бы не знал. Если вас расстраивают мои слова, я не буду говорить — вот и все.

Тогда король обрадовался и крикнул тюремщика.

— Что я тебе говорил? Стоит умному человеку пять минут поговорить, как он может убедить в чем угодно. Вот Николай уже забыл и думать о твоей дочери.

Тогда тюремщик обратился к пастуху:

— Это правда, что ты разлюбил Элизу?

— Нет, неправда. Я ее люблю.

Тут вступился король и закричал на Николая:

— Ах ты такой-сякой, ты же мне обещал, что не будешь говорить о своей любви!

— Зачем же вы меня спрашиваете?

Король тюремщика успокоил и Николая оставили на свободе, стараясь только о том, чтоб он не имел случая видаться с девушкой, которую уверили, что Николай ее разлюбил. Элиза не очень этому поверила и все искала удобной минуты, чтоб спросить об этом у Николая самой. Однажды, выйдя за дворцовые ворота, она увидела Николая, сидящим на скамейке, и спросила его:

— Это правда, Николай, что ты меня разлюбил?

— Нет, неправда, я люблю тебя по-прежнему.

— Почему ж ты избегал со мною встреч?

— Мне так велели король и твой отец.

Элиза с громким плачем бросилась в свой дом, кинулась на постель и до ночи прорыдала. Когда отец подходил к ее двери, она не пускала его, крича:

— Пошел вон, злой человек! Вы меня разлучили с милым Николаем, хотели меня обмануть, что он меня не любит, а он меня любит по-прежнему. Я вот сию минуту возьму да умру, и все узнают, что ты виновник моей смерти.

Конечно, Элиза несколько не умерла, а король призвал Николая и говорит ему:

— Что ж ты наделал? Ведь ты дал мне слово, что не будешь говорить о своей любви?

— А зачем она меня спрашивает? Я сам не говорил.

Король пожевал губами и говорит:

— Все-таки тупой ты парень, друг мой! И хоть послушный, но тебе надо давать самые подробные указания. А то живо с тобой в беду влетишь. Так вот слушай хорошенько, что я тебе скажу! Когда бы Элиза тебя не спрашивала насчет любви, ты отвечай ей, что ты ее терпеть не можешь. Или нет, этому она не поверит. Лучше скажи ей, что питаешь к ней самые

хорошие дружеские чувства, а полюбил другую. Такие ответы бывают всегда наиболее тягостны и легче всего исцеляют от любви. Скоро во дворце будет праздник, ты не скучай, веселись, не избегай Элизы, а то она подумает, что ты ее все еще любишь, а протанцуй с ней вальса три и веди разговоры самые обыкновенные.

Все вышло как по-писаному, и когда после второго вальса, выйдя по аллее, освещенной разноцветными фонариками на лужайку, откуда видно было, как из-за черной купы деревьев к черному августовскому небу, шипя, взлетали ракеты, рассыпаясь яркими звездами, Элиза спросила Николая:

— Вы веселы сегодня, мой друг! Может, слова моего отца не были лишены справедливости? — То Николай спокойно ответил:

— Я вас терпеть не могу, или, лучше сказать, я питаю к вам самые дружеские чувства, но люблю другую женщину. Это ответ наиболее тягостный и легче всего исцеляет от любви.

Если б Элиза дослушала до конца Николаевы слова, конечно, она поняла бы, что искренняя речь не может быть так построена. Но дело в том, что первая половина фразы так поразила ее в самое сердце, что она не слышала окончания, а только, побледнев при пестрой россыпи ракет, пролепетала:

— Неужели это правда?

— Нет, это неправда.

— Значит, вы любите меня?

— Я вас терпеть не могу, или, лучше сказать, я питаю к вам самые дружеские чувства...

И Николай повторил целиком свой первый ответ.

Теперь Элиза выслушала его до конца и, рассмеявшись, произнесла:

— Какие странности вы говорите, мой друг. Можно подумать, что вы выучили диктант наизусть. Конечно, сегодня праздник, все шутят, но не могу не сказать, что ваша шутка не очень милая. Я знаю, что вы меня любите, не так ли?

— Я вас терпеть не могу, или, лучше сказать, я питаю...

Тут уж Элиза не смеялась, а, постояв минуту молча, вдруг опрометью пустилась по аллее, подобрав платье и громко крича:

— Боже мой, Николай сошел с ума!

Король и отец Элизы были довольны послушанием пастуха. Они даже подумали, что Николай не только поступает, но и чувствует, как им угодно.

Король призвал его к себе и говорит:

— Вот видишь, друг мой, как хорошо все устроилось, Элиза погоревала немного и забыла тебя, ты тоже успокоился, а мне и моему

тюремщику доставил большое удовольствие.

— Я Элизу люблю, — отвечает Николай.

— Ну, об этом мы, кажется, условились не разговаривать. Да и потом, раз твоя любовь ничем не выражается, каково же ее значение?

— Это важно для меня самого, для Господа Бога, который читает в сердцах и для всех тех, кто смотрит не только на то, что я делаю или что я говорю, а обращает внимание на меня самого и мою душу.

Король видит, что начинается какой-то продолжительный разговор и говорит:

— Ну, хорошо, хорошо. Об этом мы после обеда побеседуем. А теперь мы очень тобою довольны.

И, наградив, отпустил Николая.

Хотя Николай никому не говорил больше про свою любовь, однако, он очень скучал и худел не по дням, а по часам.

Король снова призвал его и говорит:

— Нельзя же так, мой друг! На что ты стал похож? Ходишь, будто вчерашний день потерял.

— Мне очень скучно, — отвечает Николай.

— Что за вздор, какое там скучно! А ты скажи сам себе, что тебе весело, — вот тебе и будет весело. А что касается до того, что ты худеешь, так ты, верно, нездоров. Я к тебе пришлю своих медиков. Они живо тебя поправят.

Николай поклонился и вышел, а потом переломил себя и сделался прежним Николаем.

Все на него смотрели и радовались, какой он послушный. А что он думал и чувствовал — это никого не касалось.

Между тем он не только не переставал любить Элизы, дочери тюремщика, но, кроме того, начал очень тосковать о родине. А тут как раз король затеял снова воевать с Николаевыми земляками, а самого Николая захотел сделать одним из своих генералов, так как считал его хорошо знающим страну и человеком очень послушным. Когда он сообщил об этом Николаю, тот отвечал, что никак не может принять такого назначения, потому что не хочет идти против своих братьев.

— Какой вздор! Какие там у тебя братья? Наверное, и знакомые-то все перемерли. Ты теперь наш. Ведь наша страна очень похожа на твою прежнюю родину, у нас даже языки родственные, я, в сущности, и завоевать-то ее потому хочу, чтоб не было путаницы, чтоб бедных школьников не мучить, нужно и о них подумать такое-то царство, такое-то государство, а все одно на другое похожи. Так уж пусть будет все одно мое

королевство, гораздо проще. Вот если бы я с неграми или китайцами полез воевать, было бы глупо, а тут даже никто и не разберет, кто кого бьет. А потом, вот что я тебе еще скажу: для умного человека там родина, где ему хорошо живется. Ты человек неглупый, живется тебе у нас хорошо, значит ты наш. Делайся моим генералом и больше никаких.

— Нет, я этого никак не могу сделать. У меня там родимая колокольная.

— Дай мне немного с делами управиться, я тебе десять родимых колоколен устрою.

— Нет, я все-таки не могу. Вы уж меня увольте.

Тут король страшно раскричался и сказал, что, если Николай не пойдет на войну, он его не повесит, не казнит, а приставит к нему десять человек, которые бы передвигали ему ноги, поднимали руки, заставляли стрелять, а все-таки генералом он у него будет.

Николай знал, что король человек очень упрямый и на своем всегда поставит, поэтому он не допустил, чтоб другие передвигали ему ноги, и изъявил согласие исполнить волю короля, думая, что раз он будет один, тем более генералом, ему будет легче придумать, как бы так поступить, чтобы и братьев не убивать и короля не сердить.

Покуда они шли походом, все было очень хорошо, но как только дело дошло до первого сражения, Николай, вместо того, чтоб давать распоряжения, пошел ночью в неприятельский лагерь и отдался им в плен, уверяя, что он Николай из такой-то деревни. Так как сражение происходило очень далеко от той деревни и Николая никто не знал, то ему не поверили, приняли за шпиона, посадили в тюрьму и по военному времени приговорили повесить.

— Да поймите же, что я Николай, ваш же пастух.

Но его никто не слушал и послали к нему старенького священника, чтоб исповедовать перед смертью. Ему Николай все рассказал, какой он был послушный и что из этого выходило. Старик выслушал и говорит:

— Ты, конечно, совершенно прав. Что касается внешних поступков, то всегда нужно быть послушным, потому что, во-первых, это нисколько не важно, во-вторых, это не возбуждает никаких распрей. Затем, это не касается твоей души, которая только одна и нужна Господу Богу и которую нужно хранить свободной и незапятнанной. И, наконец, потому, что люди сильные всегда могут принудить тебя сделать, что им хочется. А душу твою принудить никто не может, если ты тверд. Это и есть настоящая свобода: напрасно только ты всем врал из послушания.

— Я никого не обманывал, говоря то, чего им хотелось. Если меня спрашивали, правду ли я говорю, я всегда говорил, что нет. Неужели может

счесться за обманщика человек, которому прикажут говорить про сосну, что это журавль, а то, мол, тебя выпорют. Да сделайте ваше одолжение, журавль так журавль. Ведь сам-то я знаю, что это сосна. Между тем, когда я говорил правду, то меня или били, или сажали в тюрьму, или не верили, как вы теперь. Я говорил неправду только тогда, когда меня к этому принуждали или могли принудить. Притом, никогда этой неправды за правду не выдавал, а просто произносил те буквы, которых от меня требовали, потому что всегда, когда человек говорит неправду по принуждению, не веря сам в нее и никого не желая уверить, он ничего другого не делает, как если бы он произносил слово безразличное, например «инфузория». Если же другие на этом утверждении, заведомо для них ложном, но приятном, стали что-либо строить, это уж было дело их глупости. Вот если бы я действительно разлюбил Элизу, действительно пошел бы против своих братьев, а не изображал по принуждению одну видимость этих поступков, тогда бы я покривил душою. Я же этого никогда не делал и вины за собою в этом не чувствую.

Старик прослушал и говорит:

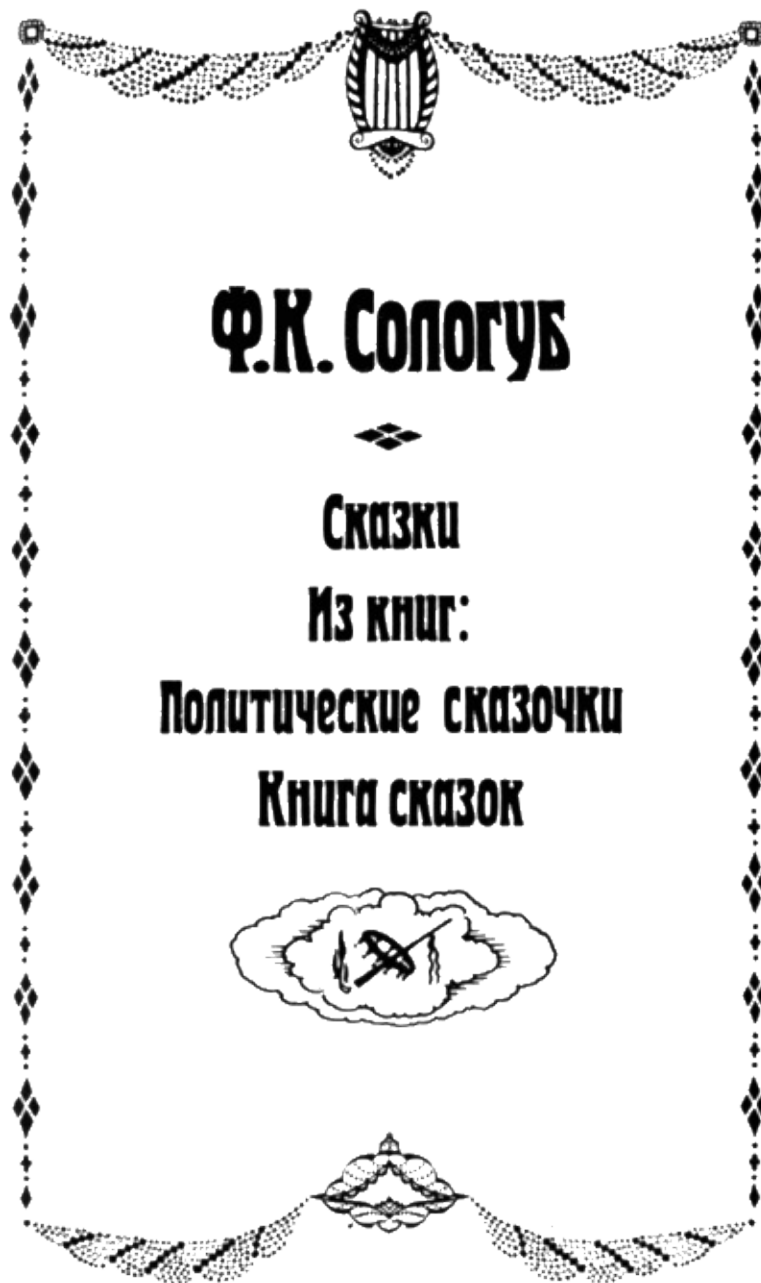
— Может, ты и прав. Но врать все-таки нехорошо. Конечно, грехи твои тебе отпускаются, но вот что я еще хотел сказать тебе, дитя мое: может быть, ты думаешь, что я расскажу военачальникам твою исповедь, что ты действительно наш Николай и тебя помилуют, так ты и на это не надейся, потому что и мне все равно никто не поверит в военное время, а во-вторых, мы, священники, не имеем права открывать того, что нам говорят на духу; это очень мудрое правило. Подумай, сколько злодеев нам каются; если бы мы обо всем болтали, то мы бы уж не священники были, а на манер Шерлока Холмса. Так все: и хорошее, и дурное в себе носим. Это не так легко, ты не думай. А меня прости, как Бог тебя простит.

— Я ни на что и не рассчитывал, — ответил Николай.

А наутро его повесили.

1913







Дикий бог [\[380\]](#)
(За рекою Мейрур)



Две недели, проведенные мною и братом моим Сином в великолепной столице, пышной и порочной, промелькнули, как быстрый, смутный сон. Все дивило и поражало взоры жителей страны, удаленной не одним только расстоянием, но и нравами, от ухищрений и соблазнов этого гордого, царственного, торжественного города. Но слишком поздно понял я, что не только дивен и славен шумный, многолюдный и обширный город, но и страшен он для неискушенного опытом долгой жизни юного сердца. И сам я испытывал соблазн и огорчение, ни с чем не сравнимое. Но не брать бы мне с собою молодого моего брата!

Друг наш Сарру, у которого мы остановились, хотел отплатить нам за гостеприимство наше во время его странствования в нашей земле. Он неотлучно был с нами, забыв все свои дела, и единственной заботой его было то, чтобы показать нам все достойное внимания в этом дивном и великом городе. Тогда как другие хозяева часто тяготятся гостями и ждут с нетерпением разлуки, наш добрый друг жалел лишь о том, что мы не можем прожить в его доме долго, чтобы пройти весь годовой цикл торжеств, праздников и жертвоприношений.

Храмы божеств милостивых и свирепых, священные рощи таинственных духов, мрачные башни успокоения, благоуханные сады любострастных наслаждений, приюты расточаемых за деньги ласк, базары с неисчислимыми богатствами роскошных тканей, ковров, оружия, драгоценных камней, благовоний и масей, забавных птиц и обезьян, отроков и рабынь всех оттенков кожи, от самого нежного розового до самого черного цвета, кофейни и приюты для курений, от которых человек

восхищается в невиданные на земле области, и много еще иного, о чем и не упомяну, показывал нам Сарру. Но речь веду не о множестве виденного. Одно было нам искушение, и оно привело нас и всю страну нашу к величайшим несчастьям.

И не посещать бы мне этого города! Или, по крайней мере, не брать бы мне с собою моего юного брата. Едва вышедший из отроческого нежного возраста, как мог он преодолеть искушение, которое и для меня было столь тягостным испытанием!

Однажды утром друг наш Сарру сказал нам:

— Сегодня я покажу вам царский зверинец, — в этом месяце сады зверинца доступны для обозрения не только нам, но и чужеземцам.

Брат мой Син шумными изъятиями восторга радовал нашего друга. Я же смутился, ибо в ту ночь видел во сне зловещее предзнаменование: зверя непомерной силы и свирепости, рыкание которого было подобно голосу того, кто обитает в чащах за рекою Мейрур. И не идти бы мне в проклятый зверинец! Но не захотел я огорчать любезного нашего хозяина.

II

В саду, который казался нескончаемым, в клетках разной величины и разной формы, сделанных из различных металлов и разнообразного дерева, увидели мы прежде всего чудесное многообразие птиц. Тут были и громадные птицы с сильными крыльями и хищно изогнутым клювом, которым они могли бы захватить и унести самого тучного барана, и птицы, лишенные почти совсем крыльев, но зато одаренные перьями удивительно красивой окраски, напоминавшими самоцветные камни в песке реки Мейрур, которыми, играя, забавляются наши дети; птицы, голос которых был так приятен, что пение их можно было слушать без конца с великим восхищением; птицы столь малой величины, что они казались красивыми стрекозами; были и такие птицы, которые умели говорить на языке той страны, хотя и не очень хорошо, но все-таки достаточно внятно и громко.

В громадных водовместилищах видели мы великое множество рыб и других речных и морских чудовищ. Далее были помещены громадные, страшные змеи. Они с такой яростью разевали свои ужасные пасти, высывая страшные жала, что невольный трепет обнимал всякого. Взгляд свирепых гадин производил такое впечатление, что неосторожный, посмотревший прямо в змеиные очи, лишался способности двигаться; надо было, чтобы кто-нибудь другой увел его от страшного, хотя и безопасного

места, — ибо эти гады не только были заключены в клетки с тонко извитыми решетками, но и были обезврежены: у них были вырваны зубы, в которых хранился пагубный яд.

Далее увидели мы неисчислимое множество клеток со зверями хищными и травоядными, — верблюды с одним и двумя горбами, носороги, бегемоты, невиданные звери с ужасными когтями и чудовища с носами, похожими на змей.

Мой юный брат Син восторгался всем, что он видел. Я же, от множества собранных в одно место чудовищ, из которых многие оглашали воздух противными и страшными звуками, все более и более смущался, и тягостные предчувствия все сильнее томили меня. Друг наш Сарру сказал нам:

— Сейчас вы увидите зверя, поистине царственного.

Но не успел еще Сарру произнести имя зверя, как свершилось дивное явление, повергнувшее меня в неизъяснимый трепет и заставившее меня в ужасе упасть лицом на землю. Над многообразием звериных криков и людских веселых голосов раздалось внезапно грозное рыкание, — голос обитающего в чаще за рекою Мейрур.

Рыкание, которое в тишине наших ночей наводило ужас на сердца наши и означало, что обитающий в лесу, алкая новой жертвы, рыщет у околицы нашего селения, — это рыкание раздалось в зверинце великого царя. Повергнувшись на землю, ждал я, кого из присутствующих изберет он для своей трапезы, и таинственным ужасом было полно мое сердце. Мысленно прощался я с жизнью, — никогда в такой близости ко мне не слышал я грозного этого рыкания.

Когда я и брат мой Син лежали, распростертые в прахе, и ждали, вдруг услышали мы громкий, заглушивший даже грозное рыкание, хохот множества людей. Друг наш Сарру, смеясь, как все, старался поднять нас с земли.

— Не бойтесь, — говорил он нам, — этот зверь, точно, страшен, если встретить его на воле. Но он посажен в прочную клетку и не уйдет из нее, хотя бы и еще сильнее был он. Мастер, строитель клетки, знает свое дело. Да и может ли грозить кому-нибудь опасность в том месте, где бывает сам великий царь, забавляясь заключенными в зверинце чудовищами?

Не поднимая лица, я отвечал другу нашему Сарру:

— Сердце мое не знает страха, и не дрожало оно в минуты смертной опасности. Но я слышал грозное рыкание и жду дивного и страшного явления. Обитающий в лесу за рекою Мейрур алчет жертвы, — и человеку надлежит лежать во прахе и ждать, кого возьмет свирепый для своей

трапезы.

Смеясь по-прежнему, говорил мне Сарру:

— Это рычит зверь, посаженный в клетку, совершенно безопасный. Вот, смотри, и малые дети теснятся у клетки зверя, и не боятся его, потому что решетка клетки несокрушима. Зверь получит только ту пищу, которую дадут ему приставники зверинца.

Долго не верил я другу нашему и долго лежал в пыли перед клеткой, потому что рыкания продолжались, такие же грозные и свирепые, как и те, которые ужасали меня по ночам, когда я просыпался в моем шатре и слышал приближающегося к селению и требующего жертвы.

Но брат мой Син тихо сказал мне наконец:

— Я осмелился взглянуть на клетку. Рыкание исходит от зверя, заключенного там.

И тогда я не знал, что думать и как мне быть. Коварный ли демон имеет в этом нечестивом городе такую власть, что осмеливается гнусным своим рычанием подражать грозному голосу? Но могут ли быть демоны столь дерзкие и столь сильные? Обитающий ли за рекою Мейрур таится в шкуре зверя, плененного и безопасного, смеется над жалкими в их ослеплении людьми и выбирает себе между ними жертву? Но может ли великий и грозный снизойти до того, чтобы прятаться в шкуре плененного зверя? Или презренный демон этого нечестивого города, лживый, коварный, покровительствующий хитрым, дерзновенным замыслам, измыслил неведомые чары?

Но не грозит ли неисчислимыми бедствиями для меня и брата моего Сина то, что мы осмеливаемся длить нечестивый восторг развратных жителей этого проклятого города и лежать, хотя и в смиренном положении, перед отвратительною клеткою, в которой совершается что-то, нам совершенно непонятное и, может быть, даже и совсем недоступное слабому человеческому разуму, но, несомненно, оскорбительное для заветов нашей благословенной родины?

Рыдая, лежал я во прахе, меж тем как нечестивцы издевались над нами, и не знал, что делать. И брат мой Син сказал мне:

— Уйдем отсюда.

Я не знал, можно ли уйти, пока он рычит над нами. И как подняться? И как увидеть того, в глаза которого еще никто из нас не смотрел? Если точно он здесь в клетке, то как уйти от него и как оставить его в унижении и позоре? Но что мы можем сделать? Оставаясь здесь и слушая насмешки и над нами, и над ним, не совершали ли мы сами гнуснейшего из человеческих грехов? И хотя в первую минуту мысль уйти от грозно

рыкающего показалась мне преступною, но скоро я понял, что нам не остается ничего иного.

Но прежде чем подняться и уходить, я тщательно закрыл плащом лицо моего брата Сина, думая, что если кому-нибудь из нас надо погибнуть, встретив разъяренный взор, то пусть лучше погибну я, насладившийся долгой дней, а не брат мой, еще не испытанный сладчайших в скоротечной жизни радостей и утешений. Притом же юношеское легкомыслие могло заставить его снова поднять взор на клетку, — он мог подумать, что, если первый взгляд его остался неотмщенным, то столь же счастлив будет он и второй раз. Я же, опытом долгой жизни умудренный, знал уже хорошо, что искушать судьбу безумно.

Ни на что более не глядя, вышли мы из зверинца, провожаемые грубыми насмешками толпы, безумной в своем нечестии. Поистине, грозной кары достойны не только люди, обитающие в этом проклятом городе, но и самые стены, столь хитро воздвигнутые и суетно увенчанные гордыми башнями.

III

В тот же день мы поспешно навьючили верблюдов и еще до солнечного заката покинули ужасный город.

Во время долгого, трудного пути много было у меня и у брата моего Сина досуга обдумать то, что случилось с нами в зверинце великого царя. Но никак не мог я понять значения того дивного явления, которое было нам.

Не надлежало ли толковать его как знамение, предвещающее нечто или ужасное, или благоприятное? Но согласно ли с истинным знанием, завещанным нам нашими предками, думать, что сильнейшее в мире является не само для себя, а только для того, чтобы в мире деяний человеческих быть неким вещим знаком? И кто мы такие, чтобы обитающий за рекой Мейрур приходил к нам без воли и могущества пожрать наши распростертые перед ним тела? Притом же никогда не слышали мы, даже и от старейших из старцев наших, чтобы он являлся предзнаменовать и пророчествовать о делах наших — всегда приходил он, грозно рыкая, чтобы пожрать того из нас, на кого падал его выбор.

Долго шли мы с братом в пустынных местах, направляясь к родным селениям, и ничего не говорили друг с другом. По угрюмому молчанию брата моего понимал я, что и он думает о дивном явлении. Наконец, уже

когда до нашего дома оставалось не более трех дней пути, сказал брат мой Син:

— Когда поверглись мы на землю и лежали долго, а чужие люди издевались над нами, я наконец решился поднять голову. И ясно увидел я разверстую пасть зверя. Клянусь, не было в этом ошибки, — рыкание исходило из пасти зверя. Дикого зверя, пойманного людьми и посаженного в клетку.

Я сказал брату моему Сину:

— Об этих грозных явлениях надлежит молчать. Такова мудрость, которой научили нас предки. В мире есть много непонятного, — и как ни страшно то, что случилось с нами, мы должны с покорностью преклоняться перед волею приходящего к нам.

Син долго молчал. Когда день клонился к вечеру и уже солнце было низко, Син сказал мне:

— Это и было то самое рыкание, которое раздавалось у нашей околицы, когда он приходил за жертвою. Тот, которому мы поклонялись с таким смирением, с такою покорностью, тот, который пожирал без счета нежных дев и веселых детей, он оказался диким зверем с глазами зелеными, как у кошки, с желтою шкурою, испещренною черными пятнами. И его можно изловить и посадить в клетку.

Я ужаснулся и запретил брату моему Сину говорить такие нечестивые слова. Но Син, охваченный неистовством, исходящим от коварного духа, вечно враждующего с обитающим за рекою Мейрур, сказал мне с яростью:

— Я видел, что он — дикий зверь. И я не хочу, чтобы мы и впредь приносили ему такие бесчисленные, дорогие жертвы. Разве мы не можем построить такой для него клетки, которая была бы ему достойным вместилищем? И пусть он живет там мирно, не разоряя наших селений, не внося ужаса и горя в наши семьи, питаясь нашими добровольными приношениями. Я не так безумен, чтобы говорить, что можно жить без него, но разве он не может питаться мясом баранов и быков? Зачем надо было, чтобы он пожрал в цвете лет твою невесту, прелестнейшую из девушек нашего села? Зачем надо было, чтобы столь многие оплакивали своих детей, когда он превосходно мог бы насытиться от наших стад?

Объятый ужасом, тщетно запрещал я моему брату, тщетно даже я нещадно бичевал его, — его язык продолжал извергать злые и нечестивые слова.

И возвратились мы домой.

IV

Скоро между молодыми людьми начались тайные совещания — брат мой Син собирал юношей нашего селения и прельщал их своими безумными рассуждениями. Увы! и сам я принужден был, на прямо обращенные ко мне вопросы, подтвердить, что и в самом деле в царском зверинце слышали мы, я и брат мой Син, грозное рыкание и что оно исходило из той самой клетки, где заключен был дикий зверь, плененный хитрыми и сильными охотниками, безопасный в крепко сложенном убежище.

Правда, я не уставал объяснять сомневающимся, что обитающий за рекою Мейрур не мог быть там в клетке и что исходившее из клетки рыкание было одним из тех неизъяснимых явлений, которые не могут быть постигнуты слабым человеческим разумом и о которых лучше всего хранить молчание. Но меня мало слушали и более верили злему внушению легкомысленного Сина, уверявшего, что обитающий за рекою Мейрур — зверь и что его надо посадить в клетку.

Все жители нашей страны разделились на две враждующие между собою стороны. Одни, соблюдая предания старины и заветы мудрых предков наших, сохранили веру в того, кто обитает в непроходимых чащах, недостижимый для людей, кто по ночам выходит из чаш к той или другой деревне и громким рыканием требует жертвы, — веру в то, что его пребывание в чащах близ селений наших благотельно для нас, спасает нас от многих бедствий и дает нам счастье и удачу в охоте и других трудах наших. Другие же с нелепою запальчивостью и настойчивостью, пренебрегая мудрыми речами хранителей отеческого предания, твердили бессмысленную сказку, что тот, которому мы доныне поклонялись, которому мы неисчислимые приносили жертвы, только зверь, таящийся в лесу.

Были многие смуты и раздоры, сопровождаемые даже драками и убийствами, — брат стал на брата, и сын на отца, и во всех семьях нарушен был сладостный мир, и стали распри.

V

Наконец в сердце мудрого Белезиса вошла мысль, лукавая, но прельстившая многих, особенно из тех, которые любят примирять и

выбирать во всем средние пути. Так говорил мудрый Белезис:

— Отцы наши преподали нам учение о поклонении обитающему в чаще и требующему человеческих жертв. Учение предков не должно быть нарушаемо и отвергаемо. Весь строй нашей жизни придет в совершенное замешательство, если из сердец наших исчезнет страх перед тем, огненный взор которого пронизывает непроглядную темноту наших ночей. И если мы, старцы и учителя народные, в опыте долгой жизни нашей найдем достаточно научения к тому, чтобы и без него вести достойный предков наших образ жизни, то буйные и своевольные юноши наши, отринув мысль о нем, истребив в себе трепет перед таинственным существом, без сомнения, впадут в самый неистовый разврат.

Старейшины и учителя народные громкими хвалами приветствовали мудрые слова. Найдя доступ в сердца лучших людей, мудрый Белезис продолжал говорить так, чтобы угодить и легкомысленным юношам. Так говорил он:

— С другой стороны, мы не можем сомневаться и в правдивости нашего общего друга Мелеха, и в правде повествований юного Сина. Так, в зверинце великого царя видели они дивно изукрашенное помещение, которое они называют клеткою, но которое, по их описанию, столь великолепно, что достойно, без сомнения, быть чертогом обитающего за рекою Мейрур. И слышали они голос, исходящий из этого чудесного чертога. А юный друг наш Син с отвагою, свойственно юношескому возрасту, осмелился даже бросить взор на существо, которое рычало в чертоге в то время, как Мелех и Син воздавали ему поклонение, а распутные жители великого города глупым смехом своим свидетельствовали о глубине своего невежества. И видел Син, что рыкающее существо во всем подобно зверю. Так говорят они, и почему бы нам и не верить их рассказу? И почему бы обитающему за рекою Мейрур не иметь и звериного облика? Пожирающий тела наших юношей чего требует от нас? Не знаем ли мы, что он хочет пить живую кровь и есть живую плоть? Когда он берет отрока или деву, он не жарит, не коптит и не солил свою пищу, а пожирает ее живьем — но откуда мы знаем, что он хочет непременно человеческого мяса? И если мы создадим ему помещение, столь же изукрашенное, как и то, в котором был заключен зверь великого царя, то не примет ли он благосклонно нашего труда? Может быть, поселившись в созданном нами чертоге, он пожелает изменить закон питания своего и будет довольствоваться живыми телятами и ягнятами.

Юноши и девы шумными изъявлениями восторга приветствовали

коварную речь мудрого Белезиса.

— Создадим ему чертог! — восклицали они.

Более легкомысленные из них даже осмеливались говорить так:

— Построим поскорее клетку для зверя и загоним его туда. Довольно ему обжираться телами прекраснейших и сильнейших между нами.

Воистину, это были глупые юноши, — они думали, что жизнь есть величайшее благо.

Напрасно старцы, оставшиеся верными вере предков, обличали нечестие замысла хитрого Белезиса и корили его в том, что он на склоне своей жизни замыслил такое страшное дело. И из старцев многие, любящие своих детей более, чем бы надлежало, присоединились к нему, — и постройка чертога была решена.

VI

Пока строилось здание, называемое чертогом, но которое было, конечно, клеткою для зверя, некоторые из юношей задумали выйти на обитающего за рекою Мейрур со стрелами и копьями. Конечно, они были казнены.

И еще случилось событие, которое повергло в великое смущение всех благочестивых, и всем легкомысленным прибавило смелости.

Юноша Закир, один из храбрейших и искуснейших охотников, однажды пошел в лес и долго не возвращался. И уже мы считали его погибшим, и уже девы пели сладкогласные песни, прославляя отважного Закира.

Но вот через неделю на рассвете Закир вернулся, обессилевший от потери крови, покрытый страшными язвами, но пылающий радостью и отвагой. С неохотою и уклончиво говорил он старейшинам о том, где он был и что с ним случилось, но мы все заметили, что юноши и девы собирались около него в местах уединенных и слушали его рассказы. И скоро по селению нашему разнесся слух, что Закир встретил обитающего за рекою Мейрур и сражался с ним.

Дерзкий мятеж не мог быть терпим. Искусные подслушители, пылая ревностью и желанием снискать благосклонность старейшин, выяснили, о чем говорят юноши и девы, сходясь в уединенных местах, и что они скрывают от старейшин. Тогда Закира взяли и подвергнули пыткам, чтобы выведать от него, что с ним случилось.

Не стерпев жестоких мучений, Закир покался в своем грехе. Он

говорил так, и мы все внимали ему в ужасе:

— Ночь была тиха и безлунна, когда я подходил к той чаще, что простирается на три дня пути за рекою Мейрур. Кинжал мой был остро наточен, и стрелы отравлены, ибо я твердо решил выследить и умертвить чудовище. Внезапно, так близко от меня, как близко останавливается дева, любуясь на юношу, которого вождедеет, так близко, как близко падает первый камень из руки мальчика, начинающего учиться метанию камней, так близко от меня раздалось рыкание. Движимый силою привычки, вкоренившейся с детских лет, я повергся на землю и ждал. И тяжкая близко слышна была мне поступь, и треск сухих ветвей под его стопами. Я ждал. Но холодная ящерица скользнула по моей ноге, и ее прикосновение напомнило мне все, что я слышал о зверинце великого царя и о чертоге зверя. И уже когда его дыхание горячо и бурно проносилось над моею шеей, я вскочил на ноги и схватился за мой кинжал. Не знаю, был ли передо мною он, или это было иное существо из породы демонов или диких зверей, — но я видел перед собою зверя, громадного, зеленоглазого, свирепого. Пасть его, разверстая, готовая растерзать меня, страшила огромными, острыми, белыми зубами. Воистину, кто бы он ни был, демон, Бог или зверь, это было существо дивное и грозное. И не знаю, как случилось, что я снова не повергся на землю. Какая-то сила, более могущественная, чем мое бедное сознание, принудила меня встретить зверя очи в очи и принять грозный вызов рока. И я решил вступить в бой с этим чудовищем, кто бы он ни был. Зверь присел, как кошка, готовящаяся к прыжку, и снова ужасное рыкание огласило лес, наполняя меня неизъяснимым ужасом. Но я зорко следил за движением зверя, и когда он кинулся на меня, я проворно увернулся и спрятался за деревом. Зверь готовился повторить прыжок. Казалось, что неудача досадует и стыдит его, и он прилег и затаился, хитрый, осторожный, злой. Пospешно изготовил я стрелу, и отравленная медь ее с тонким звоном метнулась навстречу зверю в одно время с его вторым прыжком. В тот же миг тяжелое, громадное навалилось на меня чудовище. Его когти вонзились в мое тело, но я, преодолевая боль и страх, успел ударить его кинжалом. Не помню, что было потом. Когда я очнулся, ночь приходила к концу. Я лежал окровавленный, слабый. С трудом приподняв голову, я увидел кровавый след, уходящий в глубину леса. Я понял что раненный мною зверь оставил меня, что он ушел — издыхать, может быть, а может быть, залечивать раны прикладыванием растущих на лесных прогалинах целебных трав.

Долго рассуждали старейшины о преступлении Закира. Наконец, хитрый Белезис произнес разумное слово, и все приняли его с многими

хвалами. Так говорил Белезис:

— Подождем, когда услышим у околицы нашей рыкание исцеленного дивными травами. Его голос уличит дерзкого, рыкание обитающего за рекой Мейрур покажет его победу над смертью, и тогда мы выведем безумного Закира, обнаженного и связанного, и предадим в жертву тому, кого он столь тяжко оскорбил, возжаждав его смерти.

Радовались юноши и девы. Они говорили:

— Издох зверь и не придет рычать у нашей околицы.

Цветами венчали они отважного, прекрасного Закира, и плясали вокруг него, и славословили его пением красносложенных гимнов и восходящими выше облаков звуками флейт и тимпанов.

Но непродолжительна была их радость. Не прошло и недели, как близ нашего селения снова послышалось грозное рыкание.

И вывели Закира, как было решено на суде старейшин, связанного и обнаженного, к чаще. На другой день на» шли недалеко от того места кости безумного Закира. Юноши и девы плакали неутешно и неизгладимую в сердцах своих запечатлели память о Закире, а мудрые старцы проклинали дерзкого.

VII

Но вот готов был изукрашенный чертог. Мы поставили чертог на берегу реки Мейрур, на то место, где любил по ночам ходить он, ожидая жертвы. В клетку посадили мы для него, как приятную и последнюю ему человеческую жертву, юную, прекрасную Ханнаи, совлекши с нее одежду, чтобы не утруждать его когтей разрыванием мертвой ткани.

Недолго ждали мы. Он пришел за добычей. Мы вышли навстречу ему с пением торжественных гимнов. Сладостно томились наши души. Нам предстояло наконец в первый раз увидеть его лицом к лицу и воздать ему поклонение не во тьме и тайне, как прежде, а при ярком озарении смоляных факелов.

Праздничные одежды надели мы на себя, дорогими благоуханиями умастили тела и волосы наши, венками из душистых трав и прекрасных цветов увенчали мы наши головы. Никто из нас не взял с собою оружия — так строго повелели старейшины наши, чтобы не оскорбить его видом вооружения, которое так легкомысленно было поднято на него. Радостные, спокойные и мирные, шли мы и пели священные гимны. И все ближе и ближе было его рыкание. И вот наконец багровый свет факелов упал на его

лик.

Мы стали вокруг изготовленного чертога, стали так, чтобы свободный и широкий открыт был ему путь в чертог. Но он не пожелал исполнить смиренных молений наших. По воле своей пожелал он выбрать себе жертву. Бросился он на толпу отроков и дев, быстрый и свирепый, и поверг на землю дочь мою Лотту.

Когда он с жадным ворчанием терзал милое тело дочери моей Лотты и, визжа и мяукая от наслаждения, пил горячую кровь из ее трепетного горла, отверзлись внезапно глаза мои и понял я, что тот, кому мы поклонялись, кому приносили мы неисчислимые жертвы, жестокий и свирепый, жаждущий горячей крови и алчущий живой, расцветающей плоти, есть воистину зверь, дикий и безумный, сильный только нашим бессилием, грозный только нашим перед ним трепетным страхом.

И все мы увидели звериное тело, желтое, с безобразными черными пятнами, и возопили все, и юноши, и девы, и старцы:

— Воистину, дикому и злему поклонялись мы зверю. И ныне видим мы своими глазами, кто обитает в чаще за рекою Мейрур, и видим, что тела отроков и дев наших и великого охотника за зверем Закира пожраны свирепым, несмыслящим зверем.

А зверь снова бросился в толпу юношей и терзал новую жертву. Что могли мы сделать? Без оружия вышли мы — и встретили зверя. И мы бежали. Зверь гнался за нами и страшными ударами когтистых лап терзал и крушил многие тела, выбирая самых юных, ибо у лесного зверя тонкое для пищи своей чутье.

В этот день довольно насытился зверь жаркою кровью и нежными телами отроков наших и дев. Мы укрылись в наших шалашах и оплакивали многих погибших. И оружие готовили мы, и жажда отмщения жгла наши сердца.

VIII

Длились дни. Хитрый зверь таился и нападал внезапно — и много погибло храбрых и юных. Было и среди нас немало таких, которые сохранили верность зверю, — и они заманивали, а то и силою увлекали в чащу тех, кто слишком громко и смело говорил против зверя и прислужников его. Иные находили выгоду в том, чтобы зверь по-прежнему почитался, ибо гаданиями своими они обольщали многих и уверяли, что он милостив к ним и к тем, за кого они молят. И много погибло неосторожных

и отважных, но немало было истреблено и приверженцев жестокого.

Иные из старейшин говорили так, — и слова их дышали глубокой мудростью:

— Безумные, к чему вы стремитесь? Чего вы хотите? Подумайте, что будет, если вы его убьете! Как можем мы жить без него? Отвергнуть все заветы предков легко, — но на чем же будет основан строй вашей жизни?

Увы! Этого мы не знали, об этом мы даже не хотели думать. Лишь бы избавиться от жестокого зверя!

И вот однажды утром радостные крики пронесли по селению. Дети и юноши бежали по улицам селения и кричали:

— Зверь смертельно ранен! Зверь издыхает!

И девы свирельными голосами своими восклицали, ударяя ладонь о ладонь и пляша на стогнах селения:

— Издыхает, издыхает зверь!

И трубные звуки, и тимпаны, и флейты оглашали распутья окрестных дорог, — и далече раздавались радостные крики:

— Проклятый, проклятый зверь издыхает!

А на берегу реки Мейрур лежал зверь, пораженный отравленной стрелой. Корчась в предсмертных муках, рычал издыхающий зверь. Зеленые глаза его горели бессильной яростью, и ужасные когти рыли землю, а трава вокруг поверженного зверя орошалась его нечистой кровью.

И приспешники зверя плакали, таясь в своих шалашах.

А мы в тот день ликовали.

Мы не думали о том, как мы будем жить.

Мы не думали о том, кто придет на берег реки Мейрур и поработит нас иной и злейшей властью.

1906



Исполнив с большим успехом повеление усмирить непокорных жителей мятежного селения, отказавшихся приносить жертвы и совершать благочестивые поклонения перед изображением божественного императора, отряд римской конницы возвращался в лагерь. Много пролито было крови, много истреблено нечестивцев, — и утомленные воины с нетерпением ждали наступления того отрадного часа, когда они вернутся в свои палатки, когда они там без помехи наслаются прекрасными телами взятых ими в мятежном селении жен и дочерей нечестивых безумцев.

Эти женщины и девы уже вкусили сладостное, но утомительное насилие поспешных ласк у околицы разрушенного и сожженного селения, возле изуродованных трупов их отцов и мужей, возле измученных тел их матерей, окровавленных ударами палок и бичей. Они, эти женщины и девы, тем более желанны были солдатам, чем непокорнее были они сами и чем вынужденнее были их объятия. Теперь лежали они, крепко связанные, в тяжелых телегах, которые увлекались сильными лошадьми по большой дороге прямо к лагерю.

Сами же всадники избрали путь окольный, ибо до сведения старшего центуриона дошло, что некоторые из мятежников успели скрыться и бежали по этому направлению. И хотя уже покрыты кровью и иззубрены были мечи и притупились копья от удалой работы ревностных к славе и достоинству императора воинов, — но меч римского воина никогда не бывает сыт телами поверженных врагов и вечно жаждет новой и новой горячей крови человеческой.

Был знойный день и самый жаркий час дня, вскоре после полудня. Небо сверкало безоблачное и беспощадно яркое. Огненно-мглистый небесный Дракон, дрожа от всемирной безумной ярости, изливал из пламенной пасти на безмолвную и унылую равнину потоки знойного гнева. Иссохшая трава приникла к жаждущей и ждущей тщетно влаги земле и тосковала вместе с нею, и томила, и никла, и задыхалась от пыли.

Из-под лошадиных копыт дымно вздымалась и еле движимым облаком в недвижном воздухе стояла и колыхалась серая пыль. И пыль садилась на доспехи утомленных всадников, и они тускло и багрово мерцали. И сквозь облако серой, неподвижной пыли все окрест являлось взорам утомленных воинов зловещим, мрачным, печальным.

Сжигаемая яростным Драконом, покорная, бессильная лежала земля под тяжкими копытами, окованными железом. Под тяжелыми, железно-окованными копытами гудела, дрожала пустынная, пыльная дорога.

Только изредка встречались бедные селения с жалкими лачугами, — но, томимый тяжким зноем, забыл старший центурион свое намерение обшарить всю дорогу и, мерно качаясь на седле, угрюмо думал о том, что кончится когда-нибудь этот зной, и долгий путь придет к концу, и уведут боевого коня, и возьмут шлем и щит, и под широким полотном походной палатки будет прохлада и тихий свет ночной лампы, и опять заплачет нагая рабыня, и заплачет свирельным голосом, жалуясь и причитая на чужом и смешном языке, и заплачет, но будет целовать. И он ее заласкает, заласкает до смерти, — чтобы не плакала, не причитала, не жаловалась, не говорила свирельным голосом об убитых, о милых ей, о поверженных врагах великого Цезаря.

Юный воин сказал центуриону:

— Вон там, направо, близ дороги, я вижу толпу. Прикажи нам, Марцелл, и мы помчимся на этих людей, и разгоним их, и быстрым движением коней наших разбудим усыпленный тяжким зноем ветер, и он ответит пыльную истому от тебя и от нас.

Центурион внимательно посмотрел в ту сторону, куда указывал ему юный воин. Зорки были глаза старого центуриона.

— Нет, Люцилий, — сказал он, улыбаясь, — эта толпа — толпа детей, которые играют при дороге. Не стоит разгонять их. Пусть мальчишки смотрят на могучих коней наших и на отважных всадников и с ранних лет запечатлевают в сердцах своих преклонение перед величием римского войска и перед славою нашего непобедимого и божественного Цезаря.

Юный Люцилий не смел возражать центуриону. Но омрачилось лицо его. Недовольный, отъехал он к своему месту и тихо сказал своему другу, такому же, как он сам, юноше:

— Эти дети, может быть, отродье той же мятежной сволочи, и я бы с радостью искрошил их в куски. Наш центурион от старости стал слишком чувствителен и утратил свойственную доблестному воину суровую решимость.

Но и друг Люцилия ответил ему с приметным неудовольствием:

— Зачем же нам сражаться с детьми? Какая в этом слава? Довольно с нас битв с теми, которые могут защищать себя.

Тогда, краснея от досады, замолк юный и запальчивый Люцилий.

Воины приближались к играющим детям. Остановились дети при дороге и смотрели на воинов, дивясь их могучим коням, их блистающим доспехам и их мужественным, загорелым лицам. Дивились, шептались, глядели широко раскрытыми глазами.

Только один из детей, прекрасный отрок Лин^[382], смотрел на воинов сумрачно, и черные глаза его сверкали огнем святого гнева. И когда отряд всадников поравнялся с детьми, отрок Лин громко и гневно воскликнул:

— Убийцы!

И угрожая, поднял и протянул руки к центуриону. Сумрачно глядел на него старый центурион, не расслышал, что кричит мальчишка, и проехал мимо.

Испуганные дети окружили Лина, и запрещали ему кричать, и шептали:

— Бежим, бежим скорее, а то они всех нас убьют.

И девочки уже заплакали. Но прекрасный отрок Лин безбоязненно ступил вперед и громко крикнул:

— Палачи! Мучители невинных!

И снова, угрожая, поднялась сжатая в кулак маленькая, бессильная рука отрока Лина. Сверкая гневными черными очами, весь дрожа, задыхаясь от гнева, Лин кричал все громче и громче:

— Палачи! Палачи! Чем смоете вы с рук ваших кровь убитых вами!

Девочки подняли вопль, заглушая крики отрока Лина, и мальчики схватили его за руки и повлекли прочь от дороги. Но Лин вырывался из их рук, сжигаемый святым гневом, и выкрикивал проклятия воинам великого императора.

Всадники остановились. Юнейшие из них громко восклицали:

— Это — отродье крамольников. Мятежным духом заражены их сердца. Надо их всех истребить. Нет места под небом тому, кто осмелился оскорбить римского воина.

И старые воины говорили центуриону:

— Дерзость этих негодяев достойна жестокого наказания. Марцелл, прикажи нам догнать и перебить их всех. Надо уничтожить крамольное племя прежде, чем они вырастут и будут в силах восстать и причинить великий вред божественному Цезарю и миродержавному Риму.

И центурион сказал:

— Догоните их, убейте тех, кто кричал, а остальных накажите так,

чтобы они помнили до конца своих дней, что значит оскорбить римского воина.

И все воины, свернув с пыльной дороги, помчались вслед за убегающими детьми.

Видя погоню, отрок Лин крикнул товарищам своим:

— Оставьте меня. Меня вы не спасете, а если будете бежать, то все погибнете под мечами этого нечестивого и безжалостного воинства. Я пойду к ним навстречу, и пусть они меня убьют одного — я и не хочу жить в этом презренном мире, где совершаются такие жестокие дела.

Остановился Лин, и не могли увлечь его далее обессиленные от бега и от испуга товарищи его. Стояли они и громко плакали, а всадники быстро окружили их тесным кругом.

Засверкали на солнце вынутые из ножен мечи, и зыбкие улыбки Дракона побежали, безжалостные, злые, по стальным клинкам. Задрожали дети и с громким плачем, прижимаясь друг к другу, сбились в тесную кучу.

Дракон, торопящий к убийству, распаляющий жаркую солдатскую кровь, багровым дымом ярости застилающий воспаленные глаза воинов, уже радовался с высот злему земному делу, уже готов был беспощадными лучами змеиных своих очей облобызать невинную детскую кровь и гнойным зноем злобы залить изрубленные жестокими и широкими мечами беззащитные тела. Но смело выступил из толпы отрок Лин и подошел к центуриону. И сказал громко:

— Старик, это я назвал тебя и твоих воинов убийцами и палачами, это я проклинал тебя и всех, кто с тобою, это я призывал гнев праведного божества на ваши нечестивые головы. Смотри, вот они, эти дети, плачут и дрожат от страха. Они боятся, что проклятые воины твои по твоему безбожному повелению убьют всех нас, и убьют нас и отцов и матерей наших. Убей одного меня, потому что эти покорны тебе и пославшему тебя. Убей только меня, если ты не насытился еще убийствами. Я же не боюсь тебя, я ненавижу твою ярость, я презираю твой меч и твою неправую власть, я не хочу жить на той земле, которую топчут кони твоего неистового воинства. Еще руки мои слабы, и я еще так мал ростом, что не достану до твоего горла, чтобы задушить тебя, — убей же меня, убей меня скорее.

С великим удивлением слушал его центурион. И сказал:

— Нет, змееныш, не будет по-твоему — ты умрешь не один.

И приказал своим воинам:

— Убивайте их всех. Нельзя оставить в живых это змеиное отродье, — потому что слова дерзкого мальчишки запали в их мятежные души.

Убивайте их всех без пощады, больших и малых, и даже едва только научившихся лепетать.

Бросились воины на детей и рубили их беспощадными мечами. Содрогнулась от детского вопля угрюмая долина и пыльная дорога, — и ответным застонали стоном мгlistые дали, — свирельно-нежным эхом застонали и замолкли. И, раздувая горячие ноздри, нюхали кони дымную кровь, и железно-окованными копытами медленно и тяжело топтали детские трупы.

Потом воины вернулись на дорогу, смеясь радостно и жестоко. Торопились к своему лагерю. Весело разговаривали и радовались.

Но длился, длился пыльный, тяжкий путь в тоскующей под гневными пламенными очами Дракона долине. Багровый, стал склоняться Дракон, но не было окрест прохлады, и, замороженный тишиною и страхом, спал ветер.

Багровый лик знойного Дракона, склоняясь, глядел в зоркие очи старого центуриона, — и улыбался небесный Змей тихой и страшною улыбкою. И от того, что было тихо, и знойно, и багряно, и был тяжело ровен шаг мерно-звонких коней, стало тоскливо и страшно старому центуриону.

И такая мерная, и такая звонкая была тяжелая конская поступь, и такая тонкая, и такая серая была недвижная, безнадежная пыль, и казалось, что не будет конца истоме и страху пустынного пути. И гулким отзвучным гудением на каждый шаг усталого коня откликалась пустынная даль.

И гулкие стоны рождались в пустынной дали.

Гудела земля под копытами.

Кто-то бежал. Догонял.

Темный голос, подобный голосу отрока, убитого воинами, кричал что-то.

Центурион оглянулся на своих воинов. Покрытые пылью лица были искажены не только усталостью. Смутный страх изображался в грубых чертах загорелых солдатских лиц.

Сухие губы юного Люцилия трепетно двигались, шепча тревожно:

— Поскорее бы добраться до лагеря.

Взглянул пристально старый центурион в усталое лицо Люцилия и тихо спросил молодого воина:

— Что с тобою, Люцилий?

И так же тихо ответил ему Люцилий:

— Страшно мне.

И, стыдясь своего страха и своей слабости, сказал погромче:

— Жарко очень.

И опять, не одолев страха, зашептал тихо:

— Проклятый мальчишка гонится за нами. Заколдован он нечистыми чарами ночных колдуний, и не сумели мы зарубить его так, чтобы он не встал.

Центурион внимательно осмотрел окрестность. Ни близко, ни далеко никого не было видно. И сказал центурион юному Люцилию:

— Разве ты потерял амулет, данный тебе старым жрецом заморского бога? Говорят, что у кого есть такой амулет, против того бессильны чары полуночных и полуденных колдуний.

Люцилий ответил, дрожа от страха:

— Амулет на мне, но он жжет мою грудь. Подземные боги уже приблизились к нам, и я слышу их темный ропот.

Тяжким гулом стонала долина. Старый центурион, благочестивою речью думая победить свой страх, сказал Люцилию:

— Подземные боги благодарят нас, — мы сегодня довольно для них поработали. Темен и невнятен голос подземных богов, и страшен он в знойном молчании пустыни, но не в преодолении ли страха честь доблестного воина!

Но опять сказал юный Люцилий:

— Страшно мне. Я слышу голос настигающего нас отрока.

Тогда в знойном безмолвии долины свирельно-звонкий голос возгласил:

— Проклятие, проклятие убийцам!

Дрогнули воины, и быстро помчались кони. Неведомый голос, подобный голосу отрока Лина, звучал так близко, так ясно:

— Убийцы! Убийцы невинных! Вам нет прощения, нет пощады.

И быстро мчались погоняемые воинами кони. Но гнев зажег сердце старого центуриона. И он крикнул, задерживая бег испуганного коня и обращаясь к всадникам:

— Или мы не воины великого, божественного императора? От кого мы бежим? Проклятый мальчишка, не добытый нами или оживленный нечистыми чарами злых колдунов, собирающих кровь для ночных волхвований, продолжает возносить хулы против непобедимого воинства. Но оружию римскому надлежит превозмочь не только вражью силу, но и темные чары.

Устыдились воины. Остановили коней. Прислушались. Догонял их кто-то, возглашающий и вопиющий, и в мгlistой тишине мрачно вечеряющей долины явственно слышался детский крик:

— Убийцы!

Всадники повернули коней в ту сторону, откуда доносились к ним крики. И увидели они отрока Лина, бегущего к ним в окровавленной, изорванной одежде. Кровь струилась по его лицу и по его рукам, поднятым к воинам в угрожающем движении, как будто бы отрок хотел схватить каждого из них и повергнуть к своим окровавленным, запыленным стопам.

Дикою злобою наполнились сердца воинов. Обнажив мечи, разъярив коней быстрыми уколами заостренных стремян, они ринулись стремительно на отрока, и рубили его мечами, и топтали, и насытили над его прахом ярость свою, и потом соскочили с коней и на куски изорвали тело отрока и разметали его по дороге и окрест.

Отерев мечи придорожною травой, воины сели на коней и помчались дальше, спеша к лагерю. Но снова тяжкий стон огласил мрачную в лучах склоняющегося Дракона долину — и снова рыдающий свирельный голос вознес те же беспощадные слова. И повторялся в ушах воинов звонкий вопль:

— Убийцы!

Тогда, томимые ужасом и злобою, воины опять повернули коней, — и опять бежал к ним отрок Лин в окровавленной одежде и простирал к ним свои залитые кровью, угрожающие руки. И воины снова изрубили его, затоптали, и разрезали мечами его тело, и разбросали, и помчались.

Но опять и опять настигал воинов отрок Лин.

И уже забыли воины, в какой стороне их лагерь, и в ярости бесконечного убийства, среди воплей несмолкаемого укора метались они по долине и кружили вокруг того места, где убиты были отрок Лин и другие дети.

Весь остаток дня багряно пламенеющий и дымно издыхающий Дракон смотрел ярым, беспощадным взором на ужас и безумие вечного убийства и нескончаемого укора.

И вечер отгорел, и была ночь, и звезды мерцали, непорочные, невинные, далекие.

А в долине, где злое свершилось дело, метались воины, и нескончаемым воплем томил их отрок Лин. И метались воины, и убивали, и не могли убить.

Перед восходом солнца, гонимые ужасом, преследуемые вечными столами отрока Лина, примчались они к морскому берегу. И вспенились волны под бешеным бегом коней.

Так погибли все всадники, и с ними центурион Марцелл.

А там, на далеком поле, у дороги, где убиты были всадниками отрок Лин и другие дети, лежали тела их, окровавленные и непогребенные.

Ночью, трусливо и осторожно, пришли к поверженным телам волки и насытились невинными и сладкими телами детей.

1906

Очарование печали^[383]
Сентиментальная новелла



Сначала все совсем так же, как и в старой сказке. Молодая, прекрасная, кроткая королева скончалась. Оставила дочь, столь же прекрасную. Король Теобальд через несколько лет взял новую жену, красивую, но злую. Себе — красивую жену. Дочери — злую мачеху.

Новая королева, красавица Мариана, притворялась, что любит свою падчерицу, прекрасную королевну Ариану.

Она обращалась с нею ласково и кротко, тая в злом сердце кипучую злобу. Злоба ее распалялась тем, что королевна Ариана была так прекрасна, как бывают прекрасны юные девушки только в сказках и в глазах влюбленных и соперниц.

Выросла королевна Ариана, и далеко разнеслась молва и слава о дивной ее красоте, и приезжали к ней свататься многие королевичи и принцы, влюбленные в нее по рассказам путешественников и поэтов и по ее портретам, и, посмотрев на нее, влюблялись еще больше. Но ни одному из них не отдала прекрасная Ариана своей любви, ни на кого не смотрела с выражением большей благосклонности, чем та, которая подобала каждому высокому гостю по его достоинству и по заветам гостеприимства. И распалялась злоба злой мачехи.

Многие рыцари и поэты той страны, и многих иных стран, и даже пришедшие издалека, привлеченные шумною молвою и славою о прелестях королевны Арианы, томились и вздыхали о ней и мечтали, безнадежно влюбленные, слагали ей песни и носили ее цвета, черный и алый, и шептали ей робкие признания — но никого из них не полюбила прекрасная

Ариана, и на всех равно благосклонно смотрели ее отуманенные печалью глаза. И разгоралась лютая злоба злой мачехи, и решила Мариана погубить свою падчерицу.

Все совсем так, как и в сказке.

Говорила Мариана верной служанке, Бертраде, оставшись с нею наедине в своем покое:

— Я — прекрасна, но Ариана — прекраснее меня и не понимаю почему. Щеки мои румяны, как и у нее; черные глаза мои блистают, как и у нее; губы мои алы и улыбаются так же нежно, как и у нее; все черты моего лица так же хороши, как и у нее, и даже красивее; и волосы мои черны и густы, как и у нее, и даже немного длиннее и гуще. Я высока и стройна, как и Ариана; у меня такая же высокая грудь, как и у нее, и тело мое так же бело, и кожа моя так же нежна, как у Арианы, и даже нежнее и белее, потому что я не хожу к бедным под жгучими лучами солнца, и под дождем, и под вьюгою, и не отдаю своего плаща встречному старому нищему, и своих башмаков бедному оборванному ребенку, и не улыбаюсь в грязных избах, и не плачу о нищих дома, как Ариана. И она все-таки прекраснее меня.

— Ты прекраснее королевны Арианы, милостивая госпожа, — сказала коварная, хитрая Бертрада, — только глупые юноши и поэты восхищены добротой королевны и умильно-печальную улыбку ее принимают за очаровательное явление красоты. Но разве поэты и юноши понимают что-нибудь в красоте.

Но не поверила Мариана и тосковала, и плакала. И говорила:

— Извела бы ее, ненавистную. Но какое мне в том утешение? Память о красоте ее пережила бы ее, и люди говорили бы, что вот прекрасна королева Мариана, но покойная королевна Ариана была прекраснее ее. И во много раз увеличила бы несправедливая молва людская прелести ненавистной девчонки.

Тогда Бертрада, склонясь к госпоже своей, сказала ей тихо:

— Есть мудрые и вещие люди, которые знают многое. Может быть, найдутся чародеи или чародейки, которые сумеют перевести красоту королевны Арианы на тебя, милая госпожа.

Так говоря, Бертрада думала о матери своей, старой ведьме Хильде, которая жила уединенно, чтобы никто при дворе короля не знал, что мать Бертрады — колдунья.

Со злою надеждою посмотрела королева на Бертраду и спросила:

— Не знаешь ли ты таких?

— Поищу, милая госпожа, — ответила лукавая служанка, — я так

верна тебе, что для тебя готова и в ад спуститься, и заложить душу свою тому, кто зарится на этот ценный товар.

Злая королева дала Бертраде денег и многие подарки — злое сердце верило другому, столь же злому и коварному сердцу.

Прекрасная королева Мариана вышла в сад высокого королевского замка. Замок стоял за городом, на краю плоской горы, и далеко простершаяся внизу долина представляла взорам королевы очаровательный вид. На минуту невольно залюбовалась Мариана туманно синеющими далями полей, замкнутых далекою оградой леса, — и мирным течением реки, плавно уносящей на своих волнах и богато изукрашенные галеры, и утлые челноки, — и кудрявыми дымами деревень, таких красивых отсюда, сверху, где не видна грязь неряшливых, смрадных улиц.

Но вдруг вспомнила королева, что Ариана стоит на башне, высоко над садом, дворцом и над нею, гордою Марианой, стоит, подставляя прекрасное, печальное лицо лобзаниям вольного ветра и золотого солнца, и смотрит на безмерные дали, с которых веет на нее печаль полей и деревень, — стоит, и смотрит, и плачет, может быть. И потемнели королевины прекрасные очи и завистливою злобою исказилось ее лицо.

Вот увидела королева влюбленного в Ариану принца Альберта, одного из самых упорных искателей руки и любви молодой королевны. Третий раз возвращался Альберт ко двору короля Теобальда и каждый раз жил все дольше и дольше. Но не склонялась на его мольбы прекрасная Ариана. Теперь принц Альберт стоял в тени дуба, выросшего над краем мрачного обрыва, и смотрел не отрываясь вверх.

Королева подняла глаза по направлению его взора и увидела Ариану.

На высокой башне, опершись рукою о ее сложенный из громадных камней парапет, стояла Ариана и смотрела вдаль, вся облитая горячим светом пламенеющего в небе светила. Ветер взвевал легкое покрывало на плечах королевны, и печальны были устремленные вдаль взоры.

Королева Мариана стояла и насмешливо смотрела то на Ариану, то на Альберта. Наконец влюбленный принц заметил присутствие королевы. Он прервал милое ему созерцание весьма неохотно, но ничто в его наружности и обращении не выдавало того, как неприятно было ему отвести глаза от милого образа, как тягостно было ему заговорить и нарушить этим полное восторгов и очарований молчание внизу, в зеленеющем саду, так сближавшее его с молчанием и печалью там, на высоте надменной башни, где стояла Ариана.

— Как настойчивы и неумоимы влюбленные! — говорила королева, когда принц Альберт, склонясь перед нею, целовал ее руку. — Милый

Альберт, вы готовы стоять целыми днями, любуясь на прекраснейшую из земных дев.

— Прекраснейшую после вас, милая Мариана, — отвечал Альберт.

Льстил ей, чтобы снискать ее расположение. Так всегда нежна была, по-видимому, королева со своею падчерицею, — и казалось влюбленному принцу, что счастье молодой королевны заботит сердце мачехи. Льстил ей, чтобы замолвила за него ласковое слово у королевны.

Улыбнулась Мариана и не поверила ему.

Вспомнила, как очарован был в первый свой приезд ее красотою принц Альберт. Пока не увидел юной Арианы. И перед девственной красотой Арианы в его глазах померкла красота королевы.

Так бывало и с другими. Не раз.

— Что делает там Ариана? — спросила королева улыбаясь. — Моя милая дочь любит подниматься на эту башню и стоит там подолгу. У меня бы голова закружилась. И ветер такой надоедливый. И что она там делает!

— Ариана любит восходить на высоту, — ответил влюбленный принц, — на высоту, где открываются широкие горизонты, где смолкают случайные шумы, — на высоту, с которой равно малыми и ничтожными кажутся и надменные чертоги, и лачуги бедняков. И от широких далей, и от высокого неба веет на Ариану очарование печали. И она сходит к нам, как высокое явление красоты, и очарование печали на ее лице.

— Очарование печали, — тихо повторила королева.

И продолжал влюбленный принц Альберт:

— Нет красоты без очарования. Даруя человеку прекрасное лицо и прекрасное тело, природа точно облакает его неживою личиною, но, как в гробе, спит живая красота в теле и в лице, способных к проявлению красоты и даже, по-видимому, прекрасных — спит до тех пор, пока не придет неведомая очаровательница и не разбудит спящей красоты, одарив ее каждый раз новым очарованием.

Замолчал Альберт, словно смущенный чем-то.

Кончая его мысль, сказала королева:

— Так, милый Альберт, блистательнейшая в мире красота ничто, если она лишена какого-то неведомого очарования.

— Да, — сказал влюбленный принц.

Омрачилось лицо королевы тоскою и гневом. И сказала королева Мариана:

— Я — прекраснейшая из жен, но вам, милый Альберт, неведома тайна моего очарования.

Отошла от него. Он опять поднял глаза на высокую башню, где все

еще стояла Ариана, не замечая ни мачехи, ни влюбленного принца.

«Обвеянная очарованием печали, стоит она там, — думала королева. — В знойный полдень, когда все замирает под жгучими взорами небесного Змия, она одна стоит на высокой башне, и у безмолвного ясного неба просит таинственных очарований. Поднимусь к ней, посмотрю, как она там колдует и ворожит, Подслушаю чародейные слова, журчащим потоком текущие с ее алых губ».

И стала королева Мариана медленно подниматься по лестнице, ведущей на высокую башню.

Долго шла вверх. Уставала, садилась отдыхать, и опять поднималась, преодолевая упрямство крутых ступеней. И уже была близка к вершине башни, когда увидела королевну Ариану сходящею вниз.

Увидела и удивилась.

Прекрасно и печально было лицо Арианы, как всегда, и кротко улыбались ее милые губы, как всегда, но наряд ее был необычен. Как простая девушка той страны в рабочий день, одета была Ариана. Белая грубая ткань облегла ее стройный стан, оставляя открытыми загорелые на ветру и на солнце плечи и руки. Пестрая из грубой домашней материи юбка была коротка. На прекрасных ногах Арианы не было обуви. У ее пояса висел мешок с деньгами, и в руках держала она тяжелую корзину с вещами, назначенными для раздачи бедным.

— Милая Ариана, — спросила королева, — зачем ты надела на себя эту некрасивую, грубую одежду? Если ты идешь раздавать милостыню бедным, следуя своему обычаю, — хотя это могли бы сделать твои служанки, но пусть так, иди сама, — но ведь ты изранишь о» песок и о камни свои нежные ноги.

Ариана ответила:

— Прости, милая мама. Я не могу не идти к ним, хотя и знаю, что не могу помочь им ничем. Что же эти деньги и эти вещи! Всего, что я могу дать, так мало для них! И все, что у меня есть, так для меня много! И тяжело мне стало идти к ним и дразнить их завистливые взоры моим пышным королевским убором. Как нищая, буду приходить к ним, — да и разве я не нищая, если не могу дать так много, как хотела бы!

— Иди, — сказала Мариана, — куда хочешь и как хочешь. Упрямая ты, и напрасно бы я тебе запрещала. Иди, красавица, но будь осторожна.

И когда Ариана спускалась по лестнице, Мариана шептала:

— В лесу найдется ветка, достаточно сухая, чтобы выколоть тебе глаз. В деревне найдется собака, достаточно злая, чтобы укусить тебя за щеку и изуродовать тебя. Где-нибудь на дороге найдется шаткая доска и камень, —

о доску споткнешься и упадешь, о камень сломаешь себе переносицу.

Поднялась злая Мариана на верх башни и смотрела вниз.

Когда Ариана вышла в сад, то в то место, где против двери из башни была калитка в наружной стене замка, к ней подошел влюбленный принц Альберт.

— Милая Ариана, — сказал он, — позвольте мне идти за вами.

Она улыбнулась и сказала ему:

— Милый Альберт, мой путь — не ваш путь. Ваш путь лежит к мужественным подвигам, к победам и славе, к торжеству и к радости. Мой путь — к печали и немощи, к деяниям, всегда недостаточным, всегда ничтожным.

— Милая Ариана, — отвечал Альберт, — я пойду не с вами, а только за вами, и не помешаю вам ни лишним словом, ни лишним взором.

— Как нищая, я иду к нищим, — сказала Ариана, — только для того, чтобы хоть один тоскующий почувствовал, что он не совсем одинок в этом жестоком мире. Зачем же вам, милый Альберт, идти за мною?

— Милая Ариана, — настаивал влюбленный принц, — позвольте мне идти за вами. Я буду охранять вас от дикого зверя и от злой встречи.

— Пречистая Богородица закроет меня своею ризою нетленною от всякого злого человека, — сказала Ариана. — Но, милый Альберт, если вы так непременно хотите и если вы не стыдитесь идти за бедной девушкой, образ которой я приняла, то идите со мною.

— Как вы милостивы, Ариана! — воскликнул влюбленный принц, склоняя колени перед Арианой. — Позвольте мне поцеловать ваши милые ноги.

Ариана, улыбаясь, подняла влюбленного принца и сказала ему:

— Милый Альберт, поцелуйте меня лучше в губы, как вашу сестру.

И поцеловала его сама. Холоден и бесстрастен был ее поцелуй, — но сладким восторгом наполнил он сердце влюбленного принца и очарованием печали. Вместе вышли они из ограды замка и спустились по крутой тропинке в долину, где много было рассеяно бедных деревень у подножия надменного чертога и богатого города.

Королева Мариана смотрела на них сверху и злоба кипела в ее злом сердце.

Когда Альберт и Ариана скрылись за калиткою сада, Мариана постояла еще немного, с недоумением всматриваясь во все то, на что каждый день так долго смотрела Ариана. Скоро стало ей скучно. Кроме того, неприятно было постоянное завывание и бешенство ветра, и томило солнце, грубый и злой змей, обжигающий кожу. Мариана сошла вниз, в

привычную ей обстановку богато украшенных покоев.

Притворяться нежною матерью!

О, как завидовала Мариана простым людям, которые не приучены притворяться! Те мачехи, простые бабы, бьют своих падчериц смертным боем. И никто не заступает за бедных девочек.

Но что можно сделать с королевскою дочерью?

Мариана затворилась в своих покоях и целый день томила и плакала от досады и зависти. В зеркало смотреться принималась много раз — и каждый раз зеркало показывало ей прекрасное лицо, но каждый раз завистливое сердце говорило Мариане, что Ариана еще прекраснее.

Когда уже стемнело, королева вышла из своих покоев и как тень неприкаянная блуждала по залам и пустынным переходам дворца, хоронясь от людей, чтобы никто не смог по ее мрачному лицу прочесть ее черных дум.

И воскликнула вдруг королева, обращаясь к сгущавшемуся в углах пустынной залы сумраку:

— Тоскую и плачу, и никто мудрый и вещий не придет и не спросит, отчего я тоскую.

Видно, сказаны были эти слова в такой миг, когда подстерегающая стояла близко и слушала чутко. Известно ведь, — в какой час слово молвится!

Серая в серых сумерках, шелестя серыми одеждами и едва слышно шурша истоптанными, серыми от пыли башмаками, выдвинулась из угла старая безобразная колдунья Хильда. Беззвучно смеясь и хрипло покашливая, подошла она к Мариане. А королева стояла неподвижно, испуганная внезапным появлением, но в глубине ее злого сердца шевелилась надежда, что старуха — ведьма и поможет ей погубить падчерицыну красоту.

Молчала королева, и старая Хильда заговорила:

— Мудрый и вещий не спросит. Он и так знает. Знаю и я, чем опечалена ты, прекрасная королева. Воздух населен духами, которые подслушивают и тайные мысли.

Молчала Мариана. И говорила Хильда:

— Прекрасна королева Мариана, а королевна Ариана еще прекраснее. Но королева Мариана хочет быть прекраснее всех жен, живущих на свете.

Молчала Мариана. И говорила Хильда:

— На все есть средства: от полыни гибнут русалки, осина и мак страшны ведьмам и упырям. Есть заговоры и заклинания, — и чего ими не сделаешь! Очарованием печали красна красота Арианы. Из глубины болот

восходит высокая красота. Чего ты хочешь, королева Мариана: перевести ли мне на тебя очарование печали с твоей падчерицы? Или погубить ее красоту?

— Зачем мне очарование печали! — воскликнула Мариана. — Я не хочу печали, ее и так у меня много. Я хочу радоваться и смеяться.

— Как хочешь, милостивая госпожа, — сказала ведьма Хильда, — тогда погубим ее красоту тайными чарами. Но только дело это трудное и опасное, — высокие духи оберегают королевну Ариану, и как бы наши волхвования не обратились тебе во зло, госпожа!

— Я ничего не боюсь, — угрюмо сказала прекрасная Мариана, — делай, что умеешь, — и если успеешь, я наделю тебя щедро многими дарами.

Начались в тайне королевина покоя многие волхвования против королевны Арианы, и все безуспешные.

Каждый вечер приходила старая колдунья Хильда к королеве. Заговорила она вынутый ею на тропинке из замка в долину отпечаток обнаженной стопы Арианы, — и тогда жестокими болями всю ночь мучилась юная королевна, но когда она встала утром, перенесенные ею страдания сделали еще сильнее разлитое в ее лице очарование печали.

Другой раз заговорила ведьма прядь волос, отрезанных королевой у Арианы, и похудела Ариана, тонкою стала, как белая березка, — но стала еще краше.

— Духа печали испугай радостью и смехом, — сказала однажды Хильда, — и отлетит очарование печали от прекрасного лица Арианы, когда простодушно звонким зальется она смехом, искажающим черты лица и уродливо растягивающим рот, привыкший только к печальной улыбке.

Мариана пошла с поспешностью к королю и сказала ему:

— Милая дочь наша Ариана грустит и печалится, хотя нет у нее никакой причины для скорби. Великою жалостью к Ариане болит мое сердце. Боюсь, что зачахнет от печали и умрет преждевременно Ариана. Надо развеселить ее и приучить ее к беззаботному смеху и веселью.

— Хорошо ты придумала, — сказал Теобальд, — девушка без смеха, что дерево без листьев. Я позабочусь об этом.

Со всей той страны собраны были самые искусные забавники и забавницы, шуты, скоморохи, сказочники, плясуны и плясуньи, фокусники, вожак дрессированных медведей и обезьян, изобретатели смешных механических игрушек, комедианты, клоуны, акробаты и акробатки. Каждый день подолгу давали они свои разнообразные представления, — то на дворе, где с высокого балкона смотрели на них король, королева и юная

Ариана, а на галереях и внизу теснились нарядные толпы придворных, вельмож, рыцарей и знатных горожан, — то в одной из обширных зал дворца, где для тех же зрителей отведены были места по их достоинству и знатности. Громко хохотали все зрители, глядя на забавные проделки увеселителей, и только юная Ариана улыбалась печально и смеялась так тихо и грустно, что казалось, вот-вот она заплачет.

Фокусник из далекой страны показал волшебство еще невиданное и неслыханное.

На одной из стен зрительного зала натянул он полотно. Потом велел занавесить окна и погасить все огни. Сам же забрался на галерею против натянутого полотна, установил там фонарь потайной в некоем темном ящике и громко сказал собравшимся:

— Смотрите на полотно.

И начал деять чары, и на полотне открылись далекие страны, и, как живые, задвигались люди и животные, невиданные в королевстве Теобальда. Сначала ужас объял зрителей, особенно когда кудесник показал им диковинные превращения. Но потом забавные сцены вызвали громкий смех зрителей. Только Ариана проливала тихие слезы.

Спросила ее королева Мариана:

— Милая дочь моя, отчего ты не смеешься, когда вокруг тебя такой громкий хохот, который и мертвеца заразил бы веселостью?

Ариана ответила мачехе:

— Как я могу смеяться над тем, чему смеются люди! Чему они смеются? что их забавляет? Обманы, побои, воровство, погоня, злость. Тяжело и смотреть на их забавы.

И вот я вижу, — смеются они, а почти у каждого в сердце есть горе или злоба.

Покраснела при этих словах Мариана.

Ариана же продолжала:

— И чародей, ожививший перед нами полотно, заставивший толпу плакать, ужасаться и смеяться, владеющий дивными тайнами познания, радостен ли он? Душа его омрачена многими печальями, и знаю, сожгут его за чародейство. И мудрейший из людей, поэт, слагающий песни о любви и о тайне, влачит на своих плечах тяжкий груз несчастливой жизни, и душа его мрачна, как подземная темница.

Молча оставила ее Мариана. А наутро чародея-кинематографщика сожгли.

Самое сильное волхвование было, когда Хильда сделала из воска фигуру человека, и с обрядом, кощунственно повторявшим таинство

крещения, нарекла ее Арианою.

— Что сделаешь с этим человеком из воска, — сказала старая, — то и с Арианою случится.

Мариана вынула из своей косы золотую иглу и, повторяя за колдуньей слова заклинания:

— Как здесь Ариана восковая в моих руках красоту теряет, так бы и там Ариана живая красоту потеряла, — провела острым концом иглы по восковой щеке и намеревалась еще и еще много сделать знаков на воске, чтобы изуродовать лицо Арианы, как вдруг выронила из рук иглу и вскрикнула от внезапной острой боли в лице. Капли крови упали на ее руки, и в зеркало увидела она рану на щеке своей. Смущенная ведьма бормотала:

— Ворожила на Ариану, сталося на Мариане. Оберегающий Ариану дух вложил, должно быть, в твои уста твое имя вместо имени Арианы. Ничего не сделать с нею чарами воска — оставь эту восковую, чтобы тебе самой не было большего горя.

Чародейства, и заговоры, и нашептывания по ветру, и наговоры на воде — ничто не приводило к цели, и хотя много страдала Ариана от злых чар, но становилась все прекраснее.

И наконец сказала ведьма:

— Не сгубить нам красоты юной королевны. Заклятие печали, наложенное на нее, сильнее всех чар, какие есть на земле.

— Что же нам делать? — спросила королева Мариана.

— Одно осталось, последнее средство, — сказала Хильда, — перевести на тебя, королева, с Арианы очарование печали.

Крепко задумалась королева и долго думала, и, наконец, сказала:

— Хорошо, пусть будет по-твоему, старая ведьма. Пусть Ариана будет смеяться и веселиться, пусть я буду тосковать и печалиться, как она теперь, — только бы мне быть красивее Арианы.

Хильда хрипло засмеялась, показывая желтые, кривые зубы, и сказала:

— Она-то уж не будет смеяться. Ее очарование перевести на тебя можно только в час ее скорой кончины.

— Да я не хочу ее смерти, — притворно-испуганным голосом сказала Мариана.

Старая ведьма смеялась и повторяла:

— Иначе нельзя. Да ты ничего не бойся. Я так сделаю, что никто не узнает.

И наконец Мариана согласилась.

Тогда ведьма вытащила из-за пазухи белый платок, отдала его королеве

и сказала:

— В этом платке — большая сила. Только с ним надо обходиться осторожно. Когда королевна станет умирать, закрой ее лицо этим платком, чтобы капли ее пота в него впитались, и этим платком оботри свое лицо. И тогда обаяние, которым прекрасна была юная королевна, перейдет к тебе.

Ведьма рассказала королеве, когда и как она погубит Ариану, и ушла, богатые унося с собою опять дары.

На другой день, когда Ариана поднялась на башню, Мариана пришла и стала внизу башни, рядом с влюбленным принцем. Говорила с ним, и мешала ему смотреть на Ариану, и ждала.

В это время старая Хильда поднялась на башню. Стала на колени, чтобы не видел ее никто из-за высокого парапета, и смиренно поползла к Ариане, шепча слова благодарности.

— Встань, старая, — сказала Ариана, — зачем ты ползаешь на коленях?

— Милая королевна, — говорила старая ведьма, — ты вымолила у короля помилование моему сыну, которого немилостивые судьи присудили повесить только за то, что злые разбойники напоили его вином и заманили в свою шайку. Дай мне поцеловать твои ноги, добрая, милостивая, прекрасная королевна.

Ариана за многих просила у короля, хотя и не всегда успешно; случалось ей, хоть и не часто, вымаливать помилование и присужденным к смертной казни. Припоминала, кто бы мог быть тот, за кого благодарит старуха, стояла спокойно, и хотя было противно, что старая ведьма целует ее ноги, но не мешала; знала Ариана, что рабам приятно пресмыкаться и целовать ноги господ и этим, в самом унижении, утверждать свою личность.

Старуха вдруг охватила колени Арианы, головою толкнула ее к парапету, быстро подняла ее ноги и опрокинула ее через парапет. Взвезли в воздухе легкие одежды, — и старая ведьма метнулась вниз, серым клубом скатилась по лестнице и спряталась где-то, шепча заговоры.

Так быстро это случилось, что Ариана не успела приготовиться к защите, как уже почувствовала, что падает, вращаясь в воздухе.

«Я умираю», — коротко и ясно подумала она, и не было в ней ни удивления, ни испуга. Ударилась о выступ кровли спиною и не почувствовала боли. Опять ударилась головою о выступ башни и опять не почувствовала боли. Третий раз ударилась о ветку старого дерева, — и считала ушибы, и не чувствовала боли. Время казалось ей нескончаемо длинным, так что вся жизнь припомнилась в эту короткую минуту.

Древний и мудрый дух, обитающий в старом дереве, простер навстречу падающей королевне свои руки, обратившиеся вдруг в ветви дерева. Бережно и нежно принимали ветви Ариану, стараясь не касаться ее тела, а только придерживать за платье. Замедляя падение Арианы, каждая ветка осторожно качала ее и передавала вниз, на следующую. И последняя ветвь медленно опускала Ариану, пока ее ноги не коснулись земли, — и потом выпрямилась и бросила Ариану на руки подбежавших к этому месту Марианы и Альберта.

С воплями притворной горести опустила на землю Мариана неподвижное тело падчерицы, открыла ее грудь, вынула из-за своего низко вырезанного корсажа флакон с мертвой водой, которую вчера дала ей Хильда, и этой водой облила грудь Арианы, повторяя:

— Милое дитя мое, открой свои ненаглядные глазки, понюхай этого спирта, который так хорошо помогал мне при обмороках.

Положила руку на грудь Арианы, — слабо билось и замирало сердце королевны. Тогда Мариана вынула из-за корсажа чародейный платок, раскрыла его широко и вытерла им лицо Арианы.

И отшатнулась, и бросилась бежать, сжимая в руке чародейный платок и громкими воплями разнося повсюду смятение и страх.

Альберт склонился над Арианою, — и едва узнал ее. Отлетело очарование печали, губы утратили кроткую улыбку, глаза были безвыразительно-крепко сомкнуты, как у слепорожденной, и все лицо было равнодушною, мертвою, восковою личиною красоты.

К телу бездыханной Арианы сбегались все, кто был в замке. Слуги плакали над ласковою госпожою, лекари долго осматривали прекрасное тело, и решили, что Ариана умерла. Суровою скорбью омрачилось лицо короля Теобальда. Королева Мариана заперлась в своей спальне, и оттуда далеко были слышны ее громкие рыдания.

Не видимый никем, кроме влюбленного принца, подошел к Альберту дух старого дерева в образе маленького старика с веселыми глазами. Сказал:

— Не тоскуй, Альберт. Ариана не умерла. Она обрызгана мертвою водою и сохранится целою и невредимою, пока не брызнут на нее живую водою.

— Где же эта живая вода? — с радостной надеждой спросил Альберт. — Я пойду за нею хоть на край света и возьму ее, хоть бы пришлось за нее биться со всеми чудовищами и великанами.

— Я дам тебе живую воду, Альберт, — сказал старик, — но поклянись мне, что ты не воспользуешься ею, пока не придет время.

Альберт поклялся, и старик передал ему флакон с красною жидкостью.

— Когда же настанет время? — спросил Альберт.

— Об этом скажет тебе Мариана, — промолвил старик и исчез.

Положили Ариану в хрустальный гроб, отнесли ее в королевский склеп, повесили там гроб на золотых цепях. Как живая лежала в гробу Ариана.

Как только Мариана пришла к себе с платком, которым вытерла лицо умирающей падчерицы, она замкнула двери и набросила на свое лицо чародейный платок.

Острые мечи печали пронзили ее сердце, и она упала на пол и завопила от нестерпимой тоски. Долго рыдала и колотилась головою о пол и не могла утешиться. Все, что она ни вспоминала, окрашивалось перед нею в цвета печали, в цвета Арианы, черный и алый.

Встала наконец, взглянула в зеркало и отшатнулась в страхе. Ужасное, хотя и прекрасное лицо глянуло на нее. Оно было бледно и кровавою на нем раною казалась яркая красная черта губ.

— Ты прекраснее Арианы, — сказало ей зеркало, — но красота твоя страшна, — в ней очарование печали, и невинной крови, и смертного ужаса. В ней очарование порока — мудрейшее и злейшее из очарований.

Когда похоронили Ариану, полюбила королева подниматься на высокую башню и слушать голоса просторов и бури и смотреть на то, что видели Арианины очи.

Дивились люди дикой и страшной красоте Марианы и тому, как изменился ее нрав.

— Мачеха, а как тоскует по Ариане!

Однажды вечером пришла Мариана к Альберту и сказала:

— Если бы я могла отдать Ариане мою душу вместе с очарованием печали! Легче ей в гробу, чем мне на свете.

Понял Альберт, что пора. Спустился в склеп, разбил гроб, обрызгал Ариану живой водой и вывел ее к живым.

— Ариана жива!

Радостная разнеслась весть, и все спешили к королевскому замку. Среди общего ликования только одна Ариана была холодна и равнодушна. Спокойным «да» отвечала она каждому явлению жизни, и смотрела на отчетливо предстающие перед нею предметы, не узнавая за ними ничего.

Королева же Мариана решила умереть и возратить Ариане очарование печали.

Сказал Ариане Альберт:

— Милая Ариана, хочешь ли быть моею женою?

Нерадующим голосом ответила:

— Да.

Когда вернулись молодые из-под венца, Мариана тайно всыпала в свой кубок отраву и выпила отравленное вино. Вынула чародейный платок и сказала Ариане очень тихо:

— От счастья и от печали умираю. Милая дочь, этим платком вытри мое лицо, орошенное смертным потом.

Послушно исполнила это Ариана.

— И этим платком вытри свое лицо, — сказала Мариана.

И когда платок коснулся Арианина лица, умерла Мариана. И в тот же миг мечи печали пронзили сердце юной Арианы и с громким воплем открыла она лицо, — прекрасный лик, обвеянный очарованием печали.

С громким воплем бросилась она на холодеющую грудь злой мачехи.

— С тобою, с тобою, — вопила она.

Подстерегающая желания стояла близко. Взяла она темную душу Марианы и соединила ее с изнемогающею от печали душою Арианы.

Чувствуя в своей груди двойную отныне душу и преобразование зла силою печали, встала Ариана от трупа, в котором уже не было души. И была она еще прекраснее, чем прежде, новою преображенною красотою. По воле созидającego и разрушающего души вернулась она в мир — нести ему очарование печали.

1908

Отравленный сад [\[384\]](#)

*Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила.*

А. С. Пушкин



I

— Прекрасный Юноша, о чем ты задумался так глубоко? — спросила Старуха, у которой Юноша снимал комнату.

Она тихо вошла вечером в его полутемную комнату, и, еле слышно шелестя по крашенному буро-красною краскою неровному полу мягкими туфлями, приблизилась к Юноше и стала у его плеча. Он вздрогнул от неожиданности, — уже с полчаса стоял он у единственного окна своего тесного покойчика в верхнем жилье старого дома и, не отрываясь, смотрел на открывающийся перед ним прекрасный Сад, где цвело множество растений, благоухающих нежно, сладко и странно. Отвечая Старухе, Юноша сказал:

— Нет, Старая, я ни о чем не думаю. Я стою, смотрю и жду.

Старуха укоризненно покачала седую головою, и узлы ее темного платка закачались, как два остро поднятые кверху, настороженные уха. Ее морщинистое лицо, более желтое и сухое, чем у других старых женщин, живших на той же улице, на окраине громадного Старого Города, выражало теперь озабоченность и тревогу. Старуха молвила тихо и печально:

— Жаль мне тебя, милый Юноша.

Голос ее, хотя уже и старчески хриплый, звучал такою печалью, таким искренним состраданием, и ее уже бесцветные от старости глаза глядели так скорбно, что Юноше в полумраке его покоя вдруг на одно короткое мгновение показалось, что эти внешние признаки старости — только

удачно надетая личина, и что за нею скрывается молодая, прекрасная Жена, еще недавно только испытывавшая пронзающую сердце скорбь Матери, оплакавшей погибшего Сына.

Но прошло это странное мгновение, и Юноша улыбнулся своей чудной мечте. Он спросил:

— Почему тебе жаль меня, Старая?

Старуха стала рядом с ним, посмотрела в окно на Сад, прекрасный и цветущий и весь осиянный лучами заходящего солнца, и сказала:

— Мне жаль тебя, Милый Юноша, потому, что я знаю, куда ты смотришь и чего ты ждешь. Мне жаль тебя и твоей матери.

Может быть, от этих слов, а может быть, от чего-ни-будь иного, что-то изменилось в настроении Юноши. Сад, цветущий и благоухающий за высоким забором под его окном, вдруг показался ему почему-то странным, и темное чувство, похожее на внезапный страх, жутким замиранием остановилось у его сердца, точно рожденное пряными и томными ароматами, исходящими от ярких внизу цветов.

«Что же это?» — подумал Юноша в недоумении.

Он не захотел поддаваться томному очарованию вечерней тоски, сделал над собою усилие, улыбнулся, быстрым движением сильной руки откинул с высокого лба прядь черных волос и спросил:

— Что же нехорошего в том, на что я смотрю и чего я жду? И почему ты знаешь, чего я жду?

И в эту минуту он был веселый, смелый, прекрасный, и черные глаза его пылали, и румяные щеки его рдели, и алые, яркие губы его казались сейчас только поцелованными, и из-за них сверкали крепкие, белые зубы, веселые, злые.

Старуха говорила:

— Милый Юноша, ты смотришь на Сад и не знаешь, что это — злой Сад. Ты ожидаешь Красавицу и не знаешь, что красота ее пагубна. Два года прожил ты в моей комнате и ни разу не засматривался так, как сегодня. Видно, и твой черед настал. Пока еще не поздно, отойди от окна, не дыши дыханием коварных цветов и не жди, чтобы под окно твое пришла чаровать Красавица. Она придет, она зачарует, и ты пойдешь за нею, куда не хочешь.

Говоря так, Старуха зажгла две свечи на столе, где лежали книги, захлопнула окно и задернула у окна занавеску. С легким скрежетом провлеклись по медному пруту кольца, заколыхались, и опять спокойно легло желтое полотно занавески, и в комнате стало весело, уютно и спокойно. И казалось, что нет за окном Сада, и нет в мире очарований, и все просто, обычно, установлено раз навсегда.

— А и правда, — сказал Юноша, — я никогда не обращал внимания на этот Сад и сегодня только в первый раз увидел Красавицу.

— Уже увидел, — печально сказала Старуха. — Уже упало в твою душу злое семя очарования.

А Юноша говорил не то Старухе, не то рассуждая сам с собою:

— Да раньше и некогда было. Днем на лекциях в университете, вечером — за книгами или с веселыми товарищами и милыми девушками на вечеринке или в театре, где-нибудь на галерке, а то так и в партере по студенческой контрамарке, когда платной публики мало: антрепренеры нас любят, мы хлопаем усердно, и кричим, вызывая актрис, пока не погасят всех огней. Летом уедешь к родителям. Так, только слышал, что рядом великолепный Сад нашего профессора, знаменитого Ботаника.

— Потому и знаменитый, что черту душу продал, — сердито сказала Старуха.

Студент рассмеялся весело.

— А все-таки, — сказал он, — мне странно, что я никогда до сегодняшнего вечера не видал его дочери, хотя и слышал много об ее дивной красоте и о том, что многие знатные юноши Старого Города и из других мест, близких и дальних, добивались ее любви, и надеялись, и обманывались, а иные даже и умирали, не стерпев ее холодности.

— Она — коварная, — сказала Старуха. — Она знает цену своим чарам и показывается не всем. Нищему студенту трудно свести с нею знакомство. Отец обучил ее многому, чего и ученые не знают, но на ваши сходки она не ходит. Она больше с богатыми, от которых можно ждать многих подарков.

— Старая, сегодня я хорошо видел ее, и мне кажется, — возражал Юноша, — что девица с таким прекрасным лицом, с такими ясными глазами, с такими грациозными манерами и одетая так красиво, не может быть коварною и корыстною и гнаться за подарками. Я твердо решил, что познакомлюсь с нею. Сегодня же пойду к Ботанику.

— Ботаник тебя и на порог не пустит, — говорила Старуха. — Его слуга о тебе и докладывать не пойдет, как увидит твою поношенную одежду.

— Что ему за дело до моей одежды! — с досадою сказал Юноша.

— Да вот разве если бы ты на крылатом змее приехал, — сказала Старуха, — так, пожалуй, пустили бы и на твои заплаты не поглядели бы.

Юноша засмеялся и воскликнул весело:

— Что ж, Старая, и крылатого змея оседлаю, коли иначе туда не попасть будет!

— Да уж от ваших забастовок добра не ждать, — ворчала Старуха. — Учились бы смиренно, и все было бы хорошо. И тебе бы не было никакой печали до этой хитрой Красавицы и до ее страшного Сада.

— Что страшного в ее Саду? — спросил Юноша. — А не бастовать нам никак нельзя было: наши права и права университета нарушены — неужели же мы смиренно подчинимся?

— Юноши должны учиться, — ворчала Старуха, а не права разбирать. А ты, милый Юноша, прежде чем с Красавицей знакомиться, в ее Сад взглядишь хорошенько из окошка, завтра утром, при свете солнца, когда все видно ясно и верно. Ты увидишь, что в этом саду нет цветов, которые здесь всем знакомы, а цветов, какие там есть, никто у нас в Городе не знает. Подумай-ка об этом хорошенько — ведь это неспроста. Бес коварен — не его ли это создания на пагубу людям?

— Это — растения чужестранные, — сказал Юноша, — они привезены из жарких стран, где все иначе.

Но уже Старуха не хотела больше разговаривать. Она досадливо махнула рукою и, шамая туфлями, сердито и неразборчиво бормоча неласковые слова, вышла из комнаты.

Первым побуждением Юноши было — подойти к окну, отдернуть желтое полотно занавески, и опять смотреть в очаровательный сад, и ждать. Но помешали: пришел Товарищ, шумный, нескладный молодой человек, и позвал Юношу идти в место, где они часто собирались, чтобы говорить много, спорить, шуметь и смеяться. По дороге Товарищ, смеясь, негодуя, размахивая руками больше, чем бы следовало, рассказал Юноше о том, что происходило сегодня утром в аудиториях и в университетских коридорах, как были сорваны все лекции, как были посрамлены противники забастовки, какие прекрасные слова говорили любимые, хорошие профессеры, и как смешно вели себя профессеры нелюбимые и, значит, нехорошие.

Юноша провел интересный вечер. Говорил, волнуясь, как все. Слушал искренние, горячие речи. Смотрел на товарищей, лица которых выражали и беззаботную смелость молодости, и ее пламенное негодование. Видел девушек, милых, умных, скромных, и мечтал о том, что из их веселого круга изберет себе подругу. И почти забыл о Красавице в очарованном Саду.

Вернулся домой поздно и заснул крепко.

Утром, когда он открыл глаза и когда взор его упал на желтое полотно занавески у окна, показалось ему, что ее желтизна окрашена багрянцем темного желания и что в ней есть какая-то странная, жуткая напряженность. Казалось, что солнце настойчиво и страстно упирает жгучие, горькие лучи в пронизанное золотым светом полотно, и зовет, и требует, и волнует. И в ответ удивительной внешней напряженности золота и багрянца огненной живостью наполнились жилы Юноши, упругою силою налились мускулы, и сердце стало как родник ярких пожаров. Пронизанный сладко миллионами живящих, и горящих, и возбуждающих игол, вскочил он с постели и с ребяческим веселым хохотом, не одеваясь, принялся прыгать и плясать по комнате.

Привлеченная необычным шумом, заглянула в дверь Старая хозяйка. Покачала укоризненно головою и ворчливо сказала:

— Милый Юноша, пляшешь и радуешься и всех беспокоишь, а чему рад, и сам не знаешь, и не ведаешь, кто стоит под твоим окошком и что она тебе готовит.

Юноша смутился и стал тих и скромен, как раньше, что и согласно было с его характером и соответствовало прекрасному воспитанию, полученному им дома. Он умылся старательнее обычного, оттого, может быть, что не надо было сегодня спешить на лекции, а может быть, и по иной причине, и с таким же тщанием оделся, причем долго чистил свою изрядно уже поношенную одежду: новой у него не было, так как родители его были не богаты и не могли присылать ему много денег.

Потом подошел он к окну. Сердце его забилось тревожно, когда он отдернул желтое полотно занавески. Очаровательное зрелище открылось перед ним — хотя сегодня он сразу заметил, что есть что-то странное во всем виде этого обширного, превосходно расположенного Сада. Что именно его удивляло, еще он сразу не понял, и внимательно стал рассматривать Сад.

Что же было неприятного в его красоте? Отчего так больно замирало сердце Юноши? То ли, что все в очаровательном Саду было слишком правильно? Дорожки разбиты прямо, все одинаковой ширины, и однообразно усыпаны ровным слоем желтого песку; растения рассажены с тщательной порядливостью; деревья подрезаны в виде шаров, конусов и цилиндров; цветы подобраны по тонам, так что сочетание их ласкало глаз, но почему-то ранило душу.

Но, рассуждая здраво, что же неприятного в том порядке, который свидетельствует, что кто-то неусыпно заботится о Саде? Нет, не в этом, конечно, была причина странного беспокойства, томившего Юношу. В чем-

то другом, еще непонятном Юноше.

Одно было несомненно, что этот Сад не был похож ни на один из тех садов, которые довелось на своем веку повидать Юноше. Он видел здесь цветки громадные и слишком яркой окраски, — порою казалось, что разноцветные огни пылали среди буйной зелени, — бурые и черные стебли ползучих растений, толстые, как тропические змеи, — листья странной формы и непомерной величины, зелень которых казалась неестественно яркой. Пряные и томные ароматы легкими волнами вливались в открытое окно, вздохи ванили и ладана, горького миндаля, сладкие и горькие, торжественные и печальные, как ликующая погребальная мистерия.

Юноша чувствовал на своем лице нежные, но бодрящие прикосновения легкого ветра. В саду же, казалось, ветер не имел силы и в изнеможении улегся на спокойнозеленой траве и в тени под кустами странных насаждений. И от того, что деревья и травы странного Сада были бездыханно тихи и не слышали тихо веющего над ними ветра, и ничем не отвечали ему, они казались неживыми. А потому лживыми, злыми, враждебными человеку.

Впрочем, одно из растений шевелилось. Но, взглядевшись, Юноша засмеялся. То, что он принял за безлистный ствол странного растения, был человек небольшого роста, тощий, в черной одежде. Он стоял перед кустом с яркопурпурными цветами, потом медленно пошел по дорожке, опираясь на толстую палку и приближаясь к тому окну, из которого глядел Юноша. Не столько по лицу, которое, будучи прикрыто широкими полями черной шляпы, только отчасти было видно сверху, сколько по манерам и походке Юноша узнал Ботаника. Не желая показаться нескромным, Юноша немного отодвинулся от окна в глубину комнаты. Но вдруг увидел он, что навстречу Ботанику шла Красавица, его юная дочь.

Ее нагие руки были подняты к сложенным на голове черным косам, потому что в это время она вкалывала в волосы ярко-пунцовый цветок. Ее легкая, короткая туника была застегнута на плече золотой пряжкой. Ноги ее, с легким потемневшим загаром, до колен открытые, были стройны, как ноги воскресшей богини. Сердце Юноши забилося, он забыл всякую осторожность и скромность, опять бросился к окну и жадно глядел на милое видение. Красавица кинула в его сторону быстрый, пламенный взгляд — и синие из-под черных ровных бровей сверкнули очи — и улыбнулась нежно и лукаво.

Если бывают люди счастливы, если светит им порою безумное солнце радости, сладким кружением восторга унося в запредельные страны — то где слова, чтобы сказать об этом? И если есть на свете красота для

очарований, то как описать ее?

Но вот остановилась Красавица, пристально посмотрела на Юношу и засмеялась радостно и весело — и в несказанном кружении восторга забыл Юноша обо всем, что есть на свете, стремительно наклонился из окна и закричал голосом, звонким от волнения:

— Милая! Прекрасная! Божественная! Приди ко мне! Люби меня!

Красавица подошла близко, и Юноша услышал тихо звенящий, ясный голос, каждый звук которого сладкою мукою ранил его сердце:

— Милый Юноша, знаешь ли ты цену моей любви?

— Хотя бы ценою жизни! — восклицал Юноша. — Хотя бы у темных ворот Смерти!

Зарею пылающею и смеющеюся стояла Красавица перед Юношей и простирала к нему стройные, обнаженные руки. И говорила, и веял от ее слов аромат обольстительный, томный, как вздохи нежной туберозы:

— О, милый Юноша, мудрый и страстный, ты знаешь, ты видишь, ты дождешься. Многие любили меня, многие жаждали обладать мною, прекрасные, юные, сильные, многим улыбалась я улыбкою обаятельной, как улыбка последней утешительницы, но никогда никому до тебя не говорила я сладких и страшных слов: люблю тебя. Теперь хочу и жду.

Страстью и желанием звенел ее голос. Она отвязала от пояса шелковый черный шнурок с бронзовым на нем ключом и уже взмахнула рукою, чтобы бросить ключ Юноше, но не успела. Отец уже спешил к ней, заметив еще издали, что она заговорила с незнакомым Юношей. Он грубо схватил ее за руку, отнял от нее ключ и закричал хриплым старческим голосом, противным, как тяжелое карканье старого ворона на кладбище:

— Безумная, что ты хочешь сделать? Не о чем тебе с ним говорить. Этот Юноша не из рода тех, для кого взрастили мы наш Сад, смешав соки этих растений с ядовитою смолою Анчара. Не для таких, как этот голяк, погиб наш предок, надышавшись тлетворным ароматом страшной смолы. Иди, иди домой и не смей говорить с ним.

Старик повлек дочь к дому, видневшемуся в глубине Сада. Он крепко сжимал ее руки, обе захватив одною своей рукой. Красавица покорно шла за отцом и смеялась. И был ее смех ясен, звонок, сладок и жалил тысячами острых жал пламенеющее сердце Юноши.

Он еще стоял у окна, долго всматривался напряженными глазами в расчисленные и расчищенные дали очарованного Сада. Но уже Красавица больше не показывалась. Все тихо и недвижно было в дивном саду, и бездыханными казались чудовищно яркие цветы, и от них доходил до Юноши аромат, кружащий голову, жутким томлением сжимающий сердце,

аромат, напоминающий темные, стремительные, жадные вздохи ванили, цикламена, датумы и тубероз, злых, несчастных цветов, умирающих, умерщвляя, чарующих смертною тайною.

III

Юноша твердо решился проникнуть в дивный Сад, надышаться таинственными ароматами, которыми дышит Красавица, и добиться ее любви, хотя бы ценою за нее была жизнь, хотя бы путем к ней был путь смертный, путь безвозвратный. Но кто бы помог ему проникнуть в дом старого Ботаника?

Юноша ушел из дому. Долго ходил он по Городу, и всех, кого знал, расспрашивал о Красавице, дочери Ботаника. Одни не могли, другие не хотели ввести его в дом старого Ботаника, и о Красавице все говорили недоброжелательно.

Товарищ ему сказал:

— Все молодые Оптиматы Города влюбляются в нее и хвалят ее изысканную и утонченную красоту. Нам же, Пролетариям, ее красота ненавистна и не нужна; ее мертвая улыбка нас раздражает, и безумие, затаившееся в синеве ее глаз, нам противно.

Девушка, вторя ему, говорила:

— Ее красота, о которой говорят так много праздные и богатые юноши, вовсе даже и не красота, на наш взгляд. Это — мертвая красивость разложения и упадка. Я думаю даже, что она румянится и белится. От нее пахнет, как от ядовитого цветка; даже дыхание у нее ароматно, и это противно.

Популярный Профессор говорил:

— Коллега Ботаник — знаменитый и ученый человек; но он не хочет подчинять свою науку высоким интересам гуманности. Его дочь, говорят, очаровательна: некоторые говорят об оригинальности ее костюмов и манер; впрочем, я не имел случая беседовать с нею более или менее обстоятельно; притом же в нашем кругу ее редко можно встретить. Думаю, однако, что ее очарования заключают в себе нечто вредное для здоровья — до меня дошли странные слухи, за достоверность которых, конечно, я не ручаюсь, слухи о том, что процент смертности среди посещающих этот дом молодых аристократов выше среднего.

Аббат, с тонкою улыбкою на бритом бледном лице, сказал:

— Когда Красавица приходит ко мне в церковь, она молится слишком

усердно. Можно подумать, что она замаливает тяжелые грехи. Но я надеюсь, что нам не доведется увидеть ее стоящую на паперти в шерстяной сорочке кающейся грешницы.

Мать, выславши из комнаты дочерей, сказала:

— Я не понимаю, что в ней находят привлекательного. На нее разоряются, она кокетничает, разбивает сердца юношей, отнимает женихов от невест, а сама никого не любит. Я не позволяю моим милым дочкам, Миночке, Линочке, Диночке, Ниночке, Риночке, Тиночке и Зиночке, вести с нею знакомство. Они у меня такие скромные, милые, любезные, веселые, приветливые, прилежные, такие хозяйки, такие рукодельницы. И как мне ни жаль расставаться с ними, но, так и быть, старшенькую я выдала бы замуж за такого скромного юношу, как вы.

Юноша ушел поспешно. Семь сестриц улыбались ему из окна, теснясь одна за другою. Это было зрелище милое и приятное, но сердце Юноши полно было сладкими, жуткими мечтами о Красавице.

IV

Старый Ботаник привел свою дочь в дом. Его гнев смягчился, и хотя он до самого порога не выпускал из своей руки с большими костлявыми пальцами сложенных вместе тонких рук весело улыбающейся Красавицы, но уже он не жал их так больно и не толкал ее так грубо. Его лицо было печально. Он выпустил руки своей дочери, и она сама послушно вошла за ним в его кабинет, — огромную, мрачную комнату, стены которой были загромождены полками с множеством книг, громадных, запыленных.

Ботаник сел в обитое темною кожею кресло у своего тяжелого дубового стола. Он казался усталым. Прикрыл глаза, еще юношески блестящие, пергаментно-желтой, дрожащей рукой и укоризненно смотрел из-под руки на дочь. Красавица стала на колени у его ног, и смотрела снизу в лицо старого Ботаника, и улыбалась нежно и покорно. Она стояла прямо, с опущенными руками, и в позе ее была смиренная покорность, и в улыбке обольстительных уст было нежное упрямство. Лицо ее казалось побледневшим и казалось, что на губах ее зыбко пламенеет безумие смеха и что в синеве ее глаз затаилось безумие тоски. Молчала и ждала, что скажет отец.

И он сказал медленно, словно с трудом находя слова:

— Милая, что же я слышал? Не ждал я от тебя этого. Зачем ты это сделала?

Красавица склонила голову и тихо сказала:

— Отец, рано или поздно это же должно совершиться.

— Рано или поздно? — спросил отец, как бы с удивлением. И продолжал:

— Так пусть это лучше совершится поздно, чем рано.

— Я пламенею, — тихо сказала Красавица.

И улыбка на ее устах была как отблеск знойного пылания, и в глазах ее затаились синие молнии, и ее обнаженные плечи и руки были как тонкий алебастровый сосуд, наполненный расплавленным металлом. Порывисто дышала высокая грудь, и две белые волны рвались из тесных объятий ее платья, нежный цвет которого напоминал желтоватую розовость персика. Из-под складок недлинной одежды были видны трепетно лежащие на темно-зеленом бархате ковра стройные ноги.

Отец тихо покачал головою и сказал печально и строго:

— Ты, милая дочь, столь опытная и столь искусная в дивном умении чаровать, оставаясь непорочною, должна знать, что еще рано тебе отходить от меня и бросать не-довершенный мой замысел.

— Но ведь этому не будет конца? — возразила Красавица. — Они приходят вновь и вновь.

— Никто не знает, — сказал Ботаник, — будет ли этому конец, и увидим ли мы завершение нашего замысла или передадим его иным поколениям. Но мы сделаем, что можем. Вспомни, что сейчас должен прийти к тебе молодой Граф. Ты поцелуешь его и дашь ему отравленный цветок по его выбору. И он уйдет, полный сладких надежд и трепетных ожиданий, и опять совершится и над ним неизбежное.

Выражение покорности и скуки легло на лицо Красавицы. И отец сказал ей:

— Иди.

Наклонился, поцеловал ее в лоб. Красавица прильнула знойно-алыми губами к его морщинистой, желтой руке, прижалась к его сухим коленям белою, полуобнаженною грудью, вздохнула и встала. И вздох ее был как свирельный стон.

V

Через полчаса Красавица, нежно улыбаясь, говорила молодому, красивому, надменному Графу, стоя перед ним в той же одежде среди Сада, у круглой клумбы с яркими, громадными цветами, от которых исходил

одуряющий аромат:

— Милый Граф, вы хотите очень многого. Желания ваши слишком пылки и слишком нетерпеливы.

Улыбка ее была нежна и лукава, и непорочно-ясные взоры ее с ласковым любованием скользили по стройной фигуре молодого Графа и по его богатому наряду, сшитому модно и красиво из самых дорогих тканей и украшенному золотом и самоцветными камнями.

— Милая очаровательница, — говорил Граф, — я знаю, что ты была холодна ко многим, искавшим твоей благосклонности. Но ко мне ты будешь более ласкова. Я сумею добиться твоей любви. Клянусь честью, я заставлю потемнеть от страсти холодную синеву твоих глаз.

— Чем же вы, Граф, стяжаете мою любовь? — спросила Красавица.

Непроницаемо было выражение ее прекрасного лица, и ее голос не обличал того волнения, которое так легко овладевает девами, когда они слышат знойный голос внушенной ими страсти. Но самоуверенный, надменный Граф не смутился. Он говорил:

— От предков моих досталось мне немало сокровищ, и я сам золотом и отвагою приумножил их. Много у меня драгоценных камней, перстней, ожерелий, запястий, восточных тканей и ароматов, арабских коней, шелковых и атласных одежд, редкого оружия и другого много, чего и перечислить скоро не сумею, чего даже не сразу и вспомню. Все я рассыплю у твоих ног, очаровательница, — рубинами оплачу я твои улыбки, жемчугами твои слезы, золотом твои ароматные вздохи, алмазами твои поцелуи и ударом верного кинжала твою лукавую измену.

Красавица засмеялась. Сказала:

— Еще я не ваша, а уже вы боитесь моей измены и угрожаете мне. Ведь я могу и рассердиться на это.

Граф порывисто склонил перед Красавицею колени и осыпал поцелуями ее руки, гибкие и стройные, от нежной кожи которых подымалось легкое, жуткое благоухание.

— Прости моему безумию, очаровательная Красавица, — молил он, вдруг забывши всю свою надменность, — любовь к тебе лишает меня покоя и подсказывает мне дикие поступки и странные слова. Но что же мне делать! Я люблю тебя больше, чем мою душу; и за обладание тобою готов заплатить не только моими сокровищами, не только моей жизнью, но и тем, что дороже мне жизни и спасения души, — моей честью!

Красавица сказала очаровательно-ласково:

— Ваши слова тронули меня, милый Граф. Встаньте. Я не возьму с вас непомерной платы за мою любовь, — она не покупается и не продается. Но

кто любит, тот должен уметь и подождать. Истинная любовь всегда найдет путь к сердцу возлюбленной.

Граф поднялся. Изысканным жестом он оправил кружевные манжеты своего атласного зеленого кафтана и устремил на Красавицу долгий, восторженный взор. Глаза их встретились, и непроницаемо по-прежнему было выражение непорочно-светлых глаз Красавицы.

Охваченный смутною тревогою, которая в минуты смертной опасности охватывает даже надменных и самоуверенных, Граф отошел от Красавицы. На скамье недалеко лежал красиво изукрашенный резьбою дубовый ларец. Граф открыл его и с почтительным поклоном поднес Красавице. Солнечные лучи веселым смехом задрожали на бриллиантах и рубинах диадемы. Казалось надменному Графу, что сияние и смех падают на многоценные камни от рдеющих уст Красавицы. Но улыбка ее была такая же, как и раньше, и она любовалась подарком, как малоценным, хотя и приятным знаком внимания. Потом на миг опечалилась легко, отуманилась и сказала:

— Мои предки были рабами, а вы дарите мне диадему, от которой не отказалась бы и царица.

— Очаровательница! — воскликнул Граф. — Ты достойна и еще более блистающей диадемы.

Красавица улыбнулась ему приветливо и опять опечалилась легко, отуманилась и говорила тихо:

— Доля моих предков — горячие капли крови под бичами жестоких, а мне — торжественные рубины увенчанной радости.

И совсем-совсем тихо шепнула:

— Но не забуду.

— Что же вспоминать о давно минувшем! — воскликнул Граф. — Радостны дни светлой юности, а печаль воспоминаний оставим старости.

Красавица засмеялась, отгоняя смехом грусть, мгновенную, как тучка, тающая на летнем солнце. Сказала Графу:

— За ваш прекрасный подарок, милый Граф, я дам вам сегодня один цветок по вашему выбору и один поцелуй. Только один.

Молодой Граф пришел в такой восторг и выражал его так стремительно и шумно, что Красавица повторила нежно и строго:

— Только один, не более.

И спросила Графа:

— Какой цветок хотите вы, милый Граф, получить от меня?

Граф ответил:

— Прекрасная обольстительница, что ты мне ни дашь, за все я буду

тебе несказанно благодарен.

Улыбаясь, говорила Красавица:

— Все цветы, которые вы здесь видите, милый Граф, привезены издалека. Они собраны с большим трудом и даже с опасностями. Прилежным уходом отец мой улучшил их форму, и окраску, и аромат. Долго изучал он их свойства, пересаживал их, скрещивал, прививал, и наконец достиг того, что из бедных, диких, некрасивых полевых и лесных цветочков образовались эти очаровательные, благоуханные цветы.

— И самый очаровательный цветок — ты, милая Красавица! — воскликнул Граф.

Красавица легко вздохнула и продолжала:

— Аромат их многие находят слишком крепким и одуряющим. И я замечая, что вы, милый Граф, бледнеете, — мы с вами слишком долго пробыли среди этих знойных ароматов. Я-то привыкла, я с детства надышалась ими, и самая кровь моя пропитана их сладкими испарениями. А вам не следует слишком долго стоять здесь. Выбирайте скорее, какой цветок вы хотите взять от меня.

Но молодой Граф настаивал, чтобы Красавица сама выбрала ему цветок, — он ждал с нетерпением ее второго подарка, обещанного поцелуя — первого ее поцелуя. Красавица посмотрела на цветы. Лицо ее омрачилось опять легкой тенью печали. Вдруг быстро, словно движимая чужой волей, она протянула руку, столь прекрасную в ее обнаженной стройности, и сорвала белый махровый цветок. Замедлила руку, склонила голову и наконец с выражением застенчивой нерешительности приблизилась к Графу и вложила цветок в петлицу его кафтана.

Аромат сильный и резкий пахнул в побледневшее лицо молодого Графа, и в томном бессилии закружилась его голова. Равнодушие и усталость овладели им. Едва помнил себя, едва чувствовал, как взяла его Красавица под руку и увела в дом, от ароматов дивного Сада.

В одной из комнат дома, где все было светло, бело и розово, Граф очнулся. Юношеская свежесть вернулась на его лицо, черные глаза его зажглись опять страстью, и он снова почувствовал радость жизни и буйство желаний. Но уже подстерегало его неизбежное. Рука, нагая, стройная, легла на его шею, и ароматный поцелуй Красавицы был нежен, сладок, долог. Две синие молнии ее глаз блеснули близко перед его глазами и призакрылись тихою тайною длинных ресниц. Жуткие огни сладкой боли вихрем закружились вокруг сердца молодого Графа. Он поднял руки обнять Красавицу — но с легким криком она отшатнулась и, легкая, тихая, убежала, оставив его одного. Граф бросился было за нею. Но в дверях

розовой горницы встретил его старый Ботаник. Язвительна была улыбка тонких губ, алою чертою разрезавших пергаментножелтое лицо. Граф смутился. С несвойственным ему замешательством, чувствуя во всем теле странную слабость, простился он со старым Ботаником и ушел.

Жуткие вихри сладкой боли все быстрее кружились вокруг сердца молодого Графа, когда он ехал домой верхом на вороном арабском скакуне, еле слыша звонкий стук подков о камни. Все бледнее становилось его лицо. Вдруг глаза его сомкнулись, рука опустила поводья, и он тяжело склонился, падая с седла. Испуганный конь взвился на дыбы, сбросил седока и помчался. Графа подняли уже мертвым, с разбитою о камни головою. И не знали, отчего он умер. Дивились, — такой был искусный наездник.

VI

Настала ночь. Сладко и тревожно светила полная луна, ворожа и чаруя лучами холодными, могильно-тихими. Смутным страхом полно было сердце Юноши, когда он подошел к своему окну. Руки его, захватив край желтой занавески, долго медлили и колебались, прежде чем он решился не спеша отвести в сторону занавеску. Медленно свиваясь, шуршало желтое полотно, и шелест его сходен был со змеиным еле слышным свистом в лесной заросли; и тихо звенели и скрежетали о медный прут медные легкие кольца.

Красавица стояла под окном, и смотрела на окно, и ждала. И сердце Юноши дрогнуло, и не мог он понять, страхом или восторгом томилось его сердце.

Черные косы Красавицы были распущены и падали на ее нагие плечи. Резкая тень лежала на земле у ее необутых ног. Освещенная сбоку луною, стояла Красавица, подобная резкому, отчетливому видению. Складки белой туники были строги и темны. Темна была синева глаз Красавицы, загадочна была ее неподвижная улыбка. На странной успокоенности ее тела и ее одежды тускло поблескивала гладкая матовая пряжка, застегнутая на плече.

Красавица заговорила тихо, и амброю, мускусом и туберозою благоухали ее слова, звенящие, как тонкие серебряные цепи у зажженного кадила.

— Милый Юноша, я люблю тебя. Повинуясь твоему призыву, я нарушила волю моего отца и пришла к тебе, чтобы сказать: бойся меня и моих чар, беги от этого Старого Города далеко, а меня оставь моей темной

судьбе, меня, упоенную злым дыханием Анчара.

— О, прекрасная! — отвечал ей Юноша. — Ты, которую я едва узнал и которая уже для меня дороже моей жизни и моей души, — зачем говоришь ты мне эти жестокие слова? Или ты не веришь моей любви, которая зажглась внезапно, но уже не погаснет?

— Я люблю тебя, — повторила Красавица, — и не хочу тебя погубить. Дыхание мое напитано ядом, и прекрасный Сад мой отравлен. Тебе первому я говорю это, потому что я люблю тебя. Торопись же оставить этот Город, беги от этого Сада с его тлетворною красотой, беги далеко и забудь обо мне.

Упоенный восторгом и печалью, сладчайшею всех земных радостей, Юноша воскликнул:

— Возлюбленная моя! Что же мне от тебя надо? Не одного ли мгновения жаждет моя душа! Сгореть в блаженном пламени восторга и любви и у сладчайших ног твоих умереть!

Легкий трепет пробежал по телу Красавицы, и вся она стала как ясная радость зари за белым туманом. Торжественным, широким движением подняла она свои нагие руки, и вся стремилась к Юноше, и говорила:

— О, возлюбленный мой! Так будет, как ты хочешь, и с тобою умереть мне сладко. Иди же ко мне, в мой страшный Сад, и я расскажу тебе мою темную повесть.

Опять, как утром, в руке ее блеснул бронзовый ключ на розовой ленте. Засмеялась — резво, как мальчик, отбежала назад, мелькая на смутно-желтом песке дорожки смутною белизной стройных ног, — размахнулась быстро и ловко, — и метнула ключ в окно. Юноша протянул руки и на лету схватил ключ.

VII

Там, в отравленном Саду, под сенью таинственных растений, где неживая луна смешивала отраву своей тоски с ядовитым дыханием земных злых цветов, стояли они, Юноша и Красавица, упоенные восторгом и печалью. Они глядели в глаза друг другу, и Красавица, голосом, звенящим, как хрупкий голос клавесина, говорила:

— Мои предки были рабами, — но и рабы жаждут свободы. Повинуясь повелению господина, один из моих предков совершил утомительно долгий путь, чтобы достигнуть пустыни, где растет Анчар. Он собрал ядовитую смолу Анчара и принес ее господину. Отравленные

стрелы доставили господину немало побед. А мой предок, надышавшийся злых благоуханий, умер. Его вдова задумала отомстить злему роду победителей. Она воровала отравленные стрелы, мочила их в воде, и, как многоценное вино, прятала эти настои в глубоких подвалах. Каплю настоя вливала она в бочку воды и этой водою поливала пустырь на краю Старого Города, где теперь наш дом и этот Сад. Потом брала каплю воды со дна этой бочки, вмешивала ее в хлеб и кормила им своего сына. И стала почва этого Сада отравленная, и сыну своему привила она яд. И с того времени весь род наш, из поколения в поколение, питался ядом. И ныне в жилах наших течет пламенеющая ядом кровь, и дыхание наше ароматно, но пагубно, и кто целует нас, тот умирает. И не слабеет сила нашего яда, пока живем мы в этом отравленном Саду, пока мы дышим ароматами этих чудовищных цветов. Семена их привезены издалека, — мой дед и мой отец были везде, где можно достать злые и вредные людям растения, — и здесь, в этой издавна отравленной почве, эти злые, эти пагубные цветы раскрыли всю свою гневную силу. Благоухая так сладко, так радостно, они, коварные, и росу, падающую с неба, претворяют в гибельную отраву.

Так говорила Красавица, и радостно звенел ее голос, и лицо ее пылало великим ликованием. Кончила рассказ и засмеялась тихо и невесело. Юноша склонился перед нею и молча целовал ее руки, вдыхая томительное благоухание мирры, алоэ и мускуса, веявшее от ее тела и от ее тонкой одежды. Красавица заговорила опять:

— Приходят ко мне потомки угнетателей, потому что чарует их моя злая, моя отравленная красота. Я улыбаюсь им, обреченным смерти, и каждого из них мне жаль, а иных я почти любила, но не отдавалась никогда никому. Только одним поцелуем дарила я каждого — поцелуи мои были невинны, как поцелуи нежной сестры. И тот, кого я целовала, умирал.

Ужасом и восторгом, одновременно двумя столь несходными страстями томилась душа смущенного Юноши. Но любовь, побеждающая все, преодолевающая даже и томления предсмертной тоски, победила и ныне. Восторженно простирая к нежной и страшной Красавице трепетные руки, воскликнул Юноша:

— Если в поцелуе твоём смерть, о возлюбленная, дай мне упиться неисчислимостью смертей! Прильни ко мне, целуй меня, люби меня, обвей меня сладостным ароматом твоего отравленного дыхания, смерть за смертью вливай в мое тело и в мою душу, пока не разрушишь все, что было мною!

— Хочешь! Не боишься! — воскликнула Красавица.

Бледное в лучах неживой луны, лицо Красавицы стало как матовый

светоч, и были трепетны и сини молнии ее печальных и радостных глаз. Движением доверчивым, нежным, страстным она прильнула к Юноше, и ее нагие руки обвились вокруг его шеи.

— Мы умрем вместе! — шептала она. — Мы умрем вместе. Весь яд моего сердца пламенеет, и огненные струи стремятся по моим жилам, и я вся как объятый великим пламенем костер.

— Я пламенею! — шептал Юноша. — Я сгораю в твоих объятиях, и мы с тобою — два пламенные костра, пылающие великим восторгом отравленной любви.

Тускнела и падала печальная, неживая луна, — и черная ночь пришла и стала на страже. Тайну любви и поцелуев, ароматных и отравленных, осенила она мраком и тишиною. И слушала согласный стук двух замирающих сердец, и в чутком молчании сторожила последние, легкие вздохи.

Так в отравленном Саду, надышавшись ароматами, которыми дышала Красавица, и упившись сладкою ее любовью, жалящею нежно и смертельно, умер прекрасный Юноша, — и на груди его умерла Красавица, сладким очарованиям ночи и любви предав свою отравленную, но благоухающую душу.

1908

Царица поцелуев [\[385\]](#)



Сколь неразумны бывают и легкомысленны женские лукавые желания и к каким приводят они страшным и соблазнительным последствиям, тому примером да послужит предлагаемый рассказ, очень назидательный и совершенно достоверный, о некоторой прекрасной даме, которая пожелала быть царицею поцелуев, и о том, что из этого произошло.

В одном славном и древнем городе жил богатый и старый купец, по

имени Бальтасар. Он женился на прекрасной юной девице, — ибо бес, сильный и над молодыми, и над старыми, представил ему прелести этой девицы в столь очаровательном свете, что старик не мог воспротивиться их обаянию.

Женившись, Бальтасар раскаивался немало, — преклонный возраст не давал ему в полной мере упиться сладостями брачных ночей, а ревность скоро начала мучить его. И не без основания: молодая госпожа Мафальда, — так звали его жену, — скучая скудными ласками престарелого супруга, с вожделением смотрела на юных и красивых. Бальтасару же, по его делам, приходилось отлучаться из дому на целые дни, и только в праздники мог он неотлучно быть с Мафальдою. И потому Бальтасар приставил к ней верную, старую женщину Барбару, которая должна была неотступно следовать всегда за его женою.

Скучна стала жизнь молодой и страстной Мафальды: уже не только нельзя было ей поцеловать какого-нибудь красивого юношу, но и украдкой брошенный на кого-ни-будь умильный взгляд навлекал на нее суровые укоры и беспощадные наказания от ее мужа: ему обо всем доносила сварливая, злая Барбара.

Однажды в знойный летний день, когда было так жарко, что даже солнце тяжело задремало и забылось в небе, и не знало потом, куда ему надобно идти, направо или налево, заснула старая Барбара. Молодая Мафальда, сняв с себя всю лишнюю одежду и оставив на себе только то, что совершенно необходимо было бы даже и в раю, села на пороге своей комнаты и печальными глазами смотрела на тенистый сад, высокими окруженный стенами.

Конечно, никого чужого не было в этом саду, да и не могло быть, так как единственная калитка в заборе давно уже была наглухо заколочена и попасть в сад можно было только через дом, — а в дом никого не впускали крепко запертые наружные двери. Никого не видели печальные очи пленной молодой госпожи. Только резкие тени неподвижно лежали на песке расчищенных дорожек, да деревья с поблеклою от зноя листвою изнывали в неподвижном безмолвии замороженной своей жизни, да цветы благоухали пряным и раздражающим ароматом.

И вдруг кто-то тихим, но внятным голосом окликнул Мафальду:

— Мафальда, чего же ты хочешь?

Промолчать бы ей, уйти бы ей в комнаты, закреститься бы ей от нечистого наваждения, — нет, Мафальда осталась. Мафальда встrepенулась. Мафальда с любопытством огляделась кругом. Мафальда лукаво усмехнулась и шепотом спросила:

— Кто там?

И недалеко от нее, в розовых кустах, откуда пахло так томно и нежно, засмеялся кто-то тихо, но таким звонким и сладким смехом, что от непонятной радости замерло сердце Мафальды. Вот, только пошепталась она с лукавым искусителем, и уже подпала под власть его поганных чар.

И опять заговорил неведомый гость, и ароматом повеяли его обольстительные слова:

— Госпожа Мафальда, что тебе в моем имени? И показаться я тебе не могу. Ты же поспеши сказать мне, чего ты желаешь и о чем ты томишься, и я все исполню для тебя, прелестная дама.

— Почему не хочешь ты показаться мне? — спросила любопытная Мафальда.

— Госпожа, ты так легко одета, — отвечал Мафальде неведомый посетитель, — длинны и густы твои черные косы, но все-таки они не закрывают совсем твоих восхитительных ног, и если я выйду сейчас, то тебе, госпожа, будет стыдно.

— Ничего, никто нас не увидит, Барбара спит, — сказала Мафальда.

Но чуток сон злых старух, стерегущих молодых красавиц. Барбара услышала свое имя и проснулась. Стала на пороге рядом с госпожой, подозрительно осмотрелась и спросила:

— Госпожа Мафальда, с кем ты разговаривала сейчас? Кто был у тебя в этом саду?

— С кем говорить мне! — досадливо ответила Мафальда, — здесь никого не было, да и кто мог бы попасть в этот сад? Разве только нечистый, а что мне с ним разговаривать? Небольшая услада!

Но старуха недоверчиво покачивала головою и бормотала:

— Хитры молодые жены старых мужей. Я чую, что здесь был кто-то: не чертом пахнет здесь, а молодым кавалером в бархатном берете и красном плаще. Крутя одною рукою черный ус и другою рукою опираясь в бок около рукоятки своей острой шпаги, он стоял там, за розовым кустом, и говорил тебе слова, за которые твой муж заплатит тебе уже звонкою монетою.

Настала ночь, но не стало прохладно. Такая же душная, такая же томная, как день, была и черная ночь.

Жестоко высеченная мужем по доносу злой Барбары, долго плакала Мафальда и не хотела заснуть. Рядом с нею на супружеском ложе тихо похрапывал почтенный купец Бальтасар, насладившийся в меру своих старческих сил вынужденными ласками наказанной жены.

И вдруг опять слышала Мафальда над собою тот же искусительный

сладкий голос:

— Мафальда, говори скорее, чего же ты хочешь? Говори скорее, пока не проснулся муж, пока никто не знает, что я здесь.

И уже не медлила Мафальда ни минуты и сказала, приподнявшись на подушках и в темноту ночную обратив вождедеющий взор:

— Хочу быть царицею поцелуев.

Засмеялся неведомый посетитель, и опять все стало тихо. Но в себе почувствовала Мафальда какую-то перемену. Еще не знала она, в чем состоит эта перемена, но уже радостно было ей.

Она заснула сладко и крепко и видела радостные и страстные сны. Многие прекрасные юноши приходили к ней и осыпали ее такими пламенными поцелуями, каких, казалось, никто еще не ведал ни на земле, ни на небе. И снилось Мафальде, что сила ее нескончаема и что она может перецеловать всех юношей того города и многих других городов и всех их одарить пламенными ласками до утомления, до смерти.

И утро настало, и загорелась великая в теле Мафальды жажда поцелуев.

Едва только ушел на свою торговлю ее муж, Мафальда сбросила с себя все одежды и вознамерилась выйти на улицу.

Барбара закричала неистовым голосом, призывая слуг, и хотела силою удержать в доме госпожу. Но Мафальда быстрым ударом повергла на пол злую приставницу свою, локтями и кулаками растолкала всех слуг и служанок, и выбежала на улицу нагая, громко вопия:

— Прекрасные юноши, вот иду я на перекрестки ваших улиц, нагая и прекрасная, и жаждущая объятий и пламенных ласк, я, великая царица поцелуев. Вы все, смелые и юные, придите ко мне, насладитесь красотой и буйным дерзновением моим, в моих объятиях испейте напиток любви, сладостной до смерти, любви, более могущественной, чем и самая смерть. Придите ко мне, к царице поцелуев.

Заслышав пронзительно-звонкий зов Мафальды, отовсюду поспешно сбежались юноши того города.

Красота юной Мафальды, и еще более, чем эта красота, бесовское обаяние, разлитое в ее бесстрашно и дерзко обнаженном предо всеми теле, распалили желания сбежавшихся юношей.

Первому же из них открыла юная Мафальда свои страстные объятия и упоила его блаженством пламенных поцелуев и страстных ласк. Отдала она его желаниям свое прекрасное тело, простертое здесь же, на улице, на поспешно разостланном широком плаще ее любовника. И пред очами вождедеющей толпы юношей, испускающих вопли страсти и бешеной

ревности, быстро насладились они горячими ласками.

Едва разомкнулись объятия первого любовника, едва склонился он к ногам прекрасной Мафальды в страстной истоме, желая кратким отдыхом восстановить любовный неистовый пыл, оттащили его от Мафальды. И второй юноша завладел телом и жаркими ласками Мафальды.

Густая толпа вожделеющих юношей теснилась над ласкающимися на жестких камнях улицы.

— Им жестко, — сказал кто-то благоразумный и добрый, — подложим им свои плащи, чтобы и для себя приготовить пышное ложе, когда придет наш черед возлечь с царицею поцелуев.

И вмиг целая гора плащей воздвиглась среди улицы.

Один за другим бросались юноши в бездонные объятия Мафальды. И отходили в изнеможении один за другим, а прекрасная Мафальда лежала на мягком ложе из плащей всех цветов, от ярко-красного до самого черного, и обнимала, и целовала, и стонала от беспредельной страсти, от не утомляемой ничем жажды поцелуев. И свирельным голосом вопила, и далека окрест был слышен голос ее, вызывающий так:

— Юноши этого города и других городов и селений, ближних и дальних, придите все в объятия мои, насладитесь любовью моею, потому что я — царица поцелуев, и ласкания мои неистощимы, и любовь моя безмерна и неутомима даже до смерти.

Разнеслась по городу быстрокрылая молва о неистовой Мафальде, которая лежит на перекрестке улиц и предает свое прекрасное тело ласканиям юношей. И пришли на перекресток мужи и жены, старцы и почтенные господа, и дети, и широким кругом обступили тесно сплотившуюся толпу неистовых. И подняли громкий крик, укоряли бесстыдных и повелевали им разойтись, угрожая всею силою родительской власти, и гневом Божиим, и строгою карою от городских властей. Но только воплями распаленной страсти отвечали им юноши.

И Бальтасар пришел и рвался к своей жене, яростно вопия, расточая удары и кусаясь. Но не пустили его юноши к Мафальде. Обессилел старик и, стоя поодаль, рвал на себе одежду и седые волосы.

Пришли городские старейшины и повелели бесстыдному сборищу разойтись. Но не послушались юноши и продолжали толпиться вокруг прекрасной обнаженной Мафальды. И уговоры патеров не подействовали на них. И уже долго длилось позорище, и уже клонился к вечеру день.

Позвали тогда стражу. Воины набросились на юношей, избили многих, других кое-как разогнали. Но тут увидели обольстительное, хотя уже измятое многими ласками, тело Мафальды, и слышали ее свирельно-

звонкий вопль:

— Я — царица поцелуев. Придите ко мне все жаждущие сладостных утешений любви.

Забыли воины свой долг. И тщетно восклицали старейшины:

— Возьмите безумную Мафальду и отнесите ее в дом к ее супругу, почтенному Бальтасару.

Воины, как перед тем юноши, обступили Мафальду и жаждали ее объятий. Но так как они были грубые люди и не могли соблюдать очереди, как делали это учтивые и скромные юноши того города, хорошо воспитанные их благочестивыми родителями, то они разодрались, и пока один из них обнимал Мафальду, другие пускали в ход оружие, чтобы решить силою меча, кто должен насладиться несравненными прелестями Мафальды. И многие были ранены и убиты.

Не знали старейшины, что делать. Совещались на улице близ того места, где неистовая Мафальда вопила в объятиях солдат и осыпала их неутомимыми ласками.

Случай, который при всяких других обстоятельствах следовало бы признать ужасным, пришел на помощь сгорающим от бессильного гнева и стыда старейшинам города. Один из солдат, юный и сравнительно с другими слабый, но страстный не менее остальных, не мог дожидаться возможности приблизиться к обольстительному телу Мафальды. Он ходил вокруг места, где сладостные звучали поцелуи, где неистощимая любовь дарила не сравнимые ни с чем наслаждения его товарищам, — и отталкивали его от этого милого места товарищи его и грубо смеялись над ним. Он лег на камни мостовой, жесткие, холодные, — ибо уже целый день прошел и ночная тьма спустилась над городом, — лег на камни, закрыл голову плащом и завыл жалобно от обиды, стыда и бессильного желания. Сжигаемый злобою, украдкою ухватился он за свой кинжал и тихо, тихо, как в траве крадущаяся змея, пополз между ногами толпившихся солдат. И приблизился к Мафальде. Ощупал горячими руками ее похолодевшие ноги и в трепещущий бок ее вонзил быстрый кинжал.

Громкий визг раздался и прерывистый вой. В руках ласкавшего ее солдата умирала Мафальда и стонала все тише. Захрипела. Умерла. Обрызганный ее кровью, поднялся солдат.

— Кто-то зарезал царицу поцелуев! — завопил он свирепо. — Кто-то злой помешал нам насладиться ласками, которых еще никто не знал на земле, потому что первый раз к нам сошла царица поцелуев.

Смутились солдаты. И стояли вокруг тела. Тогда подошли старцы, уже бесстрастные от долготы пережитых ими лет, подняли тело Мафальды и

отнесли его в дом к старому Бальтасару.

В ту же ночь молодой солдат, убивший Мафальду, вошел в ее дом. Как случилось, что его никто не заметил и не остановил, не знаю.

Он приблизился к телу Мафальды, лежащему на кровати, — еще не был сделан гроб для покойницы, — и лег рядом с нею под ее покрывалом. И мертвая разомкнула для него Мафальда свои холодные руки, и обняла его крепко, и до утра отвечала его поцелуям поцелуями холодными и отрадными, как утешающая смерть, и отвечала его ласкам ласками темными и глубокими, как смерть, как вечная узорешительница смерть.

Когда вошло солнце и знойными лучами пронизало сумрак тихого покоя, в этот страшный и томный, в этот рассветный час в объятиях обнаженной и мертвой Мафальды, царицы поцелуев, под ее красным покрывалом умер молодой воин. Разъединяя свои объятия, в последний раз улыбнулась ему прекрасная Мафальда.

Я знаю, что найдутся неразумные жены и девы, которые назовут сладким и славным удел прекрасной Мафальды, царицы поцелуев, и что найдутся юноши столь безумные, чтобы позавидовать смерти ее последнего и наиболее обласканного ею любовника. Но вы, почтенные, добродетельные дамы, для поцелуев снимающие одни только перчатки, вы, которые так любите прелести семейного очага и благопристойность вашего дома, бойтесь, бойтесь легкомысленного желания, бегите лукавого соблазителя.

1921

Красногубая гостья [\[386\]](#)



Хочу ныне рассказать о том, как спасен был в наши дни некто, хотя и мало достойный, но все-таки брат наш, спасен от злых чар ночного волхования словами непорочного Отрока. Темной вражьей силе дана бывает власть на дни и часы, но побеждает всегда Тот, Кто родился, чтобы оправдать жизнь и развенчать смерть.

II

Эта зима была для Николая Аркадьевича Варгольского тяжелая и томная.

Он все больше и больше отдалялся от всех своих друзей, родственников и знакомых. Все охотнее просиживал он короткие темные дни и длинные черные вечера в унылом великолепии своего старого особняка и ограничивался только недолгими прогулками по всегда тщательно выметенным аллеям тенистого небольшого сада при его доме.

Николай Аркадьевич даже не принимал почти никого, кроме своей недавней знакомой Лидии Ротштейн, бледнолицей, прекрасной молодой девушки, с жутко-громадными глазами и чрезмерно яркими губами.

Прежде Николай Аркадьевич любил все прелести веселой, рассеянной жизни. Он любил светское общество, зрелище, музыку, спорт. Бывал везде, где бывают обыкновенно все. Живо интересовался всем тем, чем все в его кругу интересуются, чем принято интересоваться: Был он молод, независим, богат, в меру окружен и в меру одинок и свободен, весел, счастлив и здоров.

А теперь вдруг все это странно и нелепо изменилось. Многокрасочная прелесть жизни потеряла свою над ним власть. Забылась пестрота впечатлений и ощущений разнообразной, веселой жизни. Ни к чему не тянуло. Ничего не хотелось.

Все, что прежде перед его глазами стояло ярко и живо, теперь заслонилося бледным, жутко-прекрасным лицом его красногубой гостыи.

И только хотелось ему смотреть в бездонную глубину этих странных, точно неживых, точно навеки замороженных тишиною и тайною, зеленоватых глаз. И только хотелось ему видеть эту безумно-алую на бледном лице улыбку, видеть этот большой, прямо разрезанный рот с такими яркими губами, точно сейчас только разрезан этот рот, и еще словно свежей дымится он кровью. И только хотелось ему все слушать да слушать тихие, злые слова, неторопливо падающие с этих странных и очаровательных уст.

Такое все стало скучное, что вне этих стен! Такою докучною, ненужною казалась ему вся эта жизнь> внешняя, шумная, которою он жил до сих пор.

Вялая лень разливалась в его теле, прежде таком бодром и радостном. Голова стала часто болеть и томно кружиться, полная глухих, безумных шумов и звонов. Лицо его бледнело, точно яркие губы Лидии Ротштейн выпивали всю его жизнь.

III

С чего это началось? Теперь это как-то смутно и неохотно припоминалось ему.

Познакомились где-то, в сумеречном, холодном свете осеннего вечера. Кажется, говорили что-то незначительное. Николай Аркадьевич был чем-то в тот день занят и увлечен. Она была бледна, малоразговорчива и неинтересна. Поговорили с минуту, не больше. Разошлись, — и Николай Аркадьевич забыл о ней, как забывают всегда о случайных, ненужных встречах.

IV

Прошло несколько дней. Николай Аркадьевич кончал свой завтрак. Ему сказали, что его желает видеть госпожа Лидия Ротштейн.

Николай Аркадьевич слегка удивился. Это имя не сказало ему ничего. Забыл совсем. Досадливо поморщился. Спросил лакея:

— Кто такая? Просительница? Так дома нет.

Молодой, красивый лакей Виктор, тщательный подражавший своему барину в манерах и модах, усмехнулся такой же ленивой и самоуверенной, как и у Николая Аркадьевича, улыбкой бритых, холеных губ, и сказал с такой же, как и у барина, растяжкой:

— Не похоже на просительницу. Скорее будут из стилизованных барышень. Где-нибудь на пляже вы изволили с ними познакомиться.

Уже весело улыбаясь, спросил Николай Аркадьевич:

— Ну, почему же непременно на пляже?

Виктор отвечал:

— Да так-с мне по всему сдается. По общему впечатлению. Первое впечатление почти Никогда не обманывает. Притом же из городских словно

бы такой не припомню.

Николай Аркадьевич спросил, продолжая соображать, кто бы такая могла быть эта стилизованная барышня Ротштейн:

— А какая она из себя?

Виктор принялся рассказывать:

— Туалет черный, парижский, в стиле танагр, очень изящный и дорогой. Духи необыкновенные. Лицо чрезвычайно бледное. Волосы черные, причесаны, как у Клео де Мерод. Губы до невозможности алого цвета, так что даже удивительно смотреть. Притом же невозможно предположить, чтобы употреблена была губная помада.

— А, вот это кто!

Николай Аркадьевич вспомнил. Оживился очень. Сказал почти радостно:

— Хорошо. Сейчас я к ней выйду. Проводите ее в зеленую гостиную и попросите подождать минутку.

Он наскоро кончил свой завтрак. Прошел в ту комнату, где ожидала его гостья.

V

Лидия Ротштейн стояла у окна. Смотрела на великолепные переливы осенней, багряно-желтой, словно опаленной листвы. Стройная, длинная, вся в изысканно черном, она стояла так тихо и спокойно, как неживая. Казалось, что грудь ее не дышит, что ни одна складка ее строгого платья не шевельнется.

Очерк ее лица сбоку был строг и тонок. Лицо было так же спокойно, безжизненно, как и ее застывшее в неподвижности тело. Только на бледном лице чрезмерная алость губ была живою.

С жестокою нежностью чему-то улыбались эти губы и трепетно радовались чему-то.

Заслышав отчетливый звук легких шагов Николая Аркадьевича по холодному паркету этой строго-красивой гостиной, в которой преобладал зеленоватый камень малахит, Лидия Ротштейн повернулась лицом к Варгольскому.

С нежной жестокостью чему-то улыбались ее чрезмерно алые губы, ее губы прекрасного вампира, и трепетно радовались чему-то. Радость их была злая и победительная.

Взором, неотразимо берущим душу в нерасторжимый плен, она

смотрела прямо в глубину глаз Николая Аркадьевича. И было в нем странное смущение и непривычная ему неуверенность, когда он услышал ее первые слова, сказанные золотозвещающим голосом.

VI

Она говорила:

— Я к вам пришла, потому что это необходимо. Для меня и для вас необходимо. Вернее, неизбежно. Пути наши встретились. Мы должны покорно принять то, что неотвратимо должно случиться с нами.

Николай Аркадьевич с привычной, почти машинальной любезностью пригласил ее сесть.

Привычный скептицизм человека светского и очень городского подсказывал ему, что его красноустая гостья — просто экзальтированная особа и что слова ее высокопарны и нелепы. Но в душе своей он чувствовал неодолимое обаяние, наводимое на него холодным мерцанием ее слишком спокойных, зеленоватых глаз. И не было в душе его того спокойствия, которое до того времени было ее постоянным и естественным состоянием во всяких обстоятельствах его жизни, хотя бы самых экстравагантных.

Лидия Ротштейн села в подставленное ей Николаем Аркадьевичем кресло. Медленно снимая перчатки, она медленным взором обводила комнату, — ее стены с малахитовыми колоннами, — ее потолок, расписанный каким-то лукаво-мудрым художником конца позапрошлого столетия, — ее старинную мебель, все эти очаровательные вещи, соединившие в себе прелесть умной старины и слегка развращенного, изысканного вкуса той далекой эпохи напудренных париков, жеманной любезности и холодной жестокости, эпохи, созданием которой был старый дом Варгольских.

VII

Тихо говорила Лидия Ротштейн:

— Как очаровательно все это, что вас здесь окружает! Этот дом имеет, конечно, свои легенды. По ночам, быть может, здесь иногда ходят призраки ваших предков.

Николай Аркадьевич отвечал:

— Да, в детстве я слышал кое-что об этом. Но мне самому не доводилось видеть здесь призраки. Люди нашего века скептически настроены. Призраки боятся показываться нам, слишком живым и слишком насмешливым.

Лидия спросила:

— Чего же им бояться?

Николай Аркадьевич отвечал, стараясь придерживаться тона легкой шутки:

— Электрический свет вреден для них, а наша улыбка для них смертельна.

Тихо повторила Лидия:

— Электрический свет! Самые страшные для людей призраки — это те, которые приходят днем. Днем, как я пришла. Не кажется ли вам и в самом деле, что я похожа на такой призрак, приходящий днем? Я так бледна.

Николай Аркадьевич сказал:

— Это к вам идет. Вы очаровательны.

Ему хотелось быть слегка насмешливым. Но его слова против его воли звучали нежно, как слова любви.

Лидия говорила:

— Может быть, и я пройду перед вами, как один из призраков вашего старого дома, и исчезну, изгнанная вашей скептической улыбкой, как те призраки, которых вы уже изгнали отсюда. Если изгнали. Впрочем, Бог с ними, с этими призраками. Я могу побыть с вами сегодня только недолгое время, а мне надо многое сказать вам. Или, может быть, вы не захотите меня выслушать?

— Пожалуйста, я весь к вашим услугам, — сказал Николай Аркадьевич.

VIII

Лидия помолчала немного и продолжала:

— Меня зовут Лидией, но мне больше нравится, когда меня называют Лилит^[387]. Так назвал меня мечтательный юноша, один из тех, кого я любила. Он умер. Умер, как все, кого я любила. Любовь моя смертельна, — и мне хорошо, потому что любовь моя и смерть моя радостнее жизни и слаще яда.

Николай Аркадьевич заметил:

— Если яд сладок.

Он старался легко и шутливо улыбаться, но чувствовал, что улыбка его бледна и бессильна.

С холодной, почти безжизненной настойчивостью повторила Лидия:

— Сладше яда. Во мне душа Лилит, лунная, холодная душа первой эдемской девы, первой жены Адама. Земное, дневное, грубое солнце мне, бледной Лилит, ненавистно. Не люблю я дневной жизни и безобразных ее достижений. К холодным успокоениям зову я тех, кого полюбила. К восторгам безмерной и невозможной любви зову я их. Пеленою мечтаний, которые сладше ароматнейших из земных благоуханных отрав, я застилаю безобразный, дикий мир дневного бытия. Многоцветной, яркой пеленой застилаю я этот тусклый мир перед глазами возлюбленных моих. Крепки объятия мои и сладостны мои лобзания. И у того, кого я люблю, я прошу в награду за безмерность и невозможность моих утешений только малого дара, скудного дара. Только каплю его жаркой крови для моих холодеющих вен, только каплю крови прошу я у того, кого полюбила.

Очарованием великой печали и тоски безмерной звучали золотые звоны ее отравленных странным и страшным желанием речей. В холодной глубине ее глаз разгоралось холодное, зеленое пламя, — и мерцание этого пламени чаровало и обезволивало Николая Аркадьевича. Он сидел, и молчал, и слушал тихие, золотом звенящие слова своей зеленоокой, краснотугой гостью.

IX

И она говорила:

— Только одну каплю крови. Моими устами прикинну я к телу возлюбленного моего. Моими жаждущими вечно устами я, как вставший из могилы вампир, вопьюсь в это милое, горячее место между горлом и плечом, между горлом, где трепещет дыхание жизни, и белым склоном плеча, где напряженная дремлет сила жизни. Вопьюсь, вопьюсь в сладостную плоть возлюбленного моего и выпью каплю его жаркой крови. Одну каплю, — ну, может быть, две, три или даже четыре. Ах, возлюбленный мой не считает! Возлюбленному моему и всей своей крови не жалко, — только бы оживить меня, холодную, жарким трепетом своей жизни, — только бы я не ушла от него, не исчезла, подобная бледному, безжизненному призраку, исчезающему при раннем крике петуха.

Стараясь улыбнуться, Николай Аркадьевич сказал:

— Все это, что вы говорите, конечно, очень интересно и оригинально, — но я не понимаю, какое отношение я имею ко всему этому.

Но он сейчас же почувствовал всю ненужность и неправду своего жалкого ответа. И потому, по мере того, как он говорил, голос его становился глуше и слабее, и последние слова он сказал совсем тихо, почти прошептал.

X

Лилит встала. Подошла к нему. В движениях ее не было той порывистой страстности, с какой земные женщины произносят свои признания.

Стоя перед Варгольским и глядя прямо в его глаза холодным взором жутких глаз, в которых разгорался зеленый, мертвый огонь, она сказала:

— Я люблю тебя. Тебя избрала я, возлюбленный мой.

Подчиняясь золотым звонам ее голоса, он встал со своего места. И стояли они друг против друга, — она, бледноликая, зеленоокая, с чрезмерно яркими, как у вампира, устами, и вся холодная, как неживая, лунная Лилит, — и он, зачарованный и словно всю свою утративший волю.

Лилит сказала:

— Люби меня, возлюбленный мой. Больше и сильнее, чем любил ты дневную свою жизнь, люби меня, лунную, холодную твою Лилит.

Упала минута молчания. Казалось тогда, что не было сказано ни одного слова.

И вот спросила его Лилит:

— Возлюбленный мой, любишь ли ты меня? Любишь ли?

Варгольский тихо ответил ей:

— Люблю.

И чувствовал, как душа его тонет в зеленой прозрачности ее тихих глаз.

И опять спросила его Лилит:

— Возлюбленный мой, любишь ли ты меня сильнее, чем все очарования и прелести дневной жизни, меня, твою лунную, твою холодную Лилит?

Отвечал ей Варгольский — и холод великого успокоения был в звуке его тихих слов:

— Моя лунная, моя холодная Лилит, я люблю тебя сильнее, чем все очарования дневной жизни. И уже отрекаюсь от них, и отвергаю их все за

один твой холодный поцелуй.

Радостно улыбнулась Лилит, но радостно-холодная улыбка ее была коварная и злая. И спросила Лилит:

— Отдашь ли ты мне каплю твоей многоценной крови?

Чувствуя, как в душе его возникают и сплетаются в дивном борении ужас и восторг, Варгольский сказал, простирая к ней руки:

— Отдам тебе, моя Лилит, всю мою кровь, потому что люблю тебя безмерно и навсегда.

И она прильнула к его устам поцелуем долгим и томным. Темное и томное самозабвение осенило Варгольского, и того, что было с ним потом, он никогда не мог отчетливо вспомнить.

XI

С того дня Лидия Ротштейн приходила к Николаю Аркадьевичу в неопределенные сроки, то чаще, то реже, почти всегда неожиданно, в разное время, то днем, то вечером, то поздней ночью. Она как-то ухитрялась всегда заставить его дома. А потом это стало и нетрудно, когда он почти совсем прекратил сношения с людьми.

Всегда эти свидания с Лилит были окутаны в сознании Варгольского густой пеленой странного, почти досадного ему забвения. Одно знал он несомненно, — как ни крепки были объятия Лилит, как ни безумно дики были ее поцелуи, все же их связь оставалась чуждой грубых земных достижений, и ни разу не отдалась ему эта странная, красноустая гостья с неживыми глазами и с апокрифическим именем.

Когда она приникала к его плечу, легкая острая боль пронизывала все тело Варгольского, — и тогда становилось ему сладко и томно. В теле чередовались жуткие ощущения зноя и холода, точно била его лихорадка.

Знойные, жадные губы Лилит, только одни живые в холоде ее тела, впивались в его кожу. Поцелуй их был подобен холодному бешенству укуса. И казалось ему тогда, что кровь его точится капля за каплей.

XII

Лилит исчезала незаметно.

Долго после ее ухода Варгольский лежал, погруженный в томное бессилие, ни о чем не думая, ничего не вспоминая, не мечтая ни о чем.

Даже о Лилит не мечтал и не вспоминал он тогда. Самые черты ее лица припоминались ему неясно и неопределенно.

Иногда он думал о ней потом, когда проходило то оцепенение, в которое погружали его ее ласки. Он думал иногда, что она не человек, а вампир, сосущий его кровь, что она его погубит, что надо ему оградиться от нее. Но эти короткие, вялые мысли не зажигали его обессиленной воли. Ему было все равно.

Иногда он спрашивал себя, любит ли он Лилит. Но, прислушиваясь внимательно к темным голосам своей души, он не находил в них ответа на этот вопрос. И было в нем равнодушие, холодное и спокойное. Любит, не любит — не все ли равно!

XIII

Лакей Николая Аркадьевича, Виктор, был женат. Однажды, незадолго до святок, он пришел к Николаю Аркадьевичу не в урочное время и сказал ему:

— Жена моя, Наталья Ивановна, разрешившись на днях от бремени, просит вас, Николай Аркадьевич, сделать нам большую честь, и удостоить быть восприемником от купели нашего первого сына, новорожденного младенца Николая.

Виктор старался держаться своего всегдашнего спокойного, солидного тона, но при последних словах, вспомнив со всей остротой новизны, что он уже отец, покраснел от радости и гордости, и засмеялся с неожиданным, почти деревенским, простосердечием. Но, впрочем, тотчас же сдержался и опять стал вести себя чинно и степенно. Сказал со всегдашним своим достоинством:

— И я со своей стороны осмеливаюсь присоединиться к просьбе моей жены. Сочтем за великую для себя честь и будем чрезвычайно рады.

Николай Аркадьевич поздравил счастливого отца. Согласился немедленно — не потому, что хотел согласиться, а просто потому, что вялое равнодушие давно уже угнездились в нем.

И странное дело — это обстоятельство, такое, по-видимому, незначительное в его жизни, с какой-то неожиданной силой внесло резкую перемену в его отношение к Лилит.

Первый же раз, когда он увидел младенца Николая, которого ему надо было назвать своим крестником, он почувствовал нежное умиление к этому слабо попискивающему, красному, сморщенному комочку мяса,

завернутому в мягкие, нарядные пеленки. Глаза малютки еще не умели останавливаться на здешних предметах — но земная, вновь сотворенная из темного земного томления душа, радостно мерцая в них, трепетала жаждою новой жизни.

Николаю Аркадьевичу вспомнились зеленые, жуткие пламенники неживых глаз его белолицей гостьи с чрезмерно красными губами. Сердце его вдруг сжалось ужасом и страстною тоскою по шумной, радостной, многоцветной, многообразной жизни.

XIV

Когда после веселого обряда крестин, в котором он принял недолгое участие, он вернулся к себе в мерцающую тишину высоких покоев, он опять почувствовал себя слабым и равнодушным ко всему.

Там, у Виктора, ему напомнили, что сегодня сочельник.

Где же он встретит праздник? Как его проведет? Уже давно, больше месяца, он упрямо не принимал никого и сам ни у кого не был.

Над холодным его равнодушием возникали то тихо поблескивающие глазенки его крестника, то слабый его писк. И напоминали ему Младенца в яслях, и звезду над дивным вертепом, и волхвов, принесших дары. Все, что было забыто, что было овеяно холодным дыханием рассеянной, светской жизни, припомнилось опять, и опять томило душу сладким предчувствием восторга.

Варгольский взял книгу, которую не открывал уже много лет. Прочитал трогательные, простые и мудрые рассказы о рождении и детстве Того, Кто пришел к нам, чтобы нашу бедную земную, дневную жизнь оправдать и обрадовать, Кто родился для того, чтобы развенчать и победить смерть.

Трепетна была душа, и слезы подступили к глазам.

Злые обольщения его коварной гостьи вдруг вспомнились Варгольскому. Как мог он поддаться их лживому обаянию! Когда цветут на земле милые, невинные улыбки, когда смеются и радуются милые, невинные, детские глаза!

Но ведь она, лунная, неживая, лживая Лилит, опять придет. И опять зачарует обаянием смертной тишины!

Кто же поможет? Кто спасет?

Книга бессильно выпала из рук Николая Аркадьевича. Молитва не рождалась в его обессиленной душе.

И как бы он стал молиться? Кому и о чем?
Как молиться, если она, лунная, холодная Лилит, уже здесь, за дверью?

XV

Вот чувствует он, что она стоит там, за дверью, в странной нерешительности, и медлит, колеблясь на страшном ему и ей пороге.

Лицо ее бледно, как всегда. В глазах ее холодное пламя. Губы ее цветут страшной яркостью, как яростные губы упившегося жаркою кровью выходца из темной могилы, губы вампира.

Но вот Лилит преодолела страх, в первый раз остановивший ее у этого порога. Быстрым, как никогда раньше, движением она распахнула высокую дверь и вошла. От ее черного платья повеяло страшным ароматом туберозы, веянием благоуханного, холодного тления.

Лилит сказала:

— Возлюбленный мой, вот я опять с тобою. Встречай меня, люби меня, целуй меня — подари мне еще одну каплю твоей многоценной крови.

Николай Аркадьевич протянул к ней руки угрожающим и запрещающим движением. Он сделал над собою страшное усилие, чтобы сказать:

— Уйди, Лилит, уйди. Я не люблю тебя, Лилит. Уйди навсегда.

Лилит смеялась. Был страшен и жалок трепет ее чрезмерно алых губ, обреченных томиться вечной жаждой. И говорила она:

— Милый мой, возлюбленный мой, ты болен. Кто говорит твоими устами? Ты говоришь то, чего не думаешь, чего не хочешь сказать. Но я возьму тебя в мои объятия, я, твоя лунная Лилит. Я опять прижму тебя к моей груди, которая так успокоенно дышит. Я опять прильну к твоему плечу моими алыми, моими жаждущими устами, я, твоя лунная, твоя холодная Лилит.

Медленно приближалась к нему Лилит. Было неотразимо очарование ее смеющихся алых губ. И был слышен золотой звон ее слов:

Целованием последним прильну я к тебе сегодня. Я навеки уведу тебя от лживых очарований жизни. В моих объятиях ты найдешь ныне блаженный покой вечного самозабвения.

И приближалась медленно, неотразимо. Как судьба. Как смерть.

XVI

Уже когда ее протянутые руки почти касались его плеч, вот, между ними дивный затеплился тихо свет. Отрок в белом хитоне стал между ними. От его головы струился дивный свет, как бы излучаемый его кудрявыми волосами. Очи его были благостны и строги, и лик его прекрасен.

Отрок поднял руку, повелительно отстранил Лилит и сказал ей:

— Бедная, заклятая душа, вечно жаждущая, холодная, лунная Лилит, уйди. Еще не настали времена, не исполнились сроки, — уйди, Лилит, уйди. Еще нет мира между тобою и детьми Евы, — уйди, Лилит, уйди. Исчезни, Лилит, уйди отсюда навсегда.

Легкий стон был слышен и свирельно-тихий плач. Бледная в сумраке полуосвещенного покоя, медленно тая, тихо исчезла Лилит.

Краткие прошли минуты, — и уже не было здесь дивного Отрока, и все было, как всегда, обыкновенно, просто, на месте. Как будто бы только легкою грезой в полусне было злое явление Лилит и как будто и не приходил дивный Отрок.

Только ликующая радость звенела и пела в душе измученного, усталого человека. Она говорила ему, что никогда не вернется к нему бледноликая, холодная, лунная Лилит, злая чаровница с чрезмерною алостью безумно жаждущих губ. Никогда!

1909



I

Начинающий юрист, помощник присяжного поверенного Петр Антонович Буланин, юноша лет тридцати, уже два года тому назад окончивший курс университета, жил летом на даче в семье своего двоюродного брата, учителя гимназии, филолога.

Прошлый год был для Петра Антоновича сравнительно счастлив, — ему удалось получить защиту по двум уголовным делам по назначению от суда и одно гражданское дело у мирового судьи по влечению сердца. Все три дела он блистательно выиграл: присяжные заседатели оправдали бедную швею, облившую серною кислотой лицо девушки, на которой хотел жениться ее любовник, и оправдали молодого человека, зарезавшего своего отца из жалости, потому что старик слишком усердно постился и от этого страдал; а мировой судья присудил взыскать полтора рубля по векселю, так как дело было бесспорное, хотя ответчик и говорил, что деньги он отработал. За все эти дела гонорара получил Петр Антонович всего только пятнадцать рублей — эти деньги дал ему держатель бесспорного векселя.

На такие деньги, понятно, жить нельзя, и Петру Антоновичу приходилось пока обходиться своими средствами, то есть получками от

отца, занимавшего где-то в провинции довольно видное место. В суде же Петр Антонович пока довольствовался одною только славой.

Но слава еще не была очень громкая, и получки от отца были умеренные. Поэтому Петр Антонович бывал часто в элегическом настроении, смотрел на жизнь довольно пессимистически и пленял барышень красноречием, бледностью лица и томностью взглядов, а также сарказмами, расточаемыми по всякому удобному и неудобному поводу.

Однажды вечером, после быстро промчавшейся грозы, освежившей душный воздух, Петр Антонович вышел гулять один. По узким полевым дорожкам он забрался далеко от дома.

Перед ним раскрывалась очаровательная картина, осененная светло-голубым куполом неба с разбросанными на нем разорванными облаками и озаренная неяркими, радостными лучами клонящегося к закату солнца. Тропинка, по которой он шел, вилась над высоким берегом неширокой, тихо льющейся по крутым изгибам русла реки; неглубокая вода в реке была прозрачна и казалась отрадносвежею и прохладною. Казалось, что стоит только войти в нее, и станешь вдруг обрадован простодушным счастьем, и сделаешься таким же легким, как те купающиеся в ней мальчишки, тела которых казались розовыми и необычайно гибкими.

Невдалеке от этой тропинки темнел радостный, успокоенный лес, а за рекою громадным полукругом тянулись равнины с раскиданными на них рощами и селами, и по ним змеились пыльно-серые ленточки дорог. Далеко по краям равнин загорались под огнем солнечных лучей золотые звездочки, кресты далеких церквей и колоколен.

Все кругом было радостно, наивно и свежо. А Петру Антоновичу было грустно. Ему казалось, что от этой прелести, которая окружает его, грусть становится еще острее, — как будто кто-то коварный и недобрый искушал его сердце, раскрывая перед ним в таком очаровательном виде всю прелесть земную.

Петр Антонович думал, что эта зримая прелесть, все это очарование взоров, вся эта нежнейшая сладость, легко льющаяся в его молодую, широко дышащую грудь, все это — лишь златотканый покров, наброшенный враждебно людям искустельницею, чтобы скрыть от простодушных взоров под личиною прелести нечисть, несовершенство и зло природы. Эта жизнь, нарядившаяся так красиво, обвеявшая себя такими ароматами, на самом деле была, думал Петр Антонович, только скучною прозою, тяжело скованною цепью причин и следствий, тягостным рабством, от которого не спастись человеку.

От этих дум становилось Петру Антоновичу порою так тоскливо,

словно в груди его просыпалась душа древнего зверя, жалобно скулящего по ночам у околиц. И думал Петр Антонович: «Хоть бы сказка вошла когда-нибудь в жизнь, хоть бы на короткое время расстроила она размеренный ход predetermined событий! Сказка, сотворенная своенравным хотением человека, плененного жизнью и не мирящегося со своим пленом, — милая сказка, где ты?»

Петр Антонович вспомнил прочитанную им вчера в журнале министерства народного просвещения статью, из которой ему особенно почему-то запомнилось в коротких словах пересказанное предание о лесной волшебнице Турандине. Она влюбилась в пастуха, оставила для него свою очарованную родину и прожила с ним несколько счастливых лет, пока не призвали ее таинственные лесные голоса. Ушла, — но счастливые годы остались в благодарной памяти человека.

Хоть бы несколько лет сказки, хоть бы несколько дней!

Сладостно размечтавшись, Петр Антонович воскликнул:

— Турандина, где ты?

II

Солнце склонилось низко. Тишина упала на окрестные поля. Ближний лес был тих. Ни одного звука не доносилось ниоткуда, и воздух был недвижим, и трава, усеянная матовыми каплями, не двигалась.

Был тот миг, когда исполняются желания человека, миг, для каждого человека, быть может, единственный в жизни. Во всем, что было вокруг, чувствовалось напряженное ожидание.

Петр Антонович остановился, взгляделся в светлую мглу перед собою и повторил:

— Турандина, где ты?

И, очарованный странным впечатлением тишины, как бы потерявший всю свою, отдельную от общей жизни, волю, как бы сливаясь с великой общей волей, он сказал с великой силой и с великой властью, как только однажды в жизни дано говорить человеку:

— Турандина, приди!

Тихий и радостный голос ответил ему:

— Я здесь!

Петр Антонович вздрогнул, оглянулся. Все вокруг опять было обыкновенно, и душа Петра Антоновича опять стала обычной, отдельной от мирового процесса душою маленького человека, такого же человека, как

и мы все, живущие в днях и в часах. А перед ним стояла та, кого он звал.

Это была прекрасная девушка с узким золотым венчиком на лбу, одетая в легкую, недлинную белую одежду. Ее косы, распустившиеся по плечам и упавшие ниже пояса, были так светлы, словно они были пропитаны пламенным солнцем. Ее глаза, устремленные прямо на молодого юриста, были так сини, словно в них открывалось небо, более чистое и более светлое, чем наши земные небеса. Ее лицо было так правильно, и так были стройны ее руки и ноги, и такое совершенное под складками ее одежды угадывалось тело, как будто вся она была воплощенным каноном девственной красоты. Она была бы подобна небесному ангелу, если бы ее тяжелые, черные брови не срастались над переносьем, обнаруживая в ней колдунью, и если бы цвет ее кожи не был смуглым, как бы облепленный солнцем знойного лета.

Петр Антонович в удивлении молчал и глядел на странную девушку. Она сказала ему:

— Ты звал меня, и я к тебе пришла. Ты позвал меня вовремя, как раз тогда, когда мне понадобился приют среди людей. Ты возьмешь меня и введешь в свой дом. А у меня нет ничего, кроме этого венца на голове, этой одежды на плечах и этой сумки в руках.

Она говорила тихо, так тихо, что звуки ее голоса не заглушили бы и легчайшего здешнего шума. Но и так явственно говорила она, и так вкрадчиво лились звуки ее голоса, что и самый невнимательный человек не проронил бы ни одного звука из ее нежно-звнящей речи.

Когда она говорила о том, что она принесла с собою, об этих трех ее вещах, Петр Антонович увидел в ее руке мешок из красной кожи, верхний край которого стянут золотым шнурком, — очень простой и очень красивый мешок, немножко похожий на те мешочки, в которых дамы носят в театры бинокли.

Петр Антонович спросил:

— Кто же ты?

Она ответила ему:

— Я — Турандина, дочь короля Турандоне. Мой отец очень любит меня. Но я сделала то, чего не следовало мне делать, — из простого любопытства я открыла будущее человеку. За это отец разгневался на меня и изгнал меня из своей страны. Будет день, мой отец простит меня, и я к нему вернусь. Но теперь я должна жить среди людей, и мне даны вот только эти три вещи: золотой венец — знак моего происхождения, белая сорочка — мой бедный покров и этот мешок, где лежит все, что мне понадобится. Хорошо, что я встретила тебя. Ты — тот человек, который

защищает впавших в несчастье и заботится о том, чтобы среди людей торжествовала правда. Возьми меня к себе, и ты об этом не пожалеешь.

Петр Антонович не знал, что ему думать и что говорить. Одно было несомненно, что эту девушку, одетую так легко, говорящую такие странные слова, необходимо было приютить, потому что оставить ее одну далеко от человеческих домов было невозможно.

Петр Антонович догадывался, что это, может быть, какая-то беглянка, скрывающая свое настоящее имя и плетущая о себе небылицы. Может быть, она убежала из сумасшедшего дома, а может быть, просто от родителей.

Впрочем, ничто в ее лице и в ее наружности, кроме костюма и слов, не намекало на безумие. Она была тиха и спокойна. Если она назвала себя Турандиной, то это могло быть потому, что она слышала, как это имя он произносил; историю же о Турандине она могла прочитать в какой-нибудь книге.

III

Сообразив все это, Петр Антонович сказал прекрасной незнакомке:

— Хорошо, милая барышня, я приведу вас к себе домой. Но я должен вас предупредить, что я живу в семье моего двоюродного брата и потому советовал бы вам назвать свое настоящее имя. Я боюсь, что мои родные никак не поверят в то, что вы — дочь короля Турандоне. Такого короля в настоящее время, насколько мне известно, нет.

Турандина улыбнулась. Сказала:

— Я говорю правду. Мне все равно, поверят или не поверят мне твои родные. Мне достаточно, чтобы ты мне поверил. И если ты мневеришь, ты меня защитишь от всякого злого человека и от всякого несчастья — ты ведь и есть человек, который избрал своим призванием стоять за правду и защищать слабых.

Петр Антонович пожал плечами.

— Если вы настаиваете на своем, — сказал он, — то я умываю руки и слагаю с себя ответственность за возможные последствия. Конечно, я возьму вас к себе, пока вы не найдете более верного приюта, и окажу вам всякую помощь и поддержку. Но, как юрист, я очень настойчиво советовал бы вам не скрывать своего имени и звания.

Турандина с улыбкой слушала его. Когда он кончил, она сказала:

— Ты ни о чем не заботься, все будет хорошо. Ты увидишь, я принесу

тебе счастье, если ты будешь со мною ласков. И не говори мне так много о моем настоящем имени и звании, — я тебе сказала правду. Больше сказать тебе не могу, — не велено мне говорить все. Веди же меня к себе. Солнце заходит, я пришла издалека и хочу отдохнуть.

Петр Антонович поспешно сказал:

— Ах, извините, пожалуйста. Пойдемте. Очень жаль, что здесь такое уединенное место — нельзя найти извозчика.

Петр Антонович быстро пошел по направлению к дому. Турандина шла рядом с ним. Походка ее была легкая, и незаметно было, что она устала. Казалось, что ее ноги едва касаются до жесткой глины, острых камешков и влажных трав и что омытая дождем дорожка не пачкает стопы легких ног.

Когда уже над высоким берегом реки показались первые дачные домики, Петр Антонович беспокойно посмотрел на Турандину и заговорил с некоторой неловкостью в тоне голоса:

— Извините, пожалуйста, милая барышня...

Турандина посмотрела на него, слегка нахмурила брови и, перебивая его, сказала с укором:

— Разве ты забыл, как меня зовут и кто я! Я — Турандина. Я — не милая барышня, а дочь короля Турандоне.

Петр Антонович почему-то смутился и забормотал:

— Извините, пожалуйста, mademoiselle Турандина, — очень красивое имя, хотя совершенно неупотребительное у нас. Но я хотел сказать вам следующее.

Опять Турандина перебила его и сказала:

— Говори не нам, а мне. Мои оставили меня, и я здесь одна. Не говори со мною, как с одною из знакомых тебе барышень. Говори мне ты, как должен говорить верный рыцарь своей прекрасной даме.

Петр Антонович почувствовал в словах Турандины такую настойчивую силу, что не мог не повиноваться ей. И когда он, обратясь к своей спутнице, в первый раз назвал ее Турандиной и первый раз сказал ей ты, он вдруг почувствовал себя легко и просто с нею. Он говорил:

— Турандина, неужели у тебя нет с собою какой-нибудь одежды? Если ты придешь в дом моего брата в этой легкой сорочке, то мои родные будут шокированы этим.

Турандина улыбнулась и сказала:

— Не знаю. Разве этой одежды мало? Мне сказали, что в этом мешке лежит все, что мне может понадобиться среди людей. Вот возьми, посмотри сам — может быть, ты и найдешь там то, что хочешь.

С этими словами она протянула Петру Антоновичу свой мешок. Растягивая на тугом шнурке его верхнее отверстие, Петр Антонович думал: «Хорошо, если догадались положить туда хоть какое-нибудь легкое платье».

Он опустил руку в мешок, нащупал там что-то мягкое и вытащил небольшой сверток, — такой небольшой, что он мог бы весь поместиться в сжатой руке Турандины. Когда же Петр Антонович развернул этот сверток, то оказалось, что это было именно то самое, чего он хотел, — платье точь-в-точь такого покроя, о котором он сейчас подумал, потому что видел его на днях на одной знакомой барышне.

Петр Антонович помог Турандине надеть это платье и застегнул его на ней, конечно, оно застегивалось сзади.

— Теперь хорошо? — спросила Турандина.

Петр Антонович с некоторым сожалением посмотрел на мешок. Конечно, в таком небольшом мешке не могло быть башмаков. Но все-таки Петр Антонович опять опустил туда руку, думая: «Хоть бы сандалии нашлись».

Он нащупал какие-то ремешки и вытащил пару маленьких золоченых сандалий. Тогда он вытер травой ноги Турандины, надел на них сандалии и затянул их ремешки.

— Теперь хорошо? — опять спросила Турандина.

В голосе ее была покорность, и по лицу ее видел Петр Антонович, что она готова исполнить все, что он велит; ему стало радостно. Он сказал:

— Да, шляпу можно после.

IV

Так в жизнь человека вошла сказка. Конечно, жизнь молодого юриста оказалась совершенно не приспособленной для принятия сказки. Родные молодого юриста с полным недоверием отнеслись к рассказу странной гостьи, да и сам Петр Антонович долго не мог ему поверить. Долго он добивался у Турандины ее настоящего, по его мнению, имени: пускался на разные хитрости, чтобы поймать ее на словах и доказать ей, что она говорит неправду. Турандина никогда не сердилась на его упорство и на его подходы. Она улыбалась светло и простодушно и терпеливо повторяла каждый раз одно и то же:

— Я сказала тебе правду.

— Где же находится та страна, где царствует король Турандоне? —

спрашивал Петр Антонович.

— Далеко отсюда, — говорила Турандина, — а если хочешь, то и близко. Из вас никто туда войти не может. Только мы, рожденные в чародейной стране короля Турандоне, можем войти в этот очарованный край.

— А ты можешь показать мне туда дорогу? — спрашивал Петр Антонович.

— Не могу, — отвечала Турандина.

— А сама можешь вернуться туда? — спрашивал Петр Антонович.

— Теперь не могу, — отвечала Турандина, — а когда позовут меня, вернусь.

Не было ни грусти в ее словах и на ее лице, ни радости, когда она говорила о своем изгнании из чародейной страны и о своем возвращении туда. Голос Турандины звучал всегда ровно и спокойно. Она глядела на все любопытными глазами, как будто видела все в первый раз, но любопытство ее было спокойное, как будто она легко ко всему привыкала и легко узнавала все, что являлось ей. Узнав что-нибудь однажды, уже она потом не ошибалась и не путала. Все правила обихода, которые сказали ей люди или которые сама она подметила, выполняла она легко и просто, как будто привычные ей с детства. Имена и лица людей запоминала она с первой встречи.

Турандина ни с кем не спорила и никогда не говорила неправды. Когда ей советовали сказать обычную в светском мире неправду, она покачивала головою и произносила странные слова:

— Нельзя сказать неправду. Земля все слышит.

Дома и в людях она вела себя с таким достоинством и с такою любезною приветливостью, что тот, кто способен был поверить в сказку, не мог не поверить тому, что перед ним стоит прекрасная принцесса, дочь мудрого, великого короля.

Но жизнь, которою жил молодой юрист и все его близкие и родные, трудно мирилась со сказкой. Боролась с ней, ставила ей всяческие ловушки.

V

Когда Турандина прожила несколько дней в семье филолога, пришел в кухню урядник и сказал кухарке:

— Тут у вас, сказывают, барышня гостит чужая, так прописать надо.

Кухарка сказала жене филолога, жена своему мужу, филолог Петру

Антоновичу, а Петр Антонович пошел к Турандине, которая сидела на террасе и читала с большим удовольствием.

— Турандина, — сказал Петр Антонович, — пришел урядник, требует твой паспорт, говорит, что тебя прописать надо.

Турандина очень внимательно выслушала Петра Антоновича. Спросила:

— Что такое паспорт?

— Это, видишь ли, Турандина, — объяснил Петр Антонович, — вид на жительство. Такая бумага, в которой обозначено твое имя, фамилия, звание, возраст. Без такой бумаги нигде нельзя жить.

— Если это надо, — спокойно сказала Турандина, — то это, должно быть, есть в моем мешке. Вот он лежит, — возьми, посмотри, нет ли в нем этого вида на жительство.

И точно, в чудном мешке нашелся вид на жительство, маленькая в шагреновой коричневой обложке бессрочная паспортная книжка, выданная из астраханского губернского правления на имя княжны Тамары Тимофеевны Турандоне, девицы, семнадцати лет. Все было по форме, печать, подпись чиновника, собственноручная подпись княжны Тамары Турандоне, казенный номер, — все, как во всех паспортных книжках.

Петр Антонович, улыбаясь, смотрел на Турандину.

— Так вот ты кто! — сказал он. — Ты — княжна, и зовут тебя Тамарою.

Турандина отрицательно покачала головой.

— Нет, — сказала она, — меня никогда не звали Тамарою. Эта книжка говорит неправду — она для твоего урядника и для всех тех, кто правды не знает и знать не может. А я — Турандина, дочь короля Турандоне. Живя среди людей, уже успела я увидеть, что правды они не хотят. Впрочем, об этой книжке я ничего не знаю. Кто положил мне ее в мешок, тот знал, что она мне понадобится. Верить же ты должен только моим словам.

Книжку прописали, чужие стали звать Турандину княжною или Тамарою Тимофеевною, а для своих она осталась Турандиною.

VI

Для своих — потому что сказка вошла в жизнь, и все было, как полагается быть в сказке и как бывает и в жизни: Петр Антонович полюбил Турандину, Турандина полюбила молодого юриста. Он решил повенчаться с нею, и родные молодого юриста слабо спорили с ним.

Говорили филолог и его жена:

— Несмотря на свое таинственное происхождение и на упорное молчание о своих родных, твоя Турандина — очень милая девушка, красивая, умная, весьма тактичная, добрая, прекрасно воспитанная, словом, обладает всеми качествами. Но ведь ты-то подумай — у тебя нет денег, да и у нее тоже.

— На эти полтора ста от отца жить в Петербурге вдвоем будет трудно.

— Особенно с княжною.

— При всех своих прекрасных качествах она, все-таки, надо думать, привыкла к хорошей жизни.

— У нее нежные, маленькие ручки. Правда, она ведет себя очень скромно, и ты говоришь, что, когда ты ее встретил, она шла босая и в одной сорочке, но ведь мы не знаем, каких костюмов захочется ей в городе.

Петр Антонович сначала призадумался было. Потом воспоминание о платье, вынутом из мешка Турандины, навело его на смелую мысль. Он засмеялся и сказал:

— В Турандиночкином мешочке нашлось для нее домашнее платьице. Кто знает, порыться хорошенько, может быть, и бальный туалет найдется.

Жена филолога, милая молодая дама с большими хозяйственными способностями, сказала:

— Лучше бы там деньги нашлись. Хоть бы рублей пятьсот было, хоть бы кое-какое приданое ей сшить.

Петр Антонович, смеясь, говорил:

— Найдется и пятьсот тысяч — приданое принцессы.

Жена филолога засмеялась и сказала:

— Размечтался! Довольно с тебя и ста тысяч.

В это время из сада на террасу, где шел этот разговор, тихо поднималась Турандина. Увидя ее, сказал Петр Антонович:

— Турандиночка, покажи-ка свой мешок, нет ли в нем ста тысяч.

Турандина протянула ему свой мешок и сказала:

— Если надо, там есть.

Петр Антонович опять опустил руку в мешок и вытащил пачку крупных кредитных бумажек. Стали считать, — но и без счета было видно, что денег много.

VII

Вошла сказка в жизнь молодого юриста. Хотя и не приспособлена

была жизнь к принятию сказки, но кое-как дала сказке место. Купила сказка место в жизни — очарованием своим и сокровищами волшебного мешка.

Женился молодой юрист на Турандине. Родила ему Турандина сына. Потом родила дочь. Сын был похож на мать и выросал мечтательным, нежным ребенком. Дочь была похожа на отца и выросала веселою, рассудительною девочкою.

Шли годы. Каждое лето, когда был самый длинный день, странная печаль овладевала Турандиною. Перед полуднем она уходила из дому и стояла на опушке леса, прислушиваясь к лесным голосам. Потом медленно и печально возвращалась домой.

И вот однажды, стоя в полдень у опушки леса, услышала Турандина громкий зов:

— Турандина, приходи. Турандоне тебя простил.

Ушла Турандина и не вернулась. В это время ее сыну было семь лет, а ее дочери пять лет.

Ушла из жизни сказка и не вернулась. Но сын Турандины не забыл своей матери.

Иногда он уходил от людей далеко. Когда он возвращался к людям, на лице его было такое выражение, что жена филолога тихо говорила мужу:

— Он был у Турандины.

1912

Мечта на камнях [\[389\]](#)



Год за годом проходит, проходят века, и все не открыта человеку тайна о мире и еще большая тайна о его душе. Спрашивает, испытует человек и не находит ответа. Мудрые, как и дети, не знают. И даже не всякий сумеет спросить:

— Кто же я?

В конце мая в громадном городе уже было жарко. В узком переулке жарко и душно, еще душнее во дворе. Солнце, яркое с утра, накалило железные, буро-красные крыши четырех, обставших тесный двор пятиэтажных каменных флигелей, их грязно-желтые стены и крупные булыжники сорной мостовой. Рядом с этим домом в переулке строили новый дом, такую же безобразную громаду с претензиями на новый стиль в нелепом фасаде. Оттуда тянуло на двор горьким, жестким запахом извести и сухой кирпичной пыли.

На дворе кричали, бегали и ссорились ребятишки, дети дворника, прислуг и жильцов попроще. Двенадцатилетний Гришка, сын кухарки Аннушки из семнадцатого номера, смотрел на них из кухни, из окна четвертого этажа, на животе лежа на подоконнике и вытянув прямо свои тоненькие в коротких штанишках босые ноги.

Мать сегодня Гришку на двор не пустила, — так, каприз нашел. Припомнила, что Гришка вчера чашку разбил. Хоть и был он за это своевременно поколочен, но сегодня Аннушка опять припомнила ему это.

— Только балуешься, — сказала она. — Нечего по двору бегать. Сиди дома. Уроки бы учил.

— Я без экзамена, — с гордостью напомнил Гришка.

И, как всегда при воспоминании о своем школьном торжестве, радостно засмеялся. Но мать посмотрела на него сурово и сказала:

— Без экзамена, так и сиди, пока не колочен. Чего зубы скалишь? Я бы на твоём месте никогда не улыбнулась.

Эту загадочную для Гришки фразу Аннушка любила иногда повторять. С тех пор, как ее муж, портной, умер, и ей пришлось жить в прислугах, она считала себя и Гришку несчастными и, думая о своем и о Гришкином будущем, всегда представляла себе это будущее в черном свете. Гришка перестал улыбаться, и ему стало неловко.

Впрочем, идти на двор ему не хотелось. Он и дома не скучал. У него была еще не прочтенная книжка с картинками, и он взялся за нее. Но он читал ее недолго. Взобрался на подоконник, засмотрелся на ребят. Потом,

отгоняя ощущение легкой головной боли, принялся мечтать.

Мечтать — это было любимое Гришкино занятие. Мечтал он по-разному и о разном, но всегда ставил себя в центре своих мечтаний, преображая мечтою и себя и мир. Ложась спать, Гришка всегда принимался мечтать о чем-нибудь нежном, радостном, немножко стыдном, жутком, иногда страшном, — и засыпал очень приятно, хотя бы днем и были неприятности. Днем часто выпадают неприятности на долю мальчика, который вырастает в кухне, у бедной, раздражительной, капризной, недовольной своей судьбой матери. Чем неприятнее были неприятности, тем слаще утешала мечта. И так жутко и весело было представить что-нибудь страшное, кутаясь с головой в одеяло.

Утром, проснувшись, Гришка вставать не торопился. В том коридоре, где он спал, идущем от кухни до барыниной спальни, было темно и душно; сундук, на котором расстилалась Гришкина постель, не так был мягок, как пружинный матрац на господских кроватях, куда он иногда забирался поваляться в отсутствии господ, если мать не доглядит. Но все-таки здесь было уютно и спокойно, пока не вспомнит, что пора идти в школу, или, не в учебный день, пока не прикрикнут, чтобы вставал. А бывало это только тогда, когда надобно было послать его в лавочку или заставить что-нибудь сделать. В другое время матери было не до него, и она даже рада была, что сын спит, не надоедает, не суется под ноги, не торчит на глазах.

— И без тебя тошно, — нередко говаривала она сыну.

И потому нередко довольно долго лежал по утрам Гришка в постели, нежась под рваным ватным одеялом, одним и тем же летом и зимою, так что летом или когда бывало сильно натоплено в кухне, становилось ему очень жарко. И опять он мечтал о чем-нибудь приятном, радостном, веселом, но уже вовсе не страшном.

Днем всякая, самая ничтожная причина вызывала в Гришке разнообразные мечты. Понравившийся рассказ или интересную сказку из хрестоматии, занятную повесть из какой-нибудь растрепанной книги, одной из тех, что раз в неделю выдавал в школе заведовавший ученической библиотекой учитель, любопытный эпизод из прочитанного вслух для матери нового романа, всякий услышанный от кого-нибудь и поразивший его воображение случай переиначивал Гришка в своих мечтах по-своему.

В городском училище, куда он ходил, учиться ему было нетрудно, но учился он посредственно, — некогда было. Так о многом надо было перемечтать! Притом же, когда Аннушка была свободна, она садилась что-нибудь шить или вязать, а Гришку заставляла читать какой-нибудь роман. До романов она была большая охотница, хотя грамоте и не была обучена,

любила слушать романы с приключениями, увлекалась похождениями Шерлока Холмса и Ключами Счастья, но с охотой слушала и старые романы Диккенса, Теккерея и Эллиота. Романы для чтения доставала Аннушка то у своей барыни, то у барышни-курсистки из четырнадцатого номера, которая зачитывалась в то время книгами Вербицкой^[390] и Нагродской^[391]. Все прочитанное Аннушка очень хорошо запоминала и любила подробно рассказывать это своим приятельницам — портнихе Даше Стальная Грудь или генеральшиной из третьего номера горничной Аманде.

И вот частенько по вечерам, чинно положив локти на белый деревянный кухонный стол, прижимаясь к столу худенькой грудью в ситцевой голубенькой рубашке, скрестив под столом недостающие до полу тоненькие, как точеные веретенца, ноги, Гришка читал быстро, громко и звонко, не все понимая, но часто взволнованный любовными сценами. Его очень занимали опасные и трудные положения, но еще более страницы любви, ревности или нежности, слова ласковые и страстные, муки и томления влюбленных, счастьем которых мешают злые люди.

И в мечтаниях Гришке чаще всего представлялись прекрасные дамы, улыбчивые, нежные и порою жестокие, и стройные, белокурые, голубоглазые пажи. У прекрасных дам были алые уста, так нежно улыбающиеся, так сладко целующие, говорящие такие милые, а иногда такие беспощадные слова, и были у этих прекрасных дам белые, нежные руки с длинными, тонкими пальчиками — руки нежные, но иногда такие сильные и жестокие, сулящие всю радость и всю боль, что может один человек дать другому. И у милых пажей вились длинные по плечам светлые кудри, и голубые глаза блестели, и ноги в белых шелковых чулках и в башмаках с острыми носками были полны и стройны. Слышался в мечтаниях беззаботный смех, и розы уст безмятежно цвели, и зори щек пылали ярко, — а если проливались иногда слезы, то лишь из голубых глаз милых пажей. Дамы же, прекрасные, но безжалостные, никогда не плакали, они умели только смеяться, ласкать и мучить.

Теперь уже несколько дней Гришку занимала мечта о какой-то далекой стране, волшебной, прекрасной, счастливой, и о мудрых людях, конечно, непохожих на тех людей, которых он видел здесь, в этом скучном доме, похожем на тюрьму, в этих томительных улицах и переулках и во всей этой скучной северной столице. Да и кого здесь он видел? Прекрасных и ласковых дам, как в его мечтах, здесь не было, — были барыни и барышни, важные и грубые, и были простые женщины и девушки, крикливые,

сварливые, злые. Рыцарей и пажей не было тоже. Никто не носил шарфа цветов своей дамы, и не слышно было, чтобы кто-нибудь сражался с великанами, защищая слабых. Господа здесь были неприятны и далеки, грубы или презрительно-ласковы, а простые люди тоже были грубы и тоже были далеки, простота их была так же страшна, как и хитрая, непонятная сложность господ.

Все, что видел здесь Гришка, не нравилось ему, оскорбляло его нежную душу. Даже самого имени своего он не любил. Даже когда мать, в порыве неожиданной нежности, вдруг начинала величать его Гришенькою, и тогда это ласковое имя все-таки не нравилось ему. А эта глупая кличка Гришка, как его называли всегда и мать, и барыня, и барышни, и все на дворе, казалась ему совсем чужой, никак не соединимой с тем, что он сам о себе думал; ему представлялось иногда, что она отваливается от него, как плохо наклеенный этикет от бутылки с вином.

II

Аннушке понадобилось поставить какую-то посуду на подоконник. Она захватила своей большой жесткой рукой обе тонкие в щиколотках Гришкины ноги и потянула его с подоконника. Сказала беспричинно грубо:

— Разлегся тут на все окно. И без тебя тесно, ничего поставить негде.

Гришка соскочил с окна. Испуганно глянул на суровое, сухощавое лицо матери, покрасневшее от жара кухонной печки, и на ее красные, до локтей открытые руки. В кухне было чадно, на плите что-то шипело и дымилось, пахло чем-то горьким и пригорелым. Дверь на лестницу была открыта. Гришка постоял у двери и, видя, что мать возится у печки и на него не смотрит, вышел на лестницу. Только там, почувствовав под ногами жесткие, сорные плиты площадки, он заметил, что голова его болит и кружится, сердце слегка замирает и во всем теле разливается лихорадочная томность.

«Какого чаду напустила!» — подумал он.

С каким-то недоумением оглядел он каменные серые ступеньки лестницы, выщербленные, сорные, бегущие вверх и вниз с неширокой площадки, на которой он остановился. Против их двери через площадку была другая дверь, закрытая глухо, и из-за нее доносились два звонкие женские голоса — кто-то с кем-то бранился. Слова сыпались, как свинцовая дробь из неосторожно развинченной висячей лампы, и казалось Гришке, что они юрко разбегаются по сухому полу чужой кухни и шуршат,

ударяясь о чугун и о железо. Было много этих слов, все они сливались в один визгливый гул, и только выделялись бранные слова. Гришка невесело усмехнулся. Он знал, что в этой квартире всегда бранятся и нередко бьют детей, злых и грязных.

Такое же окно, как в кухне, и из него виден тот же тесный, скучный мир, — красные крыши, желтые стены, пыльный двор. Все странное, чужое, ненужное, совсем непохожее на милые, близкие образы мечты.

Гришка взобрался на истертую доску подоконника, прислонился спиною к одной из распахнутых рам, но на двор не глядел. Перед ним открылись светло-украшенные палаты, и вот перед ним дверь в покой русокудрой принцессы Турандины, — и распахнулась дверь, и Турандина, у высокого, узкого окна свивавшая тонкий лен, оглянулась на шум открывшейся двери, придержала стройной белой рукой гулко жужжащую прялку, и глядела на него, и улыбалась нежно. Она говорила ему:

— Подойди ко мне поближе, мой милый мальчик. Я давно тебя ждала. Не бойся, подойди.

Гриша подошел, склонил колени у нее ног, и она спросила:

— Ты знаешь, кто я?

Очарованный золотыми звонами ее голоса, отвечал ей Гришка:

— Знаю, — ты — прекрасная принцесса Турандина, дочь могущественного короля этой страны, мудрого Турандоне.

Смеялась веселая принцесса Турандина и говорила:

— Ты это знаешь, но ты знаешь не все. От моего отца, мудрого короля Турандоне, я научилась чары деять, и что захочу, то с тобою и сделаю. Мне захотелось поиграть с тобою, я сказала над тобою чародейные слова, и ты ушел из гордого чертога, от своего отца, — и видишь, ты забыл свое настоящее имя и сделался кухаркиным сыном^[392], и зовут тебя Гришкою. И ты забыл, кто ты, и не вспомнишь, пока я этого не захочу.

— Кто же я? — спросил Гришка.

Смеялась Турандина. В ее васильково-синих глазах горели недобрые огоньки, как в глазах у молодой, еще не уставшей колдовать ведьмы. Тонкие пальчики Турандины сильно сжимали Гришкино тонкое плечо. Она говорила, дразня его, тоном маленькой уличной девчонки:

— А вот не скажу! Ни за что не скажу! Догадайся сам! Не скажу! Не скажу! Не догадаешься сам, — так и останешься Гришкою. Слышишь, кухарка Аннушка кличет тебя. Поди, поцелуй ее ручку. Иди скорее, а не то она тебя прибьет.

III

Гришка прислушался — из кухни раздавался сиплый голос матери:
— Гриша, Гришка, куда ты, пострел, запропастился?

Гришка поспешно вскочил с подоконника и бросился в кухню. Он знал, что, если мать зовет, нельзя мешкать — достанется. Теперь тем более, что мать всегда бывает сердита, когда готовит обед и особенно когда на кухне бывает чадно и угарно. Померкли светлые покои принцессы Турандины. Навстречу Гришке плыл кухонный синий дым. Гришкина голова опять сразу заболела и закружилась, и опять ему стало томно и тошно.

Мать говорила ему:

— Поворачивайся живо, беги скорее к Мильгану, купи лимонных сухарей полфунта и кекс в шесть гривен. Живо, сейчас подавать чай надо, у барыни — гости, кого-то черт принес не вовремя.

Гришка сунулся было в коридор, достать чулки и башмаки, но Аннушка сердито крикнула:

— Ну, чего еще там! Сапоги трепать! Да и некогда, беги так, — чтобы одна нога здесь, другая там.

Гришка взял деньги, серебряный рубль, зажал его в горячей руке, надел шапку и побежал вниз по лестнице. Бежал и думал: «Кто же я? И как это я забыл свое настоящее имя?»

Надобно было бежать далеко, за несколько улиц, потому что сухари и кекс велено было покупать не в той булочной, которая была напротив, в том же переулке, а непременно в другой, далекой. Барыня думала, что в этой булочной, которая близко, все скверно, и все засижено мухами, а вот в той, далекой, которую она сама выбрала, все очень хорошо, чисто и необычайно вкусно.

«Кто же я?» — настойчиво думал Гришка.

Мечты о прекрасной Турандине перебивались этим досадным вопросом. Пробегая быстрыми, легкими ногами по жестким тротуарам шумных улиц, встречаясь с чужими, обгоняя чужих, среди этого множества неприятных, грубых людей, куда-то торопящихся, толкающихся, презрительно посматривающих на голубенькую ситцевую Гришкину рубаху и на его коротенькие синие штанишки, Гришка опять чувствовал странность и нелепость того, что он, мечтающий о прекрасных дамах, знающий много милых историй, живет вот именно здесь, в этом сером жестком городе, растет вот именно так, в этой чадной кухне, и все здесь так

странно и чуждо ему.

Гришка вспомнил, как несколько дней тому назад живущий в том же доме, в двадцать четвертом номере, капитанский сын Володя зазвал его посидеть, поболтать- на лестнице у их квартиры во втором этаже противоположного флигеля. Володя был одних лет с Гришею. Он был мальчик живой и ласковый, и весело разговаривали мальчики, сидя на подоконнике. Вдруг открылась дверь, и Володина мать, кислая капитанша, показалась на пороге. Щурясь, оглядела она с головы до ног вдруг струсившего Гришку. Протянула презрительно:

— Это что такое, Володя? Что тебе за компания этот босоногий мальчишка? Отправляйся в комнаты и вперед не смей с ним знаться.

Володя покраснел, заговорил было что-то, но Гришка уже побежал к себе, в кухню.

Теперь на улице он думал:

«Не может быть, что все это так. Не может быть, что я и в самом деле просто Гришка, кухаркин сын, и что со мною нельзя знаться хорошим мальчиком, капитанским и генеральским сыновьям».

И в булочной, той, далекой, покупая то, что ему велели купить и чего ему не дадут есть, и на обратном пути Гришка то принимался мечтать о прекрасной Турандине, мудрой и жестокой, то опять возвращался к странной действительности, окружавшей его, и думал: «Кто же я? И как же мое настоящее имя?»

Мечтал, что он — царский сын, что гордый чертог его предков стоит в стране прекрасной и далекой. Он заболел тяжким недугом давно и лежит в своей тихой опочивальне, под золотым своим балдахинном, на мягкой пуховой постели, покрытый легким атласным покрывалом, и бредит, воображая себя кухаркиным сыном Гришкою. Открыты настежь окна его опочивальни, доносится иногда к больному сладкий дух цветущих роз, и голос влюбленного соловья, и плеск жемчужного фонтана. А у изголовья постели сидит его мать, царица, и плачет, и ласкает своего сына. Глаза у царицы ласковы и печальны, и руки ее нежны, потому что она не стряпает, не шьет и не стирает. Если и делает что милая мама-царица, так только вышивает цветным шелком по золотой канве атласную подушку, и из-под ее нежных пальцев выходят алые розы, и белые лилии, и павлины с длинными, глазастыми хвостами. И плачет мама-царица о том, что милый сын ее тяжело болен, что он, открывая порою мутные от болезни глаза, говорит непонятное что-то странными словами.

Но настанет день, и очнется сын царицы, и встанет со своего роскошного ложа, вспомнит, кто он и как его зовут в родной стране, и

засмеется.

IV

Радостно стало Гришке, когда он домечтал до этого. Он побежал еще быстрее. Ничего не замечал вокруг себя. Вдруг неожиданный толчок заставил его опомниться. Он испугался прежде, чем успел понять, что с ним случилось.

Мешок с покупками из рук его выпал, тонкая бумага разорвалась, и желтые лимонные сухарики рассыпались по избитым, замусоренным серым плитам тротуара.

— Скверный мальчишка, как ты смеешь толкаться! — визгливо кричала на Гришку высокая, полная дама, на которую он набежал.

От нее пахло противными духами, к ее сердитым маленьким глазам был приставлен противный черепаховый лорнет. Все лицо ее было противное, грубое, сердитое и наводило на Гришку страх и тоску. Гришка испуганно смотрел на барыню и не знал, что делать. Ему казалось, что уже дворники и городовые, страшные фантастические существа, идут со всех сторон, и вот-вот схватят его, и потащат куда-то.

Шедший рядом с барыней молодой человек, слишком щегольски одетый, в цилиндре, в перчатках противного желтого цвета, смотрел на Гришку разъяренными, вытаращенными, красными глазами — и весь он был красный и злой.

— Хулиганишка негодный! — процедил он сквозь зубы.

Небрежным движением сбил с Гришки шапку, больно подергал его за ухо, отвернулся и сказал барыне:

— Пойдемте, мамаша. С этой дрянью не стоит связываться.

— Но какой дерзкий мальчишка! — шипела барыня, отворачиваясь. — Грязный оборвыш, туда же толкается! Это прямо возмутительно! По улицам спокойно идти нельзя! Чего полиция смотрит!

Барыня и молодой человек, сердито переговариваясь, пошли прочь. Гришка поднял свою шапку, подобрал и запихал кое-как в лохмотья бумажного мешка рассыпавшиеся лимонно-желтые сухарики и побежал домой. Ему было стыдно и плакать хотелось, но он не заплакал. Уже не мечтал о Турандине и думал:

«Она такая же злая, как и все здешние люди. Она навела на меня страшный сон и никогда мне не проснуться от этого сна и не вспомнить мне вовеки моего настоящего имени. И не узнаю никогда взаправду, кто же

я».

Кто же я, посланный в мир неведомой волей для неведомой цели? Если я — раб, то откуда же у меня сила судить и осуждать, и откуда мои надменные замыслы? Если же я — более чем раб, то отчего мир вокруг меня лежит во зле, безобразный и лживый? Кто же я?

Смеется над бедным Гришкою и над его мечтами и над его тщетными вопросами жестокая, но все же прекрасная Турандина.

1912

Венчанная [\[393\]](#)



В самой обыкновенной, небогато убранной комнате небольшой петербургской квартиры, у окна стояла молодая женщина Елена Николаевна и смотрела на улицу.

Ничего интересного не было там, на этой шумной и грязноватой разъезжей столичной улице, и смотрела в окно Елена Николаевна не потому, что хотела увидеть что-то интересное. Правда, из-за угла другой, перекрестной улицы покажется сейчас ее мальчик, которому пора возвращаться из гимназии, но разве Елена Николаевна подо? шла к окну затем, чтобы ждать сына! Она так гордо уверена в нем и в себе! Придет в свой час, как всегда, — как и все в жизни совершается в свое время.

Елена Николаевна стояла гордая, прямая, с таким выражением на прекрасном бледном лице, как будто голова ее увенчана короной.

Стояла, вспоминала то, что было десять лет тому назад, в год смерти мужа, с которым прожила совсем недолго.

Такая страшная была смерть! В ясный день ранней весны вышел он из дома здоровый, веселый, а к вечеру принесли его труп — погиб под вагоном трамвая. Казалось тогда Елене Николаевне, что нет больше для нее

в жизни счастья. Умерла бы от горя, да только маленький сын привязывал к жизни, да еще привычные с детства мечты порою утешали. И так трудно стало жить, так мало стало денег!

Летом Елена Николаевна с сыном и с младшей сестрой жила на даче. И вот сегодня опять вспомнилось ей с удивительной отчетливостью то ясное летнее утро, когда случилось такое радостное, странное и такое, по-видимому, незначительное событие, и на душу ее низошла эта удивительная ясность, озарившая всю ее жизнь. То удивительное утро, после которого всю жизнь Елена Николаевна чувствовала себя так гордо, так спокойно, словно она стала царицею великой и славной страны.

Утро это, столь памятное ей, началось темною печалью, как и каждое утро того лета, напоенного ее слезами.

Наскоро покончив с заботами бедного своего хозяйства, пошла Елена тогда в лес, от людей подальше.

Любила она забраться в глубину леса и там мечтать, иногда плакать, бывшее счастье вспоминать.

Была там прогалинка милая, — трава на ней мягкая, влажная, небо над нею высокое, ясное. Северная влажная, ласковая трава, северное неяркое, милое небо. Все согласное с ее печалью.

Пришла Елена, стала у серого камня посредине полянки, смотрит перед собой ясными, синими глазами, — далеко унеслись ее мечты. Подойди теперь кто-нибудь к ней, оклики:

— Елена, о чем ты мечтаешь?

Вздрогнет Елена, забудет свой сладкий сон, вмиг разлетится пестрый рой мечтаний; ни за что не скажет Елена, о чем мечтала.

Да и что за дело людям до того, о чем она мечтает! Они все равно не поймут... Что им эти царевны мечтательного края, со светлыми лицами, с ясными глазами, в сияющих одеждах, — царевны, которые приходят к ней и утешают ее!

Стоит Елена на тихой поляне. В синих глазах Елениных печаль. Руки на груди скрещены. Солнце над ее головой высоко, греет сзади ее тонкие плечи, над русыми косами нимбом золотым играет. Мечтает Елена. И вдруг слышит голоса и смех.

Вот перед нею три светлые девы, три лесные царевны. Одежды у них белы, как у Елены; глаза у них сини, как у Елены; косы у них русы, как у Елены. На головах у них венцы — венки цветочные, многоцветные. Тонкие руки их открыты, как у Елены, и тонкие плечи их целует милое солнце, как плечи у Елены. Тонкие, легко загорелые ноги в траве сырой купаются, как ноги у Елены.

Смеются три сестры лесные, и подходят к Елене, и говорят:

— Какая красивая!

— Стоит, а солнце золотит ее волосы.

— Стоит как царица.

Печаль и радость странно смешаны в Еленином сердце. Протягивает к ним легкие, стройные руки Елена и говорит радостно звенящим голосом:

— Здравствуйте, милые сестрицы, царевны лесные!

Звенит, звенит, как золотой колокольчик, Еленин голос; звенит, звенит, заливается золотыми колокольчиками легкий смех лесных царевен. И говорят Елене лесные царевны:

— Мы — царевны, а ты кто?

— Уж не здешняя ли ты царица?

Улыбается Елена печально и отвечает:

— Какая же я царица! Венца у меня нет золотого, и сердце мое печально, потому что умер милый мой. Никто меня не увенчает.

И уже не смеются сестры. И слышит Елена тихий голос старшей царевны лесной:

— Что же печаль земная! Милый твой умер, но разве он не всегда с тобою? Сердце твое тоскует, но разве у него нет сил побеждать, ликуя? И разве воля твоя не возводит тебя высоко?

И спрашивают Елену:

— А ты хочешь быть здесь нашею царицею?

— Хочу, — говорит Елена.

И дрожит от радости, и блестят радостные слезинки на синих Елениных глазах.

И опять спрашивает та лесная царевна:

— А будешь ты своего венца достойна?

Трепещет Елена от дивного страха и говорит:

— Буду венца своего достойна.

И говорит Елене та царевна:

— Всегда стой перед судьбой, чистая, смелая, как стоишь теперь перед нами, и прямо смотри людям в глаза. Над печалью торжествуй, не бойся жизни и перед смертью не трепещи. Гони от себя рабские помыслы и низкие чувства, и если в нищете будешь, и в работе подневольной, и в заточении — будь гордой, свободной, милая сестра.

Дрожит Елена и говорит:

— И в рабстве буду свободна.

— Мы тебя увенчаем, — говорит царевна.

— Увенчаем, увенчаем, — повторяют другие.

Цветы рвут золотые, белые; белыми руками быстро плетется венец душистый, цветочная корона лесной царицы.

И вот увенчана Елена, и лесные царевны, взявшись руками, ведут вокруг нее тихий хоровод — в круг радостного кружения замкнули Елену.

Скорее, скорее, — вьются легкие одежды, влажной травой перевиты легкие, пляшущие ноги. Замкнули, закружили, увлекли Елену в быстрое кружение восторга — от печали, от жизни, робко и тускло тоскующей, увлекли они Елену.

И сгорало время, и таял день, и печаль, пламенея, претворялась в радость, и восторгом томилось Еленино сердце.

Целуют Елену лесные царевны, убегают.

— Прощай, милая царица!

— Прощайте, милые сестры, — отвечает им Елена.

За деревьями скрылись; осталась Елена одна.

Идет домой, гордая, увенчанная.

Никому не сказала дома, что было с нею в лесу. Но такая стала гордая и светлая, что насмешливая сестрица Ирочка говорила:

— Елена сияет сегодня, как именинница.

Никому не сказала Елена дома, но сказать кому-нибудь надобно.

К вечеру пошла Елена к мальчику Павлику, который скоро умрет. Любила его Елена за то, что он всегда был ясным, и за то, что навсегда останется он ясным. По ночам иногда просыпалась Елена от острой жалости к Павлику — просыпалась поплакать о мальчике, который скоро умрет. И странно смешивалась в ее сердце жалость к мужу покойному, к себе, осиротелой рано, и к мальчику, который скоро умрет.

Павлик сидел один в высокой беседке над обрывом и смотрел на тихо пламенеющий закат. Увидал Елену, улыбнулся — всегда радовался, когда приходила Елена. Любил ее за то, что она никогда не говорила ему неправды и не утешала его, как делали другие. Павлик знал, что он скоро умрет, и что будут его долго помнить только две — мама родная и милая Елена Николаевна.

Рассказала Павлику Елена о том, что было с нею сегодня утром в лесу. Закрыв глаза Павлик, задумался. Потом улыбнулся радостно и сказал:

— Я рад, царица моя лесная. Я всегда знал, что вы — свободная и чистая. Ведь каждый, кто умеет сказать «я», должен быть господином на земле. Царь земли — человек.

Потом всмотрелся Павлик в трех барышень, проходивших внизу под обрывом, и сказал Елене:

— Смотрите, вот идут сюда ваши милые лесные царевны.

Посмотрела Елена, узнала, и сердце ее сжалось мгновенной тоской. Три барышни! Такие же белые на них платья, как утром, и очи сини, и косы русы, и руки стройны, но уже не венки, а белые шляпки на их головах. Барышни обыкновенные, дачные барышни!

Они скрылись на минуту за кустами, и вот опять показались, повернули наверх, по узкой тропинке идут мимо беседки, где сидят Павлик с Еленой. Ласково Павлику кивают головами, и Елену узнали.

— Здравствуй, милая царица!

— Сестры! — радостно кричит Елена.

И обрадована навсегда Елена. И в обычности явлена ей радость увенчанной жизни. Через все испытания бедной, скудной жизни пронесет она свою царственную гордость, высокое достоинство свое.

И вот теперь, через много лет, стоя перед окном, одетая в бедное, поношенное платье, ждет она сына и шепчет, вспоминая день своего венчания:

«Человек — царь земли!»

Снегурочка^[394]



I

Просят дети:

— Снегурочка, побудь с нами.

Говорит Снегурочка:

— Хорошо. Я побуду.

Побыла с ними. Тает. Спрашивают детки:

— Снегурочка, ты таешь?

Отвечает Снегурочка:

— Таю.

Плачут дети:
— Милая, краткое время побыла ты с нами, — что же с тобою?
Тихо говорит Снегурочка:
— Позвали — пришла. И умираю.
Плачут дети. Говорит добрый:
— И уж нет Снегурочки? Только слезы.
Злой говорит:
— Лужа на полу — нет и не было Снегурочки.
И говорит нам тот, кто знает:
— Тает Снегурочка у наших очагов, под кровлею нашего семейного дома. Там, на высокой горе, где только чистое веет и холодное дыхание свободы, живет она, белоснежная.
Дети просят:
— Пойдем к ней, туда, на высокую гору.
Улыбается мать и плачет.

II

Опять, опять мы были дети!
Ждали елки, праздника, радости, подарков, снега, огоньков, коньков, салазок. Ждали, сверкая глазами. Ждали.
Нас было двое: мальчик и девочка. Мальчика звали Шуркою, а девочку — Нюркою.
Шурка и Нюрка были маленькие оба, красивые, румяные, всегда веселые — всегда, когда не плакали; а плакали они не часто, только когда уж очень надо было поплакать. Были они лицом в мать.
Хотя их мать звали просто-напросто Анною Ивановною, но она была мечтательная и нежная в душе, а по убеждениям была феминистка. Кротко и твердо верила она, что женщины не плоше мужчин способны посещать университет и ходить на службу во всякий департамент.
С дамами безыдейными Анна Ивановна не зналась. Ее подруги, феминистки, считали ее умницею; другие ее подруги, пролетарки, смотрели на нее, как на кислую дурочку. Но те и другие любили ее.
Ее муж, Николай Алексеевич Кушалков, был учитель гимназии. Очень аккуратный. Верил только в то, что знал и видел. К остальному был равнодушен. Считал себя добрым, потому что никогда не подсиживал никого из сослуживцев. Отлично играл в винт.
Ученики побаивались Николая Алексеевича, потому что он был

необыкновенно систематичен и последователен. Поэтому, хотя он преподавал русский язык, гимназисты называли его немчурой (немецкого учителя называли короче — немец).

Приближались святки. Дни были морозны и снежны. Шурочка и Нюрочка бегали в саду около их дома, на окраине большого города. Дорожки были расчищены, а там, где летом трава и кусты, снег лежал высокий.

Мать из окна в гостиной видела иногда из-за высокого снега только красные, пушистые шапочки на детях. Смотрела на детей, улыбалась, любовалась их покрасневшими лицами, прислушивалась к звонким взрывам их смеха и думала нежно и радостно:

«Какие у меня красивые, милые дети!»

Солнце, красное солнце хорошего зимнего дня светило ярко и весело, радуясь недолгому своему торжеству. Оно поднялось не высоко — и не подняться ему выше — стояло ближе к земле и к людям, и казалось ласковым, добрым и светло-задумчивым. Розовые улыбки его лежали тихие, не слишком веселые, на снегу по земле, на пушистых от снега ветках, на заваленных мягким снегом кровлях. От этого казалось, что весь снег улыбается и радуется. И такие забавные с кровли свешивались розоватые на солнце ледяные сосульки.

Забавный мир детской игры, маленький сад, был огорожен с улицы невысоким дощатым забором. Слышались за этим забором порою шаги прохожих по захолодавшим мосткам, но дети не слушали их — своя была у них игра.

Им было тепло, — горячая кровь грела их тела, и мама одела их заботливо, — отороченные мехом курточки, меховые рукавички, сапожки на меху, шапочки из мягкого, как пух, меха.

Бегали долго, крича, как стрижи. Но одним беганьем весел не будешь. Играть!

И придумали игру.

III

Сперва недолго поиграли в снежки. Потом вдруг сказала Нюрочка:

— А знаешь что, Шурка? Знаешь, что мы сделаем?

Шурочка спросил:

— Ну, что?

— Мы сделаем Снегурочку, — сказала Нюрка, — понимаешь, из снега.

Скатаем и сделаем.

Шурочка опять спросил:

— Снежную бабу?

— Нет, нет, зачем бабу! — кричала Нюрочка. — Мы сделаем маленькую девочку, такую маленькую, как моя большая кукла, знаешь, Лизавета Степановна. Мы назовем ее Снегурочкой, и она будет играть с нами.

Шурка спросил недоверчиво:

— Будет? А как же она будет бегать?

— А мы ей ноги сделаем, — сказала Нюрка.

— Да ведь она из снега! — говорил Шурка.

— А день-то сегодня какой? — спросила Нюрка.

— Какой? — спросил Шурка.

— Сегодня сочельник, — объяснила Нюрка. — Для такого дня она вдруг побежит с нами и будет играть. Вот увидишь.

— А и правда, — сказал Шурка, — сегодня сочельник.

И вдруг поверил. Но все еще спрашивал:

— А на другой день Снегурочка останется?

Нюрка ответила решительно:

— Конечно, останется на всю зиму, и будет бегать, и играть с нами.

— А весной? — спросил Шурочка.

Нюрочка призадумалась. Долго смотрела на брата, приоткрыв недоуменно ротик. Вдруг засмеялась и сказала весело, — догадалась:

— Ну, что ж весной! Вечной Снегурочка уйдет на высокую гору и будет жить там, где вечный снег лежит, все лето будет жить там, а зимой опять к нам спустится.

И зарадовались, засмеялись веселые дети.

Шурочка радостно кричал.

— Всю зиму будем бегать с нею! И маме ее покажем. Мама будет рада?

Нюрочка сказала серьезно:

— Еще бы! Только не надо будет водить ее в дом, а то она в тепле растает.

Шурка опять спросил:

— А где же ей спать?

Он был мальчик практичный и рассудительный, весь в отца.

Нюрочка решила:

— А спать она будет в беседке.

IV

Дети принялись за дело. Притихли.

Мать даже обеспокоилась, — что такое, не слышно криков и смеха. Тревожно глянула в окно, — да нет, ничего, ребяташки снежную бабу лепят. Успокоилась. Опять села на диван, продолжала читать книжку Эллен-Кей — очень хорошую книжку.

И уж как они только ухитрились, — уж не помогал ли им какой-нибудь добрый или злой дух, искусный в созидании тел, особенно там, где замысел жадно ищет возможности воплощения? — но Снегурочка под их быстрыми пальцами вырастала как живая. И все черты, самые тонкие, возникали точно, словно лепилась из снега живая человекоподобная душа. Нежные снежные комья лепились один к другому в сплошное нежное снежное тело.

Дочитала главу Анна Ивановна, посмотрела в окно — посреди площадки перед окнами, где летом цвел алый шиповник, стояла почти совсем готовая маленькая снежная кукла.

«Ловкие у меня детишки, — подумала радостно Анна Ивановна, — кукла выходит у них прехорошенькая».

И ей было приятно вспомнить, что те новые приемы воспитания и обучения, которых она придерживалась, дают превосходные результаты.

«Искусство в жизни ребенка играет, несомненно, важную роль, и родители, — думала Анна Ивановна, — должны это помнить и всячески развивать детскую самостоятельность».

V

В саду Нюрка говорила Шурке:

— Как хорошо, что мы взяли, самый чистый снег! Вот она какая славная выходит!

Шурочка говорил рассудительно:

— Еще бы! Ведь этот снег прямо с неба упал; он чистый.

С восторгом говорила Нюрочка:

— Ах, какая она хорошенькая!

Шурочка сказал:

— У нее мордочка похожа на твою рожицу.

Нюрочка весело засмеялась. Сказала скромно:

— На маму похожа наша Снегурочка.
— И ты похожа на маму, — сказал Шурочка.
— И ты, — сказала Нюрочка.
Шурочка принахмурился.
— Я больше на папу похож, — объявил он.
Засмеялась Нюрочка, говорит:
— Выдумал! Мы оба в маму. И Снегурочка у нас в маму.
Смотрели, любовались.
— Знаешь, — сказала Нюрочка, — уж очень она мягкая. Потряси-ка эту яблоню, — вот те ледышки-висюлечки свалятся, мы из них сделаем ей ребрышки. А из тех, что посветлей, глаза.
Сказано — сделано. Вот у Снегурочки твердые ребрышки. Вот у Снегурочки ясные глазки. А вот у Снегурочки и белое платьице. А вот у Снегурочки и белые башмачки. А вот у Снегурочки и белая шапочка.
Готова Снегурочка!
Подбежали к окну, в стекло стукнули, спрашивают:
— Мама, хороша наша Снегурочка?
Мама отвечает из форточки:
— Хороша. Только у вас руки зазябли, идите погрейтесь.
Дети засмеялись. Но мама зовет, надо идти.
— А как же Снегурочка? — спросил Шурка.
— А ей еще рано, — сказала Нюрка, — она еще постоит, подумает.
Мы придем к ней вечером, позовем ее, поиграем с нею.
Побежали дети домой. Говорили маме:
— Мама, сегодня вечером у тебя будет новая дочка Снегурочка.
Смеялась мама, Анна Ивановна. Улыбался папа, Николай Алексеевич: в сочельник он не ходил в гимназию; он сидел дома и читал последнюю книжку «Русского Богатства».

VI

Свечерело и вызвездило. Дети опять убежали в сад. Снегурочка стояла. Улыбалась. Ждала их.
Дети подошли к ней тихо.
— Надо ее позвать! — сказал Шурочка.
Помолчали. Вдруг стали робкими.
— Поцелуй ее! — сказал Шурочка.
— Сначала ты, — сказала Нюрочка.

Шурка посмотрел на сестру сердито. Сказал:

— Вообразила, что я боюсь. А нисколечки.

Подошел к Снегурочке и поцеловал ее прямо в бледные, красивые губы.

Оттого ли, что это был сочельник, ночь святая и таинственная — оттого ли, что крепко верили дети в то, что они сами придумали, оттого ли, что чародейная сказка обвеяла тихий сад тайными очарованиями и влила в излепленный детскими руками мягкий и нежный снег непреклонную волю к жизни, творимой по творческой и свободной и радостной воле, но вот небывалое свершилось, исполнилось детское неразумное желание — ожила белая Снегурочка и ответила Шурке нежным, хотя и очень холодным поцелуем.

Тихо сказал Шурка:

— Здравствуй, Снегурочка.

Ответила Снегурочка:

— Здравствуй.

Пошевелила тоненькими плечиками, вздохнула легонечко и сама подошла к Нюрке. И Нюрочка поцеловала ее прямо в губы.

— О, какая ты холодная! — сказала Нюрочка.

Снегурочка тихо улыбалась. Сказала:

— На то же я и Снегурочка.

Шурочка спросил:

— Хочешь с нами играть, Снегурочка?

Снегурочка сказала спокойно:

— Ладно, давайте играть.

И побежали все трое по дорожкам сада.

Играли долго. И всем трем было весело, как никогда раньше.

VII

Накрыли на стол вечером, — пить чай. Дети заигрались в саду. Мама позвала их — не шли. Только веселые слышались в саду голоса. Тогда Николай Алексеевич сказал:

— Пойду-ка я сам, возьму да и приведу их.

— Надень пальто, — сказала Анна Ивановна.

— Ну, я в одну минуту, — сказал Николай Алексеевич, — разве только шарф.

Укутал шею шарфом, надел теплую, меховую шапку, всунул ноги в

глубокие калоши и вышел в сад. С крыльца он крикнул:

— Ребятишки, где вы? Чай пить, живо!

С веселым смехом бежали дети по дорожке. Разбежались, промахали мимо, и было их трое.

Николай Алексеевич сошел в сад. Крикнул:

— Дети, это вы с кем играете?

Дети повернули обратно; подбежали к нему.

Николай Алексеевич увидел прелестную маленькую девочку, беленькую, с легким румянцем на щеках, — и удивился ее легкому, не по сезону костюму; юбочка легонькая и коротенькая, башмаки летние, чулочки коротенькие, коленочки голенькие.

Николай Алексеевич спросил:

— Откуда эта девочка? Дети, ведите ее скорее домой, вы ее совсем заморозите.

Дети, перебивая друг друга, звонкими радостными голосами кричали:

— Это — Снегурочка.

— Это — наша Снегурочка, папа.

— Наша сестреночка.

— Мы ее сами сделали.

— Из снега.

— Из самого чистого снега.

— Она будет играть с нами.

— Всю зиму!

— А весной уйдет на высокую гору!

Николай Алексеевич слушал их с недоумением и досадою. Ворчал:

— Глупые фантазии.

Сказал:

— Ну, живо в комнаты. Ты совсем озябла, малюточка? Да ты откуда?

Белая девочка сказала:

— Я — Снегурочка. Я из снега.

Нетерпеливо сказал Николай Алексеевич:

— Пойдемте же греться.

Взял Снегурочку за руку.

— Совсем заморозили вашу гостью, — говорил он, — и откуда вы ее взяли? Руки у нее как лед.

Повел Снегурочку.

Тихо сказала Снегурочка, упиралась:

— Мне туда нельзя.

И дети кричали:

— Папа, оставь ее здесь.
— Она переночует в беседке.
— В комнате она растает.
Но Николай Алексеевич не слушал детей.
Он взял холодную Снегурочку на руки и внес в комнаты.

VIII

— Смотри-ка сюда, Нюточка! — крикнул Николай Алексеевич жене, входя в столовую, — какая-то девочка в одном платьице. Наши сорванцы совсем ее заморозили.

Анна Ивановна воскликнула:

— Боже мой! Девочка! Вся холодная. Скорее к камину.

Дети в ужасе кричали:

— Мапочка! Папочка! Что вы делаете! Снегурочка растает! Это — наша Снегурочка.

Но взрослые всегда воображают, что они все знают лучше. Посадили Снегурочку в широкое мягкое кресло перед камином, где весело и жарко пылали дрова.

Николай Алексеевич спрашивал:

— У нас есть гусиное сало?

— Нет, — сказала Анна Ивановна.

— Я схожу в аптеку, — сказал Николай Алексеевич, — надо потереть ей нос и уши, они совсем побелели от мороза. А ты, Нюточка, закутай ее пока потеплее.

Ушел. Анна Ивановна отправилась в свою спальню за теплым чем-нибудь — закутать Снегурочку.

Шурка и Нюрка стояли и растерянно глядели на Снегурочку. А Снегурочка?

Что ж, Снегурочке понравилось. Она сидела на кресле, глядела в огонь, и улыбалась, и таяла.

Нюрка кричала:

— Снегурочка, Снегурочка! Спрыгни с кресла, мы отворим тебе двери, беги скорее на мороз!

Тихонько говорила Снегурочка:

— Я таю. Уже не могу я уйти отсюда, я вся истаяла, я умираю.

Текли потоки воды по полу. В глубоком кресле, быстро тая, оседала маленьким снежным комочком белая, нежная Снегурочка. И где ее ручки?

Растаяли. И где ее ножки? Растаяли. Слабый еще раз раздался нежный голосок:

— Я умираю!

И уже только грудa тающего снега лежала на кресле.

IX

Заплакали ребяташки, — громкий подняли вой.

Пришла Анна Ивановна с теплым одеялом. Спросила:

— Где же девочка?

Плача говорили дети:

— Растаяла наша Снегурочка.

Вернулся Николай Алексеевич с гусиным салом. Спросил:

— Где же девочка?

Плача говорили дети:

— Растаяла.

Сердито говорил Николай Алексеевич:

— Зачем вы ее отпустили!

Уверяли дети:

— Она сама растаяла.

Большие и малые смотрели на остатки талого снега и потоки воды, и не понимали друг друга, и упрекали друг друга:

— Зачем посадил к огню Снегурочку?

— Зачем отпустили девочку, не согrevши?

— Злой папа, погубил нашу Снегурочку!

— Глупые дети, что вы говорите нелепые сказки!

— Растаяла Снегурочка!

— Снегу-то сколько натащили!

Плакали маленькие, а большие то сердились, то смеялись.

И не было Снегурочки.

Ёлкич [\[395\]](#)

Январский рассказ

Елка, елка, не сердись.
Елкич, елкич, не бранись,
Мне постели не топчи,
Сядь на елку и молчи.

Вера Алексеевна прислушалась. В скучной темноте зимнего рассвета из детской доносилось тихое пение, кто-то тоненьким голоском тянул песенку со странными словами. На лице Веры Алексеевны выразилась озабоченность. Она тихо подошла к дверям детской. Пение замолкло на минуту. Потом тоненький голос опять затянул, отчетливо выговаривая тихие и странные слова и придавая им трогательное и жалобное выражение:

Мама елку принесла.
Елка елкичу мила.
Елка выросла в лесу.
Елкич с шишкой на носу.

Вера Алексеевна, сохраняя на лице все то же озабоченное выражение, осторожно потянула к себе дверь детской. Старший мальчик, Дима, еще спал, приткнувшись носом к подушке и мерно дыша открытым ртом. Младший, Сима^[396], худенький, черноволосый и черноглазый мальчик, сидел на постели, охватив колени руками, смотрел горящими в темноте глазами в темный угол, покачивался и напевал. Вера Алексеевна позвала тихонько, чтобы не испугать его:

— Симочка.

Сима не услышал. Продолжал свою песенку, и звуки ее казались все более хрупкими и печальными.

Елкич миленький, лесной!
Уходил бы ты домой.
Елку ты не спасешь,
С нами сам пропадешь.

Вера Алексеевна подошла к постели мальчика. Нарочно стучала каблучками своих туфель. Сима повернул к ней лицо.

— Симочка, что ты поешь спозаранку? Дай Диме спать.

Дима проснулся. Пухлый, румяный, лежал на спине и сердито смотрел на мать.

Сима сказал печальным и хрупким голосом:

— Елкич-то, вот бедненький! Каково ему теперь! Елку срубили — где он теперь жить будет? Пустят ли его на другую елку? И как он туда доберется? Мама, как он теперь будет?

— Что ты говоришь, Симочка? — недовольным голосом заговорила мама. — Какой еще елкич тебе приснился? И как можно пет в постели! Всех разбудил.

Дима, который, вставая, всегда бывал груб, сказал хриплым и сердитым голосом:

— Пришла! Кому мешает. Усмирение с помощью родительских шлепков.

— Дима, не груби, — строго сказала мама. — Шлепков пока еще никому не было, ты их не хочешь ли?

— Попробуй, — все так же сердито отвечал Дима, — я ведь и зареветь могу.

Мама спокойно сказала:

— Ну, миленький, меня ревом не испугаешь.

Подошла к Диме, сняла с него одеяло, приподняла Диму за плечи, наклонилась к нему и шепнула:

— Разговори Симу, — ему опять что-то снится нескладное.

Дима был польщен. Сразу стал очень любезен. Поцеловал обе мамины руки. Поздравил с праздником. Шепнул:

— Трудно. Теперь он все будет рассказывать.

Тоненький голосок за ними опять затянул свою нескончаемую песенку.

Елкич в елке мирно жил,
Елкич елку сторожил.
Злой приехал мужичок,
Елку в город уволок.

Мама вздрогнула и короткое время стояла, как испуганная. Потом решительно подошла к Симе. Взяла его за плечо. Сказала решительно и строго:

— Симочка, не дури. Какой елкич? Что за вздор!

— А он, елкич, такой маленький, — заговорил тоненьким и

возбужденным голосом Сима, — маленький, маленький, с новорожденный пальчик. И весь зелененький, и смолкой от него пахнет, а сам он такой шершавенький. И брови зелененькие. И все ходит, и все ворчит: «Разве моя елка для вас выросла? Она сама для себя выросла!»

— Это, Сима, тебе приснилось, — сказала мама. — Проснулся, так нечего в постели сидеть — одевайся проворно. Дима, одеваться! И не дурить. Смотрите вы оба у меня.

И мама ушла из детской спальни. Она знала, что надо бы остаться сколько-нибудь еще с мальчиками, но ей было так некогда. Эти праздники в городе, — их положительно не видишь, вздохнуть некогда. Столько разных выездов и приемов, положительно, какая-то неприятная праздничная повинность. И так много расходов, и так много домашних хлопот, суетни, неурядиц, неудовольствий, — с мужем, с детьми, с прислугой. Право, быть хозяйкою дома при современном строе жизни становится уже очень тяжело. Видно, и нам скоро придется ступить на ту же дорогу, по которой идут хозяйки в Северной Америке.

Таковыми соображениями утешая или, вернее, расстраивая себя, мама пошла в столовую, где уже ее ждали. Проходя мимо больших зеркал в гостиной, она с удовольствием, как всегда, кинула быстрый взгляд на отраженное в зеркалах прекрасное, еще такое молодое лицо, и на стройную фигуру в домашнем, совершенно простом, но очень изящном, и, что самое важное, очень идущим к лицу наряде.

II

А мальчики, оставшись одни, немедленно заговорили о бедном елкиче, который так тоскует о своей загубленной елке и не может утешиться.

Маленький, зелененький, шершавенький, с зелеными бровями и зелеными ресницами, он все ходит по комнатам, и ходит, и ворчит. Никто его не видит, кроме маленького Симочки.

И ходит, и ворчит, и жалуется, и наводит тоску на Симу.

Ворчит:

— Разве она для вас в лесу выросла? Разве вы сделали ее?

Зачем вы ее зарубили?

Сима оправдывается:

— Милый елкич, да ведь нам зато как весело-то было! Ты подумай только, как свечки зажгли на елочке, вот-то весело стало! Разве ты этого не понимаешь? Ведь ты же сам видел — свечки на елочке, и золотой дождь, и

блестки — так все и горит, и блестит, и переливается. Еще мне-то что, я ведь не первую елку справляю, а вот самые маленькие, и еще вот швейцаровы дети, — ведь им это какой праздник! Что же ты сердишься так, милый елkich?

И с тоскою прислушивался к тому, что ему ответит елkich. И уже заранее знал, что елkich не поверит его словам, что нельзя никакими словами утешить елkича, у которого зарубили его родную елку.

— Она у меня одна была, — ворчит елkich.

И ноет, и скулит тоненьким голоском. И только Сима слышит его.

— Какую власть взяли! — ворчит елkich. — Взяли мою елку, привезли, веселитесь. Если вам нужно вокруг елки плясать, ехали бы в лес сами. В лесу хорошо. А то срубили, погубили.

Ноет, скулит.

III

Сима наконец приступил к своему старшему брату, студенту.

— Кира, елkich-то все тоскует. Он, елkich-то, все ходит, и на домашних сердито смотрит, и все скулит таким тоненьким голоском. Какой он бедный!

— Результат чтения фантастических произведений, — проворчал студент.

— Нет, Кира, ты скажи, вот он жалуется, что елка не для нас выросла, а вот ее для нас срубили. Как же это так? Ведь она, и в самом деле — для себя? И каждый для себя. А то ведь этак каждого придут и возьмут, и сделают, что хотят.

Студент выслушал хмуро. Сказал:

— Елка — дерево. Ее можно срубить. А вот относительно нас с тобою, тут, действительно, дело обстоит неладно. Человек есть автономная личность, не правда ли?

Сима утвердительно кивнул головой. Кира продолжал:

— Ну и вот, приходят агенты власти, и берут тебя, и ведут, куда ты не хочешь, и заставляют делать то, что несвойственно твоей натуре. Ты говоришь: я для себя вырос. Тебе отвечают: нет, брат, шалишь, ты вырос церкви и отечеству всему на пользу, а раз на пользу, так мы тебя и используем. Так-то, брат, в общем хозяйстве все на пользу идет, ничто даром не пропадает.

— Это очень нехорошо, — убежденно сказал Сима.

— Хорошего, действительно, мало, — согласился студент, — но уж таков социальный строй. Служи другим, коли хочешь, чтобы тебе служили.

— Тогда я не хочу, — печально сказал Сима, — если надо заставлять и мучить, тогда я не хочу.

— Ну, брат, об этом нас с тобой не спросят, — сказал студент.

Затянулся папиросою. Видно было, что ему очень приятно курить и чувствовать себя дома на положении взрослого. Покровительственно посмотрел на Симу. Похлопал его по плечу. Сказал:

— Ты — забавный мальчуган. Все фантазируешь. Пожалуй, вырастешь, так поэтом будешь.

Сима помолчал, вздохнул, и сказал, краснея и потупясь:

— Елкича жалко. Как он теперь будет?

IV

Сима проснулся ночью. Услышал опять, как елкич ходит, скулит тоненьким голоском и ворчит. И домашние шепчутся с ним, стараются его утешить.

Тоненький голосок из угла говорит:

— Мы тебя не гоним. Будь с нами. У нас хорошо. Светики перебегают. Пылиночки кружатся. Очень хорошо.

— Насмотрелся я, — ворчит елкич. — Мне здесь у вас не нравится. Хозяева у вас нехорошо живут.

— Нам нет никакого дела до хозяев, — отвечает домашний^[397]. — Мы сами по себе, они сами по себе — мы им не мешаем, они на нас не обращают внимания. Только Сима за нами иногда смотрит, да это не беда — он еще маленький, и он так и не вырастет — он к нам уйдет. Он для нас почти свой, а до других нет дела.

— Нет, — ворчит елкич, — не нравится да и не нравится мне у вас. Что хотите, а не нравится. Кровью тут у вас пахнет, а я этого запаха не люблю.

— А у вас в лесу разве ничем таким не пахнет? — с досадою и насмешкою спрашивает домашний.

Но елкич не отвечает и ворчит себе свое:

— И не нравится, и не нравится. Рубят, бьют, а для чего, и сами не знают.

Сима приподнялся на локте и тихонько, чтобы не разбудить Димы, шепнул:

— Миленький елkich, почему же тебе у нас не нравится? Мы все — добрые.

Стало очень тихо. Домашние молчали и чутко ждали, что ответит елkich. Помолчал елkich. Сказал сердито:

— Иди завтра на улицу — сам увидишь.

Домашние засмеялись, зашушукались. Симе стало тоскливо.

— Что же я увижу? — спросил он. — Милый елkich, ты иди со мною и покажи.

— Покажу, покажу, — ответил елkich.

Пискливый голос его казался злым и угрожающим, но Сима не боялся этого: он знал, что елkich тоскует по своей елке и не может утешиться, и потому такой сердитый.

— Покажу, — повторял елkich, — будешь доволен мною.

Домашние тихонько шушукались и смеялись тоненькими, шелестинными голосками, и не понять было Симе, добрые они или злые, смеются ли они от злости или от милой веселости. Жутко было Симе, и, чтобы подбодриться, он опять шепотом спросил елkича:

— Милый елkich, когда же ты мне покажешь? Утром? Правда? Когда мы пойдем гулять с фрейлейн Эмилией? Да?

— Да, да, — ворчал елkich. — Утром так утром.

И шелестинные расстилались по всем углам смешки и шепотки.

И опять спросил Сима:

— Милый елkich, ты ведь маленький, как же ты с нами пойдешь? Фрейлейн Эмилия как зашагает, так только поспевай. Она говорит: моцион надо делать весело. Так как же ты?

— Ничего, — сердитым голосом сказал елkich, — уж я от вас не отстану. Я к тебе в карман сяду.

Шелестинные шушукались, смеялись голосочки во всех уголочках. И под шелестинный смех заснул Сима.

V

Утром мальчики, как всегда, пошли гулять с фрейлейн Эмилией. Но беспокойно и страшно было на улицах. Шли толпы. Слышались злые слова. И вдруг раздались вдали резкие звуки рожка.

Старший Симочкин брат пробежал мимо.

— Фрейлейн, — крикнул он на ходу, — ведите детей домой.

Но уже фрейлейн и сама ухватила обоих мальчиков за руки и

бросилась бежать в переулок, дальше от толпы, от веселого рожка.

— Елкич, елкич, — кричал Сима, — что же ты мне покажешь?

— Беги за братом, — быстро шептал елкич, — брось немку, беги за братом. Его сейчас убьют.

Сима громко закричал и рванулся от фрейлейн Эмилии.

— Сима, Сима, ради Бога, куда вы? — кричала испуганная фрейлейн, пытаюсь поймать Симу.

Но Сима убежал в толпу. Скрылся за народом. Фрейлейн растерянно металась, не зная, что делать. Дима плакал. Кругом бежали какие-то испуганные, плохо одетые люди. Кричали что-то.

Сима догнал брата.

— Кира, пойдем вместе, — кричал он.

Студент испуганно глянул на мальчика и побледнел.

— Зачем ты здесь? Где фрейлейн?

Опять в ясном и морозном воздухе весело и звонко зарокотали звуки рожка. Нестройный гам поднялся в ответ этим звукам. Вдруг все побежали. Перед Симою и студентом стало пусто и светло. Стройный ряд наклонившихся штыков вдруг дрогнул и задымился. Сима в страхе отвернулся. Страшный треск пронизал, казалось, все его тело. Земля заколебалась, поднялась, камни под снегом холодной мостовой прижались к Симочкину лицу. Короткий миг было очень больно. И потом стало легко и приятно. Раскинув на снегу маленькие, помертвелые руки, Сима шепнул:

— Елкич, миленький.

И затих.

1908



Смертерадостный покойничек



Был такой смертерадостный покойничек, — ходит себе по злачному месту, зубы скалит и очень весело радуется. Другие покойники его унимают, корить было стали, говорят:

— Ты бы лежал, смирнехонько, ожидая Страшного Суда, — лежал бы, о грехах сокрушался.

А он и говорит:

— Чего мне лежать, — я ничего не боюсь.

Ему говорят:

— Сколь много ты нагрешил на земле, все это разберут, и пошлют тебя в тартарары, в адскую преисподнюю, в геенну огненную, на муки мученские, на веки вечные, — смола там будет кипучая кипеть, огонь восплает неугасимый, а демоны-то, зело страховитые, будут мукам нашим

радоваться.

А смертерадостный покойничек знай себе хохочет:

— Небось, — говорит, — меня этим не испугаешь — я расейский.

Смертеныши



Нарожала Смерть ребят, наложила их в подол, несет, трясет, сама спрашивает:

— Кому смертенышей надо? По пятаку пара.

А кому смертенышей надо! Никто не берет их и даром. Говорят:

— Сама родила, сама и корми чадушек.

Смерть говорит людям:

— Чем я их кормить-то стану? Они у меня не какие-нибудь, благородные — их всячинкою не накормишь.

Идет навстречу Смерти чертово отродие, генеральское благородие; рожа у него великопостная, однако усы кверху закручены, как у берлинского спотыкайзера.

Говорит ему Смерть:

— Здравствуй, чертово отродие, генеральское благородие! Не надо ли тебе смертенышей? Уважая тебя, уступлю дешево.

У чертова отродия, генеральского благородия, от радости селезенка скрипнула. Говорит он с упованием:

— Есть у меня кололычиков и мололычиков, бегунцов и топтунцов достаточно, а нехватка у меня приключилась: иройского духа мало отпущено.

Говорит ему Смерть:

— И, чертово отродие, генеральское благородие! Ты об этом не кручинься. Моих смертенышей на это взять, — у них духу на десять Расей хватит. Как мой смертеныш дышит, — на тысячу верст кругом смердит.

У чертова отродия, генеральского благородия, все суставы возликовали. Понюхал он смертеныйшей с восхищением, руки упер в боки, возвел очи в потолки, посылает смертеныйшей на далекие восток, говорит им напутственное слово:

— Вы, смертеныйши, поспешайте, — на далекие восток духу напускайте, — волоките наши храбрые войска в смертные бои, — будьте, мать вашу вспоминаючи, расейские ирои.

Хвасты и вести



В одном лесу жили хвасты. Маленькие, грязненькие, поганенькие, как лишаи. На весь лес расширились, и хвастают:

— Все леса, все поляны заберем под себя, и никто не посмеет противиться.

А в соседнем лесу жили вести. Тоже маленькие, только юркие, как ящерицы. Бегают, шныряют везде, где что делается, сейчас вызнают.

И вот вызнали вести, что хотят хвасты их завоевать. Собрали вести, не долго думая, войско, пошли на хвастей, идут, не зевают.

Встретились. Хвасты встали, растопырились, принялись хвастаться:

— Мы — такие, сякие, немазаные. Лучше нас нет никого. Мы вас поколотим, в плен заберем, лес ваш отвоюем.

Вести говорят:

— Ну, что стоять, давайте драться.

А хвасты отвечают очень важно:

— Подождите, мы еще не все перехвастали. Мы, хвасты, и сами очень хорошие, и порядки у нас за первый сорт...

А тут вести, не говоря худого слова, быстро на хвастей напали, расколотили их на славу, и говорят:

— Ну, хвасты, битые, колоченые, по земле поволоченные, полно драться, давайте мириться, платите нам выкуп.

А хвасты говорят очень жалобно:

— Мы — хвасты, у нас голые пясти, платить вам выкуп нам не из чего.

Но только вести хвастям не поверили, карманы у хвастей повыворотили, большой себе выкуп вытрясли.

Вернулись хвасты домой, сидят, пригорюнились, а все-таки хвастают:

— Наши войски бились по-свойски, очень геройски! Боятся нас вести, не смеют к нам в лес лезти, нас, хвастей, ясти.

Карачки и обормот

Не за нашу память то дело случилось, не в нашей земле оно стало. При царе Горохе, у черта на куличках, жили-были карачки, — ходили на четвереньках, носом землю нюхали, хвостом в небо тыкали, и очень собою были довольны.

Забрел к ним, невесть откуда, Обормот. Голову держит кверху, прямо перед собою весело посвистывает, на обе стороны бойко поплевывает. Не понравилось такое поведение карачкам — говорят Обормоту:

— Как ты смеешь на задние лапы становиться, головой в небо выдыбать? Мы тебя за это засудим.

Повели его всем народом к судье неправильному.

— Судья, — говорят, — неправильный, суди ты этого Обормота: он головой фордыбачит, против нашего карачьего закона весело идет, на карачьи наши спины бойко поплевывает.

Ну, судья неправильный, со всею своею перемудростью тотчас же порешил: оттяпать Обормоту голову.

Повели карачки Обормота на лобное место. Идет Обормот, кается, горячими слезьми умывается, а между прочим думает:

«Как-то вы, карачье безмозглое, до моей головы доберетесь?»

И вот на самом интересном месте вышла у карачек заминка: надо Обормоту голову рубить, да Обормот на четвереньки не становится, а карачкам, на четвереньках стоячи, до его головы не добраться. И против своего закона поступить и на ноги вздыбиться им тоже никак невозможно. Повякали, повякали промеж собой карачки, да и погнали Обормота из своей страны далеча.

— Иди себе, — говорят, — с Богом по морозцу, мы, — говорят, — народ очень добрый.

Телята и волк



В одно стадо повадился волк — теляток и козляток таскать. И он их таскает и таскает, зубами рвет, когтями режет, в лес волочит, своих волчат телятиною да козлятиною кормит. И был он такой большой, и был он такой злой, и был он такой серый.

Ну, известное дело, завели собак злых-презлых. Собаки круг стада рыщут, по ночам лают, добрым телятам спать мешают, а только волк их ничуть не боится. И таскает он себе телят и козлят, и таскает. Большой, злой, серый.

Вот один раз жевала корова свою жвачку, своим коровьим хвостом помахивала, тупыми глазами на траву поглядывала и ни о чем не думала. И вдруг она слышит, — говорит ей коровий сын, молодой, ласковый теленок:

— Мы, молодые телята да козлята, всякую надежду на собак наших потеряли. Не справиться им с нашим лихим злодеем, с серым волком — только попусту они лают, наших сосунков по ночам зря пугают. А слышали мы, проходил вчера мимо стада заморский немец, сказал он такое хитрое слово: «В единении сила». Вот и сговорились мы, удалые добрые телята и козлята, — соберемся мы все вместе, пойдем мы в лес прямо к волчьему логовищу, злого серого волка задавим, злую волчиху его погубим, да и волчат его не пожалеем.

Корова коровьим своим хвостом помахала, жвачку пожевала, на сына поглядела довольно тупо и промолвила ему такое коровье тихое слово:

— Дай бог нашему теляти волка поймать. А только я так понимаю, что из этого ничего путного не выйдет. Сами вы лезете господину волку в лапы, всех вас господин волк перережет за милую душу. Вспомнить бы вам старую прибаутку: «Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, точил бы свои веретена».

Но не послушался ее коровий сын, молодой удалой теленок, да и хорошо сделал. Собрались из того стада все телята и все козлята, пошли они в лес к серому волку, окружили его нечистое логовище, забили

копытами все волчье семейство.

А потом и собак прогнали, чтоб они по ночам не лаяли, сосунков бы не пугали.

Палочка-погонялочка и шапочка-многодумочка



Одному хорошему мальчику тетя подарила палочку-погонялочку.

— С этою, — говорит, — палочкой ты далеко уйдешь, в люди выйдешь. Только не ленись. Как тебе что понадобится сделать, так ты сейчас палочку-погонялочку скричи: палочка-погонялочка, прибавь мне ума-разума.

Вот с тех пор, что ни понадобится хорошему мальчику, зададут ли ему трудный урок, пошлют ли его куда, что купить или принести — сейчас он и кричит:

— Палочка-погонялочка, прибавь мне ума-разума.

И палочка-погонялочка тут как тут, начнет хорошего мальчика подгонять, так что у него откуда ноги берутся — бежит, земля дрожит, пятки сверкают. А коли урок учить надо, так опять у палочки-погонялочки своя и на это сноровка: чуть хороший мальчик зевнет или потянется, сейчас она его охаживать примется, мигом лень, как рукой, снимет.

И стал хороший мальчик на диво послушный да прилежный. Папа и мама, дяди и тети, дедушки и бабушки им не нахвалятся. И самому хорошему мальчику сначала такая сноровка нравилась: известно, дитя малое, неразумное; ему палочка-погонялочка спину бьет, а он себе смеется и очень весело заливается, хохочет. Забавно глупышу, а кожа молодая, да и своя, некупленная.

Только вот видит он, что кожа-то у него вся в синяках. Пойдет ли купаться, — соседские ребята смеются.

— Опять, — говорят, — тебя твоя палочка-погонялочка исполосовала.

— Зато, — говорит хороший мальчик, — я всякий урок выучить могу и всякую посылку снесу без всякого сомнения.

И опять ребята смеются:

— Уроки, — говорят, — ты учишь, а какую тебе за это награду дают?

— Книжку с картинками, да в красном переплете, да с золотыми буквами, — говорит хороший мальчик.

А ребята ему отвечают, и так убедительно:

— Такие-то книжки и у нас есть, да только тебе книжку дают с подделкою: середка у нее вся выдрана — самое замечательное место мыши съели.

Посмотрел, посравнил хороший мальчик, видит: и впрямь у ребят книжки настоящие, в полном составе, а у него — вместо книжки мышиный огрызок. И стало хорошему мальчику досадно.

Ну, думает, побегу в чужие края, узнаю там, как бы мне без палочки-погонялочка да еще того лучше прожить.

Побежал хороший мальчик за море далеко, палочка-погонялочка его гонит поколачивает. Бежит хороший мальчик, плачет. Добежал до избушки на курьих ножках. Вышла оттуда Баба-Яга, костяная нога, спина глиняная. Спрашивает:

— Хороший мальчик, куда путь-дороженьку держишь? За чем так проворно поспешаешь?

Обсказал ей мальчик все свое дело. Баба-Яга ему и говорит:

— А ты, дурачок, палочку-погонялочку сломай, а надень на себя вот эту шапочку-многодумочку.

И дала ему Баба-Яга шапочку-многодумочку, и как только надел ее на себя хороший мальчик, так зардовался и сказал:

Шапочка-многодумочка лучше палочки-погонялочки.

И сломал палочку-погонялочку.

Вернулся хороший мальчик домой, стал жить-поживать по-хорошему, неколоченый. А как надо ему что трудное сделать, сейчас он шапочку-многодумочку надевает и все свои дела очень хорошо рассудит.

Люди добрые! Сломайте-ка палочку-погонялочку, надевайте шапочку-многодумочку.



Песенки

С виду он был так себе, забулдыга — шлялся по улицам и дорогам, засиживался в кабачках, засматривался на веселых девиц, и ничего не было у него сбережено, а потому и почет ему был маленький.

Только иногда выйдет он на перекресток и запоет — и такие слова он знал, что все ему тогда откликалось — и птицы в лесу, и ветер в поле, и волна в море.

А собачка-пустолаечка говорила:

— Плохо, плохо! Все это пустяки.

А хитрая лисичка говорила:

— Плохо, плохо! Это он все о земном, а о Боге-то и позабыл.

Ну что ж такое! Зато все живое ему откликалось: и птицы лесные, и волны морские, и рысучие ветры.

Благоуханное имя



Когда одна девочка была больна, то Бог велел ангелу идти и плясать перед нею, чтобы забавить ее. Ангел подумал, что неприлично ангелам плясать перед людьми.

И в ту же минуту Бог узнал, что он думает, и наказал ангела, — и ангел стал маленькой девочкою, только что родившеюся царевною, и забыл про небо, и про все, что было, и забыл даже свое имя.

А имя у ангела было благоуханное и чистое — у людей не бывает таких имен. И положили на бедного ангела тяжелое человеческое имя, — и стали звать царевну Маргаритою.

Царевна выросла.

Но она часто задумывалась — ей хотелось вспомнить что-то, и она не знала, что, и ей было тоскливо и скучно.

И однажды она спросила у своего отца:

— Отчего солнце светит молча?

Отец засмеялся и ничего не ответил ей.

И опечалилась царевна.

Другой раз она сказала матери:

— Сладко пахнут розы, отчего же запаха не видно?

И засмеялась мать, и опечалилась царевна.

И спросила она у своей няньки:

— Отчего не пахнут ничем имена?

И засмеялась старая, и опечалилась царевна.

Стали говорить в той стране, что у царя дочка растет глупая.

И было много заботы царю, сделать так, чтобы царевна была как все.

Но она все задумывалась и спрашивала о ненужном и странном.

И бледнела и чахла царица, и стали говорить, что некрасивая она. Приезжали молодые принцы, но поговорят с нею, и не хотят брать ее в жены.

Приехал принц Максимилиан. Сказала ему царица:

— У людей все отдельно: слова только звучат, и цветы только пахнут — и все так. Скучно мне.

— Чего же ты хочешь? — спросил Максимилиан.

Задумалась царица, и долго думала, и сказала:

— Я хочу, чтобы у меня было благоуханное имя.

Максимилиан сказал ей:

— Ты стоишь того, чтобы носить благоуханное имя, и нехорошо, что ты Маргарита, — но у людей нет для тебя имени.

И заплакала царица. И пожалел ее Максимилиан, и полюбил ее больше всего на свете.

И он сказал ей:

— Не плачь, я найду то, чего ты хочешь.

Улыбнулась царица и сказала ему:

— Если ты найдешь мне благоуханное имя, то я буду целовать твоё стремя.

И покраснела, потому что она была гордая.

И сказал Максимилиан:

— Ты будешь тогда моею женою?

— Да, если ты захочешь, — ответила ему царица.

Поехал Максимилиан искать благоуханного имени.

Объездил всю землю, спрашивал ученых людей и простых, — и везде смеялись над ним.

И когда был он опять недалеко от того города, где жила его царица, увидел он бедную избу и белого старика на пороге. И подумал Максимилиан: «Старик знает».

Рассказал принц белому старику, чего он ищет. И обрадовался старик, засмеялся и сказал:

— Есть, есть такое имя, духовитое имя — сам-то я не знаю, а внучка слышала.

Вошел Максимилиан в избу и увидел больную девочку.

И сказал ей старик:

— Донюшка, вот барину надо знать духовитое имя, вспомни, милая.

Обрадовалась девочка, засмеялась, но благоуханного имени вспомнить не могла.

И сказала она, что во сне видела ангела, который плясал перед нею и

был весь разноцветный.

И ангел сказал ей, что днем скоро придет к ней в избу другой ангел, и будет плясать и светить разными огнями еще лучше, и назвал имя того ангела, и от того имени пролился аромат, стало радостно. Сказала девочка:

— Весело мне думать об этом, а вспомнить имени не могу. А сейчас бы вспомнила и сказала, то выздоровела бы сейчас. Но он придет скоро.

Максимилиан поехал к своей царевне и привез ее в избу.

И когда царевна увидела бедную избу и больную девочку, то ей стало очень жалко, и стала она ласкать девочку и забавлять ее.

Потом отошла на середину избы, и стала кружиться и плясать, ударяя в ладоши и напевая.

И увидела девочка много света, и слышала много звуков, и обрадовалась, и засмеялась, и вспомнила имя ангела, и громко сказала его.

И вся изба наполнилась благоуханием.

И тогда вспомнила царевна свое имя, и зачем ее послали на землю, и радостно вернулась домой.

И девочка выздоровела, и царевна вышла за Максимилиана замуж, и в свое время, пожив на земле довольно, вернулась на свою родину, к вечному Богу.

Сказки на грядках и сказки во дворце



Был сад, где на грядках вдоль дорожек росли сказки.

Разные там росли сказки, белые, красные, синие, лиловые, желтые — иные сказки пахли сладко, другие хоть и не пахли, да зато были очень красивые.

Был сынишка у садовника; он каждое утро подолгу любовался этими сказками.

Он вызнал их все, и часто рассказывал своим товарищам на улице: в этот сад простых детей не пускали, потому что это был сад великой царицы.

Рассказали дети про сказки на грядках своим мамкам да тяткам, те своим знакомым, дальше — больше. Узнала и царица, что у нее в саду растут сказки. Она захотела их увидеть.

И вот один раз утром садовник нарезал много сказок, собрал их в красивый и пышный букет и послал во дворец.

Плакал садовников сынишка, зачем режут сказки, да его не слушали.

Мало ли кто о чем заплачет!

Увидела царица сказки, удивилась и сказала:

— Что же в них интересного? Какие это сказки? Это самые простые цветы.

И выбросила на двор бедные сказки, а сынишку садовника больно высекли, чтобы не говорил глупостей.

Крылья



Пасла девочка гусей, а сама плакала. Пришла хозяйкина дочь, спросила:

— Чего, дура, реवेशь?

Девочка сказала:

— Отчего у меня крыльев нет? Я хочу, чтобы у меня крылья выросли.

Хозяйкина дочь сказала:

— Вот дура, — ни у кого нет крыльев, — на что тебе крылья?

А девочка отвечала:

— Я бы все по небу летала да во весь бы голос песни пела.

Хозяйкина дочь сказала:

— Дура, какие у тебя могут вырасти крылья, коли у тебя отец батрак? Вот у меня, пожалуй, вырастут.

Облилась водой из колодца и стоит на грядке на солнце, чтоб крылья лучше росли.

Шла мимо купеческая дочь, спросила:

— Чего стоишь, красна девица?
А хозяйкина дочь говорит:
— А крылья ращу, летать хочу.
Купеческая дочь засмеялась, говорит:
— Мужичке да еще крылья — не по свинье груз, — пришла в город, накупила себе масла, намазала спину и вышла на огород растить крылья.
Шла мимо барышня, спросила:
— Что, милая, делаешь?
Купеческая дочь сказала:
— Крылья себе ращу, барышня.
Барышня покраснела, рассердилась — это, говорит, не купеческое, а дворянское дело.
Пришла домой, облилась молоком, стала на огороде, растит себе крылья.
Шла мимо царевна, увидела барышню на грядках, послала своих служанок узнать, для чего она стоит. Пошли служанки, узнали, приходят, говорят:
— Молоком облилась, крылья растит, высоко летать хочет.
Царевна усмехнулась и сказала:
— Глупая — даром себя мучит — у простой барышни не могут вырасти крылья.
Пришла царевна домой, облилась духами, пошла на огород, стоит, растит себе крылья.
Прошло сколько-то времени, — все девушки в той земле одна по одной пошли на свои огороды, стоят себе на грядках, растят себе крылья.
Узнала об этом крылья-мать, прилетела, посмотрела, видит, что их много, да и говорит:
— Дать вам всем крылья, так вы все летать будете, — а кто станет дома сидеть, кашку варить, деток кормить? Дам-ка я лучше крылья одной, которой раньше их захотелось.
Так и выросли крылья у одной батраковой дочери.
Стала она по небу летать да песни петь.

Склад див-дивных и хороший мальчик



Хорошего мальчика отпустили папа с мамой на два часа погулять.

Он и пошел.

Шел, шел, зашел в неведомую страну.

Видит — стоит дом, в доме сложены дива-дивные, а у дома сидит старая карга.

Он с нею поздоровался по-хорошему: левую ножкою шаркнул, правой ручкою шапочку приподнял, причесанною головкою поклонился.

Карге эти штуки понравились.

Она ему и говорит:

— Иди в дом, хороший мальчик, я подарю тебе то, что тебе приглянется.

Хороший мальчик обрадовался и пошел за каргою. Показала ему карга ковер-самолет. Понравился он хорошему мальчику.

— Это, — говорит, — хорошо, что он сам летает.

— Да, — сказала карга, — сам летит, выше дерева стоячего, ниже облака ходячего.

Тут хороший мальчик приужаснулся, говорит:

— Не люблю я так высоко заноситься. Мне бы хотелось в Париж слетать, на Ротшильда посмотреть.

А карга и говорит:

— Он в такие близкие места и внимания не возьмет беспокоиться. Уж он не полетит ближе, как за тридевять земель, в тридесятое государство, где Царь-Девница живёт.

И не захотел хороший мальчик ковра-самолета.

— Вот мне эта красная шапочка больше нравится, — говорит.

А карга ему объясняет:

— Это шапка-невидимка. Как наденешь на себя, да задом наперед повернешь, так тебя никто и не увидит.

И это не понравилось мальчику.

— Я, — говорит, — не хочу прятаться. Я — хороший мальчик, и на меня папа, мама и все знакомые любят и гостинцев дают — так мне даже невыгодно такую шапку носить.

— Ну, возьми скатерть-самобранку, — сказала карга. — Какого кушанья ни попросишь, она тебе всего сейчас сама поставит.

Обрадовался хороший мальчик, кричит:

— Скатерть-самобранка, раскройся, подавай мне две порции крем-брюле.

Зашевелилась скатерть, затряслась, точно от смеха. Да и карга засмеялась, говорит:

— Порции хороший мальчик захотел, так на это есть вичка-самодралка, вот уж она к тебе подбирается.

Испугался хороший мальчик, скорее давай Бог ноги.

Так ничего и не выбрал.

Зато домой пришел вовремя, папа с мамой его похвалили и дали ему после обеда две порции мороженого.

Сделался лучше



Много всяких мальчиков есть на свете, хороших и худых.
Вот жили-были два мальчика, — хороший и шалун. Пришел к ним однажды волшебник, дядя Получше. И спросил их:
— Хотите быть лучше?
Хороший мальчик сказал:
— Хочу быть лучше, милый дяденька, — хорошему везде хорошо.
А шалун сказал:
— Мне, дядя, не требуется, я и так хорош. С большого-то хорошества как бы рот зеваючи не разорвать.
Дядя Получше сказал:
— Ну и оставайся шалун. А ты, хороший мальчик, уже таким станешь сладким, что всем на диво.
И ушел. И сделался хороший мальчик таким сладким, что из него патока потекла. Уж ему и не рады были —> куда ни придет, везде своей патокою напачкает. И мама сердилась.
— На твои, — говорит, — сладости белья не напасешься. Уж лучше бы ты в хулиганы пошел.
А хорошему мальчику нравилось патоку из себя точить. Так он и остался. Вырос, угождает: из бумаги фунтики делает, в фунтики патоку точит, нужным людям подносит.

Обидчики



Мальчик с пальчик встретил мальчика с ноготок и поколотил его. Стоит мальчик с ноготок и жалобно пищит.
Увидел это мальчик с два пальчика и прибил мальчика с пальчик — не дерись! — говорит. Заверещал мальчик с пальчик.
Идет мальчик с локоток и спрашивает:

— Мальчик с пальчик, о чем ты плачешь?

— Гы-гы! Мальчик с два пальчика меня оттаскал, — говорит мальчик с пальчик.

Догнал мальчик с локоток мальчика с два пальчика и больно прибил его — не обижай, — говорит, — маленьких!

Заплакал мальчик с два пальчика и побежал жаловаться мальчику приготовишке. Приготовишка сказал: я его вздую! — и вздул мальчика с локоток. А приготовишку за это поколотил второклассник.

За приготовишку заступилась его мама и оттаскала второклассника.

Закричал второклассник, — прибежал его папа, прибил приготовишкину маму. Пришел городской и свел второклассникова папу в участок.

Тут сказка и кончилась.

Золотой кол



Мальчик Вова рассердился на папу. Говорит Вова няне:

— Как только вырасту, поступлю в генералы, приду к папиному дому с пушкой, папу в плен возьму и на кол посажу.

А папа тут как тут и говорит:

— Ах ты, злой мальчик! Как же это ты папу на кол хочешь посадить? Ведь папе больно будет.

Вова испугался да и говорит:

— Так ведь это, папа, будет кол золотой, и с надписью: за храбрость.

Мухомор в начальниках



Жил на свете мухомор.

Он был хитрый и знал, как устроиться получше: поступил в чиновники, служил долго и сделался начальником.

Люди не знали, что он не человек, а просто старый гриб, да и то поганый, но должны были его слушаться.

Мухомор ворчал, брюзжал, злился, брызгал слюною и портил все бумаги.

Вот один раз случилось, когда мухомор выходил из своей кареты, подбежал к тому месту босой мальчишка и закричал:

— Батюшки, какой большой мухомор, да какой поганый!

Городовой хотел дать ему подзатыльника, да промахнулся.

А босой мальчишка схватил мухомора и так швырнул его в стену, что мухомор тут и рассыпался.

Босого мальчишку высекли — нельзя же прощать такие шалости — а только все в том городе были очень рады.

И даже один глупый человек дал босому мальчишке на пряники.

Стал маленьким



Купил один человек землю и домик. Земля — шагнул раз, шагнул два — да и в загородку стукнулся. Домик — войти хочешь, нагнись.

Неловко было человеку.

Сказал ему старый воробей:

— А ты бы стал поменьше.

А человек отвечает ему очень рассудительно:

— И рад бы, да как станешь маленьким, коли с коломенскую версту вырос.

— А ты сходи в аптеку к немцу, — сказал старый воробей, — пошепчись с ним по секрету и сунь ему барашка в бумажке — он тебе уменьшительных капель из-под микроскопа даст, ты малюсенький будешь.

Человек обрадовался, сделал все, как велел ему старый воробей, и стал таким маленьким, как оловянный солдатик.

Приехал в свой дом, на свою землю — и все стало ему впору.

Дом стал большой-большой — в каждой комнате можно танцевать кадрили в семь тысяч пар, так что человек разгородил свой домик и стал сдавать другим человечкам, чтобы получить от малого своего достатка большую себе выгоду.

Земля тоже стала громадная такая, что пойдет человечек гулять, кругом обойдет — упарится с устатку. И землю накрошил человечек, дачки-конурки построил, стал сдавать, немалые деньги брать. Деньги берет, в банк несет, процент ему идет, богатеет-жиреет человечек.

Но прилетела тут большая ворона, ухватила человечка за ворот, потащила к себе в гнездо, детенышам на прокорм. Спокался человечек, что старого воробья послушался, да уж поздно, старый-то воробей, может быть, нарочно все это одно к одному подвел.

Ворона



Летела ворона. Видит мужика и спрашивает: — Мужик, а мужик? — Чего тебе? — говорит мужик.

— Ворон считать умеешь?

— Ишь ты, какая затейная. Чего захотела — проваливай подобру-поздорову.

Полетела ворона, встретила купца, спросила:

— Купец, ворон считать умеешь?

А купец говорит:

— Нам такими пустяками не приходится заниматься — наше дело торговое.

Полетела ворона, встретила гимназиста, самого маленького из всей гимназии, и спрашивает:

— Гимназист, ворон считать умеешь?

А он и говорит:

— Я все считать умею, я до миллиона умею считать и даже больше. Я Малинина и Буренина учил.

А ворона ему в ответ:

— А вот ворон не сосчитаешь.

— А нет, сосчитаю, — говорит гимназист. И стал считать.

— Одна, две, три...

А ворона тут влетела ему в рот, и укусила его за язык. Заплакал гимназист и говорит:

— Никогда вперед не буду вас, ворон, считать — коли кусаетесь, так и живите так, несчитанные.

Два стекла



Одно стекло увеличивало, другое — уменьшало.

И первое стояло над каплею воды, и говорит другому стеклу:

— Страшные, большие существа носятся и пожирают друг друга.

Другое смотрело на улицу и говорило:

— Маленькие человечки мирно беседуют, и проходят, все проходят...

Первое сказало:

— Мои остаются. Боюсь, что доберутся они и до человечков.

Но второе сказало:

— Человечки уйдут...

Равенство



Большая рыба догнала малую и хотела проглотить.

Малая рыба запищала:

— Это несправедливо. Я тоже хочу жить. Все рыбы равны перед законом.

Большая рыба ответила:

— Что ж, я и не спорю, что мы равны. Коли не хочешь, чтоб я тебя съела, так ты, пожалуй, глотай меня на здоровье, — глотай, ничего, не

сомневайся, я не спорю.

Малая рыбка примерилась, туда-сюда, не может проглотить большую рыбу.

Вздохнула и говорит:

— Твоя взяла, — глотай!

Самостоятельные листья



Сидели листья на ветке, на прочных черенках и скучали. Очень неприятно: птицы летают, кошки бегают, тучи носятся — а тут сиди на ветке. Качались листья, пробовали оторваться. Они говорили друг другу:

— Мы можем жить самостоятельно. Мы созрели. Не все же нам быть под опекою, сидеть на этой глупой старой ветке.

Качались, качались, оторвались, наконец, упали на землю и увяли. Пришел садовник, вымел их с сором.

Пожелтевший березовый лист, капля и нижнее небо



Капля упала с неба прямо на березовый лист. Это была испуганная и дрожащая капля, — и березовый лист пожелел ее.

— Отчего ты дрожишь? — спросил он.

— Я совсем не того ожидала, — сказала капля, — мне сказали, что и внизу такое же небо, как наверху.

— Здесь нет никакого неба, да никогда и не было, — ответил березовый лист. — Небо всегда бывает наверху, а внизу земля, камни и наши корни.

— Мне страшно, — сказала капля, — я ошиблась.

— Ничего, не бойся, — утешил ее березовый лист. — Будем жить вместе, уж я не дам тебя в обиду.

Капля приникла к березовому листу. Уже они готовы были сочетаться навеки. Но вдруг капля услышала шум листьев, и вся радостно задрожала.

— Послушай, — сказала она, — вот там внизу я слышу, как листья колышутся и шепчут: нижнее небо, нижнее небо.

— Какие глупости! — с досадою сказал березовый лист. — Я же тебе говорю, что никакого нет нижнего неба.

Но капля сорвалась и упала вниз, а лист пожелтел с горя: он успел влюбиться в каплю.

Капля и пылинка



Капля падала в дожде, пылинка лежала на земле. Капля хотела соединиться с существом твердым — надоело ей свободно плавать.

С пылинкою соединились они — и легла на землю комом грязи.

Путешественник камень



Была в городе мостовая. Колесом вышибло из нее малый камешек. Он и думает: что мне с другими лежать, там тесно — побуду отдельно.

Прибежал мальчишка и схватил камень. Камень думает: вот захотел и поехал — стоит только захотеть.

Мальчишка швырнул камень в дом. Камень думает себе: захотел и полетел — очень просто, моя воля!

Попал камень в стекло — стекло разбилось и закричало:

— Ах ты, озорник этакий!

А камень говорит:

— Раньше было сторониться! Я не люблю, чтобы мне мешали, у меня все чтоб было по-моему, вот я какой!

Упал камень на ковер и думает: полетал, а теперь полежу, отдохну.

Взяли камень да выбросили на мостовую.

Он и кричит другим камням:

— Братцы, здорово, был я в хоромах, да не полюбилось мне у господ, захотелось в простой народ.

Лампа и спичка



На столе стояла лампа.

С нее сняли стекло; лампа увидела спичку и сказала:

— Ты, малютка, подальше, я опасна, я сейчас загорюсь. Я зажигаюсь каждый вечер — ведь без меня нельзя работать по вечерам.

— Каждый вечер! — сказала спичка. — Зажигаться каждый вечер — это ужасно!

— Почему же? — спросила лампа.

— Но ведь любить можно только однажды! — сказала спичка, вспыхнула — и умерла.

Ключ и отмычка



Сказала отмычка своему соседу:

— Я все гуляю, а ты лежишь. Где-где я ни побывала, а ты дома. О чем же ты думаешь?

Старый ключ сказал неохотно:

— Есть дверь, дубовая, крепкая. Я замкнул ее — я и отомкну, будет время.

— Вот, — сказала отмычка, — мало ли дверей на свете!

— Мне других дверей не надо, — сказал ключ, — я не умею их открывать.

— Не умеешь? А я так всякую дверь открою.

И она подумала: верно, этот ключ глуп, коли он только к одной двери подходит. А ключ сказал ей:

— Ты — воровская отмычка, а я — честный и верный ключ.

Но отмычка не поняла его. Она не знала, что это за вещи — честность и верность, и подумала, что ключ от старости из ума выжил.

Колодки и петли



Шел, шел белый человек и пришел в коробку. Видит — сидят черные люди, а лица у них белые. Удивился белый человек.

— Чего же, — говорит, — у вас на ногах колодки?

А они смеются.

— Нельзя же, — говорят, — так стыдно ходить.

— Ну, — говорит белый, — а зачем у вас у каждого петля на шее?

А они пуще смеются.

— Нельзя же, — говорят, — так невежливо ходить.

Так ничего и не понял белый человек. Ушел домой, где не носят на ногах колодок, а на шеях петель.

Плененная смерть



В старые годы жил храбрый и непобедимый рыцарь.
Случилось ему однажды пленить самое смерть.
Привез он ее в свой крепкий замок и посадил в темницу.
Смерть ничего, сидит себе, а люди перестали умирать.
Рыцарь радуется и думает:
— Теперь хорошо, да беспокойно, стеречь ее надо. Лучше совсем бы ее истребить.
Только рыцарь справедливый был, — не мог умертвить ее без суда.
Вот он пришел к темнице, стал у окошечка и говорит:
— Смерть, я тебе голову срубить хочу — много ты зла на свете наделала.
Но смерть молчит себе.
Рыцарь и говорит:
— Вот, даю тебе срок, — защищайся, коли можешь. Что ты скажешь в свое оправдание?
А смерть отвечает:
— Я-то тебе пока ничего не скажу, а вот пусть жизнь поговорит за меня.
И увидел рыцарь — стоит возле него жизнь, бабища дебелая и румяная, но безобразная.
И стала она говорить такие скверные и нечестные слова, что затрепетал храбрый и непобедимый рыцарь, и поспешил отворить темницу.
Пошла смерть, — и опять умирали люди. Умер в свой срок и рыцарь, — и никому на земле никогда не сказал он того, что слышал от жизни, бабищи безобразной и нечестивой.



Есть такая чудесная палочка на свете — к чему ею ни коснись, все тотчас делается сном и пропадает.

Так ничего и не понял белый человек. Ушел домой, где не носят на ногах колодок, а на шеях петель.

Вот если тебе не нравится твоя жизнь, возьми палочку, прижми ее концом к своей голове — и вдруг увидишь, что все было сон, и станешь опять жить сначала и совсем по-новому.

А что было раньше, в этом сне, про все вовсе забудешь.

Вот такая есть чудесная на свете палочка.

Л.Н. Андреев [\[400\]](#)



Сказочки не совсем для детей [\[401\]](#)



Орешек



Жила-была в зеленом лесу прехорошенькая белочка, и все ее любили. И летом белочка была рыженькая, а зимою, когда вокруг все белело, и она одевалась во все белое — такая модница и красавица! И зубки у белочки были беленькие, остренькие, чудесные грызуночки, коловшие орехи, как щипцами. Но, к несчастью, белочка была благоразумна — да, да, благоразумна — и вот что из этого вышло, какое горе, какое несчастье: в зеленом лесу до сих пор все плачут, когда вспоминают эту печальную историю.

Пролетал над лесом ангел с белыми крылами, и увидел он белочку своими зоркими глазами, и так она ангелу понравилась, что решил он сделать белочке подарок: полетел в райские сады и сорвал там золотой орешек, какие бывают только на Рождество на елке, и принес его белке-беляночке.

— Вот тебе орешек, милая беляночка, — сказал ангел, — скушай его, пожалуйста, он прямо из райского сада.

— Благодарю вас, — вежливо ответила белочка, — я его потом скушаю, когда вы улетите.

Ангел доверчиво улетел, а белочка стала размышлять, и вот что она придумала: «Ну, хорошо, ну съем я орешек, а дальше что? Нет, лучше спрячу-ка я этот райский орешек, а когда придет в моей жизни черный день и трудно мне станет добывать пищу, тогда я орешек и скушаю: всегда нужно быть благоразумным, нерасточительным и бережливым».

Так прошло много лет и много зим, и не раз белочка соблазнялась золотым орешком и даже плакала от аппетита, но кушать все-таки не стала — да, да, не стала! Но вот наступили в белочкиной жизни и черные дни:

состарилась она, ножки скрючило от ревматизма, головка дрожит от слабости и уже не греет беленькая шубка, потерянная, облезлая, скверная-прескверная.

— Вот когда я орешек-то скушаю, — сказала старушка-белочка, томимая голодом, и достала из-под сухих листьев свое сокровище. Взяла в лапки и полюбовалась. Полюбовалась и в ротик положила, в ротик положила — а разгрызть-то и не могла: зубов-то уж не было у белочки — да, да, не было!

Пролетал над белым лесом ангел с белыми крыла-ми и видит: лежит под деревом, лежит под большим деревом мертвая белочка-старушка в облезлой шубке, а в лапочках у нее золотой орешек, орешек из райского сада.

Нравоучение. Когда дают тебе, Коля, орешек, то тут же ты его и кушай.

Негодяй



У хорошего мальчика Пети была очень хорошая мама, которая постоянно его учила и образовывала. И жили они в большом доме, а во дворе гуляли гуси и куры: куры несли им яички, а гусей они кушали. И,

кроме того, жил еще во дворе маленький теленочек, которого все любили и в шутку звали Васенькой, и этот теленочек рос для того, чтобы сделать из него для хорошего мальчика Пети котлетки.

Вот раз мама и повела Петю на скотный двор и стала его учить. Говорила так:

— Видишь, Петенька, какой хороший теленочек — погладь его.

И Петенька его погладил, а теленочек-то и рад, думает: дай, кстати, молочка себе попрошу. Что ж! и молочка ему дали.

— Вот, смотри, Петенька, — учила мама, — теперь он молочко пьет, а потом мы из него котлетки тебе сделаем, если ты будешь хороший и послушный.

Петечка же шаркнул ножкой и сказал:

— Благодарю моих наставников и родителей за их неусыпные обо мне заботы. Но я хотел бы знать, дорогая мама, из какого места в теленочке делаются котлетки?

Тогда мама очень обрадовалась, что сын у нее такой любознательный и умный, и начала ручкой на теленка показывать:

— Смотри, Петенька, и запоминай: вот из этого места, что под ребрышком, мы сделаем тебе котлетки с косточкой, — ты любишь котлетки с косточкой?

— Я люблю все то, дорогая мама, что ты даешь мне по твоей доброте, — ответил Петечка.

А глупый теленок слушал их и думает очень глупо, по-телячьи: «Боже мой, что они такое говорят, ведь мне становится прямо-таки страшно».

Поцеловала мама своего Петечку и так продолжала его учить:

— А вот из этого местечка мы сделаем тебе рубленые котлеточки. А из его язычка — покажи нам, теленочек, твой язычок, — мы сделаем холодное с хреном; а из мозгов и ножек мы сделаем заливное, а из...

Но Петя перебил ее и сказал:

— Я знаю, дорогая мама: из хвостика мы сделаем кнудик.

Мама засмеялась и похвалила Петечку, что он так умен, и они пошли домой пить чай с коровкиным молочком. А глупый теленочек Васенька так напугался от этого разговора, что весь трясется; и думает глупо, по-телячьи: «Боже мой, кажется, они хотят меня съесть, и это прямо-таки ужасно! Нет, лучше убегу я в лес и там спасусь».

Но тут проснулась в нем совесть и говорит ему твердым голосом: «Какой же ты негодяй! Из тебя должны сделать для хорошего мальчика Пети котлеточки, а ты хочешь убежать: это прямо-таки подло».

Но не послушался Васенька голоса совести своей, порвал веревку и

убежал в лес: спастись, дурачок, думал. А в лесу-то — а в лесу-то волки-то его и съели! Ага!

Волки-то его и съели. Рассчитывал, негодяй, спастись, а про волков-то и забыл!

Нравоучение для телят. Негодяй! Не бегай, тебя все равно съедят волки.

Фальшивый рубль и добрый дядя



Это был ужасно добрый дядя: видеть не мог, когда кто-нибудь плачет или огорчается, или чего-нибудь хочет: сейчас же поможет. Такой был добрый дядя, что ни одна тетя не может быть добрее. Вот раз пошел он на пароходную пристань на Неве, чтобы переехать на другую сторону, стоит себе, ждет парохода и всех ласково рассматривает. И вдруг видит маленького плачущего мальчика: стоит маленький мальчик и плачет, катятся слезы по лицу, и каждая слеза такой величины, что можно сразу наполнить ведро. Обеспокоился добрый дядя и спрашивает:

— О чем ты, мальчик, так горько плачешь?

И ответил мальчик, продолжая плакать:

— Вот о чем я плачу, добрый дядя: дал мне старший брат рубль, чтобы я на ту сторону домой поехал, а рубль-то оказался фальшивым. И никто его не берет, и должен я теперь погибнуть, если вы меня не спасете.

Подумал-подумал добрый дядя и сказал:

— Решил я тебя, мальчик, спасти, и вот тебе настоящий серебряный рубль, бери его, не бойся. Мне же отдай твой фальшивый рубль, каковой я

постараюсь сбыть, если на то будет воля Провидения, видевшего мою доброту.

Так они и поменялись: мальчик взял настоящий рубль, а доброму дяде дал фальшивый. И поехал мальчик на ту сторону домой, а добрый дядя зашел в лавочку и сказал:

— Дайте мне, пожалуйста, десяток папирос в шесть копеек.

И дал ему лавочник десяток папирос, а дядя в обмен вручил ему фальшивый рубль, думая с некоторым опасением, что сейчас лавочник закричит «караул!» и позовет городского. Но лавочник был стар, глух и слеп и вообще совсем дурак: взял фальшивый рубль за настоящий и дал доброму дяде девяносто четыре копейки сдачи. И пошел дядя, куда ему надо было, и всю дорогу радовался своей доброте и со слезами в душе благословлял мудрое Провидение.

Нравоучение для фальшивомонетчиков. Когда нужно сбыть фальшивый целковый, то не давайте его ребенку, а дайте доброму дяде: он сбудет.

1913



Умирал важный, старый сановник, большой барин, любивший жизнь. Умирать ему было трудно: в Бога он не верил, зачем умирает — не понимал и ужасался ужасом безумным. Было страшно смотреть на него, как он мучился.

Позади умирающего сановника была большая, богатая, интересная жизнь, в которой не оставались праздными сердце и мысль и получали свое удовлетворение. И устали сердце и мысль, устало все пожившее, тихо холодеющее тело. Глаза устали смотреть даже на прекрасное, — насытилось зрение; и ухо устало слышать, и сама радость сделалась тяжелою для утомленного сердца. И пока был сановник на ногах, о смерти он помышлял даже с некоторым удовольствием: отдохну, по крайней мере, — думал он; перестанут целовать, уважать и ходить с докладами, — думал он с удовольствием. Да, думал... а вот когда свалился он на смертный одр, то стало невыносимо больно и ужасно до последнего ужаса.

Хотелось пожить еще — хоть немного, хоть до будущего понедельника или, еще лучше, до среды или до четверга. Однако настоящего дня, в который он умер, он так и не узнал, хотя их всего только семь в неделе: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье.

Тут-то, в этот самый неизвестный день, и пришел к сановнику Черт, обыкновенный Черт, каких много. В дом он вошел под видом священника, ладана и свечей, но умершему предстал во всей своей святой правде. Сановник сразу догадался, что Черт пришел неспроста, и обрадовался: раз существует Черт, то смерти настоящей нет, а есть какое-то бессмертие. В крайнем же случае, если нет бессмертия, то можно продлить и эту жизнь, продав душу на выгодных условиях. Это было очевидно, а от испуга совсем ясно.

Но Черт имел вид усталый и недовольный, долго не начинал разговора и оглядывался брезгливо и кисло, как будто не туда попал. Это обеспокоило сановника, и он поскорее предложил Черту сесть; но и усевшись, Черт продолжал глядеть все так же кисло и молчал.

«Вот они какие, — думал сановник, потихоньку разглядывая чужое, более чем иностранное лицо посетителя. — Ну и противная же харя, Господи! Я думаю, что и там он не считается красивым».

А вслух сказал:

— А я вас не таким представлял.

— Что? — недовольно спросил Черт и кисло сморщился.

— Не таким вас представлял.

— Пустяки.

Ему все это говорили при первом знакомстве и надоело слышать одно и то же. А сановник думал:

«Не предлагать же ему чаю или вина — у него и пасть такая, что пить он не может».

— Вот вы и умерли... — начал Черт лениво и скучно.

— Ну, что вы! — возмутился и испугался сановник. — Я вовсе еще не умирал.

— Другому скажите, — равнодушно огрызнулся Черт и продолжал: — Вот вы и умерли... так что же нам теперь делать? Дело серьезное, и вообще, надо же этот вопрос решить.

— Но неужели это — правда: я уже умер? — ужасался сановник. — Ведь мы же... разговариваем.

— Ну, а когда вы едете на ревизию, вы сразу попадаете в вагон? Вы еще сидите на станции.

— Так, значит, это — станция.

— Ну да. А то что же?

— Понимаю, понимаю. Значит, вот это уже не я. А где же я, то есть мое тело?

Черт неопределенно мотнул головой:

— Недалеко. Вас сейчас обмывают теплой водой.

Чиновнику стало стыдно: вспомнил некрасивые, жирные складки на пояснице, и стало еще стыднее. Он знал, что покойников обмывают женщины.

— Глупый обычай, — сказал сановник сердито.

— Ну, уж это — ваше дело, а я тут ни при чем. Но, однако, я попросил бы вас перейти к вопросу, а то времени мало. Вы очень быстро портитесь.

— В каком смысле? — похолодел сановник. — В... в обыкновенном?

— Ну да. А то в каком же? — с горькой иронией передразнил его Черт. — Мне, извините, ваши вопросы надоели. Извольте выслушать внимательно, что я вам изложу, — повторять не стану.

И в очень скучных выражениях, тягучим голосом повторяя то, что, видимо, самому ему надоело до последней степени, Черт изложил следующее. Для старого, важного, уже скончавшегося сановника есть две возможности: или пойти в окончательную смерть, или же в особенную, несколько странную и даже подозрительную жизнь, — как он хочет, как он выберет. Если он выберет первое — смерть, — то для него наступит вечное небытие, молчание, пустота...

«Господи, это и есть то самое ужасное, чего я так боялся», — думал сановник.

— Ненарушимый покой... — продолжал Черт, с некоторым любопытством разглядывая незнакомый потолок. — Вы исчезнете бесследно, ваше существование прекратится абсолютно, вы никогда не будете говорить, думать, желать, испытывать боль или радость, никогда больше не произнесете «я», — вы исчезнете, погаснете, прекратитесь, понимаете, станете ничто...

— Нет, нет, не хочу! — крикнул сановник.

— Но зато покой, — наставительно сказал Черт. — Это, знаете, тоже что-нибудь стоит. Уж такой покой, что лучше придумать нельзя, сколько ни думайте.

— Не хочу покоя, — решительно сказал сановник, а усталость отозвалась в мертвом сердце мертвой мольбой: «дайте покоя, покоя, покоя».

Черт пожал волосатыми плечами и утомленно продолжал, как приказчик в модном магазине к концу бойкого торгового дня:

— Но, с другой стороны, я имею вам предложить вечную жизнь...

— Вечную?

— Ну да. В аду. Ну, конечно, это не совсем то, чего бы вам хотелось, но тоже жизнь. У вас будут кое-какие развлечения, интересные знакомства,

разговоры... а главное, вы сохраните навеки ваше «я». Вы будете жить вечно.

— И страдать? — пугливо спросил человек.

— Но что такое страдание? — брезгливо сморщился Черт. — Это страшно, пока не привыкнешь. И я должен вам заметить, что если у нас и жалуются на что-нибудь, так именно на привычку.

— А у вас много народу?

Черт покосился:

— Есть-таки. Да, на привычку. На этой почве, знаете ли, у нас недавно вышли крупные беспорядки: требовали новых мучений. А где их взять? Кричат: шаблон, рутина...

— Ужасно глупо! — сказал сановник.

— Да, докажите-ка им. По счастью, наш...

Черт почтительно привстал и сделал подлое лицо; такое же лицо, на всякий случай, сделал и сановник.

— Наш Маэстро предложил грешникам: пожалуйста, мучайте себя сами. Пожалуйста!

— Самоуправление, так сказать, — отозвался сановник с иронией.

Черт сел и засмеялся:

— Теперь они придумывают. Ну, так как же, дорогой мой? Надо решать.

Сановник задумался и, уже веря Черту, как родному брату, несмотря на его гнусную рожу, нерешительно спросил:

— А как бы вы посоветовали?

Черт нахмурился:

— Нет, это вы оставьте. Я тут ни при чем.

— Ну так я не хочу в ад!

— Ну, и не надо. Распишитесь.

Черт положил перед сановником бумажку, довольно грязную, больше похожую на носовой платок, чем на такой важный документ.

— Вот тут, — показал он когтем. — Нет, нет, не там, это — если вы хотите в ад. А смерть вот здесь.

Сановник подержал перо и со вздохом положил.

— Вам легко, — сказал он укоризненно. — А каково мне? Скажите, пожалуйста, у вас чем мучат главным образом? Огнем?

— Да, и огнем, — равнодушно ответил Черт. — У нас есть праздники.

— Да что вы! — обрадовался сановник.

— Да. По воскресеньям и табельным дням полный отдых; в субботу, — Черт продолжительно зевнул, — занятия только от десяти до

двенадцати.

— Так, так. Ну, а Рождество и вообще?..

— На Рождество и на Пасху по три дня свободных, да вот еще летом каникулы на месяц.

— Фу ты! — радовался сановник. — Это даже гуманно. Вот не ожидал! Ну, а если... в крайнем, конечно, случае... подать рапорт о болезни?

Черт пристально посмотрел на сановника и сказал:

— Пустяки.

Сановнику сделалось стыдно; застыдился слегка и Черт. Вздохнул и заволок глаза. Вообще видно было, что либо он не доспал сегодня, либо все это смертельно ему надоело: умирающие сановники, небытие, вечная жизнь. На правой ноге к шерсти пристал кусочек сухой грязи.

«Откуда это? — подумал сановник. — И почиститься лень».

— Так. Значит, небытие, — задумчиво сказал человек.

— Небытие, — как эхо, не открывая глаз, отозвался Черт.

— Или вечная жизнь.

— Или вечная жизнь.

Долго думал умерший. Там уже и панихиду отслужили, а он все думал. И те, кто видели на подушке его необыкновенно строгое, серьезное лицо, никак не предполагали, что за странные сны развешаются над холодным черепом. И Черта не видели. Курился, растворяясь, последний ладан, пахло притушенными восковыми свечами, и еще чем-то как будто пахло.

— Вечная жизнь, — не открывая глаз, задумчиво повторил Черт. — Объясни ему получше, что значит вечная жизнь: ты плохо, говорит, объясняешь, — а разве он, дурак, когда-нибудь поймет...

— Это вы про меня? — с надеждой спросил сановник.

— Так, вообще. Мое дело маленькое, но как посмотришь на все на это...

Черт уныло замотал головой. Сановник также в знак сочувствия покачал головой и сказал:

— Вы, видимо, не удовлетворены, и если я, со своей стороны...

— Прошу вас не касаться моей личной жизни, — вспылил Черт. — И вообще, скажите, пожалуйста, кто из нас Черт: вы или я? Вас спрашивают, вы и отвечайте: жизнь или смерть?

И опять думал сановник. И все не знал, на что ему решиться. И оттого ли, что мозг его портился с каждой секундой, или от природной слабости, стал он склоняться на сторону вечной жизни. «Что такое страдание? — думал он. — Разве не страданием была вся его жизнь, а как хорошо было

жить. Не страдания страшны, а страшно то, пожалуй, что сердце их не вмещает. Не вмещает их сердце и просит покоя, покоя, покоя...»

...В это время его уже везли на кладбище. И как раз около департамента, где он начальствовал, служили панихиду. Шел дождь, и все были под зонтиками, стекала с зонтиков вода и поливала мостовую. Блестела мостовая, а по лужам молчаливо топорщилась рябь, — был ветер при дожде.

«Но не вмещает сердце и радости, — думал сановник, уже склоняясь на сторону небытия, — устает оно от радости и просит покоя, покоя, покоя. У меня ли одного такое тесное сердце, или же так и всем на роду написано, но только устал я, ах, как я устал». И вспомнил он недавний случай. Это было еще до болезни. И собрались у него гости, и было почетно, весело и дружелюбно. Очень много смеялись, а особенно он, — раз даже до слез рассмеялся. И не успел он тогда про себя подумать: «какой я счастливый», — как вдруг потянуло его в одиночество. И не в кабинет, и не в спальню, а в самое одинокое место, — вот и спрятался он в то место, куда ходят только по нужде, спрятался, как мальчик, избегающий наказания. И провел он в одиноком месте несколько минут, почти не дыша от усталости, предавая смерти дух и тело, общаясь с нею в молчании таком угрюмом, каким молчат только в гробу.

— А ведь надо поторопиться, — сказал Черт угрюмо. — Скоро и конец.

Лучше бы он и не говорил этого слова: конец. Совсем было отдался сановник смерти, а при этом слове воспрянула жизнь и завопила, требуя продолжения. И так все стало непонятно, так трудно для решения, что положился сановник на судьбу.

— Можно подписать с закрытыми глазами? — боязливо спросил он Черта.

Черт искоса поглядел на него, качнул головой и сказал:

— Пустяки.

Но, должно быть, надоело ему возиться, — подумал, повздыхал и снова разложил перед сановником смятую бумажку, больше похожую на носовой платок, чем на такой важный документ. Сановник взял перо, стряхнул чернила раз, другой, закрыл глаза, нащупал пальцем место и... Но в последний момент, когда уже делал росчерк, не вытерпел и взглянул одним глазом. И крикнул, отшвырнув перо:

— Ах, что же я наделал!

Как эхо, ответил ему Черт:

— Ах!

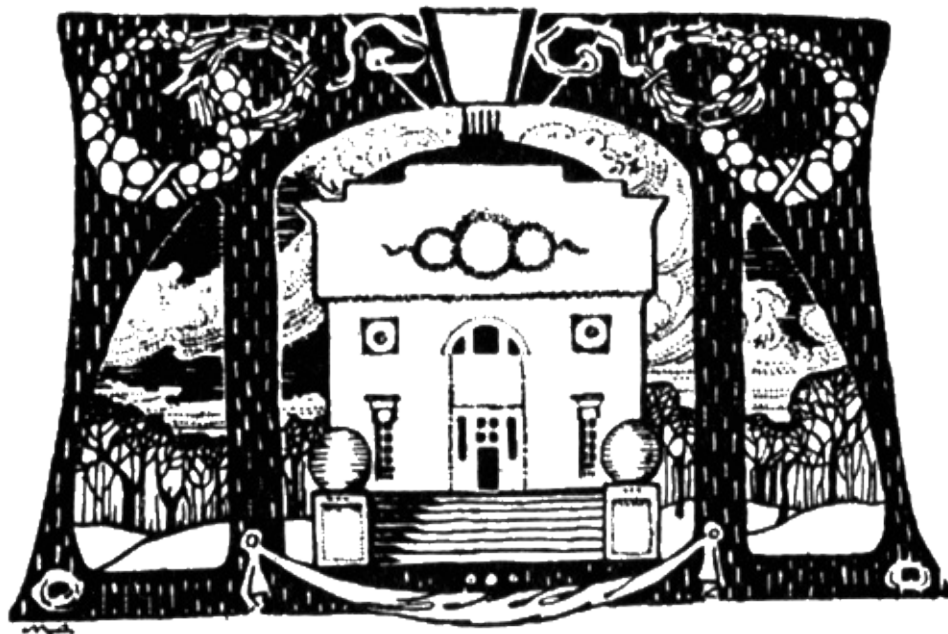
И заахали стены и потолок, стали сдвигаться, ахая. И захохотал Черт, уходя. И чем дальше он уходил, тем шире становился его хохот, терял отдельность, раскатывался страшно.

...В это время сановника уже зарывали. Мокрые, слипшиеся комья тяжело грохались о крышку, и казалось, что гроб совсем пуст, и в нем нет никого, даже и покойника, — так широки и гулки были звуки.

1882







Диалог I

«...Чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешения. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли».

(Пс. 74, 9)



Ах, да это опять вы. Вы, что ли, — сказал Иван Иванович, вдруг уловив в чертах незнакомого человека, пришедшего к нему «по делу», знакомую с детства тень лица. Именно тень, а не лицо; или, если это и было лицо, то главное его, отличительное его свойство, по которому Иваном Ивановичем оно узнавалось, — была странная безличность этого лица. Безликость, ни в ком больше не встречающаяся.

— Так вы, значит, — переспросил Иван Иванович.

Посетитель съехался, улыбнулся одобрительно и кивнул головой.

— Ну, конечно, я. А что, вы сердитесь?

— Да нет, что ж... А только, знаете, теперь... Я устал, измучился, голова идет кругом...

— Вы не бойтесь. Я вас не утомлю. Я понимаю. И о разных текущих делах и событиях не собираюсь с вами говорить. Вон какой у вас ворох газет лежит, достаточно с вас. Философствовать тоже не будем — разве я не понимаю, что это не ко времени. Тут вы потрясены реальностями истории, а я полезу к человеку с отвлеченностями. Нет, я просто так... Жалко мне вас стало, да и не был давно... Пойду, думаю, к нему с отдохновением, сказочку, что ли, расскажу, поболтаем...

Иван Иванович посмотрел на него зло.

— Да чего, в сущности, вы ко мне привязались?

— Видите, как у вас нервы расстроены, — сказал посетитель мягко. — Раздражаетесь. Два года я у вас не был. а говорите — привязываюсь. Разговор-то наш последний уж помните ли? Я вам тогда все с откровенностью выяснил, мы, кажется, поняли друг друга.

Иван Иванович поморщился:

— Ну, поняли... Поймешь вас. После все думается — вздор какой-то, марево; начало сумасшествия... Это все противно.

Посетитель тяжело вздохнул.

— Очень я виноват, что так долго не был у вас. Это немножко скучно, что опять все сначала начинать приходится. Какое же сумасшествие, когда — ведь уж докладывал же я — не к вам одному, а ко всем здравомыслящим людям всех сословий я хожу совершенно так же, как к вам, накинув на себя, для удобного проникновения, подходящую одежду. И присяжных поверенных, как вы, у меня много, и у власти людей стоящих, два учителя народных, писатели есть, профессора, доктора, студентов куча... Людей ведь, как вы знаете, гораздо больше, чем нас. Ну и приходится брать каждому из нас по несколько. Устаешь, конечно, но дело веселит, ежели подбор по вкусу. Я всегда, с самого начала нашей общей деятельности, держался людей именно самых здравомыслящих, покойных, трезвых, — что у вас называется нормальных. По чистой склонности держался. С таким человеком и поговорить приятно. К тому же они, по моему глубокому убеждению, и есть соль земли. Я, как родится такой человек, сейчас же его в свои кадры намечаю. И уж с детства и знакомство завожу. Помните, как я к вам еще с третьего класса гимназии то тем, то другим товарищем приходил. Постепенно и узнавать меня начали. Многие, как и вы, бунтуются. Вы, говорят, против здравого смысла. А потом ничего. Ихний же здравый смысл подсказывает, что я не против него, а за него.

— Однако, — в задумчивости сказал Иван Иванович, — согласитесь, что это должно иногда тревожить. Ведь факт ваших хождений и к другим — не проверен. Я о нем слышу только от вас.

— Не принято это, в корне не принято у людей — говорить о нас между собой. Дети даже, и те сразу чувствуют, что нельзя. Каждый знает, а попробуйте, заговорите с ним! Притворится так хорошо, что и вы поколеблетесь. Впрочем, и не заговорите вы никогда. Уверяю вас, не принято. До дна души люди откровенны могут быть только с нами, а не между собой. Мы с ними откровенны, ну, они это и чувствуют, и могут. Это наша ценность.

Иван Иванович угрюмо замолк. Посетитель продолжал с веселостью:

— Право, подумайте, не верить мне ведь вы не имеете никаких оснований. Для вашего успокоения я очень бы желал, чтобы тот факт, что я хожу не к одному вам, а ко многим людям вашей же профессии (ко всем ходят, не я, так другой), — чтобы этот факт мог быть доказан. Но не принято! Невозможно! Не будете же вы отрицать, что невозможно человеку открыть свою душу другому до самых последних тайников? Даже и хочешь

— так невозможно! Ну и мы — как раз в этом последнем тайничке всегда и ютимся.

— И с каждым вы, значит, вот так — один на один, — спросил Иван Иванович.

— Непременно, то есть, если по душе разговор, без намеков. Общества я отнюдь не избегаю, впрочем. Но это уж другое. В семейные дома я хожу с лицом какого-нибудь знакомого. Выйдем чай пить, жена не удивляется. Хозяин знает, что я — я, а кому не следует — тот не знает. Главное — чтоб сверхъестественностей никаких не было. Это совсем не в нашей натуре. Мы за простоту и ясность.

— Однако же может выйти *qui pro quo*... Вдруг этот самый знакомый, в чьем вы лице приходите, сам туда же пожалует?

— Я рад, что вы развеселились, — сказал посетитель, скромно усмехнувшись. — Нет, не пожалует. Мы, знаете... так уж устраиваемся. Привычка, навык — и мало ли еще средств? А навыку всяческому — как же не быть? Практика громадная. Ведь мы, извините, вечные, а вы — временные. Ведь с начала хотя бы моей деятельности — сколько веков прошло. Сколько у меня одного людей было и окончилось. Кабы не запись — и не упомнить. А в записи у меня много и исторических имен. Из периода французской революции, например... Да я вам покажу как-нибудь, сами увидите, в какой вы компании. И все самые прекрасные, нормальные, самые здравомыслящие люди. Что делать. Влечение сердца. Я не гонюсь за выскочками. Мишурный блеск меня не прельщает. Побольше бы таких, как вы, — и дело наше в шляпе.

Ивану Ивановичу почудилось что-то обидное в последних словах развеселившегося посетителя. Иван Иванович сам, в глубине души, был собою скорее доволен, то есть очень во многом себя одобрял, когда смотрел со стороны.

Многое ему даже прямо нравилось. Случалось, приходила и мысль, что побольше бы таких, как он, — и гораздо было бы в мире лучше. А между тем его что-то кольнуло в тоне собеседника, захотелось с ним спорить, противоречить ему, — не в этом — так в другом подсадить его. Словом, Иван Иванович обиделся и раздражился.

Но прежде, чем он успел открыть рот, посетитель, уже другим, скромно-серьезным тоном, поспешил прибавить:

— Общение с подобными вам людьми — для меня просто необходимость. И я истинно, поверьте, истинно счастлив, когда могу такого человека поддержать, помочь ему...

— Да позвольте! — вдруг вспыхнул Иван Иванович, и даже с места

вскочил. В волнении он зашагал по своему скромному кабинету. Кабинет был скромен, потому что Иван Иванович никогда не имел большой практики, да и не гонялся за ней. Он был человек с глубоко честными убеждениями, такими честными, что их многие даже называли крайними. В общественной жизни он принимал деятельное участие, его знали и ценили за бескорыстие, смелость и некоторую даже горячность. Вообще было мнение, что на него «можно положиться». Ивану Ивановичу шел двадцать девятый год, наружность у него была приятная, он казался моложавым и все еще смахивал на студента. Это последнее обстоятельство ему в себе тоже нравилось. И невеста у него была — курсистка. Давно уж была, но оба они, занятые своим участием в делах общественных, не торопились со свадьбой.

К посещениям безликого гостя Иван Иванович как-то безотчетно привык. То есть мало о них думал, забывал совершенно, особенно когда странный приятель долго не показывался. Но каждый раз, при встрече, они спорили, и нет-нет, да и почудится Ивану Ивановичу, что тут что-то дикое, нелепое, непонятное, а потому и противное.

На этот раз беседа принимала особенно резкий характер: Иван Иванович был уже взволнован, потрясен реальнейшими событиями времени, да и гостя он слишком основательно забыл. Как-то тут не до него. Не до этих выкрутасов.

— Нет, позвольте! — волновался Иван Иванович. — Что вы путаете! Ведь вы мне колоссальную чепуху порете, с начала до конца. Что я вам дался! Противоречие на противоречие нагромождаете. И если хотите знать — ровно я ничего не понимаю! Какое такое «ваше дело» — в шляпе? За каким делом вы ко мне таскаетесь? Это первое. Хвалитесь откровенностью и ясностью — объяснитесь, раз навсегда. Затем: только что сказали, что избегаете «сверхъестественного» и стоите за здравый смысл — и тут же вплели, что вы — бессмертный какой-то и гуляли еще во дни французской революции. Есть в этом хоть капля здравого смысла? И, наконец, — нечего нам церемониться! — ведь явно вы к тому гнете, так себя ставите, чтоб я мог вас назвать... ну просто язык на эту глупость не поворачивается — чертом? Этого вы хотите? Еще ужимается, туда же! Чертом?!

Иван Иванович разъяренно наступал на гостя, который оставался, маленький и спокойный, тихо на своем кресле. Только улыбнулся. И так кротко и нежно, что Иван Иванович как-то устыдился.

— Вы извините, если я невежлив, — сказал он, понизив тон. — Теперь все раздражены. Но, конечно, по существу я от моей оппозиции отказаться не могу... И весьма просил бы вас...

Посетитель с ласковой нежностью тронул его за рукав.

— Это вы меня извините... Это я виноват. И, насколько в моих силах, я сейчас же вам все разъясню. С конца начнем. Вас слово смутило? Слово «черт»? Не так ли?

— Ну да... Согласитесь сами...

— Да ведь все слова ваши же — условные знаки для изображения понятий — вот и все. Если у вас является слово — значит, наверное, есть понятие, существует как бесспорный факт. Пользуются для определения факта словом, которое наиболее удобно и просто. Именуют факт. Если ваше понятие обо мне может быть определено словом — «черт», — прекрасно, называйте меня чертом. Точнее: если понятие, которое существует у вас под словом «черт», приложимо ко мне, то, несомненно, я — черт. Более скажу: я сам, во многих пунктах, разделяю и ваш взгляд, и ваше определение, и уместность данного слова. Но, конечно, мы очень расходимся в деталях.

— Значит, — проговорил Иван Иванович, криво усмехаясь, — вы предлагаете признать, что черт существует.

— Как факт, дорогой мой, как факт. Из области фактов мы не выходим. Понятие — факт, слово — другой; я сам, с вами говорящий, — третий. Не так ли? И даже — возьмем самое последнее предположение, маловероятность которого и вами уже признана, — даже если я сам не что иное, как продукт вашего болезненного воображения — и это не отрицает факта моего реального существования где-то, ну хотя бы в этом же болезненном воображении, которое, оно-то, в таком случае уже непременно факт, реальность. Значит, и тут я — существую в реальности.

— Фу, какая софистическая схоластика! Поистине чертовская! — сказал Иван Иванович и рассмеялся.

Черт тоже засмеялся.

— А я же вам предлагал попросту, без углублений. Черт так черт, удобно и ясно. Насчет деталей можно поговорить. Но, право, лучше в другой раз. Я пришел просто развлечь вас, сказочку невинную вам рассказать...

— Благодарю вас. Однако я все-таки, теперь же, хотел бы ответа и на другие мои вопросы. Допустим, вы — черт. Но что вам от меня нужно? Приняв, что вы черт, должен я принять, что вы ходите к людям, чтобы куда-то «соблазнять» их, так?

— Ах, ах, как примитивно, как неразработанно ваше понятие о черте. Я бы выразился сильнее, но вежливость — первое наше качество. Соблазнять! Пожалуй, вы о грехах вспомните! Это, извините, уж

клерикализм. Нет, бросим отжившие понятия. Я буду прям и откровенен. И очень краток. Видите ли: мой постоянный, так сказать, извечный спор с...

Иван Иванович перебил:

— То говорите «мы», то «я». Вы во множественном числе или в единственном?

— Это, право, не имеет существенного значения. Как хотите. Как вам удобнее. Пишутся же едиnodержавные манифесты: «Мы, такой-то»... Кажущееся противоречие. Не будем на этом останавливаться. Итак: вечный наш спор с Богом.

Иван Иванович не выдержал и опять перебил:

— Нет, позвольте. Только что упрекали меня в клерикализме, а теперь сами спокойно говорите: Бог... На каких основаниях вы убеждены, что я верю в Бога? Тут, в лучшем случае, вопрос: Бог-то существует ли еще?

Черт вздохнул.

— Видите, для удобства разговора это приходится тоже принять, не углубляясь. Иначе опять назад пойдем. Опять — существую ли я? Существует ли понятие? И так далее. Да что вам? Примите, как слово, как меня. Все ведь относительно.

— Ну, хорошо, ладно, продолжайте. Не буду больше перебивать.

— Спор наш с Богом, — продолжал черт, усаживаясь удобнее, — один, из веков в века все тот же Бог утверждает, что человек создан по Его образу и подобию, а я — что по моему. Вот и стараемся мы оба каждый свое положение доказать. Для этого я стараюсь поставить человека в условия, самые удобные для проявления его сущности, которая, по моему мнению, тождественна с моей, — создаю, по мере сил, атмосферу, наиболее благоприятную, в этом смысле, для человека. Бог же склонен ставить людей в положения, способствующие проявлению сущности Божественной (если таковая в человеке и есть его первая сущность). По правде сказать, — это я спорю с Богом, а Он не спорит; Он как-то слишком уверен в том, что утверждает; и думает (совершенно логично), что настоящая сущность, раз она настоящая, должна проявляться одинаково во всех обстоятельствах, атмосферах и положениях. Так что выходит, с Его точки зрения, что я не ему мешаю, а только людям, которые иногда, отвлеченные моими устройствами, не успевают проявить своей собственной природы, а проявляют как бы чужую, извне навязанную, мою. Заперев себя в круге этого соображения, конечно, можно оставаться неуязвимым ни для каких фактических доказательств; но для меня логика и справедливость — все; они восторжествуют, сомнений тут нет; и фактики, реальности, я собираю в кучку, терпеливо, добросовестно, как курочка по зернышку. Каждый

фактик — камешек моего будущего дворца. Мешаю людям! Да ведь это с какой точки зрения. С моей — помогаю всеми силами, не жалея себя. Людям — и торжеству правды. Пригодятся фактики, не беспокойтесь. Они, фактики, правду-то и создают. Против фактиков, в конце всех концов, не пойдешь. Подумайте: один не успел понять и проявить свой образ Божий и подобие, другой не успел, тысячи не успели, миллиарды не успели, все мое подобие проявили; всем я, значит, помешал! Ну, знаете, тут, скромность моя, не смею такой силы себе приписывать. Это уж пусть будет заслуга самих людей, что они, с моей помощью, по правде жили и себе, своей настоящей природе, остались верны. Пусть уж лучше так будет. Я бескорыстен, мне только правда нужна и чтобы люди жили по правде. К тому же так живя, они наиболее счастливы. Между прочим, значит, я стремлюсь и сделать людей счастливыми.

— Гм... — задумчиво проворчал Иван Иванович. — К правде, к правде... Ужас, сколько наболтали. Но, во-первых, еще неизвестно, что для вас правда, а во-вторых — мне почему-то кажется — ощущение такое странное — что все время вы врете. С первого слова до последнего — все вранье.

Черт хитро усмехнулся.

— А не действует у вас тут какая-нибудь старая ассоциация? Черт — значит ложь. С чертом — нетрудно: бери все наоборот — и будет правда. Я вам не говорил, что, ратуя за конечное торжество правды, я обязан никогда, ни разу не сказать неправды, даже если это в интересах той же истины солгать, преувеличить, не допустить неточность; ведь и все слова лишь более или менее точны. Да понятие о черте, как непрременной, везде и всегда, лжи, — прежде всего не умно. Что, мол, с чертом и считаться? Сказал — значит, не то. Ей-Богу, даже если глядеть на черта по-старому, как на «соблазнителя», и то неумно: соблазн в том, что черт и лжет — и правду говорит. Твое дело разобрать, пошевелить мозгами. Никакого черта никто дураком круглым не считал. Нет, уверяю вас, мы умны — и вы умны. Это тоже одно из глубоких сходств.

— Да... — произнес невольно польщенный Иван Иванович... — Однако вы не отрицаете, что иногда лжете?

Черт пожал плечами.

— Как вы... Все относительно... Отличить правду от лжи мыслящему человеку не трудно. Бросим эти рассуждения, право. Скептицизм утомляет и без всякой пользы. Я знаю, у вас еще много вопросов, вам хотелось бы проследить, что именно в вас меня привлекает, какое влияние на вашу жизнь имело знакомство со мною, — вам кажется, никакого, не правда ли?

Но я устал, вы устали... Я — повторяю — в этот раз пришел к вам с единственной целью — развлечь пустой сказочкой, освежить ваши силы.

— Ну, знаете, это еще вопрос, имеет ли порядочный человек право развлекаться пустыми сказками в такое время? Не до сказок... Жизнь кипит, идет вперед. Надо действовать, а не развлекаться.

— Почему же вы не действовали, а сидели у себя в кабинете, когда я пришел?

— Я... я устал, — раздраженно произнес Иван Иванович. — Только что вернулся из союза, кричали-кричали...

А вечером у меня партийное заседание. Партия, признаться, начинает слишком крайничать... Я даже сомневался, идти ли мне сегодня, особенно в таком раздраженном состоянии. Да чего я вам об этом рассказываю? Очень нужно!

— Очень, очень нужно, — серьезно проговорил черт. — Я уж чувствовал, что вы запутались, оттого и пришел. Вы ведь на переломе вашей жизни в некотором роде. Все теперь переламывается, мчится с головокружительной быстротой. И вперед, это несомненно. История — нечто неповторяющееся, смею вас уверить. Навык, конечно, помогает, но смекалка нам нужна и приспособление. Вот я вам давеча про французскую революцию упомянул. Тоже было время, однако теперь уж приходится вырабатывать совершенно новые методы. Партийки теперь эти... туда взглянуть и сюда! Совсем другой коленкор. И чувствуешь, конечно, что тут не без твоей капли меда... перемены-то эти счастливые. Человек, знаете, — прекрасно, не спорю... Ну, один, другой, третий... все-таки единицы. А возьмите вы человечество! Ведь как звучит-то! Человечество идет! Все со всеми! Это уж не тот разговор! Да позвольте, — спохватился вдруг черт, — я не о том, я совсем о другом хотел спросить вас. Вот вы устали, сомневаетесь, нервы у вас напряжены... Идти, куда хотели, не хочется... Ну, а Олечка что? Тоже устала или нет?

— Какая Олечка? — вспыхнул Иван Иванович. — Она вам не Олечка...

— Извините, ради Бога. Я про Ольгу Ивановну. Про невесту вашу.

— Ольга Ивановна... да вы знаете, наверно, — так к чему выпытывать?

Черт заторопился.

— Нет, нет, не знаю, но, конечно, предполагать все можно...

— Ольга Ивановна — сильный человек, — сказал Иван Иванович как-то кисло. — Я уважаю ее прямолинейность, ее огонь. Не говорю, чтобы у меня не было огня, но я, как мужчина, более склонен иногда слушать

доводы трезвого разума... И, может быть, колебаться перед каким-нибудь крайним шагом... Да вы не вообразите, что я боюсь что-нибудь... Или, что убеждения Ольги Ивановны считаю неразумными... Нет, очень, очень разумными. Теория, заслуживающая внимания, должна основываться сплошь на разуме. Разногласия могут родиться лишь в способах применения ее на практике... И то или другое данное лицо, в известный момент истории, может спросить себя... Ну, я запутался. Смешно так говорить. Вы отлично все понимаете.

— Понимаю, понимаю, — скромно подтвердил гость. — И благородное томление ваше понимаю. Не быть в настоящее время общественным борцом, не внести вашу силу в этот бушующий поток жизни — вы не в силах. Для вас это было бы нечестностью и самоубийством. Соединиться же для этой борьбы вы можете только с той фракцией людей, конечные идеалы которых... пардон, максимум программы которых совпадает с вашим, научно обоснован и потому наиболее реализуем... Вы чувствуете, что сила — у них, будущее за ними, и желанное для вас будущее... А между тем что-то мешает вам вступить в их ряды, сплотиться, слиться, двинуться с ними вместе, тело около тела, — вперед... Знаете, что вы давеча наклеветали на себя, что вас «практика» смущает... Что тут практика! Не такой вы человек; вы — настоящий, совсем по времени. Кое-что, только, может, застряло в вас... Оно неопределимо, вам самому не видно... Да это пройдет. Все будет хорошо. Вот и невеста ваша — ведь ценит вас? ценит? — а она уже все препобедила. Мало ли какие старые марева есть. Когда у человека крылья вырастут, у первого, он, несмотря на всю очевидность права своего полета, все-таки будет ощущать нечто вроде страха и колебания прежде, чем — в первый-то раз! броситься вниз, с крыши, и «в просторе синем утонуть». Непременно в конце концов бросится и «утонет», а момент этот непременно перейдет: как же, мол, так: все был я, был — а тут вдруг броситься и «утонуть в просторе»? Да ничего, это самый крошечный моментик, полмоментика — а там все хорошо будет. Его и замечать и обсуждать не нужно. Толчок — и готово.

— Ну, я не понимаю этих ваших метафор, — уныло сказал Иван Иванович. — Все гораздо проще. Вы верно сказали, что я горю необходимостью действовать. Это мой долг. И я могу отдаться деятельности только безвозвратно, телом и душой. Я прекрасно сознаю, что деятельность возможна лишь партийная. Партия, перед которой я стою, которая по существу уже моя, она, однако...

— О, голубчик! — взмолился гость. — Не утруждайте себя, бросим! Я

слишком верю в вас и в правду, которая должна восторжествовать, мне просто стыдно говорить об этом, советовать вам что-нибудь. Так или иначе решите вы сами сомнения — но вы их решите, и непременно сам, без тени какого-нибудь постороннего совета. И решение ваше — будет истиной. В этом я уверен. Об одном прошу. Дайте мне успокоить вас тихой сказочкой — без всякой тенденции, просто поэтической сказочкой. Мы ведь все — как и вы — немножко поэты. Поэзия успокаивает нервы. А вам теперь необходимо успокоить нервы.

Иван Иванович беспомощно взглянул на часы, шевельнулся в кресле, но не встал, полускрыл глаза.

— Да рассказывайте вашу сказочку, надоели! Мне все равно. Лучше бы не длинно. Ослабел я как-то тут с вами, черт знает что!

— Да, да, знаю, — нет, нет, не ослабели, — живо подхватил черт, который, казалось, только этого и ждал. Он быстрым движением не то кошки, не то ребенка — как-то особенно мило устроился на своем кресле против Ивана Ивановича (их разделял письменный стол). Ивану Ивановичу показалось, что черт тоже слегка прикрыл глаза. Уверенности, однако, быть не могло, так как, если Иван Иванович приглядывался — ему начинало казаться, что у гостя вовсе никаких глаз определенных не было. Да и лица не было. Не смотреть на него — тогда оно виднее. Так слабые звезды видны, если не смотришь на них прямо, а мимо, рядом. Боком глаза как будто и видны.

— Я не очень длинно стану рассказывать, — сказал черт, и голос у него вдруг стал другим, серьезнее, глубже, — задушевный, нежный и простой.

— У меня даже две сказочки, но обе коротенькие. Не знаю, сказочки ли. Сны такие у меня были. Мы ведь часто видим сны, и самые простенькие. Эти два — один за другим мне снились — я их и считаю за один. А вам рассказываю потому, что они — немножко о вас, и такие мечтательные, такие нежные, приятные... И тихие... Может быть, и не сны, может быть, так это мне мечталось... Вот послушайте. Вы слушаете? Солнце я видел. У нас ноябрь на дворе, слякоть, мзгять да темнота коричневая, а я вижу, будто солнце. Яркое такое, бело-желтое, горячее стоит посреди неба. И страна не наша — теплая, зеленая и голубая, и пора не наша — весна. И час не наш — утренний. Песок морской, камни, йодом пахнет там, где волна шевелится и раскачивает длинные ржавые водоросли. А море все, до самого конца, куда только глаз видит, легкое-прелегкое, только огоньки от солнца по голубому бегают, загораются и гаснут. У самого берега, у воды, мягко на песке и тихо-тихо: уютное такое местечко,

сзади скала высокая, сверху свисают темные, кудрявые деревья. И вот, вижу я — на песке, у самой теплой воды, где водоросли качаются, сидят двое. Человек — будто вы, а с ним барышня. Девочка такая хорошенькая, тоненькая-претоненькая и совсем молоденькая. Не знаю уж, сколько ей лет, а на вид — должно быть, пятнадцать. И простое-простое у нее лицо, светлое, в глазах тоже огоньки солнечные отражаются. И у него — то есть у вас — лицо светлое и молодое. Вы, будто, девочку эту, и море белое, чужое и прекрасное, и самого себя, светлого, — любите. И ни Ольга Ивановна (ведь это сон!), и никакая другая женщина вам не нужна, а только будто эта единственная на все времена, как сам, будто, вы для себя единственный на все времена, как солнце, единственное солнце до конца времен. И не оттого любите вы ее, что такая она хорошенькая и юная, а все вокруг вас так пышно, вольно, ярко и прекрасно, — а оттого и прекрасно, оттого она и хорошенькая, оттого у вас и лицо светится, что вы ее любите. И кажется вам, что вы для себя весь секрет открыли. Есть и я, есть и она, есть и мир, широкий, счастливый, солнечный. Так просто. Девочка говорит: «А я еще кого-то поверх тебя люблю, оттого и тебя люблю, оттого и солнце светит». И смотрит поверх, туда, где море до небес поднялось, точно увидеть хочет идущего по волнам того, кого любит с начала любви. В солнечном дыме все дрожит, не видно, и вы тоже смотрите, и вам тоже кажется, что вы любите кого-то больше, прежде, чем девочку светлую, песок и солнечный огонь, и что так хорошо, а больше ровно ничего не нужно, потому что все целиком уже вам отдано. Весна пышная, край, может быть, чужой — да он и свой, ведь все вам целиком стало свое, во всю ширину ваше навсегда.

Девочка говорит...

Рассказчик остановился на мгновение, точно задумался. Потом продолжал, вздохнув:

— Но здесь точно поплыло у меня в глазах все и уплыло, и уж ни моря не вижу, ни темных деревьев на скале, а солнце — не побледнело — только тише стало, нежнее, ласковее. Серебряное стало, не золотое. Будто не весна — а к осени уж дело, лето еще — а так, клонит уж оно немножко. Лес, будто, березовый, наш, русский, белый лес, и славные березы, частые, стройные. А в лесу просека, широкая, зеленой, высокой травой заросшая, в траве лиловые колокольцы кое-где да крупная такая ромашка, знаете — предосенняя, с большой желтой сердцевинкой. А просека такая широкая, длинная да прямая, что назад ли взглянешь, вперед ли — только и видно, как она уходит меж зеленых стен, а над ними небо даже острое, острым голубым куском понижается. Грибками уж пахнет, листочком прелым и предзакатной этаким травяной сыростью, сучками, корой да болотцем... В

середину просеки другая вливается, такая же широкая, а в ее конец уж нельзя смотреть, потому что там стоит, низко, солнце, и так и стелятся по траве длинные-длинные лучи.

А на перекрестке сидят люди, как раз на конце лучей. Сколько сидит — не могу сосчитать, но только уж не двое, а может быть, трое или четверо, может быть, больше, однако не много. И лица у меня уж в тумане, солнце, что ли, мешает разглядеть как следует... Но вы тут, с ними, это я отлично знаю. Девочки той нет, а впрочем, кто ее знает, может, и есть, ясно-то, говорю, мне не видно. Сидят они на траве, все вместе, а перед ними — костер. На самом солнце костер, огонь высокий, сухие ветки так и трещат, а огня не видно, желтый он весь, прозрачный, точно стеклянный. И дым тихий, высокий и прозрачный, вверх идет, и как на солнце найдет — так начнут в нем свиваться большие янтарные и радужные круги. А людям, будто, хорошо, тихо и весело, и говорят они о простом, а выходит особенно. У костра пастушонок стоит, маленький, с громадным кнутом, увидел, что костер раскладывают, — помогает, целую елку сухую приволок.

— Сейчас на мызу погоню, время, — говорит пастушонок и улыбается.

— А отец у тебя есть? — спрашивают его.

— Отец-то есть, да живем-то плохо, надел мал. Да что ж, а то и ничего, — прибавляет вдруг пастушонок неожиданно и опять улыбается.

И все улыбаются ему, и кто-то говорит, вы, кажется:

— Ничего, ничего, ты не бойся только. Все будет. А грибы куда собираешь?

— Да вот, в кошелку...

От дыма и солнца глазам больно, от огня дышит теплом, пахнет уж совсем осенне, гарью, и лесной, дремной свежестью.

— Хорошо нам, — говорит кто-то, — хорошо здесь. И всегда будет хорошо везде, где мы будем вместе. И всем будет хорошо, если нам хорошо и мы вместе.

Ваше лицо я будто яснее вижу, и такое оно опять у вас светлое, еще светлее, чем там, у весеннего моря. Точно уж весь секрет, до самого кончика, вы открыли. И не оттого вам хорошо, что огонь горит и солнце светит, а оттого и солнце такое, и огонь, оттого и люди у костра хорошие, что вы каждого, вроде как бы девочку ту, любите, каждый для вас — единственный, как и сам вы для себя единственный, как солнце — одно в углу просеки.

— А поверх каждого я еще что-то люблю, — говорите вы.

И опять кажется вам (и всем, должно быть), что и просека, и острое

небо в ней, и призрачное пламя — все это ваше, вам безраздельно дано, и что это — хорошо. Так просто: ведь каждый человек у костра — человек. И если он может у костра сидеть так, что у него в сердце огонь, и солнце, и пастушонок на всех улыбается — отчего же и другой, каждый, которого нет сейчас здесь, не сможет так же сидеть, отчего у него не будет в душе того же солнца и огня. Будет, будет. Кто захочет — у того и будет.

— Так просто, — говорите вы. — Мы теперь знаем, что просто. И другим надо узнать...

Кто-то тихо вам отвечает:

— Мы знаем, а если есть такой, хоть один, который никогда не узнает? Сказать — не поймет, показать — не возьмет... Ему что? Пропадать? За что же? Ведь он не виноват. У кого мало, у кого много. Мне жаль того, у кого мало.

А вы взглянули светло и строго (никогда такого лица у вас не видал) и говорите:

— Не жалею никого. Жалость разъедает счастье, разъедает любовь. У кого мало — тех любит тот, кто один смеет любить всех и никого не жалеет. Разве ты хочешь справедливости? Разве мир не оттого так прекрасен, что устроен не по справедливости, а по любви? По справедливости было бы: кто имеет много — у того возьмется и дастся тому, кто имеет мало, и у всех будет одинаково. Но мир по любви и свободе устроен, а потому никто не смеет иметь мало, а если имеет, то возьмется у него все и дастся имеющему много. Если по справедливости — то не всходило бы солнце над ненавидящими солнце, но по любви оно всходит над всеми, чтобы и ненавидящие могли полюбить его. Справедливость ищет закона и права. А разве мы не знаем, что закон и право не нужны людям?

От костра искры вдруг полетели вверх, с треском просияли — и пропали каждая в дыму. И опять кто-то робко сказал вам:

— Мне искр и тех жалко... Но, может быть, ни одна не пропала... Только от нас так кажется. Да, не надо справедливости. Огонь тоже не по справедливости, а по любви.

Так они сидели и говорили (а может быть, думали только вместе, а я мысли, для реальности, в слова одел), и был в них мир с небом, с землей, с людьми, с любовью; мир, единственный, который дан каждому единственному и прекрасен, потому что его можно любить и что от этого он не только непременно спасется, но уже как бы спасен. Все уже есть, что наверно будет. Солнышко ниже и поло-же тянуло звонкие лучи, огонь то ник, то все еще бледный, как стекло, прыгал вверх, обливая жидко-властно и едко сухие сучья; дышало березовой свежестью, цветочными травами и

счастьем. Главное — счастьем... Может быть, и не было еще его тут, самого-то, окончательного, вошедшего в мир, сделавшегося миром, — ведь так еще мало было людей у костра, и так еще длинны и трудны были их пути — длинны солнечные лучи на просеке; но счастьем дышало у костра... Понимаете? Таким верным обещаньем счастья, что оно уж как бы не обещанье было, а само наклонилось с неба к земле и обняло ее. И вы, от этого света тихого, — тихого и верного, вы...

Но тут случилось что-то неожиданное, невозможное. Иван Иванович, который все время сидел не шевелясь, с полузакрытыми глазами, словно убаюканный переливчатым голосом рассказчика, вдруг вскочил. Так внезапно, что загрохотало опрокинутое кресло. И, схватив со стола тяжелый чугунный пресс, с силой пустил его в лицо собеседника. Хотя пресс полетел прямо, а жертва не уклонилась, — трагического почему-то не произошло; чугун только загремел в дальнем углу, ударившись об пол. Иван Иванович ничего не видел. Он даже не кричал, а вопил, орал, вряд ли понимая сам свои беспорядочные слова.

— Вон сейчас же! Вон, дьявол, собака, пес! А, не попало? Берегись: я тебе лампой морду раскрою, дьявол сладкопевец, соблазнитель, чертова порода. Я тебе...

Иван Иванович, в неистовстве, действительно схватил лампу. Но черт был уже около него; нежный, юркий, весь внезапно заискрившийся, он держал и мял руки Ивана Ивановича.

— Голубчик вы мой! Сладкий вы мой! Утешение вы мое. Да ведь нарочно же я... Для вас же я...

Иван Иванович не слушал, и вырывался, и все кричал свое:

— Бесчестить меня хочешь? А? Эти рассказы еще кому рассказывал, а? Когда от меня кто такую мерзость идиотскую, пошлую, подлую слышал, как ты про меня напел? Когда? Клеветник подлый! Поэзию распустил, сны какие-то мечтательные, девчонки, костры, любви, ромашки! Да я бы себя собственными руками задушил, если б способен был хоть на единое мгновенье всю эту подлость бесчеловечью в себе вообразить! Да я...

— Родненький, успокойтесь... — молил черт и опять вдруг так весело и ярко заискрился, что Иван Иванович прикрыл глаза. Но слушать он все-таки ничего не хотел.

— Вон, говорю! Чтоб духу твоего не было! Убаюкал, дурак! Я сначала слушал-слушал — а он вон что! Сейчас же убирайся! Я ухожу все равно. Показал бы я тебе, дьявол, как честные люди с буржуями у костров сидят, по заграницам шляются да о любвях мечтают! Солнышко, скажите пожалуйста! Идиллия! О солнце людям говорить! Черта им в солнце, им

жрать нечего, они в крепостях да тюрьмах сидят, а дома у рабочего сырость да холод... А им тут про заграницы да про любовь! И слушать-то это подло было, подло, подло!

— Ольга Ивановна приехала, — сказала кухарка, приоткрыв дверь.

Иван Иванович, еще весь дрожа от негодования, обернулся.

— Скажите сейчас, сейчас, сейчас! Иду!

Он стал метаться, отыскивая шапку. Черт продолжал ловить его руки.

— Ох, утешитель вы мой! Ну, бросьте же сердиться на меня. Будьте ко мне справедливы. Поверьте, поймите, ведь нарочно я! Ведь вы усталый были, в сомнении, а чем же дух-то поднять, как не картиночкой этакой отталкивающей? Ведь вот, небось, сомнений-то у вас сейчас нет? Как не бывало? Вранье это мое, никогда я вас таким во сне не видал! Разве я вас не знаю? Навру, думаю, про этакое-такое, через отталкиванье-то правда в сердечке благородном и воссияет. Нарочно вам все такое безнравственное подпустил — самому было противно, честное слово. Не верите? А напрасно. Мы честные-пречестные, нам нравственность дороже глаза, нам нельзя иначе, уж очень мы человеческий род жалеем. Ну, пострадал я, выдумывая вам пакости, а уж за то утешен-то как! Вон вы как загорелись. Теперь не устанете. Теперь полетите, как на крылышках...

Иван Иванович уже слушал, не вслушиваясь, рассеянно. Вспышка его почти прошла, ну, наврал черт — тем лучше. Черт его больше не интересовал. Он торопился и только хотел теперь по дороге припомнить речь, которая ему еще вчера приходила на ум и которую он думал сказать, если пойдет вечером «туда». Теперь никакого «если» больше не существовало, надо было только припомнить речь. Он чувствовал, что она будет огненная.

— Да... да... Отлично. Я верю. Не плетите мне вздора вперед. Чего там «зажегся». Это я нарочно про сомнения. Какие могли быть сомнения? Подлецом, отвлеченным я никогда не был. Если я, в минуту чисто физической усталости, поддался вашим приставањям и слушал вас — то это еще ничего не доказывает... Вот с вашей стороны плести какую-то чепуху декадентскую и притом аморальную — действительно...

— Ну, простите, простите... — кланялся черт, бегая по комнате за Иваном Ивановичем, который, найдя шапку, поспешно собирал и совал по карманам какие-то бумажки.

— Простите, погорячились и довольно. Неужели я не знал, что вас эти миндали небесные с кострами и морями никогда не соблазнят? Что никакой самый малюсенький, самый утаенный уголок души у вас этим всем и не

был заражен? Не дурак же я, чтобы вас у костра мечтателем видеть! Есть такие, ей-Богу, есть, экономику даже хотят противоестественным путем посредством костров да любовью устраивать... Не верите? Честью клянусь! Принадлежат идейно к фракции буржуазных индивидуалистов. Тоже своя «партия» — небесно-миндальная. К счастью — совершенно безвредная. Уж, конечно, не такую «партию» подразумевал Солон, когда сказал: «Бесчестным считается тот, кто остается вне партий».

— Да, да... Солон... — перебил Иван Иванович, который вдруг вспомнил, что именно Солон-то он и хотел упомянуть в своей речи. Вне партий... не примыкает к партии... Во времена общественной борьбы... Да, да... Всякое проявление индивидуальной, личной жизни — в такое время бесчестно... А борьба должна быть непрерывной... Да, да... Только окончательная социализация... Солидаризация... Впрочем — это относится к области идеологии. Как один из минимумов я хотел выставить... Но посмотрим, посмотрим. Я иду. Прощайте.

— Я тоже иду, тоже иду, — заторопился черт. — Я ведь тоже туда... Куда вы. Я ведь там теперь постоянно бываю. Вы услышите, я и говорю часто. Вы свое скажете (чудесно скажете сегодня, уже я знаю), — а после я буду говорить. Вы сейчас и узнаете меня. Я ваше положение непременно поддержу... Я...

Иван Иванович пошел к двери, черт за ним, не переставая пожиматься и болтать.

— Я вчера так кричал, что охрип, честное слово! Люблю я эти дебаты. Иногда необходимо спокойствие и властность — иногда огонь и жар. Смотря по требованию реальности. Реализм — это все, дорогой мой; тут мы с вами не разойдемся.

— Опять вы заврались, — пренебрежительно сказал Иван Иванович. — Не верю я, чтоб вы туда ходили, куда я теперь еду. Ведь вы больше о *tete a tete*'ах печетесь...

— Нет, нет, теперь я партийки, партийки... Вселенскую бы такую партийку... Чтоб выдержала вселенскость... Понимаете? Чтоб уж для всех... Огулом уж тогда, всех сразу к торжеству правды подвинуть. Да здравствует борьба за правду и право! А в борьбе уж не до мечтаний... Не до любви...

— Да, да... — рассеянно и весело сказал Иван Иванович, надевая галоши. — Не до любвей. Где Ольга Ивановна? На извозчике дожидается? Хорошо, хорошо, иду. И черт вас знает, когда вы правду говорите, когда врете. Иной раз и дельное сморозите. Ну, да мне дела нет. Я свое и без вас знаю.

Иван Иванович через ступеньку бежал вниз по холодной лестнице. Черт, в худеньком пальтишке и шапке гречником, семенил за ним и все еще болтал.

— Это верно, смешиваю я, смешиваю, для правды же, однако, смешиваю, дорогой мой... Мыслящему человеку различить не трудно, что к чему. Вот вы, в сущности, всегда знаете. Сейчас поняли, что, когда правда общественной борьбы вступает в свои права, не до любвей. Пролетаризация — так пролетаризация, а не люмпенпролетаризация, и не до индивидуализации там, где назревает последняя социализация и солидаризация! Где насилию противопоставляется сила — там не до любви! Не до любви!

— Не до любви! — повторил Иван Иванович с рассеянным хохотком и, выходя на двор и за ворота, даже запел про себя, как-то невольно, вдруг вспомнив старую песню:

Нет, нет, любовь не даст свободы
И нет спасения в любви.

Ты, ненависть, суди народы,
Ты, ненависть, оковы разорви.

Черт подхватил:

Мы взяли в руки меч:
Пока они не сгнили...

Но у черта оказался неприятный фальцет, к тому же они вышли на улицу, и петь больше было нельзя. Иван Иванович ринулся к извозчику, на котором сидела Ольга Ивановна.

— Так до свиданья, до скорого свиданья, — весело и любезно кричал черт, махая шляпой. — Я тут неподалечку на одну минуточку заверну — и сейчас же вслед за вами. До свиданья, до свиданья!

Колеса загрохотали, и черт остался один у фонаря. Задумался, как будто. Два оборванца вынырнули из темноты, подошли к черту, хотели, кажется, заговорить. Но, взглянув ему в лицо — вдруг оба плюнули и, заворчав, как испуганные псы, шарахнулись назад, во мрак. Черт не обратил на них ни малейшего внимания: это, вероятно, были люди не по его специальности.

1906

«...И клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет».

Апокалипсис, гл. X, 6



I

Очень далеко, на севере, жила принцесса, которую звали Белая Сирень.

Принцесса жила в большом, красивом саду. В нем не было других деревьев, кроме сиреневых, даже павильон посередине сада, где спала принцесса, был выстроен из стволов сирени, а мебель внутри павильона стояла только белая и светло-лиловая. Когда зацветала сирень — весь сад наполнялся тяжелым благоуханием, на высоких кустах, заслоняя зелень, висели белые и лиловые гроздья, и ветки нагибались от тяжести цветов. Принцесса сидела на ступеньках своего павильона и грустно смотрела в сад. Она была очень молода, очень мила и грациозна, с нежным и бледным лицом, точно вылитым из воска. Ее глаза, всегда печальные, были зелены и прозрачны, как первая полоска зари, а волосы так мягки и так светлы, что казались серебряными; они свободно падали белой волной на плечи.

Принцесса всегда была грустна. Она много читала и училась, к ней ходили важные учителя, но ни один из них не знал и не умел научить принцессу, как победить злого старика, который сидит на скале над морем.

Его никто никогда не видел, и принцесса никогда не видела, но это уже было известно, что он сидит на скале. Злого старикашку звали Время; все говорили, что он единый царь света, а принцесса чувствовала, что она не может спокойно дышать и жить, если не найдет в мире чего-нибудь сильнее старика. Но до сих пор — она видела — из всего существующего он над одним собой был безвластен, и потому только, что это был он сам.

— Что же? — рассуждала принцесса. — Ведь, если есть время, значит, нет ни радости, ни горя, значит, жизни нет. И в душе человеческой нет ни одного чувства, ни одного ей принадлежащего, потому что ни одного нельзя удержать. На что мне сирень, если она отцветет, на что мне солнце, если оно закатится? Куда уйти от времени? Где найти то, что сильнее времени?

Принцесса не любила ночей. Ей страшно было ночью и казалось, что день не вернется. В ее саду, когда цвели сирени, заря встречалась с зарею и ночь была бледна, как облачный день, но короче дня.

Время шло, гроздя на кустах сохли, темнели и сжимались, солнце грело жарче, а вечером спешило к горизонту — и спало дольше; глаза принцессы становились все печальнее; ей чудилось, что злой старик близко от нее и замышляет недоброе. Принцесса терпела, пока могла — потом приказывала снарядить пышный корабль, брала своих приближенных и любимую, еще не старую, няню и пускалась в путь. Они ехали далеко, далеко, через все море, на другой конец земли, где у принцессы был такой же сад, полный сиреневыми кустами, такой же белый и лиловый павильон — только в то время, как в одном саду облетали листья, шумели мокрые осенние ветры, и ночи все чернели и росли — в другом опять заря не хотела уходить с неба до утра, а на кустах рождались темные, робкие почки. Опять принцесса просиживала бледные ночи на пороге своего павильона, опять смотрела на восток печальными глазами и шептала:

— Где я найду то, что мне нужно? Есть ли на свете то, что будет всегда?

II

Съехались к принцессе гости, молодые принцы и герцоги. Они слышали, что принцесса красива, богата и тиха — и желали взять ее замуж.

Когда пришла няня, запыхавшись, и доложила принцессе, что ее ждут в белой зале павильона и что она должна выбрать между герцогами мужа, — Белая Сирень удивилась и даже испугалась.

— Что ты, няня, — сказала она. — Зачем я пойду замуж?

— Как зачем, родная? Подумай-ка, все выходят замуж. Муж тебя станет любить, баловать, ты его также люби, придет время — детки будут, утешенье тебе.

Принцесса покачала головой.

— Нет, няня, милая. И тут опять время, ты говоришь — время... И дети мои будут служить злему старику... Каждому, няня, жизнь дана для самого большого, что он может сделать. Недаром у меня эти думы, эта тоска. Теперь ищу, мучаюсь — но лицом к своему свету стою; а тогда — зареюсь, закроюсь, подчинюсь времени без ропота — и погибну раньше своего часа. Не пойду я замуж. Скажи им, няня.

Няня вышла, ни слова не промолвив. И герцоги и принцы поехали со двора, удивленные и раздосадованные.

III

Уходило солнце, и цветы сирени сделались розовыми, когда их озарили последние лучи.

Принцесса сидела одна, в своем белом платье с длинными лентами, на низенькой дерновой скамеечке. Отсюда виднелась каменная ограда, а за оградой — далекое, очень далекое небо: в той стороне было море.

Принцесса думала свою вечную думу. В душе у нее было смутно. Она не знала, чего она ждала, не знала, в каком образе явится сила, которой суждено победить время. Может быть — это слова, громовые слова, они пронизут сердце, как острое копье, остановят время и дадут людям истинную свободу. Все равно, всем людям или одному человеку. Все равно, одному ли человеку или одному чувству его, одному движению сердца; значит, есть то, может быть, то, чего нет на свете.

А иногда принцессе казалось, что божественная сила в любви. Не в той, которою принцесса любила свой сад, любила бы мужа и детей, если бы вышла замуж: такая любовь — вся под временем, идет время — она стареет, умирает. Но принцесса чувствовала, что есть другая любовь — сильнее времени. Она должна быть одна, неприступная, неразделенная... Когда она раскалывается надвое — время ее съедает. И великая любовь — самое прекрасное в мире, потому что она бесконечная. Только бесконечную можно победить. Время ведь оно-то не бесконечное, оно когда-то началось, значит, и кончится...

Все это знала принцесса; но есть ли на свете такая любовь? И где

искать ее?

Принцесса опустила голову. Она не заметила, что через низкую ограду перескочил какой-то человек и, семеня ножками, приблизился к скамейке. Долго он смотрел на печальную принцессу. Наконец, она почувствовала, что не одна, и подняла глаза.

— Кто вы? — сказала она, несколько не испугавшись. — Вы пришли погулять в моем саду?

Принцесса никого не боялась, она была очень доверчива. Каждый человек, которого она знала, казался ей хорошим и добрым.

Теперь она, может быть, прибавила бы ласковое слово, но незнакомец не понравился ей своею наружностью. Он снял широкополую шляпу и низко поклонился, а взгляд принцессы выражал все большее и большее замешательство. Она не могла превозмочь в себе неприязнь и даже некоторое отвращение ко всей фигуре гостя. Одежда его показывала, что он знатен. Со шляпы висело длинное перо, матовое, как уголь. Коротенькие и странно-маленькие ножки в туфлях на высочайших каблуках выглядывали из-под плаща. Плащ был такого темного, густого, красного цвета, что казался черным, и только на складках, где ломался тяжелый бархат, выступали огненные полосы.

Сам незнакомец был поразительно дурен собой. Черные глазки странно мерцали из-под бровей, точно далеко, в самой глубине зрачков, были положены красноватые угольки. Широкий нос ложился на усы, а щеки горели слишком ярким румянцем и обличали прекрасное здоровье и полнокровие.

Не понравилась принцессе и шапка черных, тусклых волос над выпуклым лбом.

Но она победила себя и сказала опять, по возможности ласково:

— Вы хотите букет сирени?

— Принцесса, — ответил незнакомец вежливо, — я не мог увидеть вас иначе, как войдя прямо в сад. Простите. Я приезжал в сиреневый павильон, но меня не приняли. А я не свататься приезжал, принцесса.

— Кто вы? Как ваше имя?

— Меня зовут герцог Багровый Свет. А приезжал я к вам, чтобы поговорить о том, о чем вы всегда думаете.

Принцесса встрепенулась и молча поглядела на собеседника. В ее бледных глазах была надежда.

— Вас мучает власть времени, — говорил герцог. — Вы не знаете, как называется самое великое в мире. Хотите, я скажу вам его имя, принцесса?

Принцесса побледнела, вскочила со скамейки.

— Умоляю вас, — произнесла она, — говорите!

Она забыла уродство герцога и сжимала его руки в своих.

Герцог улыбнулся и сел на скамейку рядом с принцессой.

— Слушайте меня, — начал он. — Единая, вечная сила — есть зло. Страна моя лежит там, далеко на севере, у подножий ледяных вулканов. Они спят, все белые — но часто просыпаются, открывают красные очи, льды трескаются и кипят, гибнет все вокруг, а небо горит багровым светом. Широко, до самого зенита, тянутся, дрожат огненные лучи. Торжествует сила разрушения, вечное зло! Когда все разрушится — не будет времени!

Герцог одушевился. Принцесса глядела вниз, не смея верить.

— Вникните в жизнь, — продолжал герцог. — Везде, всюду, борьба — и везде победа зла. Величие — в уничтожении, и одно зло победит мир!

Принцесса подняла глаза.

— О, если это так! Убедите меня, что вы правы! Пусть увижу сама великое Зло!

И она, бледная и взволнованная, протянула герцогу руки.

Все равно, все равно чем — лишь бы убить ненавистного старика, который дышать не дает сиреневой принцессе.

IV

У каждой страны есть свои обычаи и законы. А сиреневая страна — была совсем особенная, не похожая на другие, значит, неудивительно, что и законы ее были особенные.

Владения принцессы состояли из двух больших островов, причем один лежал у северного полюса, а другой у южного. Принцесса и ее двор, как уже было сказано, проводили полгода на одном острове, а полгода на другом. И на том, и на другом были одинаковые законы. Впрочем, законы эти знал наизусть каждый подданный, потому что их всего-навсего считалось три. По первому — каждый, кто ехал в чужие земли, должен был снаряжать корабль, непохожий на корабли сиреневого царства, надевать одежды такие, какие носили люди чужих стран и, кроме того, он ни разу, ни одним словом, не смел упоминать и рассказывать о родных сиреневых садах. Иначе неосторожный забывал дорогу домой и навеки должен был оставаться на чужбине. Дорога никому не была известна, никто из посторонних не мог бы добраться туда; только одни ученые, которые никогда не покидали своих кабинетов, на основании математических данных, думали, что есть трудный и опасный проход между льдами, а за

льдами — земля, но, обыкновенно, ученым или попросту не верят, или весьма мало интересуются их открытиями. Так как путешествие из сиреневой страны в другие земли стоило очень дорого, то почти никто и не ездил оттуда, разве самые богатые люди.

По- второму закону — никто никому не мог приказывать и никем повелевать, кроме принцессы, но и она распоряжалась только своими придворными. Даже мать не смела насиловать волю своего ребенка после десятилетнего возраста. По третьему же закону — принцесса не могла выйти замуж за простого смертного, без титула и двойного имени (двойное имя было признаком царственного происхождения). А если выходила, то переставала называться принцессой и вместе с мужем должна была на вечные времена покинуть сиреневую страну. В междущарствие, до выбора новой принцессы — все могли приказывать и повелевать; но с непривычки начинались такие несчастья, что спешили возобновить старый закон: пока все были равно свободны — в сиреновом царстве никто не слышал о вражде и беспорядках.

Герцог Багровый Свет был очень знатен и богат, а потому придворные, видя, как часто он беседует с принцессой у садовой ограды, стали говорить: «Герцог женится на принцессе... Принцесса благосклонна к нему... Принцесса влюблена...»

А у принцессы тосковало сердце. Когда откроется ей правда? Что такое зло, о котором говорит герцог? Принцессе жутко глядеть на крошечные ножки герцога, похожие на копытца, и думает она порою, что если снять с него пышный плащ и бархатные одежды — он окажется покрытым черной, редкой шерстью... Принцесса боится своих мыслей и гонит их от себя — и опять ждет чуда. Дни проходили, проходили... Однажды принцесса сидела с герцогом на балконе своего павильона, перед закатом солнца. Мраморная лестница вела в сад. На ступеньках лестницы сидел паж принцессы, Вербен, и пел вполголоса свои новые сонеты, едва касаясь пальцами лютни.

Принцесса любила бедного Вервена и приблизила его к себе за то, что он был счастлив. Незнатный, некрасивый, с белесоватыми рассеянными глазами, с длинными плоскими волосами, всегда взволнованный и наивный — он ей казался особенно мил. Порой она плакала, слушая его стихи, такая в них была прелесть, неведомая ему самому. Для Вервена были равны и зло, и добро, и минута, и век; он радовался и мраку, и солнцу, везде видел мгновенную красоту, всем наслаждался, покорный малейшему ветерку без мысли о ропоте — и был истинно счастлив. Принцесса любила его за счастье, недоступное ей, баловала, как ребенка, улыбалась ему.

Вервен чувствовал странную тяжесть на душе при герцоге: ему казалось, что от герцога веет так горячо, и листья на деревьях свертываются, и трава желтеет... Ничего дурного не желал Вервен герцогу, но не мог при нем петь во весь голос — и опускал глаза...

Герцог молчал. Уже несколько дней он был сумрачен и странен. Вдруг взгляд его остановился на Вервене, и этот взгляд был так злобен, что принцесса невольно побледнела.

— Вервен, — сказала она. — Подите, я вас позову потом.

Вервен радостно и неловко вскочил, поцеловал руку принцессы и вышел, слегка прихрамывая.

— Герцог, зачем вы так смотрите? Вы не любите Вервена?..

Герцог Багровый Свет выпрямился и взглянул на принцессу с прежней злобой.

— Я не желаю, — произнес он, — чтобы вы проводили время с вашим пажем. По каким причинам — все равно. Предупреждаю, что вы его больше не увидите. Я прикажу своим людям — и его не будет.

— Что вы говорите! — воскликнула принцесса в смятении. — Но законы моей страны...

— Мои законы — противоположны вашим, принцесса, — возразил герцог. — У меня все повелевают, все владыки над всем — и все рабы... Смею вас уверить, что порядок и тишина в моих владениях не меньшие, чем в ваших... И Вервен исчезнет.

— О, я не хочу, не хочу... За что?..

Герцог засмеялся, открыв темный рот, и смеялся с визгом, долго.

— Не хотите ли справедливости, принцесса? Ага! Вы отступаете при первом шаге... Вы мечтали о зле, великом разрушении, о бесконечности — и боитесь, дрожите, когда пришлось ничтожного Вервена первым бросить в ту пропасть, где нет дна! В вечном и великом нет места вашей справедливости. Но довольно, прочь все, я устал, принцесса! Вы — моя, вы поедете со мною сейчас, сию минуту! Вы — такая нежная, красивая и робкая, пусть упадут багровые лучи на ваше лицо, на платье из лепестков сирени... Пусть умрет ваша воля, пусть все исчезнет, повинуйтесь злу, принцесса, пришло время.

Принцесса слушала — и ее страх вдруг сменился глубокой печалью. При последних словах герцога она протянула руку вперед, как бы отстраняя его, и повторила:

— Время, время... Оставьте меня, герцог. О, как я раньше не поняла этого! Вы не против времени, вы — с ним, вы одно! И я хотела побеждать время им самим! Дальше, дальше! Там, где нет разрушения, — только там

нет времени!

И она ушла, шелестя бледным шлейфом, и заперлась в своем павильоне. Она перестала выходить в сад и сделалась еще задумчивее и тоньше.

V

Придворные качали головами.

— Так нельзя оставить принцессу, — говорили они между собой. — Принцесса тоскует, принцесса заболевает... Свадьба ее с герцогом расстроилась — и это печалит ее... Пиршества, банкеты во дворце, может быть, развлекли бы ее. Нельзя, чтобы принцесса всегда скучала в одиночестве.

— Слушайте меня, — сказал старый, седой придворный. — Балы да пирование мы успеем испробовать, а пока мой совет — пошлем-ка принцессу путешествовать. Я с принцессой разговаривал и ее недуг больше вашего понимаю. Что ей сидеть в ее сиреневых садах? Пусть поедет по свету, поищет себе утешенья.

Когда принцессу спросили, не желает ли она поехать в разные страны, ее глаза на минуту заблестели, и она сказала, что очень желает.

Скоро снарядили нарядную яхту, уже не корабль, на котором принцесса переезжала два раза в год океан, нигде не останавливаясь, а яхту, собрали экипаж и свиту. Поехала и няня принцессы, а все придворные дамы остались дома. Принцесса избегала, не любила своих придворных дам: по какой-то странной случайности они все были очень высоки, полны, красивы — но все с черными волосами и глазами, и бледная принцесса, такая маленькая и тоненькая между ними, невольно боялась их и думала про себя, что они напоминают стаю темных, южных ночей.

На яхту взяли очень большой электрический фонарь, чтобы ночью около принцессы было светло, как днем; и все-таки принцесса с замиранием сердца ждала черных ночей, которые так пугали ее.

Мягкие серебряные волосы принцессы подобрали под английскую соломенную шляпу с прямыми полями и белым бантом на боку; надели белый фланелевый костюм, мужского покроя, с недлинной юбкой; через плечо у принцессы висел дорожный бинокль, а ножки были обуты в крошечные туфли. Таким образом, принцесса превратилась в хорошенькую, маленькую мисс, и придворные, и свита были довольны, потому что они, как известно, обязаны были соблюдать строжайшее инкогнито.

Старый придворный, который незадолго перед тем был сделан министром, составил маршрут, и в ясный полдень, когда море блестело не меньше солнца, яхта снялась с якоря и пропала на горизонте.

VI

Они плыли долго.

Принцесса сидела на палубе, на длинном соломенном кресле, и смотрела на волны. Няня, одетая в дорожное темненькое платье и темный чепчик, не отходила от своей госпожи. Няня не смела заговорить первая, а принцесса молчала. Ей было очень горько, очень трудно. Найдёт ли она там, за голубым горизонтом, то, что сильнее времени, увидят ли ее глаза еще невиданное чудо — победу над злым стариком? Любовь, любовь... она может, она сильнее, та любовь, о которой думает принцесса, но где она? В ком она? Есть ли она?

Море шипело и пенилось вокруг парохода, как будто сердилось, что его тревожат, когда оно такое ясное, сонное и усталое.

Принцесса смотрела в волны и думала о море с нежностью.

Наконец, яхта прибыла в теплую, южную страну, на берегу которой лежал старинный и чудный город. Принцесса много училась, она знала прошлое этого города и теперь ей хотелось скорее узнать, увидеть, что время ему оставило.

Утром принцесса вышла на крыльцо. Вода качалась и тяжело билась о нижние ступени. Из-за угла, сырого и покрытого ярким мохом, выскользнула бесшумно черная, длинная лодка. На заднем конце лодки стоял человек с веслом. Внутри были мягкие, черные подушки. Принцесса села на подушки, няня поместилась напротив на скамеечке, устланной ковром, — и лодка так же бесшумно понеслась по узким, тенистым улицам. Только на поворотах человек с веслом протяжно кричал «о-а!», замирая на последней высокой ноте, и порою, навстречу, из-за угла, слышался ответный крик и показывался высокий металлический гребень на носу другой точно такой же лодки, и они обе проскальзывали мимо, совсем мимо — и не задев одна другую.

Чудный это был город. Не слышалось топота копыт и ржання лошадей, колеса не гревели о камни, а только шелестели шаги людские, неся плеск весел по воздушным, легким, как небо, водам, и на большой, теплой, солнечной площади трепетали с нежным шелковым свистом голубиные крылья.

Расцвела принцесса, щеки ее порозовели. Ей хотелось на площадь, к старинному дворцу с низкими аркадами и залами. На площади — ей чудилось — собирается веселый и свободный народ, и все они любят свой город, знают своего правителя, живут одной жизнью. На балконах, под аркадами, она видела пышные одежды, видела седого старика в мантии, рядом с ним — бледную и молодую жену с грустным лицом. И печаль ее казалась такой прекрасной...

Но пусты, холодны залы дворца. Из залы в залу ходит принцесса с толпой англичан, безобразных и любопытных, гид в коротенькой курточке объясняет им что-то ломаным, бесцеремонным языком. А голова у гида совершенно голая, точно изъеденная какой-то болезнью, и он вертит своей голой головой и тычет пальцем в темные картины. Принцессе кажется, что картинам больно, и сердце ее сжимается. Нет, нет никого во дворце! Принцесса сбежала по лестнице вниз, во двор, а оттуда опять на площадь.

На площадь пришли музыканты и стали играть попури из оперы. Из кафе вынесли столики. Пили пиво и ели мороженое. Какой-то гид привязался к принцессе и предлагал ей осмотреть с ним собор. Толстоногие и рыжие девочки-англичанки с упрямым видом перелистывали путеводитель. Принцесса взглянула еще раз на сумрачные аркады благородного дворца и быстро пошла туда, где стояла их лодка. Няня поспешила за своей госпожой.

И они опять понеслись, по широкой на этот раз водяной улице. Солнце спускалось к горизонту. Воздух стал желт и прозрачен, как янтарь. Мимо лодки, казалось, тихо проплывали дворцы: серые, стройные, темные, с подножьями, скрытыми в воде, с узкими окнами. Тяжелый полукруг моста промелькнул над головой принцессы... Пахло солью, водой и гарью.

— Что это? — сказала принцесса, поднимаясь в лодке и протягивая руки к дивному дому, где чуть мерцали кривые линии окон и над водой повис узенький балкон. Дом смотрел строго и печально.

— Дездемона... Дездемона! — проговорил лодочник.

Принцесса поняла, что тут когда-то жила настоящая, живая Дездемона, что это ее дом.

Лодка подъехала ближе, близко, почти к самому дому. И вдруг принцесса заметила наверху, под крышей, вывеску, на которой было написано:

«Варса Nazionale».

В ту же минуту раздался пронзительный свисток, из-под моста

вынырнул и понесся по воде новый пароходик, полный пассажирами. Он уже исчез за поворотом, но черный дым стлался по воде, осыпая ее пылью каменного угля.

Принцессе показалось на мгновение, что клубы дыма заволокли и блеск солнца. Она опустилась на подушки и закрыла лицо рукой.

— Прошное, прошное! — говорила она себе. — Ты здесь, ты осталось, вот — я могу дотронуться до тебя рукою... И кажется, стоит шаг ступить — и я там, в прежнем. И, все-таки, это — тени, несхороненные мертвецы... Между мной и старыми воспоминаниями — стена, и я бессильна. Мы все, мы все бессильны...

VII

Няня, как ни любила принцессу, начала ворчать. Что, в самом деле? Чего нужно принцессе? Красивые вещицы ее не занимают; путешествие не развлекает; нигде даже дня не останется, не даст осмотреться, не отдохнет, бежит, спешит что-то смотреть, точно удостовериться хочет в чем-то; поглядит — и назад сейчас же, и бледнеет, и говорит безумные слова...

Так один раз они приехали в большой, жаркий город внутри страны. Принцесса велела привести коляску и отправилась в какой-то древний цирк, который, она знала, должен стоять на противоположном конце города.

Цирк был без крыши, круглый, громадный, уходящий в небо; красные стены его были усеяны отверстиями, потому что давно когда-то неприятель той страны выломал, выдернул из стен железные скрепы на оружие.

Принцесса вошла внутрь, на арену, смотрела на полуразрушенные галереи и проходы, на небо сквозь окна вверх. С галерей и уступов висела длинная, сохлая трава, кое-где маки алели, между грудями осыпавших камней. Принцессе показалось, что эти пустые окна вверх глядят на нее, точно пустые впадины черепа... Ей почудилось, что несетя вихрь, безумный, безучастный, вертит, бьет, ломает, рушит стены когда-то величественного цирка, и вихрю этому нет конца, не видно начала, он захватил и принцессу, как все живое и мертвое, — и она мчится, мчится...

Няня увела принцессу домой.

— Нет, — сказала она. — Чужие страны тебе не на пользу, дитяtko. Поедем-ка домой.

Но принцесса взмолилась повезти ее еще только в один, в единственный город, совсем в другой стране.

— Да о чем сердце твое болит, родная? — допрашивала ее няня. — Какое тебе нужно утешение?

— Няня, пусть радость не пройдет. Пусть не отцветет сирень. Пусть не забудется прекрасное. Пусть не рушатся стены цирка. Пусть не умирают люди — и не разлюбит, кто любит...

Няня покачала головой и, видно, даже в ужас пришла.

— Опомнись, милая, этого на свете не видано, чего ты хочешь. Ты свет не переделает.

— Няня, ну пусть хоть один раз, на одну минуточку, я увижу такое, что не разрушится. Мне самой не надо, я только увидеть его хочу, знать, что оно есть на свете, в чем-нибудь, няня, все равно в чем, в малом, в великом, в горе, в любви...

— Не найдешь, принцесса моя дорогая, не мучай себя напрасно... Нет на свете того, чего ты ищешь.

Принцесса вспыхнула.

— Не верю я тебе, — сказала она громко, — не может этого не быть, раз я хочу! На всякое желание, если оно родится в сердце человеческом, — есть ответ! Найду ли или не найду — но искать буду до последнего часа!

VIII

Пошла яхта из пролива в пролив, огибала земли и острова, а принцесса опять сидела на палубе и смотрела в волны.

Страна, куда они ехали, была бесплодна и желта, берега низки и каменисты. Солнце здесь светило яркое и сильное, выжигало каждый лист, каждую травку. Принцесса не зелени искала, она глядела в свой бинокль на желтую небольшую скалу в стороне от моря, за широким и некрасивым издали городом.

На берегу солнце упало на плечи принцессы и ее спутников всей своею тяжестью. В глазах у них стало темно на минуту. Няне сделалось дурно и ее отвезли обратно на яхту, где было прохладно. Принцесса от жары только немного побледнела — и приказала везти себя мимо домов и улиц, к желтому пригорку.

Она оставила свиту и даже лакеев внизу, в карете, а сама стала подниматься по обвалившейся мраморной лестнице, между разбитыми ступенями которой выются высохшие корни весенней травы.

Долго ждали внизу придворные, наконец, обеспокоились, охая вылезли из кареты и отправились посмотреть, что случилось с принцессой.

Под ослепительным солнцем, в розовой пыли, которая блестела как бриллиантовая, среди мраморных брызг и осколков упала безумная принцесса, лицом к земле — и плакала тяжело и горько. Около нее лежали трупы умерших, упавших колонн, а на высоте, между живыми — едва живыми — веял ветер с моря, и принцесса слышала, как он шумел и повторял: «Недолго вам!.. Ндолго вам!..»

Страшно стало и придворным на этом горячем и забытом кладбище. Они не знали, да и знать не хотели, что тут была когда-то живая и великая красота, живые люди говорили живые речи... Все прошло. И не было, потому что нет.

IX

Кому эта сказка ни рассказывалась — непременно каждый думал, что тут ей и конец. Но сказки больше похожи на жизнь, чем это кажется с первого взгляда; а в жизни ничто не обрывается, и повторяется много раз прежде настоящего конца. Поэтому не кончена и сказка.

Старый министр покачал головой, когда привезли домой принцессу. Не помог его совет. Пришлось ему уступить, испытывать и те средства, которые раньше предлагали другие придворные. Начались в сиреневом дворце балы, пиры и праздники. Стали съезжаться соседние принцы и князья, много было вельмож и придворных.

Принцессу ожидали видеть задумчивой и бледной, а она вышла такая веселая, что все удивились. Длинное белое платье с лиловыми лентами шуршало по коврам, когда она обходила стол кругом и угощала гостей. Чем чаще повторялись банкеты, тем любезнее становилась принцесса, особенно с некоторыми. Она глядела на них беспокойными глазами, не спорила, угождала им, и все точно чего-то ждала от них.

— Принцесса ведет игру неумело, — шептались придворные. — Принцесса заискивает... Принцесса хочет поймать жениха... Только напрасно она гонится сразу за несколькими зайцами...

Но прошло короткое время — и принцесса отшатнулась от своих любимцев, точно они вдруг изменились. Принцы, избалованные вниманием, пробовали делать ей глазки за столом, потом надулись — но принцесса ничего не заметила. Она стала опять печальной, от позднего пира уходила на крыльцо и глядела на зеленую утреннюю зарю.

Между частыми посетителями праздников в сиреневом павильоне был и сын старого министра, совсем еще юный, почти мальчик. Так как он не

происходил из княжеского или герцогского дома, то и носил имя не двойное. И не только не двойное, но даже и не звучное. Звали его просто — Челава.

Челаве пошел только двадцатый год, однако он не лишен был сообразительности и раз навсегда решил провести свою жизнь так приятно, аккуратно и умно, чтобы можно было потом умереть без досады. Судьба отказала ему в знатном имени, не наделила талантами и даже красотой; но Челава думал, и не ошибался, что и при его доле талантов и красоты можно недурно устроиться. Не то, чтобы он жаждал сделать себе карьеру, добыть денег и на этом успокоиться — Боже сохрани! Он далеко не был чужд нежному, изящному, сентиментальному — он даже находил, что без этих «элементов» и жизнь не в жизнь; но любил, чтобы все шло к своему месту, в порядке, а углы чтобы не выставлялись.

Для порядку он даже разделил свою жизнь, а равно и свой характер, на семь частей. Для каждого своего свойства он выбрал один день недели, в этот день занимался соответствующим делом — и от раз принятого обычая не отступал.

Так, в воскресенье он был весел, пил вино и кутил с товарищами. В понедельник — читал серьезные книги, делал отметки на полях, решал иногда математические задачи. Вторник и среду он посвящал нежности, искусствам и любви; причем во вторник был печален, смотрел на облака или объяснялся в любви загадками какой-нибудь очень молоденькой девушке, а в среду уже писал стихи (много стихов), играл на лютне, а иногда и рисовал пейзажи акварелью. В четверг он предавался физическим и гимнастическим упражнениям, что было полезно ввиду его наследственного предрасположения к тучности. Челава, несмотря на свой нежный возраст, был уже толст, широколиц, но при этом бледен чрезвычайно и с нездоровой кровью. Каштановые волосы и длинные ресницы делали его недурным в глазах невзыскательных женщин, а в своих собственных глазах Челава был единственным; и тут опять он был прав, ибо каждый человек на свете — единственный, а в особенности для себя.

В пятницу и субботу Челава занимался государственными делами в кабинете рядом с отцовским; и, надо отдать справедливость, занимался так хорошо, что в короткое время получил от отца повышение и удвоение оклада. Последнее Челаве было очень на руку, потому что отец излишней щедростью не страдал и даже попросту его звали скрягой. Скорее бы он согласился найти любовника в спальне своей почтенной министерши, чем назначил сыну такое содержание из собственного кармана, какое тот получал из государственных сумм.

Ввиду существующих законов и сравнительно низкого происхождения, Челава был для принцессы не жених, а потому никто не обратил внимания, когда она стала особенно ласкова и мила с сыном министра. Принцесса нравилась Челаве; она была вся такая светлая и прозрачная; и запах сирени в садах принцессы нравился ему; и даже понравились беспокойные, дерзкие мечты принцессы, когда она ему их рассказала однажды, сидя с ним на крылечке сиреневого павильона.

Челаве было лестно доверие принцессы, и он в удовольствии неожиданно увлекся и вдруг сказал, что он не только вполне сочувствует принцессе, но даже предлагает ей искать чудес вместе, потому что он сам, будто бы, всю жизнь только этого искал и к этому стремился.

Принцесса не умела не верить словам, она медленно подняла глаза и проговорила:

— Я почти угадывала это...

Потом они долго молчали; Челава — потому что испугался и не знал, что говорить дальше, а принцесса опять надеялась, опять хотела утолить свое сердце, почти умершее. И, вообще, они не рассуждали больше о злом старике Времени, они точно стали бояться друг друга. Принцесса ждала.

X

Двор слишком рано переехал на север. Дни вытянулись и не давали места ночи, но по вечерам было холодно в пустом саду. Принцесса любила холод. Она тогда забиралась в лиловую комнату своего павильона, теплую, с громадными полукруглыми окнами до самого пола. Огня в комнату не подавали, но в окна светила неумирающая заря, а порою и бледные, яркие, дрожащие лучи северного сияния. Принцесса глядела на небо и думала, что, может быть, к ней еще придет ее счастье.

В один такой вечер явился Челава. Он ходил к принцессе аккуратно каждый вторник и среду.

Последнее время вторники и среды у него как-то перевесили другие дни, чем он был отчасти недоволен, а отчасти и доволен. Хотя он и неясно понимал, чего хочет принцесса, однако чувство, его волнующее, давало ему некоторое удовольствие; и он даже решился признаться в любви, тем более, что признание его ни к чему не обязывало: жениться на принцессе было нельзя.

И когда Челава пришел в сиреневую комнату, освещенную неувлимыми небесными лучами, он стал на колени перед принцессой и

произнес:

— Я вас люблю.

Принцесса посмотрела на него и ответила:

— Да? А я вас не люблю.

Челава хотел вскочить, весьма огорченный, но принцесса удержала его около себя.

— Пойдите. Дайте мне сказать вам... Я давно ждала, когда вы меня полюбите. Вы меня любите, да? Так вот где наше оружие! С ним мы дойдем до света.

— Принцесса, но если вы меня не...

— Не нужно этого, — прервала принцесса радостно. — Я не люблю вас, но я лучше чем люблю, больше чем люблю, вы теперь мое единственное сокровище, счастье мое, ключ, который отопрет мою темную комнату... Дороже вас у меня ничего нет, пока я надеюсь...

Она прошла по комнате. Тяжелый шелк ее платья свистел и шелестел по коврам; на серебряные волосы падал из окон блеск северного сияния, зеленый и холодный. Челава следил за ее шлейфом без определенной мысли. Он опять не совсем понимал ее, но, все-таки, сердце его билось.

— Любите меня, — говорила принцесса, — любите меня такой любовью, которой еще никто не любил, любите меня одной, цельной, неразделенной и нераздельной любовью. Каждое мгновение вашей жизни пусть будет полно только любовью — и пусть не будет разницы между первым и последним мгновением. Такая любовь — чудо, и если есть чудо на земле — значит, есть еще и много, много чудесного и прекрасного.

Очень понравились Челаве речи принцессы. Он стал понимать ее. Но и понимал тоже, что она безрассудна, и не все то сбывается, что хорошо.

Но он боялся сказать ей свои мысли. Ему больше нравилось обманывать себя вместе с нею, и, хотя это ему совершенно не удавалось, старался он исправно.

Когда зацвела сирень — принцесса сделалась еще милее и веселее, бледные щеки ее порозовели. Она не смотрела на тучность Челавы, она бежала ему навстречу, обнимала его, как свое дорогое дитя, усаживала подле себя и говорила:

— Ну, что? Вы любите меня сегодня? Недалеко большая, великая любовь? Когда она придет? Скажите, когда она придет? Или она уже пришла?

Сиреневый сад благоухал. Они проводили спокойные и ясные вечера — и принцессе казалось порою, что злой старик почти побежден.

Она говорила своему собеседнику, что он должен знать, о чем она

думает — хотя бы она и молчала, должен прийти, когда она хочет его видеть, хотя бы она и не звала его, должен быть грустен, хотя бы не знал, что и ей грустно.

Челава едва не ответил ей:

— Но как же я могу? Ведь это же не в моей власти, этого не бывает на свете...

Но вовремя остановился и промолчал. Порою, возвращаясь домой, Челава тоскливо думал:

— Хорошо бы, если б так случиться могло, как она говорит... И, все-таки, я, значит, далеко не заурядный человек, если так воспринимаю прекрасные мысли. Только ум мой — шире ее, я вижу, что это лишь несбыточные мечты, расстроенное воображение... Да, хорошо бы... Только где же? Влюблен-то я влюблен, и даже весьма сильно, а только и похожего на ее речи я ничего не вижу...

И он, грустный, шел в свой служебный кабинет.

XI

— Так оставить дело невозможно, — думал старый министр. — Она с ума сошла давно, а теперь последний смысл потеряла. И этот тоже... Чего доброго, женится на ней. Где мы найдем другую принцессу? Да и дурака моего жаль на вечные времена проводить. А теперь — что хорошего? Люди смеются, придворные косятся — и все это на министра... Нет, положу конец.

Скрепя сердце, старый министр решил принять важные меры. А так как он был очень умный человек, то и меры его оказывались всегда чрезвычайно уместными и удачными.

Пока принцесса, розовая и веселая, жила со своим призрачным счастьем, радовалась тому, чего у нее не было, — старый министр, охая, вынул мешок червонцев, снарядил хорошенькую яхту и спросил Челаву, не хочет ли он покататься, повидать чужие страны, новых людей посмотреть и себя показать. У Челавы уши вспыхнули: давно ему хотелось попутешествовать, да отец денег не давал. Но... как же принцесса?

Отец ему объявил, что надо ехать скорее, а после он не даст ни яхты, ни денег; но как же принцесса? Отпустит ли она его? Подождет ли? Будет ли потом с ним так же ласкова? А если не будет, то найдет ли он другую принцессу, такую же милую и ласковую?

Слишком хотелось Челаве увидеть мирские диковинки, но стыдно

было и перед собою сознаться, что яхта его сильнее занимает, чем принцессыны мысли. Стал он передумывать и перевертывать и дошел до того, что убедился, будто он для самой принцессы и для ее заветного счастья уезжает за море.

После этого он отправился к принцессе и все объяснил.

— Я чувствую, — заключил он, — что хоть и люблю вас беспрдельно, но в моей любви чего-то недостает. А как поеду я, и вернусь — у меня пророчество — так все недостающее сейчас и придет. Поверьте, дорогая, я единственный человек, способный на ту великую любовь, которой вы хотите. Другое «люблю» не нужно вам — и я увожу его с собою, далеко, и привезу настоящее...

Одним словом, прекрасно и убедительно говорил Челава, а принцесса молчала. Под конец она сказала, впрочем:

— Если можете — не уезжайте. Уедете — все кончится.

На это Челава опять ответил целой речью, которой принцесса не слыхала.

Она молча поднялась, не оглянувшись, вошла в павильон и заперла дверь.

Челава постоял, посмотрел, потом махнул рукой и сказал про себя:

— Ну, ничего; вернусь — так, авось, обойдется; а не обойдется — что ж? Все-таки, я получу столько же, сколько теряю.

На этот раз Челава заблуждался: он терял гораздо больше...

XII

Почернели и вытянулись ночи, собрался двор и свита везти больную принцессу на южный конец земли.

Принцесса была так больна, что ее на руках внесли на палубу и положили в кресло. Няня от нее не отходила, а придворные дамы шептались между собой: «Немного пройдет времени, умрет наша принцесса».

Море шипело и пенилось у корабля, ни кусочка земли не было видно на горизонте. День близился к вечеру. Солнце опускалось.

Принцесса смотрела в волны.

— Знаешь что, няня, — сказала она тихонько. — Подними меня повыше, так, чтобы я видела пену у самой кормы.

Няня поставила кресло на возвышение. Принцесса обернула свое крошечное, вконец похудевшее, личико к морю и брызги долетали до нее.

— Его называют вечным, — продолжала она, как будто про себя, глядя на море. — А между тем оно только борется со стариком — и обмануто им. Бедное море! Оно каждую минуту изменяется, желая показать старику, что оно — очень покорное и даже не хочет идти против его законов. А старик смеется: пусть, мол, думает море, что меня обмануло! Пусть старается! А придет время — приду Я — и умрет оно, как все живое.

— Перестань, принцесса, родная, — взмолилась няня. — Опять ты себя тревожишь...

— Послушай, няня, ты думаешь, у людей разная судьба, разное счастье? Нет, няня, это кажется так, потому что у них силы разные; и по судьбе каждому силы даны. Поднимет один соломинку — другой дерево поднимет — и одинаковое усилие сделают, потому что второй сильнее. А у меня, няня, силы даны не по судьбе, не по желаниям. Глаза мои видят дальше, чем я могу дойти. И вижу свет — а приблизиться не могу...

— Милая моя, родная, — плакала няня, — что ты, не вставай... Выздоровеешь, придет время...

— Няня, пришло Время — смерть пришла. Я не боюсь смерти, я давно к ней привыкла, разве она не всегда с нами? Мы умираем беспрерывно, беспрерывно идет время, идет и проходит. Я рада, что я далеко от гадкой, покорной земли... И ухожу среди моря... Оно бедное, как я. Ухожу — а надежда моя не уходит. Есть такое, что есть всегда... И я найду... Я узнаю...

Сиреневая принцесса покорно опустила на подушки своего кресла и умерла. Море шипело и пенилось. Столпились придворные у длинного кресла. Упала черная, южная ночь, и звезды сверкнули в глубине. Время шло и проходило. Но обращенное к небу — радостным и успокоенным казалось маленькое личико принцессы. Она точно хотела сказать: «Я знаю... времени не будет».

1896



notes

Примечания

Бердяев Н. Самопознание. М., 1990. С. 152.

Венгеров В. А. Этапы неоромантического движения//Русская литература XX в. (1890–1910). Ч. 1. М., 1914. С. 18.

Мережковский Д. С. Полн. собр. соч.: В 24 т. Т. 19–20. М., 1914. С. 210.

Новый путь. 1903. № 2. С. 169.

Филосовов Д. В. Мистический анархизм//Золотое руно. Г906. № 10. С. 60.

Мережковский Д. С. Указ. соч. Т. 15. М., 1912. С. 247.

Там же. С. 244.

Гершензон М., Иванов Вяч. Переписка из двух углов//Наше наследие.
1989. № 3. С. 124.

Бенуа А. Художественные ереси//Золотое руно. 1906. № 2. С. 85.

Новый путь. 1904. № 12. С. 56.

Филосовов Д. В. Мистический анархизм//Золотое руно. 1906. № 10. С.
58

Бенуа А. Н. Художественные ереси//Золотое руно. 1906. № 2. С. 86.

Врубель М. А. Переписка. Воспоминания о художнике. Л., 1976. С. 154.

Брюсов В. Ключи тайн//Весы. 1904. № 1. С. 19–20.

Северный вестник. 1893. № 3. С. 133–134.

Там же. 1896. № 12. С. 251.

Иванов Вяч. По звездам: Статьи и афоризмы. СПб., 1909. С. 39.

Мережковский Д. С. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы//Полн. собр. соч.: В 24 т. Т. 15. М 1912. С 250.

Иванов Вяч. Поэт и чернь//Весы. 1904. № 3. С. 8.

Толмачев В. М. Декаданс: опыт культурологической характеристики// Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 1991. № 5. С. 25.

Иванов Вяч. По звездам: Статьи и афоризмы. Спб., 1909. С.255

Ремизов А. Неуемный бубен. Кишинев, 1988. С. 459–460. персонажей «низшей демонологии», различных природных духов земли, воды, леса, воздуха.

Амфитеатров А. Красивые сказки. СПб., 1908. С. 1–2.

Ремизов А. Докука и балагурье. СПб., 1914. С. 270.

Рерих Н. К. Избранное. М., 1979. С. 20.

Сидоров В. М. Рерих и его литературное наследие//Рерих Н. К. Избранное. М., 1979. С. 12–13.

Зноско-Боровский Е. О. О творчестве М. Кузмина//Аполлон. 1917.
№ 4/5. С. 26–27.

Волошин М. Лики творчества. Л., 1988. С. 471.

Голлербах Э. Радостный путник: О творчестве М. А. Кузмина//Книга и революция. 1922. № 3(15). С. 43.

Гиппиус З.Н. Живые лица. Прага, 1925. С. 102.

Расцвет этого жанра в России связан с периодом романтизма 1810—1830-х годов, с творчеством А. А. Бестужева-Марлинского, О. М. Сомова, В. Ф. Одоевского.

Венгеров В. А. Этапы неоромантического движения//Русская литература XX в. (1890–1910). Ч. 1. М., 1914. С. 18.

Золотое руно. 1906. № 7/8. С. 151.

Брюсов В. Земная ось. М., 1907. С. 4.

Зноско-Боровский Е. О творчестве М. Кузмина//Аполлон. 1917. № 4/5.
С. 41.

Марков Вл. Предисловие//Кузмин М. А. Проза. Т. 1. Berkely, 1984. С. XIV.

Гайденко П. П. Трагедия эстетизма. М., 1970. С. 63.

Там же. С. 134.

Лавров А., Тименчик. Р. «Милые старые миры и грядущий век»:
Штрихи к портрету М. Кузмина//Кузмин М. Избранные произведения. Л.,
1990. С. 13.

Кузмин М. О прекрасной ясности: Заметки о прозе//Аполлон. 1910. № 4. С. 6.

Там же. С. 10.

Гумилев Н. Ауслендер С. Рассказы.//Ежемесячное литературное и научно-популярное приложение к «Ниве». 1912. № 11. С. 485.

Крайний А. Литературный дневник: Узор чугунный//Русская мысль.
№ 6. Отд. III. С. 19.

Овсянико-Куликовский Д. Заколдованный круг//Речь. 1910. № 89.

Овсянико-Куликовский Д. Заколдованный круг//Речь. 1910. № 89. С. 2.

Азадовский К. М., Лавров А. В. З. Н. Гиппиус: Метафизика, личность, творчество//Гиппиус З. Н. Сочинения. Л., 1991. С. 16.

Современник. 1912. № 5. С. 363. го на неохристианский идеал, мечтали о религиозном характере русской революции.

Там же. С. 155.

РЕМИЗОВ Алексей Михайлович (1877, Москва — 1957, Париж) — прозаик. Родился в купеческой семье. Учился на физико-математическом факультете Московского университета. В 1896 г. за случайное участие в студенческих беспорядках был арестован и выслан под гласный надзор полиции в Пензенскую губернию. В ссылках и тюрьмах провел 6 лет. С детства был буквально зачарован миром русской старины, зачитывался легендами, сказками, апокрифами, житиями, что нашло отражение в его первых книгах: «Лимонарь, сиречь: Луг духовный» (1907) и «Посолонь» (1907). Увлечение средневековыми мистериями, «народным театром» получило продолжение в его драмах: «Бесовское действо» (1907), «Трагедия об Иуде» (1908), «Действо о Георгии Храбром» (1910), «Царь Максимилиан» (1920). В романах Ремизова «Пруд», «Часы» (1908) действительность переплетается с фантастикой, насыщается «видениями», гиперболой и гротеском. Он обращается к идеализации старины, в своей мистической трактовке национального духа смыкается с поисками символистов. «Веду свое от Гоголя, Достоевского, Лескова. Чудесное — от Гоголя, боль — от Достоевского, чудное и праведное — от Лескова», — говорил Ремизов. Стремился возродить допетровский лад русской речи. Собирал коллекции игрушек, кукол, предметов старины, увлекался литературными мистификациями, в 1908 г. учредил шуточное литературное общество «Обезьянью Великую и Вольную палату» («Обезвелволпал»). С 1921 г. покинул Советскую Россию и жил в Париже, в стесненных материальных условиях, на литературные гонорары, написал ряд автобиографических книг и воспоминаний, вновь обратился к литературной обработке легенд и древнерусских повестей. «Легенды о царе Соломоне» (1957); «Тристан и Изольда. Бова Королевич» (1957).

Посолонь — по солнцу, по течению солнца. Церковнославянское слънь (слонь), слънь-це (слоньце), древнерусское сълънь (солонь), сълънь-це (солоньце) — солнце, отсюда посълънь (посолонь) — по солнцу. На Спиридона-поворота (12 декабря) солнце поворачивает на лето (зимний солоноворот) и ходит до Ивана Купала (24 июня), с Ивана Купала поворачивает на зиму (летний солоноворот).

Содержание книги делится на четыре части: весна, лето, осень, зима, — и обнимает собою круглый год. *Посолонь* ведет свою повесть рассказчик — «по камушкам Мальчика с пальчика», как солнце ходит: с весны на зиму.

Посолонь. — Печатается по изданию: Ремизов А. М. Собр. соч.: В 8 т. СПб., 1910–1912. Т. 6.

Книга посвящена поэту-символисту Вячеславу Ивановичу Иванову (1864–1949); первая сказка — дочери писателя — Наталье Алексеевне Ремизовой (1904–1943). «*Посолонь*» — книга народных мифов и детских сказок. Главная драгоценность ее — это ее язык. «Старинный ларец из резной кости, наполненный драгоценными камнями. Сокровище слов, собранных с глубокой любовью поэтом-коллекционером», — писал М. Волошин («Русь», СПб., 1907, № 8 95). «Здесь каждая фраза звучит чистотой необычайной. Музыкой стихийной. Много стихийности в творчестве Ремизова... Но эта стихийность всюду покорена властным словом художника», — отмечал А. Белый («Критическое обозрение», М., 1907, № 1).

Весна-красна. Содержание «Весны» представляет мифологическую обработку детских игр («Красочки», «Кострома», «Кошки и мышки»), обряда кумовства — «крещения кукушки» («Кукушка») и игрушки («У лисы бал»). Игры, обряд, игрушки рассматриваются детскими глазками как живое и самостоятельно действующее.

Монашек — беленький монашек — вестник Солнца. Монашек ходит по домам и раздает первые зеленые ветки — символ народившейся Весны. Благовещение.

Красочки, или *Краски*, — игра. Играют в *Красочки* так: выбирают считалкой^[406] (считают, кому водить, т. е. быть главным лицом, начинать игру) Беса и Ангела, остальные называют себя каким-нибудь цветком; названия цветов объявляют Ангелу и Бесу, не говоря, кому какой цветок принадлежит. Ангел и Бес должны будут сами разобрать цветы. Сначала приходит Ангел, звонит, спрашивает цветок, потом приходит Бес, стучит, спрашивает цветок. Так, чередуясь, разбирают все цветы. Играющие составляют две партии — цветы Ангеловы и цветы Бесовы. Ангел приступает к исповеди, а Бес с своей партией искушает — рассмеивает. Вся игра в том и заключается, чтобы рассмеять: кто рассмеется, тот идет к Бесу.

Красочки, *краски* — цветок, цветы. Говорят: идет по *красочки*, собирать *красочки*. Хлеб в *краске* — время цветения хлебов.

Вертушка — те, кто вертится, кто на месте смирно минуты не посидит, непоседа, а также человек ветреный.

Пузичко — животик.

Юлой юлят — егозят; юла — волчок.

Гуготня — хохот, писк, шушуканье, прыск сорвавшегося долго сдерживаемого смеха, все вместе.

Рогача-стрекоча задавать — выверты вывертывать. Тут дело идет о бесенятах рогатых. Известно, бесенята отскочат да боднут — такая у них игра. Рогач — ухват, рогачи — вилы. Стрекоча — стреконуть, скочить кузнечиком.

Да бегом горелками — играющими в горелки.

Бес-зжига — зачинатель; зажиг — зачин.

Кострома — игра. Выбирают Кострому или кто-нибудь из взрослых разыгрывает Кострому, остальные берутся за руки, делая круг. В серединку круга сажают Кострому и начинают ходить вокруг нее хороводом. Из хоровода кто-нибудь один (коновод или хороводница), а не все, допытывается у Костромы, что она делает? Кострома отвечает, — Кострома делает все, что делает обыденно: Кострома встает, умывается, молится Богу, вяжет чулок и т. д. и, как всякий, в свой черед умирает. И когда Кострома умирает, ее с причитаниями несут мертвую хоронить, но дорогой Кострома внезапно оживает. Вся суть игры в этом и заключается. Окончание игры — веселая свалка.

Похороны Костромы, как обряд, совершался когда-то взрослыми. В Русальное заговенье на всехсвятской неделе (воскресенье перед Петровками) или на Троицу и Духов день делалось чучело из соломы и с причитаниями чучело хоронилось — топили его в реке или сжигали на костре. Кострому изображала иногда девушка, ее раздевали и купали в воде. В Купальской обрядности рядом с куклой-женщиной (Купало, Марина-Марена) употреблялась и мужская кукла (Ярило, Кострома, Кострубонько). Миф о Костроме-матери вышел из олицетворения хлебного зерна: зерно, похороненное в землю, оживает на воле в виде колоса. См.: Е. В. Аничков. Весенняя обрядовая песня на западе и у славян. СПб., 1903–1905.

Кострома — костер — жесткая кора конопли, костер.

Лепуны-щекотуны — прозвище детворе. Лепуны — лепетать, лопотать; лепает — говорит кое-как.

Чувыркают-чивикают — воробьиное щебетанье. В песне говорится:
Как на крыше, на повети,
Воробей чувыркал...

Бросаются все захлес — один за другим безостановочно. Наседая, вцепляются в Кострому удавкой — так, что ей уж никакими силами не выбраться из петли детских рук.

Проходят калиновый мост. — Калина — символ девичьей молодости; ходить по калиновому мосту — предаваться беззаветному веселью. «Ой, нагнала лета мои на калиновом мосту; ой, вернитесь, вернитесь хоть на часок в гости!»

Зеленей зеленытся — зеленытся озимью; зелена — озимь, зель в противоположность яровому (яри).

По черным утлокам. — Толока — пар, пустое поле.

По пробойным тропам — по торным тропам. Пробой — выбоина.

Гиблое болото — губящее, где погибло много народа.

Леснь-птица — мифическая птица, живет в лесу, там и гнездо вьет, а уж начнет петь, так поет без просыпу. В заговоре от зубной боли «от зуб денной» говорится: «Леснь-птица умолкает, умолкни у раба твоего зубы ночные, полуночные, денные, полуденные...» Леснь-птица — птица лесная, как леснь — добыча — лесная добыча.

Егорий кнутом ударяет. — Св. Георгий — скотопас, все звери у него под рукою. Егорий вешний — 23 апреля.

Кошки и мышки — игра известная. Выбирается Кошка и Мышка. Остальные берутся за руки и делают круг. В круг (на кон) пускается Кошка, а за кругом (за коном) бегают Мышка. У Кошки и у Мышки имеются условленные свои ворота, через которые можно им входить и выходить: одни пары играющих поднимают руки только для Кошки, другие только для Мышки. Вся игра в том, чтобы Кошка поймала Мышку.

Тащили кулек с костяными зубами. — Есть такое поверье, когда у детей выпадает зуб, следует его бросить под печку мышкам, говоря: «На тебе, мышка, зуб костяной, а дай мне железный».

Заячьи уши — название ландышей.

Громовая стрелка — чертов палец, сплав, который образуется от удара молнии в песчаную почву. Эта Громовая стрелка ведет мену с мышками: за зуб костяной дает зуб железный. А уж мышки потом детям раздают. Вот почему мышки к Громовой стрелке и пробираются с кульком.

Свистуха — непоседа.

Кот-Котонай — Котофей. В песне:
Уж ты Кот-Котонай,
Уж ты серенький коток Кудреватенький.

Строковат — строка, насекомое из породы слепней, липнет к котам и кусает больно.

Гуси-лебеди — игра. Выбирается Мать-гусыня и Волк. Остальные играющие, изображая стадо, бегут на выгон в поле. Потом, когда на зов Матери гуси собираются домой уходить, все они перенимаются Волком. Мать идет выручать гусей и, найдя своих, нападает на Волка. Топят баню и моют Волка. Развязка самая шумная.

Черти бились на кулачки — предрассветный сумрак — лисья темнота (полночь).

Рай-дерево — название сирени.

Томновать — томность, томный, — тосковать.

Девки-пустоволоски — простоволоски, с непокрытой головой.

Бабы-самокрутки — окрутившиеся своей волей, ведьмы.

Одоленъ-трава — одолей трава — приворотная, одолевающая.

Водяники — водяницы, русалки, утопленницы.

Кукушка. — Можно заметить, что обрядовые действия, вырождаясь у взрослых, переходят к детям в виде игры. Так древние обряды Ивановского кумовства (на Ивана Купала) с завиванием венков, с сплетением травы, волос, с поцелуями и песнями перешли в игру «Крещение кукушки». Крестят кукушку на Николин день или на Вознесенье, на Семик и Троицу. Гурьбой отправляются дети в лес или рощу. Дорогой, отыскав траву-кукушку, наряжают ее девочкой, а другую траву-кокуна мальчиком, обе травки кладут под березу, на сук вешают крестельник и, став друг против друга под крестом, кумятся: протягивают одна другой руку и, поцеловавшись, переменяют место, так трижды. Потом раскладывают костер и готовят яичницу. Иногда на кумовстве завивают венки, через венки целуются, потом пускают венки на реку.

Прилетел кулик из-за моря — кулик прилетает 9 марта, на святые Сороки, на сорок мучеников. В этот день пекут жаворонков.

Кукушечье-горюшечье — кукушка — символ тоскующей женщины.

Виловатая сосна — развилистая.

На красе — на базе, так что все только и любят.

Гора-круча — обрывистая гора.

Кукушка, кукушка, сколько годов мне осталось жить? — Кукушка почитается имеющей влияние на судьбу человека, по ее голосу можно узнать, сколько лет осталось жить.

Ворогуша — веснуха, одна из сестер-лихорадок, она садится в виде белого ночного мотылька на губы сонного и приносит ему болезнь. Ворогуша — ворогуха — ворожея. В Орловской губернии больного купают в отваре липового цвета. Снятую с него рубаху больной должен ранним утром отнести к речке, бросить ее в воду и промолвить: «Матушка-ворогуша! на тебе рубашку с раба Божьего, а ты от меня откачнись прочь!» Затем больной возвращается домой молча и не оглядываясь.

В петушках — петушки — цветы травы, поднимающиеся из листа, будто петушиная шейка. Если взять траву и, зажав ее в ладонях, приложить губы к большим пальцам и дуть, то можно прокукурекать не хуже молодого петуха.

Чирюкан — сверчок, кузнечик.

У лисы бал — деревянная игрушка. Десять фигурок укреплены на скрещении сдвигающихся и раздвигающихся дощечек-дранок. Когда дощечки раздвинуты, получается ряд фигурок: 1-2-1-2-1-2-1, а когда сдвинуты: 3-3-3-1. Читать надо строго, любовно и важно. Там, где звери собираются и переходят ров и вал, надо напустить страха: «сам с усам, сам с рогам». Рисунок художника М. В. Добужинского «У лисы бал» воспроизведен в «Золотом руне». Музыка к тексту — В. А. Сени-лова.

Лето — красное. — Содержание «Лета» представляет мифологическую обработку детской игры («Калечина-Малечина»), обряда опахивания («Черный петух»), купальской ночи («Купальские огни»), грозной воробьиной ночи («Воробьиная ночь»), обряда завивания бороды Велесу, Илии, Козлу («Борода»), легенды о Костроме. Сюда же входит рассказ «Богомолье» о Петьке.

Калечина-Малечина — игра. Играют так: берут палочку, ставят торчком на указательный палец и, стараясь удержать ее, приговаривают: «Калечина-Малечина, сколько часов до вечера?» И сам же держащий палочку отвечает: «Один, два, три, четыре...» На каком часе палочка с пальца свалится, столько часов, выходит, и остается до вечера.

Калечина-Малечина — тоненькая, как палочка, об одном глазе, об одной руке и об одной ноге. *Калечина-Малечина* — лесная. Братья ее — семь ветров, а восьмой — витной вихрь — ее друг сердечный, который и бьет ее, и треплет, и неверен, постылый. Целую ночь гуляет *Калечина* в лесу, а на день где-нибудь в плетне сидит и ждет вечера, чтобы снова трепаться. И всякому, кто только ни спросит ее о вечере, непременно скажет: так ждет она с нетерпением вечера. Музыка к тексту написана В. А. Сениловым.

«Ку-ри-ца со дво-ра...» — эту фразу надо читать медленно и важно, с приподнятой головой, изображая медлительностью курицын выход и, сделав небольшую паузу, скороговоркой продолжать: «Калечина в ворота».

Точно так же и последние две фразы: «Ку-ри-ца в во-ро-та — Калечина со двора».

Курица со двора, Калечина в ворота — с рассветом важно выступает курица из ворот на улицу, открывая день. Калечина, прогулявшая ночь, измызганная сигает в ворота.

Вихорь витной — свивающий, скручивающий.

Вир — водоворот, крутень.

Темную нитку прядет — ночь, ткущая темную ткань — древний образ
ночи, встречающийся в Гимнах Вед.

Черный петух — сожжение черного петуха относится к обряду опахивания — очищения села от болезни и нечисти. Подробное и сравнительное исследование этого обряда в книге проф. Е. В. Аничкова «Весенняя обрядовая песня на западе и у славян». Ч. I и II. СПб., 1903–1905.

Черный петух — поглощает все болезни и нечисть, — символ всех зол и напастей и самой Смерти в противоположность не черному, будимиру, который является символом воскресения, солнца.

От недели до недели — с воскресенья до воскресенья, с седмицы до седмицы.

Алатырное — бледно-янтарное; алатырь — легендарный краеседмиды угольный камень.

Пчелка несет праздники — воск для церкви и мед для пиров.

Коровья смерть — чума на скот.

Веснянка-Подосенница — весенняя и осенняя лихорадка.

Подтынница, Навозница, Веретенница, Болотница и др. — названия сорока сестер-лихорадок.

Носить змеиного выползка — помогает от лихорадки; носить надо месяц, не снимая ни на ночь, ни в бане; *выползок* — змееныш, выползший из норы.

Спорыши петушины яйца, если петух возьмется яйца нести.

Стряпает из ребячьего сала свечу — этой свечой можно усыпить, когда такая свеча зажжена, бери все что угодно, никто не проснется; сало надо обязательно из живого человека.

Золотой гриб — помогает от всех болезней.

Курник — курятник.

Мутовка — палочка с рожками на конце для пахтанья, взболтки и чтобы мешать.

Шумя и качаясь — очистительная сила огня.

С *горящим угольком* — очистительная сила дыма. Такое же значение имеют качели.

Назем — навоз.

На месяце подымал на вилы Каин Авеля — народное объяснение лунных пятен.

Дышал горным петушиным духом — горелым, пережженным, выжженным огнем, гарью.

Надел на Алену хомут — испортил, наслав грудную болезнь: одышку, удушье.

Шаландать шататься, шалить; шаланда — парусное судно.

Вольготно — хорошо, легко, удобно, свободно.

Умора умора да и только, т. е. такое состояние, при котором умираешь со смеха.

Купальские огни — канун Иванова дня, с 23 на 24 июня.

Солнце заскалило зубы — черт дочку замуж выдает, — так говорится, когда светит солнце и в то же время идет дождь.

Чарая — носящая в себе чары.

Навье, навы — мертвецы, покойники, выходцы с того света; *нава* — смерть.

Криксы-вараксы — мифическое существо, олицетворение детского крика. Если ребенок кричит, надо нести его в курник и, качая, приговаривать: «Криксы-вараксы! идите вы за крутые горы, за темные леса от младенца такого-то». Крикса — плакса. Варакса — пустомеля. Вараксать — вахлять, валять.

Зарочные три головы и т. д. — зарекать, запрещать. Обыкновенно клады зарывались с зароком, чтобы, скажем, погибло три человека и сто воробьев и тогда пускай дается клад в руки.

Кулички — кулича, выкорчеванный лес; поговорка возникла при первом корчевании, когда на таких выселках поселялись, и имелась в виду отдаленность. См.: С. Максимов. Крылатые слова. СПб., 1890.

Чокнется — чек, бух, хлоп, стук, бряк, шлеп — звук удара.

Дуб-сорокавец — древний дуб.

Скоропея — скорпий, идол Скоропит, Scorpio.

Гуш-гуш, хай-хай! — восклицание на отогнание беса.

Облом — нечистый, дьявол.

Неподтыканный — независимый и неприкосновенный. Тронь-ка, попробуй, он тебе даст!

С *мухой в носу* — колдун. В Белоруссии о колдуне говорят: «У него мухи в носе». Нечистая сила охотно превращается в мух. Выражение про человека, что он «с мухой» означает, что тот человек находится в опьянении. Водка — кровь Сатанина. См.: П.Тиханов. Брянский го-вор//Сб. Отд. Рус. яз. и Словес. Имп. Акад. наук. Т. LXXVI, № 4.

Приходи вчера — говорит против действия живой злоехидной силы.
См.: С. Максимов. Крылатые слова.

Тихим походом — ходом.

Обрада — желанный.

Сорока-щектуха — щекотуха. В одном заговоре говорится: «От всякой злой птицы, сороки-щектухи, от черного ворона».

Тихой поплыней — тихо плывя.

Вытарашка — олицетворение любовной страсти, лишаящей человека рассудка: ее ничем не возьмешь и в черную печь не угонишь, как выражается один заговор на присуху. См.: Д. Зеленин. Отчет о диалектологической поездке в Вятскую губернию//Сб. Отд. Рус. яз. и Словес. Имп. Акад. наук. Т. LXXVI, № 2. Вытарашка — также название вечно тревожащегося, мечущегося человека.

Воробьиная ночь — так называется грозная ночь с сплошной молнией, когда лишь под утро разражается ливень.

Эта ночь представляется воробьиной свадьбой, на которой невеста-воробушка перед венцом причитывает.

Копы — копны.

В заводях — заводь, затон — мелкий речной залив.

Кузнец Кузьма-Демьян. — Брак представляется ковкою.

Воробушки — олицетворение молний.

Узлюекнула — воскликнула, возрыдала.

Долюбви — досыта, до полного удовольствия.

Засвирило все небо — застонало.

Перекати-поле — название растения; иначе — бабий ум, кучерявка.

Не разжалила — не разжалобила.

Гнездо ремезово — за искусство вить гнездо ремез зовется первой пташкой у Бога; гнездо кошелем.

Догорела страстная свеча — четверговая, зажигается во время грозы, чтобы оградить дом от молнии.

Поросятки-викуны — викать, визжать.

В падалках — в упавших с дерева фруктах-скороспелках.

Борода. — «Завивание бороды» Велесу (Волосу), Спасу Илье, Николе или Козлу — древний жатвенный языческий обряд, совершавшийся в последний день жатвы, называемый дожинками, зажинками, обжинками. См.: А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. Т. II. М., 1866–1869. На Ильин день — 20 июля начинают зажинать рожь. Связь зажинок с Козлом — А. А.Потебня («Объяснения малорусских и сродных народных песен». Варшава, 1887) объясняет тем, что распространенному верованию почти всех европейских народов «душа нивы есть козло- или козообразное существо (как фавн, Сильван), преследуемое жнецами и скрывающееся в последний несжатый пук колосьев или в последний сноп».

Ильинский олень окунул рога в речке — по народному поверью на Ильин день прибегает к реке олень и мочит свои рога и оттого вода холоднее.

На все приучья — на все случаи.

Скоро-им-в-путь-опять — такая же птичья скороговорка, как перепелиное: «спать-пора!» или «пить-пийдем!»

На красное годье — время.

Нивка, отдай мою силу! — «Нивка-нивка! отдай мою силку. Что я тебя жала, силку роняла!»

Пригудка — прибаутка.

Горку я голубем — воркуя голубем.

От четырех птиц — железных носов — в одном охотничьем заговоре говорится: «Стоит в чистом поле дуб, на том дубе четыре птицы — железные носы».

Из-за темных каточин — ложбин.

Купена-лупена — волчья трава, сорочьи ягоды.

Вындрик-зверь — Индрик-зверь — мифический зверь, Индра, ходит под землею, как солнце на небе.

В Голубиной книге рассказывается об этом звере, о властителе подземелья и подземных ключей, а также как о спасителе вселенной во время всемирной засухи, когда он рогом выкопал ключи и пустил воду по рекам и озерам. Индрик угрожает своим поворотом всколебать всю землю. Так рассказывается о нем в древних стихах, но в более поздних христианских зверь укрощен: он живет семьянином и молится Богу, а от поворота его колышется только его родная гора, да кланяются ему прочие звери. Индрик-зверь — мать зверям. См.: П. А. Бессонов. Калики переходные. Т. I. М., 1861.

Кикимора — существо проказливое, озорное. На севере любят Кикимору, и она дурного ничего не делает, там она почетная гостья: без нее и пир не в пир. На юге другое, там она родная сестра Полудницы, а Полудницы не очень-то ласковы. Встретишь Полудницу, она тебе загадку загнет, да такую, что век не разгадаешь. Ну и пропал — защекочет до смерти. См.: Ф. И. Буслаев. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861; И. П. Сахаров. Сказание русского народа. СПб., 1885.

Глава «Чур» печатается по первому изданию «Посолони» в журнале «Золотое руно», 1907, в т. 6 отсутствует.

Осень темная. — Содержание «Осени»: богатая осень — «Бабье лето», рассказ «Змей», обряд «Разрешение пут». Заплата невесты; протяжная осень — «Троецыпенница», сказка «Ночь темная» и «Снегурушка».

Бабье лето — начало осени с Семенова дня по Аспосов день (с 1–8 сентября), вообще же бабьим летом зовутся теплые ясные дни осени.

Расторопица — распутица, осенние и весенние грязи.

Сырым серебром — старинное народное определение: «сыро серебро, сухо золото».

Едет по полю Егорий — св. Георгий разъезжает на белом коне и раздает зверям наказы. Егорий холодный — 26 ноября (Юрьев день).

ВЫЛЫНЬ — волынять, выплывать.

Гомон — гом, гам, громкий говор, крик, шум.

Житье-бытье испроведовать — узнать, доведаться.

По-темному — несправедливо.

Таратора — тараторить — без умолку говорить; звукоподражательное слово.

Смертную рубашку — рубашку на смерть, в которой в гроб лечь.

Батюшка-пещерник — в пещере живет.

Не выведешь монашкой — монашка — угольная курительная свечка, зажигается эта свечка, чтобы воздух прочистить.

Пострел — постреленок, непоседа, повеса, сорванец, сорвиголова.

Гулена — праздный, шатун.

Хвост зачиклечился если нитка или хвост бумажного змея за что-нибудь заденет и застрянет.

Разрешение пут — северный обряд, олонецкий.

Пунтилей — св. Пантелеймон.

Плача — плач девушки перед замужеством, — с зырянского. См... Г. С. Лыткин. Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык. СПб., 1889.

Троецыпленница. — Троецыпленница — курица, высидевшая три семьи цыплят по три года парившая. Существует поверье, что такого рода курицу нужно непременно зарезать, причем есть ее могут только «честные» вдовы. На обед с троецыпленницей допускается всего один мужчина, да и тому голову завязывают по-бабьи. Обряд «моления кур» — троецыпленница справляется 1 ноября в день Косьмы и Дамиана» в курьи именины. См.: Д. Зеленин. Отчет о диалектологической поездке в Вятскую губернию.

С *дерева листъе опало* — опадение листъев — символ разлуки, потери.

Не состояться воде — не просветлеть, не успокоиться.

Очертя голову — отчаянно.

Без прилуки — без приманки.

Бедовое время — отчаянное время. Бедовое в таком же значении, как «бедовый человек».

В свины-поздни — поздно.

Трубой ввалились — разом.

Хвастовщина — «хлебные панихиды», во время которых на особый столик кладутся блины и другие съестные приношения «на алчного, на жадного, на хватущего». По окончании церковного служения «алчные, жадные и хватущие» устремляются к столику и расхватывают приношения кто сколько может.

Семик — древний праздник, празднуется в четверг на седьмой неделе по Пасхе; вся неделя называется Русальная, Зеленая, Клещальная. Вдовы на Семик собирают прошлогодние уцелевшие цветы. См.: Д. Зеленин. Отчет о диалектологической поездке в Вятскую губернию.

Разводили бабы бобы — канителились.

Алалакают — причитают.

Ночь темная. — В этой сказке об Иване-царевиче и царевне Копчушке воспроизводится мотив о живом мертвеце, мотив очень древний, восходящий к древнеклассическому сказанию о Протозилае и Лаодамии. В русской литературе через бюргеровскую Ленору этот мотив разработан Жуковским в Людмиле, а в новейшее время Федор Сологуб воспроизводит его в трагедии «Дар мудрых пчел»//Собрание сочинений. Изд. «Шиповник». Т. VIII.

Хунды — лихорадка (Белоруссия).

Гавкала — тјавкала, брехала, лаяла.

Шандырь-шептун — колдун. Шандырь употребляется в детской считалке: «Шандырь-бандырь козу гнал, немец курицу украл» и т. д.

Пери да Мери, Шуды да Луды — знакомые из считалки:

Перя — меря.

Шуда — луда.

Пята — сота.

Ива — дуб.

Клен кре.

Кок-Кокоряшка — тоже из считалки:

Свистецъ — перстень.

Кок — кокоряшка.

Сизянка — полянка.

Кол — семикол.

О полицу лбом.

Стрекал — сшибал, так что трескало.

«С гуся вода, с лебедя вода... а с тебя, мое дитяtko, вся худоба на пустой лес, на большую воду» (опрыскивание водой от глаза).

Украла язык — испортила, сделала так, что Коза, подательница плодородия, уж не могла ничего говорить. Чтобы украсть у кого-нибудь язык, нужно только хватиться (прикоснуться) безымянным пальцем к сучку в половице или в стене, говоря заклинание.

Гремуч вир — гремящий омут.

Чертов лог — чертов овраг.

Ам!!! — съел. — Эту фразу надо прочитать так, чтобы действительно слушатели забоялись, а для этого следует готовить предыдущими фразами и сразу после паузы «ам!!!».

Зима лютая. — Зимнее время долгое — не очень побегаешь. Пришла Снегурушка, принесла первый белый снег, а за нею мороз идет. И наступило на земле царство Корочуново с метелями и морозами — «Корочун». Кот Котофей Котофеич любит сказки рассказывать в зимнее время, вспоминать приятелей: «Медведюшка», «Морщинка», «Пальцы», «Зайчик Иваныч», «Зайка». Все заканчивается медвежьей колыбельной песней.

Корочун — зимний Дед Мороз. — Древнерусское название зимнего солоноворот (12 декабря), время от 15 ноября до Рождественского сочельника. Древнерус, карачун, корочун, корочюн; малорус, керечун — от крачити, крак — шаг, нога. Этот самый дед Корочун, оказывается, по словам румынской колядки, приютил Божью мать с младенцем у себя в хлеву. См.: Акад. А. Н. Веселовский. Разыскания... VI–X.

Дунуло много, — буйны ветры — дунуло много ветров, — буйны ветры.

Вдарило много, — люты морозы — вдарило много морозов, — люты морозы. Такие опущения встречаются в народных русских песнях.

Драковитый дуб — развилистый.

Ветренник шаловливый ветер, он румянит щеки и вешает сосульки на бороды и усы; если в студеное время отворить дверь наружу, так он тут как тут — заklubится паром.

Злющие зюзи — трескучие морозы, зюзи — морозы (Белоруссия).

попята не спячиваясь, не устремляясь на попятный.

Без завороту — не возвращаясь, не оборачиваясь.

Секнет — лопнет, отскочит в стороны.

На голодную кутью — 5 января в Крещенский сочельник. На эту кутью (кутья бывает еще в Рождественский сочельник — постная, и под Новый год ласая, или щедрая, или богатая) чествуются Корочун. Выбрасывая Корочуну за окно первую ложку, зовут кутью есть, а летом просят жаловать мимо, лежать под гнилой колодой и не губить посевов.

Морщинка. — Эту сказку я слышал от старухи няньки.

Пальцы. — В основу сказки положен южнославянский миф. См.: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Материалы для южнославянской диалектологии и этнографии, II. Образцы языка на говорах терских славян в северо-восточной Италии//Сб. Отд. Рус. яз. и Словес. Имп. Акад. наук. Т. LXXVIII, № 2, СПб., 1904.

Зайчик Иваныч. — Есть известная народная сказка о трех сестрах. Рассказывали мне ее в Сольвычегодске.

Заика. — У детей глаза подслеповато-внимательные. Для них нет, кажется, ни уголка в мире незаполненного, все вокруг кишит жизнями, которые позже, по мере сознательности, или рассеятся, или уж сядут на свои твердо определенные места. Не отделяя сна от бодрствования, дети мешают день с ночью, когда руководит ими не мама и нянька, а Сон. Всякую ночь Сон приходит к кроватке и ведет их гулять на свои поля к своим приятелям. Знакомые лица игр и игрушек ночью живут самой полной жизнью, и это отражается на отношении детей к предметам в дневной жизни, когда они кушают. Среди бела дня вдруг покажется Кострома, а станет солнце закатываться, глядишь, и Буроба с своим мешком тащится, а уж когда совсем смеркнется и где-нибудь в углу червячок зашевелился, станет расти — и ко сну клонить начинает.

Лягушка-квакушка с отбитой лапкой — фарфоровая лягушка с отбитой лапкой.

Зародыш — такой из пузыря человек, когда его надуешь, распухнет, но когда воздух выйдет, то, пискнув, он свернется в *гадку* раскрашенную пленку.

Пупки Коцея — бульдегом. Коробка — 25 коп. Самое любимое кушанье детей — вареный куриный пупочек, и на конфеты сладкие переносится название пупочков.

Кучерище — игрушка-щелкун. Сидит такое чудище с разинутым ртом, а перед ним коробочка с ручкой, если вертеть ручку, то вылезает из нее человечек и прямо в пасть. И сколько бы ни вертеть, человечек все вылезает, а чудище знай его проглатывает. Такая изображена в «Азбуке» Александра Н. Бенуа. Изд. Экспедиции заготовления государств, бумаг. СПб., 1905.

Васютка, сынишка Кучерищев — ветер в трубе.

Птица Гагана — мифическая птица, которая дает птичье молочко, гага. Гаганить — гоготать.

Слепышка Листин — в лесу живет, весь из листьев. Есть и Листина баба — игрушка: туловище сделано из мха, а вместо рук еловые шишки, на ногах настоящие лапотки.

Медведь с Мужиком — деревянная игрушка. На двух палочках укреплены Медведь и Мужик, а между ними наковальня. Если двигать палочки в разные стороны, то попеременно Мужик и Медведь ударяют молотком по наковальне. Игрушка изображена в «Азбуке» Александра Н. Бенуа.

Мороками — мрачно, себе на уме.

Завязывал ножку у стола — такая есть примета: чтобы поскорей найти потерянное, надо завязать ножку у стола, и потерянная вещь найдется.

Два Козла-барана — деревянная игрушка, сделанная по образцу Медведь и Мужик.

Заартачилась — заупрямилась.

Афта — краска, которой пишутся автопортреты, по толкованию Зайки.

Медвежья колыбельная песня — с латышского. Хорошо читать колыбельные песни, напевая (мурлыкая). Весною 1906 г., когда я писал «Посолонь», мне приснился «удалой воин небаюканный, нелюканный». Весь закованный, подходил он ко мне, и я слышал, как в стуче шагов его напевалась колыбельная песня *медвежья*. Мотив для этой колыбельной песни запомнился мне из моего сна.

Под которыми произведениями года не подписано, читай: 1906-й.

К Морю-Океану. Печатается по изд.: Ремизов А. М. Собр. соч.: В 8 т. СПб., 1910–1912. Т. 6.

Алалей и Лейла, герои моей поэмы, задумав думу идти к Морю-Океану, засушили себе сухариков, съели по ложке змеиной каши, чтобы понимать язык зверей, птиц и цветов, и вышли по весенней заре в путь. Идут они по земле странниками, над головою у них солнце, луна и звезды, — ищут они, где Море-Океан. Их путь лежит не волшебными странами и не широкими реками, а темными лесами, дремучими борами, калинниками, черемошниками, болотами, поточинами, водотопинами, полями, речками, узкими тропками — мышинными норами, змеиными тропами. Целый ряд приключений ожидает их в пути: то попадают они к Волку-Самоглоту в брюхо и, сидя в плену у Самоглота, много видят в окошечко, что творится в Божием мире весеннею ночью, когда пробуждаются все земляные силы и подземные, а также слышат много разговоров и разных чертячьих сказок, то попадают они к Белуну в избушку и живут неделю у белого деда, дружат с его пчелою, как с сестрицею. Наступает лето, застигают их грозы, хоронятся они под кустиком, и узнают они от единогоуха-зайца о житье-бытье зверином, потом встречаются росомаху и отыскивают старого Слона Слоновича. Позднею осенью забредают они в избушку Вия. А от Вия попадают в Кощеево царство к Копоулу Копоулычу. Копоул приходится сватом и кумом Котофею Котофеичу. Перезимовав у Копоула, идут они дальше по дорогам к Морю-Океану, глаза и расспрашивая, брат и сестра, отец и дочь, жених и невеста. В конце второго лета, исходив родную землю вдоль и поперек, добираются они до заветной тропинки и в звездной ночи среди последних страхов слышат шум Океана — уж близко шумит Море-Океан.

Котофей-Котофеич — тот самый кот, который беленькую Зайку выходил. (См. сказку «Зайка» в «Посолони».) После всяких любопытных странствий по- белому свету Котофей осел в башне, в которой жил Алалей с Лейлой. Как попали в башню Алалей и Лейла, сами они об этом ничего не знают. Надо думать, что владельцы башни — Тигр на железных ногах либо Птица с одним железным клювом на тонкой шее, без головы; кто-нибудь из них принес в башню Алалея и Лейлу, вынув из колыбели, повешенной в лесу (см. «Медвежью колыбельную песню» в «Посолони»)

Алалей и Лейла — Лейла — имя арабское, означает ночь, Алалей — такого нет имени. Так в детских губках двухлетней русской девочки прозвучало в первый раз имя Алексей.

Коза-любяные глаза — та самая Коза, которая жила в башне у царевны Копчушки и у которой ведьма Соломина-Воромина «украла язык» (см. сказку «Ночь темная» в «Посолони»), Коза Копчушкина вовсе не пропала, как думала, Коза, отыскав свой козий язык, наколобродив, попала, как и Котофей, в башню Тигра и Птицы.

Волк-Самоглот — сказку о Волке-Самоглоте см. у А. Н. Афанасьева «Народные русские сказки». М., 1887. Т. II.

Весенний гром — когда гремит гром, ангелы по мосту едут — народное поверье.

Птица Главина — главина птица — третий ангельский чин Начала, ангелы, низводящие дождь на землю.

Ремез — первая пташка — колядки птице Ремезе см. в «Объяснениях»
А. А. Потебни. Варшава, 1887. Птица очень чтимая, гнездо ее надевали под шлем, как ограду от пули. За искусство вить гнездо величается Ремез первой у Бога.

Заяц единых, певчая Лисица, лютый Зверь — игрушки, на Арбате продаются в Москве.

Белун — см.: А. Н. Афанасьев. «Поэтические воззрения славян на природу». М., 1886.

Собачья доля — см. легенду о собаке у А. Н. Афанасьева «Народные русские легенды». М., 1859. П. Н. Из области малороссийских народных легенд//Этнограф. Обзорение. Кн. VII, 1890.

Божья пчелка — легенды о пчеле у А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». М., 1886. Кроме того, я пользовался заговорами пчелиными. Рукопись заговоров принадлежит Анне Алексеевне Рачинской.

Вечерница — вечерняя звезда, Венера.

Проливной дождь — когда идет дождь, надо бросить лопату на крышу Бабе-Яге, и дождь перестанет — народное поверье.

Колокольный мертвец — легенду о Колокольном мертвце см. у В. Н. Бондаренко. Очерки Кирсановского уезда Тамбовской губ.//Этнограф. Обозрение. Кн. VI, VII. 1890.

Ягий — злой.

Задумницы — вторник на неделе перед Сошествием Св. Духа, называемой зеленой, русальной, клечальной, или семицкой. В этот вторник, а также в Троицкую субботу («Родители троицкие») поминают покойников.

Домовище — домовина, гроб. См. Е. В. Барсов. Причитания Северного края. М., 1872–1882.

Ангел-хранитель — об ангелах («300 ангелов солнце воротят») см.: И. Порфирьев. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1872.

Спорыш — бог жатвы, стебель с колосом-двойчаткой, черное зерно во ржи, от него квашня хорошо подымается. См.: А. А. Потебня «Объяснения...», Н.Ф. Сумцов. Обжинки//Этнограф. Обозрение, 1889. № 8 3.

Лелю — ой лелю! — припев веснянок.

Ладó — ой ладо! — припев купальских и петровочных песен.

Пролетое — пора до Петрова дня.

Засек — закром.

Завивать Бороду — завивают бороду Велесу, Козлу, Спасу-Николе древний жатвенный обряд славян, литовцев и других арио-европейских народов. См. «Посолонь» — «Борода».

Лютые звери — сказка о мышке и сороке — народная.

Ветер-голубь — вестник любви. Любовные письма пишут на крыле голубя.

Ведогонь — древнеславянское поверье, встречающееся у сербов, черногорцев и поляков. Ведогоню — духу-охранителю, живущему в человеке, соответствует зырянский орт.

Летавица — Ветреница, Перелестница, Дикая баба — галицко-русское поверье. См. Живую Старину, 1897. Вып. 1. (Статья Юлиана Яворского).

Затул — затулье, ограда, защита.

Пузырь — «Над ним (Хомой Брутом) держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря, с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионовых жал; черная земля висела на них клоками» — «Вий». С. 434–435. Полн. собр. соч. Н. В. Гоголя. Изд. его наследников. Т. 1. М., 1862.

Кукураковна — сплетница.

Никола Хлыновский Великорецкий — Хлынов — Вятка.

Басаврюк — бесовский человек у Н. В. Гоголя в «Вечере накануне Ивана Купала».

Граючи — грать, гаркать, каркать.

Лизун — Домовой.

Упырь — см. Живую Старину, 1897. Вып. 1. (Статья Юлиана Яворского).

Народные поверья дают следующее объяснение происхождения упырей: если беременная женщина посмотрит в церкви во время великого выхода на священника, несущего чашу, то ее дитя будет упырем. Упырь по смерти своем между полночью и первым петухом выходит из могилы и ходит к тем, кто ему люб, и высасывает у них кровь или заманивает их в могилу и там это делает. Для ограждения от Упыря откапывают его гроб, отрезают ему голову и кладут ее между ногами трупа, прибивают голову или сердце осиновым колом или железным гвоздем ко дну, и тогда Упырь не может тронуться из могилы.

Вырии-птицы — весенние птицы. Вырей, Ирей — сказочная страна где нет зимы. Ир — весна. В «Поучении» Владимира Мономаха: «И сему ся подивуемы, как птицы небесныя из ирья идут».

Сон-трава — *Anemone pratensis*. См.: Н. Ф. Сумцов. Этнографические заметки//Этнограф. Обозрение. Кн. III. 1980.

Верба — сказание о вербе основано на литовском предании о женщине по имени Блинда. Ей позавидовала Земля и обратила ее в вербу. В древней Литве верба считалась богиней чадородия, ей приносили молитвы и жертвы. Верба имеет влияние на чадородие. Святою вербою ударяют для здоровья, приговаривая: «Будь велик, як верба, а здоров, як вода!» Верба ограждает дом от грозы и пожара — Перунова лоза.

Дни-потемы — скрытые мраком зимние дни.

Всполохи — северное сияние; *полох* — полымя.

Зарное — страстное, горячее.

Свети-цвет — народное название чудесного купальского цветка папоротника.

Купало — куп, кып, — ярый, кипучий, горячий.

Песьи дни — знойная пора.

Полудницы — по верованиям славянских и греческих народов: всклокоченные старухи в лохмотьях с клюкой, которые, настигая в полдень, загадывают загадки и щекочут до смерти. Только что молитвой на изгнание беса полуденна возможно кое-как от них отделаться.

Карина — плакальщица; карити — причитать.

Желя — вестница мертвых; *жля* — жалеть. Карина и Желя упоминаются в «Слове о полку Игореве».

Радуница — от литовского *Rauda* — погребальная песнь. Весенний праздник солнца для умерших. Радуница, позже Радоница — радостная весть. Воскресенье на Фоминой — Красная горка, понедельник — Радуница, четверг — Навий день.

Пробила лед щука — щука пробивает хвостом лед на Алексея — человека Божия, 17 марта.

Ой, лелю! — припев веснянок, которые начинают петь с Фомина воскресенья — Красной горки.

Студеницы — дождевые тучи.

Развой — разлив.

Каменная Баба — См.: А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1886.

Волх Всеславъевич — Вольга Святославич родился от княжны и змея Горынича. Его богатырская сила основывается на хитрости-мудрости оборачиваться любым зверем, серым волком, ясным соколом, гнедым туром, щукой. Он совершает поход на Индию богатую, в Турец-землю. Встречается с великаном-пахарем Микулой Селяниновичем.

Лужанки — См.: В. Н. Бондаренко. Очерки Кирсановского уезда.

Крес — искра, огонь, вызванный ударом из камня, небесный свет.

Водылъник — водяник.

Остудное — постылое.

Торок — порыв ветра.

Мокута — древнеславянская Мокошь, хранительница молнийного небесного огня.

Бродницы — сторожихи броды.

Нежить — См.: Ф. И. Буслаев. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861

Ярец — название мая.

Яроводье — сильный разлив весенних вод.

Мавки — горные русалки, живут на вершинах. Мавки, маны (manes) — души умерших.

Буян — холм, гора.

Буйвище — кладбище (гноище).

Жальники — общие могилы.

Волосатка — Домовиха.

Гукать — кликать, звать, закликать.

Волшанские жеребья — вещи. Волшан, Волот — волхв Волот Волотович — собеседник премудрого царя Давыда Евсеевича в «Стихе Иерусалимском» и в «Книге голубиной». См.: П. А. Бессонов. Калики переходные. М., 1861. *Волот* — великан. *Волотоман* — исполин.

322

Резвый жеребий — решительный.

Зель — молодая озимь до колошения.

Коловертыш — помощник ведьмы. См.: В. Н. Бондаренко. Очерки Кирсановского уезда.

Ховала — олицетворение зарницы, ховать — прятать, хоронить.
Ховалы — зарницы. См.: А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения.

Мара-Марена — Морана, богиня смерти, зимы, ночи. См.:А. А. Потебня. «Объяснения...».

Птица Могуль — в былине-сказке о Ваньке Удовкине сыне помогает Ваньке в благодарность за сохранение птенцов.

Марун — морской бог (mare). Я нашел его (сучок) на острове Вандроке (Оландрские острова) на скалах осенью 1910 года.

Сталло — Stahlmann — стальной человек, закованный в латы, лопарский богатырь. Конечно, такого богатыря баюкал в лесу олень, не человек. См.: Н. Харузин. Русские лопари. М., 1890. А. Яценко. Несколько слов о русской Лапландии//Этнографическое обозрение, 1892. КН. XII.

Рожаница — См.: акад. А. Н. Веселовский. Судьба-доля в народных представлениях славян. Разыскания. XII–XVII. Вып. 5. СПб., 1889

Косари — народное название головы Млечного пути.

Становище — Млечный путь.

Злыдни — олицетворение Недоли.

Затор — задержка в пути.

Зорит — зарница зорит хлеб — ускоряет созревание (народное поверье).

Осек — засека, лес с покосом за изгородью.

Изodelый — изможденный.

Зыбель-болото — зыбкое болотистое место.

Свети-цвет — народное название чудесного купальского цветка папоротника.

Моряна — живет на море, владеет ветрами, топит корабли.

Алалей и Лейла наконец доходят до Моря-Океана. А что же Котофей Котофеич, освободил Котофей свою беленькую Зайку из лап Ли-хи-Одноглазого? Не знаю, не скажу.

Вошедшие в настоящее издание сказки печатаются по: *Ремизов А. Докука и балагурье*. М., 1914. Сказки, вошедшие в сборник, взяты Ремизовым для пересказа в основном из сборника народных сказок Н. Е. Ончукова «Северные сказки». Архангельская и Олонецкая губернии. СПб., 1908.

Вошедшие в настоящее издание сказки печатаются по: *Ремизов А. Укрепа. Слово к русской земле о земле родной, тайностях земных и судьбе. Пг., 1916. «Положено в основу рассказов моих народное», — писал Ремизов в примечаниях к сборнику.*

Вошедшие в настоящее издание сказки взяты из сборника А. М. Ремизова «Заветные сказы», изданного в Петрограде в 1920 г. в количестве 333 нумерованных экземпляров. Название сборника перекликается с анонимно изданными в 1870 г. в Женеве А. Н. Афанасьевым «Русскими заветными сказками».

Чудесный урожай. — Переработка сказки № 31 «Посев х. ев» из сборника *А. Н. Афанасьева*. См.: «Русские заветные сказки». М., 1992. С. 44–47. В сказке *А. Н. Афанасьева* отсутствует фигура генерала и связанный с ней финал.

Придворный ювелир. — Печатается по изд.: Ремизов А. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. СПб, 1911.

АМФИТЕАТРОВ Александр Валентинович (1862, Калуга — 1938, Леванто, Италия) — прозаик, публицист, фельетонист, драматург, литературный и театральный критик. Отец — протоиерей, впоследствии настоятель Архангельского собора в Московском кремле. Амфитеатров закончил юридический факультет Московского университета, выступал как фельетонист в различных журналах, в 1882–1886 гг. сотрудничал вместе с А. П. Чеховым в юмористических журналах «Будильник» и «Осколки». Памфлеты и фельетоны с антицаристской и антиправительственной направленностью («Господа Обмановы», «Победоносцев как человек и как государственный деятель») привлекли к писателю общественное внимание. Он был сослан в Минусинск, затем переведен в Вологду, ему была запрещена всякая литературная деятельность, и в 1904–1916 гг. Амфитеатров жил в Италии, Франции, объездил Балканский полуостров, активно занимаясь журналистской и просветительской деятельностью, общался с М. Горьким, А. И. Куприным, К. Д. Бальмонтом. Стремился запечатлеть жизнь русского общества, со скрупулезным описанием быта и нравов, за что критики называли его «маленький русский Золя». См. его многотомные повествования «Восьмидесятники» (т. 1–2, 1907), «Девятидесятники» (т. 1–2, 1911), «Дрогнувшая ночь» (1914); из задуманной серии «Сумерки божков» вышли «Серебряная фея» (1909), «Крестьянская война» (1910). Наряду с интересом к современной жизни писатель увлекался историей Римской империи (в 1911–1914 гг. печатал хроники из жизни Рима эпохи Нерона «Зверь из бездны», вошедшие в 5–8 тт. Собр. соч.), сказками и легендами разных стран и народов (в 1908 г. опубликовал отдельным изданием «Красивые сказки», в 1913 г. — сборник «Дьявол. Дьявол в быте, легенде и литературе средних веков» — в т. 18 Собр. соч.). В 1911–1916 гг. выпускалось многотомное собрание сочинений Амфитеатрова (т. 1–30, 33–35, 37), оставшееся незавершенным. Октябрьскую революцию встретил враждебно, в 1921 г. через Финляндию бежал за границу и вместе с семьей жил в Италии.

Книга состоит из разделов: Италия, Фламандский фольклор, Малороссия, Закавказье. В предисловии к сборнику Амфитеатров указывал, что основы легенд, включенных в сборник, услышаны и записаны им из устных источников и лишь немного обработано по книжному материалу. «Я решил, освободив наиболее интересные легенды от искусственного пафоса, рассказать их русскому читателю от себя», — писал Амфитеатров (с. 64).

Мертвые боги (Тосканская легенда). — Печатается по изд.:
Амфитеатров А. Красивые сказки. СПб.

...антихрист не только родился, но и воцарился и сидит на римском престоле под видом папы — безбожника, ученого чернокнижника Герберта-Сильвестра. — Имеется в виду римский папа Сильвестр II, правивший в 999—1003 гг. Согласно средневековой легенде, учился чернокнижному искусству в Кордовском и Севильском университетах.

...гражданские междоусобия средневековой Италии. — В X–XI вв. города Северной Италии боролись против власти германских императоров.

...*Сфорца и Медичи*... — Сфорца — династия миланских герцогов (1450–1585), основателем рода был сын крестьянина из Романьи. Медичи — известный флорентийский род, правивший Флоренцией с 1434 по 1737 г.

...над челом красавицы вспыхнул яркий полумесяц. — Флореас видит Диану — богиню охоты и луны в римской мифологии.

Семь веков прошло... — христианство было признано государственной религией Рима в IV в. н. э. при императоре Феодосии I.

...блаженных *Гипербореев*... — в греческой мифологии народ, живущий «за Бореем» на крайнем севере и любимый Аполлоном.

Царевна Аделюц. — Печатается по изд.: *Амфитеатров А.* Красивые сказки. СПб., 1908. Из раздела «Фламандский фольклор».

Свадьба контрабандиста (Баллада 1636 г.). — Печатается по изд.: *Амфитеатров А. Красивые сказки*. СПб., 1908. Из раздела «Фламандский фольклор».

Дубовичи (Карпатская сказка). — Печатается по изд.: *Амфитеатров А.* Красивые сказки. СПб., 1908. Из раздела «Малороссия».

Поп Иван — таинственный глава какого-то азиатского теократического государства в средние века. О нем упоминает Марко Поло. Власть его вошла в пословицу. У Шекспира Бенедикт («Много шума из ничего») берется сходить к попу Ивану за волоском из его бороды, только бы не разговаривать с Беатриче.

РЕРИХ Николай Константинович (1874, Петербург — 1947, Индия) — русский живописец, археолог, путешественник, общественный деятель. Отец — из семьи нотариуса, потомок скандинавов, перешедший к Петру I, мать — из псковского купеческого рода. Учился в Петербурге в Академии художеств у А. И. Куинджи и на юридическом и историко-филологическом факультетах Петербургского университета. Был членом объединения «Мир искусства», с конца 1890-х гг. увлекался археологией, языческой и скандинавской стариной, работал в области театрально-декорационной живописи. С 1918 г. жил за рубежом, в США, а с 1920 г. — в Индии. Совершил две большие экспедиции по Центральной и Восточной Азии. Многим работам Рериха свойствен аллегоризм замысла, обусловленный близостью к буддийской философии, утопическими надеждами на глобально-мессианскую роль искусства.

Вошедшие в настоящее издание сказки взяты из сборника *Н. К. Рериха* «Сказки», изданного в Москве в 1914 г. и составившего I книгу предполагавшегося собрания сочинений писателя.

Гримр-викинг. — В сказке ощущается влияние исландского эпоса. См.:
Сойни Е. Г. Николай Рерих и Север. Петрозаводск, 1987. С. 17–21.

...Один послал мне полезное. — Один — в скандинавской мифологии верховный бог.

Марфа-Посадница — вдова новгородского посадника И. А. Борецкой). Возглавляла боярскую партию в Новгороде, выступавшую против присоединения к Московскому государству.

Лют-Великан. — В основу сказки легло предание, услышанное Рерихом на Валдае, в районе Люто-озера.

...на роге крикуне — рог — мыс, коса, высокий берег.

...нырь — птица отряда утиных, нырок.

Девассари Абунту. — Сказка-легенда, навеянная камнем, на поминающим своим силуэтом фигуру склонившейся в поклоне женщины

Девассари Абунту — в переводе с санскритского значит «обретшая небытие благодаря сошедшей божественной благодати».

...Ананде — Ананда — ученик Будды.

...*Рамна* и *Сокка* — реки в Индии.

Лаухми Победительница. — Сказка-легенда об одной из самых почитаемых богинь Индии — Лаухми (Лакшми), богине красоты и процветания, супруги бога Вишну.

Царица Небесная. — Славословие Богородице — соотносится с росписью алтарной части церкви Св. Духа в Талашкине (1911–1914)

В образе Царицы Небесной подчеркивается активное, деятельное начало заступницы за род человеческий.

Страхи. — В книгах Живой Этики многократно говорится о преодолении страха как важной ступени самосовершенствования, страх — это преграда на пути к свету.

Клады. — Сказка-предание, сюжетно близкая картине Рериха «Клад захороненный» (1947).

Города пустынные. — Сказка-притча. Мохнатый царь — образ мохнатого связан у Рериха с тьмой. Проблема угрозы мертвящих проявлений цивилизации поставлена Рерихом в статьях: «К природе» (Собр. соч. 1 т. 1914 г.); «Боль планеты» (1933) и др.

КУЗМИН Михаил Алексеевич (1875, Ярославль— 1936, Ленинград) — поэт, прозаик, литературный критик, переводчик, композитор. Родился в семье ярославского дворянина. В 1891–1893 гг. обучался в Петербургской консерватории под руководством Н. А. Римского-Корсакова. В 1896 г. совершил путешествие в Египет, в 1897 г. — в Италию, где изучал церковную музыку, литературу о гностиках, которая привлекала его сочетанием идей христианства с язычеством. В конце 1890 г. Кузмин сблизился со старообрядцами и жил в олонецких и поволжских скитах, где находил «осязательный идеал жизни и счастья». Читательский интерес пришел к Кузмину сразу после первых публикаций — в 1906 г. в символистском журнале «Весы» были напечатаны стихотворения из цикла «Александрийские песни» и затем роман «Крылья». Тяготение Кузмина к синтезу разных культур отразилось в вариациях на темы французского авантюрного романа эпохи рококо («Приключения Эме Лебефа»), английского романа путешествий в духе Даниэля Дефо («Путешествия сэра Джона Фирфакса по Турции и другим примечательным странам»), античной прозы («Римские чудеса») и др. «Чудесный синтез романтики с классицизмом» видели современники в романе Кузмина о знаменитом авантюристе XVIII в. «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро». Кузмин был активным участником литературной, театральной и музыкальной жизни Петербурга. Сохраняя творческую самостоятельность, он не разделял концепций символистов, акмеистов или футуристов, в 1910-е годы использовал идею «прекрасной ясности» формы, в 1923 г. сформулировал «Декларацию эмоционализма», ставя задачей художника «передачу в единственной неповторимой форме единственного неповторимого эмоционального восприятия». Поэзия Кузмина 1920-х годов отличается усложненностью метафорического языка, композиционных циклов. Современники вспоминали, что в послереволюционном Петрограде Кузмин смертельно скучал, не принимая новой эпохи — так же как и она его не принимала.

Сказки. — Печатаются по изд.: Кузмин А. Покойница в доме. Сказки. Четвертая книга рассказов. СПб., 1914.

СОЛОГУБ Федор (настоящая фамилия — Тетерников Федор Кузмич) (1863, Петербург — 1927, Ленинград) — поэт, прозаик, драматург, переводчик, теоретик символизма. Отец — бывший крепостной, портной, мать — прислуга. Окончил Петербургский учительский институт, 10 лет учительствовал в провинции, что нашло творческое отражение в романах «Тяжелые сны», «Мелкий бес». После переезда в Петербург активно сотрудничал во всех символистских журналах и альманахах («Северный вестник», «Мир искусства», «Новый путь», «Весы», «Золотое руно», «Перевал» и др.), публиковал книги стихов и рассказов, многотомные собрания сочинений в издательствах «Шиповник» и «Сирин». Наряду с Л. Н. Андреевым, А. Белым и А. И. Куприным, по свидетельству А. Белого, входил в 1908–1910 гг. в четверку наиболее знаменитых современных писателей.

Революцию Сологуб не принял, но продолжал общественно-литературную деятельность, в 1926 г. даже был избран председателем правления Союза ленинградских писателей. Принадлежал к символистам старшего поколения (вместе с Н. М. Минским, К. Д. Бальмонтом, В. Я. Брюсовым, И. И. Анненским, З. Н. Гиппиус). На Сологуба-поэта оказали большое влияние французские символисты, в особенности П. Верлен.

Произведения, включенные в настоящее издание, печатаются по Собранию сочинений Ф. Сологуба в 20 т. СПб., Сирин, 1913–1914.

Дикий бог (За рекою Мейрур) — Т. 11. Книга превращений. СПб., 1914.

Чудо отрока Лина — Т. 11. Книга превращений. СПб., 1914.

Лин — в греческой мифологии сын Аполлона, отданный матерью на воспитание пастухам и разорванный собаками.

Очарование печали — Т. 7. Дни печали. СПб., 1914.

Отравленный сад — Т. 11. Книга превращений. СПб., 1914. Тема заимствована из рассказа Н. Готторна «Дочь Раппачини».

Царица поцелуев. — Печатается по изд.: Сологуб Ф. Царица поцелуев. Пг., 1921.

Красногубая гостья — Т. 12. Книга стремлений. СПб., 1914.

Лилит — согласно еврейской мифологии, первой (до Евы) женой Адама была Лилит — «прекрасная и обольстительная женщина, демон ночи и праматерь множества злых духов». Противопоставление ночной, лунной волшебницы Лилит и дневной, обыденной земной Евы характерно для ряда произведений Сологуба («Творимая легенда», стих. «Я был один в моем раю»). См. также рассказ З. Г-с, А. С-ва «Лилит». Апокриф//Новый путь. 1904. № 4.

Турандина — Т. 14. Неутолимое. СПб., 1913.

Мечта на камнях — Т. 14. Неутолимое. СПб., 1913.

Рассказ носит автобиографический характер. Федя Тетерников вел тот же образ жизни, что и Гришка, сын кухарки Аннушки и рано умершего портного.

Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861–1928) — прозаик и драматург. Писала на темы семьи, эмансипации женщин. Автор романов «Вовочка» (1898), «Освободилась» (1899), «Ключи счастья» (1909–1913) и др.

Нагородская Евдокия Аполлоновна (1866–1930) — прозаик, автор романов «Гнев Диониса» (1910), посвященного теме «свободной любви», «Бронзовая дверь», «Злые духи».

...ты забыл свое настоящее имя и сделался кухаркиным сыном... — имеет биографические корни. Сологуб сомневался в собственном происхождении — ему не хотелось быть сыном бедного портного, умершего от чахотки. На самом деле писатель был внуком помещика Полтавской губернии Ивницкого.

Венчанная — Т. 14. Неутолимое. СПб., 1913.

Снегурочка — Т. 11. Книга превращений. СПб., 1914. Тема заимствована из рассказа Н. Готторна «Снежная кукла».

Ёлкич — Т. 7. Дни печали. СПб., 1914.

Сима (от др. — евр. Серафим — «огненный», «пламенеющий»). Герой рассказа предчувствует свою судьбу, события (9 января 1905 г.), в которых ему суждено погибнуть, «сгореть».

Домашние — домовые. Елкич, домовый, которому грозит расставание со своим «домом» — елкой, причиняет вред дому, куда он попал, — губит Симу своими советами.

Политические сказочки. — Печатается по изд.: Сологуб Ф.
Политические сказочки. СПб., 1906.

Книга сказок. — Печатается по изд.: *Сологуб Ф.* Книга сказок. СПб., 1905.

АНДРЕЕВ Леонид Николаевич (1871, Орел — 1919, Финляндия) — прозаик, драматург, публицист. Окончил юридический факультет Петербургского университета. Для заработка занялся литературным трудом: в 1892 г. опубликовал свой первый рассказ о голодном студенте «В холоде и в золоте», затем работал судебным репортером. Стремился показать трагическую правду жизни (например, рассказ «Баргомот и Гераська»). В 1901 г. издательство «Знание» выпустило первую книгу рассказов Л. Андреева (на средства М. Горького), заслужившую одобрение Л. Н. Толстого.

А. П. Чехова. В литературных сборниках «Знание» опубликовал богоборческую повесть «Жизнь Василия Фивейского» (1901), антивоенный рассказ «Красный смех» (1905). Отталкивание от бытовизма, символизация образов, трагедийная тональность произведений Андреева получили дальнейшее развитие в драме «Жизнь человека» (1907). Современные социально-политические проблемы писатель воспринимал как повод для философских размышлений о противостоянии добра и зла, личинах предательства («Иуда Искарот и другие»), «противоречиях инстинкта и интеллекта», по замечанию М. Горького, о роли разума, способного порождать зло («Дневник Сатаны»), Трагические страницы истории терроризма отразились в «Рассказе о семи повешенных» (1908), в романе «Сашка Жегулев» (1911). Художественные новации Андреева предвосхитили эстетические и идейные искания экспрессионизма и экзистенциализма. Андреев приветствовал Февральскую революцию 1917 г., но не принял Октябрьскую, уединившись в своем доме в Финляндии, где вскоре умер. В 1956 г. прах писателя перезахоронен на Волховом кладбище в Ленинграде.

Сказочки не совсем для детей. — Печатаются по изд.: *Андреев Л. Н.*
Собр. соч.: В 13 т. СПб., 1911–1913. Т. 13.

Покой. — Печатается по изд.: *Андреев Л. Н. Избранное*. М., 1982.

ГИППИУС Зинаида Николаевна (1869, г. Белев Тульской губ. — 1945, Париж) — поэтесса, прозаик, литературный критик. Отец — юрист, из обрусевшей немецкой семьи. В 1889 г. выходит замуж за Д. С. Мережковского, вскоре приобретает известность как поэтесса-декадентка, одновременно начиная печататься как прозаик: в 1896 г. увидел свет ее первый сборник рассказов «Новые люди», в 1898 г. — «Зеркало», в 1902 г. — «Третья книга рассказов», в 1906 г. — четвертая — «Алый меч», в 1908 г. — пятая — «Черное по белому» и в 1912 г. — шестая — «Лунные муравьи». Как и в поэзии, в прозе Гиппиус ставит вопросы нравственного, религиозного, философского плана, изображая «изломы» и «душевные выверты» современного человека. Увлекается богоискательскими идеями Мережковского, Гиппиус принадлежит замысел и активная роль в организации религиозно-философских собраний 1901–1904 гг. Квартира Мережковских становится одним из центров литературной жизни Петербурга. Н. М. Минский, Ф. Сологуб.

В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, А. Белый, А. А. Блок, В. Я. Брюсов посещали «дом Мурузи», где жили Мережковские. Гиппиус была одним из ведущих критиков журналов «Новый путь», «Весы», «Русская мысль». Попытка создать галерею современных «общественных типов» нашла отражение в романах «Чертova кукла» (1911) и «Роман-царевич» (1913). К Октябрьской революции Гиппиус отнеслась резко враждебно, видя в ней «разрушение, обвал всей культуры». В 1920 г. вместе с Мережковским они нелегально перешли польскую границу и впоследствии обосновались в Париже. В мемуарах «Живые лица» Гиппиус запечатлела свои встречи с известными писателями серебряного века.

Иван Иванович и черт. — Печатается по изд.: Золотое руно. 1906. № 2.

К теме inferнальной беседы с чертом обращался М. Горький в своих рассказах «Черт», «Еще о черте».

Время. Сказка. — Печатается по изд.: *Гиппиус З. Н.* Новые люди. СПб., 1896.

Федя — Медя,
За лягушу,
Съел медведя,
Родивон,
Продал душу
Выйди вон.

(Прим. А. М. Ремизова)